Л. С. КЛЕЙН

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ

УЧЕНИЯ, ШКОЛЫ И ЛИЧНОСТИ

2

АРХЕОЛОГИ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Л. С. КЛЕЙН
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ
2

ЕВРАЗИЯ

Л. С. Клейн

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ:

учения, школы и личности

Том II

ЕВРАЗИЯ
Санкт-Петербург
2014

ББК 63.3-8/63.4
УДК 902/929
К48

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»

Научный редактор т. 1, т. 2: Кузьминых С. В.,
к. и. н., старш. научн. сотр. Инст. археологии РАН (Москва)

Клейн Л. С.
К48 **История российской археологии: учения, школы и личности. Том 2. Археологи советской эпохи.** — СПб.: ЕВРАЗИЯ — 640 с.: ил.

ISBN 978-5-91852-075-8 (общий)
ISBN 978-5-91852-077-2

Вторая книга Л. С. Клейна по истории российской археологии целиком посвящена археологии советского и постсоветского периодов. История науки предстает в этом издании сквозь призму 34 биографий археологов того времени. Как и в первом томе, очерки сгруппированы по той роли в истории науки, которую сыграли их герои: передатчики традиции, внедрители марксистской методологии и т. д. Личное знакомство автора со многими героями книги и живой язык, которым написано это исследование, способны вовлечь даже неподготовленного читателя в сложный, но насыщенный событиями мир отечественной археологии. Издание рассчитано на археологов и историков науки, специалистов и студентов, а также на всех интересующихся развитием общественных наук в нашей стране.

ISBN 978-5-91852-075-8
ISBN 978-5-91852-077-2

© Клейн Л. С., текст, 2014
© Лосев П. П., дизайн обложки, 2014
© Оформление, ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ», 2014

Археологи советской эпохи

Я достаю из широких штанин
дубликатом бесценного груза.
Читайте, завидуйте, я — гражданин
Советского Союза.

В. Маяковский. Паспорт.

Размышляя о причале,
по волнам плывет «Аврора»,
чтобы выпалить в начале
непрерывного террора.
Ой ты, участь корабля:
скажешь «пли!» — ответят «бля!»

И. Бродский. Форма времени.

Эти люди оказали решающее влияние на облик советской археологии. Здесь дана подборка биографий крупных советских археологов — всех тех, которые заняли в ней важное место и вместе сформировали советскую археологию такою, какой она была. Тех, без которых ее описание осталось бы неполным.

Всё же список можно было бы пополнить. Прежде всего за счет еще нескольких археологов, сформировавшихся еще до революции, но работавших в советское время — как Городцов, Спицын, Фармаковский. Также можно было бы включить биографии еще ряда археологов основного советского поколения — Бернштама, Борисковского, Теплоухова, Рыкова, Фосс. Их влиятельность была не намного меньше, чем тех, чьи биографии представлены здесь. Разумеется, недурно было бы осветить и ныне живущее поколение — Ковалевскую, Черных, Шера и др. (в рукописи я упомянул здесь также Григорьева, Кузьмину, Мерперта — увы, они умерли, пока рукопись проходила редактирование). Но тогда книга слишком раздалась бы и превратилась бы в биографический справочник, что не является моей целью. Мне важно не полноту списка соблюсти, а как можно полнее охарактеризовать личный состав советской археологии. Я ограничил список, быть может, несколько произвольно, но если можно сказать, что здесь кого-то не хватает, то вряд ли будут нарекания, что включены лишние фигуры.

Что касается освещения и оценки фигур, то несогласных со мною, вероятно, окажется немало. Но я всячески старался соблюсти объективность. Старался не упустить и живость. В описание включаю живые черточки, подмеченные другими и мною самим. Многих из описываемых я помню как живых людей, с их страстями, достоинствами и недостатками. Такими я их знал, такими вижу.

Очень важно уловить связь этих фигур со средой, с историей науки, с исторической ситуацией. Как пишет С. П. Щавелёв (2010: 378):

> «Ведь ученые появляются не из колбы чародея, вроде гомункулюса. Они вырастают в тех социальных пространствах, которые

им так или иначе предстоит изучать. Качества личности как-то коррелируют со способностями субъекта познания, особенно гуманитарного. Практическая археология в этом плане является замечательной школой жизни. Тому свидетельство — биографии советских археологов. Нетрудно заметить, что блестящих результатов среди них добились как выходцы из простого народа, рабочих да крестьян, так и потомственные интеллигенты».

Советские археологи прошли суровую школу жизни. Биографии их часто драматичны и обрываются внезапно. Не все фигуры, даже получившие блестящие результаты, способны вызвать симпатии и восхищение. Но все биографии в их совокупности поучительны. Они открывают нам горькое своеобразие той эпохи, из которой все мы (вроде бы) вышли, и возможности человеческой личности. Тем самым они позволяют глубже понимать советскую археологию, в которую корнями уходим все мы и на которой мы вынуждены строить археологию нынешнюю. Пока еще всего лишь постсоветскую.

Передатчики традиции

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы,
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

И что́, под бурей летучей.
Под этой грозой разрушений,
Сохранит играющий Случай
Из наших заветных творений?

В. Брюсов. Грядущие гунны

Под этой шапкой я объединяю тех видных археологов, основная функция которых, как мне кажется, состояла в том, чтобы аккумулировать традиционный опыт, накопившийся в дореволюционной археологии, и передать его советской науке. Это основатели и главы научных школ предреволюционного и непосредственно послереволюционного времени (таковы Ф. К. Волков, А. А. Миллер, Б. С. Жуков, Б. В. Фармаковский). Судьба их была печальна — все за исключением одного погибли или были репрессированы, а у этого одного (Фармаковского) был репрессирован брат. Школы их были большей частью разгромлены, но научную традицию эти лидеры передать успели.

Передатчиками традиции были (по определению) и те, кого я отнес к классикам. Они ведь тоже воплощали предреволюционное состояние археологии, итог развития дореволюционной традиции и передали ее советской археологии (сами или через школу).

Украинец в Киеве, Париже и Петербурге

Ф. К. Волков = Хведор Вовк

Интересный вопрос:
Где моя Родина,
Где моё отечество,
Кто меня ждёт,
Синдбада-морехода?

«Зорачкі» («Звёздочки»),
песня группы «Ляпис-Трубецкой».

1. Юность и украинское самосознание. В истории российской археологии Федор Кондратьевич Волков — фигура экзотическая и странная. Отчетливо сознавая себя нерусским и противопоставляя свой этнос русскому, он серьезно заботился о древностях России. Всего 12 лет провел он в Петербурге и вообще в коренной России, но внес огромный вклад в российскую археологию, воспитав заметную школу. Прожив 27 лет за границей, он освоил французскую археологическую традицию и был ее основным передатчиком в российскую археологию, а это главная европейская традиция в изучении палеолита. В течение почти всего советского времени (с 1930 г.) имя его считалось неудобным вспоминать (буржуазный украинский националист!), разве что критически (ну, это не его одного). Даже в работах Формозова 60–80-х гг. он полностью отсутствует.

Только в постсоветское время началось осознание значения Волкова для науки (Франко и Франко 1990; Лебедев 1992: 272; Тихонов 1995; 2004; Традиции 1997). Ныне Г. П. Григорьев (1997: 82) пишет: «Ф. К. Волков — основоположник и физической антропологии, и археологии палеолита. Всё началось с него, и он сделал свое дело наилучшим образом».

Родился он в 1847 г. на Полтавщине в семье отставного военного. Уже в гимназии в Нежине занимался в кружке по собиранию украинских народных песен, пословиц и поговорок и интересовался этнографией украинского народа. Этнография, подобно языку и литературе, тогда была отдушиной для окраинных народов империи, желающих отстоять свою этническую самоидентификацию, поскольку политическая мысль об этнической особости была под запретом.

Окончив гимназию в 1865 г., Волков поступил сначала в Новороссийский университет (Одесса) на естественное отделение (на котором и изучалась в университетах этнография), но через два года перевелся в Киевский университет Св. Владимира. А тут увлекся ботаникой и химией, напечатал по этим наукам несколько заметок.

С 1870 г. в Киевском университете стал преподавать профессор Владимир Бонифатьевич Антонович, также украинец. Он был врачом по первому образованию, но затем, окончив историко-филологический факультет, стал историком и археологом. Он и его ученик В. В. Хвойка открыли Кирилловскую стоянку в Киеве, трипольские площадки, зарубинецкие и черняховские поля погребений. Вот к нему и записался в ученики также национально озабоченный студент Волков, который позже в украинской печати подписывался Хведор Вовк. Антонович не только заинтересовал студента археологией, но и привлек его к участию в нелегальной украинской организации «Громада», занимавшейся изданием литературы на украинском языке (издание ее было запрещено в 1863 г.). Антонович возглавлял эту организацию.

Но в 1973–1975 гг. в киевской «Громаде» состоял также Николай Иванович Зибер. Сын швейцарского подданного и украинки, он был избран доцентом Киевского университета по экономике и прославился своими статьями (а позже — и книгами) о Марксе и о первобытном хозяйстве. Тогда он писал серию статей «Экономическая теория Маркса». Он был тогда лучшим популяризатором Маркса в России (Наумов 1930; Реуэль 1956). Известно, что Волков занимался и в его кружке (Решетов 1997: 16). А когда Зибер в 1875 г. уехал на долгие годы в Швейцарию и его роль популяризатора Маркса в России перешла к Г. В. Плеханову, в 1876–1879 гг. еще народнику (группа «Земля и Воля», близкая по взглядам к «Громаде»), Волков и с ним установил контакты — летом 1879 г. Плеханов посетил Киев и прожил там около двух месяцев; разочаровавшись в народничестве, Плеханов интересовался в Киеве ростками марксизма (Игнаткин и др. 1964); возможно, были и встречи позже, в Швейцарии.

Словом, искания молодого Волкова были гораздо шире, чем это принято считать. Но симпатии его остались за национально-освободительным движением культурного плана, не переходя в революционные намерения.

Окончив Университет, Волков поступил на государственную службу (в Контрольной палате) и продолжал заниматься малороссийской этнографией через Русское Географическое Общество. В 1873 г., с самого основания, Волков работал также в его Юго-Западном отделении, которое в основном занималось сбором фольклорного материала, подготовил и издал Программу этого общества по сбору этнографических сведений.

Помогая Антоновичу, Федор Волков очень активно участвовал в подготовке и проведении III Археологического съезда в Киеве в 1874 г. — вел переписку с участниками, организовывал выставку к съезду и экскурсии за город. Выступил и сам с докладом «Отличительные черты южнорусской орнаментики». Антонович к этому съезду создавал археологические карты Киевщины и Среднего Поднепровья. Вместе с ним Волков ездил на раскопки курганов в Киевской и Волынской губерниях. Археологические работы публиковал под фамилией Волков, этнографические и другие, не приветствовавшиеся властями, — под псевдонимами «Ф. Кондратович», «Яструбець», «Сірий», «Новостроенко» и др., за границей — «Лупу», «Лупулеску» («лупу» — по-румынски «волк»), «Th. Kondratoff» и т. п. (Франко и Франко 1997). Так, он организовал за границей типографию и издал за рубежом «Кобзарь» Тараса Шевченко с запрещенными в России стихами.

В 1876 г. был запрещен и ввоз украинской литературы из-за границы. Юго-западное отделение Географического общества было закрыто. Начались преследования членов «Громады». Доносчик писал о Волкове: «От него слышал о чтении им у себя на квартире систематического курса нигилистической естественной истории по Фохту, Молешотту, Бюхнеру, Фейербаху и др., где доказывалось отсутствие бога и пр. Зибер читал курс социалистической политической экономии по Карлу Марксу, сочинение которого перевел на русский язык...» (Франко и Франко 1990: 87). Еще раньше в обстановке нарастающих притеснений покинул Киевский университет и Россию Зибер. В Киеве были арестованы жена и дети Волкова. Арестованный в Одессе, 33-летний Волков сумел выбраться из-под стражи и в конце 1879 г. уехал за границу. Началась его многолетняя эмиграция. Жена и сыновья были высланы в Вятку, потом, ввиду туберкулеза жены,

им было разрешено поселиться в Астрахани. Это оказалась разлука на всю жизнь.

2. Парижский ученый. Сначала прибыв в Швейцарию, мекку всех эмигрантов, Волков оставил ее, чтобы обосноваться недалеко от Украины — в Румынии. Но страна была очень бедной, отсталой и не предоставляла возможностей ни для учебы, ни для политики, ни для исследовательской работы по интересам, которые были у молодого этнографа и археолога. Волков перебрался снова в Швейцарию. Некоторое время еще активно занимался политикой (писал о рабочем движении, подготовил лекцию «Научные основания социализма»). Но постепенно, как это нередко бывало с оторвавшимися от родной почвы революционерами (так было и с Мортилье), интересы политической борьбы отходили на задний план и вперед выступали научные интересы. Из Швейцарии ездил в славянские земли — Болгарию, Австро-Венгрию, — где изучал этнографию украинского населения, коллекции музеев (также и в Италии). Наконец, в 1887 г. обосновался в Париже.

Здесь он не упустил возможность заниматься в Антропологической школе, созданной за 11 лет до того Полем Брока и Габриэлем де Мортилье. Это был ведущий центр французской первобытной археологии, и хотя в числе преподавателей (Л. Капитан, Э. Картальяк, М. Эрве и др.) были крупные представители разных течений, господствовал в Школе эволюционизм. В архиве Волкова сохранились конспекты лекций (на русском и французском языках) по антропологии, этнографии, археологии и палеонтологии, а также выписки из трудов по этим наукам.

В 1892 г. 45-летний Волков, отрезанный от семьи уже 13 лет и без надежды на воссоединение, создал новую семью. Новая жена с двумя детьми тоже постоянно жила в разлуке с мужем, в бедности, мыкалась по друзьям и знакомым Волкова, то в Румынии, то на Украине, то в Москве, работая массажисткой, переводчицей, домашней учительницей. Федор Кондратьевич был не очень заботливым мужем и отцом, наука у него была главным жизненным делом, затмевающим всё остальное.

Особенно в это время Волкова заинтересовала тема мегалитизма. Он собирал сведения о древних каменных сооружениях: дольменах, каменных ящиках, стелах, каменных бабах — в Европе и в России — в Сибири, на Кавказе, на Украине. Статья о дольменах появилась в Бюллетене Антропологического Общества на французском (в 1896 г.),

о каменных бабах на Нижнем Дону — на русском в 1909 г. (совместно с А. А. Миллером).

Волков вступил в Антропологическое и Доисторическое общества и вошел в редколлегию журнала «L'Anthropologie», издаваемого Мортилье. В этом журнале Волков много печатался, помещая там десятки статей и рецензий по антропологии, этнографии и археологии. В 1905 г. премией Годара и золотой медалью Брока была отмечена его работа об эволюции ступни от обезьяны до человека. Ступни представителей отсталых рас Волков помещал на промежуточных ступенях, между человеком и обезьяной. В том же году он получил степень доктора естественных наук в Парижском университете. Доктор Сорбонны — это солидное международное признание.

Всё больше налаживались его связи с русской наукой. Часть его научной продукции составляли обзоры для французской аудитории русских работ. В конце века он перевел на русский язык книгу чешского слависта и археолога Любора Нидерле «Человечество в доисторические времена» — она вышла в Петербурге в 1898 г. под редакцией Д. Н. Анучина. В 1900 г. Волков участвовал в организации Всемирной выставки в Париже — устраивал там Русский отдел. Во время работы выставки выступал там с публичными лекциями по антропологии и первобытной археологии. С 1901 г. по приглашению известных русских ученых-эмигрантов И. И. Мечникова и М. М. Ковалевского стал читать курсы лекций в Русской Высшей школе в Париже (безвозмездно). Там его учениками стали А. А. Миллер, С. С. Широкогоров, Н. М. Могилянский. В 1904 г. Ф. К. Волкова избрали иностранным членом Русского Антропологического общества при Санкт-Петербургском университете.

Ф. К. Волков (Хведор Вовк)

3. В Петербургском университете. В результате режимных послаблений в революционный год Первой русской революции (1905) стало возможно вернуться в Россию. За границей Волков провел 27 лет. Теперь это был 59-летний

ученый, сформировавшийся в среде французской антропологии и археологии, доктор естественных наук Парижского университета. Признанный авторитет и среди ученых России, особенно в Петербурге. Любопытно, что он направился в Петербург, а не на Украину. Возможно, что в памяти еще живы были репрессии на Украине.

Его сразу приняли хранителем этнографического отдела Русского музея (тогда Музея императора Александра III). А в Университете к тому времени пресеклось преподавание антропологии и этнографии на физико-математическом факультете за смертью Э. Ю. Петри и Д. А. Коропчевского. Председателем антрополого-этнографической комиссии Университета был тогда геолог и археолог Иностранцев. Он предложил добавить к этим дисциплинам археологию и пригласить Волкова читать эти курсы на кафедре географии и этнографии физико-математического факультета. Принять Волкова профессором было невозможно, так как иностранные ученые степени в России не признавались. В 1907 г. Волков был допущен к преподаванию приват-доцентом, т. е нештатным преподавателем, получающим меньшую зарплату и не имеющим всех привилегий профессора.

В антропологии Волков видел три науки — анатомическую антропологию (то, что мы теперь называем физической антропологией), доисторическую антропологию и этнографию (называемую также этнологией). В понимании Волкова доисторическая антропология представляла собой распространение этнографии на то время, для которого не существовало исторических сведений, то есть письменных источников. Поэтому для нее Волков предпочитал употреблять термин Мортилье «палеоэтнология». Эта наука изучала «происхождение и развитие человечества в физическом и бытовом отношении» в доисторические времена (Волков 1913; 1915).

Курс палеоэтнологии строился преимущественно на археологических источниках и трудах известных археологов, так что это была, выражаясь современным языком, первобытная археология (Тихонов 2004: 117–118). Соответственно задачам своих курсов Волков пополнял коллекции кабинета географии и этнографии антропологическим и археологическим материалом. Летом 1907 г. купил во Франции большую коллекцию раннепалеолитических орудий, а также орудия солютрейские и мадленские. В 1909 г. получил командировку в Париж и приобрел коллекцию гипсовых слепков с экспонатов Сен-Жерменского музея. Затем коллекции пополнялись находками из раскопок студентов. Жертвовали свои коллекции и многие исследователи.

Волков завзято стремился к созданию самостоятельных кафедр археологии и антропологии. Он подавал в Государственную Думу докладную записку о необходимости учредить такие кафедры: на историко-филологическом факультете кафедру общей археологии и исторической географии, а на физико-математическом — кафедру антропологии. На первой должны были изучаться древности классические, русские и восточные, но там же должны были преподаваться и палеоэтнология (то есть первобытная археология с этнографией. На второй кафедре предполагалось изучать анатомическую антропологию, палеоэтнологию и этнографию (Тихонов 2004: 124). Таким образом, первобытная археология должна была изучаться на обоих факультетах, имея значение и для гуманитариев, и для естествоведов. Учреждению отдельных кафедр препятствовало опять же отсутствие отечественной докторской степени у Волкова.

С первых же занятий Волков приобщал студентов к самостоятельной научной работе. Это традиция, которая затем (вместе с коллекциями) была перенесена на кафедру археологии Ленинградского университета и удержалась там, несмотря на упорные и постоянные попытки Министерства высшего образования подавить ее, ужать самостоятельную научную работу студентов, оттеснив ее на старшие курсы. Между тем именно эта методика преподавания позволила Волкову в кратчайший срок создать в Университете мощную научную школу. Его студенты вошли в науку как крупнейшие ученые: А. А. Миллер, С. И. Руденко, П. П. Ефименко, Д. А. Золотарев, Г. А. Бонч-Осмоловский, С. А. Теплоухов. Как-то так получилось, что ближайшими студентами даже в Петербурге оказались люди с украинскими фамилиями: С. И. Руденко, П. П. Ефименко, Л. Е. (Левко) Чикаленко, украинцами были и А. Г. Алешо, М. Н. Могилянский.

Золотарев (1918: 355) писал о своем учителе в некрологе:

> «Очень много содействовали его успеху необычайно обаятельное отношение к слушателям, любовь к работе, невольно передававшаяся другим, способность пробудить научный интерес и готовность всегда помочь и дать указания... Он умел быть не только ученым и преподавателем, но и жил нашими интересами, побуждая нас жить интересами своего кабинета и науки. Его кабинет на 16-й линии В. О. (Васильевского острова. — Л. К.), доступный всем, был для нас самым приятным местом обсуждения планов работы и различных начинаний. "Этот клуб", как говаривал Ф. К., воспитывал его учеников и давал еще в студенческие годы научно работать».

Ф. К. Волков на занятиях со студентами

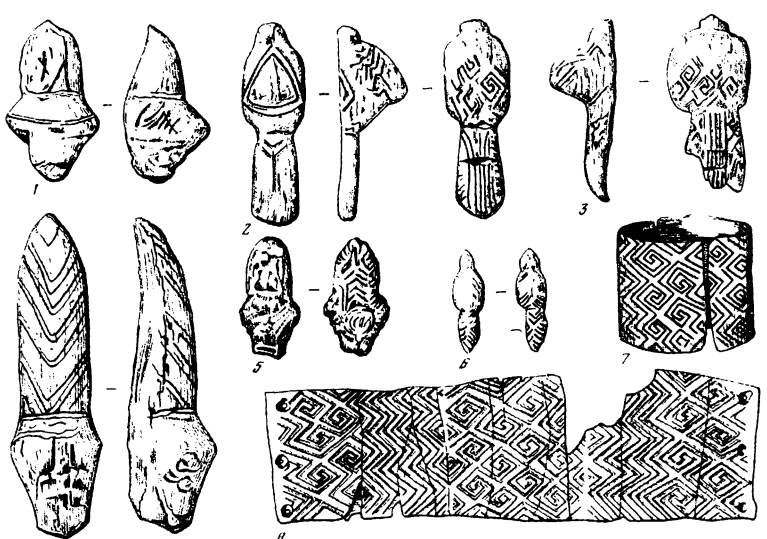
Через несколько лет после начала этой деятельности некоторые студенты уже сами вошли в роль наставников. В одном из писем 1909 г. Волков писал: «На 16-й линии народу прибавилось, новых слушателей у меня теперь большинство, есть, по-видимому, довольно серьезные: один из них, Крыжановский, очень усердно принялся за prehistorique, уцепился за Петр Петр. (Петра Петровича Ефименко. — Л. К.), а тот не менее усердно вошел в роль и поучает его по целым дням» (Тихонов 2004: 122). Скоро некоторые начали преподавать — при кафедре (Руденко), на женских Бестужевских курсах (Ефименко), уже в советское время — на археологическом отделении факультета общественных наук (Ефименко и Миллер), в новосозданном Географическом институте (Руденко, Ефименко, Золотарев, Бонч-Осмоловский и Теплоухов). Вскоре этот институт превратился в географический факультет Университета.

Активизировал Волков и работу Русского антропологического общества при Петербургском университете, председателем которого он был избран в 1910 г. Сам он делал в этом обществе обзоры иностранных работ, ученики его докладывали о своих результатах, приглашались с докладами и археологи по более поздним эпохам. На физико-математическом факультете возник один из петербургских центров археологии.

4. Мезин. Всё же основной тематикой занятий Волкова и его учеников был палеолит. Волков разобрался с характером Бологовской стоянки, показав ее непалеолитический возраст, наоборот, Кирилловскую стоянку в Киеве атрибутировал (первым) как палеолитическую. В работах его учеников стала складываться техника графической фиксации и русская археологическая терминология для классификации палеолитических орудий. И эта отрасль археологии стала приобретать профессиональный характер.

В 1908 г. Волков приступил к раскопкам палеолитической стоянки в Мезине под Черниговом, которая стала его важнейшим вкладом в фонд археологических источников страны. Григорьев называет Мезин главным делом жизни Волкова. Но только первый год раскопок Волков сам руководил ими с помощью Руденко. В дальнейшем он не мог присутствовать в поле по состоянию здоровья, и раскопки вели по его инструкциям Ефименко и Чикаленко.

Материал этой стоянки оказался уникальным, а методика раскопок почти не вызывает нареканий у современных археологов. Во всяком случае, пишет Григорьев (1997: 83), методика фиксации оказалась достаточной, чтобы можно было трижды на протяжении трех с половиной десятилетий обращаться к этим материалам (он указывают работы Борисковского, Шовкопляса, Сергина).



Находки в Мезине: статуэтки и браслет из бивня мамонта

Орнаментированные стержни из бивня мамонта Волков интерпретировал как птички и фаллические изображения, австрийские и французские коллеги с ним не согласились и отнесли их к женским статуэткам, с чем согласен Г. П. Григорьев (1997). Ефименко позже нашел в них признаки того и другого (1938: 503), и эту синкретичную природу их подхватил Столяр (1997).

Объясняя свою оценку важности Мезина, Григорьев (1997: 82) пишет:

> «Главная проблема Мезина — главная проблема палеолита Восточной Европы. Можно ли памятники Десны и Дона распределить по ступеням развития палеолита, которые установлены во Франции? В самом ли деле искусство Мезина — нечто совершенно отличное от искусства палеолита Запада, как казалось в 1912 г. (и не только Волкову)? Теперь стало ясно, что мезинские фигурки — и птички и фаллы — это женские статуэтки мадленского стиля (dames a fesses [дамы с ягодицами]), распространенные от Моравии до Аквитании».

Но Григорьев признает, что отличий от западных памятников много, и ставит Мезин в особое положение, объясняя различия хронологией — более ранним временем.

Мы видим, что французские археологи (и Григорьев) отстаивали общность палеолитического развития для всей Европы, включая Восточную, а Волков стоял за особость Восточной Европы, за специфику ее развития. Это показывает, что он был не таким уж последовательным учеником французских эволюционистов. Хотя он и критиковал Брейля, считая его выводы следствием клерикальных взглядов, и оспаривал немецкоязычных археологов-антиэволюционистов (Гёрнеса), по своей общей интерпретации он не повторял французский универсализм.

Но Платонова (2010б: 159–160) подметила, что Волков отстал в освоении знаний о палеолите России: в своих предвоенных публикациях (в статье о Мезине 1913 г. и в предисловии к книге Гёрнеса 1914 г.) Волков дает сводку из пяти палеолитических памятников Русской равнины, тогда как вскоре, в 1915 г., Спицын в статье «Русский палеолит» приводит сводку в 25 местонахождений!

5. Характеристика украинского народа. В 1916 г., в разгар военной заварухи, когда украинский народ оказался в двух противостоящих в войне лагерях — в России и в Австро-Венгрии, — Волков выпустил две книги: «Этнографические особенности украинского

народа» и «Антропологические особенности украинского народа». Это был итог его многолетних сборов и изысканий на всех территориях — российских и австро-венгерских. За эти работы Географическое общество присудило ему золотую медаль. В ноябре того же года Франция наградила Волкова орденом Почетного легиона.

С московскими антропологами Волков не дружил, относился к ним высокомерно и остро их критиковал в печати. Он был в России борцом с дилетантизмом, насаждал профессиональное обращение с первобытными материалами. Считал, что многолетний французский опыт ставит его выше российских коллег. Между тем во Франции он получил не только хорошее знакомство с классификациями артефактов, но и усвоил социал-дарвинизм и расистские взгляды Брока, а в археологии упорно держался за периодизацию Мортилье, неадаптированную к Восточной Европе и давно устаревшую на родине. В Москве, соответственно, к работам Волкова относились более чем прохладно. Анучин, чьи работы головой выше волковских, его терпеть не мог и обычно писал скверные рецензии на его произведения. Какую встречу могли ожидать новые его работы?

По-видимому, к этому времени относится письмо из Москвы П. П. Ефименко, находившегося там в командировке. Командировка была дана для сдачи магистерских экзаменов у Д. Н. Анучина (Волков не мог их принимать, не будучи профессором). Письмо послано в Петроград и адресовано С. И. Руденко.

«Дорогой Сергей Иванович!

Спешу сообщить Вам кое-какие новости. Сегодня я был у Анучина, чтобы выяснить окончательно вопрос об экзаменах, т. к. мне не хотелось откладывать их надолго. Д. Н. говорит мило, но еще не знаю, что из этого выйдет, т. к. история выходит довольно сложная. Он, видимо, чрезвычайно недоволен Ф. К-чем. И этого совершенно не хочет скрывать. В общих чертах дело в следующем. Наш факультет запрашивал Анучина, не найдет ли он возможным возбудить вопрос о присуждении Ф. К. степени доктора honoris causa. Анучин отзывается так: "Как же я буду возбуждать об этом вопрос, когда Ф. К. совершенно не хочет ни с кем считаться и в последней своей антропологической работе заявляет по поводу отдельных измерений, что только им правильно они поставлены; выходит так, что только один антрополог в России и есть — это Ф. К., а нас он посылает к чорту и т. д..." В общем об этой популярной работе Ф. К. он отзывается очень нелестно, хотя корень его недовольства, конечно, не в научной оценке. Соответствующий отзыв послал он,

> по-видимому, в Петроград факультету. Хотя не знаю, входил ли он по существу в критику работ Ф. К. Мне он сказал, что ответит факультету так: что Московский университет Ф. К. совершенно не знает. Во всяком случае эта история для Ф. К. не весьма приглядная, и кое в чем он, конечно, сам виноват. <...>
>
> Да, чуть не забыл. Д. Н. говорит, что он даст рецензию на Антропологические измерения украинцев и, вероятно, разделает Ф. К. в пух и прах. Нельзя ли старичкам пойти на мировую?» (Тихонов 2004: 255).

Нет, мировая не предстояла.

По убеждению Ефименко, причина московского недовольства — в конкурентной борьбе школ и личной неуживчивости Волкова. Это убеждение передалось и историографам. Но, как подметил Решетов (1997: 17–18), резкая рецензия Анучина содержала принципиальные возражения против концепции Волкова. Волков приходил к выводу, что украинцы — весьма однородное племя, близкое больше южным славянам и южной части западных славян (не полякам), чем русским и белорусам. Анучин упрекал его в тенденциозности. Тенденциозность Волкова понятна: он стремился к воссоединению украинского народа. Выступал ли Анучин против этого с позиций эволюционизма? Ну, для Анучина вряд ли имели вес эволюционистские принципы универсального подхода (московский глава антропологов был более склонен к диффузионизму). Скорее Анучин в этом вопросе придерживался имперских настроений — для него ценность представляло единство России, объединение всех восточных славян вокруг русского народа.

Концентрацию Волкова на этносе как главном предмете исследования и расхождения в этом с другими российскими этнографами отмечает И. И. Шангина (1997). Дело в том, что Волков различал этнографию и этнологию, обе науки антропологические. Это понимание он выразил в своих «Материалах по украинско-русской этнологии» и во французском журнале «L'Anthropologie», а также в книге «Украинский народ в прошлом и настоящем», том 1 (СПб, 1914 — он был одним из авторов этого коллективного труда). Этнология была для него «учением о народах, их этническом составе, происхождении и их быте — материальном и психическом», а этнография — «учением о формах быта и их развитии».

Эти взгляды расходились с учением господствовавшей в России (и Петербурге) эволюционистской школы. В отличие от Волкова, ее глава Л. Я. Штернберг, главный хранитель Музея антропологии

и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры), считал этнографию самостоятельной наукой о первобытной культуре. Разделения на этнологию и этнографию он не признавал (и это надолго стало нормой в советской науке). По его представлениям, нельзя считать наукой изучение каждого народа как самостоятельной единицы, требуемое этнологией по Волкову. Этнография должна не материал собирать для этнологии по каждому отдельному народу, а изучать весь процесс развития этнографических явлений на всей территории расселения первобытных народов во все времена. Ее предмет — мировая культура. И это было адекватным отражением западноевропейского, в частности французского и английского, эволюционизма. У Волкова и в этом явное от него отклонение.

Правда, Шангина отмечает, что Волков считал своими учителями ученых французской антропологической школы — Брока, Мортилье, Мануврие. Это верно, но всё это очень разные люди. Брока — дарвинист и полигенист-расист, Мортилье — эволюционист, сторонник единства человечества, Мануврие — очень осторожный ученый, воздерживался от философских деклараций. Термин «палеоэтнология» и классификацию орудий Волков взял от Мортилье, но это от него усвоили и антиэволюционисты, а вот принцип единства человечества Волков понимал гораздо более ограниченно, чем Мортилье, — в силу своего восточноевропейского воспитания и причастности к национально-освободительному движению.

Дополнительную деталь подмечает Л. Б. Урицкая (1997). В Российском этнографическом музее есть небольшая коллекция вещей еврейского быта, собранных Волковым в 1904–1907 гг. в Восточной Галиции. Коллекция крохотная — всего 13 вещей (талес, молитвенные кубики тфилим, менора, ханукальная лампа и др.) и фотографии (деревянной синагоги). Между тем Волков путешествовал несколько лет по местам, где густо жило еврейское население, но оно его не интересовало — он целенаправленно собирал украинские материалы. Сейчас еврейской коллекции из Галиции цены нет: население исчезло в Холокосте. В данном контексте интересна незначительность этой коллекции в богатейших собраниях Волкова. Любой истинный эволюционист постарался бы собрать характеристики всего населения обследуемого района независимо от этнической и религиозной принадлежности — чтобы познавать по собранным материалам законы развития мировой культуры. Эволюционисты считали, что тем самым они лучше поймут каждую отдельную группу. А Волков был ориентирован на один этнос, и для него это нормальная ориентация

всей этнологии и этнографии. Хотя сведения о свадебных обрядах (для сравнения с украинскими) он собирал широко, у разных народов, и маски собирал (это было его хобби) южноамериканские, африканские и эскимосские.

6. Профессор перед смертью. Несмотря на дурной отзыв Анучина, всё же Петроградский университет пожаловал Волкову докторскую степень honoris causa и профессора, но сделал это в революционном 1917 г. — вместе с таким же признанием заслуг Спицына. Волков был уже очень болен, но продолжал чтение лекций. Золотарев (1918: 356) вспоминает «фигуру усталого, сгорбленного старичка, с закрытым рукою ртом, возвращающегося <...> с 16-й линии Васильевского острова...»

В октябре 1917 г., как раз во время Октябрьского переворота в Петербурге, Киевский университет избирает Волкова заведующим кафедрой географии и этнографии. Кроме того, его приглашают принять участие в образовании Украинской академии наук. Революционные события старику не нравились как в Петербурге, так и на Украине (это отмечает в своем некрологе Золотарев). Холод, голод, разруха, бандитизм — таким ли мечталось освобождение от царизма! Но приглашение в родной Киев! Исполнялась мечта всей жизни — служить своими знаниями украинскому народу. Старик, несмотря на тяжелое состояние, в начале лета 1918 г. выбирается в дорогу. Врач Русского музея выдает ему медицинский документ о необходимости провести отпуск на юге «в связи с крайним ослаблением организма на почве недоедания». До Киева он не доехал. Скончался в Жлобине под Гомелем 29 июня 1918 г. от воспаления легких.

Еще при жизни Волкова Этнографический отдел Русского музея (впоследствии самостоятельный музей) возглавил его ученик Н. М. Могилянский, тоже украинец, который выдвинул на первый план идею Волкова об этносе как главном объекте этнологии. Он провозглашал, что народ — это «коллективная единица, этнический индивидуум, обладающий рядом ему одному свойственных граней внешнего и внутреннего быта». В «Программе для собирания этнографических предметов», принадлежавших народам России, основной целью собирания значилось составление их «этнического портрета».

Свое научное наследие, а именно архив рукописей, коллекции, библиотеку и прочее, Волков завещал Украине. Еще один его ученик, А. Г. Алешо, сумел выцарапать эти материалы в Петрограде и доставить в Киев. В марте 1921 г. при Украинской академии наук был открыт

Музей антропологии и этнологии им. Ф. К. Волкова, с 1922 г. преобразованный в Кабинет Ф. Волкова, но Алешо в том же году умер.

Ученики Волкова в археологии, однако в Петрограде-Ленинграде составили разветвленную палеоэтнологическую школу — Руденко, Ефименко, Миллер, Бонч-Осмоловский и др. Но школа эта дожила только до рубежа 1920–1930-х гг. Начались аресты в Русском музее и Университете, из учеников Волкова на свободе остался один Ефименко. Много позже вернулись из лагерей Руденко и Бонч. Миллер, Теплоухов и другие погибли. Имя Волкова было надолго вычеркнуто из науки.

В 1932 г. был разгромлен и закрыт его кабинет в Киеве. Восстановление памяти и новое осмысление вклада началось через 60 лет. Перед лицом этого огромного пласта времени (целая человеческая жизнь!) нелишне вспомнить, что вся-то школа была создана за каких-нибудь 12 лет. Диву даешься, осмыслив, как много было создано за такой короткий срок — целая школа, и какая!

Учитель в поле

А. А. Миллер

Дней на десять я стану всем ближе.
Моего не припомнят лица,
Кто-то скажет в далеком Париже,
Что не ждал он такого конца.

Ник. Туроверов. Легион (казачья поэзия).

1. Происхождение и подготовка. Александр Александрович Миллер (1875–1935) родился в г. Луганске Екатеринославской губернии (хотя некоторые биографы указывают станицу Старочеркасскую или Таганрог). Происходил он из казачьей знати Дона, так что принадлежал одновременно к дворянам и казакам (оба сословия были опальными в советское время). На Дону есть слобода Каменно-Миллеровская под Ростовом-на-Дону, основанная Миллерами из приглашенных Петром немцев. В петровские времена из немецких земель прибыл лекарь Абрам Егорович Мюллер, ставший в России Миллером, а сын, внуки и правнуки его служили в Войске Донском офицерами и были крупными землевладельцами на нижнем Дону (Корягин 1999). Отец археолога, статский советник, был помещиком и имел десять детей.

Начальное образование Александр Миллер получил дома, а одиннадцати лет был отдан в Донской кадетский корпус в Новочеркасске (был там с 1886 по 1893 г., окончил первым по оценкам). Затем он в 18-летнем возрасте поступил в Николаевское военно-инженерное училище в Петербурге. Три года в этом училище он считал своим средним специальным образованием, хотя оно было близко к высшему. Выпустился из него Миллер в звании прапорщика в 1896 г. (по преданию, побывал адъютантом у одного из великих князей) и поступил на военную службу в Железнодорожный батальон в Варшаве. Дела у него шли нормально, он получал повышения по службе, но,

когда срок обязательной службы (три года) истек, Миллер подал заявление об уходе.

Командир батальона в документе об увольнении написал: «Выдавая это свидетельство поручику Миллер, уезжающему в 11-месячный отпуск с целью перемены службы для дальнейшего развития своих способностей, я не могу не высказать моего сожаления о потере в его лице выдающегося офицера» (Решетов 2001: 8).

Увлечение древностями в конце XIX века было обычным для образованных дворян, а донские курганы, по-видимому, смолоду увлекли обоих братьев Миллеров — самого старшего и самого младшего (он моложе старшего на 8 лет): оба всё больше отдавались археологии. Старший, Александр, для завершения образования и специализации в археологии и в искусстве отправился во Францию.

Он прибыл в Париж в 1901 г. — ко времени, когда в палеолитоведении задавали тон уже не эволюционисты, а их противники миграционисты типа Брейля. Но Миллер больше общался с сыном Габриеля де Мортилье Адрианом, придерживавшимся взглядов отца, а также с приехавшим из России украинцем Федором Волковым (впоследствии проповедником эволюционизма и связи первобытной археологии с естественными науками в России). Но поддерживал контакты также с А. Брейлем и Г. Обермайером, а из российских коллег — с В. Ф. Минорским. В изучении поздних эпох стандарт науки и ее систематику во Франции формировал Дешелетт. Миллер учился в Школе Социальных наук при Сорбонне и в Антропологической школе. В отношении полевой методики, пожалуй, тогда у французов позаимствовать было нечего. Однако в других областях Европы, особенно в Скандинавии, курганы копали лучше, чем в России. Окончил учебу во Франции в 1906 г. и считал это своим высшим образованием.

Приезжая на побывку домой, в 1902–1904 гг. начал раскопки курганного могильника у села Покровского Донской области — там у его отца было имение. Тогда же появились и его первые археологические публикации.

2. Историк материальной культуры в царской России. Во Франции в 1905 г. он получил из России повестку о призыве на военную службу. Шла русско-японская война. В январе был сдан Порт-Артур, в феврале в Мукденском сражении была разгромлена русская армия. В начале 1906 г. Миллер вернулся в Россию и был тотчас произведен в штабс-капитаны. Но на Дальний Восток уже не отправлен — дело шло к Портсмутскому миру. Водил поезда

особого назначения из Петербурга в Варшаву. 30 марта Миллер уволился в запас.

В Петербурге уже знали вернувшегося из Франции археолога, академики Н. П. Кондаков и С. Ф. Ольденбург положительно отзывались о его знаниях. В том же году 30-летний А. А. Миллер поступил на работу в Русский музей императора Александра III (так он тогда назывался), где опять оказался рядом с Волковым. Работу свою он начал с этнографического обследования материальной культуры донских калмыков, собирал среди них коллекции одежды и утвари. В 1907 г. его приняли на работу в этнографический отдел музея для изучения бытовой материальной культуры народов Кавказа. Своей профессией он считал «историю материальной культуры (древней и этнографической)», и с того же года он связался с Императорской Археологической комиссией, стал работать по ее поручениям. В 1907 г. он был отправлен с заданиями Музея и Комиссии на западное побережье Кавказа, где он изучал материальную культуру абхазов и черкесов — как этнографическими сборами, так и раскопками.

Зимой 1907–1908 гг. Миллер отправился в Могилевскую губернию собирать этнографические коллекции и описывать быт белорусов и евреев и в том же году изучал ковровые и ткацкие изделия в юго-восточном Дагестане (Куба, Шемаха) и в Тифлисе. Отовсюду привозил не только коллекции предметов, но и альбомы точных зарисовок (орнаменты ковров — акварелью). И в том же году проводил археологические разведки и раскопки в устье Дона. Современный этнограф А. М. Решетов (2001) изумляется разнообразию и напряженному графику работ Миллера и отмечает: «Такое под силу только незаурядной личности».

А. А. Миллер

В конце 1908 г. из Музея уволился К. А. Иностранцев, сын маститого геолога. На освободившуюся в этнографическом отделе штатную должность хранителя был принят Миллер. Он должен был отвечать за Крым, Кавказ, Среднюю Азию и сопредельные страны Ближнего Востока.

С 1909 по 1914 г. включительно Миллер проводит раскопки могильника и городища скифского времени (по определению археологов — меотского) у станицы Елисаветинской в 15 км к западу от Краснодара. С самого начала он копал на гораздо более высоком методическом уровне, чем его предшественники. Одновременно он изучает этнографию Дагестана, черкесов, грузин вокруг Тифлиса и Батума, татар и каримов Крыма. В 1910 г. совершает объезд европейских столиц — Стокгольма, Копенгагена, Берлина, Брюсселя, Парижа, Лондона и Вены, изучая постановку музейного дела для нужд своего музея.

За свою деятельность Миллер был награжден орденами Анны, Станислава и Владимира разных степеней. Несмотря на то что в 1913 г. он уволен из запаса, в 1916 г. его, 41-летнего (шла война), снова призвали в армию, но временно откомандировали в распоряжение Русского музея.

3. После революции — три сферы занятий. Революция разразилась, когда ему было уже 42 года. Его сразу же назначают членом Комиссии по организации музейного дела и охраны памятников. После революции он продолжает работать в этнографическом отделе Русского музея, заведуя Кавказским сектором, и руководит эвакуацией музейных коллекций в Москву, ввиду угрозы возможного захвата Петрограда немцами. Директор Эрмитажа и товарищ директора Русского музея граф Д. И. Толстой (1992: 346–347), переживший такую же эвакуацию из Эрмитажа, вспоминает:

> «В Русском Музее Александра III шла тоже упаковка, но менее поспешная, а потому, нужно признать, более аккуратная. Во главе всей мобилизации, как тогда выражались, был поставлен А. А. Миллер, хранитель Восточного Отдела, которому Совет музея поручил главное заведование этим делом. Человек очень энергичный, отличный организатор и прекрасный работник, он лучше всех других мог с этим справиться. Картины укладывались в ящики с пазами, так что, безусловно, друг друга касаться не могли. Расположение этнографических коллекций было зарисовано так, что всякий предмет по возвращении мог

легко найти свое старое место. Если подумать, какой громадной работы стоило устроить выставку, почти уже готовую к обозрению, сколько в это ушло как научного, художественного, а также и чисто физического труда, то всякий поймет, как тяжело было заведующему Отделом и его товарищам разрушать собственное только что налаженное дело».

В 1919 г. Миллера (как бывшего офицера) снова призывают, на сей раз в Красную армию, но по ходатайству комиссара Русского музея (им был искусствовед Н. Н. Пунин) Миллеру разрешено в свободное от армейских обязанностей время заниматься музейными делами. В частности, нужно было вернуть из Москвы и разместить на прежних местах эвакуированные коллекции. В 1919 г. его избирают директором музея, каковым он остается до 1921 г. С 1922 г. он вновь сосредоточивается на Этнографическом отделе Музея и ведет в нем отделение Кавказа и Туркестана.

Начиная с 1923 г. он стал снова выезжать на Северный Кавказ для полевой работы. В 1925 г. провел снова несколько месяцев в Париже, занимаясь устройством Отдела СССР на Международной выставке.

Шарж Миллера, изображающий его с Оранжиреевой за оборудованием Белого зала Русского музея

Конечно, как видный работник Музея и других учреждений культуры и науки, Миллер участвовал в общей организации музейного дела в стране. Уже в 1919 г. он председательствовал на Музейной конференции и выступал там с докладами. В частности, он предлагал организовать в Петрограде археологический музей — инициатива, не сбывшаяся, не осуществленная до сих пор. В июле 1921 г. он в Твери участвует в съезде по организации музеев, в 1924 г. — в Москве на съезде краеведения. Вся эта музейная и этнографическая деятельность была только одной сферой занятий Миллера.

Второй сферой были археологические исследования. Ещё в 1918 г. его избрали членом поредевшей Археологической комиссии, а с самого начала создания вместо нее ГАИМК, с августа 1919 г., он вошел в состав этого нового учреждения. В ГАИМК он занимал одновременно целый ряд должностей: был председателем Этнологического отдела, заведовал разрядом палеоэтнологии, включавшим П. П. Ефименко, С. Н. Замятнина, С. Н. Теплоухова, возглавлял бюро аспирантов, входил в Комиссию по раскопкам, в дальнейшем (с 1929 г.) заведовал ещё и разрядом раннеметаллических культур, был заместителем председателя Комиссии по раскопкам и экспедициям, заведовал

Участники Северо-Кавказской экспедиции в станице Аксайской на Дону в 1928 г. А. А. Миллер — сидит крайний справа, а рядом А. П. Круглов. Выше, около дверей, Б. Б. Пиотровский с Ю. В. Подгаецким. У вторых дверей — П. И. Борисковский (без шапки), а ниже и правее видна голова Т. Н. Книпович. Крайние справа М. И. Артамонов (стоит) и А. А. Иессен

в секторе архаических формаций подсектором культур переходных к классовой структуре и т. д.

Он создал и возглавлял многолетнюю Северо-Кавказскую экспедицию ГАИМК. С этой экспедицией преимущественно были связаны его исследования, а их результаты регулярно печатались в «Сообщениях ГАИМК». Работы экспедиции шли по всему Северному Кавказу в широком смысле: на нижнем Дону, по среднему течению Кубани, в Кабардино-Балкарии, Осетии и Дагестане. Среди обследованных раскопками памятников выделялись Агубековское и Долинское поселения, могильник и курганы около г. Нальчика, копавшиеся в последние два года экспедиции. В итоге были выработаны основы периодизации для эпохи бронзы на Северном Кавказе. «Обстановка в Северо-Кавказской экспедиции была дружной, и её сотрудники продолжали совместно работать и зимой», — отмечал ее участник Б. Б. Пиотровский (2009: 55).

Кроме руководства Северо-Кавказской экспедицией, Миллер готовил и Волго-Донскую — он принял участие в археологических работах на трассе проектировавшегося Волго-Донского канала. Позже, в 1930–1931 гг., он возглавил и Таманскую экспедицию.

В экспедициях Миллера, по воспоминаниям Борисковского, царили строгие порядки и блюлась субординация, но не сословная, а по служебному старшинству: студент Пиотровский, хоть и из дворян, не мог есть за одним столом с аспирантами — Иессеном и Артамоновым (последний — из крестьян), а те не садились за один стол с профессором Миллером. Пиотровский в беседах с молодежью эту картину начисто отрицал, настаивая на демократизме Миллера. В ИИМК до меня доходили слухи, что такие порядки в экспедиции Миллера всё же были, но их насаждал не сам Миллер, а его помощница А. М. Оранжиреева, тоже дворянка (урожденная баронесса Розен), внучка крупного ученого-востоковеда. Это была весьма светская дама, свободно владевшая английским, немецким и французским (она же и многолетний агент НКВД, позже посадившая Хармса и состоявшая при Ахматовой).

Третья сфера занятий Миллера — это преподавание. Уже в 1918 г. Миллер начал преподавать в Петроградском археологическом институте, читая курс бытовой археологии. В 1920 г. он стал профессором по кафедре бытовой археологии, заведуя и кабинетами института. В августе 1922 г. Археологический институт был закрыт, а в Петроградском университете было открыто археологическое отделение в составе факультета общественных наук (ФОН). Там работали А. А. Спицын, П. П. Ефименко, Г. И. Боровка, И. И. Мещанинов, Б. В. Фармаковский,

И. А. Орбели и др. В кругу этих блестящих имен Миллер был вполне на месте. Он вел там семинары по методологии доисторической археологии и археологическим разведкам и раскопкам. Летом 1925 г. из состава ФОН был выделен факультет языкознания и материальной культуры (ямфак). И на нем с 1927 г. профессор Миллер вел практические занятия по археологии Северного Кавказа, используя материалы собственных раскопок. Читал он и курс по неолиту. Летом 1929 г. ямфак был преобразован в историко-лингвистический институт. Миллер состоял и в нем профессором кафедры доисторической археологии.

Можно заметить, что его преподавательская деятельность охватывала в основном археологию, а не этнографию. То ли дело в слабой постановке этнографического образования в тогдашней России, то ли Миллер чувствовал себя всё-таки больше археологом, чем этнографом. Однако с 1926 г. он читал и курс этнографии Кавказа в Ленинградском институте живых восточных языков (впоследствии это Ленинградский восточный институт), а также курс первобытного искусства в Институте истории искусств.

По воспоминаниям Б. Б. Пиотровского (2009: 42), лекции Миллера по первобытному искусству были очень интересными.

> «А. А. был прекрасный рисовальщик и очень точно рисовал изображения бизонов из пещеры Альтамира на доске. Он подходил к первобытному искусству как этнограф и по-новому раскрывал значение этих удивительных иллюстраций. Он давал мне свои конспекты на дом, и я с удивлением обнаружил на них зарисовки портретов, иногда гротескных, сотрудников Эрмитажа... Миллер внешне читал вяло, но очень содержательно и корректно». На семинарах по Кавказу «он был немногословен, давал четкие формулировки и не мог вести занятия без мела и доски. А. А. входил в аудиторию, снимал зимой мягкую шапку (а летом кепку) и, хмыкнув (это была его привычка), подходил к доске, что-нибудь рисовал и только после этого начинал говорить. Я отчетливо помню первую фразу занятий по Северному Кавказу: "В Нальчике был найден такой сосуд... хым..." (форма его рисовалась на доске), — и дальше шли сопоставления с другими материалами».

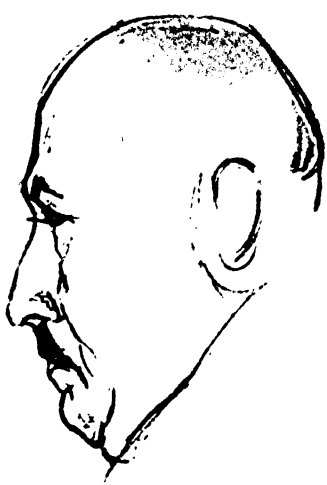
На его лекциях и в его экспедиции получили школу полевой работы М. И. Артамонов, А. А. Иессен, Б. А. Латынин, Б. Б. Пиотровский, Б. Е. Деген-Ковалевский, А. П. Круглов, Г. В. Подгаецкий, Е. Ю. Кричевский, отчасти С. Н. Замятнин, Т. С. Пассек, Т. Н. Книпович, П. Н. Шульц.

Даже если бы его деятельность в археологии сводилась только к тому, что он воспитал такое блестящее созвездие имен, этого было бы достаточно, чтобы обеспечить ему место в истории науки.

Но он еще и ввел в нее строгую методику полевой работы. При всем том он успевал бывать в театрах, был завсегдатаем филармонии.

Вообще же публиковал он свои результаты скупо и редко, всё небольшие заметки. В 1932 г. по предложению редакции «Сообщений ГАИМК» опубликовал теоретико-методическую статью «Приемы датировки археологических памятников». В 1933 г. сделал доклад о развитии древних обществ на Северном Кавказе. В докладе пытался рассмотреть развитие по «стадиям», понимая этот термин как этап в хозяйственном прогрессе — от собирательства и охоты к земледелию и мелкому скотоводству, а от них — к скотоводству крупному, соответственно, от материнского рода к патриархальной семье. Свои концепции более подробно изложить не успел.

3. Гибель. В 1930 г. в обстановке арестов, «чисток» и увольнений Равдоникас вызвал на соцсоревнование многих ведущих археологов ГАИМК, оставшихся в штате. В этом вызове им предлагалось выступить с критикой и разгромом («классовым анализом») основных традиционных школ археологии на манер только что прозвучавшего и напечатанного доклада Равдоникаса. Миллеру Равдоникас не решился предложить нечто подобное. От него Равдоникас ожидал только разработки «критической, социологически обусловленной методики раскопок». Получив эту бумагу, Миллер порвал ее и использовал на «обхваточки», или «обложечки», для мелких документов (счетов, квитанций, справок) Таманской экспедиции. Так вызов и сохранился в архиве (Паромов 2010). Но книгу о методике Миллер всё-таки сделал. То ли прислушался к Равдоникасу, то ли Равдоникас, зная о ее подготовке,



А. А. Миллер — рисунок М. В. Фармаковского

послал Миллеру свой вызов наверняка — как у Экзюпери Король, посещенный Маленьким Принцем, посылал приказы солнцу взойти.

Книга вышла посмертно.

В начале 1933 г. Миллер был премирован приказом по ГАИМК за четкое выполнение многих сверхплановых работ, высокую трудовую дисциплину и т. п. Но 9 октября того же года он был арестован. Ареста можно было ожидать. В 1930–1934 гг. Русский музей подвергся разгрому. Были арестованы по так называемому «делу славистов» многие этнографы и все (!) работавшие там археологи. Обвиняли их в принадлежности к выдуманной следствием «Российской национальной партии», якобы готовившей свержение советской власти (Ашнин и Алпатов 1994). Арестованный ранее академик С. Ф. Платонов на допросе 15 января 1930 г. якобы показал, что в 1925 г. возник нелегальный кружок «Новый Арзамас» и что его создание связано с борьбой за то, чтобы сохранить «былые традиции» в Археологическом институте в период его советизации. «В группе активных защитников "былых традиций" Института можно было видеть... А. А. Миллера (сейчас р[а]б[отает] в Русском Муз[ее]...» (Академическое дело 1993: 35).

На основании сфабрикованных показаний А. А. Миллеру предъявили обвинение в том, что он

> «...будучи завербован в контрреволюционную, фашистскую организацию, входил в ячейку при Этнографическом отделе Гос[ударственного] Русского Музея. Систематически выезжал по заданию Центра организации на Северный Кавказ для собирания необходимых организации сведений о политических настроениях крестьянства национальных районов и для ведения фашистской агитации и пропаганды среди них, руководил молодежной ячейкой организации, установил во время заграничных командировок личные связи в контрреволюционных целях в рядах белоэмигрантских деятелей, в том числе с крупным сотрудником контрразведки Минорским, и информировал последних о внутриполитическом положении на Северном Кавказе».

Это были преступления, предусмотренные статьей 58–6, 10, 11 УК РСФСР. 29 марта 1934 г. Коллегией ОГПУ А. А. Миллер был осужден к 5 годам лагерей, а 2 апреля Особое совещание при Коллегии заменило лагеря ссылкой в Казахстан. Но затем, видимо, приговор бывшему офицеру был кем-то восстановлен, и Миллер все-таки оказался в карагандинском лагере. Через год, 12 января 1935 г., он умер от паралича сердца (справки Управления АФБ РСФСР по

Санкт-Петербургу от 17 декабря 1991 г. и 28 февраля 1992 г. — цит. по Решетову 2001: 15). По М. А. Миллеру, сотрудники НКВД своими злоупотреблениями довели его брата до смерти (Miller 1956: 97), но откуда у Михаила Миллера эти сведения — неизвестно. А. А. Миллер погиб на 60-м году жизни.

Проработавший документацию ГАИМК А. М. Решетов (2001: 16) привел черствый документ советской бюрократии, составленный 3 февраля 1935 г., когда в ГАИМК узнали о смерти ученого. Бухгалтер посылает по инстанции следующую бумагу:

> «С 1933 г. за бывшим членом Академии числится остаток подотчетных сумм после работы в Северо-Кавказской экспедиции в сумме 274 (руб.) 34 (коп.), каковые не удалось взыскать своевременно из-за ареста и ссылки. Ввиду полученных сведений о его смерти, ГАИМК просит Планфинотдел разрешения списать означенный долг А. А. Миллера за счет расходов прошлых лет».

Но ученики и коллеги хранили благодарную память о Миллере, и можно с удивлением отметить три акта этой признательности, прошедшие, как ни странно, безнаказанно.

В 1934 г., когда Миллер уже был арестован как антисоветский подпольщик, написанная им в 1932 г. книга о методике разведок вышла в свет как 83-й выпуск Известий ГАИМК и поступила в продажу! Это в то время, когда имена «врагов народа», изъятых из общества, заливались черным в книгах, а на фотоснимках их изображения вырезались ножницами! В 1935 г., когда пришло в Ленинград известие о смерти Миллера в лагерях, археологи собрались на квартире у академика Мещанинова помянуть коллегу, и Равдоникас произнес прочувствованную речь о заслугах Миллера перед наукой (Платонова 2002: 275–276). Это в год сразу после убийства Кирова, когда в Ленинграде шли повальные аресты!

Более того, в 1941 г. вышел том Материалов и исследований (МИА 3) под редакцией М. И. Артамонова (Материалы 1941), среди авторов которого почти все были учениками Миллера. В предисловии было черным по белому написано:

> «Изучение археологии Кабардино-Балкарии стало одной из основных задач Северо-Кавказской экспедиции ГАИМК. Археологические исследования на территории республики производились ГАИМК с 1924 по 1933 гг. под руководством проф. А. А. Миллера. Экспедиция поставила перед собой следующие задачи: выявление и исследование древних поселений,

> совершенно неизвестных до тех пор на Северном Кавказе; всестороннее комплексное изучение ранних культур в тесной увязке археологических, этнографических и иных источников: установление относительной периодизации памятников центрального Предкавказья... Основным успехом Северо-Кавказской экспедиции надо признать построение и твердое обоснование относительной периодизации изученных ею памятников».

Многое удалось сталинским палачам — они убили сотни тысяч и сгноили миллионы в лагерях, но всех запугать и свести к подлой и дрожащей твари не вышло. По крайней мере в археологии. Один из биографов, Я. М. Паромов (1993: 31), расценивает это издание «как памятник учителю, воздвигнутый его учениками, или как маяк, освещающий нам прошлое».

Младший брат Александра Миллера Михаил, бывший профессором археологии в Ростове-на-Дону, вынужден был от него отречься. Но во время войны остался на оккупированной территории и ушел с немцами в Германию. В Мюнхене в 1954 г. опубликовал на нескольких языках пресловутую книгу «Археология в СССР», откровенно рассказав о бедствиях археологов в условиях диктатуры, а в 1958 г. напечатал в Мюнхене краткий некролог о брате (Миллер 1958).

Подстреленный на взлете

Б. С. Жуков

Людей теряют только раз,
И след, теряя, не находят...

Геннадий Шпаликов.
Прощай, Садовое кольцо.

1. Взлет. Из погубленных советской властью талантливых археологов двое — один ленинградский, другой московский — в сущности, возглавляли новое направление в археологии — палеоэтнологическое. В Ленинграде это был Миллер, в Москве — Жуков. Каждый из них оставил целую плеяду выдающихся учеников, фактически элиту советской археологии. Жуков был особенно близок Формозову, потому что был хорошо знаком с его отцом, сотрудничал с ним, а ученики Жукова, став известными археологами, покровительствовали первым шагам Александра Александровича в науке. Поэтому Формозов собрал все, какие мог, сведения о Жукове и написал обобщающую статью. Она облегчает мне изложение биографии Жукова.

Борис Сергеевич Жуков (1892–1933) — интеллигент из Нижнего Новгорода. Дед и отец его были журналистами, издавали самую большую в Новгороде газету «Волгарь». Газета была либерального направления — не черносотенного (такие в Нижнем были) и не революционно-демократического. Люди были состоятельные и, по-видимому, за свою общественную деятельность получили потомственное дворянство.

Когда в 1907 г. неподалеку от города у станции Сейма обнаружили древние бронзовые вещи, давшие название сейминской культуре, Борису Жукову было 15 лет. С этого ли времени он заинтересовался археологией, неизвестно, но через несколько лет он уехал в Москву и поступил в университет, где его научным руководителем стал профессор Анучин, географ и антрополог в широком смысле. А через

10 лет, в 1917 г., студент Жуков не вмешивался в революционные события, а занимался обследованием Балахнинской стоянки. Статья его об этом помещена в «Русском Антропологическом Журнале» за 1922 г. В 1918 г. 26-летний Жуков окончил естественное отделение физико-математического факультета (у Формозова ошибочно этим годом датировано поступление Жукова в Университет).

Глава учрежденной в этом же году кафедры антропологии академик Анучин специализировал его по палеоэтнологии, как он именовал первобытную археологию в комплексе с этнографией и антропологией, и оставил при кафедре «для подготовки к профессорскому званию» — по-нынешнему, в аспирантуре. На кафедре стали преподавать три анучинских ученика: антрополог Виктор Валерьянович Бунак, этнограф Борис Алексеевич Куфтин и археолог Борис Николаевич Жуков. В 1923 г. Анучин умер, и его нагрузка легла на эту троицу. Преподавание на кафедре Жуков совмещал с работой в Музее народовения.

Троица жила не очень дружно. В 1923 г. Жуков с помощью Куфтина начал копать Льяловскую стоянку (подручными были студенты Бадер, Воеводский и Горюнова). Сразу же после раскопок Куфтин поспешил опубликовать два сообщения о раскопках. Уязвленный Жуков отстранил Куфтина от дальнейших раскопок и опубликовал о них свой отчет. Куфтин связывал Льялово с памятниками Окского бассейна, Жуков — с прибалтийскими, причем более ранними. Между ними разгорелась полемика, с языка сыпались попреки в ошибках и неточностях.

По этому поводу Формозов (2007а: 129), дожив до восьмидесятилетия, замечает: «Увы, так нередко бывает в мире науки. Читая эти статьи через восемьдесят лет, недоумеваешь, стоило ли двум почтенным ученым горячиться из-за сущих пустяков. Но разве и мне самому не случалось расстраиваться из-за событий не более крупных?» Ну, тогда эти ученые еще не были в почтенном возрасте. Куфтин был неуживчив и болезненно честолюбив, Жуков — решителен и властен.

До рубежа 30-х гг. Жуков прошел быстро ступени аспиранта, ассистента, доцента, ученого секретаря и замдиректора Научно-исследовательского института антропологии Московского университета. Он очень много работал, недосыпал, организовывал коллоквиумы и конференции, создал палеоэтнологическую лабораторию. Достойный ученик Анучина, он был против обособления археологии как самостоятельной исторической науки, как предлагали ученики

Городцова, за развитие междисциплинарных, как тогда говорили, комплексных исследований. Его Ветлужская экспедиция (1925–1926 гг.) была предшественницей комплексных экспедиций С. П. Толстова.

Жуков очень заботился о развитии точной методики археологических работ — заказал в типографии карточки для единообразной фиксации материала (подобно Рейснеру и Киддеру), применял для обмеров керамики краниологические инструменты, вводил статистику.

Он критиковал «хронологическую классификацию» Городцова за искусственно нарезанные хронологические рубежи, которыми рассекаются однотипные культуры. Сам Жуков относил к бронзовому веку все культуры с бронзовыми орудиями без железных вне зависимости от времени. Он был более последовательным формалистом, чем Городцов (но и ближе к эволюционизму — те тоже так трактовали синстадиальность). А Городцов как типичный диффузионист считал, что важнее соединить в одном периоде все культуры, способные контактировать, то есть одновременные. Это уже отмечено выше, в очерке о нем. У него в бронзовом веке оказывались и культуры, не имевшие металла, если в это время металл уже существовал в другом месте, пусть и далеко: ведь оттуда шли культурные влияния, и они связывали период в единое целое для Городцова.

Б. С. Жуков, глава Московской палеоэтнологической школы

2. Парение. Лекции его пользовались большим успехом. Их посещали не только студенты кафедры, естественники, но и ученики Городцова, прибегавшие с факультета общественных наук. Так, О. Н. Бадер и А. В. Збруева учились у Городцова, но считали себя учениками Жукова. М. В. Воеводский вообще не кончал вуза, но посещал лекции Жукова и стал его близким сотрудником. А. Е. Алихова, Е. Н. Горюнова, М. В. Талицкий,

С. П. Толстов и другие — все они слушали Жукова и воспринимали его взгляды.

В 1924–1925 гг. Жуков выпустил много научно-популярных брошюр и статей, просвещающих массы. Эта задача ставилась руководством, и у издателей был спрос на такую литературу. Но Жуков стремился к исследованиям. После введения нэпа в условиях, когда еще не была установлена жесткая централизация, многие местные музеи обладали средствами на разведки и раскопки. На них и опирался Жуков, развернув деятельность во многих областях Центральной России.

В 1925–1926 гг. он возглавил Комплексную экспедицию по Центральной Промышленной Области, в частности по бассейну Ветлуги. Это он открыл Балахнинскую, Льяловскую, Поздняковскую, Волосовскую стоянки, ставшие впоследствии эпонимами культур. Многое из его открытий осталось неопубликованным, потому что тогда не было достаточно изданий.

Формозов выделяет в полевой деятельности Жукова пять новаций:

1) периодизация и классификация памятников позволила ему уточнить культурную принадлежность памятников: те, которые считались сплошь неолитическими, оказались разными — от мезолитических до бронзового века;

2) Жуков выделял не археологические культуры, как Городцов, а хронологические пласты — Льяловский, Волосовский и т. п., нечто типа горизонтов, но протяженных во времени;

3) раскопки поселений велись не шурфами и траншеями, а широкой площадью, выявляя и планировку поселка;

4) внимание массовому материалу, особенно керамике, выливалось в обработку по специальной программе;

5) Жуков стремился рассматривать свои материалы на широком культурно-историческом фоне, захватывая и соседние области и страны.

Итоговая статья о результатах Жукова за 20-е гг. появилась в журнале «Этнография» в 1929 г. и одновременно во французском переводе в журнале «Eurasia septentrionalis Antiqua» (издавался А. М. Тальгреном в Хельсинки). Подобно созданной раньше периодизации минусинских древностей С. А. Теплоухова, периодизация Б. С. Жукова привела в систему эталонные памятники и типы, а это упорядочило огромный материал, построив хронологические колонки.

В созданном Жуковым новом музее — Музее Центральной Черноземно-Промышленной области — были собраны коллекции, добытые его экспедициями. Заведовать археологическим отделом в нем стал О. Н. Бадер. На базе этого музея Жуков собрал в 1926 г. совещание по палеоэтнологии ЦЧПО. В 1928 г. было созвано второе совещание.

К концу 1920-х гг. Жуков, по впечатлению Формозова, оказался одной из центральных фигур в советской науке о древностях. В 1925 г. Жуков опубликовал критическую рецензию на книгу Городцова «Археология. Каменный период». В 1926 г. Городцов подал в отставку с поста заведующего археологическим подотделом Музейного отдела Главнауки при Наркомпросе СССР, и его сменил Жуков. В 1927 г. в юбилейном сборнике к десятилетию Октябрьской революции раздел «Археология» заказали именно ему, а не Спицыну или Городцову. Ученики Городцова рассматривали это как травлю их учителя. Но это была не травля под флагом идеологии и политики, а конкуренция школ, продвижение новых научных идей. Молодой научный лидер теснил старого.

За короткое время Жуков создал обширную школу, блистающую именами: археологи О. Н. Бадер, М. В. Воеводский, Е. И. Горюнова, Г. П. Сосновский, М. В. Талицкий, А. В. Збруева, А. Е. Алихова, этнографы С. Ф. Преображенский и С. П. Толстов, антропологи Т. А. Трофимова, Г. Ф. Дебец, Н. Н. Чебоксаров. Ученики вспоминают его как знатока искусства, завзятого театрала и хорошего семьянина.

В конце же 20-х гг. интересы Жукова расширились. Он занялся крымскими мезолитическими стоянками, палеолитом Брянщины, дольменами Кавказа. «Всё сулило новый взлет в деятельности ученого», — резюмирует Формозов. Но нельзя представлять себе деятельность Жукова как сплошной праздник творчества. Были и противники его взглядов. Известно, что ученики Городцова провели диспут с учениками Жукова, чья линия вернее выражает суть марксистской науки. А тучи сгущались над обеими школами. Формозов особенно выделяет «выдвиженцев», которым любые научные взгляды были чужды, а единственным гласом правды были лозунги партийных лидеров.

Он цитирует стихи памяти Жукова, написанные еще в 30-е гг. А. А. Потаповым, сотрудником Музея народоведения (он умер в 1938 г.):

То были дни кипенья и борьбы,
И творческой, и радостной работы.
Кругом стеной бараньи перли лбы.
Кругом стояли идиоты.

3. Гибель. В 1929 г. 37-летний ученый поехал по научной командировке в Германию и Францию, а оттуда в Скандинавию и Финляндию — тогда это немногим доставалось, но могло оказаться не ко времени: по возвращении можно было попасть под арест, быть обвиненным в шпионаже и отправленным в лагерь. Бадер, который ошибочно датировал арест Жукова 1929 г., так и считал, что это результат пребывания за границей. Но до ареста Жукова прошло два года: он был арестован только в 1931 г.

Могли быть поставлены в вину участие в иностранных изданиях и переписка с иностранными учеными. Жуков интенсивно переписывался с Тальгреном, а Тальгрен стал выражать в печати возмущение по поводу преследования в Советском Союзе известных ученых, в частности Жебелева. Но в последних письмах Жуков оговаривал свое участие в издании, как и все советские авторы, отсутствием антисоветских статей, переписывался уже только через подконтрольные советской власти организации, а после 1929 г. переписку прекратил.

Формозов занялся выяснением причин ареста Жукова. В 1931 г. многих арестовали по так называемому «Академическому делу» — около 150 ученых: историков, филологов, археологов. Процесс шел в Ленинграде, но захватил и московских ученых, например профессора Готье. Однако Жукова с ними не связывали, судили отдельно.

В 1930 г. вышла пресловутая брошюра В. И. Равдоникаса «За марксистскую историю материальной культуры», где Жуков был заклеймен как проповедник «биологизации» археологии. Назревал разгром палеоэтнологического направления. Но Миллер, Бонч-Осмоловский, Теплоухов, Грязнов и другие археологи в основном из Русского музея были арестованы в 1933 г. и шли по так называемому «Делу славистов». Жукова в нем не было.

В биологизации естественно было обвинить антропологов и этнографов. В музее антропологии МГУ и музее народоведения многие были репрессированы, под следствием Куфтин. Но они были затянуты по разным поводам, и Жуков не проходил с ними по одному делу.

Когда искусствовед И. Л. Кызласова в поисках документов о судьбах исследователей русского и византийского искусства получила допуск к архивам ФСБ, она получила дело, по которому проходил и Жуков. Вместе с ним судили искусствоведов (Г. Л. Малицкий, Н. Р. Левинсон) и реставраторов (П. И. Юкин, Г. О. Чириков, М. С. Лаповский). Все они связаны с музейным делом, с музейной службой. Это было дело, затеянное для разгрома краеведения, сети музеев. Ностальгия по старине рассматривалась как сопротивление советским новациям,

меры по охране памятников, в частности храмов, — как поддержка религии, возражения против государственной продажи ценностей культуры из музеев за рубеж — как вредительство.

Участник жуковской экспедиции С. П. Толстов переметнулся на сторону гонителей музейного дела и традиционного краеведения. Войдя в состав созданного в 1930 г. Общества краеведов-марксистов, Толстов обрушился с грубой критикой на традиционных краеведов, на возникшие после революции музеи. Они собирают предметы дворянского быта — ясное дело, тоскуют по старой России; они собирают крестьянскую утварь — это пропаганда кулачества, и т. д. Формозов пишет: «О. А. Кривцова-Гракова говорила мне, что виновником ареста Б. С. Жукова был С. П. Толстов. Не хотелось в это верить. Сейчас, лучше зная реалии той эпохи, я допускаю, что это возможно».

Не имея достоверных данных, утверждать это нельзя. Ясно лишь, что Толстов был на стороне властей. Но и очень уж точное выяснение причин ареста тоже не совсем разумно. Это скорее не причины, а повод. Ведь в мясорубку репрессий попадали и совершенно случайные люди, без всяких конкретных причин. Причины были общие — террор, принадлежность к определенным категориям, подлежащим искоренению или прореживанию, или просто не повезло. Остальное — дело теории вероятности. Ведь если бы преданность советской власти и коммунизму спасала от ареста — так нет же! Можно было всячески стараться угодить, даже поступить в палачи — и всё же оказаться в лагерях или в братской могиле с пулей в черепе.

После ареста в скорости был суд. 23 августа 1931 г. коллегия ГПУ обвинила Жукова по статье 58, пункты 11 и 12 УК РСФСР. Пункт 11 — организационная деятельность в пользу контрреволюции или участие в контрреволюционной организации. Пункт 12 — недонесение о контрреволюционной организации. Жуков был осужден на три года исправительно-трудовых лагерей и отправлен в Сиблаг, в Кемеровскую область. Типографский набор первого тома Ветлужской экспедиции был рассыпан. Музеи (народоведения и ЦЧПО), где работал Жуков, закрыты, а коллекции переданы в другие музеи. Музей антропологии МГУ сохранился. Жуков умер, не вернувшись в археологию, а имя его надолго вычеркнуто отовсюду. Реабилитирован в хрущевское время.

Обстоятельства его смерти точно неизвестны.

Среди археологов распространено убеждение, что он умер на Алтае в 1933 г. 29 мая. Но его шурин П. Н. Башкиров, сотрудник Музея антропологии, рассказывал, что Жуков был освобожден, прибыл

в родной Нижний Новгород, искупался в Волге и схватил воспаление легких, от которого скончался. В деле же сведения другие. Формозов передает, что по приказу ОГПУ 29 мая 1934 г., то есть через два года и 4 месяца после приговора, Жуков был освобожден, и в тот же день умер в Алма-Ате. Значит, жил к тому времени уже не в лагере, а «на поселении» — в ссылке? Там были в ссылке Е. В. Тарле, Ю. О. Домбровский и др. Но что за странное освобождение? В один день и освобождение, и смерть. В этом случае он умер не на свободе — приказ еще нужно было получить и реализовать. Нет ли здесь сбоя в передаче даты от дела к Кызласовой или от нее к Формозову?

А вот в сводке о востоковедах (Васильков и Сорокина 2003) сведения опять же другие: освобожден по приказу ОГПУ от 23 июля 1933 г. Мог доехать до Новгорода, искупаться в родной Волге и умереть на родной земле. Почти год прожил на свободе. Правда, это был год, в который шли повальные аресты коллег: Миллер, Бонч, Теплоухов, Грязнов... Возвращаться быстро в археологию не было смысла, да и побоялись бы там принимать. Куфтин в 1933 г. — подследственный, Толстов — искореняет музеи... Кроме того, очень велика вероятность того, что смерть избавила Жукова от повторного ареста — судьбы многих освобожденных.

Формозов сетует на то, что до сих пор многие открытия Жукова приписывают тем, чье имя позже связано с их возвращением в науку. Особенно он негодует на забвение жуковских идей А. Я. Брюсовым и его школой, долгие годы доминировавшими в изучении неолита лесной полосы Европейской части СССР. Жуков в свое время установил, что волосовский тип памятников — не узко локальное явление, а широкое, охватывающее огромную лесную территорию, а льяловской культуре предшествуют памятники с гребенчато-накольчатой керамикой. Брюсов же свел волосовскую культуру к узкой территориальной группе, а подстилающие льяловскую культуру памятники вовсе игнорировал. Ныне эти представления Жукова восстанавливаются, пора восстановить и имя того, кто выдвинул эти идеи.

Видимо, к идеям Жукова еще не раз будут возвращаться.

Ольвия поквадратно

Б. В. Фармаковский

Родился мальчик в тихом городке —
В Симбирске,
Что на Волге на реке...

Еще никто не знал в тот день и час,
Кем будет он.
Кем вырастет для нас...

С. Михалков. На родине Ленина.

1. Вводные замечания. Как ни странно, о Фармаковском археологи-первобытники и медиевисты у нас очень мало знают, работ его не читали, о достижениях его что-то слышали и забыли. Между тем для античных (специалистов по классической археологии) это фигура культовая (Блаватский 1948; Болтенко 1928; Жебелев 1929; Карасев 1976; Кобылина 1976; и др.). Все три основные школы археологов-античников Советского Союза — ленинградская, московская и киевская — основаны им и его учениками, начались в его Ольвийской экспедиции (Кошеленко 2004: 269). На рубеже XX века он перенес в археологию дореволюционной России кабинетную и полевую методику, выработанную в странах, тогда лидировавших в классической археологии: Германии, Англии, Франции и Италии. По масштабу, размаху работ тогдашняя российская археология не могла сравниться с европейскими государствами, копавшими у себя и на территориях всего Средиземноморья, занятых античными памятниками, но по уровню исследований работы Фармаковского были с европейскими сравнимы.

А поскольку в ряде отношений античная археология была в те годы образцом для других отраслей археологии, работы Фармаковского были поучительны для всей отечественной археологии.

Монографическая разработка биографии Фармаковского есть только одна (Фармаковская 1988), она сделана его женой и основана на его письмах родным, соответственно, подробно освещено его пребывание в отъездах, более скудно — дома и на работе. Зато письма использованы весьма полно, и здесь я воспользуюсь этим.

2. Воспитание. Фармаковские — фамилия семинаристская, из тех фамилий, которые давались семинаристам, образуясь из греческих корней взамен русских. «Фармакон» — по-гречески: зелье, т. е. лекарство или яд. Значит, фамилия по смыслу близка к Зельин, Ядов и т. п. Принадлежность предков Бориса Владимировича к духовному сословию подтверждается тем, что дед будущего археолога был преподавателем духовной семинарии и знатоком древних и новых языков, писателем и деятелем народного образования в Вятской губернии. Отец археолога Владимир Игнатьевич тоже окончил духовную академию и работал в Вятской духовной семинарии преподавателем истории и словесности в женской гимназии, занимался также переводами, а затем был избран мировым судьей.

Младшие его братья не пошли по отцовской линии. Они поступили один в Военно-хирургическую Академию, другой — в Петербургский университет и привлекались к следствию по «Процессу 193-х» — судилищу над народниками в России конца 70-х. В доме распевались революционные песни, и верноподданнического духа не было и в помине.

Жена Владимира Игнатьевича (мать археолога), Клавдия Арсеньевна, как и муж, совершенствовалась в иностранных языках, музыке и живописи и всему этому обучала своих детей. Немецкий и французский Борис знал с детства, английский учил потом. Борис был первенцем, он родился в 1870 г. Всего у Фармаковских было четверо детей — у Бориса был брат, Мстислав, также связавший свою жизнь с археологией, и две сестры.

Когда Борису было 7 лет, отец получил назначение на должность инспектора народных училищ Симбирской губернии. Директором училищ был тогда Илья Николаевич Ульянов, отец Ленина. Скоро обе семьи очень близко сошлись. Сдружились и дети. Особенно сверстники: Володя Ульянов и Боря Фармаковский. Часто они играли в индейцев и переписывались тайными знаками — «тотемами». Они провели вместе пять лет — с семилетнего возраста до 12-летнего. В 1881 г. Фармаковский-отец получил повышение — сам стал директором народных училищ, но в Оренбургской губернии. Семья

переехала в Оренбург. Переписка «тотемами» некоторое время продолжалась, потом угасла.

Еще через 4 года Владимира Игнатьевича перевели ректором народных училищ в Херсонскую губернию, и семья переехала в Одессу. Там Борис поступил в Ришельевскую гимназию — лучшую в Одессе — и, окончив ее с золотой медалью, поступил там же в 1887 г. в Новороссийский университет на историко-филологический факультет. Музыке Борис начал обучаться у матери, но, будучи в Университете, он занялся музыкой серьезнее (некоторое время брал уроки у Антона Рубинштейна!). Однако основным его интересом был комплекс: классическая археология, искусство и древние языки (латынь и греческий). Филологию изучал у профессора Э. Р. фон Штерна, впоследствии эмигрировавшего в Германию, у проф. А. А. Павловского — историю искусства, а историю Византии — у Ф. И. Успенского (впоследствии академика). Наибольшее влияние на него оказал питомец Дерпта и Лейпцига фон Штерн, выдающийся ученый с разнообразными интересами.

Узнав, что в церковном хоре поет девушка с изумительным голосом, он поспешил познакомиться с ней, привел ее домой, и она стала его невестой. Это была Антонина Нежданова, впоследствии прославившаяся как певица. Борис Фармаковский великолепно играл на рояле и был отличным аккомпаниатором Неждановой. Однако брак не состоялся. Они расстались друзьями.

В 1890 г. Борис Фармаковский на собственные средства посетил Афины и Константинополь (он обычно не называет его по-турецки: Стамбул). В Константинополе познакомился со Шлиманом, к работам которого всегда относился скептически. В том же году Шлиман умер, а Фармаковский окончил Университет и был оставлен при нем для подготовки к профессорскому званию, но стипендии для этого не получил (как сын состоятельных родителей). Поэтому на лето он нанялся репетитором в имение Львовых Чернятино Подольской губернии. Относились к нему хорошо, но ему, привыкшему к труду и учебным занятиям, образ жизни магнатов не нравился: пустота, безделье и высокомерие.

По ходатайству Новороссийского университета Б. Фармаковский получил от министерства просвещения двухгодичную командировку в Грецию, но не как обучающийся, а как репетитор детей русского посланника в Афинах К. М. Ону. Сотрудники Ону были в общем плохо подготовлены, тогда как Фармаковский имел блестящее образование и был хорошо воспитан. Он быстро усваивал правила поведения

в светском обществе. В то же время поручения дипломата составить ту или иную бумагу и сопровождать его на тот или иной раут, а также занятия русским с дочерьми Ону оставляли много свободного времени, а экскурсии с Ону по всей Греции и в другие европейские государства предоставляли Фармаковскому отличные возможности ознакомления с археологическими центрами и памятниками Греции. Для путешествия в Дельфы Ону предоставил ему даже небольшой военный корабль.

Молодой Фармаковский познакомился и сдружился с опытным археологом Вильгельмом Дёрпфельдом, помощником Шлимана, слушал его лекции, ездил с ним по Греции — побывал в Олимпии, Дельфах, объездил Пелопоннес. Также он слушал лекции профессора Вольтерса, профессора Кембриджского университета Вальдштейна, главу французской Археологической школы в Афинах Омолля, директора Английской археологической школы Сесила Смита (который по зимам уезжал в Лондон и был в руководстве Британским музеем). На второй год в Афины съехались и другие русские молодые стажеры — В. К. Мальмберг, Е. М. Придик, Я. И. Смирнов, М. И. Ростовцев. А Фармаковский получил продление своей командировки еще на год. За эти три года он сделал несколько докладов на иностранных языках, подготовил свою магистерскую диссертацию, выпустил несколько статей.

Б. В. Фармаковский в Ольвии

Одним из впечатлений от трехлетнего пребывания за границей было чувство унижения из-за отставания русской науки не по вине ученых. Поражал разительный контраст.

> «Иностранные профессора <...> живут <...> роскошно, получают громадные деньги. У Омолля, например, обстановка, как у Ону. Здесь, в Афинах, воочию вижу, как низко ценят у нас в России служителей просвещения! <...> А как прекрасно обставляются командированные французским правительством молодые люди, будущие профессора! У них всё готово: квартира, стол, кроме того, они получают большие оклады. А у нас? У нас даже когда человек на свои средства хочет поездить на классическую почву для занятий, то ему делают всякие задержки и препятствия. Как же требовать, чтобы мы, русские, создавали бы в науке то, что иностранцы?! <...> До сих пор на наших русских археологов смотрели с презрением, как на оборванцев, которыми отчасти русские и являются в сравнении с иностранными учеными».

И дальше:

> «Русский профессор за границей, получая нищенское содержание <...>, никогда не может стать на одну ногу с иностранцами, которые и смотрят на русского "профессора" подозрительно, как на профессоров магии и т. п.» (Фармаковская 1988: 44–45).

Приводя эти строки, Я. А. Шер в 2009 г. сетует, что в Советском Союзе всё обстояло так же, как в России. На деле обстояло значительно хуже — с унизительным делением на «выездных» и «невыездных», с проверочными парткомиссиями, с сопровождающими «искусствоведами в штатском», с секретными предписаниями, на что можно тратить за границей деньги, с необходимостью запасаться справками о том, что более дешевых номеров нет, с вычетами из суточных после отеля с оплаченным завтраком и т. д. Да и зарплаты дореволюционные («нищенские») и советские просто несравнимы, а нынешние, кстати, недалеко ушли от советских.

3. Начало раскопок Ольвии. В 1896 г. Археологическая комиссия предложила Фармаковскому возглавить раскопки в Ольвии. Это было признание того, что он после стажировки у мировых светил и в результате собственных усилий достиг высшей квалификации. Предстояло изменить методику работы в Ольвии, а теперь Фармаковский мог это сделать. Вдобавок Фармаковский по совету отца просил своего учителя фон Штерна взять это дело на себя, от чего

фон Штерн, разумеется, отказался (не ему же предложено!). Тогда Фармаковский попросил Штерна и своего предшественника в Ольвии Ястребова дать советы по ведению раскопок и получил их. После чего приступил к работе.

Объект достался ему чрезвычайно трудный и ответственный. Ольвия вся была изрыта грабительскими раскопками местных крестьян села Парутино. Их ежедневные массовые самовольные и грабительские раскопки продолжались. Везде нужно было ставить солдат на стражу. Поэтому выявить части города было чрезвычайно затруднительно. Население относилось к археологам враждебно: его лишали главного и самого доходного промысла. Фармаковский раскапывал и разграбленные могилы: ведь нужно было установить структуру могил и обряд погребения.

Родителям он писал:

> «Работы начинаются в 4 утра. <...> После чаю опять иду копать, остаюсь на работах до 12 часов, затем обед и отдых до 21/2, с 21/2 до 71/2 опять работы. Придешь после 12 обедать: надо писать дневник работы, описывать найденные вещи, упаковывать их и т. д., и т. д. То же самое вечером после работы. <...> А сколько было также хождения по начальствам в Одессе, Очакове! Страсть!» (Фармаковская 1988: 70).

Отчет Фармаковского произвел наилучшее впечатление на Археологическую комиссию.

4. Объезд Европы и Константинополь. На исходе лета того же года Фармковский был отправлен министерством просвещения в научную командировку за границу с целью сбора материалов для диссертации по истории древнегреческой живописи. Скульптура Греции у всех на слуху, о греческой живописи известно значительно меньше. Но живопись греков (Фармаковский интересовался Полигнотом) до нас не дошла. Приходится изучать ремесленную версию — вазовую живопись.

Изучать микенские фрески и греческую вазовую живопись Фармаковский начал в берлинских музеях. Оттуда поехал в Лондон («Наконец я в столице мира!»). В Британском музее он обратился прямо к своему афинскому знакомому Сесилу Смиту. Тот сразу же оказал содействие. В ноябре прибыл в Оксфорд к профессору Гарднеру, занимавшему кафедру классической археологии. Мать он просит письмами продать его золотую цепочку и медали, чтобы суметь потратиться на дальнейшие поездки. Посетил Париж, занимается там

в Лувре, посещает лекции и доклады, знакомится со знаменитым археологом Саломоном Рейнаком. Не пропускает и оперных спектаклей. Затем отправляется в Италию — Милан, Болонья, Флоренция, Рим, Неаполь, Помпеи.

За эту поездку он осмотрел и занес в свои записные книжки 20000 греческих ваз. Это материал для диссертации.

В мае 1896 г. он сообщал родителям, что всё еще в Риме, занимается в библиотеке Германского археологического института.

> «Моя работа такова, что требует разных редких изданий, особенно итальянских, которые все налицо здесь и которых не найдешь нигде. Кроме того, работать здесь так хорошо; сам берешь книги в неограниченном количестве. Разрешили мне приходить в библиотеку и тогда, когда она закрыта. Беру ключ у швейцара, отпираю и распоряжаюсь, как дома» (Фармаковская 1988: 88).

Предстояло возвращение. Мать писала ему из дому: «Боимся только, что тяжело тебе покажется в нашей матушке России» (Фармаковская 1988: 89).

В матушку Россию Фармаковский вернулся в июле 1897 г. Он мечтал остаться в Петербурге, но ни он, ни Я. И. Смирнов назначения на работу не получили. Подрабатывал, преподавая греческий язык в гимназии, как вдруг прибыло предложение, показавшееся отличным, — место ученого секретаря Русского археологического института в Константинополе. Однако, прибыв в Стамбул, Фармаковский увидел, что работа в основном техническая, канцелярская, а вовсе не изучение древностей. К тому же руководитель Института, бывший учитель Фармаковского академик Ф. И. Успенский, историк, был выдающимся византинистом, но археологию не ценил, археологической литературы не закупал, работал по старинке, и труды Института были Фармаковскому неинтересны. Общества ученых не было. Фармаковский всё же сумел покопать в Македонии и сделать текст диссертации, но пребыванием в Институте в общем тяготился. Поэтому в 1900 г. 30-летний археолог с энтузиазмом встретил предложение графа Бобринского перейти на работу в Археологическую комиссию в Петербург.

5. Археологическая комиссия и Ольвия. В Археологической комиссии Фармаковский сразу же получил основным заданием регулярные систематические раскопки Ольвии. К Ольвии он применил квадратно-послойный метод (Карасев 1976), разработанный на основе

немецких раскопок (Курциуса) в Олимпии и в это самое время вводимый на британских раскопках Кносса (Артуром Эвансом). Добившись разрешения у графа Мусина-Пушкина, собственника части земли, Фармаковский начал систематическое исследование всей площади городища. Он также раскопал курганы со склепами Еврисивия и Ареты (установлено по плите с надписью), Зевсов курган.

В 1903 г. Ольвию посетил М. И. Ростовцев, тоже член Археологической комиссии. Он отметил,

> «с какой любовью и тщательно ведется дело, как упорно, несмотря на кажущуюся безнадежность результатов, доводилась до конца каждая траншея, как запечатлевался фотографией каждый момент работы, постоянно менявшийся вид поля раскопок, как тщательно заносились в журнал все мелочи, все детали и монументальных, и мелких памятников, как одновременно производилась съемка всех других руин». Вывод: «Впервые в раскопках Ольвии Борис Владимирович внес систему и метод» (Rostowzew 1907).

Профессор фон Штерн сказал о Фармаковском:

> «Если бы Борис Владимирович и не написал ни одной строчки и не был бы автором многих ценных трудов и исследований, то все-таки его имя было бы неразрывно связано с историей археологии в России тем, что он сделал своими раскопками в Ольвии и для Ольвии» (Штерн 1915: 28).

Раскопки в Ольвии

Б. В. Фармаковский
на раскопках Ольвии

По примеру больших экспедиций в Греции и Италии Фармаковский закупил вагонетки («декавили») и рельсы, чтобы отвозить грунт из раскопов подальше и сбрасывать в балки. Площадь раскопов оставалась незагроможденной. Тем временем в Ольвии Фармаковский вскрыл участок мощной городской стены, нашел мраморную статую Вакха-Диониса.

В 1908 г. ему поручают одновременно и раскопки Десятинной церкви в Киеве. Славяно-русские памятники — не его прямая специальность, но в Киеве ситуация сложная. Там приоритет на многие открытия принадлежал чеху Викентию Хвойке, энтузиасту и дилетанту. Раскопки он вел из рук вон плохо, но пользовался любовью местных властей и местной прессы как «свой» в противоположность столичным чиновникам из Археологической комиссии. Кроме того, его поддерживало Московское археологическое общество — постоянный соперник Археологической комиссии. Комиссия желала противопоставить Хвойке безусловно авторитетного и опытного специалиста. Фармаковскому пришлось выехать в Киев и организовать раскопки. А вести нужно было одновременно раскопки в Киеве и Ольвии, бывая и тут и там. По счастью, он сумел найти отличного помощника — архитектора Д. В. Милеева, который заменял его в Киеве, когда он ездил в Ольвию, а затем взял на себя ведение раскопок в Киеве. Но общее руководство оставалось за Фармаковским.

На второй год войны (1915) раскопки Ольвии пришлось прервать. Февральскую революцию Фармаковский встретил с энтузиазмом, Октябрьский переворот во всяком случае не отвергал — ведь во главе государства встал его товарищ детских игр Ульянов-Ленин. Вероятно, именно это обстоятельство побудило археологов включить Фармаковского с особой надеждой на успех в оргкомитет археологов для

обращения к новой власти по организации центрального археологического учреждения страны взамен императорской Археологической комиссии. Ленин утвердил проект, и Фармаковский стал действительным членом РАИМК и главой ее художественно-исторического отделения, а с 1921 г. и ученым секретарем РАИМК. В 1923 г. по инициативе Фармаковского и Богаевского в РАИМК была создана комиссия по искусствознанию, а с 1924 г. Фармаковский стал и хранителем Эрмитажа. Тогда вообще квалифицированные специалисты несли по совместительству множество нагрузок.

Раскопки в Ольвии возобновились в 1925 г. и продолжались в 1926-м. В этот год в экспедиции работали молодые аспиранты В. Д. Блаватский и М. М. Кобылина из Москвы, А. Н. Карасев и Л. М. Славин из Ленинграда. Впоследствии они возглавили самостоятельные экспедиции и разнесли методику Фармаковского по стране.

6. Преподавание, публикации, конгрессы. Одновременно с раскопками протекала и другая деятельность ученого — публикационная и преподавательская. В 1902 г. вышел труд Фармаковского «Аттическая вазовая живопись и ее отношение к искусству монументальному в эпоху непосредственно после греко-персидских войн», итог десяти лет работы. Он защитил ее как магистерскую диссертацию в Одессе, хотя Жебелев и многие другие ждали, что он получит за нее сразу степень доктора. И. В. Цветаев писал Фармаковскому из Москвы, что ему нужно стать профессором, но кафедра в Петербурге занята, а Казанский университет слишком далек и провинциален, и советовал переселяться в Москву. Обещал хлопотать об этом. Но Фармаковский считал невозможным для себя претендовать на кафедру, не имея докторской степени.

Проф. В. И. Модестов очень высоко оценил его книгу и уговаривал его следующий труд писать непременно по-французски, так как у него «сердце сжимается», когда он смотрит на «толстый том об античной вазовой живописи», который «долго еще не дождется настоящей оценки. Писать и издавать такие вещи в настоящее время только для России <...> значит по крайней мере полтруда потратить понапрасну. Труд неоцененный вовремя, наполовину пропащий...» (цит. по: Фармаковская 1988: 123)

В 1905 г. Фармаковский вместе со Штерном, Ростовцевым и другими русскими учеными принял участие в Первом международном конгрессе классической археологии в Афинах. Русские ученые вы-

(Фармаковский и Ростовцев), греческом (Жебелёв). Они встретили и слушали доклады Дёрпфельда, Фуртвенглера, Флиндерса Питри, Эванса, Монтелиуса, Виганда — словом, цвет мировой науки о классических древностях был представлен на этом и на втором конгрессе (1909 г. в Каире), где Фармаковский тоже выступал.

В 1904 г. Фармаковского пригласили читать лекции по истории древнего искусства в историко-филологический институт, а в 1905 г. — на Высших женских курсах. Лекции начались успешно, сразу стало ясно, что он пользуется популярностью у студентов. Именно в лекциях он впервые в России стал говорить о новой тогда теме — Крито-Микенском искусстве. Лекции в последующие годы были опубликованы. В 1906 г. был издан как 13-й выпуск ИАК ольвийский отчет за 1902–1903 гг., огромный том в 300 с лишним страниц. Модестов писал, что это не просто отчет, а исследование, которое заслуживает докторской степени. Но Фармаковский не подал ее на защиту, ограничился тем, что получил за нее Уваровскую премию Академии наук.

В русско-японской войне и революции 1905 г. писал родителям о своем негодовании по поводу действий правительства и с сочувствием описывал стачки и выступления революционеров. В эти годы он часто общается с графом И. И. Толстым, бывшим членом Археологической комиссии, либеральным министром просвещения, дома у него играет на рояле Вагнера.

Б. В. Фармаковский

В 1910 г. 40-летний ученый избран профессором Петербургских высших женских курсов по кафедре истории искусств. Больной Цветаев хотел передать ему свою кафедру в Москве, но это не получилось. Читал Фармаковский публичные лекции и в Петербургском обществе народных университетов.

В 1913 г. вместе с другими русскими археологами (Ростовцевым, Смирновым) Фармаковский прибыл на Международный конгресс историков в Лондон

и выступал там с докладом «Архаический период в России». Сопоставляя памятники Ольвии, Скифии и Кавказа, докладчик пришел к выводу, что скифский «звериный стиль» происходит из скрещения ионийского искусства с хеттским. Доклад произвел сильное впечатление на собравшихся со всего мира археологов, как и доклады его спутников. Это было первое такое заметное выступление российской археологии на международной арене. После конгресса Фармаковский заехал в Париж и Берлин. «Впечатление от Петербурга после Запада очень не в пользу Петербурга», — пишет он родителям.

В 1911 г. Фармаковский был избран действительным членом Германского археологического института, а в 1914 г. — членом-корреспондентом Российской академии наук.

В 1918 г. вышла его книга «Художественный идеал демократических Афин». В книге он пытался установить закономерную связь между художественным совершенством и демократическим строем общества. Увы, общество, в котором он жил, развивалось скорее в сторону Персидского царства, чем Афин.

7. Финал. Но в 1926 г. Фармаковский заболел. Летом 1928 г. перед началом раскопок Фармаковский по совету врачей поехал отдохнуть в Парголово под Ленинградом. Там он узнал, что у него смертельное заболевание. В ночь с 28 на 29 июля он умер. Ему было 68 лет.

Возможно, он умер вовремя: избежал репрессий, от которых его вряд ли спасла бы детская дружба с Лениным, к этому времени умершим. Скорее послужила бы дополнительным стимулом для расправы. Брат Бориса Владимировича Мстислав, создавший при ГАИМК Институт археологической технологии, был арестован в 1930 г. и отделался мягким приговором — был сослан в Ярославль. Вернувшись в 1934 г., работал в Русском музее хранителем, археологией больше не занимался. Естественно, не вспоминал, что в предреволюционные годы был художником и дружил с поэтом Николаем Гумилевым. Гумилев-то был расстрелян. А другой брат Фармаковского, Владимир, профессор Киевского политехнического института, вообще эмигрировал в Югославию и стал там академиком. С такими родственниками Борису Владимировичу вряд ли довелось бы уцелеть.

В 1929 г. как раз прошли массовые аресты ученых и философов по делу «Воскресений», в котором были замешаны М. М. Бахтин, И. М. Гревс, О. А. Добиаш-Рождественская, М. А. Гуковский и др. Многие отправились на Соловки. И это было только начало...

Патриарх палеолитоведения
П. П. Ефименко

Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!
Но надо, надо в общество втираться,
Скрывая для карьеры лязг костей...

А. Блок. Как тяжко мертвецу среди людей. 1912.

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим...

А. Блок. Как тяжело... 1910.

1. Фигура. Петр Петрович Ефименко (1884–1969) — старейший археолог, которого я лично знал. Будучи студентом, я встречал его на заседаниях в ИИМКе, а став самостоятельным археологом, принимал его в 1951 г. в экспедиции под Мелитополем, где я был начальником отряда, а он, директор Института археологии Украины, объезжал с инспекцией раскопки. Для меня он был патриархом советского изучения палеолита. Поскольку я занимался более поздними периодами, особого интереса к нему я не испытывал, а он, сухой, сумрачный, с пренебрежительно выпяченной нижней губой, держал себя отчужденно и холодно, живого интереса к людям не проявлял.

А. А. Формозов, по первоначальной специализации палеолитчик, интересовался личностью Ефименко гораздо больше меня. Но, проживая в Москве, не мог приблизиться к Ефименко в Петербурге и Киеве. Кроме того, ему тоже претила манера поведения старика: «Ефименко остался для меня чужим человеком». «Более того, мы друг друга не любили» (Формозов 2004: 111).

В середине XX века и первые десятилетия за нею П. П. Ефименко еще при жизни воспринимался как воплощение прежнего,

преодоленного этапа советской археологии. После его смерти, с середины 70-х до середины 90-х, вышел ряд статей о Ефименко, написанных его учениками и сотрудниками, знавшими его близко. Особенно колоритны статьи П. И. Борисковского (1989) и Г. П. Григорьева (1992; 1994). В этих и других статьях (Рогачев 1972; Третьяков 1975; Бибиков 1984; Абрамова 1992; Синицын 1992; Васильев 1998) постепенно фигура его выросла. В начале следующего века это отмечено в подробной и вдумчивой статье Формозова о нем, напечатанной в III выпуске «Очерков по истории отечественной археологии» и повторенной как глава в книге «Русские археологи в период тоталитаризма» (Формозов 2002; 2004: 110–163).

В значительной мере мое дальнейшее изложение будет опираться на эту статью.

2. Наследственность. Родился Петр Петрович в Харькове в интеллигентной семье. Дед — выходец из крестьян, в войну с Наполеоном был солдатом и дошел до Парижа, затем писарь, становой пристав и в конце карьеры городничий Ногайска. Отец, этнограф и историк, учившийся в Харьковском и Московском университетах, был участником студенческого движения и придерживался революционно-демократических убеждений. Он переписывался с Герценом, носил у друзей кличку «Царедавленко» и подвергся ссылке в Архангельскую губернию, в Холмогоры. Там он работал секретарем статистического комитета и занимался местной этнографией и фольклором. В науке известен ряд его ярких статей и книги — «Сборник малороссийских заклинаний», «Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии».

Мать, тоже дочь станового пристава и тоже историк (занималась историей крестьянской общины), была первой женщиной, получившей в российском университете (Харьковском) степень доктора honoris causa. По семейному преданию, мать, происходя из окрестностей Холмогор, находилась в родстве с Ломоносовым. Она выпустила более заметные произведения, чем отец, в том числе книги: «Обычное право», «Исследования народной жизни», двухтомник «Южная Русь» и «История Украины и ее народа».

С 1878 г. семье удалось обосноваться на Украине, в Харькове. К этому периоду относится расцвет научной деятельности Александры Яковлевны Ставровской-Ефименко, к ее работам обращались Маркс, Плеханов и Ленин. А вот Петр Саввич в Харькове болел и не мог уже создавать работы на уровне своих ранних произведений.

У них было пятеро детей, Петр — второй, родился в 1884 г. Он усвоил многое от родителей — политические убеждения, литературные вкусы. Литературного таланта от матери не унаследовал — «писал сухо, тяжело и с напряжением» (Формозов 2002: 115). От отца получил скверную наследственность в медицинском плане — отец был эпилептиком, две сестры Петра Петровича окончили жизнь в психиатрической лечебнице, дочь — в состоянии глубокой депрессии. Сам Петр Петрович приступов эпилепсии не имел, но у него были некоторые черты эпилептического невроза: мрачное настроение и тяга властвовать, гипертрофированная страсть к порядку, вязкая речь с длинными придаточными оборотами и непременным полным завершением каждой фразы, стремление подолгу растолковывать каждое место. Это делало его труды нудными и туго читаемыми. Б. А. Латынин, вернувшись из ссылки и изголодавшись по научной литературе, говорил: «Способен даже Ефименку читать (а это страшнее Михайлы Тредьяковского!)».

3. Становление. Археологией Петр Ефименко-младший заинтересовался во время подготовки XII Археологического съезда в Харькове, в 1902 г., т. е. восемнадцати лет, участвовал в разведках в окрестностях города. По результатам написал отчет, который и стал его первой научной работой в печати. Это был тот самый съезд, на котором Городцов выступил со своими новаторскими раскопками курганов в Изюмском уезде. Ефименко принимал участие и в подготовке XIII съезда в Екатеринославе, на котором его мать выступала с докладом.

Сын народников, он одновременно втянулся в революционное движение. В начале века сам участвовал в подпольной борьбе. И позже на раскопках часто певал старинные революционные песни. Сохраняя традиции народников и нигилистов, он пренебрежительно относился к Пушкину, зато обожал Некрасова. С 1902 по 1908 г. он был членом РСДРП, меньшевиком. Это согласно личному делу в архиве ИИМКа, Борисковский же сообщал о нем, что он был эсером (а потом это скрывал), носил партийную кличку «Капитан».

В 1905 г. он женился на молодой харьковчанке Евгении Федоровне Поташниковой, на сестре которой был женат руководитель московского восстания 1905 г. Виргилий Леонович Шанцер, обрусевший полуавстриец-полуфранцуз, проведший перед тем много лет в ссылках в Сибири. После поражения восстания он отбыл в эмиграцию, вернулся душевнобольным в 1910 г. и через год умер. Ефименко

подвергался обыскам, сидел три месяца в тюрьме за участие в студенческих беспорядках.

В 1906 г. Ефименко был вынужден покинуть Харьков и перевелся в Петербургский университет, где он тоже состоял в студенческой организации, судя по личному делу, — в РСДРП. Поступил он на естественное отделение физмата Петербургского университета. В 1908 г. студент раскопал марийский могильник для Русского музея. Затем под руководством Ф. К. Волкова (украинца Хведора Вовка) занялся палеолитом. Когда в 1908 г. на выставку в Чернигов к XIV съезду поступили находки из Мезина, Волков вместе со своим учеником Руденко съездили туда и заложили там небольшой раскоп. На следующий 1909 г. продолжать работу было поручено Ефименко. Ефименко добыл там большую коллекцию кремневых орудий и костяных изделий. Описание этой коллекции Формозов считает первой высококвалифицированной публикацией по палеолитической индустрии в России. До того не было профессиональной терминологии для описания кремневых орудий, а Ефименко такую терминологию создал.

Возможно, что так сказалась психопатическая страсть Петра Петровича к порядку. Между тем семейные дела шли удручающе. В 1908 г. умер отец. В том же году у Петра Петровича родилась дочь, но жена после родов получила душевную болезнь, от которой уже не оправилась — 10 лет (до самой смерти) она провела в психлечебнице. Вот не везло! К отцовской наследственности Ефименко присоединилась еще одна дурная линия (всю жизнь дочь и ее семья были на иждивении у Ефименко). В 1909 г. на раскопках Мезина Волков остался недоволен работой Ефименко. Ефименко трудно сходился с людьми, и, видимо, Волкову что-то в нем не нравилось. Возможно, озабоченность Ефименко семейными проблемами (Волков о своей семье совершенно не заботился — ни о первой, ни о второй). Он считал, что Ефименко недостаточно внимателен на раскопках. В письме к Руденко он сердился:

> «...спеша копать, Петр Петрович наскоро напихал в 13 ящиков массу костей, кремней и просто магмы и теперь ведет раскопки у нас на 16-й линии (то есть в лаборатории. — Л. К.) и находит целую массу кремневых орудий, поделок из кости и даже нашел еще один fallos» (Тихонов 2004: 121).

Раскопки Мезина были продолжены в 1912–1916 гг., но вел их уже не Ефименко, а другой ученик Волкова, Л. Е. Чикаленко. В 1912 г. Ефименко окончил университет, написав дипломную работу по каменным орудиям Костенок, добытых давно Поляковым и Кельсиевым, и получил

международную премию Кана. Премия эта давала деньги на кругосветное путешествие. За три года (1913–1915) Ефименко побывал во многих странах мира, посетил Берлин, Париж, Лондон, Каир, изучал на месте каменный век Палестины, повидал Китай, Индию, Японию, США, повидал известнейшие археологические памятники (дольмены, свайные постройки, пещеры и т. д.). Это расширило его кругозор, хотя он и не владел иностранными языками (что, вероятно, тоже отвращало от него Волкова). Зато он собрал археологические и этнографические коллекции для Петербурга. Еще и сейчас на кафедре археологии Петербургского университета и в Эрмитаже хранятся привезенные им кремневые орудия из разных стран. Он продолжал объезд стран и во время войны: не все ведь страны были втянуты в войну в ее первые годы.

Но в 1915 г. он вернулся, а Мезин в 1916 г. продолжал копать уже Левко Чикаленко. И вообще Волков перестал ему покровительствовать, печатать его в своих изданиях. Места в Петербургском университете и Русском музее для него не нашлось. Формозов подметил, что впоследствии С. И. Руденко и Д. А. Золотарев посвятили своему учителю Волкову прочувствованные статьи, а Ефименко лишь мельком упоминал его.

Между тем, по мысли Формозова, Ефименко был к тому времени самый научно подготовленный специалист по палеолиту в России. Волков так не считал, возлагая больше надежд на других своих учеников, которые могли бы заняться и палеолитом: Руденко, Чикаленко (кстати, тоже стал академиком, но в Канаде), Миллера, Золотарева. Впрочем, Формозов тоже считает, что из кругосветного путешествия Ефименко мог бы вынести больше — в его последующих трудах знание мировой археологии отразилось слабо, больше по литературе, и весьма ограниченной. Сказывалось незнание языков.

Кстати, в этом сам Формозов подобен Ефименко: у обоих отец и мать — известные ученые, а знания языков нет.

4. В московском изгнании. Пристроился Ефименко (видимо, по знакомству) в Москве, в Историческом музее на совершенно неподходящем месте — помощником хранителя коллекции П. И. Щукина — предметов XVIII–XIX веков (ни археологии, ни этнографии). Печататься стал в московских изданиях, находящихся под руководством Д. Н. Анучина, который был соперником и недоброжелателем Волкова. Ефименко и раньше приезжал к Анучину — сдавать экзамены на степень (Волков, не будучи доктором, не имел права принимать

их), и из Москвы писал Руденко, что Анучин возмущен поведением Волкова и что хорошо бы старичкам помириться. Вот теперь он был вынужден «переметнуться» в лагерь противников Волкова.

В Москве Ефименко влюбился в художницу Л. М. Алексеевскую, и у них родился сын, ставший математиком. Но второй брак, оформленный после смерти первой жены в психлечебнице, скоро распался. В Историческом же музее Ефименко женился в третий раз — на сотруднице музея Софье Николаевне Калиновской, с которой прожил до конца жизни. Увы, дочь от этого брака проявляла симптомы душевного заболевания (депрессия).

С революцией Ефименко воспрянул духом, считая, что ему-то эмигрировать, как многим коллегам и сверстникам, незачем. Ему-то, с его революционным прошлым, в новой России найдется подобающее место. Но в конце 1918 г. пришло трагическое известие с Украины. Его мать и сестра решили вернуться из голодного Петрограда на Харьковщину. Знакомые поселили их на хуторе Любочка у слободы Писаревка. Там 18 декабря они были зверски убиты одной из хозяйничавших в округе банд — то ли петлюровцами, то ли красноармейцами. Так закончилась биография выдающейся женщины-ученого. Ей было 70 лет.

Стабилизация после Гражданской войны началась раньше в провинции. Рязанские краеведы накопили много материала, в частности древнерусские курганы и финские могильники. Поскольку Ефименко уже работал с аналогичным материалом в 1908 г., он взялся за систематизацию этих материалов. В 1920–1922 гг. он на местные средства копал могильники, затем в Русском музее занимался их систематизацией. При этом он одним из первых применил в археологии, как он говорил, «культурную стратиграфию» — таблицы сопряженности (археологи стали неточно называть это корреляцией). В России во всяком случае он был первым. Пригодилось обучение на физмате. Опубликованы эти результаты были несколько лет спустя («Рязанские могильники», 1926). Но еще до публикации эти успехи упрочили положение Ефименко в Историческом музее — в 1922 г. в Музее был создан новый отдел — славяно-финской археологии — и Ефименко стал его заведующим.

Конечно, Ефименко не забывал и свою первоначальную специализацию — палеолит, но в Историческом музее ему хода с этой тематикой не было: там господствовал Городцов, человек властный и вовсе не толерантный. Городцов считал себя главным специалистом по первобытной археологии (в 1923 г. как раз вышла его книга

«Археология. Каменный век»), и иметь сильного конкурента рядом ему было ни к чему. Некоторую отдушину представляла работа в Московской секции ГАИМК, где Ефименко мог вести свои исследования в рамках палеоэтнологии.

Но его всё больше тянуло в Петроград, и он при первой возможности туда переехал. Это было в 1923 г.

5. Петроград и Костенки. В Петрограде он стал работать в ГАИМК, в Этнографическом отделе (разряд археологии) Русского музея и с 1933 г. в Кунсткамере, начал и преподавать археологию палеолита в Ленинградском университете. В ГАИМК он оказался в секции палеоэтнологии, что вполне соответствовало его естествоведческому образованию и научной генеалогии (ученик Волкова). Он копает в Чувашии, широко обследует городища на Дону и Ворскле в надежде обнаружить славяно-мордовские контакты (в частности, раскопал Боршевское городище, давшее название раннеславянской культуре), но в работах его далее не прослеживается воздействие палеоэтнологической школы. В трактовках палеолита он просто придерживался эволюционизма в духе Мортилье, но с учетом того, что на Западе схема Мортилье уже давно были отвергнута ради концепции Брейля.

П. П. Ефименко в 1930-е гг.

С 1923 по 1937 г. вел раскопки в Костенках, главном палеолитическом памятнике СССР. В Костенках палеолит открыл еще И. С. Поляков, в 1905 г. А. А. Спицын нашел рядом еще одну стоянку — возле Боршева. Ефименко, еще заканчивая университет, работал над костенковскими материалами. Потом С. Н. Замятнин, молодой воронежский археолог, выявил еще ряд пунктов в Костенко-Боршевском районе, где кости мамонта выдают возможное наличие стоянок. Замятнин решил привлечь столичного консультанта — Ефименко (тот тогда был еще в Москве). Ефименко сразу

же осадил молодого энтузиаста, объяснив, что знания русской литературы достаточно только для краеведа, археолог же должен владеть западноевропейской литературой.

Далее Формозов (2004: 127) весьма ехидно проследил, как менялась оценка Костенок в речах Ефименко. Сначала он заявлял, что «Ваши раскопки» никак не сравнятся с «моим Мезином». Потом, когда стало ясно, что Замятнин открыл много новых стоянок вокруг, Ефименко стал говорить: «Наши раскопки». Когда же была найдена женская статуэтка из ряда палеолитических «венер», Ефименко сказал: «Мои раскопки». Он решил освоить перспективный район, оттеснив молодого археолога. Но это Формозов, конечно, со слов Замятнина, который в 30-е гг. рассорился с Ефименко и в зрелом возрасте его терпеть не мог. Не все биографы Замятнина согласны с Формозовым, есть и аргументы в пользу спокойного отношения Ефименко к молодому Замятнину и действительного руководства Ефименко работами Замятнина (Бухтоярова 2012), а позже и всей экспедиции. Так или иначе, Замятнин и Ефименко всё больше расходились и в принципах работы.

Только в 1925 г. Ефименко смог начать раскопки в Костенках на средства ГАИМК и Исторического музея. Но в 1926–1927 гг. раскопками в Костенках руководил Замятнин. Ефименко же искал палеолит в других районах и копал курганы бронзового века и финские могильники в Чувашии. Поскольку Чувашия была любимым коньком

Раскопки Костенок в 30-х гг. XX века

Марра, считавшего тюркоязычных чувашей «яфетидами на Волге», Ефименко, потакая этой идее Марра, вошел в круг его приближенных. Он стал ученым сотрудником ГАИМК. Помощником его в Чувашии был П. Н. Третьяков. В 1928–1929 гг. Ефименко продолжал работы в Костенках. Его ученик Борисковский вспоминает, что в экспедиции царили демократические порядки, в отличие от экспедиции Миллера, все ели за одним столом и не было барьеров иерархии. Ефименко не чурался черновой работы сам и не терпел «белоручек».

Раскопки палеолитических стоянок в СССР велись тогда кессонной методикой, а главной задачей для Ефименко было набрать кремней из разных стоянок и построить периодизацию палеолита Восточной Европы на основе типологии кремневых орудий. Он бесхитростно применил к европейской части СССР эволюционную схему Мортилье, однолинейный подъем от ступени к ступени, но с некоторыми поправками Брейля. Даже ориньяк, который Мортилье не мог уложить в свою схему, у Ефименко тоже плохо укладывался, и некоторые памятники этого рода перенесены в мадлен. Разумеется, никаких миграций.

Но открытие жилищ и методика раскопок широкой площадью представляли новшество. Это усовершенствование методики имело свою теневую сторону: странным образом Ефименко считал культурный слой балластом, от которого нужно освобождать структуры. Работал Ефименко в основном планиграфически, стратиграфия была у него поставлена слабо.

Ни в это время, ни впоследствии Ефименко не приглашал к сотрудничеству геологов, зоологов и ботаников. На раскопках у него были только археологи, тогда как в других экспедициях уже трудились специалисты по естественным наукам («комплексный подход»), не говоря уж о дореволюционных работах (Иностранцев) или иностранных (где участие палеонтологов и антропологов давно уже было широко распространенным). Но тогда в советской науке шла борьба с биологизацией социальных наук, привлечение естественников могло породить ненужные подозрения. Кроме того, схема Мортилье ведь противостояла схеме Ларте, с ее опорой на палеонтологию.

С 1924 по 1929 г. Ефименко преподавал в Ленинградском университете в качестве доцента, вел семинары по доисторической и средневековой археологии (по финским и древнерусским древностям), читал общий курс палеолита. По отзывам слушателей (Т. С. Пассек, Б. А. Латынина и А. А. Иессена), лекции его были добротны, серьезны,

общественных наук был ликвидирован, а в новых условиях Ефименко не потребовался. Со многими его коллегами судьба обошлась значительно круче.

6. Выживание и борьба за лидерство. На рубеже 20–30-х гг. давление марксистской идеологии на традиционную науку резко возросло, на ГАИМК, Университет и Русский музей обрушились репрессии. Со слов Замятнина, Формозов (2004: 131–132) рассказывает такой эпизод:

> «..осенью 1930 года на начавшееся заседание группы палеолита ГАИМК вбежал экспансивный Бонч-Осмоловский и пустил по рядам записку: "Руденко арестован. Очередь за нами". Прочитавший передавал записку соседу. Когда она дошла до Ефименко, тот побледнел, разорвал бумажку в мелкие клочья и бросил их в пепельницу. Немного погодя достал платок, ссыпал в него эти клочки и спрятал в карман. Теперь побледнел Бонч. После конца заседания он спросил Замятнина: "Как Вы думаете, он подклеит бумажку и снесет куда следует?" — "Не знаю", — ответил Сергей Николаевич. Оба не любили Ефименко и готовы были приписать ему то, на что он был не способен.
>
> Очередь до Бонч-Осмоловского дошла в 1933 г. Его приговорили к трем годам лагерей. Недавно Ф. Д. Ашнин и В. М. Алпатов прочли его следственное дело. Никакой подклеенной записки в нем нет. Зато в архиве ИИМК есть характеристика Бонча, отправленная из ГАИМК в НКВД. Составлял этот текст Ефименко и о своем конкуренте, очень им нелюбимом, отозвался сугубо положительно».

Многих археологов уволили (в ГАИМК «вычистили» более половины сотрудников), близкие коллеги Ефименко: Руденко, Миллер, Бонч-Осмоловский, Теплоухов и другие — были арестованы, немало из них погибло. Ефименко уцелел, его не тронули — видимо, сказалось революционное прошлое, а также крайняя осторожность и сдержанность высказываний. Однако теперь этого было недостаточно, требовался активный переход на рельсы нового мышления.

Каменный век был в фаворе. В школах учили про первобытный коммунизм, а от него сразу переходили к промышленному перевороту в Англии. В ГАИМК решено было свернуть исследования древнерусских памятников (попахивает великодержавным шовинизмом!), по христианским храмам (это же поповщина!), по происхождению культур

П. П. Ефименко со своим учеником П. И. Борисковским

коммунизма — это всё за Марксом и Энгельсом). В деятельности Ефименко работы по финским древностям оказались неактуальными, а вот палеолит стал очень перспективной темой (Формозов 2004: 135).

Правда, в освоении этой темы у Ефименко было много конкурентов, даже не считая Городцова. У Замятнина и Бонч-Осмоловского были в палеолите более значительные открытия — у первого мустьерская стоянка Ильская и Гагарино на Дону с жилищем и палеолитическими статуэтками, у второго — Крымская пещера Киик-коба с культурными слоями и погребениями неандертальцев. Миллер выпустил в 1929 г. книгу по первобытному искусству. Комсомолец Борисковский занялся социологическим истолкованием палеолитических материалов.

Замятнин в Гагарине в 1929 г., а затем, с 1931 г., и Ефименко в Костенках, как у нас писали, первыми в мире перешли к раскопкам широкой площадью с оставлением на месте всех кремней и костей и выявили пол, очаги и границы палеолитических жилищ. «Культурный слой, который принято рассматривать как главный предмет изучения, — писал Ефименко (1958: 31), — <...> в действительности <...> является лишь каким-то последующим наплывом отбросов». Представление о характере обитания, считал он, можно получить лишь «расчистив и удалив культурный слой». Палеолитические обитатели Русской равнины оказались оседлыми, а обозначение «стоянки» неточным (оно употребляется всё же по традиции).

Замятнин не успел опубликовать первым открытое им жилище — Ефименко опередил его, опубликовав свой план и разрез первым, в 1931 г. Как характеризует это Формозов (2004: 134), «буквально вырвал у него из рук это открытие». Это не совсем точно: Замятнин был человеком не честолюбивым и с ленцой. Кроме того, мы ведь знаем, что Замятнин написал свой отчет раньше — в 1929 г. С другой

Заседание Ассоциации по изучению четвертичного периода. Ефименко второй справа

стороны, знаем и то, что Ефименко эта идея тоже приходила в голову еще раньше — в 1923 г., и он занес ее в полевой дневник.

В этом видели результат внедрения марксизма в археологию. Сказалась, мол, передовая марксистско-ленинская методика и т. д.

Ну, выявили жилища советские археологи не совсем первыми — еще в 1923 г. австрийский археолог Йозеф Байер распознал остатки палеолитического жилища на стоянке Ланг Маннерсдорф. И копать широкими площадями каменный век начали не совсем первыми — в 1930–1931 гг. В. Бутлер так раскапывал поселение линейно-ленточной керамики Кёльн-Линденталь в Германии. А еще Шухардт перед Первой мировой войной разработал методику восстановления планов первобытных жилищ и усадеб по ямкам от столбов[1].

Кроме того, эта методика имела не только плюсы, но и минусы: пренебрегать изучением культурного слоя (даже состоящего из отбросов) никак нельзя, и впоследствии из этого развилась методика планиграфического исследования, а внимание исключительно к плану, игнорирование возможности исследования профилями,

[1] Формозов ссылается также на Siedlungsarchäologie Косинны, но косинновская методика никакого отношения к открытию жилищ не имеет («Siedlung» в названии — не «поселение», а «обитание», имеется в виду выявление ареалов культур, никаких поселений Косинна не раскапывал). Этим занимался как раз его соперник и противник Шухардт.

Изображения статуэток из Костенок в книге Ефименко «Первобытное общество», 1938 г.

разрезами приводило к сбоям (Александрова 1998) — вот стратиграфия Костенок и не была понята.

Во всяком случае, вся эта концентрация на жилищах, образе жизни и хозяйствования, конечно, придала изучению палеолита социологическую направленность, и некоторое влияние марксизма тут было не только в СССР, но и на Западе (пусть и косвенное). Другое направление исследований имело более прямое отношение к марксизму.

Ефименко в Костенках (в 1923 г.), а Замятнин в Гагарине обнаружили в жилищах женские статуэтки. Ефименко связал их в России и на Западе с одной эпохой — ориньяком (вот когда ориньяк окончательно вернулся в эволюционный ряд!) и интерпретировал предположительно как проявления культа родоначальниц. При оседлом образе жизни возрастает роль женщины и домашнего хозяйства. В полном соответствии с господствовавшими в марксизме представлениями, это была основа для увязки с матриархатом. Две его статьи 1931 г.: «Женские статуэтки ориньякской эпохи» и «Значение женщины в ориньякскую эпоху». Такое подтверждение матриархата, оспариваемого противниками марксизма, сделало Ефименко героем дня у идеологов ГАИМК.

Применил он и понятие «стадиальности», но не в этническом или языковом плане, а просто окрестил стадиями единицы археологической периодизации. В 1933 г. в докладе о стадиальности он совместил ступени Моргана — Энгельса с этапами схемы Мортилье (в 40-е гг. это повторил Чайльд, только добавив к этому трактовку переходов как «революций»). Еще в 1931–1932 гг. Ефименко установил, что в Костенках I не один слой, а несколько. Можно было проверить

периодизацию стратиграфическим методом — более надежным, чем типология. Эту возможность Ефименко упустил (воспользовался его ученик Рогачев позже).

В 1934 г. вышла книга Ефименко «Дородовое общество. Очерки по истории первобытно-коммунистического общества», переносившая периодизацию Мортилье на российские памятники. Книга была написана задолго до выхода, представляя собой курс лекций археологам, читанный во второй половине 20-х гг. Труд был во многом компилятивен, описателен, требуемого социологического истолкования в нем было мало. Иностранная литература была использована очень скудно (Формозов подозревает, что, как ни странно, языками Ефименко владел слабо). Ранний палеолит Ефименко рассматривал как стадию собирательства — Замятнин и Борисковский показали, что стоянки этого времени принадлежали охотникам. Но в 1934 г. обозначился поворот исторической науки в СССР к фактографии. А это было монографически полное описание памятников палеолита СССР и первая детальная периодизация палеолита СССР. В том же году автору была без защиты присуждена степень доктора наук. Он стал признанным лидером палеолитоведения в СССР.

А книга выдержала еще два издания — в 1938 и 1953 гг. Но в названии термин «дородовое» был заменен другим — «первобытное»: появилось предположение, что верхнепалеолитическое общество было уже родовым.

В 30-е гг. Ефименко работал над двумя монографиями — исследованием стоянки Костенки I и по волжской археологии бронзового века. Первую впоследствии подготовил к изданию и опубликовал в 1961 г. П. Н. Третьяков, вторая осталась неизданной.

В Ленинграде Ефименко создал обширную археологическую школу, к которой принадлежат М. М. Герасимов, А. П. Окладников, С. А. Семенов, П. И. Борисковский, А. Н. Рогачев, М. З. Паничкина и др., отчасти также Г. А. Бонч-Осмоловский, С. Н. Замятнин и (по средневековой археологии) П. Н. Третьяков и М. Г. Худяков (по археологии раннего железного века Волго-Камья). Но по-настоящему близки с ним были только три человека: П. И. Борисковский и А. Н. Рогачев по палеолиту и П. Н. Третьяков по средневековой и первобытной археологии финно-угров.

7. Директор на Украине. Когда началась блокада Ленинграда в начале Отечествененой войны, 57-летний Ефименко был, ввиду его ценности для науки, вывезен самолетом в Казань, откуда он

перебрался в Елабугу, где оказалась эвакуированная часть ИИМКа. Здесь Ефименко пытался продолжить свои занятия финно-уграми, увлекся ананьинской культурой, даже провел небольшие раскопки Луговского могильника ананьинской культуры и написал большую статью о происхождении ананьиской культуры. Но в военное время было почти невозможно найти ассигнования на раскопки, а его воззрения по финно-угорской археологии базировались на представлениях 20-х гг.

В 1944 г. он вернулся в Ленинград. В 1945 г. в связи с юбилеем Академии наук СССР он получил высшую награду — орден Ленина. В рамках начавшейся кампании по изысканию русских приоритетов о нем стали писать как о крупнейшем в мире специалисте по палеолиту. Одна за другой вышли три его книги: в 1948 г. — «Древнерусские поселения на Дону» (в соавторстве с Третьяковым, но все знали, что ее целиком написал Третьяков), в 1953 г. — третье издание «Первобытного общества» (но без учета новой иностранной литературы) и в 1958 г. — фундаментальный труд «Костенки I» (но без указаний, что стоянка многослойная, без списка фаунистических остатков и без учета проблемной статьи Чайльда «Костенки — солютре или гравет?»). Формозов расценивает ее как работу середины 30-х гг. Все советские археологи страдали от плохих издательских возможностей, от многолетних задержек с публикацией, но нужно же как-то адаптироваться к этой ситуации, дорабатывать материал или по крайней мере оговаривать несовременное состояние публикуемой вещи. Ефименко этого не замечал.

П. П. Ефименко, директор Института археологии АН Украинской ССР

Еще в 1945 г. он был избран членом Академии наук Украинской ССР (тогда еще ни один советский археолог не был членом союзной или республиканской академии, Ефименко — первый). А в 1946 г. он был

назначен директором Института археологии этой академии, причем до 1950 г. совмещал это с заведованием сектором палеолита в ИИМКе. Жил на два дома: были квартира в Ленинграде и дача под ним, а также квартира в Киеве и дача под ним. Но в ИИМКе, который стал отделением Института археологии с центром в Москве, сменилось археологическое начальство. Заправлять стали малознакомые Петру Петровичу москвичи. Отделение возглавляли поочередно востоковеды (М. М. Дьяконов, Б. Б. Пиотровский) и медиевисты (М. К. Каргер), люди чужие, малознакомые. В секторе палеолита на пятки наступал А. П. Окладников (уже доктор, открыватель неандертальца в Тешик-таше), готовый занять место заведующего. И в 1951 г. Ефименко решил покинуть ИИМК и целиком перейти на работу в украинской Академии наук.

Это была ошибка: после этого он удержался там только три года.

Там он восстановил разгромленные репрессиями кадры украинского Института археологии — помог реабилитированным восстановиться, пригласил из России и других республик видных специалистов (А. И. Тереножкина, М. И. Вязьмитину, В. А. Богусевича и др.), воспитал молодых археологов (И. Г. Шовкопляс, Д. Я. Телегин, В. И. Канивец, С. С. Березанская и др.), основал серийные издания — «Археологія», «Археологічни пам'ятки УРСР» и «Краткие сообщения» Киевского института. В раскопках наряду с московскими и ленинградскими экспедициями всё больше копали местные археологи. Сам Ефименко уже не предпринимал собственных экспедиций, а объезжал с проверкой (и часто разносами) экспедиции своего института. Нередко подписывал сообщения о работах, проведенных практически другими.

В Киеве он тоже воспитал когорту учеников — В. Н. Даниленко, Д. Я. Телегина и др.

Но подспудно Институт раскололся на две группировки — националистическую украинскую и русскую, они погрязли в склоках между собой. В газете «Правда Украины» появилась статья трех сотрудников Института — В. А. Богусевича, М. Ю. Брайчевского и В. И. Довженка о плохом состоянии дел в Институте. В Институт нагрянула проверочная комиссия, она поставила директору в вину, что самая актуальная проблема — происхождение славян — игнорируется. 70-летний Ефименко признан был несправившимся с директорством, вынужден был в 1954 г. покинуть этот пост и вернуться в Ленинград. Снова в Северной столице появился «каменный гость», как его там звали.

8. В отставке. В 70 лет уйти на покой и заняться, если силы позволяют, обобщающими трудами, литературным оформлением того, что не успел за рабочей рутиной, изложением накопившихся мыслей, мемуарами, наконец, — это рассматривается как нормальный итог карьеры. Но не в Советском Союзе. Здесь правили всем глубокие старцы, с руководящего поста (по норме) уносили только ногами вперед. И Ефименко рассматривал свое увольнение как крах, жизненную катастрофу.

Директором Института в Киеве стал С. Н. Бибиков, ученик Бонч-Осмоловского. Формозов, относившийся к Бибикову враждебно (у них были свои столкновения в Крыму), обвиняет его в лицемерии. «К столетнему юбилею Ефименко он изображал дело так, будто была соблюдена преемственность и Петр Петрович доживал свой век в почете, холе и неге. Это ложь. Бибиков обращался с ним без должного почтения. Многие начинания Ефименко пресекались...» Думаю, это преувеличение. А что, Бибиков должен был ничего не менять?

В Ленинграде же подобающего места для Ефименко уже не было. Сектором заведовал Окладников, после него заведующим стал Борисковский, давно уже не комсомолец. Ефименко в секторе оказался ненужным. «Следующее поколение видело в нем ученого вчерашнего дня, человека сухого, надменного, малоприятного. Показательно, что институт, выпустивший сборники статей, посвященные 60-летию П. И. Борисковского и А. Н. Рогачева, не отметил таким образом ни 70-летия, ни 80-летия Петра Петровича» (Формозов 2004: 159).

Думаю, что характеристика «ученый вчерашнего дня» является определяющей для понимания ситуации.

Руководство костенковской экспедицией Ефименко давно, еще с 1934–1935 гг., стал передавать своему ученику Рогачеву. После 1937 г. Ефименко уже экспедицию не вел. Когда Рогачев был мобилизован и ушел на войну, экспедиция прервалась. В 1947 г. Рогачев вернулся и возобновил работу. Денег ему было выделено мало, и вместо вскрытия широких площадей он стал исследовать стратиграфию. Обнаружилось, что не только в Костенках I, но и в Костенках VIII не один слой, а несколько. А главное — они залегают не так, как полагалось бы по эволюционистской схеме Ефименко. Рогачев подтвердил это анализом положения стоянок в геологических слоях. Он пришел к выводу, что параллельно существовали палеолитические индустрии разного типа и что соседние индустрии могли надвигаться на одну и ту же территорию между ними попеременно. Иногда он прямо называл их археологическими культурами.

В защиту эволюционной схемы выступали П. И. Борисковский и позже А. П. Черныш. Ефименко отмалчивался. В мимолетных высказываниях в 1950-е гг. рогачевскую критику эволюционистской схемы он отвергал. Но в 1963 г. на защите докторской диссертации Рогачева он признал его правоту. По сути, это было признанием краха эволюционистской схемы. Что касается палеолитических культур, то в своих работах разных лет (и до и после этого спора) большие зоны в палеолите он признавал, узколокальные культуры — нет.

Ученики Рогачева Г. П. Григорьев и Н. Д. Праслов считали, что точка зрения Рогачева победила, и Рогачев стал лидером советского палеолитоведения. Некоторое время так казалось многим. Вот сочетание этого растущего впечатления о смене лидерства с неизбежными для Ефименко покаянными декларациями относительно былой близости к Марру привело к падению авторитета патриарха советского палеолитоведения. Руководители Института не обрадовались возвращению Ефименко — у них не возникло энтузиазма восстанавливать его на работе, искать для него место и выделять для этого значительную ставку (на эту сумму ведь можно взять нескольких младших сотрудников!).

Пенсия у академика была приличная, за академическое звание шла доплата, но приходилось содержать и поддерживать многих иждивенцев — семьи детей и внуков, поэтому жизнь была скудной и безрадостной. Петр Петрович пристроил на Украине в Академии наук своего сына от второго брака, В. П. Алексеевского, но мать его (бывшая жена Петра Петровича), прибывшая с ним в Киев, во время прогулки попала в руки бандитов. Ее ограбили и надругались над старухой, она заболела и умерла. Сам Петр Петрович тяжело болел. Из-за урологического заболевания приходилось применять катетер, а после смерти жены дочь, не очень адекватная, не могла с ним справиться. С конца 50-х гг. Ефименко в ИИМК не ходил. Из учеников посещали двое — Борисковский и Третьяков. В 1969 г., после 15 лет отставки, 85-летний ученый умер.

Только когда перестали полностью отшатываться от стадиалистских новаций, отношение к патриарху палеолитоведения изменилось. Скептически воспринимая друг друга, А. А. Синицын, С. А. Васильев и А. А. Формозов одинаково признают, что Рогачев много сделал для разрушения однолинейной эволюционно-стадиалистской догмы, но в целом учение об узколокальных культурах, которое они ему приписывают (он не сужал их), не оправдалось. У Ефименко же, считают они, было немало резонного, в частности выделение больших зон,

а не узколокальных культур. Но Ефименко признавал не просто зоны, а (в последних статьях) — их сдвиги, миграции индустрий определенного типа. А это те же культуры, только большие.

В жизни Ефименко было немало светлых эпизодов и завидных успехов — значительные открытия, кругосветное путешествие, любовные истории, лидерство и пребывание на высоких постах, воспитание учеников, занявших видные места в науке. Он вошел в историю науки. Но в целом его биография воспринимается как трагедия: многолетнее ожидание ареста и тюрьмы, постоянные бандитские расправы с близкими, крах создававшейся десятилетиями концепции, длительные болезни (самого и близких), конечная заброшенность. Виной здесь в какой-то мере непреодолимая наследственность, в значительной мере — страшная эпоха в неудобной для нормальной жизни стране, но в чем-то сказалась и готовность самого ученого приспосабливаться к обстоятельствам, которые за это требовали слишком больших жертв. «Маска, некогда напяленная на себя, приросла к лицу», — выразился об этом Формозов.

Вообще по унаследованной психопатии Петр Петрович был человек мрачный и нудный. Сопоставив все факторы, удивляться приходится не его неудачам и горестям, а тому, как много он успел сделать, преодолевая свои природные недостатки и внешние обстоятельства, и какой значительный вклад внес в науку.

Я его помню как старого неулыбчивого человека с погасшими глазами; бросались в глаза крупные бородавки на морщинистом лице со слегка отвисшей нижней губой.

Королева Триполья

Т. С. Пассек

Если до сих пор нигде вы
Не встречали королевы, —
Поглядите — вот она!

Агния Барто. Королева.

Хорошо ли быть на самом деле
Королевой Франции чужой?

Давид Самойлов. Королева Анна.

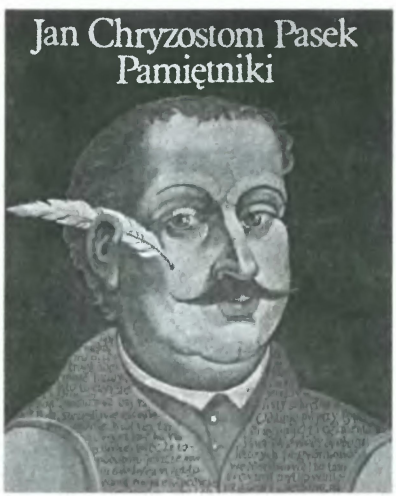
1. Проблема. Значительность Татьяны Сергеевны Пассек (1903–1968) в археологии, известность и пиетет, с которым к ней относились археологии в России и на Украине, явно выходили за пределы ее фактической профессиональной результативности. Она была наиболее авторитетным специалистом по одной, хотя и важной, культуре энеолита — трипольской, но не она ее открыла, а в изучении ее были и другие крупные специалисты — скажем, в раннюю пору конкурентом Пассек был Богаевский, в более позднюю — Бибиков. Половина культуры была вообще за рубежом, и там авторитетным специалистом по ней был румын А. Вульпе. Пассек имела много учеников, можно сказать, оставила школу специалистов по Триполью, но только по Триполью, и школа эта не отличается особыми методическими усовершенствованиями. Общеархеологических проблем Пассек не поднимала, интересы ее были сугубо локальными.

Чтобы понять, чем обусловлены ее известность, огромный авторитет и общая любовь к ней, нужно рассмотреть ее биографию и общий характер ее творчества.

2. Происхождение. Родилась Татьяна Сергеевна в Петербурге в известной дворянской семье. Род Пассеков (см. Федоров 1997/2007)

принадлежал в Средние века (известен с позднего Средневековья) к польской шляхте (герб: Долива — три червленые розы на серебряной перевязи). Род происходит из Богемии, оттуда переселился в Литовское княжество. Родовое гнездо находилось к северу от Варшавы на Мазовье. В XVI веке одна ветвь рода переселилась на Волынь, другая — под Смоленск. Когда же эти земли вошли в состав Российской империи, Пасеки/Пассеки оформили свою сословную принадлежность в российских дворянских книгах — получили российское дворянство.

К тем Пасекам, которые остались польской шляхтой, принадлежит Ян Хризостом Пасек, классик польской литературы. В своих мемуарах он описывает свое участие в войне против Московии и в польском посольстве в Москве. А к обрусевшим Пассекам принадлежат многие гвардейские офицеры императрицы Елизаветы Петровны. При Петре III один из них, Петр Богданович Пассек, участвовал в заговоре в пользу молодой супруги царя, Екатерины, был заподозрен, арестован, заговорщики всполошились, и с этого ареста начался мятеж гвардии, приведший Екатерину II на трон. Петр Богданович был сделан генералом и камергером, а при Павле, естественно, угодил в опалу и отослан от двора. Возвращен при Александре I. Скончался в 1801 г.



Ян Хризостом Пасек, портрет на обложке его мемуаров

Во второй половине XIX века профессор Пассек был ректором Дерптского (Юрьевского, ныне Тартуского) университета, а через некоторое время еще один профессор Пассек — снова ректором того же университета.

Жена одного из Пассеков, Татьяна Петровна, в девичестве Кучина, двоюродная сестра Герцена, была известным литератором, и по ее воспоминаниям «Из дальних лет», переиздаваемым неоднократно, изучается литературный мир XIX века. В ее честь Татьяна Сергеевна и получила свое имя.

В семье была еще одна женщина-литератор — Надежда, бабушка Татьяны Сергеевны со стороны матери, писавшая под псевдонимом

Вадим Пассек, предшественник Уварова по программе исследования курганов

Пассек (Кучина) Татьяна Сергеевна, литератор

Толиверовой (псевдоним составлен из имен ее детей Толи и Веры). Она была известной детской писательницей, а еще большую известность получила как борец против деспотизма и советник Джузеппе Гарибальди в его борьбе за освобождение Италии от ига Австро-Венгерской империи. Когда Гарибальди был арестован и ждал казни в замке Св. Ангела, она проникла в его камеру под видом невесты, уступила Гарибальди свою одежду, в которой он и бежал из замка. На память ей осталась красная рубашка Гарибальди, которая хранилась в доме Т. С. Пассек, как и портрет красавицы Толиверовой работы Верещагина.

Самое интересное, что известным археологом и этнографом, мужем Татьяны Петровны Пассек (Кучиной), был прадед Татьяны Сергеевны Вадим Васильевич Пассек. Это ему принадлежит идея массового обследования курганов, осуществленная через несколько десятилетий графом Уваровым. Сам Пассек осуществить ее не мог, так как умер молодым.

Татьяна Сергеевна родилась за два года до первой русской революции и школу кончала уже после второй, в годы Гражданской войны.

В Университете обучалась археологии и истории искусства, одним из ее учителей был А. А. Спицын. Окончила Университет в 1924 г., в год смерти Ленина. Почти вся ее жизнь прошла в сталинском государстве, лишь самый конец — при Хрущеве и Брежневе.

Борис Александрович Латынин
с Иессеном и Ефименко в декабре 1934 г.

3. В Ленинграде с Латыниным. Пассек была принята в аспирантуру ВГАИМК в сектор древнего Кавказа, которым руководил И. И. Мещанинов. С нею в секторе в одной комнате Мраморного дворца работал интересный археолог Борис Александрович Латынин, красивый, элегантный, худой, ходивший в кожаных гетрах и с короткой тростью в руке. Он был старше Пассек на четыре года, тоже дворянин. С Пассек они занимались не только Кавказом, но и Украиной и даже чувашской этнографией. В 1925 г. 23-летняя аспирантка начала работать над трипольской коллекцией из раскопок Э. Шмита в Петренах. Ее сотрудником (и, как теперь уже можно сказать, возлюбленным) был Латынин. Несколько сезонов он раскапывал поселения трипольской культуры на Десне, около села Евминки. На основе совместных исследований Латынин и Пассек подготовили серию статей, и дело, видимо, шло к совместной монографии о трипольской культуре. Рабочее название этого труда было «К вопросу о трипольской культуре».

Часто вместе с Латыниным Пассек посещала кружок («академию») Ивана Ивановича Мещанинова, ближайшего в то время ученика Марра. Мещанинов приглашал своих молодых коллег заниматься клинописью, но начиналось всё с посещения ресторана, а оттуда все направлялись домой к Мещанинову. Кроме Латынина и Пассек, там бывали Б. Б. Пиотровский, В. И. Абаев, А. П. Рифтин, И. Г. Франк-Каменецкий и др. — впоследствии всё крупнейшие ученые (Пиотровский 2009: 76–77).

В шуточных стихах, посвященных Прекрасной Даме Т. С. Пассек (их было написано много), археолог А. А. Потапов описывал атмосферу обожания вокруг нее (Балабина 2003: 22):

В эпоху грозную, лихую
Под шелест пурпурных знамен,
В жизнь эту, вечно молодую,
Вошли Вы с кучею имен.
Но только два из них остались
От всей словесной шелухи,
Которой щедро осыпались
Вы на своем большом пути.
Борису Солнышком казались
Средь эрмитажных кислых дам,
И так всегда им величались
Вы назло дурам и врагам.
Начальством чтил Вас академик
Иван Иваныч, Дядя наш,
Среди дискуссий и полемик
Ваш неизменный друг и страж.

Борис — это Латынин, Дядя Ваня, Иван Иваныч — это академик Мещанинов. Один звал Пассек Солнышком, другой — Начальством (она начальствовала на раскопе).

К осени 1926 г. была написана совместная статья Латынина и Пассек «Опыт классификации керамики трипольской культуры», содержавшая схему периодизации трипольской культуры, а к середине 1928 г. она была доработана. Эта пространная статья предназначалась к публикации во втором томе сборника «Трипольская культура на Украине» и предполагалась как первый раздел тома. Вторым разделом должна была стать статья Пассек

Т. С. Пассек на раскопках

«Южная группа трипольской керамики», а третьим — «Керамика Евминки» Латынина. Собственно, была подготовлена монография в 92 страницы с иллюстрациями и большим французским резюме.

Книга не вышла. В 1933 г. ВУАК (Всеукраинский Археологический Комитет), где всё это готовилось, был ликвидирован, на его месте был создан Институт истории материальной культуры Украины, и всё, что делалось в рамках ВУАК, залегло мертвым грузом на полках.

В этой неопубликованной работе в основном уже налицо та схема, которая впоследствии фигурирует как периодизация Пассек: деление на этапы A, B, C и D. Поскольку схема строилась в основном на типологии и стилистике, без стратиграфических данных, ошибки естественны. Так, керамика из раннетрипольского поселения Саврань угодила в самый поздний этап. А поскольку в монографии Пассек, изданной через 9 лет после написания этой статьи, ошибка сохранена (Видейко 2008), создается впечатление, что главным творцом этой схемы был Латынин, и в его отсутствие схема перестала развиваться (он и в дальнейшем отличался созданием периодизационных и территориальных членений материала).

Принципиальным открытием эта схема не была. Уже в начале XIX века немецкий археолог Губерт Шмидт, копавший в Румынии, базируясь на стилистических и стратиграфических данных, выделил в Кукутенах этапы A, AB и B, легшие в основу всей периодизации этого круга культур, и опубликовал свои результаты статьями. В 1932 г. вышла его монография.

3. Главный трипольевед в Москве и Киеве. До 1930 г. Пассек училась в университетской аспирантуре. Как раз к окончанию аспирантуры в Ленинград приехал на гастроли Московский Художественный театр и с ним его главный художник Иван Яковлевич Гремиславский. Увидев Татьяну Сергеевну, он сразу же в нее влюбился, и она ответила ему взаимностью. Он был намного старше ее (на 17 лет), но они поженились, и она в 1930 г. переехала в Москву. С Латыниным остались друзьями. Уход от Латынина, от ленинградской среды, видимо, спас ее от многих бедствий, но это стало ясно позже.

В 1935 г. результаты ее аспирантской работы (а по сути — и работы Б. А. Латынина) вышли в СССР небольшой книгой на французском языке «La ceramique tripolinenne». При подготовке она обработала все доступные на тот момент материалы, хранившиеся в музеях страны, — 1400 целых сосудов и 20 тысяч фрагментов. Схема, представленная в этой работе, является (конечно, со многими исправлениями)

основой периодизации и классификации трипольской керамики до сих пор.

Есть ссылки на совместный труд с Латыниным, так что всё не является покушением на приоритет, совместный труд вот-вот выйдет. Но в 1935 г. Латынин сослан, в 1936 г. арестован, он исчезает из науки и литературы (будет освобожден только в 1946 г.), ссылки на него невозможны, Пассек оказывается единоличным автором периодизации. Волею судеб она входит в функции главного трипольеведа страны.

Б. А. Латынин по возвращении из лагерей

В 1937 г. Пассек поступила на работу в Институт истории материальной культуры (Институт археологии) Академии наук.

Прямо скажем, стратегия исследований трипольской культуры на ближайшие десятилетия была сформулирована не Пассек, а украинским археологом, ученым секретарем ИИМК Украины Ф. Н. Молчановским. Он предложил раскапывать трипольские поселения широкой площадью (что тогда вообще было в духе времени), чтобы не ограничиваться выявлением строений, а изучать хозяйство, земледелие, ремесла и т. п. Этим и занялась Трипольская экспедиция, сформированная в 1934 г. ИИМК Украины и ГАИМК — ИИМК АН СССР. Во главе был поставлен украинский археолог Сильвестр С. Магура, а в штате экспедиции было немало сотрудников из Киева: В. Е. Козловская, В. П. Петров, М. Л. Макаревич, К. Е. Коршак, Н. Л. Кордиш. Из Ленинграда пригласили Е. Ю. Кричевского, из Москвы — Т. С. Пассек. Раскапывали поселения у Халепья, Коломыйщины, Владимировки. В первые годы не больше двух жилищ за сезон, позже масштабы возросли.

К 1940 г. издали первый том «Трипольская культура», в котором есть большущая статья Кричевского о реконструкции трипольских зданий и его совместная статья с Пассек о реконструкции зданий из

Коломыйщины. Кричевский был не очень симпатичной личностью, карьеристом и начетчиком. Сын банкира, он старался загладить свое ужасное происхождение особой преданностью советской власти, и его подозревали в доносах, но он был, несомненно, талантливым исследователем с яркими идеями. И снова Пассек оказывается в одной упряжке с исследователем, которому явно принадлежало идейное первенство в этом тандеме.

Т. С. Пассек оставлась всегда чрезвычайно привлекательной

Экспедиции везло в поле, но не везло в городе. В 1936–1937 гг. были схвачены и расстреляны начальник экспедиции Магура и сотрудник Коршак. В 1942 г. погиб в блокаде Ленинграда Кричевский. Козловская бежала с немцами, Петров был направлен к ним же как тайный агент во время войны, Кордиш эмигрировала в США и ушла из археологии. Из состава Трипольской экспедиции только Пассек и Макаревич остались изучать Триполье.

В 1937 г. в экспедиции у Петрова работала чертежником Докия Гуменна, также оказавшаяся потом в Германии и США. Она издала там рассказы и книгу о трипольской культуре и воспоминания своем участии в экспедиции. Отрядом руководила Пассек, а после ареста Магуры она фактически возглавила экспедицию. Гуменна вспоминала ее как «чернявую красавицу», всегда готовую ответить на вопросы, рассказчицу анекдотов про археологов. Но вот в журнале «Молодой большевик» был опубликован очерк Гуменной о ком-то, кого вскоре объявили врагом. В «Правде» появилась разоблачительная статья. Гуменна повествует:

> «Зашла я в Институт археологии и узнала, что приехала из Москвы Татьяна Пассек. Вот хорошо! Я рада с ней поговорить, она же в Халепье была такой милой... Пассек встретила меня как-то испуганно, так что у меня замерзли на устах все

> предложения. А потом, когда я вышла, она взволнованно выкрикнула: "Это ужасно! Ужасно! Что ей от меня надо?" Эти выкрики мне пересказала Неонила Леонидовна [Кордиш]. Что же так испугало Татьяну Сергеевну? Такая была любезная и доброжелательная. <...> А вот что: ей показали уже номер "Молодого большевика" с моим очерком, и она испугалась. А тут я и пришла! Может быть, она читала статью Фарбера в "Правде"... Вот же, прокаженная дотронулась до Татьяны Пассек. Еще, может, и ее зачислят в неблагонадежные? Нужно как-то отмежеваться!» (цит. у Видейко).

Удивляться не приходится. Пассек уже несколько лет существовала в панике. Ее ближайший друг Латынин, сосланный в 1935 г., арестованный в 1936 г., в 1937 г. был осужден на 5 лет. А ведь и она дворянка! В Ленинграде среди археологов идут аресты и расстрелы. Пассек вовремя уехала в Москву, но и там неспокойно, ученых москвичей тоже уводят ночью. А в украинской экспедиции она опять под огнем: Магура арестован в том же году, что и Латынин, Коршак в следующем, год спустя за ними последовал Молчановский. Не говоря уж о киевских археологах вне экспедиции — Макаренко, Рудинском и прочих. В том же году Пассек уехала в экспедицию в Муганскую степь Казахстана на раскопки Джафарханского могильника. Подальше от Триполья...

В 1941 г. в Киеве была напечатана научно-популярная книжка Пассек «Трипольская культура», в которой подведен итог результатам предвоенных исследований. Кроме того, этой небольшой книжкой еще раз зафиксировано главенство Пассек среди археологов в вопросах изучения трипольской культуры. Она — главный трипольевед СССР. Возможные конкуренты сгорели в огне репрессий. Еще один, Кричевский, погибнет через несколько месяцев...

Т. С. Пассек, лауреат Сталинской премии, ученый секретарь Института археологии

4. В археологической элите. В годы войны Пассек была в Москве, исполняла обязанности ученого секретаря Института. После войны Пассек отправляется на Украину во главе разведочной экспедиции, а в 1946 г. идут масштабные раскопки поселения Владимировка. В 1947 г. Пассек защищает докторскую диссертацию «Периодизация трипольских поселений», в 1949 г. диссертация выходит в серии МИА, а в 1950 г. Пассек получает за нее Сталинскую премию и, таким образом, входит в археологическую элиту.

Это было лестно, однако не всегда приятно. В 1950 г. Татьяна Сергеевна уже была ученым секретарем Института. Г. Б. Фёдоров описывает, как в дирекции его уламывали (директор Удальцов, его зам Крупнов и секретарь партбюро Либеров в присутствии Пассек), чтобы он уговорил своего друга еврея Рабиновича добровольно уйти в отставку с поста начальника Московской экспедиции. Они в который раз перечисляли «свои лживые и демагогические доводы», не называя истинной причины.

> «Мне стало скучно, — пишет Фёдоров (1997/2007), — и я перевел взгляд на четвертого члена дирекции, за все это время не произнесшего ни одного слова, — нашего ученого секретаря Татьяну Сергеевну Пассек, доживавшую, впрочем, в этой должности последние дни. Бархатные темно-синие глаза ее, в которые я так любил смотреть, были опущены, лицо, одновременно бледное и очень свежее (сочетание, встречающееся только у потомственных петербурженок), побледнело еще более обычного. Напряжение выдавали и сильно сцепленные между собой пальцы обеих рук, и насупленные, густые, — как говорили на Руси, соболиные — брови. Мне стало очень жалко ее, но что я мог сделать в таких обстоятельствах?»
>
> Беседа закончилась тем, что всё было названо своими именами. Фёдоров тоже высказал по этому поводу откровенно свое мнение и «вышел из кабинета директора, сильно хлопнув дверью. Следом за мной выскочила Татьяна Сергеевна и, прижимая руки к груди, сминая свою белоснежную блузку, прошептала несвойственной ей горячей скороговоркой:
>
> — Голубчик, Георгий Борисович, ну как Вы с ними разговариваете! Ведь это же бандиты. Они вас уничтожат.
>
> — Ничего, кривая вывезет, — бодрясь, погладил я ее по рукаву черного жакета. — Кроме того, Вы же знаете — на себе испытали — человек может отступать только до определенной черты, иначе он уже не будет иметь права считать себя человеком. Они загнали меня до этой черты. У меня просто не было

другого выхода. А теперь возвращайтесь в кабинет, пока они чего-нибудь не заподозрили.

— Вечером приходите ко мне с Майей пить чай, — тихо сказала она. — Вера Сергеевна, Иван Яковлевич и я будем очень рады. И да хранит Вас Господь, голубчик. — Тут она дважды крепко поцеловала меня и скрылась за дверью директорского кабинета...»

Раскопки же с 1947 г. переносятся на западные земли, вошедшие после войны в состав Советского Союза — Молдавию, Поднестровье. Многослойное и укрепленное рвами поселение Поливанов Яр и открытое В. И. Маркевичем поселение Флорешти, тоже многослойное, с материалами линейно-ленточной керамики в нижнем слое и чем-то вроде культуры Боян — в верхнем. Всё это в 1961 г. вошло в четвертую (и последнюю) книгу Пассек — «Раннеземледельческие поселения на Днестре».

Впрочем, поселение Флорешти Пассек готовила последние годы своей жизни к отдельной публикации.

В начале 1960-х Пассек работает на открытых на западе памятниках соседней с Трипольем энеолитической культуры — Гумельницы. Кроме того, в послевоенные годы видным ученым стало возможно выезжать на конференции в социалистические и даже иногда в капиталистические страны. Пассек посещает Рим и Прагу, где на конференциях делает доклады о результатах изучения Триполья в СССР. В 1964 г. она уже может доложить об углублении начала трипольской культуры до 3600 г. до н. э. на основании радиоуглеродного датирования.

Она еще пережила короткую хрущевскую оттепель, повидалась с возвращенным из небытия, работающим в Эрмитаже Латыниным (потерявшим ногу, изможденным и опирающимся на палку) и умерла в 1968 г. —под грохот советских танков, вошедших в Прагу.

5. Образ. А теперь самая пора обрисовать образ Татьяны Пассек, каким он запомнился многим археологам, ее-знавшим.

«Истинной королевой сектора была Татьяна Сергеевна Пассек, — пишет Е. Е. Кузьмина (2008: 16). — Высокая, статная, круглолицая, с огромными карими глазами, гладко зачесанными в пучок роскошными волосами и великолепным контральто. В молодости у ее ног лежали и Отто Юльевич Шмидт, и Иван Иванович Мещанинов, и Борис Александрович Латынин, и многие, многие другие. Потом она вышла замуж за гримера и крупного театрального деятеля МХАТа Ивана Яковлевича Гремиславского.

Когда я познакомилась с ней, я сразу попала под ее удивительное обаяние.

Она жила со старушкой мамой в доме актеров Художественного театра. Нам всем — обитателям коммуналок — квартира казалась огромным музеем. Больше всего мне запомнились книжные шкафы красного дерева и круглый стол, за которым домоправительница Катя разливала чай. <...> Встречались мы с Т. С. и в Консерватории, куда ее обычно сопровождал крупный музыковед и очень обаятельный человек Константин Христофорович Аджемов».

Контральто, которое упоминает Кузьмина, — не просто характеристика звучания. В молодости Пассек была отличной певуньей. Археолог Г. Б. Федоров также признается, что в молодости был влюблен в Татьяну Сергеевну, хоть она была уже в возрасте. По его впечатлению,

«...ее муж, главный художник Московского Художественного театра, Иван Яковлевич Гремиславский, сын гримера Гремиславского, — одного из ближайших и многолетних соратников Станиславского и Немировича-Данченко. Иван Яковлевич — безупречно воспитанный, интеллигентный — как пришел в неописуемый восторг, когда впервые увидел свою будущую красавицу жену, так и пребывал в этом состоянии до конца жизни».

Т. С. Пассек в памяти археологов

Квартира Гремиславских-Пассек находилась в театральном доме, в самом центре Москвы, в переулке, выходящем на Тверскую.

«В этом доме жили Сергей Образцов и другие знаменитости, — с ностальгией пишет Федоров. — Каждая квартира была своеобразной, содержала множество ценностей и произведений искусства. И все же, полагаю, эта квартира выделялась из всех. В громадной светлой комнате — гостиной, столовой и кабинете Татьяны Сергеевны (одна мастерская Ивана Яковлевича располагалась на верхнем этаже этого же дома, другая — в здании театра), в горнице Веры Сергеевны, в узкой и длинной чайной комнате

(в этой семье чаепитие было своего рода священнодействием, которым распоряжался Иван Яковлевич, большой знаток и любитель сего напитка), в спальне супругов, даже в подсобной комнате, на стенах висели великолепные картины известнейших художников, стенды с удивительными историческими реликвиями, на полу и на столах стояли скульптуры и муляжи и т. д. В то же время квартира была незагроможденной, очень просторной и какой-то радостной...»

Федоров также сообщает о Татьяне Сергеевне:

«К несчастью, после неудачной операции она лишилась возможности иметь детей, и на ней знаменитый род Пассеков (по крайней мера эта его ветвь) пресекся... Конец этой семьи был ужасен. Сначала от рака крови — лейкемии — умер Иван Яковлевич. Затем от рака с метастазами по всему телу в страшных мучениях скончалась Татьяна Сергеевна».

О конце Татьяны Сергеевны Кузьмина пишет еще более патетически:

«Помню я и другой день: в академической больнице лежит больная Татьяна Сергеевна. У нее рак, и она знает, что умирает. Сегодня к ней Катя привезет ее маму проститься. Т. С. просит меня причесать ее, надеть кружевной воротничок, дать пудру. Мать приходит. Они целуются, но ни слова жалоб, никаких слез, только глаза в глаза. <...> Я тогда читала "Марию Стюарт" Стефана Цвейга, и описание подготовки Марии к казни показалось мне вычурным. Но нет, настоящие королевы умирают именно так!» (Кузьмина 2008: 16).

В завещании Татьяна Сергеевна распорядилась, чтоб на ее похоронах всё было белым: гроб, платье, цветы и памятник (Формозов 2011: 189).

6. Наследие и значение. Хотя периодизация Пассек применяется до сих пор, но в усовершенствованном виде. Рубеж между средним и поздним Трипольем переместился на ступеньку вверх — теперь он пролегает между CI и CII. Абсолютная хронология еще более удревнилась, и теперь начало культуры относят к 5600–5300 до н. э. Памятники типа Флорешти Пассек относила к культуре Боян, теперь их считают раннетрипольскими. Усатовскую культуру Пассек считала позднетрипольской, сейчас ее считают посттрипольской, то есть отдельной культурой. Да и саму трипольскую культуру предлагают разделить на ряд культур и видеть целую свиту трипольских культур — томашевскую,

петренскую, жванецкую, восточно-трипольскую и другие. Культура Кукутени уже давно разделена в Румынии на три культуры: Прекукутени, Кукутени, Городиштя-Фолтешти. Глиняные площадки сейчас уже не рассматривают как полы домов, а как остатки упавших при пожаре перекрытий. Владимировка оказывается гораздо больше того поселения, которое было выявлено экспедицией Пассек.

Еще в 1953 г. С. Н. Бибиков поставил под вопрос матриархальный характер трипольского общества, предположенный Пассек, и мотыжное земледелие. Между лидерами трипольеведения разгорелась дискуссия (Бибиков 1953; 1955; Пассек 1954). Ныне трипольское общество считается патриархальным с пахотным земледелием.

О ее человеческих качествах Формозов (2011: 160), уважавший ее, пишет всё же критически:

> «В Пассек было много наигранного, фальшивого. Ее аристократизм оборачивался порой барством, даже хамством по отношению к нижестоящим. Она так дорожила положением в свете, что ради него была способна и на приспособленчество: когда надо, восхищалась Сталиным, подлизывалась к Рыбакову и Крупнову. <...> За успех и популярность Татьяне Сергеевне пришлось в итоге расплачиваться, и недешево. Она училась у Марра и, стремясь придать лишний блеск своим трудам, иногда ссылалась на четырехэлементный анализ и прочее. В 1950 г. это ей припомнили. Брюсов критиковал ее грубо и подло. Дирекция требовала покаянной статьи для антимарровского сборника. После этого она явно сдала. Монография 1949 года была ее апогеем. <...> Когда она умирала, сказать ей, пожалуй, было и нечего».

Теперь я могу с известной уверенностью ответить на вопрос, поставленный в начале этого биографического очерка. Да, Т. С. Пассек, несмотря на большие успехи в изучении трипольской культуры, не была ученым масштаба Арциховского или Равдоникаса. Ее вклад основателен, но локален. Она не была основоположницей заметного учения или основателем выделяющейся школы. Но я не случайно включил ее в раздел передатчиков традиции. Только, в отличие от Миллера или Ефименко, она передавала не научные традиции, не знания, не теории и методы, а традиции общей культуры. В ней самой, в ее манерах и внешности, в ее семье, в ее квартире археологи видели остаток ушедшей эпохи. Видели достоинство петербургской дворянской интеллигенции — ориентир для тех, кто хотел сохранить традиции русской науки перед нашествием Шариковых и Швондеров.

Зачинатели «марксистской археологии»

Настал наш срок,
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк.

С. Есенин. Стансы. 1924.

Пролетарии всех стран,
бейте в красный барабан!
.....
Работенка вам по силам,
по душе и по уму:
ройте общую могилу
Капиталу самому.
.....
Мы ж недаром изучали
«Манифест» и «Капитал» —
Маркс и Энгельс дело знали,
Ленин дело понимал.

Ярослав Смеляков. Стихи, написанные 1 мая.

Если попытаться отобрать тех археологов, творчество которых характеризует марксистский облик советской археологии, то это окажется не менее дюжины исследователей. От Н. Я. Марра, главы головного археологического учреждения страны, ведет свое происхождение теория стадиальности, В. И. Равдоникас ее реализовал в археологии, Е. Ю. Кричевский применил к этногенезу и критике миграционизма Г. Косинны. А. В. Арциховский, С. В. Киселев, А. П. Смирнов и А. Я. Брюсов ввели социологизм в трактовку материальных древностей (орудий труда, погребений и поселений) и придумали «метод восхождения», исходя из марксистских принципов выведения надстроек из базиса. В. И. Равдоникас и М. И. Артамонов анализировали парные погребения бронзового века как отражение развития семьи по Моргану — Энгельсу. П. П. Ефименко увидел в женских статуэтках палеолита проявления матриархата, а Б. Н. Граков на время оживил марксистские представления о матриархате в пору их затухания. С. А. Семенов разработал функционально-трасологический метод исследования первобытных орудий как марксистское противопоставление буржуазному типологическому методу, изучающему только форму орудий и игнорирующему их роль в производстве. Б. А. Рыбаков заговорил о двух культурах в каждой археологической культуре, применив к археологии высказывание Ленина (и не зная, что до Ленина и при жизни Ленина это же утверждали немецкие этнологи отнюдь не демократического толка — Эдуард Гофман-Крайер и Ганс Науманн).

Но если ограничиться только зачинателями внедрения марксизма в археологию и учитывать только принципиальные нововведения, то можно резко сузить круг.

Останутся Марр, Равдоникас, Арциховский, Семенов и Граков.

Выставка к пленуму рабовладельческого сектора ГАИМК 20–21 мая 1933 года

Необузданный интеллект и революция
Н. Я. Марр

— Вы по-русски здорово говорите, —
заметил Бездомный.
— О, я вообще полиглот и знаю очень большое
количество языков, — ответил профессор.
— А у вас какая специальность? —
осведомился Берлиоз.
— Я — специалист по черной магии...
Да, действительно, объяснилось все: и страннейший
завтрак у покойного философа Канта, и дурацкие
речи про подсолнечное масло и Аннушку,
и предсказания о том, что голова будет отрублена,
и все прочее — профессор был сумасшедший.

М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита, гл. 1 и 3.

1. Трудный ребенок. Революция вознесла на вершину власти и славы двух грузин, очень разных: один до революции успел стать академиком, другой, недоучившийся семинарист, — был бандитом и революционером. Их сходство, однако, не ограничивалось национальностью: оба носили не грузинские фамилии, оба росли без отца и были психопатами, коньком обоих был национальный вопрос, обоим при жизни творили культ, а после смерти пришло развенчание. Судьбы их переплелись: один, Иосиф Сталин, способствовал славе другого, академика Марра, и сам же его низверг. Один вырос в Гори, другой в Кутаиси.

Директор Кутаисской гимназии имел немало хлопот с учеником предвыпускного класса Нико Марром. Мальчик рано остался без отца. Отец его, шотландец Джеймс Марр, приглашенный князем Гуриели в Гурию, был садовником. Он первым вырастил на Кавказе некоторые сорта чая. Авантюрист по натуре, в возрасте более 80 лет

он женился на малообразованной молодой грузинке. От этого брака и родился в 1864 г. сын Николай. Мать и отец не имели общего языка в буквальном смысле: отец так и не выучился говорить по-грузински, а мать не говорила ни на одном языке, кроме грузинского. В детстве грузинский был единственным языком будущего полиглота. Когда отец умер, его имущество было отобрано детьми от первой жены, а большую библиотеку мать пустила на оклейку стен.

В гимназии мальчик учился хорошо. Еще в гимназические годы он овладел русским, древними классическими — латынью и греческим, новыми европейскими — немецким, французским и английским, а также турецким. В особенности ему давались древние языки — он был по ним первым учеником. Возможно, интерес и тяга к языкам были обусловлены трудностями общения в семье и сознанием своей частичной иноплеменности. Росший как единственный сын и к тому же необычного происхождения, мальчик, самолюбивый и обидчивый, как позже он признавал, с «необузданным характером», не находил общего языка и со сверстниками. Как-то, рассердившись на них в школе, он забросил сумку за плечо и ушел пешком в Тифлис, примерно за 150 километров, где решил работать в Ботаническом саду. Устроиться не удалось, пришлось вернуться.

Но, увлекшись греческим языком (по его собственному объяснению событий), Марр решил остаться еще на год в гимназии и отказался держать экзамены на аттестат зрелости. Его исключили из гимназии и выдали документ: «Дано сие в том, что ученик 8 класса Кутаисской гимназии действительно болен нервным расстройством, выражающемся в чрезвычайной раздражительности, а по временам нелогичности поступков, и что состояние его здоровья в настоящее время требует безотлагательного специального лечения». Однако, когда его, «предав забвению прошлогоднее поведение», приняли вновь в гимназию, он снова убежал в Тифлис — на сей раз решил стать телеграфистом. Директор гимназии написал письмо попечителю учебного округа: «Сегодня я получил от ученика Марра письмо из Тифлиса. По письму этому можно положительно заключить, что несчастный молодой человек находится в сильной степени психического расстройства. По моему мнению, его необходимо поместить в больницу для душевнобольных» (Беридзе 1935: 138–139).

Его, однако, вернули в гимназию и дали ее окончить. «К исходу гимназии, — вспоминал Марр стариком, — перелом в религиозном веровании, сбрасывание икон в классах и топтание их ногами» (Марр 1930/1933: 269). Окончил он гимназию в 1884 г. с золотой медалью,

только по русскому языку была четверка (он всю жизнь говорил по-русски с кавказским акцентом и писал со стилистическими ошибками). Тем не менее, как и многие молодые грузины, он подался в Петербург.

2. Подпольный лингвист. Сам только наполовину грузин, он обладал особой чувствительностью к национальному вопросу, жаждал утвердиться в своем грузинском достоинстве — доказать себе, что оно ничем не хуже утерянной еще до рождения шотландской принадлежности. Возможно, что стояла перед ним и проблема как-то совладать с обидной для национального самолюбия несамостоятельностью Грузии — эта страна древней культуры была под властью России, и предстояло доказать, что грузины и в составе России могут занять высокие места. Так или иначе, молодой Марр устремился в столицу и поступил в Петербургский университет. Он выбрал восточный факультет, а в нем стал учиться сразу по четырем специальностям — армяно-грузинской, кавказско-персидско-турецкой, санскритской и семитской. Так что он изучал все языки Ближнего Востока, преподававшиеся в Университете. Его основными учителями были известный семитолог (арабист-исламист) академик В. Р. Розен и грузинист А. А. Цагарели.

Но знание языков — это еще не языкознание! Марр пополнил свои знания языков и стал поистине полиглотом, но курсы по языкознанию — сравнительная лингвистика, методика исследования, теории языка — читались только на филологическом факультете, а на восточном не читались. Этих курсов Марр не прослушал ни одного. Этих отраслей науки, которыми обладали квалифицированные лингвисты, он вообще не знал, школы не получил. Дело в том, что восточный факультет готовил не лингвистов, а востоковедов широкого профиля, владеющих языками, — специалистов по культуре и истории восточных народов. В основном там изучали историю и литературу этих народов.

Марр тоже изучал именно эти предметы и приобрел в них высокую квалификацию. Однако, владея языками, не мог же он упустить возможность реализовать себя и на этом поприще! Недостаток образования, нехватка методики его не смущали — его обширные знания усиливали его природную самоуверенность. Особенно волновала его изолированность грузинского языка. Грузинский, правда, имел близких родственников тут же, на Кавказе, — языки небольших народцев, почти диалекты грузинского: чанский, сванский, мегрельский. Вместе они образовывали картвельскую семью, но ни

с одной из больших европейских и азиатских семей картвельская в родстве не состояла.

> «Марр не мог понять, — пишет его современный биограф В. М. Алпатов (1991: 16), — что грузинский народ не только не виноват, но и не может быть унижен тем, что грузинский язык не имеет близких родственников среди языков с богатой историей. Стремление найти своему языку "знатного родственника" оказалось сильнее научности».

Уже на втором курсе, только-только начав учить арабский, он пришел к выводу о родстве грузинского языка с семитическими. Доказательства не приводились. Свои выводы он оформил как курсовую работу и, несмотря на скептическое отношение к ней Розена, в 1888 г. опубликовал ее под заглавием: «Природа и особенности грузинского языка» в грузинской газете «Иверия». Это была его первая печатная работа. Именно по лингвистике, которую он не знал, в которой специалистом не был. Вдобавок в этой заметке Марр ехидно отметил, что мысль о принадлежности грузинского языка к особой семье впервые высказал не его университетский учитель Цагарели, как некоторые считают, а один немецкий ученый. Отношения с Цагарели были навсегда испорчены.

Только через 20 лет Марр опубликовал в подтверждение своего вывода некоторые сопоставления. Вообще отдельные сходства слов могли быть случайными и локальными, могли быть результатом заимствования. По правилам компаративистики, надо было сопоставлять не грузинский язык с арабским, а всю картвельскую семью, ее праязык, со всей семитской семьей, с прасемитическим. Но эти принципы Марр игнорировал, а скорее всего, просто не знал. Да и методика сопоставлений хромала. Коллега Розена, академик К. Г. Залеман, сказал Марру: «У вас все звуки переходят во все звуки» (Миханкова 1949: 159). В этих ранних работах оформлялась типичная манера Марра как лингвиста. Б. В. Горнунг (1952: 160) определил ее так: «Сначала следовал вывод, а потом уже изучение и исследование материала с готовой предвзятой идеей. Этому принципу, впервые примененному в юности, Марр остался верен всю свою жизнь».

Поскольку агрессивный студент быстро рассорился с грузинскими филологами (не только с Цагарели), пришлось всерьез думать о том, чтобы специализироваться не по грузинской филологии, а по арменистике. Узнав о планах факультета оставить Марра для преподавания, армянская община Петербурга прислала делегацию

с просьбой не принимать его на специализацию по армянской филологии как не армянина. В это время вышла книга квалифицированного лингвиста А. И. Томсона «Историческая грамматика современного армянского языка г. Тифлиса». Студент Марр разразился разгромной рецензией на эту книгу — он убирал с пути конкурента. И убрал ведь — Томсон прекратил работы по армянскому языку (впоследствии он стал одним из основателей русской экспериментальной фонетики). Окончив в 1888 г. Петербургский университет с серебряной медалью, в 1891 г. Марр стал приват-доцентом того же университета и начал читать лекции по армянской филологии.

До рубежа веков Марр занимался лингвистикой, как он сам впоследствии писал, «в своего рода научном подполье» (Марр 1927/1933: 9). Розен просто запретил ему публиковать что-либо по лингвистике до защиты диссертации по литературоведению. Все же в 1894 г., получив командировку на стажирование в Страсбург, Марр встречался там с маститыми немецкими востоковедами. Крупнейший из них, Нельдеке его «семито-грузинские» идеи и слушать не захотел, а Гюбшману и Бугге молодой грузин откровенно разъяснил их заблуждения, о чем отписал своему учителю Розену, весьма его озадачив. При встрече со знаменитым французским лингвистом Антуаном Мейе высказал и ему свои идеи. Мейе расценил их как «поразительные фантазии, в которых нет лингвистики» (Миханкова 1949: 31). Разъяренный Марр написал своему учителю Розену:

> «Языкознание, если не ошибаюсь, весьма скороспелая наука для большей части восточных языков... Для армянского я положительно убежден, что большинство так наз. законов — одно воображение. Впрочем, сам Гюбшман сознается, что в армянском все vielleicht и ничего верного... Сами лингвисты начинают думать о своей науке скептически. Они напоминают авгуров: сами нисколько или весьма мало верят в лингвистику...» (Миханкова 1949: 64).

Марр обиделся на всю европейскую науку — он почувствовал, что там рассчитывать на признание не приходится. Обида держалась всю жизнь.

Будущий глава советской лингвистики установленных законов лингвистики не изучал, не знал их и в них не верил.

В 1899 г. Марр представляет на факультет трехтомный труд «Сборники притч Вардана» в качестве магистерской диссертации и, несмотря на противодействие Цагарели, успешно защищает ее. Это было литературоведческое исследование армянского литературного

памятника в традициях А. Н. Веселовского («бродячие сюжеты»). Но в речи Марра на защите есть уже и три новых мысли: о классовом характере литературного памятника и его языка, о принадлежности грузинского языка к особой семье языков — яфетической, которая лишь родственна семитской, и о родстве грузинского (не-индоевропейского!) и армянского (индоевропейского!) языков, основанного на их общей яфетической основе. Яфетическими он назвал кавказские языки — по Яфету, одному из трех сыновей Ноя. Это поставило кавказские языки в один ряд с семитскими (по Симу) и хамитскими (по Хаму). Все — вокруг Средиземноморья.

К этому времени Марр написал ряд солидных работ по истории древней грузинской и армянской литературы, открыл несколько новых грузинских и армянских памятников (некоторые из них — в своих поездках на Синай и в Палестину), обработал их и издал. Он вошел в науку как кавказовед, специалист по истории культуры. С 1900 г. он стал экстраординарным профессором Петербургского университета, с 1902 г. — доктором и ординарным профессором.

Со времени защиты магистерской диссертации отпал обет Розену не публиковать ничего по лингвистике. Марр публикует и ряд лингвистических работ: в 1903 г. — грамматику и этимологию древнеармянского языка, в 1910 г. — ханского, в это же время работает над грамматикой литературного древнегрузинского языка (издана позже —в 1925) и абхазского словаря (издан в 1926). По отзывам специалистов, эти работы, однако, не идут ни в какое сравнение с работами Марра по литературной филологии.

Именно за них в 1909 г. он становится адъюнктом Академии наук, а в 1912 г. 48-летний ученый избирается академиком. Он стал признанным главой кавказоведения в России. У него талантливые ученики по филологическому кавказоведению — И. А. Орбели, И. А. Джавахишвили (оба впоследствии стали академиками), А. Г. Шанидзе (впоследствии член-корреспондент АН СССР), у него учится и очень его почитает знаменитый поэт Грузии Тициан Табидзе.

3. Находок никаких, но богатый материал... С самого начала самостоятельной научной деятельности Марра в ней появляется еще одна струя — археология. В 1890 г., собирая в Армении рукописи, Марр осмотрел и развалины древней армянской столицы Ани. В 1892 г. Археологическая комиссия поручила молодому кавказоведу, хорошо знающему древнюю Армению, раскопки этого памятника.

И комиссия и, надо отдать ему должное в этом, сам Марр понимали, что он совершенно не подготовлен к этому делу — не имел ни должного образования, ни школы, ни опыта раскопок. Но Комиссия не имела выбора и надеялась, что преподаватель Университета сумеет восполнить этот пробел на ходу. Да и памятник считался не столь важным, как северно-причерноморские. А необходимость раскопок была связана с тем, что там уже проводил раскопки французский археолог Жак де Морган.

Впоследствии Марр так описывал реакцию на раскопки Моргана:

> «Он провел не одну кампанию любительских раскопок в поисках вещей из языческих могильников... О методе раскопок Моргана не стоит распространяться: это хуже, чем хищническое кладоискательство, но Морган достиг своей цели: поехал он обратно на родину с прекрасной коллекцией и издал в двух томах не только итоги своей миссии, но историю вопроса о родине металлов. И мы стали учиться по этой плохой книге из-за вещей, увезенных от нас. У нас спохватились, всполошились. Когда Морган приехал в разрешенную русскими властями командировку на Кавказ, его встретила приветственная телеграмма с любезным запрещением проводить раскопки и вывозить вещи. Надо было <...> выйти из не совсем красивого положения собаки на сене. Решено было начать раскопки в Армении, не располагая специалистом по историческим культурам Кавказа. На начинающего тогда литературоведа и лингвиста возложили это ответственное дело» (Марр 1930: 2–3).

Понимал, значит, что не был археологом...

Самоуверенный молодой ученый, однако, и тут положился в основном на свою сообразительность. Методы раскопок, опыт раскопок на Ближнем Востоке не изучал. Судя по сохранившемуся списку подготовительных мероприятий, учился только фотографировать и пополнял знания о древних армянских постройках по письменным источникам. Он приступил к Ани в те же годы, когда Шлиман окончил раскопки Илиона, продолжавшиеся с перерывами 20 лет. Шлимана жестоко корят за его неподготовленность и оплошности. Копал ли Марр через несколько десятков лет лучше?

Первые же отчеты с места работ ошарашили Комиссию: «вещественных находок никаких, но зато богатый материал для истории армянского искусства, архитектуры, скульптуры и даже живописи»

(Марр 1892: 7). По этому поводу А. В. Арциховский (1953: 55) отмечает: «Вещественных находок, как во всех городах, было много, но он их выбросил. Судя по беглым упоминаниям в отчетах, анийские слои чрезвычайно насыщены вещами». Марр интересуется в основном архитектурой, монументальными сооружениями. «Город был разделен на крепость, или вышгород, и нижнюю часть. Торговая часть города разделялась на несколько кварталов...» (Марр 1892: 115). За месяц были открыты две церкви, городские стены царя Ашота, жилища бедняков. Раскопки продолжались и в следующем году, затем прекратились. Материалы пошли в разные музеи, не все в Эрмитаж. Комиссия была явно недовольна, Марр тоже.

Но позже его вес в науке усилился, и работы, возобновившись с 1904 г. в большем масштабе, шли до самой войны. Они показали важное значение Ани для армянской истории, хотя с методической точки зрения были губительны для памятника. «Отчеты Марр посвящал открытым при раскопках зданиям, но и то почти никогда не делал чертежей. Столь же показательно полное невнимание к стратиграфии. Слои многослойного городища не изучены, и хронологические соотношения зданий поэтому не выяснены. Тем самым и описания этих зданий становятся бесцельными, а больше ничего в анийских отчетах нет» (Арциховский 1953: 55).

Результатом одиннадцати раскопочных кампаний явилась лишь тоненькая книжица «Ани. Книжная история города и раскопки на месте городища», изданная уже в советское время как 105-й выпуск Известий ГАИМК. Для археологов она гораздо менее поучительна, чем два тома Жака де Моргана. Таков был раскопочный опыт будущего главы советской археологии.

Однако если рассмотреть анийские раскопки на фоне тогдашней российской археологии, то обозначится кое в чем и новаторский подход Марра. Погоня за вещами для музеев обусловливала тогда преобладание курганных раскопок, так что прогрессом был уже сам выбор именно городища. Если городища и копались тогда, то траншеями — именно потому, что главной задачей раскопок представлялись вещи. Марр же поставил перед собой задачу вскрыть сооружения, весь архитектурный облик города. В 1915 г. Русское археологическое общество присудило ему высшую награду по археологии в России — большую Уваровскую медаль. Конечно, тут сказались не только его сугубо археологические заслуги, но и его научное реноме в целом, его позиция в научном сообществе: столичный профессор, академик, глава кавказоведения.

Н. Я. Марр, востоковед и успешный археолог в предреволюционные годы

Н. И. Платонова (2005: 226) прочла некоторые полевые записи Марра, и пришла к выводу, что критика Арциховского была чрезмерной: массовый материал у Марра какой-никакой был, документация велась, но всё погибло в революционной заварухе.

4. Революционные потрясения. В 1911 г. министром просвещения России стал Кассо, активно насаждавший охранительные тенденции в университетах и изгонявший из них либеральную профессуру. Именно с приходом Кассо Марр становится деканом восточного факультета. Это говорит о том, что он считался чрезвычайно благонадежным и верноподданным деятелем. Еще в 1897 г. его приглашали работать цензором, но, без пяти минут профессор, он тогда отказался. Он был также старостой грузинской церкви в Петербурге (это он-то, сбрасывавший иконы и топтавший их ногами в прошлом и воинствующий атеист в будущем!). Таков был политический багаж виднейшего в будущем пропагандиста марксистской идеологии и критика буржуазной науки.

Таким академик Марр подошел к черте, за которой начиналась новая эпоха. Если бы не революция, Марр так и остался бы в анналах науки солидным кавказоведом-филологом с полудилетантскими экскурсами в лингвистику и археологию, главой кавказоведения, весьма консервативным политически администратором науки. Психопатические свойства его натуры проявлялись тогда только в том, что он был не очень приятным коллегой, раздражительным, агрессивным и честолюбивым. К своим идеям, талантливым и порою новаторским, он относился крайне некритически, ожидая их принятия на веру — без доказательств. Это перекрывалось огромным трудолюбием и выдающимися знаниями.

Н. Я. Марр готов принять революцию

Революция застает Марра за организацией Кавказского историко-археологического института, который должен был открыться в Тифлисе. В июне 1917 г., когда министром просвещения Временного правительства стал академик С. Ф. Ольденбург, друг Розена, институт был утвержден.

Но тут в жизни Марра начинаются крупные потрясения, какие и для человека с более устойчивой психикой были бы ударами, вряд ли способными пройти бесследно. Для создания научной базы в новом институте Марр отправляет из Петербурга в Тифлис почти весь анийский архив: дневники, отчеты, чертежи, фото. В революционной неразберихе вагон с этими материалами пропал в пути, а с ним результаты 16 лет работ — лишь небольшая часть дневников да конспекты лекций Марра о раскопках сохранились. Линия фронта прошла через анийское городище, и все постройки Марра, а также некоторые добытые памятники (в частности статуя царя Гагика) были разрушены, а затем само место Ани навсегда отошло к Турции.

В Грузии образовалось самостоятельное правительство, и она объявила себя независимой от России. Марр в юности мечтал о свободном развитии грузинской культуры, но так далеко в мечтах не заходил — развитие мыслилось в рамках Российской империи. Он добился высокого положения в России и не собирался с ним расставаться. Променять лидерство в одной из мировых столиц на провинциальную суету? Это было не для Марра. «В распаде России, — пишет он в 1918 г., — залог ее воскресения здоровой, сильной и цветущей как никогда» (Марр. 1922: 60). К националистам примкнули многие ученики Марра. Лучший из учеников И. А. Кипшидзе уехал в Грузию и погиб. В 1921 г. погиб на южном фронте и младший сын Марра.

Вокруг всё рушится и возникают совсем новые, непривычные структуры. Можно с уверенностью сказать, что из революционных

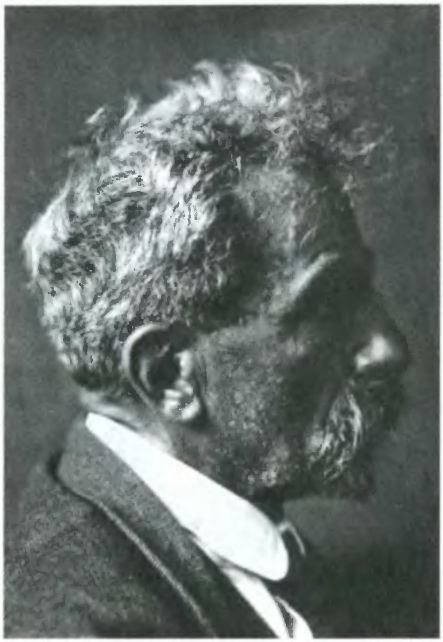
передряг Марр, и без того психически неуравновешенный, вышел с основательно потрясенным и поврежденным сознанием. Он утратил многие связи, ориентиры и устои цехового ученого, но сохранил основные эмоциональные особенности своей психики — лихорадочную жажду деятельности, экспансию и честолюбие.

Марр вышел из революционных передряг с потрясенным сознанием

Между тем революционная Россия представляла благодарное, хотя и опасное поле для натур деятельных и честолюбивых. На Марра работали наращенный им за прошлую жизнь авторитет, привычное уважение консервативных коллег и готовность новых властей открыть ему двери в новые структуры: всё-таки нацмен, в некоторых своих идеях (например, классовость языка и культуры) созвучный времени. Революционная Россия очень нуждалась в таких людях.

В 1918 г. восточный факультет Петербургского университета объединяется с историко-филологическим в факультет общественных наук (ФОН) — деканом избирается академик Марр. В Археологической комиссии отменяется назначение председателя свыше и вместо графа Бобринского ее возглавляет выборный председатель — это оказывается академик Марр. Он носится с идеей расширить поле археологии — оно всегда казалось ему слишком узким. Не без его хлопот 18 апреля 1919 г. Археологическая комиссия упраздняется и на ее месте учреждается всевластная и многофункциональная Академия истории материальной культуры, сначала как Российская, потом, после организации СССР, — всесоюзная Государственная (РАИМК — ГАИМК). Ее возглавляет, конечно, академик Марр. Так Марр оказался во главе археологии страны.

По видимости, статус археологии резко поднялся — она получила собственную Академию (в России так назывались лишь наиболее авторитетные научные учреждения), была централизована



Академик Марр оказался во главе археологии страны

и организована иерархически. На деле, однако, произошло нечто противоположное. Для реализации грандиозных планов Марра в его Академию вошли представители разных наук: историки, социологи, искусствоведы, языковеды, этнографы, естественники. Это имело свою положительную сторону — импульс для комплексных исследований, для интеграции наук. Но археология среди них как-то затерялась. Она стала стесняться своего узкого вещеведческого профиля. Под влиянием широких интересов председателя «голое вещеведение» стало бранной кличкой. Началось распредмечивание археологии, депрофессионализация археологов.

5. От «яфетической теории» к «новому учению о языке». Сам Марр археологией уже не занимался. Его поглотили языковедческие интересы — расширение и обоснование его выводов по яфетидам. Параллельно с ГАИМК был создан Яфетический институт. Даже своего самого близкого ученика и наперсника этих лет, И. И. Мещанинова, юриста, ставшего археологом еще до знакомства с Марром, он направил в языковедение. В 1920–1921 и в 1922–1923 гг. он проводит длительное время за границей, в Европе. Первая командировка длится почти девять месяцев, вторая — почти восемь. Основной целью было провозглашено изучение баскского языка. Язык тоже без родственников, как и яфетические. А созвучие Иберия (Испания) — Иверия (Грузия) вспыхнуло озарением: баскский — тоже яфетический! Найти доказательства (дополнительные созвучия) при марровской несамокритичности было делом несложным. Идея великолепна: грузинский и другие кавказские на одном конце и баскский на другом оказываются остатками огромного массива древнейшего населения Средиземноморья. Следы его Марр теперь

находит и в древнегреческом, и в латыни. Так возникает яфетическая теория.

Тайным желанием Марра было найти этой теории признание на Западе. Но признания не было. Марр утвердился в своем давнем впечатлении, что на Западе ему делать нечего — там успеха не будет. Западные ученые слишком закоренели в своем европоцентрическом предубеждении, в чувстве собственного превосходства. В бытность на Западе Марр опубликовал там кое-что из своих выводов. В рецензиях на эти публикации Мейе и Шухгардт пеняли Марру, что прежде, чем устанавливать родство яфетических языков с другими, надо бы построить сравнительную грамматику яфетических языков. Марр воспринял это как унижение:

> «Почему же от меня, специалиста, всю жизнь и все труды посвятившего этим именно языкам и на основе этих трудов получившего всё-таки и степень доктора соответственных наук, и звание члена Академии наук, и профессора факультета восточных языков, требуют получения квалификации путем писания учебников?! <...> Они, эти herr'ы и messieurs, хотят быть господами положения и судьями, <...> а я в поучатели никого не имею основания производить... Мой метод известен всем, кто следит за тем, что печатаю, а если этого мало, пусть приезжают слушать: читаю 13 лекций в неделю» (Марр, письмо от 8/3 1924. — Миханкова 1949: 327).

Такое отношение к западноевропейской науке, конечно, подымало Марра в глазах большевистских идеологов, а самого Марра всё больше отвращало от основ лингвистической науки вообще.

Поворотный момент наступил 21 ноября 1923 г., когда Марр выступил в Академии наук с коротким докладом «Индоевропейские языки Средиземноморья». В этом докладе он отказался от идеи яфетического языкового субстрата, перекрытого индоевропейским нашествием с севера. Отказался и от основных понятий современной компаративистики вообще.

«Утверждаю, — провозглашал он, — что индоевропейской семьи языков, расово отличной, не существует. Индоевропейские языки Средиземноморья никогда и ниоткуда не являлись ни с каким особым языковым материалом, который шел бы из какой-либо расово особой семьи языков или тем менее восходил бы к какому-либо расово особому праязыку. Единый праязык есть сослужившая свою службу научная фикция... Индоевропейская семья языков есть создание новых хозяйственно-общественных условий, по материалам же <...>

это дальнейшее состояние тех же яфетических языков, в Средиземноморье — своих или местных...» (Марр 1924/1933: 185).

Меняется хозяйство — меняется мышление, а с тем меняется и язык. Так «яфетическая теория» обернулась «новым учением о языке». В связи с этим Яфетический институт Марра переименовывается в Институт языка и мышления.

Яфетическая и индоевропейская семьи языков оказались не локальными образованиями, не группами родственных языков — языков, связанных друг с другом по происхождению от общего предка, а повсеместными стадиями в развитии речи. В основе этого развития лежит не сегментация народностей и языков, не деление, а наоборот, скрещение и слияние — от множества племенных диалектов через ряд стадий к единому общечеловеческому языку будущего. «Хозяйственно-общественным» сходством определялись не просто одинаковый тип мышления, а с ним единство грамматической структуры одностадиальных языков (нечто в этом роде предполагал еще Шлейхер). Нет, Марр говорил о независимом сложении одинаковых лексем, слов, их корней.

Для прослеживания стадиальных трансформаций словарного материала нужно было установить регулярные звуковые переходы, законы языка — какие звуки и при каких условиях, в какую эпоху, переходили в другие. В своем курсе «Палеонтология речи» Марр установил звуковые соответствия между казавшимися ему близкими словами яфетических языков, но не ограничил эти звуковые переходы какими-либо условиями и временем. А так как индоевропейские, да и другие языки раньше были, по его представлениям, яфетическими, то эти весьма свободные звуковые соответствия оказались применимы и к словам индоевропейских и всех прочих языков. При такой методике, когда поистине «все звуки переходят во все звуки», он теперь мог связать родством любые слова любых языков. Выбор был произволен и обусловлен общими идеями Марра о связях языков и закономерностях их развития, а неверие скептиков объяснялось их тупостью или злонамеренностью. Просто гениальный Марр видел эти связи там, где все прочие смертные не видели ничего.

Связывая огромные кучи лексического материала воедино, он в конце концов объявил все слова происходящими из всего лишь четырех корней, четырех элементов: «сал», «бер», «йон», «рош». Каким путем Марр к этому пришел, он нигде не объяснял; почему были взяты именно эти звуковые формы, так и осталось неясным;

почему «элементов» именно четыре, а не три, два или семь — тоже неясно. Во всех словах мира Марр обнаруживал эти четыре первичных элемента и связывал ими всё. Четырехэлементный анализ Марра справедливо сравнивают с «шаманским камланием».

Конкретные выводы, диктуемые «новым учением», наглядно противоречили очевидным фактам. «Русский язык, — писал Марр, — оказался по пластам некоторых стадий более близок к грузинскому, чем русский к любому индоевропейскому, хотя бы к славянскому» (Марр: 1934/1936: 455). «У французского языка больше общего и в настоящее время с яфетическими языками, чем с древними индоевропейскими языками» (Марр 1926/1936: 194).

6. Гений или сумасшедший? Одни громогласно объявляли новые произведения Марра гениальными, другие тихо подумывали о том, что это всё сильно отдает помешательством. Известный лингвист Н. Трубецкой писал об одной из новых статей Марра другому известному лингвисту Р. Якобсону:

> «Статья Марра превосходит всё до сих пор написанное им... По моему глубокому убеждению, рецензирование ее — дело не столько лингвиста, сколько психиатра. Правда, к несчастью для науки, Марр не настолько спятил, чтобы его можно было посадить в желтый дом, но что он сумасшедший, это по-моему ясно... Даже по форме статья типична для умственно расстроенного. Ужасно, что большинство этого пока еще не замечает».

Р. Якобсон отвечал Трубецкому, что и по его впечатлению писания Марра — это «белиберда параноика». (Алпатов 1991: 76–77).

Впечатление сумасшествия усиливается от непосредственного чтения самих текстов Марра этих лет. «Длиннющие фразы со многими придаточными, где одна мысль беспорядочно сменяется другою, отсутствие элементарной логики», — так характеризует марровский стиль его биограф Алпатов (1991: 75). Китаевед-академик В. М. Алексеев, очень почитавший Марра, на одном из юбилеев вспоминал о живой речи мэтра:

> «Многие из нас, встречавшихся с ним в жизни, помнят эти марровские речи, начинавшиеся как бы нехотя, вялым, полусонным голосом, рядом малорасчлененных фраз, скорее каких-то намеков, заставок... И вдруг на одном слове, как на дуговом угле, человек загорался, преображался: голос крепчал, звенел, гремел, и в зале <...> воцарялся страстный пафос подлинного

> вдохновения, сотни мыслей бросались в недоговоренные десятки слов, торопливых, бегущих, казалось, недостаточно быстро, чтобы скорее дать место следующим, и следующим, и следующим» (Алексеев 1935: 64).

Если убрать из этого наброска авторское восхищение, останется описание типичной речи душевнобольного из учебника психиатрии. А чего стоят одни только названия научных статей — скажем, «Бабушкины сказки о Свинье Красное Солнышко, или Яфетические зори на украинском хуторе». Да это бред сумасшедшего!

Давно известно, что гениальность сродни сумасшествию. Ломброзо написал книгу «Гений и сумасшествие». Но граница между ними всё-таки есть. Ее подчас искусственно замазывают, объявляя подлинного гения сумасшедшим. Чаадаев тому пример. А здесь явно противоположная ситуация: спятившего ученого возводили в гении. Кто из кастовых побуждений (коллеги), кто из личных симпатий (ученики, друзья). Но основу для этого мифа создавала общественно-политическая ситуация в стране. Алпатов правильно заметил, что этот миф был одним из целой серии научных мифов: о «народном академике» Лысенко и мичуринской биологии, о целительнице Лепешинской, о парапсихологах с «зарядом энергии» Кашпировском, Чумаке, Джуне, вхожей в кремлевские кабинеты и проч. Лженаучные концепции обещали легкие, доступные и быстрые решения трудных проблем — это было желанно и близко темным массам, у которых была отнята религия, и самим полуобразованным новым властителям. Такие мифы были нужны для поддержания власти утопической доктрины социализма, для утверждения монополии во всякой сфере, для обуздания самостоятельно и реалистично мыслящих ученых с их опасными поисками.

Миф о невероятной гениальности Марра усердно распространяли экзальтированные ученики Марра, этому мифу верили благожелательные коллеги из других наук, и его распространению охотно способствовали те, кому это было выгодно. Умело формировал миф и сам Марр. Так, вернувшись из заграничной поездки, он рассказывает в своем отчете, что, получив текст на неизвестном ему африканском языке с немецким переводом и не имея ничего больше, он немедленно овладел этим африканским языком настолько, что «заметил неточности и ошибки в переводе». С деланным смущением он добавляет, что не смог только определить, из какой части Африки этот язык происходит, и лишь впоследствии узнал, что из Конго (Марр 1928: 533). Подобным сказкам верили даже такие люди, как академик А. Ф. Иоффе,

знаменитый физик. «Общеизвестен факт, — писал он, — когда в течение одного дня Николай Яковлевич сумел изучить раньше неизвестный ему язык в таком совершенстве, что к вечеру он уже мог разговаривать на нем с представителями местного населения» (1935: 212).

Как многие психопаты, Марр не полностью утратил связь с реальностью. Вырвавшееся из-под контроля творческое воображение неистового грузина уживалось в его интеллекте со здравой оценкой ситуации. Хитрость и опытность администратора его не оставили. Он прекрасно понимал, что на поддержку квалифицированных лингвистов Запада, да и России рассчитывать не приходится. «За 40 с лишним лет работы над яфетической теорией мы не обрели в кругу специалистов-лингвистов ни одного верного последователя...» (Марр 1929/1936: 412). В 1926 г. от него отошли лучшие ученики и сотрудники: Орбели, Струве, Шишмарев, Щерба (все они стали академиками — по лингвистике, филологии и истории).

Надо было обзаводиться новыми учениками — как можно менее подготовленными и знающими, как можно более наивными и воодушевленными, готовыми уверовать во всё, что ниспровергает старое, и проявлять фанатизм. В революционной России таких было хоть отбавляй. «Творческие начала, — писал он, — академическая наука не может выжать ни из себя, ни из Запада, нужна связь с работой на

Н. Я. Марр вместе с А. А. Миллером в группе
с кавказскими национальными кадрами

местах» (Марр 1926/1932: 352). По воспоминаниям Мацулевича, он «говорил, что нужно вводить в новое дело новых людей» и уповал на рабочих — «рабочую среду, свободную от рутины» (Мацулевич 1935). Марр ездил по глубинке, вербовал учеников там. Занимался, например, с учителями-чувашами и восхищался тем, что, в отличие от дипломированных ученых, простой учитель-чуваш сразу понял его идеи — настолько, что через несколько дней написал по-чувашски статью о яфетической теории (Марр 1925/1933а: 194). За заботу о чувашских кадрах Марра избрали членом Чувашского ЦИК. Узнав об этом, Марр заявил, что это «имеет для него больше значения, чем если бы вдруг все европейские академии выбрали его своим членом» (Миханкова 1949: 372). Где там «все» — хоть одна такая объявилась бы, хоть самая захудалая... Марр не оставлял попыток завербовать и кого-нибудь из иностранцев, но тщетно. Даже коммунист Х. Шёльд, шведский кавказовед, познакомившись с учением, написал, что это не марризм, а скорее маразм (Scöld 1929: 87).

7. Увязка с идеологией. В это время в окружении Марра появились и другие ученики и соратники — большевистские идеологи из неучей-выдвиженцев, «брошенные на укрепление» кадрового состава науки. В языковедение пришли юрист Л. Г. Башинджагян, врач В. Б. Аптекарь. В археологию — чекист-комиссар, учитель истории с неполным физико-математическим образованием С. Н. Быковский из Вятского учительского института (через Коммунистическую Академию), профсоюзный функционер Ф. В. Кипарисов. Оба стали заместителями Марра по руководству ГАИМК.

Читал он лекции и студентам Университета, о лекциях его вспоминает Б. Б. Пиотровский (2009: 44–45), тогда студент:

> «Лекции Н. Я. Марра были своеобразны, он к ним готовился и всегда имел написанный текст, которого не придерживался. Всегда он имел и свежий носовой платок, который вынимал из кармана сложенным и резким движением его распускал. У доски стояли его ученики — доцент Л. Г. Башинджагян или Р. М. Шаумян, которые выписывали на доске необходимые слова в своеобразной марровской транскрипции. Лекции были увлекательными, хотя и не до конца понятными, но они являлись аккумулятором мысли; Марр разбрасывал мысли, более понятные историкам культуры, чем лингвистам».

Марр почувствовал, что его разрыв с научной традицией и европейской наукой может найти мощную и решающую поддержку у новых

властей, которые именно этого и жаждут. Он пошел на сознательное сближение с большевистской идеологией. Его ниспровергательная и тем самым архиреволюционная фразеология приобретает всё больше чисто политических, антибуржуазных и просоветских акцентов.

Он якобы внезапно понял, в чем причина неприятия его теории. Выступая после очередной поездки за границу с докладом на тему «Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком», он говорит:

> «Я решился выступить по вопросу, давно не дававшему мне покоя: в чем источник такого изумительного непонимания яфетической теории? <...> За время моей заграничной командировки мысль об этом основном источнике особенно выпукло встала передо мной. Я воочию узрел, что люди другого общественного мировоззрения не могут легко, особенно правильно и целиком воспринять наши мысли. Мне стало точно под микроскопом ясно видно, что всякое теоретическое учение, даже учение о языке, есть детище определенной общественности» (Марр 1928: 548).

В другом выступлении он констатирует «какое-то озлобление, <...> ничем не устранимое непонимание именно среди ученых» и продолжает: «Я назвал бы это явление изумительным, если бы оно как классовое не разъяснялось легко и естественно» (Марр 1927/1937: 160). При «обостренной классовой борьбе» яфетическая теория «естественно, становится мишенью ожесточенных, часто злостных нападок... Против нее ополчаются в академической среде отнюдь не одни антисоветские элементы» (Марр 1931/1933: 276). Вот теперь попробуй ополчись!

Советские идеологи громогласно выступают в поддержку академика-новатора. Нарком Луначарский в 1925 г. пишет в «Известиях» (за 12 апреля 1925 г.) о «плодотворном уме величайшего филолога нашего Союза, а может быть, и величайшего из ныне живущих филологов, Н. Я. Марра» и отмечает, что он «вплотную подошел к марксизму». Глава советских историков академик М. Н. Покровский заявляет (тоже в «Известиях» — за 23 мая 1928 г.): «Если бы Энгельс еще жил между нами, теорией Марра занимался бы каждый комвузовец, потому что она вошла бы в железный инвентарь марксистского понимания истории человеческой культуры... Будущее за нами — и значит, за теорией Марра». Марра поддерживают и восхваляют партийный идеолог Н. И. Бухарин, президент Академии наук А. П. Карпинский, авторитетный марксистский философ А. М. Деборин, знаменитый поэт Валерий Брюсов. Юрист А. Я. Вышинский, тогда ректор МГУ, приказал внедрить «новое учение о языке» в программу филфака.

По поводу того, что марксисты находят общее между яфетической теорией и марксизмом, Марр не без некоторого позерства говорил: «Тем лучше для марксизма и тем хуже для его противников, так как в реальности положений яфетического языкознания факты не позволяют сомневаться» (Марр 1925/1933b: 199). Тираду Покровского о воскрешении Энгельса он перекрыл апелляцией к Марксу: «Если бы Маркс воскрес и обратился к тому, что происходит в части исследовательской работы и практики в пределах Советского Союза, он увидел бы <...> изумительные положения нового учения о языке» (Марр 1934/1936: 452). Чем-чем, а скромностью он не страдал.

До 1927 г. он вообще не читал ни Маркса, ни Энгельса, и даже то, что он говорил о марксизме в этом году, он, по его собственному признанию, «наболтал так» (Богаевский 1935: 165). С 1928 г. в его работах начинают встречаться цитаты из классиков марксизма. Однако далеко не всё в учении Марра согласовывалось с марксизмом, например положение о классовой борьбе в первобытном обществе при возникновении звуковой речи. В этих случаях Марр полагал, что уступать должен марксизм. «Лингвистические выводы, которые делает яфетидология, — заявлял он, — заставляют ее самым решительным образом сказать, что гипотеза Энгельса о возникновении классов в результате разложения родового строя нуждается в серьезных поправках» (Марр 1929/1934: 75). Таких вольностей идеологи не

Академик Н. Я. Марр в своем директорском кабинете в ГАИМК

могли допустить. В 1930 г. Якобсон сообщал Трубецкому: «В Академии наук с Марром сцепился Луначарский и М. Н. Покровский. Последний довел Марра до слез, и инцидент рассматривался в комъячейке» (Trubetskoy 1975: 160; ср. Алпатов 1991: 83, сн. 2).

Несмотря на такие «семейные» сцены, надо признать, что брак яфетидологии с марксизмом был удачным для обеих сторон: каждая получила то, чего желала.

Организационные и административные успехи Марра просто сказочны. Всё ему удается, всё разрешается. Он, глава ГАИМК и директор Института языка и мышления, декан ФОН, директор Института национальностей СССР, назначается еще и директором Публичной библиотеки (ныне Национальная библиотека в Петербурге). Он также председатель Центросоюза научных работников и председатель секции материалистической лингвистики Коммунистической академии общественных наук. С 1930 г. он вице-президент Академии наук СССР, а с 1931 г. член ВЦИК и ВЦСПС, т. е. входит в официальное верховное руководство государством (на деле правила, конечно, партийная верхушка, а не государственный аппарат). Изыскиваются всяческие поводы, чтобы отметить его почестями. К 40-летию научной деятельности Коммунистическая Академия присуждает ему премию имени Ленина. Он проводит в академики по языкознанию своих учеников: в 1931 г. — юриста И. И. Мещанинова, в 1932 — историка и этнографа Н. С. Державина.

Вершиной этого взлета было выступление Марра с приветствием от научных работников на XVI съезде партии в 1930 г. Часть приветствия он зачитал на грузинском языке — родном языке Сталина. А Сталин в своем докладе и в заключительном слове провозгласил, хоть и без ссылок на Марра, идею движения языков к будущему единому языку. В том же году академик вступил в партию. Его приняли без кандидатского стажа.

Н. Я. Марр на трибуне (сессия Академии наук в декабре 1931 г.)

Марр быстро освоил большевистский жаргон, особенно в клеймении своих противников: «всякая сволочь, зарубежная не только (чорт с нею!), но и у нас», «пророческие каркания и шипения», «паскуднейший нигилизм», «рынок с тухлым товаром», «идеологическая реставрация прошлого», «преступное действие оппортуниста», «буржуазно-классовая лазейка», «борющиеся вредительские разновидности капиталистического идеализма и национализма» и, в довершение, «покаянные декларации загнанных в тупик». Всего через несколько лет Вышинский станет генеральным прокурором и заговорит тем же языком на политических процессах.

Наукой Марр в это время занимался мало. По воспоминаниям О. М. Фрейденберг, «Марр никогда не бывал на заседаниях своего института. Он всегда где-то заседал, верней, показывался. Гоняясь за популярностью и желая слыть общественником, он отказывал научным занятиям в своем присутствии и руководстве, но сидел на собрании "по борьбе с хулиганством"» (Алпатов 1991: 216). Ему всегда было некогда, и статьи он читал (а то и писал), сидя на извозчике, во время поездок из одного учреждения в другое. Кучером у него была красивая женщина, ездившая вместо больного мужа; у лошади (из-за какой-то болезни) была в горло вставлена трубочка. Нацарапав своим куриным почерком статью, Марр, спрыгнув с пролетки, швырял листки своим помощникам, и те бегом несли их в издательство.

8. В роли теоретика археологии. Именно в это время археологи из ГАИМК Мещанинов, Богаевский, Пиотровский и историк Державин начали применять «палеонтологию речи» для археологических и исторических выводов, а Равдоникас, Быковский, Кричевский и другие создают на базе «нового учения о языке» археологическую «теорию стадиальности». Эта теория в основном переносит выводы о языковых революциях в плоскость этногенеза и толкует смены археологических культур как трансформации одной и той же культуры, одного и того же населения, в результате социально-экономических рывков. Миграции и влияния отвергаются как буржуазные измышления, да и вообще этническое истолкование вместе с ними.

Сам Марр в создании этой теории непосредственно не участвовал, он лишь подбрасывал, как Пифия, туманные речения яфетически-палеонтологического характера и внимательно следил за тем, чтобы работы по археологии в ГАИМК не отклонялись от генеральной

линии «нового учения о языке», шли параллельным курсом. Заставлял археологов штудировать его упражнения в «палеонтологии речи». «Какой же это будет археолог без знания языка, его творческих закономерностей?» (Марр 1932: 42). Он выдвинул принцип увязки языка с историей материальной культуры.

Дело полезное. Но как делать увязку? Марр понимал ее очень прямолинейно. «Могут ли расходиться изыскания ученых по доисторическим языковым древностям и доисторическим вещественным древностям, если они идут методически правильно?» — спрашивал он. Его ответ был: «Судьбы самих памятников доисторической материальной культуры едва ли могут расходиться с судьбами слов доистории соответствующих стран» (Марр 1926/1935: 310). Это упрощение. На деле возможны и расхождения. Названия домашних животных в английском языке германские, а названия блюд из них — французские. Но это не значит, что до прихода норманнов из Франции англосаксы не варили мяса. А главное, в одном и том же обществе язык и культура в основной своей части могут быть разного происхождения.

Конкретные высказывания Марра по археологии часто просто анекдотичны. Он говорит об изобретении гончарного круга доисторическими скифами, очевидно, не зная, что скифская керамика и в историческое время еще лепная. Он говорит об изобретении огня путем удара камня о случайно подвернувшийся слиток металла при валявшемся тут же труте (Марр 1924/1934: 31) — как же слиток металла «подвернулся», если огня еще не было? Как сам этот слиток металла был выплавлен? И зачем делали трут, когда огня еще не было? Марр говорит о письменности в палеолите и т. д. Список нелепиц приведен Арциховским (1953).

В сущности, археологией страны 15 лет руководил человек, который в археологии был любителем, да и то в далеком прошлом. Археологией он давно не занимался, не знал ее и, по сути, не любил. Он делал всё для того, чтобы собственно археология занимала в ГАИМК и в исследованиях археологов как можно меньше места. Он и не мыслил себя археологом. «Мы с археологами-доисториками <...> работаем, бесспорно, двумя <...> разобщающими нас до непримиримости методами, мы — от динамики элементов, археологи-доисторики — от статики сложившихся комплексов, археологи исторических культур — от искомых прообразов целых культурных типов...» (Марр 1926/1934: 57).

9. Конец. Последние годы жизни рассудок и силы Марра явно угасали. На лекции его водили под руки. Студенты, слушавшие его лекции в начале 30-х, вспоминают о них как о беспорядочном наборе постоянно повторявшихся клише (Алпатов 1991: 76). Лингвист, знавший Марра хорошо, пишет, что под конец жизни у него было «сильнейшее нервное расстройство» (Яковлев 1949: 45). В конце 1933-го и начале 1934 гг. начались гонения на языковедов, в том числе из марровского Института языка и мышления в Ленинграде, а в Москве и аресты. Близкая марровцам по левацкому радикализму РАПП была распущена. Когда славист Л. П. Якубинский зашел к Марру, он обнаружил академика забравшимся под кровать: тот опасался ареста и так отреагировал на утренний звонок коллеги в дверь (Алпатов 1991: 107). 15 октября 1933 г. во время заседания Марра постиг инсульт, отнялись рука и нога. Орбели, помирившийся с учителем в это время, рассказывает, что к тому в последние месяцы жизни пришло разочарование «новым учением» (Орбели 1955/1986:160–161). Только теперь? Вряд ли парализованный старик был в силах трезво продумывать и анализировать, переворачивая всё. Но инсульт обычно приводит к ослаблению воли, и то, что долгое время волевым усилием подавлялось, могло выйти наружу. Видимо, создатель «нового учения» давно уже в него не верил и продолжал его упорно декларировать только потому, что уж слишком много было наворочено...

В ночь на 20 декабря, через три недели после убийства Кирова, не дожив до 70 лет, Марр умер.

Похороны академика Н. Я. Марра.
Вынос тела из здания ГАИМК

Похороны академика Н. Я. Марра. По сторонам похоронной процессии шпалерами выстроены войска

В ту же ночь об этом сообщили по радио. Уже утром в газетах появились некрологи. Хоронили Марра с величайшей помпой. Город был одет в траур, по ходу погребальной процессии шпалерами стояли войска. Были отменены занятия в школах. Погребли его в почетнейшем месте — в некрополе Александро-Невской лавры.

«Новое учение о языке» и другие детища Марра ненадолго пережили своего создателя. Сразу же после убийства Кирова Сталин развязал в стране дикий террор. Сменявшие Марра его заместители Кипарисов и Быковский один за другим были расстреляны, так что безумие Марра сказалось не в мании преследования, а в том, что он искал спасения всего лишь под кроватью. ГАИМК была ликвидирована и заменена скромным институтом в рамках Академии наук, который, однако, носил имя Марра. Постепенно применение «теории стадиальности» сходило на нет, оставаясь чисто декларативным. Это продлило ей жизнь, потому что она всё больше входила в противоречие с политической линией партии. Та в результате войны сильно ослабила свою интернационалистическую пропаганду и ударилась в патриотизм. Этнические традиции, этнические особенности, этногенез обрели ценность, а марровское учение препятствовало их изучению.

В 1950 г. статьей еще одного грузина, Арнольда Чикобавы, давнего противника Марра, газета «Правда» открыла дискуссию по языкознанию. Нужно было решить, соответствует ли учение Марра марксизму. Участники не знали, что исход дискуссии был уже предрешен, так как было заранее запланировано личное выступление

Сталина. Сталин вызвал к себе Чикобаву и ночь беседовал с ним, получив от него нужную информацию по языкознанию (в пределах компетентности самого Чикобавы). Политическая же необходимость разделаться с «новым учением о языке» была для Сталина ясна. Он и поставил крест на марризме. Вспоминаю эпиграмму тех дней:

Был Марр умен, был Марр велик,
Почти что Марксу Марр был пара,
Но Чикобава — чик-чик-чик,
Но Чикобава — чик-чик-чик,
И что осталось нам от Марра?

Арестов на сей раз не последовало, хотя многие марристы лишились своих постов. Имя Марра было снято со всех институтов, его носивших. Когда новый весьма критический биограф Марра Алпатов захотел осмотреть могилу Марра в Александро-Невской лавре, он обнаружил, что она исчезла. Sic transit...

Потом могила нашлась. Когда Хрущев разоблачил культ личности, он даже носился с идеей реабилитировать Марра, но не успел. Иногда появляются попытки реанимировать некоторые идеи Марра, но похоже, что время для революционных деклараций ушло. А на материале марровские идеи никогда и никем не были солидно разработаны.

Красный демон археологии

В. И. Равдоникас

В холодном безумье, в тревожном азарте
Я чувствовал, будто игра — это сон.
«Весь банк, — закричал, — покрываю я в карте!»
И карта убита, и я побежден.

Н. Гумилев. Крест. 1905.

С моей преступной головы
Я гордо снял венец терновый,
Я все былое бросил в прах...
Я отрекся от старой мести,
Я отрекся от гордых дум...

М. Лермонтов. Демон

1. Ястреб. В конце 20-х гг. в ленинградскую археологию ворвался, как метеор, никому не известный провинциал и сразу же стал ее идейным лидером. Он стал также на всю жизнь предметом ненависти московских археологов, и ненависти заслуженной. Фигура бурная, мятущаяся и значительная, он продержался на первых ролях два десятилетия, создавая классику науки и сея зло. А затем исчез так же внезапно, как появился. В те годы в нашей стране люди исчезали внезапно не так уж редко, но их выхватывали «черные вороны». А этот отрекся от всего, что достиг, и ушел из науки. Следующие тридцать лет он провел отшельником, живя на пенсию и ни с кем не знаясь. Подлинно, как живой труп.

Б. Б. Пиотровский (2009: 90) характеризует его так: «очень талантливый человек со сложной и довольно засекреченной биографией».

Подумать только, что вся его громкая и плодотворная карьера уместилась в двух десятилетиях! А за эти годы он создал теорию стадиальности, раскопал знаменитый Оленеостровский могильник эпохи мезолита, описал и издал петроглифы Онежского

и Беломорского побережья, организовал многолетние раскопки средневекового городища в Старой Ладоге, гораздо более древнего, чем Новгород и Киев, написал первый советский учебник истории первобытного общества. Первые послевоенные годы он возглавлял ленинградское отделение ГАИМК, 15 лет — с момента восстановления — заведовал кафедрой археологии Ленинградского университета, где почти не оставил учеников. И необъяснимый парадокс: этот красный громовержец, вдохновенный строитель марксистской археологии, гневный обличитель буржуазной науки и разоблачитель ее пережитков — все эти годы, сталинские годы самого жестокого всевластия партийного аппарата — был беспартийным. Более того — исключенным из партии.

Он очаровывал многих. Пришедший к нему в экспедицию школьником А. Д. Столяр, заведовавший кафедрой в 80–90-е гг., вспоминает:

> «Прежде всего, он был действительно красив <...> красив почеловечески изысканно... Стройная, осанистая, но и легкая фигура с точеной, гордо поставленной мужской головой. Орлиные черты лица не утрированы. Светлые, с оттенком высокомерия смотрящие куда-то вдаль (над собеседником) и вдруг неожиданно лучистые, озаренные внутренним светом глаза. В общем, какой-то поясняющей иллюстрацией, мне кажется, может быть совмещение фигуры "Мефистофеля" Антокольского с дюреровским ликом Христа...» (Столяр 1988: 19).

Я-то, пришедший на кафедру позже, знал лишь Равдоникаса времени его последних баталий. Ничего от лика Христа я в нем не видел, а от Мефистофеля, это верно, было очень много. Запомнились высокий рост, а вверху большие очень светлые глаза, орлиный нос, презрительно выпяченная нижняя губа с эспаньолкой под ней и темная шевелюра. В довершение демонического облика — он носил черную крылатку. Булгаковского Воланда я представлял себе именно таким.

Впрочем, и в воспоминаниях Столяра, если убрать его сохраненную до старости юношескую влюбленность, у Равдоникаса прорезаются не очень привлекательные черты — «замкнутость и внешняя суровость с оттенком презрительного высокомерия, обидная острота суждений и изысканно-грубоватая непосредственность». Эти черты, по признанию Столяра, «должны были с фатальной неизбежностью обречь (Равдоникаса) на одиночество в живой среде, создать вокруг него поле изоляции и людского вакуума». И еще:

> «В личном общении нередко был крайне лаконичен, ответом порой была очень типичная для него вольтерьянская усмешка, сопровождаемая характерным покашливанием (кхе, кхе...). Острейшая наблюдательность и беспощадный, уничтожающий, иногда оскорбительный, с издевкой сарказм, прямота, порой изрядно выходящая за черту общепринятого» (Столяр 1988: 19).

Студентов поражала и забавляла его манера читать лекции — изображая всем длинным телом то, о чем шла речь. Столяр (1994: 6) описывает это так:

> «Отточенное по логике, насыщенное образностью, <...> богатое <...> звуковой аранжировкой изложение дополнялось жестом и мимикой, даже пластикой всей гармоничной фигуры, порой создавая озвученные изобразительные миниатюры. Перед слушателями то разворачивалась картина перехода к прямохождению в антропогенезе, то представала Венера из Костенок, то происходило особенно впечатляющее перевоплощение в Колдуна из пещеры Трех Братьев...»

Добавлю к этому, что иногда, наклонившись над кафедрой и вскинув руки, он застывал на одной ноге, как бы собираясь нырнуть в аудиторию — делал «ласточку». Студенты так и называли его Ласточкой.

Коллеги, над которыми он то парил, то проносился на бреющем полете, не признавали этой ласковой клички. Для них это был не стриж, а хищник — ястреб или орел. Они хорошо знали, что то и дело из своих высей он вдруг обрушивался стремглав и терзал, исполняя совсем другую сценку: «целовал ястреб курочку до последнего перышка».

2. Вылеты из Тихвинского гнезда. Гнездо, где вывелся ястреб, находилось в Тихвине, маленьком старинном городке неподалеку от Петербурга. Владислав Иосифович Равдоникас был сыном обрусевшего литовца, фельдшера уездной больницы. По-литовски фамилия звучала Раудони́кас — ‘краснушка’, ‘подосиновик’ (то есть ‘красненький гриб’ — тот же корень, что в русском «рудой»). В русской глубинке она стала звучать Равдоника́с, с жестким ударением на последнем слоге. Родившись в декабре 1894 г., мальчик к 4 годам потерял мать, к 5 годам — отца, умершего от алкоголизма. Сироту воспитало семейство учителя сельской школы Остроумова. Среднее образование он получил в Петербурге, в реальном училище. В общем он вырос очень образованным человеком, с большими культурными

запросами. Знал языки, много читал, хорошо играл на рояле. Его любимыми композиторами были Бах и Вагнер — это кое-что говорит о его натуре.

По окончании школы вернулся в Тихвин. Там его ждал друг отца, краевед-просветитель И. П. Мордвинов. Под наставничеством этого человека Равдоникас начал краеведческую деятельность. В 1914–1915 гг. по поручению Новгородского общества любителей древностей 20-летний любитель раскапывает курганы в верховьях р. Сяси. На Тихвинщине это были первые русские курганы (до того исследователям попадались только курганы финского населения).

В 1914 г. поступил на экономическое отделение Политехнического института. Война прервала учебу. В 1916 г. Равдоникас призван в армию. Окончив Михайловское артиллерийское училище молодой офицер ушел на фронт. Участвовал в боях, за мужество награжден офицерским Георгиевским крестом. Но и в армии его не покидала мысль об археологии. В его личной библиотеке сохранился русский перевод книги Мортилье «Доисторическое общество» (1903), на титульном листе этой книги почерком Равдоникаса надпись: «Поручик Равдоникас. Западный фронт». Значит, читал на фронте между боями. До этой поры сюжет очень напоминает биографию Городцова — тоже артиллерийского офицера. Только тот читал в поле Лаббока.

В 1917 г. недавний офицер возвратился в Тихвин и устроился на железную дорогу помощником машиниста. В 1918 г. из студентов Политехнического института перевелся в Петербургский университет на историко-филологический факультет, но вскоре оставил учебу, чтобы вступить в Красную армию. Сначала рядовым, потом командиром артиллерийской батареи на Северо-Западном фронте. Он участвовал в боях против белого генерала Юденича и финнов. Затем он становится адъютантом начальника Петроградского укрепрайона Аврова, а под конец военной карьеры он — начальник артиллерии Петропавловской крепости. В начале 1919 г. вступает в партию большевиков. В феврале-мае он командир Отряда особого назначения.

В 1920 г. он, теперь уже красный командир, демобилизуется и опять возвращается в Тихвин. Время от времени ездит в Петроград, где — с рядом перерывов — учится в Университете. В археологии его наставником является профессор А. А. Спицын, сам провинциал. В основном же он проживает в Тихвине, где возобновляет раскопки курганов, но, кроме того, в сотрудничестве с Мордвиновым занимается самой разной краеведческой и просветительской работой вообще. Он заведует Тихвинским краеведческим музеем, организует работу

кино, редактирует местную газету, создает педагогический техникум с уровнем образования, близким к институтскому.

Хотя среди местных недоучек-партийцев он — белая ворона, но его выдающиеся способности признаны: перед ним открывается партийная карьера. В 1921 г. он участвует в боевом подавлении Кронштадтского мятежа и направляется делегатом от Череповецкой губернии на IX Всероссийский съезд Советов, где слушает речь Ленина. В 1922 г. получает партийный приказ: в связи с централизацией печати и закрытием тихвинской уездной газеты свернуть все дела в Тихвине за неделю и переехать в Череповец. Это значит, что он должен бросить свою работу в музее, свое детище Педтехникум, да и поездки в Петербургский университет затрудняются, но кого в партии интересуют его личные интересы? Партия, как иезуитский орден, требует железной дисциплины и всё личное должно быть принесено в жертву.

На сей раз приказ натолкнулся на личность. 28-летний Равдоникас взорвался и объявил, что выходит из партии! «Я хочу — и имею право хотеть — работать только по моей специальности, так как только здесь я вижу результаты — и большие результаты — от своей работы... Я буду работать только по своей специальности». Его заявление в Центральную Контрольную Комиссию РКП(б) было еще более резким: он заявил, что «будучи членом партии, нельзя быть ни ученым, ни педагогом». А в партии он наделен «дурной кличкой Интеллигент». «Моя интеллигентность была для меня всегда в условиях революционной борьбы источником самых тягостных и унизительных переживаний» (Столяр 1994: 7–8). Казарменная дисциплина в партии и диктатура недоучек над интеллигентами были ему явно не по душе, и он откровенно об этом заявлял. Его исключили без права восстановления.

В будущем этот резкий поступок молодого максималиста возымеет двоякие следствия. С одной стороны, это сделает его очень уязвимым и зависимым — над ним на всю жизнь повиснет дамоклов меч: в нашей стране бывшему партийцу приходилось куда хуже, чем просто беспартийному. Во всех анкетах наряду с вопросами «Не служил ли в белой армии?» и «Не состоял ли в других партиях?» стоял вопрос: «Не состоял ли ранее в коммунистической партии и, если состоял, почему выбыл?» С другой стороны, это его спасло в 1937 г., когда вся старая партийная гвардия ГАИМК была подчистую ликвидирована.

Но тогда, в 1922 г., он просто получил некоторую свободу. Смог спокойно закончить Университет в 1923 г. По данным анкет, к этому

времени он хорошо знал немецкий и французский языки. Собирался писать диссертацию по экономической истории (Тункина 2004: 201). Издал несколько брошюр на темы своей разнообразной деятельности. Однако после смерти Мордвинова в 1925 г. Равдоникас вдруг прекращает всякую активность и уходит в себя. Несколько лет его не видно и не слышно. Возможно, в эти годы, потеряв всех близких и отрубив прежние связи и пути продвижения, он попросту ударился в запой (это с ним бывало и позже — наследственный недуг). Но скорее проявилось другое: он осмысливал перемены в стране (дело шло к полной диктатуре Сталина) и усердно штудировал литературу по отечественной археологии. Иначе не понять стремительность его старта в конце двадцатых.

3. Путь к лидерству в археологии. В 1927 г. педтехникум переводят в Белозерск и Равдоникас уезжает из Тихвина. В 1928 г. он уже в Ленинграде и устраивается работать внешатно (без зарплаты) в ГАИМК и Кунсткамеру — Музей антропологии и этнографии Академии наук. Одновременно по рекомендации Спицына подает документы в аспирантуру. С первого раза не проходит. Но, как установила Н. И. Платонова (2002: 263, 265–266), в следующем, 1929 г., ему повезло. По замечанию той же Платоновой, основу везения составлял приезд шведского археолога Туре Арне. Равдоникаса, хорошо знавшего окрестные курганы и владевшего языками, направили копать вместе с маститым иностранцем. Равдоникас блестяще воспользовался открывшимися возможностями. Немедленно в иностранных журналах стали появляться его отчеты о раскопках, и в том же году он сделал монографию о предмете, интересовавшем Арне, — о норманнах в районе Ладоги (она вышла на немецком в Швеции в 1930 г.). Руководство тотчас дало ему рекомендацию, и он поступил в аспирантуру.

По-видимому, он вполне в курсе положения в науке, и достаточно нескольких встреч, бесед на заседаниях, чтобы его потенциал оценили те, кому это могло бы пригодиться. Через несколько месяцев его зачисляют аспирантом в АН СССР и поручают подготовить важный доклад. В это время назревало резкое обострение политической ситуации в стране (отказ от нэпа, оттеснение ленинской гвардии от руководства, коллективизация в селе, разгром церкви) и в связи с этим яростная кампания за немедленный перевод на марксистские рельсы всех очагов общественных наук. Нужна была очистка науки от старых традиций и кадров, полная идеологическая перестройка. За несколько

лет до того в Москве группа молодых археологов-аспирантов во главе с Арциховским попыталась разработать в РАНИОН марксистскую археологию. Партийное руководство ГАИМК — Кипарисов, Быковский — было недовольно. Во-первых, москвичи перехватывали инициативу, во-вторых, само существование археологии было связано со старыми традициями. Академия-то в Ленинграде была нацелена на историю материальной культуры!

Осенью 1929 г. никому до того не известный 35-летний провинциал, аспирант, выступил в зале Академии с громовым докладом «Археологическое наследство», потрясшим аудиторию. Ярко, грамотно, с блеском и сарказмом были подвергнуты сокрушительной критике основы дореволюционной русской археологии и ее еще живой носитель Городцов. Досталось и продолжателям ее традиций — Арциховскому, Жукову, И. И. Смирнову, Шмидту, Эдингу, Мацулевичу и др. Вполне в марксистском духе был произведен классовый анализ этих традиций, и «анализируемые» археологи были расклассифицированы по этим разрядам — кто попал в буржуазные, кто в мелкобуржуазные, а кто и в дворянские.

В. И. Равдоникас в начале своей стремительной карьеры

Платонова (2002) считает, что Равдоникас сильно исказил панораму предреволюционной археологии и особенно советской науки того времени, представив эту науку у нас отставшей и эмпирической, тогда как на деле она была очень передовой. Исследовательница также полагает, что я вместе с другими российскими историографами до сих пор нахожусь под влиянием этой талантливой панорамы Равдоникаса, веря ему на слово. Это не совсем так. В моих работах выделяется целый ряд фигур российской археологии, которые развивали теоретические концепции, заметные даже на мировом уровне: Кондаков, Спицын, Городцов, Ростовцев. Но в советской археологии первого послереволюционного десятилетия, несмотря на отдельные успехи в полевой методике и интересные идеи (Платонова всё это перечисляет), не реализовано было в солидных археологических трудах ничего. Всё,

что она перечисляет, были идеи, полевые успехи, отдельные статьи — зародыши нового. Вскоре задушенные, раздавленные и разгромленные. Конечно, Равдоникас мог бы при желании их заметить, поддержать, поднять на щит. Но это противоречило его карьерным целям. Он оценил обстановку, выявил своих конкурентов в Москве (кое-кого и в Петербурге) и обрушился на них с разгромной критикой.

«Монтелиусов у нас нет», — выдал он афоризм. Это вроде бы противоречит высказыванию Тальгрена, увидевшему в Грязнове будущего русского Монтелиуса. Но Грязнову не дано было стать русским Монтелиусом. Его едва не превратили в русского зека, в лагерную пыль.

Доклад Равдоникаса было решено немедленно издать. В 1930 г. он вышел в виде отдельного выпуска Известий ГАИМК — как книга-памфлет «За марксистскую историю материальной культуры».

Затем Равдоникас, объявив себя ударником, вызвал на соцсоревнование ведущих археологов ГАИМК. Приняв на себя обязательство по науке и по просветительской работе (выпустить «научно-просветительскую фильму» о норманнах в Приладожье и провести не менее 10 лекций или бесед в «рабочих и крестьянских массах»), он от вызываемых им на соцсоревнование потребовал: от товарища Артамонова — дать «классовый марксистский анализ» школы Кондакова и Айналова (Артамонов занимался у айналовского ученика Сычева), от товарища Шульца — разобрать школу Фармаковского, от Зусера — школу Ростовцева и т. д. Аналогичные вызовы были обращены к Миллеру, Ефименко, Третьякову, Богаевскому, А. В. Шмидту и др.

Равдоникас хотел наладить всеобъемлющий и всеобщий разгром старых научных традиций. Чтобы не он один выступал в этом духе, а чтобы за ним двинулась толпа. Этого не вышло, на его призыв большинство намеченных не откликнулось. Но некоторые вдохновились. Особенно рьяным помощником Равдоникаса стал М. Г. Худяков. Он даже строил козни и писал Равдоникасу тайком, как устроить «подрыв репутации Золотарева», очень образованного профессора этнографии. Вот это удалось, Золотарев был уволен, потом арестован, потом умер в заключении. Нынешний публикатор всей этой истории с соцсоревнованием, Я. М. Паромов (2010: 793) признается, что при чтении каверзной записочки М. Г. Худякова у него в голове стучало: «Боже мой! Опомнитесь, что же Вы делаете! Не ройте яму, Михаил Георгиевич! Ведь через каких-нибудь шесть лет Вас расстреляют, а Владислав Иосифович печатно заклеймит вредителя Худякова».

Верно, расстреляли — и его, и Быковского, и Кипарисова, и многих других громил — приписали им то, что они приписывали своим

жертвам. Машина террора, которую они с энтузиазмом толкали, по инерции продолжала катиться — прокатилась и по их трупам.

А Владислав Иосифович уцелел. За его докладом (хотя и не обязательно вследствие доклада) последовала «чистка», при которой работники Академии и Эрмитажа должны были проходить проверку и обсуждение не только в своих партийных и профсоюзных организациях, но и в рабочих (фабрично-заводских) коллективах. Равдоникас был активным и безжалостным проработчиком на этих собраниях, так что в результате его активности (не его одного, правда) многие старые работники: А. А. Миллер, А. В. Шмидт, Богаевский, Бонч-Осмоловский и др. — пережили тяжелые времена, некоторые лишились своих постов, иные и свободы, а то и жизни. Так, на собрании коллектива работниц табачной фабрики им. Урицкого в 1931 г. проходил чистку Л. А. Мацулевич, работавший в Эрмитаже. Равдоникас, выступавший перед табачницами, честил и разоблачал его как сына жандармского полковника. Правда, Мацулевич уцелел и даже потом читал лекции на кафедре археологии в Университете, где Равдоникас был завом.

Расчищал ли Равдоникас место для себя, разбрасывая маститых коллег, зарабатывал ли прощение за выход из партии, или искренне полагал, что делает благое дело, прокладывая новые пути в науке? Скорее всего, тут было намешано и то, и другое, и третье, а в каких пропорциях — судить сейчас трудно. Вполне искренним он явно не был, потому что клеймил бухаринские идеи, а втайне (и с огромной опасностью!) сохранил испещренные пометками труды Бухарина даже тогда, когда всякий сжигал их в пепел.

За книгой-памфлетом последовал ряд полемических статей, посвященных разработке идей исторического материализма применительно к археологии и истории первобытного общества. Это статьи о диалектике развития, закономерностях и периодизации доклассового общества, о методах социологической интерпретации материалов археологии разных эпох — от палеолита до Средневековья. «В те годы, — пишет В. С. Бочкарев (1994: 14), — сам В. И. Равдоникас постоянно находился под огнем критики. Почти каждое его выступление, устное или письменное, вызывало враждебную реакцию. Он не уклонялся от полемики. Очень часто сам ее намеренно вызывал. Дискуссии были его родной стихией. В них ярко проявился его талант оратора и полемиста». Реакция противников выдает одну из главных направленностей полемики — это видно по двум «Ответам Арциховскому», 1931 и 1934 гг.

Равдоникас не подлаживался, не прислуживался, имел свои позиции. Очень существенно, что, в то время как его покровитель Быковский, партийный руководитель ГАИМК, требовал ликвидации археологии как не соответствующей марксистскому делению исторических наук (материал нужно-де распределить по формациям), Равдоникас отстаивал существование археологии, пусть и как вспомогательной науки. Видимо, благодаря его усилиям, эта точка зрения победила на Всесоюзном археолого-этнографическом совещании 1932 г. (Аникович 1994).

Еще одна статья размером с книгу — «Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадиальным развитием Северного Причерноморья» (1932). Статье предшествовали его раскопки пещерных городов Крыма. Особый интерес к пещерным городам и готам, по мнению Формозова (1998), был продиктован выводами НКВД в результате следствия по «Академическому делу» 1929–1931 гг. — там были «выявлены» связи проф. Платонова с немецкими учеными, которые интересовались готами в Крыму. Из этого легко было сделать выводы о внешней политике и государственной измене. Это и подвигло руководство науки поставить задачу перед археологами — раскопать доказательства того, что готов Балтики в Крыму не было. Так были выделены деньги Равдоникасу на раскопки пещерных городов Крыма, и поставлена задача изучить по-новому готскую проблему.

Здесь Равдоникас сделал второй решительный шаг к лидерству в Академии. Еще в 1923 г. глава ГАИМК академик Марр выдвинул «новое учение о языке», отринувшее генеалогию языков как буржуазную концепцию. Но «колдовские камлания» Марра не побуждали основной состав Академии — археологов — к каким-то изменениям стратегии исследований. Археологи лишь использовали для частных трактовок отдельные цитаты. Марр искренне страдал. Равдоникас и тут оказался нужен: он выстроил грандиозную общую концепцию стадиальных трансформаций материальной культуры местного населения под воздействием социальных сдвигов — так, что при этом менялась этническая принадлежность: яфетиды киммерийцы превращались в ираноязычных скифов, те — в германцев готов, а готы — в славян. Возникла теория стадиальности.

Этнические превращения — это, конечно, революционная фантастика, но внимание к значению социальных сдвигов и общих линий развития — плодотворно. Еще в нескольких работах сотрудников ГАИМК (Быковского, Кричевского, Борисковского) проводились те

же идеи, у Быковского — даже раньше («Яфетический предок восточных славян — киммерийцы», 1931), но только у Равдоникаса эти идеи были развернуты на материалах археологии широко и эффектно. Он в сущности является подлинным создателем теории стадиальности в археологии. Конечно, в этой статье Равдоникас тоже критиковал тех, у кого брал материал.

По мнению Столяра (1994: 9), Равдоникас внутренне терзался, что приходится так расправляться с коллегами, и, когда это стало для них смертельно опасно (приближался 1937 г.), он прекратил свою «археологическую публицистику». В статье Бочкарева (1994: 15), цитирующей Столяра, допущена очень ехидная опечатка: в 1934 г. Равдоникас оборвал свою «археологическую публиЧистику». Ну, после 1934 г. все теоретические работы в отечественной археологии оборвались: в обстановке террора после убийства Кирова это стало смертельно опасно прежде всего для самих авторов.

Если бы Равдоникас в эти годы (до 1934) занимался только этой «публичистикой», он был бы сейчас интересен только для историографов науки. Ему отвели бы видное место в истории советской археологии — как создателю теории стадиальности и виднейшему проводнику марксистских идей в археологии. Поскольку идеи эти отразились в мировой археологии, очевидно, что зачинатель направления — фигура значительная. Но это была только одна сторона деятельности Равдоникаса в грозовое пятилетие.

Все эти годы он продолжал раскапывать курганы лесного Севера. Как уже сказано, в 1930 г. в Стокгольме вышел на немецком языке его труд «Норманны времени викингов и Приладожье». Апологетические биографы Равдоникаса (например, Столяр и Белановская 1977) пишут, что в нем Равдоникас борется с норманизмом, и пишут напрасно. Это они потому, что хотят приписать Равдоникасу очередной подвиг, поскольку в годы выхода этих биографий борьба с норманизмом еще ставилась в заслугу. Никакой борьбы с норманизмом в томе нет. Наоборот, Равдоникас ввел в научный обиход материалы из прежних раскопок Старой Ладоги и признал ее нижний слой не финским, как прежде считалось, а скандинавским — преднорманнским или ранненорманнским. Старая Ладога предстала в томе как форпост норманнов на Востоке, правда, в чуждой среде. В общем подход Равдоникаса к норманнской проблеме был спокойным, вполне объективным. Но ведь откат советской исторической науки от Покровского к антинорманизму еще не начался. В 1934 г. Равдоникас трактовал норманнские вещи уже

не как этнический показатель, а как социологический — атрибуты феодальной верхушки.

В 1934 г. Равдоникасу без прохождения ступени кандидата наук и без защиты диссертации была присуждена степень доктора наук — он был удостоен этого вместе с маститыми учеными Городцовым, Орбели, с автором капитального труда по палеолиту Ефименко. Трудно сказать, что тут сказалось больше — идеологическая «публичистика» или капитальный труд, вышедший за рубежом (у нас всегда делали вид, что признание заграницы нам безразлично и даже зазорно, но на деле «международно признанному» завидовали и с таким фактом весьма считались все, включая и власти).

Летом 1934 г., во время раскопок курганов на реке Свири, Равдоникас впервые познакомился с петроглифами Бесова Носа и увлекся этой проблемой, хоть это уже была, по сути, не материальная культура. Но археология. На следующий год он организовал небольшую экспедицию от Кунсткамеры, т. е. Музея и Института антропологии, археологии и этнографии АН СССР. Включив в ее состав карельского ученого Линевского, уже давно занимавшегося обследованием петроглифов, он начал планомерную съемку наскальных изображений. За два года небольшая по составу (шесть человек) экспедиция проделала огромную работу. Было скопировано и описано 570 изображений (из них 150 новых, Линевскому неизвестных).

В. И. Равдоникас на раскопках в Феодосии в 1934 г. (из книги И. Л. Тихонова «Археология в Санкт-Петербургском Университете»)

Линевский, хотя и был тогда мужем археолога Гуриной, работал как любитель — копировал неточно, публиковал выборочно. Да Гурина и сама была не очень образованной выдвиженкой. Разошлись исследователи и в трактовке. Линевский интерпретировал петроглифы в духе наивного материализма — как натуральные изображения производственных и бытовых сцен: охоты, рыбной ловли на лодках и т. п. В этом его поддерживал московский археолог А. Я. Брюсов, соратник

Арциховского по марксистской социологизации археологии. Равдоникас же на базе широких европейских аналогий и под впечатлением установки Марра на увязку материальной культуры с языком и мышлением трактовал наскальные галереи как отражающие первобытную идеологию — магию, культы, религиозные представления. Исследователи рассорились навсегда, и на второй год Линевский уже не участвовал в экспедиции, работавшей на открытых им памятниках.

Результаты работ Равдоникас издал двумя томами — «Наскальные изображения Онежского озера» (1936) и «Наскальные изображения Белого моря» (1938). Издания, как и полевые исследования, были осуществлены на высоком методическом уровне. Ознакомившись с ними, скандинавы, также готовившие издание онежских петроглифов из своих дореволюционных сборов, отказались от запланированной монографии. Книги Равдоникаса служат исследователям незаменимым источником и сейчас. Был запланирован и третий том, по изображениям Карелии, но он не вышел. Сначала война с Финляндией, потом Отечественная сорвали публикацию.

В годы после 1934-го (года убийства Кирова и кончины Марра) ГАИМК находилась при смерти. Она подверглась опустошительным волнам арестов — были схвачены как враги народа и ликвидированы все партийные соратники Марра. Равдоникаса эти волны не задели — в какой-то мере из-за того, что он не был членом партии, а отчасти потому, что главным его местом работы в это время была не ГАИМК, а Кунсткамера — Институт антропологии, этнографии и археологии. В 1935 г. в Ленинград приехал из Таганрога провинциальный археолог Михаил Миллер, брат арестованного Александра Миллера, и привез известие о смерти брата в лагерях. По его позднейшему рассказу (Миллер 1958), на квартире у академика М. собрались археологи помянуть умершего, и известный археолог Р. произнес прочувствованную речь о погибшем — с верой в то, что придет время, когда об этом можно будет сказать открыто. Нет сомнения, что на квартире у Мещанинова выступил с этой речью Равдоникас (Платонова 2002: 275–276). Сложной фигурой был Владислав Иосифович.

Когда в 1936 г. было разрешено создать археологический альманах на месте угасших изданий ГАИМК, именно Равдоникас стал его идеологическим лидером. Альманах был назван «Советская археология» («археология» была и в названии Института), и на обложке его была изображена лосиха с петроглифа — как личное клеймо Равдоникаса. Одновременно Равдоникасу было поручено заведовать кафедрой истории

доклассового общества на истфаке ЛГУ, где он сменил Быковского. Так что ГАИМК шла вниз, Равдоникас — вверх. На следующий год Академия истории материальной культуры была ликвидирована, а ее остатки были слиты с археологической секцией Института антропологии, археологии и этнографии в Институт в составе Академии наук.

Этот следующий год был 1937-й. Третий выпуск «Советской археологии» открывался анонимной редакционной передовой, написанной Равдоникасом: «О вредительстве в области археологии и ликвидации его последствий». Об этой статье, жестоко бичевавшей «врагов народа», недавних коллег Равдоникаса, Столяр пишет: «Равдоникас совершил над собой роковое насилие... Далее ничто не могло успокоить его совесть — именно с этой отметки при возрастающей остроте духовного кризиса начал всё сильнее проявляться его недуг, который трагически оборвал жизнь отца... Непреодолимым было стремление Равдоникаса забыться, уйти из общества, да и от самого себя» (Столяр 1994: 10).

Состоятельность этого медицинского диагноза сомнительна. «История болезни» не документирована. Личности, склонные к алкоголизму (да еще наследственному), не нуждаются в каких-то особых реальных мотивах и всегда находят повод реализовать свою тягу. Коллизий же подобного рода у Равдоникаса и раньше было немало. Да и в будущем он еще попытается разок использовать подобное отравленное оружие...

Между тем 1937 г. принес Равдоникасу еще одно счастливое археологическое открытие первой величины. В этом году Равдоникас начал раскопки Оленеостровского могильника в Карелии. За три года была раскопана 141 могила со 177 скелетами. Равдоникас увязал могильник с петроглифами и датировал его второй половиной II тыс. до н. э. Гурина в полной публикации могильника (с предисловием Равдоникаса) удревняет дату на тысячу лет. А теперь ясно, что этот комплекс относится к мезолиту и представляет собой один из самых больших мезолитических могильников мира. После споров, относить ли его к концу VI — началу V тыс. до н. э. или к IV и последующему тысячелетию, сейчас склоняются к VI.

Со следующего года параллельно с раскопками Оленеостровского могильника Равдоникас начинает раскопки Староладожского городища. Кафедра истории доклассового общества преобразуется в археологическое отделение (такого не было в СССР нигде) с научной и учебной базой в Старой Ладоге.

В этом году его повидал участник новгородской экспедиции Рабинович, ученик Арциховского. В тот год было объявлено, что в Новгороде откопали водопровод.

> «В 38-м году Равдоникас неожиданно появился у нас на раскопках в Новгороде. Высокий, сухощавый, не то что седой, а какой-то стальной, весь твердый и гибкий, он легко соскочил с высокого борта раскопа без всякой лестницы. Из-под кепочки выбивались буйные волосы, победно торчала небольшая бородка, холодно-уверенно блестели острые серо-голубые глаза.
>
> — Дайте-ка, пожалуйста, лопаточку! И медорезку тоже! — и самолично начал зачищать профиль.
>
> Нам, никогда не видевшим лопаты в руках Арциховского, уже это само было удивительно.
>
> — Водопровод! — бормотал пришелец театральным шепотом, так, что было слышно на всей площади. — Какой же водопровод? Не туда рылом вышли!
>
> Впервые кто-то усомнился в открытии, которым мы все так гордились. Конечно же, самая тень такого сомнения была решительно и единодушно отвергнута».
>
> Через лет десять-пятнадцать было установлено, что это не водопровод, а водоотвод (Рабинович 2005: 257).

Староладожская экспедиция продолжалась до войны и затем возобновилась после нее. Учитывая обилие постов Равдоникаса, всё больше и больше конкретными работами на памятнике занимался его заместитель Гроздилов, очень дотошный археолог. Памятник такого возраста (на три века старше Новгорода и Киева) мог бы стать эталонным по крайней мере для лесной полосы России, если бы был раскопан полно, как Новгород. Но Равдоникас не сумел использовать этот последний дарованный ему шанс в науке.

Он вообще многого не успел, не успел реализовать свое великолепное дарование, хотя жизни ему было отпущено немало.

Какой это был великолепный мыслитель, показывает его учебник «История первобытного общества» (см. Савинов 1994). Часть первая вышла в 1939 г., часть вторая — в 1947 г., часть третья не вышла. Говорят, она была написана, но Равдоникас сжег рукопись в пьяном угаре.

Учебник много ругали — обвиняли автора в космополитизме (много иностранных фамилий), в норманизме, бог весть в чем еще. Книга не лишена недостатков, но это первый настоящий учебник преистории, полный, серьезный, конкретный. Преистория в нем выступает как дисциплина, строящая свое повествование на основе синтеза разных видов источников, которые для нее готовят этнография, лингвистика,

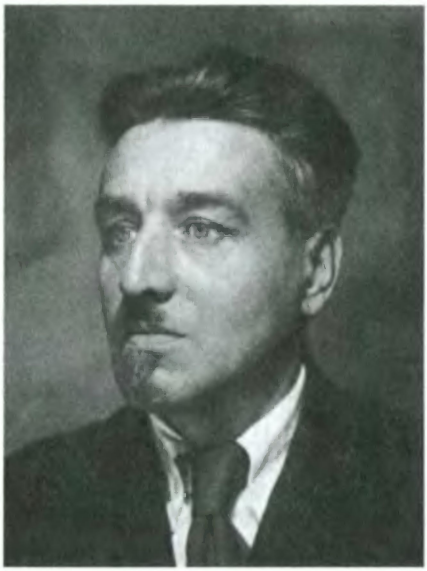
антропология, археология. Синтез в общем не получился. Но нет и подгонки этнографических примеров под археологический материал. Равдоникас возражал против «комплексного метода» Никольского — метода «сшивки». Те и другие источники рассмотрены раздельно. Но как проводить синтез, еще и сейчас не совсем ясно. Существенно, однако, что археология оказывается лишь одной из источниковедческих дисциплин, обрабатывающих свой вид источников для этого синтеза. Это позиция, противостоящая пониманию археологии Арциховским, для которого археология — это сама «история, вооруженная лопатой». К сожалению, продолжению и развитию научного спора Равдоникас предпочел силовое решение. Но об этом чуть дальше...

4. Невзгоды и последний рывок. Всю страшную блокадную зиму 1941–1942 гг. он провел со своей кафедрой в Ленинграде. Его постигли репрессии именно в это время. Он был арестован в ночь на 7 ноября 1941 г., три недели провел в тюрьме по вполне убойной статье («контрреволюционая пропаганда»), но выпущен: его следователем оказался его бывший студент (Тункина 2004; 195). После освобождения находился в депрессии. Пиотровскому пришлось заботиться об отправке некоторых сотрудников на Большую Землю, и он сохранил для Равдоникаса полфлакона (одеколонного) спирта, подаренного ему Орбели. Нужно было силой доставить Равдоникаса на сборочный пункт.

> «Я пошел к нему, квартира была открыта, всё было как после погрома, книги на полу. Я стал его звать, и из-под горы тряпья раздалась его махровая ругань, он ничего не хотел слушать. Я ему объяснил, что принес талон на место в автобусе, что по ту сторону Ладожского пути будет ждать его сын, и поставил около него флакончик с остатками спирта — "бензин на дорогу" — и кружку с водой. Ушел, сказав, что приду назавтра его проверить. На другое утро я пришел с опозданием, квартира была закрыта, на стук никто не отвечал. Обратился к соседям, те сказали, что Равдоникас утром собрался и ушел. Уже после войны он рассказал мне о том, как его взбодрила "капля бензина", принесенная мною» (Пиотровский 2009: 191).

Потом его вывезли в Елабугу, оттуда он, обремененный семьей (у него было пятеро детей), переехал в Саратов, где тогда находился Университет. Между тем центр Института истории материальной культуры в Ленинград так и не вернулся — его перевели в Москву. В Ленинграде же сделали его отделение (как раньше было в Москве). По возвращении после войны в Ленинград Равдоникас становится заведующим этого

отделения. Видимо, его, как и многих ленинградцев, гложет сожаление об утраченных позициях и возможностях. Теперь распределение денег на экспедиции, издательских фондов, «Открытых листов» — всё переместилось в Москву.



В. И. Равдоникас на вершине своей карьеры

Между тем он на вершине своей карьеры. В 1945 г. Норвежская Королевская Академия наук избирает его действительным членом. В следующем году в декабре он избирается членом-корреспондентом нашей Академии наук. «...И вдруг внезапно потерял интерес к научной работе, передав заведование Отделением П. Н. Третьякову, — пишет Б. Б. Пиотровский (2009: 242). — Трудно объяснить этот перелом в жизни Равдоникаса. У него были "нелады" в биографии: исключение из партии "без права восстановления", арест во время блокады, но это не повлияло на его карьеру. После отъезда П. Н. Третьякова в Москву Равдоникасу пришлось снова занять пост заведующего, но это был уже "не тот Равдоникас"».

Влиял, очевидно, «наследственный недуг». Москвич Рабинович (2005: 258) рассказывает:

> «Пьянство Равдоникаса настолько стало притчей во языцех, что, когда я посетил Владислава Иосифовича в его ленинградском кабинете уже не как студент, а как ученый секретарь института и друзья потом спрашивали, не пахло ли там водкой, я отвечал уклончиво, хоть, помнится, на самом деле запаха водки не уловил».

Но вот когда Равдоникас, приехав как-то в Москву, стал расспрашивать меня, где бы найти Арциховского, чтобы занять у него сотню на обед (а сто рублей были тогда немалые деньги. — Л. К.), я ответил, что Артемий Владимирович сегодня не будет, и добавил не без внутренней усмешки, что и у меня денег нет, но я могу пригласить его отобедать домой. Расчет мой оправдался полностью: старик (впрочем, это нам, молодым, он мог казаться стариком — ему не было еще пятидесяти) даже обиделся:

В. И. Равдоникас
с Б. Б. Пиотровским в 1948 г.
(из «Страниц моей жизни»
Пиотровского)

«— Когда я говорю "обедать", так думаю — и выпить, конечно! Нет уж, спасибо! Пойду поищу Артемия!

"Артемий Владимирович не будет с тобой пить. Но сотню, пожалуй, даст", — подумалось мне».

Между тем в Москве Равдоникас искал не только выпивку. В 1948 г. в обстановке сменяющих одна другую кампаний «борьбы за» и травли взорвалась биологическая дискуссия. Хитрый шарлатан «народный академик» Лысенко прогремел на июльско-августовской сессии ВАСХНИЛ своим докладом «О положении в биологической науке». Опираясь на поддержку ЦК, он разгромил генетику как буржуазную науку и разделался со своими оппонентами, заклеймив их как вейсманистов-морганистов, противников мичуринской биологии, после чего начались их массовые увольнения. В октябре («черная пятница» 22 октября) прошла аналогичная сессия языковедов в Ленинграде, на которой Сердюченко и Филин вынудили академика Мещанинова сделать доклад «О положении в лингвистической науке». На этой сессии к презренным Менделю и Вейсману были приравнены Гумбольдт и основоположник структурализма Соссюр. Заклеймены были виднейшие отечественные лингвисты, и началась их травля.

Равдоникас, к этому времени заведующий ленинградским отделением ИИМК и кафедрой археологии ЛГУ, вдруг узрел шанс покончить раз и навсегда с давними конкурентами из Москвы и захватить господствующие высоты в археологии страны. Он организует осенью 1948 г. в ленинградском филиале Академии наук расширенное заседание Ученого совета ЛОИИМК, на котором выступает с докладом «О положении в археологической науке» (название вполне подобное названию доклада Лысенко). В докладе он выдвигает идею, что в археологии сложилось два течения — передовое и формалистическое. Первое состоит у него в основном из ленинградцев, второе — из москвичей. Докладчик громит Городцова, Арциховского, Брюсова, впрочем, также и Руденко. Ему казалось, что стоит только задать тон

докладом и несколькими заранее подготовленными выступлениями в поддержку — и дело будет сделано. Как в 1929 г.

Запланированные выступления с поддержкой состоялись (Каргер честил москвича Воронина, старуха Максимова и Гайдукевич сделали выпады против москвича Блаватского), и, читая ленинградские стенограммы, москвичи со страхом видели, что Равдоникас не одинок. «Вокруг него угадывалась плотная кучка, среди которой явственно выделялась мрачная фигура Каргера» (Рабинович 2005: 259).

Но общей картины разгрома не получилось. Ленинградцы говорили о несамокритичности Равдоникаса и отвергли идею разделения направлений по городам. И резонно: это было чрезвычайно опасно. Центр-то был в Москве. Там доклад был повторен. Москвичи Киселев, Монгайт, Блаватский выступали нерешительно, лысенковский погром генетики был слишком свеж в памяти. Но Федоров и Рабинович решились, за ними Воронин — и дружно выступили с резкой отповедью, сбив «археологического Лысенко» с курса. Конечно, резко возражал Арциховский.

А вообще демарш Равдоникаса был крайне не ко времени. Назревало «ленинградское дело» — политический разгром всей ленинградской партийной верхушки и руководства наукой. Их всех вскоре расстреляли по подозрению в сепаратизме. Покушение на археологический переворот было затеяно с негодными средствами, не вовремя и не там. На заседании ученого Совета института в Москве и позже, в 1949 г., Равдоникаса подвергли жесточайшей критике — не только за мятеж, но и за всевозможные грехи, в том числе космополитизм. Он получил отставку от руководства.

В 1950 г., после произведенного Сталиным посмертного низвержения Марра, московские археологи еще порезвились на предмет «теории стадиальности» и прочих марровских экскурсов Равдоникаса. «Этот археолог, — желчно писал Арциховский (1953: 60), — вообще наиболее восприимчив ко всем веяниям, лишь бы они были вредные».

Равдоникас отреагировал на всё это в своей обычной манере — беспробудным запоем. Он пил вместе с одним студентом, который в белой горячке покончил с собой. Скандал принудил факультет уволить профессора.

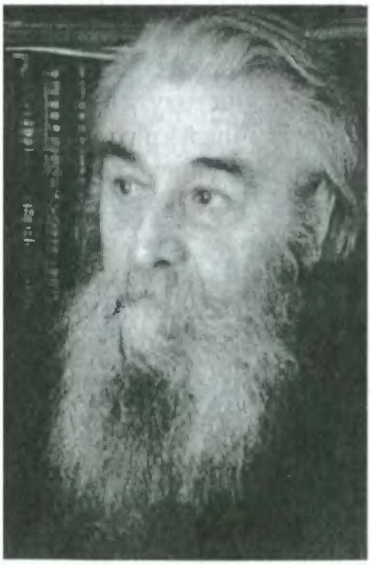
Я слышал тогда, что Президиум Академии наук вызвал Равдоникаса на правеж. Равдоникас прибыл на заседание пьяным и короткими перебежками — от опоры к опоре — добрался только до дверей зала заседания, а в проеме и упал. Члены Президиума стали тихонько выбираться из зала, переступая через распростертого на полу во

весь рост Владислава Иосифовича. При этом один из них сказал другому: «Осторожно, не вступите в Равдоникаса». Возможно, это лишь археологический фольклор, но он показателен для отношения научного истеблишмента к Равдоникасу.

Староладожская экспедиция еще некоторое время продолжалась, во время хрущевской оттепели (1957–1959), даже вновь под номинальным руководством Равдоникаса, потом прекратилась.

5. Эпилог. Равдоникас решил покончить со всем и показать, что не так уж он всё это ценит — чины, уважение коллег (было бы чье!), славу и саму науку. На рубеже шестидесятых в возрасте 65 лет он ушел со всех своих постов на пенсию и жалованье членкора (оно выплачивалось вне зависимости от работы), распродал научную библиотеку, многое из рукописей сжег и больше ничего не писал. Нигде не появлялся кроме концертов в Капелле. Гостей угощал водкой с горячим чаем без закуски и называл себя «старцем Равдоникасом». Фактически отход от дел начался десятью годами раньше.

Он жил отшельником еще двадцать лет. Уже не пил. За ним ухаживала последняя из его жен (их сменилось четыре), а дом был наполнен животными: ежами, кошками, собаками. Когда в день его восьмидесятилетия коллектив кафедры отправился к нему на квартиру с поздравлениями (и я со всеми), нам навстречу вышел совершенно незнакомый Равдоникас — высокий умиротворенный старик с двупрядной седой бородой и белой шевелюрой.



Отшельник Равдоникас

Его успели похоронить заживо и забыть или делали вид, что забыли. Когда в 1976 г. он умер, основанная с его участием «Советская археология», давно редактируемая Арциховским и заменившая онежскую лосиху на обложке вятичским кольцом, не напечатала даже скромного некролога. Забыли? Видать, ничего не забыли.

Историк с лопатой

А. В. Арциховский

Пусть жизнью связи портятся,
Пусть гордость ум вредит,
Но мы умрем со спертостью
Тех розысков в груди.

Борис Пастернак.
Образец (из «Книги степей»).

1. Образ. «На кафедру Большой зоологической аудитории неловко поднялся высокий румяный человек с черной шапкой волос над мощным куполом лба. Ярко-красные губы его были сложены как у девушки — сердечком». Подойдя к доске и написав на ней нечто мелом, он «снова стремительно выскочил на кафедру с таким выражением лица, какое бывает у ныряльщика, прыгающего с десятиметровой вышки, и трубным голосом сказал:

— Прежде чем начать турс лекций по археолодии, я должен предупредить, что страдаю орданичестим недостаттом речи: я не выдовариваю двух бутв, — он покраснел и закричал на всю аудиторию: — "К" и "Г"! — произнеся их совершенно отчетливо.

Он отступил в сторону от доски, и стали видны огромные буквы "К" и "Г", написанные круглым детским почерком.

Аудитория оживилась, а с верхних ярусов <...> послышался даже чей-то дружелюбный сдержанный смех. <...> И я с моим другом и однокурсником Шурой Монгайтом приготовились мило развлекаться до конца лекции».

Так описывает свои студенческие годы известный археолог Георгий Федоров (1966: 7–8), ученик Арциховского. В этом портрете профессора, хоть Федоров и не назвал его (тогда еще живого), сразу узнается его учитель Артемий Владимирович Арциховский. Как и в словах, которыми профессор, «яростно сверля взглядом своих

черных глаз наличник входной двери, расположенной напротив кафедры», продолжал свою вступительную лекцию:

> «— Археолодия — история, вооруженная лопатой. Относительное значение археолодии среди друдих историчестих дисциплин мне не хотелось бы преувеличивать. Все равно татое преувеличение было бы объявлено односторонним пристрастием специалиста. Но если толичество вновь оттрываемых письменных источнитов растет очень медленно, то археолодия таждые двадцать-тридцать лет удваивает свои источнити, и притом основные. Вся деятельность обычнодо историта протетает в узтом пространстве письменнодо стола. Поле деятельности археолода шире: степи и доры, пустыни, болота, моря, рети».

Это цитата не только из лекций Арциховского, но и из его учебника «Введение в археологию» (Арциховский 1941: 8).

Федоров повествует, как его и Монгайта увлекла эта первая же лекция Арциховского, и далее сообщает о милых «чудачествах» профессора и о его поразительных способностях. Из «чудачеств» Федоров отмечает, собственно, одно:

> «Он, например, почему-то избегал произносить слово "женщина", а если выхода не было, то говорил: "мужчины и остальные". Впрочем, однажды во время лекции он все же произнес слово "женщина". Лучше бы он этого не делал! Это было во время лекции о верхнем палеолите. Яростным голосом командира, подымающего роту в атаку, профессор прокричал:
>
> — Истусство мира началось сорот тысяч лет назад, в эпоху ориньята. Первым видом истусства была стульптура. Первым объеттом истусства была женщина.
>
> Тут он сдавленным голосом произнес:
>
> — Подасите свет!
>
> Свет погасили, и на экране вспыхнули необычайно выразительные женские статуэтки. А из темноты раздался отчаянный вопль профессора:
>
> — Долая женщина! Со стеатопидией!
>
> И профессор указкой ткнул в огромные каменные ягодицы скульптуры...»

Поиронизировав над старым холостяком, Федоров с восхищением пишет об удивительных способностях Арциховского:

> «Профессор знал всё. Абсолютно всё. Он безошибочно помнил даже фамилии, имена и отчества каждого студента на курсе. О его феноменальных знаниях ходили легенды. В Институте археологии <...> говорили, что профессор знает отлично

биографии всех римских консулов, всех французских министров за все время существования Франции, всех американских президентов и даже почему-то всех членов Государственной думы всех четырех созывов» (Федоров 1966: 11–12).

Эта же характеристика и с этими же деталями фигурирует и в воспоминаниях академика В. Л. Янина (1973) — другого ученика Арциховского. Добавляют еще, что Арциховский наизусть декламировал целые поэмы — от Горация до Маяковского (Янин 1978). О том же свидетельствует еще один ученик Арциховского — М. Г. Рабинович (2005: 140–141). Он добавляет некоторые штрихи к внешности: «Щеголеватый, черный, как жук, с маленькими усиками только под носом, с бегающими глазами, глядящими то в пол, то в потолок, но, как мне показалось, только не на нас...» Это было в 30-е гг. Тогда же в экспедиции в Новгороде всё изменилось: «Не знаю, взял ли он из Москвы свой щегольской серый коверкотовый костюм, мы не видели его ни разу. Профессор ходил в черной сатиновой косоворотке, подпоясанной витым шнуром, в темных брючках и брезентовых полуботинках». Был требователен, вникал во всякую мелочь. Но лопату или другой археологический инструмент в руки не брал.

«Вообще в телодвижениях был чрезвычайно неуклюж, —добавляет Д. А. Авдусин (2000: 311), тоже ученик. — Застегнуть пуговицу на рукаве для Артемия Владимировича было непростым делом, о запонках не могло быть и речи, галстуки покупал только с фабричным узлом, не умел самостоятельно бриться, на лестнице без перил с трудом преодолевал крутые ступени спуска», а размер его головного убора был совершенно небывалый — 64. Судя по этим и другим симптомам (мощная челюсть, грубые малоподвижные ладони, отсутствие тяги к женщинам и т. п.), возможно, что у Арциховского была легкая степень акромегалии — эндокринной патологии).

2. Юность на Тихом Дону. Человек столь выдающихся качеств родился в декабре 1902 г. в Петербурге в семье известного ботаника, впоследствии профессора. Мать — врач. Таким образом, оба принадлежали к естественнонаучной интеллигенции. Семья была атеистической.

Вскоре после рождения сына Арциховские переехали в Новочеркасск. Там по окончании школы юноша поступил в Политехнический институт, к тому времени переведенный из Варшавы в столицу Донского казачества, и проучился в нем два года. Интерес к эволюционным идеям и классификациям, перенятый у отца-ботаника, получил подкрепление в виде хорошего знания математики и вкуса

к четким определениям и описаниям, необходимым для естественника или технаря.

Между тем атмосфера Гражданской войны, столь бурная на Дону (в обстановке «Тихого Дона»!), навевала скорее интерес к проблемам социальной истории. Еще в гимназические годы юноша увлекся римской историей, в особенности принципатом Августа — этой диктатурой в обличье республики. Видимо, поражали какие-то аллюзии к современности — драматизм Гражданской войны, частая смена властей, их произвол, а также обожествление властителей. На всю жизнь запомнились биографии консулов. Что-то, видимо, привлекало и в посленаполеоновской, послереволюционной Франции — он не только знал всех республиканских министров этой страны, но из всех иностранных языков лучше всего знал французский.

В недавнее время (в самом конце XX века) стал известен один эпизод биографии Арциховского, хранившийся им в глубокой тайне. Он выдал его своему любимому ученику Георгию Федорову, тогда студенту и участнику Новгородской экспедиции Арциховского. Приведу этот рассказ целиком:

«Однажды осенью 1938 года я, как уже не раз случалось, был в гостях у Арциховского. Мы разговаривали о русской поэзии, которую оба очень любили, читали друг другу наизусть стихи. Вдруг Арциховский спросил меня:

— Георгий Борисович (он всех студентов величал по имени-отчеству), какого вы мнения о Сталине?

Опешив от такого поворота разговора, я стал мямлить что-то маловразумительное.

Тогда Артемий Владимирович, сверля меня взглядом сверкающих черных глаз, сказал громко и четко:

— Сталин — палач и убийца.

Я обомлел. Ведь шел 1938 год. Я даже не подумал, что Арциховский таким образом вручил свою судьбу двадцатиоднолетнему мальчишке-студенту. Впрочем, я бы пошел на любые муки, но не выдал бы его. А Арциховский стал высказывать без обиняков то, что смутными мыслями и образами бродило у меня в голове, лежало на сердце, то, что я старательно и безнадежно старался гнать от себя. А потом он сказал:

— Вы знаете, что я родом из Новочеркасска. Во время Октябрьской революции я учился в одной из местных гимназий. Так вот, я пошел добровольцем в армию Каледина и сражался с большевиками. Был одним из номеров артиллерийского расчета. После ранения и победы

красных пришлось скрываться. Уехал в Москву и здесь затерялся» (Федоров 1997/2007).

Формозов (2007а: 135), очень близкий к Арциховскому, подтверждает: в 1918 г. с группой одноклассников, которую возглавлял их учитель истории М. П. Богаевский, Артемий оборонял город от большевиков. «Видимо, с той поры в его душе поселился страх. Ведь Богаевского поймали и расстреляли». Но бегство в Москву в этом рассказе отделено от обороны Новочеркасска: он еще успел окончить там школу в 1920 г. и два курса Политехнического. Возможно, Федоров вспоминая этот эпизод через много лет, допустил хронологическую неточность.

3. Формирование вещеведа. По окончании Гражданской войны, в 1922 г., молодой Арциховский перевелся в Московский университет на факультет общественных наук. Тут под влиянием профессоров Ю. В. Готье и В. А. Городцова он увлекся археологией, столь удачно сочетавшей в себе свойства естественных наук (эволюционные схемы и классификации, технические анализы) и живость социально-исторической дисциплины. Особенно импонировал юноше Городцов своей страстью к классификациям и систематике. Диффузионистские идеи Городцова не очень привлекали Арциховского, но, как всякий диффузионист, Городцов стремился прослеживать конкретные перипетии древних народов, восстанавливать исторические события — взаимовлияния, передвижения и т. п., словом, историю. Диффузионизм ведь везде приводил к образованию «исторических школ». Еще круче ориентировал студента в эту сторону Готье, сам больше историк, чем археолог.

В 1925 г. Арциховский окончил археологическое отделение ФОН, руководимое Городцовым, и был принят в аспирантуру научно-исследовательского института археологии и искусствознания РАНИОН; одновременно он стал сотрудником Исторического музея (где работал до 1938 г.), а с 1927 г. ассистентом Университета.

Под руководством Городцова он написал свою первую статью «Сердоликовые бипирамидальные бусы» (1926) и свою кандидатскую диссертацию «Курганы вятичей» (защищена в 1929 г., опубликована как книга в 1930 г.) — работы, безусловно, вещеведческие. По теме диссертация продолжает и детализирует знаменитую работу Спицына о расселении древнерусских племен (1899), а по методу в ней реализована классификационная схема Городцова — сортировка вещей по функциям в категории, по очертаниям — в типы и т. д.

Выдержаны и принципы Городцова — классификация уподоблена линнеевской, классы взаимоисключаются, критерии единообразно распределены по шагам, и т. п. Разумеется, Арциховский (не зря ведь учился в политехе) добавил к этому математическую обработку материалов — корреляцию.

На эту работу, признанную теперь образцовой, классической, тогда сразу же обрушился рвавшийся в марксистские идеологи Равдоникас из Ленинграда. Он обвинил Арциховского в «городцовщине», в отстраненном от социальных проблем вещеведении, в пользовании типологическим методом. Подвергает Равдоникас сомнению и отождествление ареала височных колец с территорией вятичей. Придравшись к фразе Арциховского о том, что основной единицей археологии является тип, Равдоникас (1930: 63) саркастически восклицает: «Заметьте, не комплекс и не памятник в его многосторонних связях и опосредствованиях, в его цельности и единстве, а тип...» Вся работа Арциховского, продолжает Равдоникас, построена как классификация пяти категорий вещей, причем только украшений: браслетов, бус, височных колец, гривен и перстней (как хронологически чувствительных серий). Остальная культура: орудия труда, керамика и проч. — из тех же курганов оставлена без специального рассмотрения. «Городищами А. В. Арциховский не интересуется вовсе — не моя, мол, тема...» С позиций марксистской методологии «впечатление нельзя назвать иначе, как тяжелым и удручающим» (Равдоникас 1930: 66).

Война Равдоникаса и иже с ним против вещеведения и типологии была войной против археологии как науки источниковедческой. Конечно же, источниковедческий анализ — необходимая база для выводов о социальных структурах и процессах — тут Арциховский был на верном пути. Однако Равдоникас чутко уловил некоторую ограниченность Арциховского как отъявленного вещеведа. Действительно, для него замкнутый комплекс не был основой кристаллизации археологического материала. Правда, на основе корреляции, то есть совстречаемости в комплексах, типы у него сопрягались в устойчивые формирования, но этим дело и ограничивалось. По этим формированиям Арциховский хотел прямо судить о социоисторических явлениях. В отличие от Городцова, его не интересовали археологические культуры — и это осталось на всю жизнь. Тогда он и впрямь не занимался поселениями (он занялся ими позже). Исследуя курганы, он не интересовался погребальным обрядом — только вещами.

Вещеведческий настрой Арциховский сохранял и позже, несмотря на то что вещеведение считалось предосудительным. Его ученик Д. А. Авдусин, отнюдь не настроенный скептически по отношению к учителю, вспоминает:

> «В разговорах Артемий Владимирович нередко называл себя вещеведом... Любовь к исследованию вещей сочеталась у него с пренебрежением к изучению погребального обряда. Открываемые сооружения интересовали его гораздо меньше. В темах, которые он давал для дипломных работ, погребальный обряд не фигурировал. Он считал, что его особенности отражают не столько этнос, сколько локальные особенности быта. Тему этноса он тоже отвергал, обычно указывая на Косинну, докатившегося до расизма и ставшего в какой-то мере идеологом фашизма». Далее Авдусин отмечает, что его учитель «везде, где это было возможно, избегал употреблять термин "культура", считая его расплывчатым и путаным. Даже в своем знаменитом учебнике он писал, например, вместо "дьяковская культура" — "дьяковские племена" и т. п.» (Авдусин 1989: 80).

В своем семинаре он любил давать студентам вещеведческие темы для курсовых работ — эволюционное упорядочение материалов по той или иной категории артефактов. Сохранился его подготовительный конспект занятий с семинаром 1970 г. «Скажу, что надо прочесть и увидеть». Цель — ознакомление «с основной археологической литературой и музейными вещами. Лучший способ: доклады по истории археологических категорий... Прочтете друг другу курс археологии по категориям. Археологию можно излагать двояко: 1) по странам и эпохам, 2) по категориям». И он приводил в пример два оксфордских музея: в Ашмолеанском музее материал расположен «по историческим темам», а в музее Питта Риверса — по категориям в их эволюции (Авдусин 1989: 79). Такова была и его собственная первая работа — о бипирамидальных бусах. Такова была (но как бы сведенная из пяти категорий) и его диссертация о вятичских курганах. Это была великолепная база для хронологических выводов и уточнения ареала.

4. Марксистская археология. В то же самое время, когда молодой Арциховский работал над сугубо вещеведческим исследованием о вятичских курганах, он усердно посещал аспирантский семинар (секция) литературоведа и социолога В. М. Фриче, впоследствии академика. Семинар был создан для приобщения молодых археологов

к марксизму и натаскивания их в марксистской постановке и соответствующем решении проблем древней социальной истории, согласно марксистской социологии — истмату. Кроме Арциховского, там занимались и его соученики по аспирантуре: Брюсов, Киселев, Смирнов и др. — всё питомцы Городцова. Арциховский был среди этих аспирантов лидером. Аспиранты выступали с докладами о социологическом значении и возможностях марксистского истолкования тех или иных археологических явлений — археологических категорий широкого плана: доклад Брюсова «Социологическая история жилища», Арциховского «Социологическое значение эволюции земледельческих орудий» (он особо занимался серпами), Киселева «Поселение».

В то же время ученики Городцова включились и в Общество историков-марксистов, руководимое тогдашним лидером борьбы за советизацию и социологизацию исторической науки М. Н. Покровским. Формозов (2007а: 136), задним числом искренне огорченный за своего учителя, пошедшего на поклон к большевикам, пишет: «Если к занятиям в семинаре Фриче я отношусь снисходительно, то менее простительно, на мой взгляд, тяготение Арциховского к Обществу историков-марксистов...» Ведь оно было нацелено на «борьбу с классовым врагом на историческом фронте», которая привела к чудовищному разгрому науки в начале 1930-х.

Не все молодые московские археологи посещали семинар Фриче. Ученики Б. С. Жукова «палеоэтнологи» Толстов, Бадер, Воеводский и др. были противниками узкой и прямолинейной социологизации артефактов и памятников. Весной 1929 г. состоялся диспут между этими двумя группами молодых археологов.

В ноябре того же года в Обществе историков-марксистов обсуждался совместный доклад Арциховского, Брюсова и Киселева «Новые методы в археологии». От всех троих доклад зачитал Арциховский. Под «новыми методами археологии» имелся в виду прежде всего «метод восхождения», изобретенный молодыми новаторами. В основу были положены идеи Маркса. Маркс учил, что орудиям производства должны соответствовать определенные формы производственных отношений, социальных структур и идеологии.

> «Возьмите определенную ступень развития производительных сил людей, и вы получите определенную форму обмена и потребления. Возьмите определенную ступень развития производства, обмена и потребления, и вы получите определенный общественный строй, определенную организацию семьи,

> сословий или классов — словом, определенное гражданское общество. Возьмите определенное гражданское общество, и вы получите определенный политический строй...» (Маркс 1846/1962: 402).

У Маркса был и более конкретный пример такого умозаключения: «Ручная мельница дает нам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество с промышленным капиталом» (Маркс 1847/1955: 133). Арциховский и его товарищи пришли отсюда к заключению, что достаточно знать закономерные соответствия, установленные марксизмом, чтобы по типам археологических артефактов-орудий реконструировать всю структуру общества. «Восхождение» от производства к надстройкам становилось универсальной отмычкой. Значит, — это в пику палеоэтнологам — нет надобности обращаться к этнографии за образцами для реконструкций. Такая марксистская археология становится вровень с историей — она сама есть история, но не по письменным, а по вещественным источникам.

Для признания «метода восхождения» требовалась безусловная вера в наличие жестких и прямолинейных соответствий между типами археологических явлений и определенными социальными структурами — в то, что сейчас на Западе называется «коррелятами» — и уверенность, что марксизм не только установил само наличие этих «коррелятов», но и способен точно предсказать их конкретный облик.

Таким образом, 1929 г. был рубежной вехой в биографии Арциховского: защита диссертации, доклад о новых методах. К этому времени он сложился как человек и ученый. В этом же году он был направлен копать курганы в Новгородской области — стал начальником Новгородской экспедиции. Вероятно, он еще не догадывался, что это звание у него сохранится в течение всей жизни и что Новгород станет его главным открытием, его судьбой. Да не курганные находки, а именно город и его история, его социальная структура. Если иметь в виду личность археолога, то, вероятно, на его подходе к Новгороду сказались обе сформировавшиеся у него установки — вещеведческая и социологическая.

Как, однако, вообще могли две такие разные установки — на вещеведение и на социологизацию — уживаться в одном и том же человеке? Для Арциховского тогда в этом не было противоречия.

Да, в нем жил азарт коллекционера. Он чувствовал вкус вещей и древних изображений, любил с ними возиться. От этих вещей и изображений исходил аромат истории. Историю он тоже любил и воспринимал археологию как включенную в историю. От вещей для

него как бы пробегала короткая дорожка к историческому пониманию. Он любил путешествовать по этой дорожке и хотел бы, чтобы это и была вся археология, чтобы в этом она и заключалась.

Марксизм предоставил ему блестящую возможность реализовать эту смутную, возможно, не вполне осознанную тягу к вещеведению, возведенному в ранг истории. Пройдемся еще раз по цепочке умозаключений. Марксизм придавал бытию приоритет перед сознанием, т. е. материальной культуре перед духовной. Во всей культуре он придавал приоритет орудиям производства, т. е. артефактам, элементам материальной культуры. От их развития, т. е. от эволюции орудий, считались зависимыми изменения всей структуры общества. Основы этого развития, т. е. основные соответствия между орудиями и надстройкой полагались установленными, т. е. заведомо известными. А если так, то, изучив орудия, можно было мысленно реконструировать всю структуру общества. Возьмите одно, и вы получите другое. И не надо идти на поклон к этнографии.

Арциховский был патриотом археологии, и с марксизмом она обрела для него самостоятельное значение и существование. Она стала равнопорядковой с письменной историей, как у Забелина, а в чем-то даже сильнее ее: то и дело «удваивает свои источнити», выявляет более глубокие структурные процессы, более объективна... Этот перечень достоинств за него расширяли уже его ученики — Монгайт, Авдусин.

В докладе 1929 г. Арциховский выдвинул впервые формулу «Археология — это история, вооруженная лопатой». Критики набросились тогда же на его «метод восхождения». Что возражали ему палеоэтнологи, мы можем только догадываться. Протокол заседания не найден, в печать ничего не проникло. Вскоре Жуков был арестован и погиб в лагере, его школа рассыпалась. Но возражения Равдоникаса и других ленинградцев известны. В вину Арциховскому ставились и непонятное стремление «во что бы то ни стало стеной отгородить археологию от этнографии» (Равдоникас), и недооценка памятников идеологии для реконструкции общественных структур, и (позже) бухаринские идеи...

Арциховский отвечал ударом на удар. К этому времени Равдоникас опубликовал в Стокгольме книгу на немецком языке «Норманны Приладожья в эпоху викингов» (1930). В рецензии на эту книгу (1931) Арциховский предъявил Равдоникасу методические претензии (стенки раскопов похожи на обвалы, костяки плохо расчищены), вообще сверх отчетов очень мало чего представлено. Вынашивая уже тогда антинорманистские идеи, он обвинил Равдоникаса в том,

что тот ради «международной вежливости» пошел на поводу западных норманистов. Более того, он весьма прозрачно намекал на антисоветские настроения Равдоникаса, который ведь за несколько лет до того вышел из партии.

Его девиз, по-видимому,
Древних ратей воин отсталый,
К этой жизни затая вражду,
Сумасшедших сводов Валгаллы,
Славных битв и пиров я жду.

Арциховский вряд ли применил бы подобный прием, граничивший с политическим доносом, к кому-нибудь другому, но он считал, что по отношению к Равдоникасу всё допустимо: он был уверен, что Равдоникас связан с «органами» и что этим объясняется его взлет. Хотя доказательств этому не было и нет.

Арциховский отвергал и метод Равдоникаса двигаться от идеологических явлений к восстановлению социальных и материальных структур — он окрестил это «методом нисхождения».

Равдоникас, конечно, откликнулся тут же, в том же номере «Сообщений» (с. 35). Совершено обходя методические претензии, критикуемый так оценивает рецензию Арциховского: «Он клеветнически искажает содержание моей книги, перевирая цитаты, и затем ломается над своим собственным враньем, пуская в ход тон, пригодный лишь для пасквиля, а не для отзыва о научной работе...»

Противостояние продолжалось.

Партийный идеолог, переведенный из Вятского Пединститута сначала в Коммунистическую Академию, а потом — в руководство ГАИМК, С. Н. Быковский ополчился на саму идею молодых москвичей построить «марксистскую археологию». По его мнению, никакой специализации по видам источников вообще не нужно, стало быть, не нужна археология, даже марксистская. Историю надо делить по проблемам и эпохам. Возможна лишь история материальной культуры, обозначенная в ленинском названии Академии, и она должна изучаться по социально-экономическим формациям, а не по видам источников (Быковский 1932: 3). Молодые москвичи Арциховский со товарищи выступили с покаянной коллективной статьей «Возникновение, развитие и исчезновение марксистской археологии», — статьей, которую впоследствии Арциховский не включал в свою библиографию. К этому времени РАНИИОН была распущена, ФОН в Университете закрыт, покаявшихся приняли в Московское отделение ГАИМК. Кто не раскаялся, остался без работы.

5. История с лопатой. Арциховский с 1932 г. стал сотрудником ГАИМК — он был в числе покаявшихся. Принять марровский автохтонизм ему было нетрудно — запросто объявил славян-вятичей прямыми потомками местных финно-угров (Арциховский 1934). Труднее было другое. Он отказался от «метода восхождения», от «марксистской археологии», даже отрекся от своего учителя Городцова. Но афоризм относительно истории с лопатой оставил на всю жизнь и сохранил соответствующее ему понимание. Он так и не видел, что это понимание археологии как дубликата истории противоречит его же собственной практике, в которой археология оставалась вещеведением, наукой об артефактах, отраслью источниковеденния. Не видел потому, что сам он был не только археологом-источниковедом, но и историком. Две роли, два ученых соединялись в одном человеке, но это не значит, что две науки сливались в одну.

Драматическая, полная опасностей вылазка двадцатых годов в социологизирование навсегда отбила у Арциховского охоту заниматься теорией. Он сформировался как завзятый эмпирист, практик. Авдусин констатирует, что Арциховский считал тип очень важным понятием археологии. «Но от определения типа он уклонялся». Категории также занимали важное место в его методике. Но в его уже цитированном подготовительном конспекте 1970 г. для занятий со студентами есть запись: «Давать определения категорий не буду, и так поймете. Категория, вообще-то, имеет философское содержание, но нас это не касается. В археологии [всё] очень просто» (Авдусин 1989: 81).

«В археологии всё очень просто!» — это был его девиз, его кредо. Есть вещи разных категорий, внутри категорий они группируются в типы (или классы), занимающие некие ареалы. Статистикой можно эти типы выявить, корреляцией установить связи между ними. Из этих данных следуют исторические выводы — о связях между человеческими группами. Всё остальное — как в истории. Если есть голова на плечах и здравый смысл.

Никаких особых теоретических измышлений и методических ухищрений не нужно. Нужны только эрудиция, аккуратность и ясность — вплоть до точного языка и четкого почерка.

Возможно, на него подействовала критика Равдоникаса, но с начала 30-х гг. его интерес смещается к городской археологии — сфере, до того заброшенной и мало исследованной. С 1932 г. Новгородская экспедиции становится действительно Новгородской и начинает раскопки в самом городе — в Славенском конце. В начале работы

шли с перерывами, так как начальник экспедиции вынужден был отвлекаться. Как опытный специалист по вятичам Арциховский считался консультантом по находкам на территории Москвы, поскольку территория Москвы находится в земле вятичей. Он и был назначен руководителем археологических работ на строительстве Московского метрополитена. Работы шли с 1933 по 1936 гг., и Арциховский был замечен (и отмечен) властями столицы.

Ему еще довелось вступиться разок за курганы, за Спицына и себя — в дискуссии с П. Н. Третьяковым, тогда ленинградцем. Третьяков выступил с критикой определений племеных территорий по ареалам курганных древностей. Ведь летописные племена очерчены летописью применительно к IX–X векам, а курганы относятся к более позднему времени, когда уже никаких племен не было и восточные славяне жили в княжествах вокруг городских центров. Арциховский опубликовал полемическую статью «В защиту летописей и курганов» (1937). Он обращал внимание оппонента на то, что традиции погребального убора живут долго, поэтому по нарядам женщин, похороненных в XII–XIII веках, можно восстанавливать племенные территории более раннего времени. Сам он занимался в это время уже городами.

В страшном 1937 г., когда была разгромлена ГАИМК, расстреляны ее руководители и на ее месте создан скромный институт в рамках Академии наук, 35-летний археолог Арциховский стал сотрудником его Московского отделения. В том же году после нескольких лет перерыва он стал снова работать в Московском университете, но уже профессором, а в 1939 г., когда была создана кафедра археологии, беспартийный профессор и даже еще не доктор, а только кандидат наук Арциховский стал ее заведующим. Он занимал этот пост сорок лет — до самой смерти.

А. В. Арциховский в начале заведования кафедрой археологии

Сразу же по приходе на кафедру им был разработан курс лекций «Введение в археологию»,

вскоре изданный стеклографически (1938), а затем книгой (1940, переизд. в 1941, 1947 гг., под другим названием — «Основы археологии» — в 1950, 1954, 1955 гг.). Об этом курсе его ученик писал:

> «Поготовленный А. В. Арциховским курс археологии не знает прецедента в мировой педагогической практике. В нем соединены в едином изложении сведения по первобытной, античной и средневековой археологии, а проблемы русской и мировой истории впервые изложены на материалах СССР, Западной Европы и Ближнего Востока...» (Янин 1978: с. 7).

Оценка неточна. Прецеденты были — это Готье (учитель Арциховского), а до него Дешелетт. Арциховский сам указывает на свой ориентир: «Раньше я от всех требовал Дешелетта — классика археологии. Но теперь многие не знают французского языка» (Авдусин 1989: 81). Формозов (2011: 163) оценивает этот курс не столь высоко: «Перелистывая старый учебник, мы увидим, что лекции эти изобилуют фактами, обычно удачны по форме, но бедны идеями, да и методически слабоваты».

Арциховский строил свой курс как хронологическое описание эпох и памятников. Это был именно курс археологии «по странам и эпохам», как он определял тип такого изложения. Перечисляя, как можно излагать археологию, он указывал наряду с этой возможностью и другую — «по категориям». Обе возможности суть варианты фактографического подхода. В перечне Арциховского совершенно отсутствует третий способ изложения археологии — по структурным разделам самой науки, то есть как систематическое описание ее понятий, принципов, методов, концепций, сквозных проблем и теорий. Этот путь был ему чужд. А оттого чужд и советской археологии.

По воспоминаниям Г. Б. Федорова (1997/2007), Арциховский жил тогда «в Кречетниковском переулке, неподалеку от Смоленской площади в красивом старинном доме, просторные квартиры которого после революции были превращены в коммунальные. Он занимал одну комнату, но огромную (примерно 40 квадратных метров), в которой находились его сиротская кровать и несколько книжных шкафов и стульев, а посередине возвышался большой письменный стол. В центре стола красовался старинный чернильный прибор: темно-серая мраморная доска на бронзовых ножках и две таких же мраморных фигурных чернильницы с бронзовыми крышками. Незадолго до этого Арциховский блестяще защитил докторскую диссертацию на тему "Древнерусские миниатюры как

исторический источник", и мы с Шурой (Монгайтом. — Л. К.) недорого купили на Тишинском рынке эту чернильницу и преподнесли ее шефу по поводу успешной защиты. Арциховский подарку очень обрадовался и сказал нам, что он налил в одну чернильницу "трасные", а в другую — зеленые чернила и будет ими записывать в специальную книжку только гениальные мысли. Через некоторое время мы спросили Артемия Владимировича, записал ли он что-либо в заветную книжицу. Он ответил, что записал, и много, потому что зеленые и красные чернила это стимулируют. Однако когда мы попросили его прочесть, он отказался, пояснив, что сейчас еще рано, что только время может показать, действительно ли мысли "дениальные" и действительно ли вино хорошее, а "тат может отазаться, что и мысли — чушь собачья, и вино — бурда"».

Нужно отметить, что вино Арциховский потреблял только сухое, в крайне ограниченных количествах и случаях. Крепкие напитки вообще отвергал.

Докторскую же диссертацию Арциховский защитил через год после вступления в должность заведующего, опубликована она в 1944 г. Изображения в древних рукописях сопоставлялись с реальными вещами из раскопок. В исследовании он опять же применил статистику (у него учтено 11 509 миниатюр). Тема эта была для него не новая: исследование миниатюр Кенигсбергской летописи он опубликовал еще в 1932 г., миниатюр Синодального списка Никоновской летописи — в 1934 г. То есть, оказывается, с начала 30-х гг., одновременно с раскопками Москвы и Новгорода, он работал и с летописями. Вещи, артефакты тянули его неудержимо, классификации и построение эволюционных типологических рядов были его страстью, хорошо решались задачи хронологии и картографирования, но на этом его тогдашний методический арсенал в археологии обрывался. А натура его жаждала исторической интерпретации, «восхождения». Восхождение по короткой дорожке не удавалось. Универсальные «корреляты», прямые соответствия вещей историческим явлениям оказывались иллюзией. Он по-прежнему не верил, что этнография поможет заглянуть в исчезнувший мир. «Окном в исчезнувший мир» он назвал летописные миниатюры — они давали то, что не сохранилось в артефактах: лица, движения, плоть. Позже он обратился и к анализу самих летописных текстов.

6. Новгород, береста. Сам предмет его раскопок был очень тесно связан с письменной историей.

В Новгороде он впервые появился в 1929 г. молодым преподавателем университета, взяв с собой студента Бориса Рыбакова (Авусин 2000: 309). Покопали тогда Рюриково городище. Раскопки самого Новгорода начались в 1932 г., и в 1978 г. Арциховский оставил в наследство своему ученику и преемнику на кафедре В. Л. Янину постоянно работающую крупную экспедицию со сложившимся коллективом и традициями. Обработанные и изданные материалы Новгорода стали эталоном и хронологической шкалой для всей русской археологии. Эти раскопки, по словам Янина,

> «сыграли этапную роль в развитии советской археологии — и прежде всего потому, что средневековый город ранее археологами не изучался (отдельные попытки дореволюционной поры не сыграли никакой роли в силу мизерности самих работ)... Русская археология во всем, что касалось хронологических решений, была воспитана на курганных древностях» (Янин 1973: 9).

Для датирования слоев курганные находки помогали мало — городская культура была иной. Нужно было отыскивать привязки к летописи. Вообще язык письменных источников был понятнее. Арциховский сам занимается письменной историей Новгорода. В 1938 г. выходит его статья «К истории Новгорода», в 1939 г. — «Новгородские ремесла», в 1945 г. — «Городские концы в Древней Руси». В первой статье он устанавливает, что не купцы, а землевладельцы составляли знать Новгорода, во второй — что не только торговля, но и ремесла составляли основу новгородского процветания, а в третьей разобрана административная система городского устройства средневековой России. Все это по письменным источникам.

В свое время Шлиман страстно ждал от раскопок в Гиссарлыке надписей — они должны были всё решить, всё доказать, всё прояснить. Это сквозит в его дневниках и письмах. Ждал ли чего-то подобного Арциховский в Новгороде?

В 1951 г. в Неревском конце Новгорода, на месте средневековой Холопьей улицы, был заложен небольшой раскоп. Через две недели после начала работ пришлось снимать бровку между двумя участками. 26 июля молодая рабочая Нина Акулова нашла плотный свиток бересты, на котором проступали процарапанные буквы. Начальница участка Г. А. Авдусина позвала Артемия Владимировича. Увидев буквы, он, по воспоминаниям В. Л. Янина, «в течение минуты на виду у всего раскопа не мог, задохнувшись, произнести ни одного слова, издавая лишь нечленораздельные звуки, потом срывающимся голосом выкрикнул: "Премия — сто

рублей! — и наконец выдохнул: — Я этой находки ждал двадцать лет!" (Янин 1965: 25). И Янин припоминает, что, будучи студентом, он вместе со своими товарищами за несколько лет до находки слушал рассказы Арциховского об использовании в древности бересты для письма, о возможности таких находок, и старался не пропустить что-либо в этом роде. Но повезло Нине Акуловой.

На следующий день нашли еще одну грамоту, назавтра третью, к концу полевого сезона — десять. Всего их теперь уже более семисот, найдены они и в других городах. Был обнаружен новый вид письменных источников, более массовый по употреблению, чем пергамент, и более приближенный к повседневному быту. Целый ряд проблем истории и языка получил новое решение. Самим своим существованием берестяные грамоты изменили представления о грамотности на Руси в Средние века —она оказалась гораздо более распространенной, чем принято было считать. Исследования Арциховского в соавторстве с некоторыми другими учеными опубликованы в семи томах.

7. Борьба за лидерство. Начало пятидесятых годов вообще было удачным для Арциховского. В 1950 г. в «Правде» прошла лингвистическая дискуссия, в которой лично И. В. Сталин дезавуировал учение академика Н. Я. Марра, а стало быть, отпадала и археологическая «теория стадиальности», которую Арциховский всегда молча игнорировал и которую пропагандировал его старый противник Равдоникас. В 1951 г. состоялась конференция, а в 1953 г. по ее итогам вышел сборник «Против вульгаризации марксизма в археологии», где Арциховский со злым юмором разделался и с Марром, и с его сторонниками в археологии, особенно с Равдоникасом.

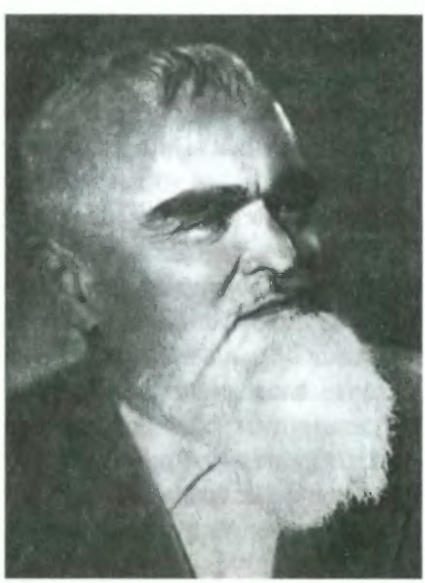
В последние годы жизни Сталина набирал силу шовинистический угар, шла травля космополитов и отыскивание русских приоритетов во всем. Арциховскому эта кампания во всяком случае не вредила, чтобы не сказать больше. Патриотическое звучание его открытий новгородских мостовых и берестяных грамот было несомненно. Он опубликовал антинорманистскую статью о русской дружине еще в 1939 г., когда это хотя и не шло вразрез с господствовавшей установкой (академик Покровский с его норманизмом был уже не в чести, входил в силу ультрапатриот академик Греков), но во всяком случае звучало свежо. Теперь это зачлось. В археологических главах «Очерков по истории исторической науки» Арциховский весьма хитроумно строил изложение, чтобы всячески оттенить русское первенство и превосходство в археологии: из русских приводились даже незначительные факты

(часто очень ранние), из иностранных — только виднейшие. Именно в это время, в 1952 г., Арциховский вступил в партию, и в результате для него открылась дорога к административному повышению — в том же году он стал деканом исторического факультета.

В 1956 г. началась хрущевская оттепель, и уже в следующем году на базе альманаха «Советская археология», созданного в Ленинграде, а затем переведенного в Москву, возник одноименный журнал, издаваемый в Москве. Редактором его стал Арциховский. Еще в последних выпусках альманаха на обложке лосиху — онежский петроглиф из публикаций Равдоникаса — сменило вятичское височное кольцо. Оно же стало красоваться и на обложке журнала. Более двадцати лет руководил Арциховский редколлегией и сформировал облик журнала. Это был весьма консервативный, пожалуй, даже архаический облик: солидный толстый журнал с преобладанием описательных статей над проблемными, почти никакой теории. Резюме, конечно, на французском языке (это когда везде, кроме палеолита, уже давно победил английский). Дискуссии в журнале были редкостью.

Впрочем, одной из наиболее живых и интересных дискуссий была полемика самого Арциховского с Рыбаковым по новгородской хронологии.

В 1959 г. Арциховский поместил в «Советской археологии» итоговую статью «О новгородской хронологии». Привязав некоторые каменные постройки к летописным сообщениям, он получил в Новгороде всего несколько опорных дат. Но, проследив 28 деревянных мостовых одна на другой (эти напластования он назвал «ярусами»), он принял изнашиваемость мостовых за равномерную и по интервалу между своими опорными датами рассчитал, что на каждый ярус должно приходиться по 19,5 лет. Получилась детальная хронология для всего материала.



А. В. Арциховский, декан истфака и редактор «Советской археологии»

Директор Института археологии академик Рыбаков в 1959 г. выступил против этих выводов.

Это было тридцать лет спустя после его первого появления в Новгороде, когда он студентом сопровождал молодого преподавателя Арциховского. Он отверг равномерность изнашивания мостовых. Собственную шкалу Рыбаков построил на летописных упоминаниях о больших пожарах. В ответной статье Арциховский возражает, что всеохватность пожаров не гарантирована. Те, что отмечены на Холопьей улице, могут быть локальными и не совпадать с летописными упоминаниями. В своих опровержениях он опирался на известную закономерность в распределении вещей любого типа во времени — должны получиться ладьевидные гистограммы, отображающие равномерное возрастание и затем убывание вещей данного типа. Такие и получились у Арциховского. А построив гистограммы на шкале Рыбакова, Арциховский получил резкие колебания встречаемости. В новой статье Рыбаков продолжал отстаивать хронологию пожаров. А что гистограммы не так правильны, как ожидаются, так ведь это реальность — она никогда не совпадает с правилами (погрешил Рыбаков против статистики — та не допускает таких вольностей).

Один из сеансов дискуссии Рыбаков заканчивает репликой, в которой использует цитату из древнерусской рукописи: «Сам еси таков!» Вот уж где прав — оба спорщика принадлежали к одному поколению и к одному направлению. Кстати, когда сотрудник и соратник Арциховского Б. А. Колчин проверил выводы обоих асов дендрохронологией, то оказалось, что неточны обе шкалы.

«Годам к шестидесяти, — вспоминает Формозов об Арциховском (2011: 164–165), то есть к началу шестидесятых, когда появилось живое поколение шестидесятников, — он как-то исчерпал себя — почти ничего не писал, меньше читал, сдала и память <...> В шестьдесят пять лет он был уже развалиной...» Видимо, сказывалась его природная болезненность.

К 1978 г., когда 76-летний Арциховский умер, он был не только исторической фигурой — одним из создателей советской археологии как науки, ставшей на марксистские рельсы, — но и почитаемым лидером. Со времени основания он возглавлял кафедру археологии столичного университета, а также (и тоже со времени основания) головной и единственный археологический журнал страны. Он был автором стандартного учебника «Введение в археологию», а заодно основателем и признанным главой разветвленной школы славянской археологии. К ней принадлежат такие известные археологи-слависты, как В. Л. Янин, В. В. Седов, Б. А. Колчин, Д. А. Авдусин, А. Л. Монгайт, Г. Б. Федоров, М. Г. Рабинович и др., да и Б. А. Рыбаков.

А. В. Арциховский за несколько месяцев до смерти

Учеников он отбирал сам тщательно и целенаправленно. Тот же Федоров (1997/2007) рассказывает:

«По окончании Университета я был рекомендован в аспирантуру кафедрой археологии, которой заведовал Арциховский. Определенные права на это у меня были. Я получил диплом с отличием. Моя работа "Нумизматические материалы по истории борьбы Москвы с Тверью" получила вторую премию на общеуниверситетском конкурсе студенческих научных работ, хотя среди претендентов были авторы работ о Ленине, Сталине и т. д. Однако партком истфака мою кандидатуру категорически отверг — так сказать, по идеологическим мотивам. Тогда Арциховский заявил примерно следующее: "Не знаю почему, но вы присвоили себе право вмешиваться в отбор будущих аспирантов. Однако кому быть моим ассистентом, решаю только я сам. Я беру Федорова ассистентом на кафедру археологии и, если деканат мое решение не утвердит, уйду вместе с ним из Университета".

И меня, единственного со всего курса, зачислили ассистентом истфака МГУ.

Да, он был большим и сильным человеком, Артемий Владимирович Арциховский, и Софье Власьевне (так мы между собой называли Советскую власть) пришлось немало потрудиться, чтобы все-таки надломить его».

И в другом месте: «Долго стоял несокрушимо, но в конце концов был почти совсем сломлен мой главный учитель археологии, замечательнейший человек и ученый — Артемий Владимирович Арциховский».

Ну, недолго он «стоял несокрушимо». Его реакцию на письмо Чайльда, которое он нес за уголок в партком, я уже описывал. Когда Формозов, его ученик, дал ему свою рукопись книги о советском

вандализме по отношению к памятникам культуры, он, разыскав Формозова в укромном местечке, прошептал: «Заберите у меня эту ужасную вещь. Я боюсь хранить ее дома» (Формозов 2011: 85).

Некоторые основы для альянса с Софьей Власьевной у Арциховского всё-таки были. Ненависть к Сталину, Марру и Равдоникасу не означала полное неприятие марксизма. Юношей он его просто не знал, а когда узнал, кое-что воспринял. За анекдотические розыски русских приоритетов во всем он взялся с очень уж заметным энтузиазмом. Когда пожилая Софья Власьевна отшатнулась в антинорманизм, он первым среди археологов поддержал ее за локоток. Это не надлом, это признание силы и выбор позиции.

Формозов (2011: 64) в своих мемуарах причисляет Арциховского к тем археологам старшего поколения, которые выдавали студентам преступления советской власти за хорошие начинания. «Это обволакивание подлости благородными словами я и мои сверстники не прощали нашим учителям».

8. Противоречия. Не раз говорил он о своей нелюбви к педагогике, но воспитал множество учеников и, несмотря на «орданичестий недостаток речи» великолепно читал лекции. Вообще он выражался лапидарно и ярко, был мастером афоризма. Одно из изречений Арциховского восхищенно цитирует еще один его студент, писатель В. Берестов (2002): «Судить по помпейским фрескам о древнеримской живописи — это всё равно, что судить по росписи рязанской пивной о Третьяковской галерее». Он отшлифовывал свои лекции до предельного совершенства, продумывал каждое слово, а затем уже повторял их из года в год наизусть слово в слово.

Большой аккуратист, он писал ясным языком и отчетливым почерком. Того же требовал от студентов и авторов. Отзыв его на одну из студенческих работ: «Раздражает почерк. За всю мою университетскую деятельность это самая неразборчивая студенческая рукопись. Постоянно встречаются слова, которые надо несколько раз прочесть, чтобы понять» (Авдусин 1989: 81). Когда я, молодой тогда автор, написал ему как ответственному редактору «Советской археологии» возмущенное письмо по поводу отвергнутой рукописи (как я считал, отвергнутой несправедливо), в ответе значилось: «Я получил Ваше письмо, но не смог его прочесть. Такой уж у Вас почерк. В самых патетических местах стоят совершенно загадочные слова». Кстати, на мой почерк обычно не жалуются. Далее было добавлено: «Но основной смысл ясен. Полученные Вами отзывы Вы считаете

"необъективными и несостоятельными". Это общее мнение всех авторов о всех отрицательных отзывах» (письмо от 19 ноября 1966 г.). Поразмыслив, я согласился с критикой. Но в другом аналогичном случае он удовлетворил мой протест — статью напечатали.

Формозов, познакомившийся с ним еще школьником и знавший его близко лет двадцать, пишет о нем:

> «Чарлз Сноу заметил в одном из своих романов, что холостякам свойственен повышенный интерес к людям. Артемий Владимирович служил подтверждением этому наблюдению. Ему хотелось понять, кто придет на смену его поколению, и он не жалел времени на беседы с молодежью. Он приглашал нас к себе на какой-нибудь вечер, сначала в набитую книгами комнатку в коммунальной квартире в Кречетовском переулке, потом в большую отдельную квартиру в новом здании МГУ на Ленинских горах, и мы часами разговаривали. <...>
>
> Как-то Артемий Владимирович обмолвился: "Я ведь не люблю работать. Я люблю лежать на диване и читать" <...> Арциховский не написал фундаментальных трудов ни о Новгороде Великом, которых все от него ждали, ни о древней Москве. Вообще он писал меньше, чем многие его коллеги. Но он всё время читал самые разные книги — и художественную литературу, и научную —по очень широкому кругу тем, вплоть до биологии и математики. <...>
>
> Наконец, для Арциховского была характерна особая весомость, категоричность суждений. Он не склонен был сомневаться в том, что когда-то решил и где-то высказал. На мой взгляд, это скорее недостаток, чем достоинство. Но молодежь, жаждавшую найти авторитетного учителя, такая убежденность в своей правоте подкупала» (Формозов 2007а: 154).

А в мемуарах добавляет: «Преклоняясь перед его эрудицией, все мы ждали от него каких-то фундаментальных обобщающих трудов, но тщетно. Очевидно, творческие порывы были выражены в нем слабее, чем жажда знания. Он был блестяще образованный, но не очень способный ученый» (Формозов 2011: 162). Как ни жестко это заключение, даже (учитывая роль Арциховского в советской археологии) парадоксально, но, видимо, справедливо.

Он был весь соткан из противоречий. Тайный белогвардеец-калединец и основатель марксистской археологии. Выросший на естественнонаучных традициях и выбравший гуманитарную профессию. Вещевед-антиквари по натуре и активист социологизации археологии. Интеллигент до мозга костей, читавший на всех основных

европейских языках и хорошо изъяснявшийся по-французски, он весьма охотно, однако, включился в плебейскую погоню за русскими приоритетами чуть ли не на все открытия в археологии. Наконец, эмпирист, презиравший теорию, он тем не менее в сущности сформировал основные девизы целого направления в советской археологии, официозного направления, господствовавшего в течение полувека. И сам их придерживался. История, вооруженная лопатой, — так он понимал археологию. Такую практиковал всю жизнь.

Создатель нового метода

С. А. Семенов

Сей каменный шифр разбирая
И смысл узнавая в следах...

Л. Н. Гумилев.
Качается ветхая память.

1. Знакомство. Известный писатель-фантаст Кир Булычев рассказал в одной из книг («Тайны истории») о своем знакомстве с Сергеем Аристарховичем Семеновым (1898–1978):

> «Я познакомился с ним в шестидесятые годы, когда был корреспондентом журнала "Вокруг света". Я приехал в Ленинград и пришел с вежливым визитом к пожилому, подтянутому, крайне интеллигентному настоящему питерскому профессору. Сергей Аристархович уже привык к недоверчивым корреспондентам и был крайне терпелив. Но во мне через пять минут он почувствовал неофита, горячего сторонника и даже поклонника.
>
> Он рассказывал мне о своей работе несколько часов подряд. И больше всего я жалею о том, что так и не собрался в его экспедицию, куда Сергей Аристархович меня приглашал. Успею... Вот кончу это, это и это — и тогда успею... А потом прошли годы, Сергей Аристархович умер, и я не знаю, продолжают ли его труд последователи и ученики (продолжают. — Л. К.). Но сделанное им — это важнейшее открытие в первобытной истории человечества».

Я узнал Сергея Аристарховича значительно раньше — в конце 40-х, но стал ближе общаться с ним тогда же — в шестидесятых. Ему было тогда 60 с небольшим, но мне он казался глубоким стариком: все движения его были бережны и осторожны. Он всячески подчеркивал тогда свой академический статус, был вежлив и церемонен, носил черную академическую шапочку.

С. А. Семенов, зав лабораторией Ленинградского отделения Института истории материальной культуры Академии наук СССР

2. От следователя к исследователю. Сын строительного рабочего, Сергей Аристархович Семенов родился в 1898 г. в Вильне (Вильнюс) и всегда сохранял тамошний акцент, близкий к польскому: твердо выговаривал [ч]: почэму, зачэм. В семье было пятеро детей. При наступлении немцев в Первую мировую войну семья эвакуировалась в Нижегородскую губернию. Сергей зарабатывал в селе Табанеевке Нижегородской губ. уроками грамоты детям. Потом работал конторщиком. Оторвавшись от семьи, октябрьский переворот 1917 г. встретил чернорабочим в депо Ташкентской железной дороги в Оренбурге. Вступил в Красную гвардию, сражался с войсками атамана Дутова. По красногвардейской путевке был принят в Особый отдел губчека по борьбе с контрреволюцией. Был следователем и уполномоченным ВЧК в Средней Азии, где тогда шла борьба с басмачами. Это дало ему материал для серии увлекательных рассказов и приключенческих повестей. Два произведения («Урус-батыр» и «Под жалом скорпиона») были премированы на литературном конкурсе журнала «Мир приключений». Стало быть, интеллект и одаренность у этого пролетария проявлялись уже тогда.

В 1922 г. он был направлен в Петроград, в краткосрочную Высшую военно-педагогическую школу. Там занимался на факультете общественных наук, а оттуда, демобилизовавшись, поступил на исторический факультет в Пединститут им. Герцена. Там его интересы всё более отходили от современной политики и борьбы. Дипломную работу защитил в 1927 г. по теме «Возникновение орудий труда». После этого вместе с молодым геоботаником отправляется на крайний Север, на Канинский полуостров, изучать быт самоедов (ненцев) — народности, у которой орудия древнего типа можно было найти в живом употреблении.

Поработав сборщиком на заводе «Радист», в 1931 г. был принят в аспирантуру ГАИМК, где его интерес к первобытным орудиям,

Молодой С. А. Семенов на заседании сектора палеолита в ГАИМК. Ведет заседание П. П. Ефименко (крайний справа), третий и четвертый от него по левую руку — С. Н. Бибиков и П. И. Борисковский, С. А. Семенов — по правую руку третий (в центре снимка)

а также следовательский опыт и практическое знание криминалистики были использованы для археологии. Криминалистика не раз служила образцом для разработки принципов археологии. На знаменитых судебных процессах по поводу фальсификаций (корона Сайтафарна, Глозель и другие) археологи постигали необходимость протоколирования и зачерчивания хода работ — важность ведения дневников. Логическая работа следователей, судей и адвокатов по оценке версий преступления служила археологам образцом для оценки доказанности гипотез. Сначала в метафорических образах популяризации, потом в серьёзных теоретических работах археологи постепенно осознавали, что археология родственна криминалистике по природе основных задач (Клейн 2004: 159–161; Лич 2010).

Формирование исследовательского облика Семенова является наглядной иллюстраций этого логического пути — от чекиста-следователя к археологу-исследователю.

3. Трасология. В советской археологии в это время шла яростная критика типологии как формалистического вещеведения, велись поиски подхода, более марксистского, более близкого к историческому

содержанию материалов, как его понимали в марксизме, — к выявлению развития производства. Семенов занялся археологической трасологией — изучением следов. Термин заимствован из криминалистики. Тут одно замечание мимоходом: у нас часто пишут: трассологией, полагая, что название отрасли происходит от слова «трасса», то есть путь. Это неверно. Название — от слова «след» (англ. и франц. *trace*). На орудиях это следы обработки и следы употребления («изнашивания»).

С. А. Семенов, основатель функционально-трасологического метода

Среди советских археологов Семенов был не первый, кто заинтересовался этой тематикой. Бонч-Осмоловский изучал по своим крымским материалам нарезки на палеолитических костях и опубликовал свои результаты в 1931 г. Воеводский изучал гончарную технику — работы 1930–1936 гг. Грязнов занимался изучением следов от металлических тесел на бревнах Пазырыка в конце 1920-х — начале 30-х гг. Но Бонч-Осмоловский и Грязнов были вскоре арестованы, Воеводский в 1933 г. заведовал камеральной лабораторией ИИМК, потом был загружен полевыми работами, руководя большими экспедициями, а в 1948 г. скоропостижно скончался от рака. Семенов остался один. Грязнов, выйдя на свободу, возобновил в числе прочего и свой интерес к трасологии и даже преподавал ее, но к этому времени Семенов уже имел признанный приоритет в этом деле.

Следы употребления на кремневых орудиях отмечали задолго до Семенова — У. Гринуэл, Дж. Эванс, А. Вэзон де Праден, Э. Кёруэн, но это были отдельные наблюдения, не сложившиеся в метод. В 1934 г. для целей трасологии Семенов стал изучать древние орудия труда с помощью бинокулярного микроскопа и стереофотографирования. Делал эксперименты — обрабатывал кремневыми обломками разные материалы, мазал поверхность кремня чернилами («метилвиолетом», предпочитал он говорить) и сличал с древними следами. Он

С. А. Семенов с бинокулярными микроскопами — своим основным инструментом

использовал свои криминалистические навыки. Только по следам он устанавливал теперь не преступления, а функции орудий. Так родился его функционально-трасологический метод.

Кандидатская диссертация об основах метода («Изучение функций верхнепалеолитических орудий по следам от употребления») была защищена как раз в 1937 г., во время пика сталинского террора. Возможно, что именно ранний уход из ЧК в науку увел Семенова из зоны повседневной игры с жизнями — чужими и своей (ибо террор бушевал и среди самих чекистов).

Далее началось систематическое изучение орудий для определения их функций. Материалом для изучения служили кремневые орудия из верхнепалеолитических стоянок Костенки I, Тимоновка, Мальта, а также неолитические орудия из раскопок Окладникова на Ангаре. Сделан был целый ряд неожиданных открытий, сенсационных для археологов. Так, на ножевидных пластинках следы от резанья оказались на средней части и шли перпендикулярно лезвию. Значит, их использовали, как мясные ножи у современных скотоводов Монголии и Тибета: полоска мяса берется одним концом в зубы, другой оттягивается, и нож одним движением подрезает полоску у самого

рта. Определилась функция концевых скребков — они использовались для скобления мездры со шкур и пушения бахтармы (изготовления замши). Считалось, что наконечники с выемкой навязывались на древко дротика, но они оказались ножами, употреблявшимися без рукояти (палец входил в выемку). И т. д.

Во время войны Семенов, которому было уже больше сорока, был в рядах противовоздушной обороны в Ленинградской блокаде. В 1942 г. эвакуирован в Иваново, где с 1944 г. преподавал на истфаке. Вернувшись, снова засел за микроскоп. С 1947 г. несколько лет работал в Алтайской экспедиции Руденко, причем поначалу экспедиция состояла всего из трех человек: Руденко с женой и Семенов. Учитывая чекистское прошлое Семенова и обычай этой организации сохранять своих прежних сотрудников в «действующем резерве», может встать вопрос, не был ли приставлен Семенов в качестве «ангела-хранителя» к недавнему политзеку Руденко. Мне это кажется маловероятным — по истечении четверти века! Кроме того, я знаю студента, моего сокурсника-фронтовика С. П., который всегда ездил копать с Руденко, а по окончании Университета оказался видным сотрудником КГБ. Он-то и был, по-видимому, приставлен к Руденко. Семенова же связывал с Руденко, вероятно, интерес обоих к естественнонаучным методам в археологии.

В 1957 г. в серии МИА вышла монография Семенова «Первобытная техника», которая переведена на английский и испанский, издавалась в Англии и Америке. В 1958 г. он защитил по ней докторскую диссертацию. Его лаборатория в Институте археологии в Ленинграде превратилась в постоянное подразделение Института (действует и после его смерти). В этой лаборатории сложилась школа ленинградских трасологов, школа Семенова: Г. Ф. Коробкова, А. К. Филиппов, В. Е. Щелинский, А. Е. Матюхин, Е. Ю. Гиря и др. (Коробкова 1999).

Семенов рассматривал свой функционально-трасологический метод как истинное воплощение марксистской методологии и полагал, что он пришел на смену формалистическому типологическому методу — детищу буржуазной археологии. На деле его метод можно сопоставить с проявлениями функционализма в американской археологии в то же самое время — с работами Стронга 30-х гг., с контекстуализмом Уолтера Тэйлора («сопрягательным подходом») конца сороковых. Независимо друг от друга там и тут внедрялся тот же пафос отвержения формальной типологии, провозглашалось первенство функционального анализа. Только в СССР это сдабривалось ссылками на марксистскую философию. Семенов искренне писал:

> «Археология, тесно связанная со всем комплексом гуманитарных наук, может успешно развивать свою методологическую проблематику лишь на основе марксистско-ленинской философии и теории исторического материализма в первую очередь. Стремление миновать этот подход или замолчать саму постановку вопроса в этом аспекте неизбежно приводит исследователей к краху, несмотря на проявленную ими колоссальную эрудицию и внешнюю фундаментальность предлагаемых построений».

Этот упрек он предъявлял книге Д. Кларка «Аналитическая археология» (Семенов 1978: 48), которую не мог прочесть, так как английского языка не знал. Впрочем, не знал и немецкого (фамилию Фойстеля транскрибировал как «Фёстель» — см. Семенов 1983: 6).

Нынешние выходцы из школы Семенова Е. Ю. Гиря и А. Ресино Леон (2002) отмечают его чрезмерную увлеченность функциональностью и вытекающие отсюда ошибки.

«Неслучайно, — пишут они (2002: 174–175), — и в России, и за рубежом С. А. Семенов известен прежде всего как функциолог, его технологические реконструкции были либо не всегда точны, либо сильно уступали в новизне функциональным. <...> Иногда эти две составляющие метода С. А. Семенова даже вступали в противоречие друг с другом — трасологические данные опровергали его же технологические представления. К примеру, С. А. Семенов не точно интерпретировал назначение абразивной обработки при производстве призматических пластин <...>, выдвигал иные фантастические гипотезы о способах расщепления. <...> Отчасти тому виной то, что сам он кремень расщеплять не умел или не любил. Основная же причина этих неудач заключалась именно в методе исследования. Сама природа происхождения следов утилизации и следов обработки настолько различна, что они не могут и не должны изучаться по одной методике. То, что подлежало технологическому анализу, изучалось С. А. Семеновым сквозь "призму функции". В результате возникали досадные недоразумения».

При более тщательном рассмотрении в Костенках I семеновские «топоры» оказались нуклеусами, наконечники с боковой выемкой и пластинки с притупленным краем, определенные Семеновым как ножи, всё же вернулись в оснащение метательных орудий, и т. д.

Критики Семенова не отвергают самого метода, они страстно доказывают археологам его необходимость, как и желательность привлечения трасологов к анализу артефактов, но они против семеновского доминирования функциональной интерпретации в решении всех типологических и технологических проблем.

4. Эксперименты. В «Первобытной технике» Семенов еще весьма скептически относится к экспериментам, говорит о слабостях экспериментального метода:

> «...экспериментальный подход не может служить самостоятельным методом для изучения функций орудий... Очень трудно воссоздать конкретные условия труда первобытного человека и пользоваться в современных условиях лабораторного опыта теми же предметами, какие были у него. <...> Было бы, однако, серьезной ошибкой вовсе отрицать роль эксперимента в деле изучения функций орудий. В качестве вспомогательного метода, позволяющего проверить или уточнить выводы, сделанные при изучении следов работы, эксперимент, безусловно, полезен».

А в послевоенное время эксперимент вышел на первый план в работах лаборатории первобытной техники. Чтобы приблизиться к условиям первобытного существования, Семенов стал выезжать на природу со специально организованными экспедициями, в которых было удобнее имитировать первобытные условия существования. В 1956 г. он выехал с помощниками и студентами-практикантами в Литву под Каунас. Работы шли на берегу Немана, в условиях природного разнообразия: река, песок, камень, сосновый бор. Два месяца они изготовляли каменные и костяные топоры, ножи и тесла с целью выяснить производительность древних орудий и первобытного труда вообще.

Оказалось, что на изготовление неолитического шлифованного топора из сланца нужно затратить всего два-два с половиной часа. Если же делать его из диорита или гранита, уйдет часов 12–15. Кремневый топор при неполном шлифовании (как и выглядят реальные кремневые топоры) требует 25–30 часов работы.

Кира Булычова поразил рассказ, как семеновские сотрудники «сделали соху из рога оленя, вспахали поле, потом засеяли его и срезали пшеницу деревянным серпом с кремневыми вкладышами. И испекли первый пирог из первобытной муки».

В 1960, 1965 и 1968 гг. Семенов снова выезжает с сотрудниками в экспедиции — на Урал, в Сибирь, на Кавказ, в 1973 г. — в Крым. В Сибири работали под Иркутском. Во дворе иркутского музея лежал нефритовый валун. Семенов выпросил его для экспериментов. Лагерь экспедиции был недалеко от Иркутска. Вывезли валун туда, раскололи и стали изготавливать орудия. От мелких долот и ножей весом около 50 г до тяжелых топоров весом до 2 кг. На крупные изделия затрачивалось по 30–35 часов, на мелкие — от 5 до 10 часов работы. Четыре человека за 20 дней сработали целую серию нефритовых тесел, долот и ножей.

На второй сезон поставили другую задачу: определить, насколько быстро первобытные люди работали готовыми орудиями. Двум студентам было выдано по нефритовому топору и по несколько долот, велено было выдолбить лодку типа пироги. За восемь дней они срубили сосну, очистили от сучьев, обтесали как лодку, а затем выдолбили ее, оставив в ней сиденья. Двое других студентов изготовили тем временем весла.

Преемница Семенова Г. Ф. Коробкова описывает в юбилейной статье (1969) «утлый долбленый челнок, плывущий по Ангаре между Байкалом и гудящей стройкой Иркутской ГЭС» в 1958 г., его гребцов, одетых в шкуры животных, «в пышных головных уборах из перьев птиц». Головные уборы, конечно, для пущего антуража, но челнок испытывали в условиях, как можно более близких к первобытным.

Чайльд полагал, что шлифованного каменного топора хватит только на то, чтобы срубить одно дерево. А эксперименты показали, что каменным топором (правда, кремневым чоппером) было срублено 35 деревьев до 35 см в диаметре, и он всё еще годился в употребление (Семенов 1983: 4).

Успехи экспериментальных исследований привели Семенова к такому же увлечению экспериментальным методом, как и трасологией. Гиря и Ресино Леон (2002: 177) отмечают, что «во многом уповая на трасологию, он почти столь же свято верил в доказательность археологического эксперимента: не смогли отжать ни одной пластины — значит, это невозможно вообще».

С. А. Семенов рубит каменным орудием ветвь дерева (Крымская экспериментальная экспедиция 1973 г.)

5. Потолок. На волне этих успехов сам Семенов последние десятилетия своей жизни стал заниматься общими проблемами развития первобытного хозяйства и техники вообще — вышли его монографии «Развитие техники в каменном веке» (1968), «Происхождение земледелия» (1974). Он готовил

даже монографию «Методологические проблемы археологии», где по старинке воевал с типологией (рассматривая ее как конкурента своему методу). Он выводил общие закономерности развития техники, полагая, что они одни и те же на всем протяжении истории человечества. Он размышлял об эволюции орудий и эволюции вообще, о прогрессе, об условности этого термина.

«Более полувека назад, будучи 27 лет, я отправился в Дальнюю Сибирь к ненцам, или, как их тогда называли, самоедам, — рассказывал он польскому интервьюеру (Osiatycski 1978: 138). — Это были оленеводы, жившие тогда так же, как тысячи лет до того. Меня удивляли не только их практические умения, правдивость и безграничная деликатность. Они не умели читать, не знали нашей культуры, но были вполне развитыми людьми. Возможно, даже стояли на более высоком моральном уровне, чем мы».

В сущности, он тогда поехал к ненцам, как позже Бинфорд — к эскимосам. Но не после серии своих археологических исследований, как тот, а до них. И если Бинфорд своими разысканиями с эскимосами решал вопросы, поставленные его археологическими работами, и решал развернуто, методично и глубоко (изучал следы их обитания и деятельности, подсчитывал и картировал пищевые остатки и т. п.), заложив основы этноархеологии, то Семенов лишь собрал некоторые впечатления, помогшие ему в понимании функций отдельных видов кремневых орудий. Это тоже значительно, но это не было основаниями для переворота. А его рассуждения по этим проблемам трезвы, разумны, но банальны.

Все эти его работы гораздо слабее его «Первобытной техники», потому что к столь обширным исследованиям он не имел достаточной подготовки — не получил специального образования, не прошел хорошей школы, не знал иностранных языков. Всё же эти его увлечения носили более серьезный характер, чем его любительское увлечение живописью. Но относительно своих картин он понимал, что они имеют сугубо домашнее значение, а от своих выводов о хозяйстве он ожидал таких же успехов, как от «Первобытной техники», и был очень озадачен и разочарован отсутствием резонанса в науке.

Стараясь подняться на теоретический уровень, так сказать, выше своих возможностей и щегольнуть владением иностранной литературой, Семенов пошел на жалкий плагиат. В своих тезисах 1973 г. (Семенов 1973: 65) с критикой Д. Кларка (которого он не читал и не мог прочесть), он переписал дословно и без ссылок и кавычек целый абзац из выступления И. Рауза в «Norwegian archeological review» за 1970 г. (Rouse

Мимолетное выражение растерянности на лице С. А. Семенова случайно. Но оно совпадает с общим его настроем в последние годы: он был озадачен тем, что его широкопроблемные труды не встречают того резонанса в науке, который находили его конкретные открытия

1970: 8), которое для него кто-то перевел, как обычно, по его заказу. Когда я заметил этот факт, я убрал посвящение Семенову с титульного листа своей «Археологической типологии» в русском издании. Сергей Аристархович пережил свое время и не сумел уйти с достоинством.

Он руководил лабораторией первобытной техники до самой смерти в 1978 г. Умер 80-летним. Уже после его смерти вышел совместный труд Семенова и Коробковой «Технология древнейших производств. Мезолит — неолит». Лабораторией после него руководила много лет его энергичная ученица Г. Ф. Коробкова, жена директора ЛОИА (затем ИИМКа) В. М. Массона. Еще и поэтому лаборатория и дальше пользовалась в Институте вниманием и авторитетом, продолжая работы. К настоящему времени в ней изготовлено более двух тысяч экспериментальных первобытных орудий — как эталонов, с которыми каждый археолог может сравнивать свои находки для определения их функций.

Книги Семенова издаются за рубежом. На юбилейной конференции в Петербурге (100-летие со дня рождения) одних только иностранцев было более 120 человек. В апреле 2005 г. в Вероне (Италия) прошла международная конференция, посвященная 40-летию опубликования «Первобытной техники» на английском языке. Е. Ю. Гиря и А. Ресино Леон, нынешние представители семеновской школы, никогда не видевшие ее основателя, пишут (2002: 173): «Пожалуй, ни один из сотрудников нашего института за все долгие годы его существования не удостоился столь бесспорного международного признания, а главное — столь продолжительной научной жизни». Но сами они подвергают его положения весьма существенной критике и пересмотру.

От астиномов к сарматским амазонкам

Б. Н. Граков

Здесь царство Амазонок. Были дики
Их буйные забавы. Много дней
Звучали здесь их радостные клики
И ржание купавшихся коней.

Но век наш — миг. И кто укажет ныне,
Где на пески ступала их нога?

И. Бунин. У берегов Малой Азии.

1. Подготовка филолога-классика. Борис Николаевич Граков (1899–1970) принадлежит к тем крупным археологам, которые не имели археологического образования. Он получил филологическое образование как античник, но соскользнул — через эпиграфику — в классическую археологию, а из нее — через исследование отношений с варварами — в первобытную археологию (Мелюкова, Смирнов, Шелов 1969; Мелюкова 1977; Мелюкова и Свиридов 2004; Нефедова и др. 1993). Он смотрел на скифов и сарматов глазами древнего грека.

Родился Граков в Онеге Архангельской губернии, в семье лесничего. Основатель дворянского рода, прадед Бориса Николаевича, происходил из солдатских детей, был участником Отечественной войны 1812 г. Отец уже был потомственным дворянином, надворным советником (это равно подполковнику в армии). В советское время Борис Николаевич свое дворянство скрывал, причислял себя к разночинцам. Мать была действительно родом из разночинцев, но ее отец, директор гимназии, был личным дворянином и статским советником (то есть имел ранг, соответствующий бригадному генералу или вице-губернатору). Окончив Московскую гимназию, она имела диплом домашней учительницы. У Бориса было трое братьев и сестра. Отец работал на Севере, был призван на русско-японскую войну, после войны устроился на работу в имение великого князя

Михаила Александровича в Польше, а семья переехала в Москву, где сестры отца содержали женскую гимназию. Во время революционных событий в 1906 г. в Ченстохове отец был убит. Оставшись без кормильца, мать обучилась машинописи и работала в канцеляриях Высших женских курсов и 2-го Университета (ныне пединститут).

Судьба детей сложилась по-разному, но большей частью драматично. Старший брат штабс-капитаном участвовал в Первой мировой войне, затем служил в Красной армии, был репрессирован, по освобождении работал агрономом. Средний брат убежал на фронт Первой мировой. Затем сражался в Белой армии, много раз был ранен, попал в Болгарию и там застрелился. Младший умер от болезни. Можно сказать, колесница революций и войны — сначала мировой, потом Гражданской — проехалась по этой семье взад и вперед. Немудрено, что в такой семье Борис рос болезненным, нервным, даже истеричным, нестойким к боли и такие черты характера сохранил на всю жизнь.

Мать учила Бориса читать и писать, читала ему Пушкина и Жуковского. Ее братья Александровы приучали его один к ботанике, другой — к метеорологическим наблюдениям. Гимназические учителя привили ему интерес к древним языкам, а также на его выбор повлияли сборники античных мифов в пересказах Готорна и Штолля. Законоучитель попался умный и тактичный — Граков на всю жизнь сохранил привитую им религиозность. В 1918 г. Борис окончил гимназию с золотой медалью, а в 1922 г. Московский университет по классической филологии (был учеником М. М. Покровского и Н. И. Новосадского). Специализировался по эпиграфике, откуда рукой подать до археологии. Параллельно занимался на отделении археологии. Вообще, это давняя традиция: студенты-античники (филологи и историки) постоянно ездили в археологические экспедиции.

Чтобы поддержать существование, давал частные уроки языка и работал, где только было можно — библиотекарем, счетоводом, лаборантом, и т. п.

2. Археолог-античник и эпиграфист. В 1919 г. поступил работать в ГИМ именно в отдел археологии, а с 1922 г. стал старшим помощником-хранителем. Возможно, помог дядя Александров, бывший домашним врачом в семье князя Щербатова, директора ГИМа. Проработал он там 7 лет под руководством А. А. Захарова. Работа рядом с В. А. Городцовым, Ю. В. Готье, А. В. Орешниковым и др.

сильно расширила его кругозор. Изучая клейма на горлах амфор, он постигал премудрости эпиграфики.

В ГИМе же он познакомился с ученицей Городцова Ольгой Александровной Кривцовой, дочерью профессора римского права Юрьевского университета. Кривцовы были древним дворянским родом, к которому принадлежал декабрист Кривцов. В том же году молодые сотрудники ГИМа поженились. Под влиянием жены, как впоследствии признавал Граков, он стал превращаться из эпиграфиста в археолога, хотя и эпиграфика не уходит из круга его интересов. В 1924 г. поступил в аспирантуру РАНИИОН к своему учителю Покровскому, но потом перешел в секцию археологии к Городцову. Однако это официально. Городцов лишь покровительствовал, фактическим же учителем был Н. И. Новосадский. Для диссертации по клеймам материала в Москве было недостаточно, и Граков едет в Ленинград изучать клейма в Эрмитаже. Там ему помогали друг Ростовцева Е. М. Придик и ученики Ростовцева М. И. Максимова и А. П. Манцевич.

Его собственные успехи в этой области были примечательны: он определил происхождение двух больших групп клейм — гераклейской и синопской. Клейма он использовал как источник для выявления экономических связей. Разумеется, приходилось заниматься и вообще типологией античных амфор (Шелов и Виноградов 1999). Поскольку античная керамическая тара присутствует в курганах скифов и сарматов и служит как для определения их торговых связей с античным миром, так и для установления хронологии, интерес Гракова к раскопкам этих курганов понятен.

С 1925 г. он начал раскопки курганов в Поволжье и Приуралье, закладывая вместе с П. С. Рыковым и П. Рау основы четырехчленной периодизации культуры сарматов, и в 1928 г. опубликовал две работы в ESA по савроматам и раннескифскому времени. Пауль Давидович Рау, из поволжских немцев, первым пришел к идее, что раскопанные им курганы, как и граковские курганы, раскопанные под селением Блюменфельд, рыковские в Сусловском могильнике и другие, оставлены не скифами, а савроматами. Граков поначалу считал свои блюменфельдовские курганы скифскими — так же как Рыков — свои. Позже он соотнес эти древности с письменными данными о савроматах, принял точку зрения Рау и окончательно доказал его идею. А сам Рау погиб в сталинских репрессиях, как и Рыков.

По воспоминаниям Гракова (1999а: 34), это о блюменфельдовских курганах Спицын сказал ему, что «археологу везет только один раз в жизни и что больше мне не повезет». Да нет, везло и дальше.

В 1928 г. Граков окончил аспирантуру РАНИОН по классической археологии. Кандидатская диссертация была посвящена древнегреческим клеймам с именами астиномов. В этот период эпиграфика и классическая археология еще преобладают в его работе. Книга эта вышла в 1929 г.

Пиетет перед Ростовцевым, учителем его учителей, настолько владел Граковым, что он страстно жаждал послать ему оттиски своих статей. А это было совершенно невозможно: Ростовцев был белоэмигрант, открытый и активный противник советской власти. И Граков, который переписывался с британским археологом Э. Х. Миннзом, обратился к нему в 1929 г. с просьбой переслать его работы некоему «великому автору „Iranians and Greeks"», и более точно — посылал ему свои работы «для передачи М.И.Р.». «По некоторым причинам я этого сам не могу сделать; по той же причине мои надписи отличаются на книгах чрезмерной риторической высокопарностью вместо простого обращения» (Граков 1999б: 38–39). Естественно, приходилось избегать прямого называния имени, писать экивоками — с оглядкой на перлюстрацию писем и бандеролей.

Рубеж 30-х был для него бедственным: многие коллеги были арестованы, другие «вычищены». РАНИОН распущена, из музея Гракова одновременно с увольнением Городцова «вычистили» вместе с женой, потом ее приняли назад, его — нет. Публично каяться в аполитичности и формализме не хотел, вдобавок в 1931 г. на заседании «возмутительно» выступил против Н. Я. Марра (Мелюкова и Свиридов 2004: 50). В ГАИМК не брали. Поэтому с 1932 г. преподает греческий язык. Только в 1934 г. взяли в московское отделение ГАИМК, а в 1938 г. он стал приват-доцентом на недавно созданной кафедре археологии МИФЛИ и с нею вошел в Университет. Там у Городцова читает лекции и ведет аспирантов — Д. Б. Шелова и К. Ф. Смирнова, а также выпускника Института красной профессуры П. Д. Либерова.

В докторской диссертации (защищена в 1939 г., но осталась неопубликованной) Граков исследовал клейма на керамической таре как источник для истории производства и торговли, разработал 7 методов изучения клейм. К этой неопубликованной диссертации специалисты обращаются до сих пор. Но в служебной характеристике, выданной Гракову в это время, сказано: «Представляя ценность по материалу, его работы остаются в рамках старой школы, без попыток освоить марксистско-ленинскую методологию» (Нефедова и др. 1993: 8). В 60-е гг. он подготовил свод античных керамических клейм, оставшийся также неопубликованным. Это был его последний

Б. Н. Граков, археолог-античник и эпиграфист

О. А. Кривцова-Гракова — супруга и соратник Б. Н. Гракова

крупный труд по классической археологии. Трудам этим не везло — они остались неопубликованными.

В тридцатые же годы он опубликовал в ВДИ свод материалов по истории Скифии в греческих надписях Балканского полуострова и Малой Азии. А это был его последний крупный труд по эпиграфике. Скифы и сарматы всё больше занимают его ум (Мелюкова и Яценко 1977; Мошкова и Смирнов 1977). Этому, видимо, способствовало семейное общение: жена его — О. А. Кривцова-Гракова — чистейшей воды археолог, известный специалист по бронзовому веку степей, то есть по непосредственно предшествующей эпохе.

3. Археолог-первобытник на службе марксизма. Уже в 1928 г. он пришел к общей характеристике курганов ранних кочевников Поволжья и Приуралья VI–IV вв. до н. э. и выработал периодизацию ранней сарматской (прохоровской) культуры IV–II вв. до н. э.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. На Украине археология была просто разгромлена арестами НКВД. Пришлось приглашать археологов из Москвы и Ленинграда для работы. С 1937 г. Граков начал раскопки на Украине в Нижнем Поднепровье. Копал рядовые скифские курганы, чего до него в таком масштабе никто не делал, а с 1938 г.

и Каменское городище. Еще до войны написал, а в 1947 г. опубликовал на украинском языке небольшую книжку «Скифы», в которой концепция отличается от ростовцевской. Ростовцев рассматривал скифское общество как военно-феодальную державу, чего в марксистской науке признать было нельзя (анахронизм). А Граков видел в скифах первобытное общество на переходе к рабовладельческому государству.

Происхождение скифов рисовалось Гракову из срубной культуры с передвижкой с востока (Геродотово переселение из-за Аракса, а Аракс он отождествлял с Волгой) — в этом он повторял Артамонова. Уже в 60-е гг. против этого выступили сначала А. И. Тереножкин, а затем и М. П. Грязнов, выдвинув идею разрыва между памятниками срубной культуры и скифами. С их точки зрения, скифская культура прибыла в Причерноморье из глубин Центральной Азии.

В 1947 г. вышла также большая статья Гракова в ВДИ «Женоуправляемые» (название статьи дано по-гречески), в которой по разным источникам прослеживались пережитки матриархата у сарматов. В основе лежали погребения женщин с оружием — «амазонок». Эта статья отлично вписывалась в общую концепцию марксистской науки относительно эволюции первобытного общества. Матриархат как необходимая стадия развития общества был давно отвергнут западной наукой, но считался у советских марксистов непременным компонентом марксистского понимания истории. Подтверждение его археологическими данными Гракова рассматривалось как большой успех советской науки. Еще в 1970 г. А. М. Хазанов развивал граковские идеи о матриархальном или по крайней мере матрилинейном роде у сарматов. На деле следы высокой роли женщин в том или ином обществе, в том числе жреческих функций, и символическое использование оружия в женских погребениях не обязательно говорят о матриархате или его пережитках.

Начатые в 1938 г. раскопки Каменского городища на Днепре, самого крупного в степях Северного Причерноморья, пришлось прервать на время войны, затем они продолжались. Одновременно велись широкие раскопки курганов рядового скифского поселения близ Никополя. Городище свое Граков копал до 1952 г. и пришел к выводу, что это был религиозный, торговый и политический центр Скифии конца V–IV в. до н. э. (публикация городища в МИА 36, 1954).

Статья о матриархате, раскопки рядовых курганов («простого народа») и центра Скифии (так сказать, столицы!) повысили авторитет Гракова как первобытника в Институте. В военное время он стал в Институте заведующим сектором, но в 1943–1947 гг.

Б. Н. Граков, основатель московской школы скифо-сарматской археологии

он переведен заведовать сектором вспомогательных дисциплин, а в 1947–1953 гг. — сектором скифо-сарматской археологии, который он и создал. С 1942 г. — профессор кафедры археологии МГУ (до 1969 г.).

В статье «Скифский Геракл» (1950) и книге «Каменское городище на Нижнем Днепре» (1954) Граков исследует двойственный характер скифских этногонических легенд Геродота и связывает их с двойственностью происхождения скифов — местного и пришлого компонентов их культуры. Что же касается общественного строя, то Граков усматривает на рубеже V–IV вв. переход от военной демократии к рабовладельческому государству (держава Атея). Державность вообще витала в воздухе в последние годы сталинского правления, как и этничность.

На практике за школой Гракова на Украине закрепилось доминирование на степных территориях, за местной школой А. И. Тереножкина — лесостепных, но с течением времени этот баланс сил всё больше сдвигался в сторону захвата и освоения местными археологами всё более крупных долей степного скифского наследия (Черненко 1993).

К марровскому учению Граков всегда относился скептически. Но дискуссия 1950 г. по языкознанию и выступление Сталина, развенчавшего им же поднятого Марра, позволили говорить об ираноязычии скифов откровенно. У Геродота ведь все скифы говорят по-скифски, там нет деления. В 1952 г. в совместном со своей ученицей А. И. Мелюковой докладе на Первой скифо-сарматской конференции Граков предлагает новый пересмотр концепции скифской культуры: «скифы» — не собирательный термин, а обозначение конкретного этноса и политического объединения. Это союз ираноязычных племен, занимающий часть степной полосы. Собственно скифскими признаются лишь степные памятники, и то не все.

Культура же, именовавшаяся прежде скифской, делится на две — степную и лесостепную. Их единство сводится лишь к «скифской триаде»: оружию, конскому убору и звериному стилю. Это результат скифизации местного населения, перенявшего, вероятно, и скифский язык. Ведь античные авторы говорят об одном скифском языке, а еще В. Ф. Миллер и в советское время В. И. Абаев определили этот язык как принадлежащий к иранской семье (близкородственный осетинскому).

Концепции этой противостояло несколько других версий этнического понимания скифского мира. По украинской версии (А. И. Тереножкин и В. А. Ильинская), Скифия вообще представляла собой разноэтничное объединение племен, а позже Ильинская перешла к мнению о единой скифской культуре. Б. А. Рыбакова деление надвое очень устраивало, но оседлые, земледельческие племена он считал просто славянскими, так и не принявшими скифский язык. (Чем это доказывалось? А ничем.)

Миннз и Ростовцев объясняли скифский звериный стиль искажением пропорций звериного тела в целях охотничей магии — органы, отвечающие за способность убивать, изображались более крупно в сравнении с другими. Граков следом за В. В. Гольмстен внес поправку: не охотничьей магии, а воинской, ибо стиль этот развивался в воинской среде.

Собственное толкование внес Граков и в проблему социального устройства скифского общества. М. И. Артамонов и Д. П. Каллистов стояли на традиционных позициях советской историографии: скифы жили в первобытно-общинном строе. Эта позиция противостояла трактовке эмигранта Ростовцева, который усматривал в скифском обществе феодальные структуры. В книге «Каменское городище» Граков предположил, что такие укрепленные центры и такие богатые погребения говорят о сложении государства, по крайней мере с IV в. до н. э. В этом плане его трактовка ближе к концепции Ростовцева, хотя и не упирается в феодализм. Граков отыскивал в скифском обществе свидетельства данничества, которое он, в отличие от А. М. Хазанова, считал зачатком рабовладения.

Вроде бы эта концепция была нарушением марксистских норм толкования истории и должна была пугать советских идеологов своей близостью в Ростовцеву. Но это только на первый взгляд. Сталинская версия марксизма, входившая в силу в советском государстве, всячески подчеркивала роль государства в социалистическом мире, прочность государственных традиций в стране. Пятидесятые

годы — это то самое время, когда в советской истории и археологии насаждалась концепция Грекова — Рыбакова о глубочайших истоках государственности в нашей стране — от трипольской культуры через скифов к полям погребений и через них к Древней Руси. Концепция Гракова помимо его воли очень хорошо вписывалась в эту картину, что создавало вокруг Гракова атмосферу официального признания и порождало у него опасную иллюзию неуязвимости.

4. Учитель и человек. И. В. Яценко (1993) подробно описывает процесс обучения студентов у Гракова. В первые послевоенные годы он считал обязательным знакомство с тремя первыми выпусками «Русских древностей» Толстого и Кондакова, трудами Ростовцева и некоторыми статьями Спицына. При этом он подчеркивал правильность датировок Ростовцева по античным вещам и слабость его дат для лесостепных памятников без античных вещей. Для них он считал более правильными датировки Спицына. Темы для курсовых работ назначал сам. Курсовым работам студентов он не придавал большого значения, рассматривая их как упражнения, тренировку, и часто повторял одни и те же темы, давая их разным студентам. Это резко отличалось от ленинградской манеры обучения, где, скажем, Грязнов требовал, чтобы ученик сам выбирал тему, а к каждой курсовой работе подходили как к небольшому исследованию, обсуждая его на заседании кафедры.

Б. Н. Граков со своими сотрудницами Н. Н. Погребовой (слева) и О. Н. Мельниковской в 1947 г. возле Института истории материальной культуры в Москве

Кузьмина, знавшая близко Б. Н. Гракова и его жену О. А. Кривцову-Гракову, описывает в своих воспоминаниях (2008: 23) их дачу — «старомодный дом, похожий на усадьбу, утопающую в большом саду». «Ольга Александровна — спокойная, уютная, с большими глазами, излучавшими доброжелательность, и Борис Николаевич — напряженный,

готовый взорваться или, наоборот, весело смеющийся, поглаживая свою пушистую бороду». Сам о себе Граков в своих воспоминаниях (оставшихся в рукописном виде) писал: «Я неврастеник с вспыльчивым и крикливым нравом» (Плешивенко 2011: 331).

Но Кузьмина продолжает: «Он отличался не только вспыльчивостью и отходчивостью, но и очень редкой и опасной в те годы смелостью и готовностью бороться за правду». В изданной недавно переписке семейства Граковых приводится такое сообщение Гракова с поля супруге под 1931 г.: «Партийных в палатке нет. Настроение у всех моего типа» (Плешивенко 2011: 65). А внук Граковых Андрей Свиридов вспоминает о своих детских годах, что, приходя из начальной школы, повторял при бабушке: «Дедушка Ленин... Дедушка Ленин». «И слышу довольно доброжелательное замечание: „Какой он тебе дедушка?! Кровопийца!"»

Нечто подобное вскользь упоминается в шуточных стихах археолога А. А. Потапова о вечеринке у Татьяны Пассек. Это стихотворение 1932 г., разумеется, для употребления внутри компании:

Мы критикуем всех
за чаем...
И только Гракова
Отравленные стрелы
По адресу
Марксистов и ослов
Нежданные рождают
Перемены
Да пару солидарных слов.

За такие «отравленные стрелы», найдись в компании хоть один истовый большевик, можно было загреметь даже в 1932 г. весьма далеко не только стрелку́, но (учитывая «солидарные слова») и всей честной компании. Как это вязалось с подстройкой сарматских «амазонок» под марксистскую модель матриархата? Подлаживанием скифского мира под державную модель сталинской империи? Что-то одно было не вполне искренним? Возможно, но не обязательно. Матриархат, держава и многие другие понятия — это могли быть подсознательно впитанные представления, витавшие в воздухе эпохи. Они так часто повторялись, что входили в систему представлений о мире.

Юмор Гракова иллюстрируется у Кузьминой его рассказом о себе. Как передает Кузьмина, «он поехал осматривать древние изваяния — каменных баб, чтобы купить их для ГИМа, и прислал О. А. телеграмму: "Истратился баб, вышли деньги"». Этот эпизод академик В. Л. Янин (2002) рассказывает как участник:

> «В 1949 г., разъезжая по скифским памятникам нижнего Днепра, в одном колхозе мы обнаружили несколько каменных баб, которые были использованы как подставки под деревянные желоба для свиных кормушек. Собрали по карманам почти все деньги, какие нашлись, заплатили за изъятие из колхозного инвентаря и погрузку в экспедиционный грузовик этих баб, и я был отправлен Б. Н. Граковым с оставшимися копейками послать в Москву телеграмму его жене Ольге Александровне с таким текстом: "Истратился на баб, срочно вышли двести рублей"».

Но однокурсник Янина археолог и писатель Валентин Берестов (2006) рассказывал этот эпизод иначе — тоже как участник. Речь идет о раскопках скифского городища:

> «А там на могилах половцев и скифов стоит то, что народ называет каменными бабами. Хотя они далеко не все женщины. И профессор их на экспедиционные деньги купил для Запорожского музея. А нужно же платить рабочим. Он мне говорит: "Отец и благодетель, сходите на почту, дайте телеграмму: «Запорожье, музей, еду с каменными бабами, шлите деньги, Граков»". А село было длинное, километров, наверное, восемнадцать, и почта была в двенадцати километрах. Я пришёл, а телеграфистка говорит: "Я не могу дать эту телеграмму! Это шифровка!" А это было сталинское время, 49-й год, шпионов боялись до полусмерти!.. Я говорю: "Какое слово смущает?" Она говорит: "Каменными". Я говорю: "Снимите!" Пришёл к профессору, говорю: "Вот, даже на одном слове сэкономил". Он спрашивает: "На каком? О, ужас! — возопил он. — Запорожье, музей, еду с бабами, шлите деньги, Граков! Нас, археологов, мало, все будут знать, это перейдёт границы нашей родины, и все поколения археологов будут рассказывать это как анекдот!.." В общем-то, так оно и вышло...»

Вот и верь после этого анекдотическим рассказам про ученых!

Другие стороны натуры Гракова тоже проиллюстрированы у Кузьминой (2008: 24). День именин его ученика К. Ф. Смирнова в экспедиции решили отметить весело. Из большеберцовой кости, раскрасив ее, изготовили жезл для К. Ф. «И вдруг — слышим шум. Граков приехал! И что же тут началось! Он увидел злосчастный "жезл" и бешено закричал: "Живых не уважаете, мертвых, мертвых бы чтили!" Скоро страсти улеглись, но мы навсегда запомнили урок!»

Ученики (Слово 1999: 6) в столетний юбилей Гракова вспоминают:

> «Наверное, одной из главных отличительных особенностей Бориса Николаевича была страстность. Он страстно работал, страстно любил и страстно ненавидел и во всякую деятельность вкладывал душу. Это в полной мере относится и к его преподавательской работе. <...> Он был человеком увлекающимся, и это сказывалось на всем, в том числе и на лекциях. Начав с одного вопроса, он легко мог перекинуться на другую тему и развивать ее, забыв то, с чего начал. Но всё, что он рассказывал, было захватывающе интересно... Борис Николаевич бурно реагировал на всё и взрывался иногда по серьезным поводам, а часто и по пустякам. На его счастье рядом с ним всегда была Ольга Александровна, спокойная, уравновешенная, выдержанная...»

Когда руководство не соглашалось с его предложениями, он демонстративно подавал заявление об уходе с поста зава скифо-сарматского сектора (который он возглавлял с 1947 г.), но Киселев, тогдашний всевластный замдиректора, неизменно отклонял такое заявление. Когда замом директора стал Крупнов, не очень думавший о перспективах и научном облике института, а больше — об управляемости, Граков снова рассердился на дирекцию. Получив в 1953 г. заявление Гракова об уходе, Крупнов тотчас его подписал. Это было шоком для Гракова. Он ушел из Института и остался работать только на кафедре (Мелюкова и Свиридов 2004: 56), быстро постарел и опустился.

В последние годы жизни Граков работал над сводом клейм (не изд.) и обобщающими трудами «Железный век» (изд. посмертно в 1977) и «Скифы» (1971). Оставил когорту известных учеников: К. Ф. Смирнов, Д. Б. Шелов, А. И. Мелюкова, В. И. Мошинская, Д. С. Раевский, А. М. Хазанов, Ю. Г. Виноградов, М. Г. Мошкова, М. Н. Погребова, И. В. Яценко.

С женой прожили жизнь очень дружно и умерли в один год — 1970.

Искатели национальных корней

Наганивал невежу во чистом поли,
Стал выспрашивать роду-племени:
«Ты коéго, молодець, да роду-племени,
Ты коéго, молодець, да отця-матери,
Как тя, мóлодца, да именем зовут?»
Тут от невежи ответу нет.

Былина «Илья Муромец и Сокольник»

Без роду-племени и звания
На древе жизни мы листва...

Глеб Горбовский. Без роду-племени...

После первых десятилетий увлечения марксизмом и социологизаторством советская археология стала сдвигаться в сторону идеологии державности и национализма, увлечения национальными корнями. Одни археологи делали акцент на державности, другие — на национальных корнях, да и трактовали их по-разному. Но обе тенденции развивались в переплетении и вели к тому, что тема национальной идентичности и этногенеза стала главной в советской археологии. Группа археологов, выделенная по увлеченности этой темой, очень разношерстна. Одни вышли из школ палеоэтнологов (М. И. Артамонов, П. Н. Третьяков, С. П. Толстов), другие были выучениками классификаторов и социологизаторов (Б. Н. Рыбаков, А. Я. Брюсов). Все они ожесточенно спорили друг с другом и возглавляли противостоявшие друг другу группировки, но заполняли одну арену. Центральной точкой спора был этногенез восточных славян и их соотношение с другими ветвями индоевропейцев.

Воевода советской археологии

Б. А. Рыбаков

Тьмы жалких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран.

А. С. Пушкин. Герой.

1. Величина. Учившаяся в Москве и работавшая три десятилетия в Институте археологии Е. Е. Кузьмина описывает Рыбакова так:

> «Это был большой человек с крупными чертами лица, как будто высеченными из одного гранитного камня. Он не шел, а торжественно выступал. Но, главное, у него был завораживающий своими модуляциями голос. Когда он читал лекцию, всё, о чем он говорил, становилось явью. Если закрыть глаза, можно было представить его прелатом в лиловой сутане с большим

Академик Б. А. Рыбаков в президиуме заседания

> крестом на груди, стоящим на кафедре в огромном католическом соборе, под сводами которого звучит его чарующий голос. Почему католического — не знаю: он был старообрядец, и это, по-видимому, имело большое значение в его менталитете» (Кузьмина 2008: 22).

Я тоже знал Рыбакова лично, слушал его доклады, даже обедал за одним столом. В Рыбакове, как в России, поражают размеры всего. Большие руки и статная фигура, массивная голова с крупным, тяжелым носом, зычный голос и огромная трудоспособность. Множество тяжеленных монографий написано им — таких же громадных и монолитных, как он сам. Это во всех смыслах большой человек. Биг мэн — есть такой термин у этнографов.

Издали — за кафедрой, в президиуме, на подиуме — он кажется высоченным, но вблизи с удивлением обнаруживаешь, что он совсем небольшого роста. Голос его не всех чаровал. В 1948 г. Граков писал своей жене Кривцовой-Граковой: «Я знаю, что Рыбаков вечно манкирует и плохой лектор. Но он в духе Арциховского, а сейчас времена на факультете несколько гуманнее, чем были раньше» (Плешивенко 2011: 280). Тут сказывается и разница во времени: Граков оценивал Рыбакова в начале его карьеры, Кузьмина смотрела с конца.

Более 30 лет этот человек стоял во главе советской археологии — дольше любого из остальных ее руководителей — и наложил на нее неизгладимый отпечаток. Очень трудно сказать, был то ее вождь и благодетель или злой гений. Сомневаясь в том, дарован ли он свыше нашей науке, дарование за ним никто отрицать не может. Но, признавая у него несомненное дарование, одни сетуют, что употребил он его большей частью во зло, другие, соглашаясь с тем, что это был злой гений нашей науки, оговаривают: злой, но гений!

Это пример ученого, охваченного одной идеей. Вот уж подлинно, кем владела одна, но пламенная страсть. Можно было бы сказать — мания, если бы это не противоречило его отменному здоровью и безусловно здравому рассудку. Это человек бурного темперамента, целеустремленный и деятельный, чрезвычайно односторонний, но никак не психопатический — в отличие от Косинны и Марра, с которыми он очень схож по фанатизму и увлеченности национальным вопросом. Он, пожалуй, умнее и как человек интереснее.

Он, несомненно, внес крупный вклад в науку и в то же время с колоссальным усердием и талантом строил в ней совершенно фантастические реконструкции, принимая желаемое за доказанное. А чего он желал, это особая статья. Перед глазами у него стояло

желанное ему прошлое России. Наличное же, по крайней мере в исторической литературе, его не устраивало, казалось унизительным — ему требовалось прошлое более величественное и славное. Ради него он был неимоверно изобретателен и неутомимо трудился в археологии. Ради него вторгался в смежные науки, в том числе в те, где он был дилетантом вчистую. Где-то он сумел, преодолев нехватку знаний, отыскать жемчужные зерна, а где-то наворотил черт-те что.

Многие биографы описывают его жизнь в житийном стиле (Алексеев 1968; Новицкий и Рапов 1968; Плетнева и Николаева 1978; Жуков, Захарук и Плетнева 1978; Борисов, Горский и Рапов 1988; и др.), и творчество его на этой основе понять трудно. Попытаемся всмотреться более трезво в то, как сформировалась эта личность — корнями, средой и эпохой.

2. Формирование личности. Борис Александрович Рыбаков, коренной москвич, родился в 1908 г. в семье, происходящей из старообрядческого рода. В таком роду обычно твердо держатся раз усвоенных норм, а почитание всего старинного, традиционного и неприязнь к иностранным заимствованиям, пусть даже полезным, является естественным фоном. В казенно-житийных биографиях значится, что отец будущего историка, тоже историк, ученик Петрушевского, был директором Учительского института. Мать — учительница. На деле отец был хозяином магазина готового платья на Таганке, а преподавал в старообрядческом институте Рябушинского. В семье был культ российской истории, русской старины. В семье передавался по наследству расшитый кокошник допетровского времени. «Средневековая Русь была "фамильярно" знакома учёному с детства, и он сохранил к ней тёплое отношение, как к своему кровному, родному» (Чернецов 2008: 539).

История казалась логичной и понятной. В ней происходили приятные вещи: Российское государство складывалось и росло вокруг Москвы, все время расширялось и укреплялось вокруг исконного ядра. Были, правда, скверные эпизоды, но они всякий раз преодолевались героизмом и стойкостью россиян.

Когда разразилась революция, Борису было 9–10 лет. Благополучие семьи, как и многих видных семей, пошатнулось. Отца посадили. Мальчика пришлось отдать в детский дом «Трудовая семья», где отпрыску старообрядческого рода, сыну буржуя, вряд ли было легко адаптироваться. Страдали и его исторические симпатии — Россия распалась, на окраинах образовались самостоятельные

государства, в самой Москве у власти оказалось много евреев, поляков, грузин, латышей и прочих нацменов. В сознании конец благополучия семьи связывался с этими переменами. Гордиться своим русским происхождением, а тем более чем-либо уязвить нацменов стало опасно — это не поощрялось, можно было получить обвинение в великодержавном шовинизме. Видимо, тогда у подростка возникло чувство протеста, возможно, не вполне осознанного. Этот подавленный протест, ропот уязвленного национального самолюбия, ощущается в дальнейшем в основе всего мировоззрения Рыбакова.

Евреев всю жизнь не выносил. Терпел по необходимости. Говоря о добром отношении Рыбакова к ней, Кузьмина (2008: 22) добавляет: «Но он никогда не простил мне того, что я вышла замуж за еврея, — и не скрывал этого».

Его неудержимо влекли к себе остатки прежней мощи России и прежней культуры, более близкие и родные, чем окружающая действительность. Подростком Борис облазил все архитектурные памятники Москвы (начиная с Кремля) и Подмосковья. В 1924 г. он окончил школу и пошел нарабатывать трудовой стаж — продавцом газеты «Рабочий путь». Он сохранил это место и этот заработок и став студентом — поступил через два года на историко-этнологический факультет I Московского государственного университета.

Первая же лекция профессора В. А. Городцова увлекла студента, и он избрал археологию своей специализацией, а к Городцову стал ездить в экспедиции. Поскольку в археологии он специализировался, конечно, по славяно-русским древностям, усердно внимал и славистам-историкам. Большое влияние оказали на него историки русского Средневековья академик М. К. Любавский, профессора Ю. В. Готье и С. В. Бахрушин. Бахрушин изучал борьбу официальной церкви с ересями, — интерес студента, происходящего из старообрядческого рода, к этой теме понятен. Любавский был столпом исторической географии, и от него Рыбаков воспринял пристрастие к картированию, которое ему весьма пригодилось в археологии. Готье, люто ненавидевший, судя по его дневникам, советскую власть, а заодно и евреев, занимался не только историей, но и археологией; под его руководством студент изучал древнерусские племена Юга, надолго ставшие его любимым объектом. А Готье стал его основным учителем. Всё это были ученые, пронесшие сквозь революционно-интернационалистское лихолетье увлеченность старой русской культурой, веру в особый путь и особую предназначенность России.

Когда Арциховский, тогда талантливый и активный аспирант, читал свою пробную лекцию студентам, в числе их на лекции сидел юный Рыбаков (Щапова 1973). Видимо, аспирант, старше его на 6 лет, произвел на Рыбакова впечатление. Свои первые шаги в науке Рыбаков делает явно по стопам Арциховского и под его влиянием. С ним он также ездит в экспедицию. Кандидатская диссертация Арциховского, защищенная в 1929 г., была посвящена вятичским курганам. В 1928 г. в студенческом сборнике была опубликована первая научная работа Рыбакова «Раскопки вятичских курганов на Оке». В студенческие же годы он начал работу над курганами соседнего племени — радимичей. Это и стало его диссертацией по окончании университета (1930). В 1947 г. была опубликована его работа «Поляне и северяне», начатая еще в семинаре Готье, — в ней он определяет племенную территорию по височным кольцам, как Арциховский для своих вятичей. В споре с молодым Третьяковым, который отрицал возможность определять по курганным древностям XI–XIII вв. территорию летописных племен IX–X вв., молодой Рыбаков стоял рука об руку со своим старшим товарищем Арциховским (тот опубликовал тогда полемическую статью «В защиту летописей и курганов»). Словом, Рыбаков следует за Арциховским, как тень.

Однако диссертация Рыбакова не была простым слепком с диссертации Арциховского. Рыбаков обратил больше внимания на производственные занятия радимичей и пришел к идее, что их хозяйство держалось не на охоте и рыболовстве, как полагали Ключевский и Рожков, а на земледелии, города же радимичей процветали не благодаря паразитической торговле, как у Ключевского и Покровского, а основывались на ремесле. Таким образом уже здесь появились основы его концепции древнерусского ремесла. Диссертация была опубликована на белорусском языке в Минске («Радзімічы» 1932).

Отслужив в Красной армии (1930–1931), где он был артиллерийским курсантом Московской Пролетарской дивизии, Рыбаков начал свою работу не с археологического учреждения, а с Архива Октябрьской революции (но в 1931 г. перешел в Гос. Истор. Музей), преподавать же он начал не в Университете, а — в 1933 г. — с курса истории СССР в Академии Коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской (впрочем, с 1934 стал читать в Областном Пединституте). То есть свою профессиональную деятельность он начал не как археолог, а как историк, и это вполне отвечало его подготовке и склонностям. По своим университетским занятиям он был ведь столько же историк, сколько и археолог. Это осталось на всю жизнь.

Несколько удивляет очень уж околопартийная концентрация его профессиональной активности на начальном этапе («пролетарская дивизия», «Архив Октябрьской революции», «Академия Коммунистического воспитания»...), но этот увлеченный древностями выходец из средних слоев служилой интеллигенции всегда был очень лоялен по отношению к советской власти. Его единственное расхождение с ней было скорее эмоциональным и заключалось в отношении к русским национальным традициям и ценностям. И то расхождение до поры до времени, а со временем изменился отнюдь не Рыбаков.

Да и впоследствии Рыбаков был сугубо партийным человеком. Кузьмина (2008: 22), вспоминая свои отношения с директором, отмечает и это:

> «Была у нас и своя игра: регулярно каждую весну он вызывал меня и говорил: "Вам пора вступить в партию", — и я отвечала: "Не пора", пока однажды я не сказала: "Б. А., неужели я, по-вашему, так бездарна, что не смогу работать без партбилета?" Он засмеялся и сказал: "Идите". Игра кончилась».

3. Путь к лидерству. С 1937 г. двадцатидевятилетний Рыбаков был принят в московское отделение новоорганизованного академического Института истории материальной культуры, который ровно через 20 лет ему суждено будет надолго возглавить, причем долго оставался и сотрудником Государственного исторического музея, а с 1939 г. стал доцентом новосозданной под руководством опять же Арциховского кафедры археологии МГУ (где через лет десять с небольшим он станет деканом и проректором).

В Институте и ГИМ за то пятилетие, которое оставалось до войны, он выполнил тот капитальный труд, который составил ему имя и принес славу — «Ремесло Древней Руси». Базой труда послужили вещи из 20 тысяч курганных могил и материалы раскопок городов. Рыбаков не только установил наличие ремесленных цехов и значение ремесел на Руси по письменным источникам и нашел им соответствие в археологическом материале. Сопоставив изделия, происходящие из одной мастерской, и положив их на карту, он установил диапазон сбыта изделий деревенских мастеров (15–20 км) и городских (до 200 км). Сам Рыбаков не преминул похвастаться: чтобы обнаружить вещи, происходящие из одной и той же литейной формы, ему пришлось сопоставить друг с другом все вещи одной и той же категории — скажем, только ради 483 экземпляров вятичских височных колец это

Б. А. Рыбаков на коллективном снимке 1937 г. археологов, работавших на строительстве метрополитена. В центре в первом ряду (сидящих) крайний слева — С. В. Киселев, в центре (четвертый слева) — А. В. Арциховский, за его спиной стоит Б. А. Рыбаков, рядом с ним по левую руку от Рыбакова — Т. С. Пассек, по правую руку от Рыбакова стоят М. В. Воеводский и А. П. Смирнов

составило 116 403 сопоставления. На деле, конечно, гораздо меньше: никто не ищет механическим перебором сопоставлений — каждое с каждым; вещи сортируют на всё более узкие группы. Но и это немалый труд.

Рыбаков показал всем тот высокий уровень, на котором находилась русская культура до татаро-монгольского нашествия. Прежде могло котироваться и мнение историков Грушевского и Покровского о том, что татаро-монгольское нашествие было не столь уж большим бедствием: оно, мол, способствовало ликвидации паразитических классов и Рыбакова показало, что именно погибло — получился длиннющий мартиролог ремесел, умений и городов.

Как подметил В. Л. Янин, сейчас все знают, что средневековая Древняя Русь — страна высокоразвитого ремесла. Но ведь это открытие Рыбакова. Оно как бы подвело основание под оба других открытия XX века о Руси — древнерусской живописи и древнерусской архитектуры (то и другое до XX века мало замечали).

Отстаивать своеобразие и высокий уровень древнерусской культуры было еще непривычно и, пожалуй, опасно. Совсем недавно, в начале тридцатых, кое-кто шел в лагеря за шовинизм. Хотя именно во второй половине тридцатых начался поворот во внутренней политике — поворот от декларативного интернационализма к русскому патриотизму и национализму. И дело не в том, что Рыбаков уловил раньше других перемену курса. Рыбаков не менялся, не подстраивался. Он всегда придерживался националистических убеждений, но раньше приходилось сдерживаться, а теперь они пришлись ко двору, и стало можно за них бороться. А в патриотическом накале военных лет такой труд звучал чрезвычайно злободневно. В 1942 г. он был защищен в эвакуации в Ашхабаде как докторская диссертация (доктору было 34 года), в 1948 г. опубликован. Рыбаков получил за него Сталинскую премию. Его друг и покровитель академик Греков отозвался рецензией «Удар по антипатриотическим тенденциям в исторической науке». В 1951 г. Рыбаков вступил в партию, в 1953 г. был избран членкором АН СССР (академиком стал в 1958 г.).

Последние годы правления Сталина — конец сороковых и начало пятидесятых, после его знаменитого победного тоста за русский народ, — были для Рыбакова годами распрямления крыльев и взлета. Охота на космополитов и критиканов, дело врачей-вредителей и прочие расправы проносятся мимо, совершенно его не задевая. В эти годы складывается его концепция происхождения славян, в которой он единодушен с академиком Грековым. Славянская государственность, по этой концепции, вызревала задолго до Киевской Руси, в зарубинецкой и блестящей черняховской культурах. Она уходит корнями еще глубже, гораздо глубже — в глубины третьего тысячелетия до н. э. Концепция эта пока проскальзывает лишь в тезисах и кратких статьях, она еще только обрастает материалом и набирает силу.

Б. А. Рыбаков — автор книги «Ремесло Древней Руси»

Рыбаков перебирает, щупает своими сильными пальцами звено за звеном этой схемы. В большой, почти монографической работе «Древности Чернигова» (1949) он делает блестящий анализ раскопанных Самоквасовым до революции княжеских курганов «Черная могила» и могилы княжны Черны. Особенно удается ему интерпретация изображений на турьем роге — по блестящему озарению он связывает их с черниговской былиной об Иване Годиновиче. Образ Кащея, к которому возвращаются вспять стрелы, выпущенные в Ивана Годиновича, вещая птица, волк с разинутой пастью, которому должно достаться сердце Кащея, — всё это есть на роге. Правда, ныне петербургская исследовательница О. А. Щеглова нашла в Венгрии кочевнический оригинал, с которого скопирован черниговский рог, а на оригинале мотив византийского происхождения — Иван Годинович оказывается ни при чем. Возможен лишь как вторичное осмысление. Но такова судьба почти всех блестящих идей Рыбакова: они живут недолго, зато как красиво!

В статье «Древние русы», носящей примечательный подзаголовок «К вопросу об образовании ядра древнерусской народности в свете трудов И. В. Сталина», Рыбаков убедительно — картами, списками — показывает, что в XI–XII веках термин «Русь» использовался в разных смыслах, покрывая разные территории. В широком смысле Русь — это была вся территория княжеств Рюриковичей, в узком — только несколько княжеств Южной Руси близ Киева, а иногда о Руси говорилось в еще более узком смысле — только как о Поросье. Продолжая применять исследовательскую методику Спицына, возобновленную и защищенную Арциховским, Рыбаков заключает, что узкие значения термина не соответствуют реалиям XI–XII веков и восходят к более раннему времени. Он считает, что это VI–VII века, когда именно на нужной территории отложились памятники, также выделенные еще Спицыным — под именем «древностей антов»: пальчатые и зооморфные фибулы, другие украшения и оружие, в основном вещи из кладов. Но к VI–VII векам анты, носившие явно славянские имена, уже не существовали. Их Иордан описывал как живших в IV веке, и Рыбаков относит к ним яркую и богатую черняховскую культуру, хотя та занимала куда более широкую территорию и вряд ли была славянской. А тех антских потомков, которые, по его мнению, оставили пальчатые фибулы и другие древности VI–VII веков в Поросье, он предложил называть «русами». От них и пошла, по Рыбакову, Киевская Русь.

Итак, по догадке Рыбаков отнес узкое значение термина «Русь» к VI–VII вв. и на том же основании признал поросские древности

этого времени древнерусскими. Подтверждений эта смелая гипотеза не имеет и с самого начала не имела. Она держалась исключительно на красоте, смелости и... выгодности: звучала очень лестно для национального самолюбия. Вон как давно эта земля наша, вот какие яркие вещи были у наших предков! Примитивно, но действенно. Между тем вещи, похоже, в большинстве не славянские, а кочевнические; преемственность от них к достоверно славянским не прослеживается. Достоверно раннеславянская культура VIII–IX вв., известная тогда как «роменско-боршевская» Рыбакову явно не нравилась: грубая лепная керамика (это после черняховской, сделанной на круге!), почти нет оружия, украшений. Эту культуру он большей частью просто игнорировал.

В 1952 г. на сессии в Симферополе Рыбаков выступил с докладом, имевшим рассчитанное партийное название «Об ошибках в изучении истории Крыма». В докладе он утверждал, что любование древними постройками татар антипатриотично, а нужно искать в Крыму, как и везде, следы наших древних предков — славян. Впоследствии он не включал ее в свой список научных работ.

Не нравился ему и Хазарский каганат: враги-тюрки, вдобавок иудейского вероисповедания, по летописи взимали дань со славян, и даже первые русские князья назывались «каганами» — нестерпимо для гордости. Рыбаков публикует несколько работ против ленинградского профессора Артамонова, автора монографии о хазарах. В этих работах остроумным анализом географических указаний в письменных источниках доказывает, что, вопреки Артамонову, территория каганата была совсем маленькой, так что особой роли в истории славян он играть не мог. Производительной же деятельности хазары, по Рыбакову, почти не вели — государство было паразитическое. Жили за счет дани с окрестных народов, особенно славян. Автор «Ремесла» пожурил недальновидного Артамонова и «отмстил неразумным хазарам». Статья «Русь и Хазария» вышла в 1952 г., статья «К вопросу о роли Хазарского каганата в истории Руси» в 1953 г., как раз в годы расправы над врачами-вредителями, единоверными хазарам. Очень своевременно.

К тому же времени относится воспоминание Г. Б. Федорова (1997/2007), руководителя крупной Пруто-Днестровской экспедиции. Он считал, что во все тяжкие Рыбаков пустился позже, а в 1952 г. его смена научных интересов карьерными была еще только «в зачатке». Рыбаков еще не был директором Института, но заведовал сектором славяно-русской археологии и был проректором МГУ.

«Мы поддерживали отношения и даже бывали в гостях друг у друга. Как-то за ужином у него дома Рыбаков мне сказал:

— Георгий Борисович! У вас в экспедиции слишком много евреев и полуевреев. Вам надо от них избавиться.

Я опешил. Если бы этот разговор происходил в Институте, я бы нашел что ему ответить. Но я сидел у него дома, ужинал за его столом...

— Я ведь подбираю людей в экспедицию по тому, какие они люди и работники, а не по национальностям, — промямлил я.

— Придется вам учитывать и этот фактор, — непреклонно сказал Рыбаков. Но к этому моменту я уже пришел в себя.

— Как мне воспринимать ваши слова: как приказ или как дружеский совет? — осведомился я.

— А как вам легче?

— Конечно, как приказ.

— Ну, вот и воспринимайте как приказ.

— Тогда, будьте любезны, — в письменной форме, по всем правилам: дата, номер, параграф, подпись.

— Не буду я ничего писать, — позеленев, зарычал Рыбаков.

— А я устных приказов не выполняю.

— Смотрите, пожалеете.

— Посмотрим.

Кажется, это был мой последний визит в его дом. Однако санкции против меня толком развернуть не успели. Через несколько месяцев, 5 марта 1953 года, произошла, как выразился придворный писатель Константин Симонов, "великая утрата" — Сталин "дал дуба", а вслед за тем, 4 апреля, появилось "Сообщение МВД", реабилитировавшее врачей-евреев, этих якобы "убийц в белых халатах". В "Сообщении" осуждалась национальная рознь и люди, ее возбуждающие; так что явным антисемитам пришлось временно прикусить языки...»

К середине пятидесятых Рыбаков явно выдвинулся на роль лидера славяно-русской археологии, а славяно-русская археология, как он сам впоследствии признавал, была в те годы главной отраслью археологии в СССР — в сборниках все статьи шли в хронологическом порядке от палеолита, но перед палеолитом помещались статьи по славянской тематике. Значит, лидер славяно-русской — признанный претендент на главенство в археологии вообще. Когда в 1956 г. на XX съезде партии Хрущев разоблачил преступления Сталина и оттеснил сталинских соратников от власти, повеяло свежим ветром. Общая либерализация почувствовалась и в археологии. На место впавшего в маразм историка Удальцова, управлявшего головным

археологическим Институтом, потребовался энергичный лидер с новыми идеями (конечно, в русле партийной идеологии). Вот где и приглянулся руководству 48-летний видный археолог, член партии и членкор Академии.

И Рыбаков действительно показал себя лидером, умным и властным. Прежде всего он, в духе времени и рассеивая опасения коллег, выступил со статьей «Место славяно-русской археологии в советской исторической науке» (1957). В статье он признал, что в недавнее время это место было непомерно раздуто за счет других отраслей и что это не вяжется с дружбой народов страны. Парадоксально, но с этим признанием выступил именно Рыбаков. Рыбаков же организовал при Институте лабораторию естественно-научных методов. Впрочем, с западными лабораториями она не могла конкурировать: не хватало оснащения и средств, а кроме того, в основном туда были набраны выпускники истфака, квалификации которых не хватало на то, чтобы искать новые пути мобилизации естественных наук на подмогу археологии, они могли только осваивать уже существующее (например, радиоуглеродное датирование). Хотя по отдельным направлениям лаборатория московского института в начале 60-х достигла выдающихся результатов (анализы металла и керамики).

4. На вершине власти. С приходом Рыбакова, казалось, было связано и осознание подлинных функций Института и той дисциплины, ради которой он существовал: новый директор позаботился о переименовании Института в Институт археологии (осуществлено в 1959 г.). В связи с этим осознанием функций начало рыбаковского правления ознаменовалось также крупным проектом — многотомным корпусом «Свода археологических источников» страны. Ведь это сердцевина археологической работы. За 15 лет было запланировано выпустить 150 томов. Но многие указывали, что задача была нереальной: мало сотрудников и дефицит издательских возможностей. Кроме того, так и не были разработаны единые методы и принципы. Работа над этим проектом началась тотчас, и ради него пришлось пожертвовать серией МИА. За 15 лет была реализована малая толика запланированного, к 1990 г. (удвоенный срок) вышло только 83 выпуска (правда, среди них немало весьма ценных). Но они выходили всё реже. Уже к началу 80-х силы начали иссякать, и стало ясно, что для представления всей совокупности источников и 150 томов очень мало, но даже этот рубеж в обозримые сроки недостижим. Но это всё

потом, и не всем заметно. А пока — налицо кипучая деятельность нового директора, целеустремленная и впечатляющая.

В советской археологии теперь оставался только один лидер, авторитет которого был не меньше рыбаковского, а благодаря научному старшинству и обилию учеников — для многих даже выше. Это Арциховский, который одновременно с Рыбаковым пришел к руководству, но не головным институтом, а ведущим журналом археологии страны. Он руководил также кафедрой археологии университета. За Арциховским тоже было яркое открытие — берестяные грамоты, а главное, его авторитет подпирался постоянной археологической экспедицией, раскапывавшей Новгород. Многометровый культурный слой этого города стал эталоном славяно-русской археологии. Сам Арциховский считал, что его выводы «уже не подлежат уточнению» (1956, с. 16). В южнорусских городах, которые раскапывал Рыбаков, по почвенным условиям не сохранялась древесина и органика, не было такого мощного культурного слоя и такой ясной стратиграфии. Все археологи-слависты приурочивали свои находки к новгородской хронологии. «Не знаю, скоро ли удастся ее превзойти», —без ложной скромности заявлял Арциховский (1956, с. 18). Вот это и оспорил Рыбаков. Он подверг критике саму методику мэтра. Совсем как в сказке Андерсена — Шварца: оторвавшаяся от фигуры героя Тень обратилась против него.

В конце пятидесятых он сдал в «Советскую археологию» полемическую статью «К вопросу о методике определения хронологии новгородских древностей». Статья была написана в виде 25 пространных тезисов — почти как у Лютера. В этой статье он заявил, что раскопки Новгорода велись архаичной методикой XIX века — «на штык», а проделанный Арциховским подсчет настилов мостовых и деление по ним истории города на равные отрезки не может дать верной хронологии, так как не гарантирована равномерность снашивания мостовых. Взамен он предложил хронологию по отмеченным в летописи и выявленным в культурном слое новгородским пожарам. Его поправки несколько омолаживали новгородскую хронологию, что уже раньше предлагали палеографы, анализируя берестяные грамоты. Так южнорусский опыт противустал севернорусскому.

Арциховский ответил в том же номере своего журнала. Он отметил, что «хронология редко вызывает страсти. Статья Б. А. Рыбакова отличается повышенной страстностью и в связи с этим резкими выпадами. Это тем удивительнее, что предложенные им хронологические поправки невелики, от 20 до 70 лет». Сам Арциховский

тоже не стеснялся в выражениях о Рыбакове: «фиктивные цифры», «ложные постулаты», «произвольность выводов», «грубые ошибки»... Он отверг хронологию пожаров, так как раскопками могли быть обнаружены небольшие локальные пожары, не отмеченные в летописи. По его хронологии ярусов (учитывающей лишь некоторые пожары) распределение вещей в слое образовывало более ровные кривые возрастания и убывания.

Рыбаков откликнулся резкой статьей «Что нового вносит в науку статья А. В. Арциховского...». Отклик Рыбакова был построен как обвинительная речь и изобиловал риторическими вопросами: «Чего стоят <...> попытки Арциховского...», «Чего стоит маневрирование летописным текстом...», «Чего стоит нагромождение самых резких выражений...», «Какова цена палеографическим выводам Арциховского...» И в заключение: «Тон статьи А. В. Арциховского и те полемические приемы, при помощи которых он защищает "честь мундира" Новгородской экспедиции, ясны всем». Относительно кривых распределения вещей он заметил, что жизнь всегда отличается от нормализованных схем. Это-то было не очень убедительно, и Арциховский опубликовал еще один «Ответ Рыбакову», но Рыбаков уже не отвечал. Спор авторитетов был для него окончен (правда, впоследствии дендрохронологическая шкала не поддержала ни ту, ни другую хронологию, хотя ближе она оказалась всё-таки к рыбаковской).

В отличие от Арциховского, однако, для Рыбакова оконченной оказалась и чисто археологическая направленность собственных кабинетных исследований. Он и раньше копал не систематически, бросал раскопки на полдороге, если нет эффектных результатов. Пестовал свои излюбленные фантазии. В древнерусском Любече многослойность заполнения землянок истолковал как следы многоэтажных зданий (Формозов 2011: 171).

В течение шестидесятых он еще будет ездить в поле, руководить раскопками, и позже иногда будут появляться его статьи об археологических находках, но ни одна из его многочисленных монографий отныне не будет собственно археологической. С этого времени он выступает в своих книгах только как историк, религиевед, искусствовед, картограф, фольклорист, использующий археологические материалы. В большинстве этих наук он был, однако, дилетантом. Маститым, авторитетным, талантливым, ярким дилетантом. А его яростная страсть к утверждению одной определенной исторической картины, возвышающей русский народ, мешала ему осознавать

и преодолевать свой дилетантизм. Арциховскому приписывают лаконичную характеристику Рыбакова: «гениальный недоучка».

В своих мемуарах Формозов (2011: 58) так характеризует поздние работы Рыбакова: «В его книгах о былинах и летописях, о славянском язычестве много громких фраз, много эффектных, блещущих, как мыльный пузырь, построений и рядом — поразительное пренебрежение к фактам, к источникам, к работе поколений специалистов. Тут нет и намека на метод, на поиски истины, представления о сложности ведущего к ней пути. Короче, это не наука, а болтовня».

В 1961 г. неожиданно для многих коллег Рыбаков выступил в журнале «Вопросы истории» с большой статьей «Исторический взгляд на русские былины». Занявшись русским эпосом, академик возродил концепцию «исторической школы» Всеволода Миллера в фольклористике. Он солидаризовался с афоризмом академика Грекова: «Былины есть история, рассказаная самим народом». Сам народ, естественно, хранил в своей памяти картину весьма субъективно нарисованную и освещенную. Все лестное выпячено, все мрачное выпущено или искажено. Это и привлекло академика Рыбакова. Вся книга посвящена сопоставлению эпизодов из былин с подробностями из летописей. Порою сопоставления разительные, но их надежность в целом невелика. В книге содержались выпады против основного специалиста по русскому фольклору профессора В. Я. Проппа, который вскоре обретет мировую славу (своими старыми трудами) как один из основателей семиотики. В ответ против Рыбакова выступил сам Пропп (1962). Он показал, что эпос нельзя рассматривать как историю, что надо учитывать специфику жанра устного творчества. Сербский эпос повествует о взятии Стамбула сербскими героями, чего никогда не было. Русские былины говорят только о победах русских богатырей над кочевниками, а на деле было татаро-монгольское иго.

Это не помешало академику выпустить в следующем году том «Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи», где его заключения были повторены и развернуты. Том вызвал восхищение многих читателей-историков и льстивых рецензентов, но никто из солидных фольклористов не признал выводов академика.

Академик же продолжал упорно разрабатывать свою концепцию сложения русской культуры и государственности на Днепре со времен энеолита.

В 1965 г. в двух подряд номерах «Советской археологии» (небывалый случай!) была помещена статья академика «Космогония и мифология земледельцев энеолита». Статья наполнена гаданиями

о возможном смысле орнаментов на керамике трипольской культуры, если исходить из славянских и индийских аналогий. От прямых высказываний, что трипольцы — предки славян, академик в этой работе воздержался. Логика больше определялась экономическим детерминизмом. Трипольцы — земледельцы, значит, их орнамент должен быть связан с плодородием земли. Точка — зерно, ромбик с точкой — поле, вертикальные линии — дождь, горизонтальные — вода, зигзаг — змея (она скрывается в земле). У студента не приняли бы курсовую работу, столь скандально бездоказательную. У академика, директора института, ответственный редактор Арциховский принял (думаю, не без тайного злорадства). Специалист по первобытному искусству Формозов отмечает, что искусство (в частности, и первобытное) не отражает жизнь, хозяйство людей прямо и непосредственно. В пантеоне морского народа финикийцев не было морских божеств, а почитали они быка. У Рыбакова же всё построено на подыскании наглядных отражений в реалиях. О подобных работах Формозов замечает: «...это скорее беллетристика, чем наука» (1969: 18).

Академик Б. А. Рыбаков — глава исторической науки в стране

Видимо, именно в это время Рыбаков начал ощущать, что ему не хватает поддержки со стороны методологов. Да и общая ситуация в стране характеризовалась вниманием к объективным критериям научности —ведь в середине 60-х именно под предлогом субъективности и произвольных решений Хрущев был устранен от власти. Вопреки своей личной антипатии к чисто теоретическим работам, Рыбаков вызвал с Украины пожилого археолога Захарука, занимавшегося бронзовым веком и поздним Трипольем и известного своими не слишком претенциозными заявками на теоретизирование (он разрабатывал свои теории именно на материалах Триполья). Сделав его своим заместителем по Институту, Рыбаков разрешил ему организовать в Институте теоретический сектор.

Между тем в годы самого мрачного ужесточения режима, после подавления «пражской весны», Рыбаков поднимается на небывалую высоту. С 1969 по 1971 гг. директор Института археологии одновременно оказался и директором Института истории. С 1973 по 1975 г. он — глава Отделения истории в Академии наук. Он возглавляет всю историческую науку в стране. Его одна за другой избирают в свой состав иностранные академии, но только соцстран — из западных ни одна.

Можно подумать, что при такой влиятельности археолога охрана памятников в стране гарантирована, и именно его заботами. О постоянном небрежении охраной памятников А. А. Формозов писал горько и красочно, а об участии Рыбакова он сказал коротко: «Как свидетель тех лет, я могу утверждать, что Рыбаков в 1940–1960-х годах никогда публично не ратовал за памятники старины, говоря: всё равно нам ответят: "Мертвые хватают живых"» (Формозов 2004: 293). В советской администрации Рыбаков был своим человеком, а памятники культуры — чем-то чуждым. Статус своих обретали только некоторые из них — те, что вписывались в систему идеологии.

С середины 60-х по начало 70-х он особенно много занимается «Словом о полку Игореве», публикует статьи и книги, в которых выдвигает гипотезу об авторстве «Слова». Считая своим патриотическим долгом защищать подлинность этого памятника от нападок сомневающихся, он в 1964 г. печатает в «Известиях» опровержение неопубликованной книги профессора Зимина о «Слове», а в 1971 г. в журнале «Вопросы истории» выступает с резкой отповедью незадолго до того вышедшему на свободу Льву Гумилеву. Обоим противникам Рыбакова не была предоставлена возможность ответить академику в тех же изданиях. Статья против Гумилева называлась «О преодолении самообмана». В ней много дельного. Отстаивая благо татаро-монгольского нашествия для Руси, Гумилев был крайне эксцентричен, но по большому счету статья с таким названием была бы еще справедливее как самокритика.

5. Ухабы. В 70-е гг. на главу советской исторической науки сыплются ордена и прочие награды, как это было принято в брежневские годы, но происходит два неприятных эпизода, слегка омрачивших безоблачную картину высокого парения. В начале семидесятых во время экспедиции на Шпицберген бежит в Швецию и объявляет себя невозвращенцем некто Мезенцев, сын скромного украинского археолога Мезенцевой. В Швеции он заявляет, что является незаконным сыном академика Рыбакова. Рыбаков повел себя достойно в этой ситуации. От

отцовства не отрекался, вину за покровительство беглецу (добивался его включения в экспедицию) пришлось признать, но академик заявил, что о планах бегства не знал.

В 1975 г. в Казахстане выходит произведение известного молодого поэта, недавнего комсомольского лидера республики Олжаса Сулейменова «Аз и я. Книга благонамеренного читателя». «Благонамеренный читатель» имел шумный успех. Местоимение «я» по-древнерусски писалось «аз». Вместе «аз» и «я» составляют название материка — Азия. Сулейменов уловил националистическое звучание работ академика Рыбакова и, критикуя его, попытался противопоставить этому свое понимание взаимоотношений азиатских народов СССР со «старшим братом» на протяжении истории. Он нашел много тюркских вкладов в славянскую культуру. Не обошлось без дилетанских упрощений и перехлестов. Их и использовал Рыбаков для ответа — на обсуждении в Академии наук и в печати. Но неприятный осадок остался — брежневская элита не любила скандалов. Она готова была проявлять терпимость к любым порокам, но прилично замаскированным. Требовался покой. Воевода получал в кормление некую отрасль и должен был обеспечить спокойствие вверенной ему «земли».

Скандалы происходили непрерывно и с мошенником и фальсификатором Матюшиным, которого археологи-специалисты постоянно уличали и разоблачали, а Рыбаков поддерживал с непонятным упорством. Об этом покровительстве Формозов (2005: 49) меланхолически замечает: «Тут действовали чиновничье-административные соображения, непостижимые для людей, чуждых этому миру». Возможно, впоследствии откроются какие-то не очень сложные мотивы этой рыбаковской симпатии.

Во всяком случае с середины 70-х поручение возглавлять Отделение истории в Академии наук более не возобновляется. Рыбаков опять остается только директором Института археологии. Впрочем, положенную «Гертруду» (звезду Героя Социалистического Труда) к своему семидесятилетию (1978) всё-таки получает.

На следующий год выходит его книга «Геродотова Скифия». В этой книге он оспаривает карты размещения скифских племен, составленные основными специалистами по скифам: Артамоновым, Тереножкиным и Граковым. Артамонову он пеняет за «комическую наивность». Карту он переделывает так, чтобы земледельческие племена Скифии совпали по территории с позднейшими славянскими племенами и могли сойти за их предков. Правда,

Геродот ясно указывал, что все скифы говорили на одном языке, а этот язык лингвисты определили как иранский, родственный осетинскому. Но Геродот указывает второе название скифов — сколоты, а три первых согласных этого имени совпадают с тремя первыми согласными названия «склавины», которым именовали славян греки. Для Рыбакова это уже доказательство. Между тем греки не могли произносить сочетание «сл» и вставляли разделительное «к» — сами славяне никогда так себя не именовали. Геродот не относил название «сколоты» к земледельческой части Скифии. Словом, цепь доказательств то и дело рвется. Рыбаков неоднократно оговаривает, что применяет в этой книге метод «опережающих доказательств» — принимает за доказанное то, что еще нужно доказать. Потом, мол, доказанность станет ясна из общей картины. А ведь такой метод непригоден. В эвристике существует схожий метод, но допущение не принимается за доказанное, а лишь за условную реальность, с которой соотносятся искомые обстоятельства. Доказательства надо приводить в положенном месте.

Любопытно, что здесь Рыбаков уже вообще не возводит славян к трипольцам. Трипольскую культуру всё-таки пришлось отстранить. Он начинает славянский этногенез с тшцинецкой культуры бронзового века, из которой он выводит сколотов, от тех происходит зарубинецкая культура, от нее — черняховское население (славянская принадлежность которого, по Рыбакову, замаскирована римским влиянием), ну а дальше уже культура пражского типа, достоверные славяне. Всё на территории Украины, тогда еще «нашей».

Поскольку к началу 80-х забуксовал грандиозный Свод археологических источников, Рыбаков выступил инициатором другой внушительной серии — «Археологии СССР» в 20 томах. За десятилетие успело выйти 12 томов, очень разных и большей частью устаревших к моменту выхода, как это обычно у нас бывает с такими коллективными академическими изданиями.

Из книг этого времени самого Рыбакова наиболее значительными с точки зрения археолога являются две монументальных монографии о славянском язычестве: «Язычество древних славян» (1981) и «Язычество Древней Руси» (1987).

Проблема славянского язычества и его соотношения с христианством всегда волновала Рыбакова. Со студенческих лет он интересовался церковными уклонистами — нестяжателями, иосифлянами, стригольниками. Одна из первых его работ называлась «Воинствующие церковники XVI века» и была опубликована

в 1934 г. в журнале «Антирелигиозник». Возрождению язычества (поклонения земле, мольбищ под открытым небом) посвящена статья 1975 г. «Антицерковное движение стригольников». То, что славяне заимствовали чужую веру — греческое православие, выросшее из раннего еврейского христианства, — видимо, претило старообрядческому нутру, плохо согласовывалось с националистическими идеями славянского своеобразия и исконного величия. И Рыбаков рисует картину наслоения пришлой религии на мощную местную религиозную систему, которая прорастает в пришлую, воздействует на нее и преобразует ее.

Вопреки прямым указаниям летописи на многобожие, Рыбаков восстанавливает славянское язычество как почти монотеизм, сопоставимый с христианством. Он заимствует у ранних исследователей представление о Роде как главном и чуть ли не единственном боге восточных славян и делает его равнозначным Саваофу. Это он, по Рыбакову, изображен как Збручский идол (камень напоминает стоящий детоРОДный орган), а остальные боги — Перун, Велес и др. — лишь его ипостаси, лики одного божества на четырех гранях идола, под одной шапкой. Между тем такой бог ни в одном источнике прямо не упоминается, и само имя возникло из неправильного прочтения поздних греческих рукописей о гадании по звездам —«генеалогии», в славянском переводе «родословии» (Клейн 1990). А Збручский идол — и вовсе сомнительно, восточнославянский ли (Клейн 1993), и даже — не подделка ли: очень похоже, что подделка (Комар и Хамайко 2011).

В первом томе собраны, склепаны, сведены воедино и ярко, красочно, талантливо описаны религиозные представления разных народов и эпох, чтобы у читателя возникла картина богатой и величественной языческой культуры, существовавшей у восточных славян до православия. Культуры, которая сохранилась и под мантией православия.

Вот две черняховских «чары» с какими-то знаками. Рыбаков (сначала в статье 1962 г. «Календарь IV в. из земли полян», потом в томе о язычестве) весьма хитроумно трактует эти знаки как раннеславянский календарь, выполненный за полтысячелетия до Киевской Руси, — сопоставляет с языческими праздниками, с полевым циклом славянского земледелия и проч. М. Б. Щукин давно уже со всей очевидностью — картами, таблицами аналогий, хронологическими расчетами — показал, что черняховская культура в основном создана германцами — готами. И знаки такого типа имеют

аналогии именно в германских землях. Он же недавно привел еще две расшифровки знаков на «чарах», предложенные любителями, но не менее логичные, чем трактовка академика. По одной из них на «чарах» календарь, но не языческий, а раннехристианский. И это как раз вяжется с готской принадлежностью «чар»: ведь готы были уже христианами (Щукин 1994).

Белорусский праздник «комоедица» Рыбаков связывает с греческой, а затем латинской «комедией» (comoedia) и трактует как языческий праздник медведя: от греческого «комос» — 'медведь', поясняет он. Откуда он взял такой перевод? По-гречески «медведь» — «арктос», а «комос» — 'шествие гуляк, ряженых'. Комедия, да и только. Все, абсолютно все его лингвистические экскурсы, которых множество в этом томе, выполнены на том же уровне. С точки зрения лингвистики они ужасающи (Клейн 1994).

Второй том посвящен в основном описанию двоеверия Руси. Возможно, в двоеверии древних русичей Рыбаков находил какие-то аналогии с современностью, с собственной ситуацией. Это он в условиях коммунистического интернационализма, навязанного извне, сохранил устои своей веры в русское своеобразие, в исконное величие русской культуры, и не он принял большевистскую веру, хотя на вид всё и было так, а коммунистическое государство постепенно трансформировалось и подладилось под его, рыбаковские, принципы и нормы.

В последнее десятилетие правления Брежнева и Рыбакова голоса инакомыслия прорезывались всё чаще — и в политике, и в археологии. Но ведь инакомыслящих археологов достаточно было просто придерживать — не повышать в звании, не пускать за границу, не способствовать защите диссертации. Если оплошали подручные, прошляпили, можно было вырезать неугодную работу из готового сборника и замазать в оглавлении фамилию черным (и это делалось — так поступили с моей статьей задолго до моего ареста). Ну а уж если кто-то очень мешал, хватало намека — пары резких определений на партсобрании, — чтобы соответствущие органы разобрались.

В ряде работ Рыбакова содержалась изумительно красивая гипотеза о начале городской жизни в Киеве за три века до первого культурного слоя. В летописи приводится легенда об основателе города Кие, и некоторые эпизоды этой легенды отдаленно напоминают события с неким антским вождем V в. Хильбудием, сообщаемые греческими источниками. Значит, Хильбудий — это Кий и город

основан в V веке. Критиканы не удовлетворились, лепетали что-то о неясности легенды, об отсутствии культурного слоя. Рыбаков предъявил самый веский аргумент: с его подачи в начале 80-х ЦК Партии и Правительство СССР приняли совместное постановление о праздновании полуторатысячелетнего юбилея Киева в 1982 г. Точная дата была выбрана с кондачка — просто отсчитали триста лет назад от года прихода Олега с Игорем в Киев и их вокняжения там. От Олеговой фразы: «Се буди мати градом русьским».

Противникам пришлось умолкнуть. Были приглашены иностранные делегации, выпущены роскошные юбилейные тома, созваны научные конференции. Года три продолжалась шумиха. Всё — на основе гипотезы Рыбакова.

6. Оценка современников. Совершенно очевидно, что официально академик Б. А. Рыбаков числился великим ученым, и его бесчисленным знакам отличия (Герой социалистического труда, лауреат Сталинских премий и т. д.) соответствовали панегирические биографии. Очевидно, что ультрапатриотические авторы захлебываются в восхвалениях академика Рыбакова, как и его врага Л. Н. Гумилева. Ясно также, что его ученики оставили о нем восторженные воспоминания. А ученики Б. А. Рыбакова — это доктора исторических наук: Л. В. Алексеев, Л. А. Беляев, А. А. Бобринский, Н. С. Борисов, С. А. Высоцкий, В. П. Даркевич, Ю. А. Кизилов, В. В. Кропоткин, Ю. В. Кухаренко, Т. И. Макарова, А. А. Медынцева, Г. Г. Мезенцева, С. А. Плетнева, О. М. Рапов, П. П. Толочко, А. В. Чернецов.

А. В. Чернецов с тоской по минувшему времени пишет (2008: 538):

> «Время директорства Б. А. Рыбакова было не только исключительно продолжительным, но и исключительно плодотворным для развития науки. Конечно, беспримерный размах археологических исследований и ярчайшие вспышки новаторских идей и концепций середины 60–80-х годов XX в. не могут считаться заслугой одного человека, даже такого яркого и одарённого, инициативного и волевого, как Б. А. Рыбаков. Но, так или иначе, Борис Александрович — в высшей степени неслучайная фигура во главе российской археологии тех лет, он был одновременно и порождением этой поры великих свершений, и во многом её творцом. Новые поколения российских археологов, дети эпохи очередного "великого перелома", не могут не оглядываться назад, в прошлое, с определённым ностальгическим чувством,

поскольку становится всё яснее, что эпоха крупнейших достижений и по-настоящему значительных личностей осталась позади, и, может быть, надолго».

Либеральные оппозиционеры советского режима воспринимают Рыбакова иначе. Ученик Арциховского Г. Б. Федоров (1997/2007) характеризовал Рыбакова желчно и с омерзением:

«...некогда талантливый ученый, он, впрочем, с самого начала был не слишком разборчив в средствах. Ради эффектного вывода в статье или в докладе он мог и подтасовать факты; а уж тезис "так могло быть — значит, так и было" — стал одним из основных его "методологических" приемов с самого начала его научной деятельности. Однако при этом он был безусловно одарен, способен к ярким, парадоксальным выводам и наблюдениям. Но тщеславен безмерно. Находка для коммунистической системы. Вступил в коммунистическую партию. Стал все более вхож на Старую площадь — в ЦК КПСС. Охотно выполнял все исходившие оттуда указания — вне зависимости от того, соответствовали ли они истине или нет. Он всячески поддерживал невежественных партийных бонз, желавших стать академиками. За это он был ласкаем, поощряем, облагодетельствован. <...> Но проституирование таланта — опасное дело. На подлинную научную работу уже не оставалось времени, да, видимо, и охоты. Все более наглая фальсификация, чтобы угодить начальству, да и себе самому, хотя бы непрофессионалам казаться действующим, дерзающим ученым. Роскошные издания глубоко лживых, фальсификаторских книг с красивыми рисунками, на глянцевой бумаге. А содержание их — всё позорнее. Поэтому он перестал делать доклады по археологии в Институте археологии — как ни раболепны сотрудники, а все-таки... Поэтому вообще уход от археологии в фольклор, летописание и т. д., где, впрочем, его "труды" вызывали у специалистов только брезгливую усмешку. Поэтому — бешеная ненависть ко всем талантливым людям, стремление даже физически их уничтожить. Например, беспардонная издевательская травля выдающегося археолога Юрия Владимировича Кухаренко, тяжело больного сердечника, закончившаяся его гибелью. Поэтому — зоологический антисемитизм, ложь, злобная клевета, опора на бездарей и уголовников и т. д.»

Тут не всё точно. Все свои звучные идеи и книги Рыбаков выносил на обсуждение Ученого совета, и эти обсуждения привлекали массу народу. Другое дело, что к реакции и выступлениям оппонентов

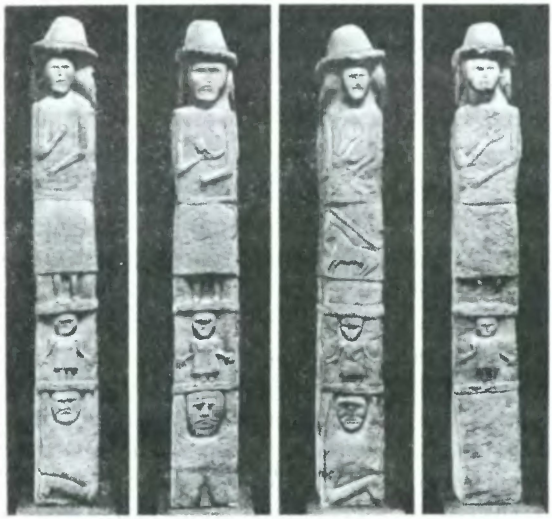
(Раевского по поводу «Геродотовой Скифии» и т. п.) относился наплевательски, формально отвечал на вопросы, а в книгах проводил те идеи, к которым уже пришел.

Википедия использовала для характеристики Рыбакова мое мнение:

> «...у этого несомненно талантливого и эрудированного ученого было несколько существенных общих слабостей. Во-первых, он был не просто патриотом, а, несомненно, русским националистом <...> ультрапатриотом — он был склонен пылко преувеличивать истинные успехи и преимущества русского народа во всем, ставя его выше всех соседних. <...> Во-вторых, он практически не владел иностранными языками и почти не пользовался огромной зарубежной литературой. В-третьих, он придерживался распространенного в России предубеждения против специальной теории и методологии. Для него в исторических науках не существовало собственных методологических проблем. Он был убежден, что исследователю с головой на плечах и общим пониманием истории этого вполне достаточно для использования материалов всех нужных наук — археологии, этнографии, лингвистики, фольклористики и т. п. По сути за пределами своей узкой специализации (ремесло Древней Руси) он был эрудированным и воинствующим дилетантом» (Клейн 2004: 70).

7. Уход. Когда с «перестройкой» это государство начало рушиться, Рыбаков, который к концу восьмого десятка, по советским нормам для номенклатуры, мог бы еще руководить —хоть до самой смерти, — растерялся. Разваливался тот истэблишмент, в котором он чувствовал себя в своей среде. Исчезали на глазах привычные правила. Заработанный десятилетиями авторитет вдруг пошатнулся, и оказалось, что без поддержки этой самой власти он не так уж много стоит. В 1988 г. в без малого восемьдесят лет Рыбаков ушел с поста директора.

По поводу его последней книги «Мир истории» новый директор Института истории А. П. Новосельцев написал резко критическую статью (она напечатана в «Вопросах истории»). В ней Новосельцев (1993) подвергает уничтожающему анализу концепции Рыбакова — его шовинистическое умаление хазар, его заядлый антинорманизм, его слепую солидаризацию с Иловайским и Грушевским в принижении Новгорода и Русского Севера по сравнению с Киевом и Югом (а они оказались уже вне России), его надуманные «исправления»



Збручский идол — иллюстрация из книги Рыбакова «Язычество древних славян». По Рыбакову, это изображение главного бога восточных славян Рода. Давно установлено, что «Род» почти не представлен в источниках, потому что это ошибка древних переводчиков с греческого. А недавно возникли обоснованные подозрения, что Збручский идол не древний, а изделие романтиков XIX века.

летописей. Затем в журнале был проведен «круглый стол» с критикой Рыбакова...

Но вскоре выяснилось, что созданное Рыбаковым обладает живучестью и долгопрочностью. Не столько в содержании науки, сколько в ее организации и особенно вне науки.

Оказалось, что заменить Рыбакова некем. Он так долго подавлял всякое самостоятельное мышление и независимую активность, что лидеры просто не выросли поблизости. Фигур подходящего калибра не нашлось. Ему пожаловали титул Почетного Директора с прежним окладом. Характерно, что и среди учеников нет фигур первой величины. Пригласили в реальные директора антрополога Алексеева, при котором сохранилась вся прежняя команда и прежний стиль управления. Алексеев, сравнительно молодой, вскоре умер. Команда осталась. Почетный Директор указаний не дает, но всё — как при нем. В Институте шутят, что Рыбаков стал директором ПО ЧЕТНЫМ, а Мунчаев — по нечетным (дням). В другом институте, востоковедения, директором — сын Рыбакова, Рыбаков-младший, внешне очень похожий на отца. Династия...

В археологии академик Рыбаков остается фигурой. Он выпускает новые книги, переиздает старые. Преподает на истфаке Университета. В коммунистических газетах «Правда» и «Завтра» появляются его интервью, в которых он порицает Маркса за русофобию, но хвалит Ленина и Сталина как собирателей русской земли.

Еще влиятельнее оказались идеи Рыбакова вне археологии. На дрожжах перестройки выросло много ультрапатриотических движений, как умеренного, так и откровенно фашистского толка. Появились даже сторонники возрождения язычества как исконно русской религии — взамен христианства с его еврейским происхождением. Для них всех академик Рыбаков с его верой в русскую национальную исключительность и в исконное многотысячелетнее величие российской государственности стал научным ориентиром и опорой. Любопытно, что он попал в одну обойму с ненавистным ему прежде лагерным сидельцем Львом Гумилевым. Крайности сходятся. Тут они сошлись на почве национализма.

В 1992 г. Гумилев, в последние годы сильно одряхлевший, умер. Умерли все, с кем Рыбаков спорил и воевал. Вокруг пустота. На рубеже веков Рыбаков еще жив, хотя старость и его не обошла.

Кузьмина (2008: 48) описывает Рыбакова этого времени: «постаревший, осунувшийся, с потухшими глазами» и дальше: «опустившийся, совсем старый, брошенный всей своей свитой заискивающих прихлебателей...».

По воспоминаниям А. А. Юшко (2008), сотрудницы Института археологии,

> «последние месяцы своей жизни он провёл в интернате для ветеранов АН. Так решили его родные. Пребывание там его очень тяготило. Я навещала его довольно часто, благо, что интернат этот находится неподалёку от моего дома. И почти всякий раз он встречал меня фразой: "Аля, я здесь узник. Я так хочу домой. Я разобрал бы свою библиотеку". Я бывала в его большой квартире на Ленинском проспекте. Все её стены, включая туалет, от пола до потолка были выложены книгами. Но с мечтами о доме надо было расстаться. Квартира была заново отремонтирована и занята родственниками. Небольшая же меблированная его квартирка на втором этаже здания интерната имела большую лоджию, которая выходила в лес. Там мы пили чай и обсуждали проблемы, связанные с археологией. Конечно, оторванный от привычного мира своего кабинета, своих книг, Борис Александрович чувствовал себя как птица в клетке... работать по-настоящему он там уже не мог».

27 декабря 2001 г. 93-летний академик умер в доме для престарелых (Седов 2002). Юшко: «Рядом с ним никого не было...» С. П. Щавелёв (2010б: 211–212) по поводу столетия Рыбакова пишет: «...когда несколько лет назад нынешний юбиляр, сданный родным сыном в богадельню, "доходил" там на глазах медицинского персонала и скончался в забвении, помочь ему оказалось некому. <...> Богатейший личный архив академика оказался утрачен, после того как того незадолго до кончины принудительно госпитализировали по якобы психиатрическим показаниям».

По сути, в науке он умер раньше — с падением советской власти и распадом СССР. Но вне науки он жив и сейчас. Книги его переиздаются и пользуются живым спросом, концепции вдохновляют молодежь, страсти зажигают сердца. Историческое общество учредило Рыбаковскую медаль для награждения историков, развивающих его идеи. Но идеи его, как и идеи его противника Льва Гумилева, всё больше развертываются вне науки — неоязычники, мистики, ультрапатриоты всех окрасок политического спектра творят им культ и выступают с образами этих двух великих проповедников на своих хоругвях — проповедника от крамолы и проповедника от власти.

В поисках независимых путей

М. И. Артамонов

Вельможу должны составлять
Ум здравый, сердце просвещенно...

Г. Р. Державин. Вельможа.

Был в вельможе человек.

Г. Р. Державин. Эпистола И. И. Шувалову, черновой вариант.

1. Образ. К 100-летнему юбилею М. И. Артамонова одна из его учениц С. А. Плетнева (1998: 202) написала очень справедливые слова о времени и характере Артамонова:

> «Стоять на переднем крае археологии было трудно и опасно. Для многих ученых это кончилось трагически. М. И. Артамонов избежал самого страшного конца, хотя неоднократно очень близко подходил к рубежам, от которых редко возвращались коснувшиеся их. Он выстоял, не потеряв при этом человеческого достоинства, чести и разума. Никогда он не опускался до конъюнктуры в науке, до вертлявого соглашательства в жизни. И если первое грозило только карьере ученого, то отсутствие "гибкости" нередко приводило людей к крушению в жизни.
>
> Хотя и ему нередко приходилось отступать или, если это было возможно, отмалчиваться, сохраняя внешнее спокойствие, М. И. Артамонов всегда был очень сдержанным, холодноватым и закрытым — этому его научили обстоятельства той эпохи, в которой он жил и работал. Он очень редко рассказывал о себе (иногда только мелкие эпизоды). Скорее всего, ему претило упиваться своими успехами и, наоборот, перебирать на людях неприятности и поражения, предательство друзей и злобу врагов. Всегда казалось, что он неизмеримо выше этого.
>
> Эти качества не способствовали установлению тесных контактов с ним, особенно невозможно это было для младших

коллег и учеников, в том числе и для меня. Поэтому написать о Михаиле Илларионовиче очерк, который дал бы представление о нем как о человеке со всеми его увлечениями, достижениями, ошибками, вряд ли кто-либо сможет».

Создать образ М. И. Артамонова и мне трудно, еще и потому, что это был мой научный руководитель по археологии в Ленинградском университете. Он был мне очень близок, хотя и не настолько, как некоторым другим ученикам — А. Д. Столяру, Г. И. Смирновой. Многие его работы были для меня образцовыми, я восхищался его независимым поведением. В то же время у меня были и свои обиды и разочарования. В таких обстоятельствах трудно соблюсти объективность, но я постараюсь.

Для фотографа трудности близкого расстояния во многом снимаются широкоугольным объективом. В литературном портрете эту роль играют широкий охват среды и ситуации, использование литературных источников и соблюдение масштаба и меры.

За почти сорок лет, прошедших со времени смерти Михаила Илларионовича, появилось много воспоминаний и очерков о нем, так что недостатка информации нет. Но она очень односторонняя. Больше всего написано профессором А. Д. Столяром (1998; 1999 и др.), и в этих работах содержится много ценной информации из первых рук, но эта информация тонет в многословных высокопарных излияниях, и, в силу особенностей характера данного автора, о своих учителях он способен писать только с позиции на коленях (в таком же стиле он писал и о Равдоникасе). Он воображает себя жрецом некоего культа великих учителей и всякую попытку критики и объективности воспринимает как святотатство и покушение на святую истину.

Несколько более объективна С. А. Плетнева (1996; 1998), поскольку у нее было два учителя, два руководителя, весьма критически и даже враждебно настроенных друг против друга: в Москве — Рыбаков, а в Ленинграде — Артамонов. Светлана Александровна умудрялась, будучи в основном ученицей Рыбакова (притом любимой ученицей, можно сказать, фавориткой), быть своей в семействе Артамоновых, работать в артамоновской экспедиции и числиться также его ученицей. Я был в приятельских отношениях со Светой и, зная ее как натуру вспыльчивую и авторитарную, не могу понять, как ей удавалось исполнять роль ласкового теляти, которое двух маток сосет. Но в ее воспоминаниях чувствуется необходимость соблюсти дипломатические нормативы.

Писал об Артамонове в своих произведениях и Л. Н. Гумилев (1966), но он был очень субъективен. Он благоговел перед Артамоновым,

когда был благодарен ему за помощь в трудных обстоятельствах и когда он получил поручение от него обследовать территорию Хазарии, а затем редактировал артамоновский труд о хазарах. Потом они рассорились из-за расхождений по этногенезу, а взгляды на хазар у них были изначально разные.

Писал и я об Артамонове (1968; 2010), стараясь быть объективным и представить адекватно как масштабность этой фигуры, так и ее слабости. Кстати, мне некоторые его слабости также нравятся: без них он не был бы столь колоритен.

В Интернете Артамонов представлен, пожалуй, необъективно: почти все материалы о нем связаны с хазарской проблематикой, тогда как в археологии он известен прежде всего и больше всего своими исследованиями по скифам и по связанному с ними (тогда) вопросу о происхождении славян. Особая острота хазарской проблематики, которая выпячивала ее на первый план, зависела от того, что этот тюркский народ в древности принял иудаизм и, таким образом, его воздействие на Древнюю Русь (вопрос о дани хазарам, хакан или каган — титул властителя Руси) оказалось привязано к истории евреев в России, а роль евреев очень волнует русских националистов, а в последние десятилетия также историков из Израиля, выходцев из России.

В общем, в литературе о нем чувствуется некоторая идеализация, чему есть свои причины.

2. Юность Максима. Артамонов Михаил Илларионович (1898–1972) родился в крестьянской семье в деревне Выголово (Весьегонский, потом Краснохолмский уезд Тверской губернии) и всю жизнь говорил, слегка окая. Отца (середняка по анкете) звали Балякин Илларион сын Артамонов, юному Михаилу Балякину его фамилия не нравилась (в ряде говоров «балякать» значит ‘говорить невнятно’, ‘бормотать’, ‘болтать’), и он ее сменил на образованную от отцовского отчества. Семья была в дальнем родстве со Чкаловыми, но почетность этого родства выяснилась, конечно, лишь в 30-е гг.

Девятилетнего мальчика с матерью отец забрал к себе в Петербург, когда устроился рабочим. Там сын и получил среднее образование (начальная школа и вечернее четырехклассное училище). Воспитывался больше в семье книгоиздателя, отца своего школьного друга. К экзамену на аттестат зрелости готовился в 1914–1916 гг. на курсах, давших ему специальность домашнего учителя. Одновременно работал конторщиком и счетоводом, жил уже самостоятельно от

отца. По воскресеньям занимался живописью в мастерских разных художников, главным образом — у К. С. Петрова-Водкина. Мечтал о поступлении в Академию художеств.

В начале 1917 г., восемнадцати лет, призван в армию, но по состоянию здоровья — нестроевым. В Гдове был избран членом Совета солдатских депутатов, участвовал в боях на Двине. Затем на Северном фронте, где он был вольноопределяющимся, его выбрали секретарем дивизионного комитета. На выборах одержал победу над Н. И. Ежовым, впоследствии наркомом внутренних дел, главой сталинских душегубов. Слава богу, в советское время тот не вспомнил о своем конкуренте революционных лет.

Смолоду Артамонов проявил себя как признанный и авторитетный лидер, уверенный и решительный. Однажды, забравшись на крышу склада со спиртным, держал под прицелом пулемета взбунтовавшуюся солдатню своих двух полков (те жаждали распить). В момент выступления Ленина с балкона дворца Кшесинской в июле 1917 г. проходил под балконом. Вспоминал (публично!), что речь Ленина не произвела впечатления («Рыжий, картавый... Посмеялись, пошли дальше»). В конце 1917 г. был демобилизован и, подобно герою киносерии «Максим», направлен на работу руководителем национализированного Международного банка. Затем подвизался при штабе анархистов в Петрограде, внимал анархистскому вождю Якову Черному.

В 1918 г. учился живописи в частных школах (в том числе под руководством Петрова-Водкина). В 1918 же году редактировал журнал «Джек». Хотя на титульном листе значилось, что журнал «стоит на советской платформе», второй номер был конфискован, а двадцатилетний редактор очутился в родной губернии (по анкетам — после тяжелого сыпного тифа). Там работал в уездном отделе наробразования Красного Холма, затем учителем истории и рисования и заведующим сельской школой. Знакомство с наезжавшим в Красный Холм этнографом Д. А. Золотаревым (с 1919 г.) привело к увлечению древнерусским искусством.

В 1921 г. Артамонов снова приехал в Петроград и поступил учиться живописи (всегда отлично рисовал) в Академию художеств, которая была вскоре преобразована во ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт). Одновременно поступил в Археологический институт в Петрограде, а с присоединением института к Университету оказался в Университете. Года через два оставил ВХУТЕИН. По рассказу П. Н. Третьякова, когда увлеченный новыми веяниями

в живописи Артамонов создавал «шедевр» на холсте, за спиною его остановился известный художник (Третьяков называл его, но я не запомнил), постоял немного и сказал: «Говно, молодой человек, говно!» — и пошел дальше. Артамонов не смог этого перенести и ушел из ВХУТЕИНа.

Рисунок М. И. Артамонова: Антоньев монастырь в Красном Холме, 1923 г.

В 1922 г. участвовал в Верхневолжской этнологической экспедиции, которой руководил профессор Д. А. Золотарев, учившийся в России и во Франции. В Университете Артамонов учился у Н. П. Сычева по циклу византийско-русского искусства, но посещал и занятия сычевского учителя Д. В. Айналова, а также А. А. Спицына и других преподавателей. Студенческая работа «Миниатюры Кенигсбергской летописи» позже, в 1931 г., была опубликована как статья. В 1923 г. по поручению Марра изучает в родной Тверской губернии архаичное гончарное ремесло. Часто бывая в Твери, отдыхал в приятельской компании, сложившейся вокруг председателя Губисполкома А. А. Жданова, будущего главы Ленинграда и сталинского идеолога. Тогда Жданов

М. И. Артамонов (крайний справа) в Верхневолжской экспедиции в дер. Деледино , третий слева — М. П. Грязнов

в компании аккомпанировал песням и танцам на рояле (как позже аккомпанировал Сталину). Впоследствии наставлял Шостаковича и Прокофьева, как сочинять музыку.

В студенческие годы Артамонов подрабатывал преподаванием в красноармейских школах и экскурсоводом. Когда выучил языки, неясно, но читал на всех основных европейских языках, хотя не говорил хорошо ни на одном. Познакомился с Ахматовой и Есениным, сам писал и печатал стихи.

Окончил отделение археологии и истории искусств в 1924 г. Был оставлен при Университете (младшим ассистентом археологического кабинета) и одновременно принят на работу в ГАИМК. С 1926 по 1929 г. был в аспирантуре ГАИМК, под руководством опять же Н. П. Сычева, занимался исследованием фресок новгородской Нередицы (эта аспирантская работа опубликована в 1939 г.). Одновременно с 1926 г. участвовал в Северо-Кавказской археологической экспедиции А. А. Миллера (впервые попал в археологическую экспедицию уже почти тридцатилетним аспирантом!). С тех пор считал себя именно учеником Миллера. Миллер — это французская школа (как и Волков и Ефименко).

В экспедиции Миллера он освоил методику раскопок (Миллер был в этом общепризнанным мастером). В экспедиции Миллера ему пришлось осваивать и строгость иерархии, и тонкости старорежимного этикета. Скажем, обедать в экспедиции было принято по рангу: студенты не могли сесть за один стол с аспирантами, аспиранты — с профессором и его приближенными. Во взаимоотношениях соблюдалась церемонность. Артамонов нарушал принятые правила, и дамы экспедиции нажаловались Миллеру. Тот вызвал Артамонова на объяснение. По-видимому, взаимные недоразумения были исчерпаны, так как с этих пор Миллер всегда уединялся для задушевных бесед на берегу Дона именно с Артамоновым.

К 1930 г. Артамонов окончил аспирантуру и был зачислен в штат, в котором удержался до 1960 г. До 1930 г. все его интересы были связаны с древнерусским искусством — древнерусской архитектурой, фресками, миниатюрами кенигсбергской летописи. Для человека, учившегося живописи, это естественно. Однако с этого года наступает перелом — Артамонов переквалифицируется на первобытную археологию: бронзовый век, скифы, происхождение славян. По-видимому, подействовало потрясение политического характера: именно в 1930 г. был первый раз арестован его руководитель Николай Петрович Сычев, ученик Кондакова и Айналова. Второй раз он был арестован в 1933 г., в третий —в 1948 г., а по освобождении выслан из Ленинграда. Артамонов

привязал свои интересы ко второму руководителю — Миллеру. Тот был арестован только в 1933 г., но к этому времени Артамонов был уже самостоятелен. Ему было уже 34 года, да и от тематики Миллера он тогда отошел: с 1934 г. занялся хазарами.

Уже во времена молодости Артамонову довелось быть в гуще исторических событий и встречаться запросто с видными деятелями истории, а окружающие испытывали на себе ее суровую руку. Репрессированы были все первые учителя Артамонова: и Сычев, и Миллер, и Золотарев. Да и кровавый изверг Ежов не избежал пули в расстрельном подвале.

М. И. Артамонов
в начале занятий археологией

3. Занятия курганами и директорство. В начале 30-х гг. (1930–1932) в ГАИМК Артамонов был включен в группу ИКС — истории кочевого скотоводства (в нее входили также В. В. Гольмстен и М. П. Грязнов). Группа подготовила труд «История кочевого скотоводства», но он так и не вышел. У Артамонова работа в этой группе отложилась в двух статьях — «К истории средств передвижения» 1933 г. и статье 1934 г. — «Совместные погребения в курганах со скорченными и окрашенными костяками». Эта его первая заметная статья по археологии появилась, когда автору было уже 36 лет. Она была в числе первых попыток социально-исторического (как тогда считалось, марксистского) осмысления погребальных памятников. В 1935 г. без защиты диссертации Артамонов был утвержден в степени кандидата наук. Тогда же начались и раскопки курганов эпохи бронзы — прежде всего на Маныче.

В Университете Артамонов преподавал непрерывно, с середины 30-х уже как профессор. В это время вышло постановление 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР» — осуждалась замена истории обществоведением, социологизация истории, школа М. Н. Покровского, и конкретная история возвращалась в школы и университеты. Под центральными партийными документами об

этом стояли подписи Сталина, Кирова и артамоновского «кореша» Жданова. В декабре 1934 г. Киров был убит — и в стране развернулся массовый, Большой террор. Этот террор смел множество археологов, но также и большевистских руководителей ГАИМК, да и саму ГАИМК. На ее месте к 1937 г. оказался гораздо более скромный институт, в котором из партийцев осталась только гардеробщица (Платонова 1999: 468). В этом институте теперь Артамонов и работал. Его лично, крестьянского сына, в партию не лезшего, террор не задел.

В 1934–1936 гг. Артамонов занимался по-прежнему степной культурой, но более поздней — хазарами, руководя Саркельской археологической экспедицией. Раскопки Саркела, хазарской крепости на Дону, показали сходство культуры с салтово-маяцкой культурой, а это позволило ему выдвинуть гипотезу о принадлежности этой культуры не аланам (по связи с Кавказом), а тюркоязычным хазарам и болгарам, выделившимся из пришлого гуннского насления. В 1935 г. Артамонов выпустил книгу «Средневековые поселения на Дону» (по археологическим источникам), а в 1937 г. — монографию «Очерки истории хазар», в которой без дополнительного привлечения археологических источников, работая только с письменными, рассматривал Хазарский каганат как важную силу в истории Причерноморья, включая и Древнюю Русь. В 1940 г. вышла его большая статья, в которой он сформулировал свою гипотезу о принадлежности хазарам салтово-маяцкой культуры. Этот вывод впоследствии одни его ученики (Плетнева) развивали, другие (Ляпушкин) отвергали.

Планировалась его работа над хазарами как докторская диссертация. Но работы в Саркеле не были продолжены. Во-первых, хазарский слой в Саркеле оказался скудным по сравнению с мощным славянским слоем, и Артамонов завершил свои работы в Саркеле и увлекся скифской тематикой. Скифскими древностями он занимался в связи с историей кочевого скотоводства, вот теперь к ним вернулся.

Во-вторых, Артамонов внезапно стал крупным администратором. В 1938 г. коллектив Института истории материальной культуры АН СССР, незадолго до того созданного на месте ГАИМК, восстал против своего первого директора — академика Орбели, ученика Марра. Тот не терпел возражений и стал было увольнять авторитетных работников (Н. Н. Воронина, А. Н. Карасева, В. Ф. Гайдукевича, Н. И. Репникова), да и вообще обращал мало внимания на институт, занимаясь в основном Эрмитажем. Коллектив выдвинул на этот пост врио замдиректора Артамонова, который и стал директором ИИМК. Даже оставляя в стороне то, что Артамонов был всего лишь кандидатом наук

и беспартийным (хотя и профессором с 1935 г.), случай этот небывалый, так как обычно советские власти не терпели такой инициативы снизу. В обстановке террора и порожденого им страха Артамонов проявил мужество и взял на себя ответственность за решения, которой все избегали. Он правильно понял единственную возможность Институту уцелеть и призвал переключиться с агитпропа на историю — она понадобилась властям для патриотического воспитания. Но переключиться, сохраняя источниковедческую специфику (Платонова 1999). При Артамонове были основаны серии МИА и КСИА. При Артамонове и во главе с ним был подготовлены два первых тома «Истории СССР» (знаменитый «макет»). Из-за войны они так и не вышли, но вышедшие после войны под редакцией Б. А. Рыбакова «Очерки истории СССР» во многом повторяли эти два тома (Плетнева 1998: 206).

При Артамонове сборники «Советская археология» перешли в ведение ИММК, и он стал их редактором. Он также основал серию «Кратких сообщений» ИИМК, а чуть позже — МИА («Материалы и исследования по археологии») — для крупных монографий и полных полевых отчетов. Так возникла основная сеть археологических изданий страны, продержавшаяся в этом виде полвека. Уже будучи директором, в 1940 г. Артамонов вступил в партию.

М. И. Артамонов — директор ИИМКа

В конце 30-х гг. в ИИМК он изучал в основном скифов и подготовил докторскую диссертацию по ним, которую защитил в 1941 г. — в первые дни войны. Но в блокаде Ленинграда не остался, а в ноябре 1941 г. был эвакуирован с частью института и в 1943 г. оказался с группой сотрудников сначала в Казани, потом в Свердловске и, наконец, в Елабуге (Татарская АССР). Победу коллектив встретил рассыпанным по разным городам. В результате в разгар войны, в 1943 г., административный центр Института переместился в Москву, а пост директора был передан историку академику Грекову. Артамонов же потом возглавлял то

сектор славяно-русской археологии, то сектор бронзы, то Северного Кавказа и Средней Азии. Некоторые ленинградские археологи винили Артамонова в том, что упустил бразды правления из рук. Окладников говорил: «Пока Артамонов в Елабуге картошку выращивал, москвичи дела к рукам прибирали» (Конопацкий 2001: 220). Но ведь из Ленинграда, где в блокаде умерло 28 сотрудников, тоже руководство всем институтом было затруднено. Вероятно, лучше было переехать в Москву, но распределение, где кому быть, не зависело от намерений работников.

В 1943 г. ВАК утвердила его докторскую степень. В Ленинград вернулся в 1945 г., после победы. На базе докторской диссертации и сложилась серия статей 1947–1958 гг. о скифах. В диссертации Артамонова интересовали прежде всего вопросы социального строя скифского общества. Но во время публикации статей появились и новые интересы (к этногеографии), и новые идеи (независимо от Гракова он пестовал идею о двух скифских культурах).

4. Славянский этногенез и вершина карьеры. После Отечественной войны основные интересы Артамонова смещаются в сторону этногенеза восточных славян. Этой проблеме посвящена его серия статей 1940–1951 гг. Господствовавшему автохтонизму в этом вопросе (особенно в работах москвичей и киевлян) Артамонов противопоставил свою концепцию западного происхождения славян — с территории Польши, связывая это с пшеворской культурой. Тогда это звучало свежо и несколько фрондерски. Однако, поскольку Польша входила в социалистический лагерь, политически такая фронда считалась допустимой. С высоты поста референта ЦК с ним вежливо спорил Третьяков, сторонник автохтонной концепции.

С мая 1946 г. Артамонов исполнял обязанности заведующего кафедрой археологии, поскольку Равдоникас утратил интерес к работе. В 1948 г. Артамонов был назначен проректором Университета, а с 1949 г. заменил на посту заведующего кафедрой археологии Равдоникаса, проигравшего в мятеже против засилья москвичей. В 1950 г. исполнял и обязанности ректора Ленинградского университета, когда ректор Н. А. Домнин отказался увольнять генетиков и был вынужден уйти.

Все эти годы также руководил огромной археологической экспедицией на строительстве Волго-Донского канала (1949–1951). Снова копал Саркел, но возвращение в Саркел было вызвано не поворотом научных интересов, а исключительно надобностями археологического

обследования местности для великой стройки — Волго-Донского канала. Рабочих поставлял ГУЛАГ — большей частью это были женские бригады (около 100 человек), для них специально был разбит неподалеку «исправительно-трудовой» лагерь с вышками и собаками. Солдатами конвоя были узбеки. Снаружи лагеря размещались около 100 студентов в палатках и сотрудники-археологи. Помню, как-то после тяжелого дня Артамонов остановился в телогрейке, оглядел гигантские раскопы, толпы заключенных, ковыряющихся в земле, вышки на горизонте и проговорил про себя: «И кому всё это нужно...» — махнул рукой и ушел. Так и осталось неясным, что имелось в виду — затраты на раскопки или их оригинальное обеспечение рабочей силой.

В августе 1951 г. по личному распоряжению Сталина опять стал директором, на сей раз Эрмитажа, сменив и там на этом посту академика Орбели, чем-то не угодившего начальству. Проректорскую должность оставил. Экспедицию практически вела жена — Ольга Антоновна Полтавцева. Сам в экспедицию прилетал на самолете и в элегантном сером костюме (а осенью в стеганой тужурке) обходил раскопы, сопровождаемый любимым эрдель-терьером. Руководил Эрмитажем 13 лет — до 1964 г.

В Эрмитаже он восстановил издательство, ликвидированное Орбели; хотя обещанного повышения зарплаты власти не провели, повысил заработки сотрудников за счет повышения гонораров в изданиях Эрмитажа; сильно расширил первобытный отдел — археологию. Столяр, много работавший в Эрмитаже, характеризует положение там нового директора так: «Не обладая общительностью Орбели, он оставался в этих стенах главной и совершенно самостоятельной фигурой» (Столяр 1999: 23). Он поясняет, что академику Орбели был свойственен «феодальный» стиль руководства с дворцовыми интригами и делением на фаворитов и изгоев, а Артамонов был ровен и спокоен. Интриги он пресек вежливо и не без юмора. Приходившим со сплетнями друг на друга сотрудникам он жаловался на плохую память и просил всё изложить письменно и непременно с подписью. Визиты и интриги прекратились. Б. Б. Пиотровский, оставшийся при нем замом по научной части и потом сменивший Артамонова, отзывается о своем предшественнике так: «Он имел административный опыт, был доброжелательным. В музее закончились скандалы» (Пиотровский 2009: 251).

Разумеется, все эти годы он читал лекции. Его общие лекции основ археологии (всему первому курсу факультета) были, откровенно говоря, скучны и заурядны. Студенты не слушали, в аудитории стоял ровный

М. И. Артамонов на кафедре археологии
ведет занятия со студентами

гул. Столяр подает это так. Сказав, что общие лекции Артамонова «аккумулировали многолетний опыт глубокого владения <...> предметом», Столяр (1998: 12) продолжает: «По стилю их следует отнести к академическим (можно даже сказать в «жебелевском духе») — лишенным аффектации и никак не нацеленным на внешнюю занимательность». Артамонов к ним явно не готовился, полагаясь на свой «многолетний опыт» и авторитет. И вынужден был их прекратить. Курс археологии бронзового века читал, положив перед собой на кафедру английскую книжку Чайльда (тогда еще не переведенную). Зато лекции на спецкурсах, отражавшие исследовательские занятия самого профессора, были чрезвычайно интересны и увлекательны. Тут он излагал не только факты, но и свой анализ проблем, аргументы и контраргументы, и его увлеченность передавалась нам, студентам.

5. Под ударами: Эрмитаж. Зимой 1950 г. я, тогда студент IV курса, дал Михаилу Илларионовичу свой доклад о несостоятельности учения академика Марра. Мой шеф не числился завзятым марристом, но какие-то положения Марра пытался применять и положенные ссылки на Марра иногда вставлял в свои работы по этногенезу. К докладу моему отнесся серьезно, вызвал меня к себе домой, помню, это была Масленица, и его супруга Ольга Антоновна угощала меня блинами. После долгой беседы и испытания доклада на прочность он предложил поставить доклад в ИИМКе и пригласить видных

профессоров мне оппонировать. «Вы покушаетесь на самые основы нашей науки, — сказал он. — Но так как я не могу вас опровергнуть, то что-то в нашей науке неладно». Предупредил об опасности, но для меня честь была слишком высока, чтобы отказываться.

Доклад был сделан в марте, и тотчас у меня начались неприятности — меня вознамерились исключать из комсомола, но в мае началась в «Правде» дискуссия по языкознанию. Теперь неприятности начались у адептов марровского учения (подробнее см. Клейн 2010). Для шефа же это означало необходимость каяться и признавать ошибки — появилась его статья в «Советской археологии», озаглавленная: «Труды товарища Сталина по вопросам языкознания и советская археология» — кажется, единственный его вынужденный труд, явно конъюнктурного характера. Но так как расправ, подобных тем, что прокатились после недавней дискуссии по биологии, в лингвистике не было, то для Артамонова этими покаяниями и обошлось. Более того, в 1951 г. его назначили директором Эрмитажа на смену ученику Марра академику Орбели. Назначение было утверждено Сталиным.

Зато в декабре 1951 г. на него обрушивается более резкая критика в связи с его старыми исследованиями о хазарах — тюркском народе иудейского вероисповедания. Артамонов изучал культуру и государство хазар как один из тех центров, предшественников Киевской Руси, чье влияние ощущается в раннем государстве славян. В «Правде», центральном партийном органе, появляется погромная статья о давней книге Артамонова (1937 г.), собственно, о трехстраничном предисловии к этой книге. Статья была написана без приведения доказательств и подписана неким П. Ивановым. Все понимали, что это псевдоним какого-то крупного археолога, многие подозревали Рыбакова. Академик Рыбаков выступил в 1952–1953 гг. с другой трактовкой Хазарского каганата — не как нормального государства, а как паразитического образования, к тому же маленького по территориальному охвату. Его ученица Плетнева, работавшая в экспедиции Артамонова, предложила позже компромиссную концепцию: это государство стало паразитическим только со времени принятия иудейской религии.

После смерти Сталина обстановка в стране изменилась, и, вдохновленный хрущевской оттепелью, в 1962 г. Артамонов выпустил в Эрмитажном издательстве второе издание своей «Истории хазар», оставив свои основные трактовки принципиально теми же. Не отказал себе в удовольствии отослать экземпляр в Москву Рыбакову. Тот ответил письмом:

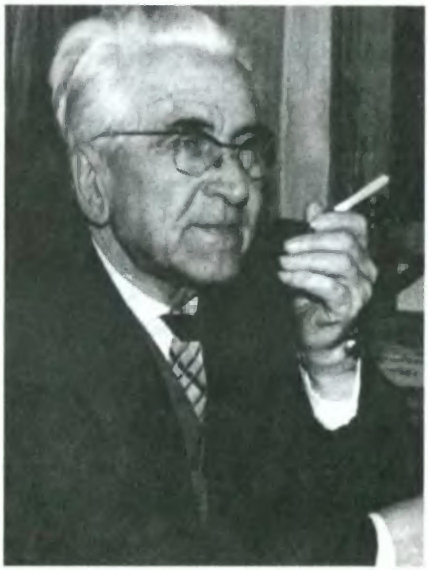
«Дорогой Михаил Илларионович!

Благодарю Вас за посланную мне великолепную Вашу книгу. Она издана хорошо и интересно написана. Когда-нибудь в личной беседе я постараюсь Вас разуверить в одной крупной ошибке, заблуждении — Вы почему-то отождествляете меня с Ивановым. Как можно так думать!» (Медведенко 2006: 76).

В семействе Артамонова этому опровержанию склонны были верить. Подозревали другого (насколько я помню, называли не Б. А. Рыбакова, а А. Ю. Якубовского). Очень интересную версию выдвинули два израильских исследователя (Шапира и Либин 2007): П. Иванов — это Сталин. Только он мог написать статью в «Правду» без цитат из классиков марксизма. Да и никто другой не осмелился бы выступить против ученого, только что назначенного самим Сталиным быть директором Эрмитажа. В 1951 г. статья была совершенно очевидно одним из выпадов антиеврейской кампании, но Сталин всегда старался не выглядеть антисемитом — слов «еврейский» или «иудейский» в статье не было. Другое дело, что кто-то из специалистов обратил внимание вождя на книгу Артамонова, и этим доброхотом мог быть какой-то археолог или историк.

Но в середине 1960-х переиздание артамоновских хазар было выдвинуто на ленинскую премию, а Рыбаков противопоставил этому «старательную, но отнюдь не блещущую талантом» книгу «своего приятеля и клеврета» Е. И. Крупнова. По свидетельству Формозова (2004: 253), «Рыбаков организовал отрицательную рецензию» на артамоновский труд «совершенно случайного в науке человека, бывшего фотографа Я. А. Федорова, добился ее напечатания в "Вопросах истории" и протащил своего ставленника». Таким образом, если Иванов — это не он, то Федоров — это он.

За время работы директором Эрмитажа Артамонов снова обратился к скифам, столь великолепно представленным в этом музее, но обратился уже, естественно, больше в плане изучения скифского искусства. С 1961 г., после многолетнего перерыва, начинает выходить новая серия его статей и книг по скифской культуре, продолжающаяся и после его смерти. Это колоссальный том «Сокровища скифских курганов» (1966), почти такой же том «Сокровища саков» (1973), небольшая книга «Киммерийцы и скифы» (1974). По Всесоюзным скифоведческим конференциям (их было три) можно заметить, как от раза к разу ширилось влияние его идей и работ. Скифов рассматривал как иранцев, не как предков славян. Считал, что многое в своем искусстве скифы вынесли с Ближнего Востока, из своих военных походов.



М. И. Артамонов — директор Эрмитажа и проректор Университета

В городе он был заметен своими выступлениями в защиту памятников культуры. Вместе с акад. Д. С. Лихачевым выступал в защиту церковных зданий, против модернизаторской реконструкции Невского проспекта, против строительства на Неве 27-этажной гостиницы «Ленинград». Когда ленинградские власти — секретарь ЦК Ф. Р. Козлов и секретарь обкома В. С. Толстиков — приехали в Эрмитаж с целью отобрать Николаевский зал для правительственных банкетов, а Петровскую галерею под буфетную, Артамонов ответил: «Пока я директор, этого не будет».

Как директор Эрмитажа он вел себя весьма независимо, пристроил при Эрмитаже возвращенных после репрессий ученых (Б. А. Латынин, Л. Н. Гумилев, М. А. Гуковский, И. Г. Спасский, Л. И. Тарасюк и др.), пригрел опальных художников и отказывался выполнять некоторые распоряжения партийного руководства области. Отчаянная борьба развернулась за сохранение в Эрмитаже импрессионистов и постимпрессионистов. Отношения Хрущева с творческой интеллигенцией вконец разладились. Под давлением хрущевского министра культуры Е. А. Фурцевой президентом Академии художеств был избран В. А. Серов — классик соцреализма. Он настаивал на замене этих идеологически опасных картин творениями соцреализма и на открытии в Эрмитаже соответствующего отдела. Артамонова попытались уломать посулами: намекнули на возможность избрания в Академию художеств и Академию наук, на звание Героя Соцтруда к 200-летнему юбилею Эрмитажа в 1964-м. Не подействовало.

В Эрмитаж была направлена комиссия Министерства культуры и Академии художеств во главе с Серовым для «разоблачения» и выдворения импрессионистов. В Музее им прочли высказывание Ленина о ценности этих коллекций. Артамонова вызвали в обком КПСС. Он там заявил: «Если мне государство платит зарплату, к тому же

персональную, то, вероятно, исходит из того, что я не могу допустить позора и нанести ущерб нашему престижу и культуре. Потому единственное место, куда я могу поместить решение комиссии из полупьяных представителей, — вот эта мусорная корзина» (Столяр 1999: 27).

В 1964 г. партийные боссы области придрались к организованной в Эрмитаже без санкции партийных властей полуподпольной выставке такелажников Эрмитажа, среди них — М. М. Шемякина (в будущем эмигранта и всемирно знаменитого художника). От начальника охраны поступил донос об «идеологической диверсии». Артамонов был снят с поста директора Эрмитажа. Оглашение этой резолюции в Эрмитаже было превращено в чествование уходящего директора. Он остался заведующим кафедрой археологии в Университете не только de facto, как это было последнее время до того, но даже был вновь официально оформлен в этой должности. Руководил ею до самой смерти, всего — почти 23 года.

6. Личность и школа. У Артамонова есть известные ученики, но, пожалуй, трудно назвать их школой, так как они очень различны не только по интересам, но и по принципиальным идеям и методам работы. Это И. И. Ляпушкин, В. П. Шилов, А. Д. Столяр, В. Д. Белецкий, Г. В. Смирнова, А. В. Гадло, К. В. Дежкина-Каспарова, Л. С. Клейн и др. Учась у других археологов, пришли к нему Л. Н. Гумилев и С. А. Плетнева, которые тоже считали себя учениками Артамонова. Учеников он не учил специально, не школил, только поддерживал. Обращался к ним всегда на «вы». Ни с кем из археологов близко не дружил, на «ты» был только со своим однокурсником Ворониным. Вообще из учеников и коллег выделял немногих, к остальным был глух и равнодушен, даже не давал себе труда запомнить их имена-отчества, фамилии и лица. После возвращения из экспедиции очень узкого состава не узнал в лицо студентку-практикантку П., пробывшую с ним всё лето. Начисто забыл. Лаборантку кафедры, практически исполнявшую обязанности его личного секретаря, десятки лет не называл по имени-отчеству — поручения давал так: «Это выполнит... вот Вы это сделаете». Но когда она стала доцентом, каково же было ее удивление, когда он внятно и отчетливо назвал ее по имени и отчеству! Оказывается, помнил... Видимо, это тоже школа Миллера.

В археологии же его память и познания были великолепны. Подобно Рейнеке и Чайльду, он обычно избегал давать подробные ссылки — не утруждал себя, предполагая в читателях такую же эрудицию. После него осталось не так много работ — около 150 (в некоторых списках

179, но там каждый раздел «Истории СССР» принят за отдельную работу). В том числе упоминается 11 монографий, на деле всего шесть (остальные повторяют на разных языках один труд о скифах). Но многие статьи монографического объема. Научные работы Артамонова легко узнаваемы. У него нет аморфных, рыхлых, пустых статей, без стержня и новой мысли. В основе каждой статьи непременно лежит яркая идея, вытекающая из подмеченной им скрытой связи. Изысканная, изящно отточенная аргументация изложена всегда простым и немного старомодным в своей серьезной обстоятельности языком.

Поведение его было зачастую непредсказуемым и непонятным для окружающих, но всегда он мыслил широко. Меня он заприметил еще на первом курсе и уже на следующий год не забывал ни имя, ни фамилию. За полгода до окончания он сказал мне, что я намечен в аспирантуру. Это избавило меня от хлопот по трудоустройству. Однако за месяц до госэкзаменов друзья предупредили меня, что видели списки распределения и меня в числе будущих аспирантов нет. Обеспокоенный, я несколько раз обращался к шефу, говорил, что я же не заготовил места, но каждый раз он заверял меня, что всё в порядке. Поскольку он исполнял обязанности ректора, то был и председателем распределительной комиссии. На распределении он, глядя мне прямо в глаза, сказал: «Для Вас, к сожалению, места не нашлось. Вы согласны на свободный диплом?» — «Согласен», — ответил я и расписался. Через несколько дней я объявил, что ухожу из его экспедиции, — и наши отношения прекратились.

Я уехал из Ленинграда и несколько лет пытался поступать в аспирантуру в другие города, но везде мою кандидатуру отвергали. Работал учителем в школе. Через шесть лет мне позвонила сотрудница кафедры и сообщила, что на кафедре есть место в аспирантуру. «Не стоит ли вам приехать?» Я сказал, что уже не раз пытался поступать и всякий раз безуспешно. Решение зависит от Михаила Илларионовича, а наши отношения известны. Ответ был: «Неужели вы думаете, что без его подсказки я бы стала вам звонить?» Ни мелочным, ни злопамятным он не был. Узнав о его намерении, все мои конкуренты не стали участвовать в конкурсе. Он встретил меня, как будто мы расстались вчера, и сказал: «Я стар и рассматриваю вас как своего преемника на кафедре».

Но когда я окончил аспирантуру и с великими трудностями (потребовался его доклад на партбюро) он пробил мне место преподавателя кафедры, встал вопрос о том, что я не смогу продвигаться наверх и стать заведующим, не вступив в партию. Когда он мне на это намекнул, я спросил: «А вы представляете меня на партсобрании

истфака?» Он помолчал, потом усмехнулся: «Да, не смотрится». Вскоре перевел из Эрмитажа на кафедру другого ученика, партийного, и никогда не припоминал мне, что я обманул его ожидания.

Пиотровский (2009: 251) об Артамонове как директоре Эрмитажа вспоминает, что «часто он бывал безразличен. Занимался скифами и старался предпринять всё, чтобы административная деятельность не мешала его научной работе». Это не совсем так. Долгое директорство в Эрмитаже отняло у него массу времени и нанесло ущерб научному уровню его занятий, особенно широте компетенции и эрудиции. Вернувшись к работе на кафедре (каковую работу он порядком запустил за это время), он как-то, просматривая списки аналогий и библиографию в моей рукописи, проронил: «Только сейчас я увидел, как я отстал». — «Михаил Илларионович, наверстаете», — возразил я и сослался на свой опыт: был оторван от археологии шесть лет, но восстановил осведомленность. «Нет, — сказал шеф, — в мои годы это уже невосстановимо».

В последние годы жизни Артамонов ощущал некоторую неуверенность в своих положениях и их обосновании. Писал, что «киммерийский мрак» не рассеивается, а густеет. Что выводы археологов о происхождении славян оказались «иллюзорными, рассыпавшимися в прах при первом прикосновении строго научной критики». Он стал громоздить факты массивами, чего никогда не делал ранее, предпочитая одну, но яркую ассоциацию. Он стал заимствовать (опять же без ссылок) идеи у своих учеников (см. Клейн 2010: 184–186), даже очень неопытных. В последних работах он обратился к теории, но не для поисков нового, а чтобы отстоять пошатнувшиеся устои. Подобно многим старым археологам, он строил всё здание на нескольких фундаментальных представлениях: что каждому археологическому факту должно соответствовать одно социально-историческое толкование, что археологическая культура, правильно выявленная, должна отражать этнос. Но всё это этнография отвергла. Он ушел из жизни в тщательно скрываемом смятении.

7. Значение. В общем в литературе об Артамонове сказывается то, что он волею судеб оказался символической фигурой, которая воплощала оппозицию властям, давившим ленинградскую интеллигенцию (его сопротивление полной советизации Эрмитажа, покровительство возвращаемым репрессированным и евреям, ориентация на связи с Европой). На деле трудно сказать, сколько здесь было от умеренной оппозиции, а сколько — от вызывающей фронды. Но научное сообщество мечтало о смелых и авторитетных лидерах, оно ждало прихода Сахарова и выдвигало на эту роль фигуры, которые

ему казались подходящими. Поэтому всё, что было написано об Артамонове, связано с некоторой идеализацией этой фигуры.

На деле его оппозиционность была несколько меньше той, что ему приписывали (он был советский вельможа и знал правила игры — в его кабинете я видел министра культуры Михайлова, развалившегося в его кресле, Артамонов же стоял, склонившись к нему, сбоку), а его место в науке несколько преувеличено. Многие его конкретные решения ныне оставлены.

Когда обращаешься к конкретным дискуссиям, то оказывается, что наука развивает не его идеи, а идеи возражавших ему археологов: Иессена, Грязнова, Ляпушкина, — опирается на их работы, а его работы всё больше приобретают чисто историографический интерес. Представление о совместных погребениях как показателе социальной структуры катакомбной культуры и первобытного общества вообще (патриархальные семьи) поставлено под сомнение. Третий Разменный курган он датировал раннескифским временем, Иессен же показал, что это бронзовый век. Скифское искусство он выводил из Переднего Востока через Кавказ и Причерноморье, а Грязнов и его ученики показали, что самые ранние скифские памятники находятся в Сибири. Происхождение славян из Польши не очень согласуется с корнями культуры пражского типа. Давно оставлена идея о катакомбной культуре как киммерийской. И даже идея о двух скифских культурах не играет той роли, ради которой она была выдвинута: не дает оснований объявить оседлую культуру славянской. Термин «Русь» Артамонов выводил как с юга, так и с севера — предполагая слияние терминов разного происхождения, от чего отказываются все квалифицированные лингвисты.

Но сам интерес к этим проблемам означал огромный шаг вперед и продвинул нашу науку. Для раннесоветского времени статья о совместных погребениях была знаковой и чрезвычайно влиятельной. Артамонов выдвинул хазарскую тему в повестку дня советских археологов. Он был одним из влиятельных воспитанников палеоэтнологической школы, инициировавших в советской археологии исследование проблемы этногенеза славян. Его вклад в организационное становление советской археологии, ее основных учреждений в Ленинграде/Петербурге (ИИМК и Эрмитажа), ее системы изданий делает его одним из создателей советской археологии, а в перспективе русской археологии — одним из строителей ее структур. Кроме того, в весьма мрачную эпоху, оставаясь вельможей, он был, несомненно, фигурой вдохновляющей и привлекательной. Светочем и ориентиром.

В поисках предков

П. Н. Третьяков

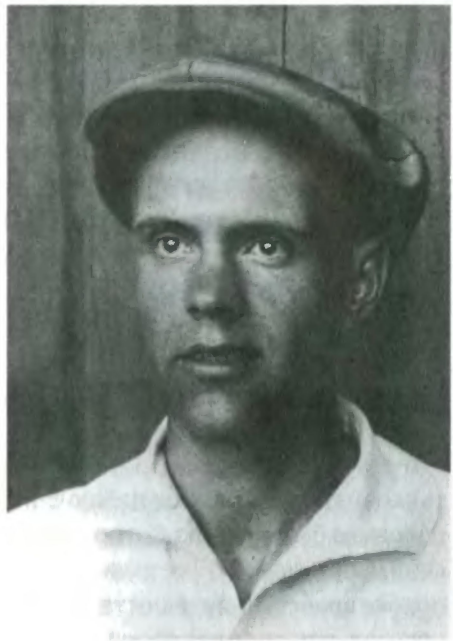
Карьера — чудесная вещь, но она
никого не может согреть в холодную ночь.
Мэрилин Монро

1. Общее впечатление. Среди светил советской археологии Петр Николаевич Третьяков (1909–1976), соперник Артамонова в изучении этногенеза славян, особой колоритностью не отличался. Держался он незаметно и скромно, в тени. Одевался прилично и всегда во что-нибудь серое. Это гармонировало с его серыми волосами и серыми глазами. Прямоугольное лицо его походило скорее на физиономию чиновника, чем на лицо ученого, но на нем лежал отпечаток ума. Как и многие высокие люди, Третьяков был слегка сутулым.

К работам его никогда не применяли эпитет «блестящие», но часто эпитеты «серьезные», «солидные», «добротные». К выводам — «интересные». Почему-то при всей важности и здравости его заключений, работы его были скучноватыми и не очень убедительными, точнее все более становились такими. А с другой стороны, к ним приходится всё время возвращаться...

Третьяков умудрился проделать карьеру партийного функционера в науке и формировать официозную концепцию, не теряя уважения коллег. Но, взбираясь всё выше по карьерной лестнице и имея благополучную семью (двое успешных сыновей), он не производил впечатления счастливого человека.

2. Формирование археолога-первобытника. Родился он в Костроме в семье преподавателя гимназии. Еще школьником участвовал в краеведческом кружке у известного костромского краеведа и археолога В. И. Смирнова, пятнадцатилетним в 1924 г. побывал на раскопках у Городцова на Галичской стоянке, а спустя год — у Брюсова



Таким П. Н. Третьяков пришел в археологию

на Чухломском озере. В 1926 г. поступил на факультет языка и истории материальной культуры Ленинградского университета и в 1930 г. его окончил. В университете в это время занятия по славянской археологии вел А. А. Спицын, и Третьяков в числе нескольких любимых учеников (таким был Равдоникас) бывал у него дома. Кроме того, Третьяков слушал лекции А. А. Миллера, П. П. Ефименко, Б. Л. Богаевского, чуть позже В. И. Равдоникаса, А. В. Шмидта.

С 1926 г., еще учась в Университете, Третьяков стал работать в ГАИМК, а в декабре 1927 г. он был принят туда в штат научно-техническим сотрудником. Его научным руководителем был Ефименко, тогда занимавшийся исследованием курганов, культурой финно-угров. Это и стало основной специальностью Третьякова. Сначала он ездил в экспедиции Ефименко в Чувашию, а с 1929 г. стал проводить и самостоятельные раскопки, стал младшим научным сотрудником. В 1930 г. в Чувашии в поселке Атли-Касы были открыты погребения культуры бронзового века, названной впоследствии балановской. Результаты этих раскопок, не совсем профильных для молодого Третьякова (гораздо более древние памятники), были опубликованы в 1931 г. — «Из материалов Средневолжской экспедиции», и это стало его первой печатной работой. В 1932 г. вышла первая работа молодого костромича по его прямой специализации — «Костромские курганы».

В 30-е гг. Третьяков, следуя примеру москвичей 20-х гг. — Арциховского, Брюсова, Киселева, Смирнова, — выступает с рядом социологических реконструкций по некоторым категориям археологического материала (статьи «Подсечное земледелие в Восточной Европе», «Первобытная охота в Средней Азии» и др.). Всё это не на славянских материалах, а в рамках первобытной археологи вообще. Руководство и пример Ефименко, несомненно, этому способствовали. В отличие

от пионерских работ москвичей, доставивших своим авторам немало неприятностей, работы Третьякова сразу были признаны эталонными. Он установил, что в лесной полосе Восточной Европы пашенное земледелие развилось не из мотыжного, а из подсечного.

В 1933 г. на Верхней Волге стал строиться каскад гидроэлектростанций. С 1933 по 1937 г. Третьяков — руководитель работ в зоне строительства электростанций Верхней Волги. Образцово раскопанный им целиком комплекс дьяковского поселения у села Березняки (в Ярославской области) с «домиком мертвых» был первым примером таких раскопок в лесной полосе. Третьяков показал на археологических фактах, как жила родовая община, «большая семья».

Перед археологом предстал поселок патриархальной общины, занимавшейся земледелием и скотоводством нерасчлененно наряду с железоделательным промыслом. Строгая методика позволила Третьякову сделать редкие наблюдения. В каждом из шести домов левая половина была мужской, с орудиями труда и оружием, а правая — женской, с посудой. До Третьякова считалось, что вместо домов в лесной полосе арабский путешественник Ибн-Русте описал бани. Третьяков доказал, что система отопления домов соответствует описанию Ибн-Русте. Обследованы были на городище и общественные здания: кузница с крицами, дом женских работ (там было много пряслиц и шильев) и дом, где сосредоточены все зернотерки этого поселка, — там, очевидно, производился размол. То есть все производственные сооружения имели общинный характер. Выводы о социальном строе вытекали из материала. Загадочным представлялся способ погребения дьяковцев: ведь могильников при городищах нет. А в Березняках был открыт и «домик мертвых». В срубе лежали вместе пережженные кости многих покойников, а при них орудия труда, украшения и прочее (Шмидт 1969). Позже нашли еще один такой на другом городище Дьякова типа.

П. Н. Третьяков на Верхней Волге. Первые успехи окрыляли

Третьяков тогда считал Березняки славянским памятником,

хотя в славянском фольклоре и языке нет никаких упоминаний о домиках мертвых. О сожжении покойников есть — прах покойного (порошок, пепел), о гробе есть (домовина), о кургане есть — могила (от иранского mahula 'насыпь'), о могильной яме есть — гроб-то от слова «грести», «погребать» родственно слову «погреб». А вот у коми маленькие домики на могилах ставились еще недавно.

3. Полемика по расселению славян. После работ на Верхней Волге Третьяков всё больше переходит к занятиям славянами. В 1937 г., когда ученым было не до дискуссий, все не спали ночами, прислушиваясь к шороху шин за окнами, в четвертом выпуске альманаха «Советская археология» появилась смелая статья 28-летнего Третьякова, названная точно как у Спицына в 1899 г. — «Расселение древнерусских племен по археологическим данным», но Спицыну тогда был 41 год. Третьяков отверг это самое громкое и самое важное достижение своего учителя в археологии. Он отбросил методику Спицына, применявшуюся Арциховским и Рыбаковым, отказался восстанавливать расселение летописных племен по женским украшениям в сравнительно поздних курганах. Критика этой методики проведена детально и сокрушительно.

Третьяков заявил, что по височным кольцам и тому подобным курганным украшениям XI–XIV веков нельзя устанавливать древние племена (полян, древлян, северян, кривичей и т. д.) — их же уже не было в это время. По этим украшениям вырисовываются тяготеющие к городам территории, группировка периферийных жителей. То есть феодальные области, подчиненные Киеву, Смоленску, Искоростеню, Чернигову и т. п. и состоящие в основном из сельского населения. Обращаясь специально к выводам Арциховского о вятичах, Третьяков замечает, что в основном археологические материалы курганов, приписываемых вятичам, начинаются с XII века, а летописные упоминания вятичей на этом веке как раз заканчиваются. Соответствия не получается. А летописные племена жили в последней трети I тыс. до н. э.

В том же выпуске «Советской археологии» помещена ответная статья Арциховского «В защиту летописей и курганов». Говоря о вятичах, Арциховский обвиняет Третьякова в незнании летописей. В летописях большинство упоминаний вятичей относится как раз к XII веку! Вообще же главное возражение Арциховского состоит в том, что село было отсталым по сравнению с городом, на селе долго сохранялись старые обычаи и украшения. По этим

пережиткам можно выявить более древние летописные племена. Славянские крестьянки не меняли свои вековые привычки по указке своих новых господ.

Если вдуматься, это было столкновение двух принципиально разных подходов к исследованию: по одному (спицынскому, его отстаивал Арциховский) традиции имели огромное значение и власть над населением, по другому (его проводил Третьяков) всё население было подвластно революционным изменениям и перестраивалось по воле и примеру властей. Это было очень советское понимание истории.

Вдобавок Третьяков для усиления своих позиций прибег к шельмованию отвергаемой спицынской методики, утверждая, что спицынские ошибки проистекают из его националистических убеждений, а националистические убеждения выражались в следовании догмам индоевропеистской, домарровской лингвистики с ее пранародами, миграциями и т. п. Арциховский не мог тогда ничего этому противопоставить (марровское учение еще считалось, по выражению Покровского, «железным инвентарем марксизма»), он просто отвергал само приложение этих обвинений: какие миграции? какие пранароды? Речь идет о местном населении одной эпохи.

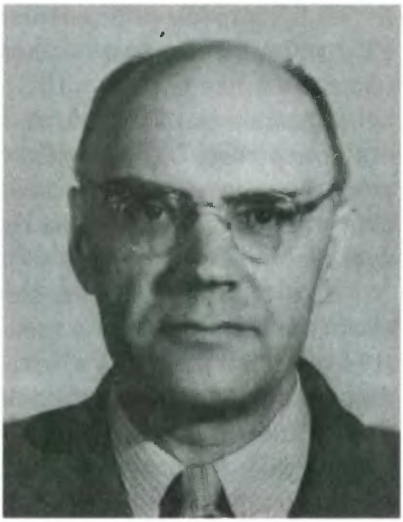
В 1938 г. Третьякову без защиты присваивается степень кандидата наук. Он преподает на кафедре археологии Ленинградского университета.

4. Этногенез славян. Если от своих костромских курганов Третьяков дошел до анализа всей проблемы расселения славян, то другие его материалы давали возможность узнать, как выглядела культура славян и их соседей на заре письменности и еще раньше.

В 1939–1940 гг. Третьяков выступает с докладами и статьями по этногенезу восточных славян — отстаивает их автохтонность на территории Руси, еще используя марровскую фразеологию, хотя общая направленность на исследование этногенеза была уже отходом от марризма. Дьяковскую культуру он разделил на две части: восточную отвел финно-уграм, западную — предкам славян. Результатом всех этих работ является труд «К истории племен Верхнего Поволжья в I тысячелетии н. э.». Труд этот, законченный в 1941 г., рассматривался как докторская диссертация, но защитить его Третьяков не успел: началась война.

Позже, в его работах 50-х гг., пришлось пересмотреть эти выводы. Западную часть дьяковской культуры он тогда отвел восточнобалтийским племенам, которые всё-таки были потом поглощены славянами.

Но и эта принадлежность обоснована не намного основательнее. Здесь встают вопросы методики этногенетических исследований, всегда волновавшие Петра Николаевича и всегда остававшиеся на зыбких основаниях.



П. Н. Третьяков времен полемики о ранних славянах

В 1940 г. Третьяков назначается заместителем директора ИИМК. В 1941 г. выходит его работа «Северные восточнославянские племена». Имеются в виду не просто кривичи, радимичи и вятичи, а их предшественники и, по Третьякову, предки в Верхнем Поднепровье. Он в духе Марра считает, что, кем бы они ни были, они в ходе самостоятельного развития без всякого внешнего вмешательства становятся славянами. Теория стадиальности еще пользуется авторитетом.

Под редакцией Третьякова выходит шестой том «Материалов и исследований по археологии», посвященный впервые славянам. Судьба его была плачевна: почти весь тираж угодил на складе под немецкую бомбу. Успело разойтись всего несколько экземпляров. Они теперь раритеты.

5. Москва: идеолог в аппарате. В армии молодой специалист по происхождению славян, теме чрезвычайно важной в военных условиях для пропаганды, был направлен работать в Главполитуправление РККА, несмотря на то что был членом партии только с 1940 г. Ему было тогда 32 года. Затем он стал преподавателем Военно-Политической академии и работал там до конца войны.

Такое «военно-политическое» прошлое открыло ему после демобилизации пути к партийным и административным постам в науке. Сразу же по возвращении в Институт истории материальной культуры он защитил докторскую диссертацию по вышедшей к этому времени книге «К истории племен Верхнего Поволжья в I тысячелетии н. э.» и был назначен заместителем директора Института, заведующим Ленинградским отделением. То есть главным археологом в Ленинграде. В следующем году он был переведен в Москву в Отдел

науки ЦК партии (и одновременно стал профессором Академии общественных наук при ЦК). Вся археология страны оказалась под его контролем. Одновременно он возглавил сектор этногенеза в Институте истории материальной культуры.

Профессор Академии общественных наук П. Н. Третьяков в аппарате ЦК партии

В эти годы выходит его книжка «Восточнославянские племена» (1948, втор. изд. 1953), в которой была им сформирована автохтонная концепция происхождения восточных славян, близкая к рыбаковской, но сформулированная до Рыбакова и не столь завязанная на южный ареал, на Украину. Он рано оставил надежды провести линию славянского этногенеза через черняховскую культуру — обходил ее через позднезарубинецкие памятники. Его прямая полемика с Артамоновым, сторонником западной концепции происхождения славян (из Польши), носила вежливый и уважительный характер.

Конечно, автохтонность концепции в значительной мере опиралась на марровскую теорию стадиальности, и ее разгром Сталиным в дискуссии 1950 г. был шоком и вынудил Третьякова в числе других замешанных признавать ошибки и каяться. Третьяков всё это проделал, но, как выяснится из дальнейшего, в глубине души не признал благотворности новых идей и не понял, как обойтись без старых.

Как заведующий сектором этногенеза он поддерживал молодежь. Когда в идею Федорова отыскать племя тиверцев на Днестре не поверил зав славянским сектором Рыбаков, Федоров перешел в сектор Третьякова — и сразу же получил (1950 г.) самостоятельную разведку на Днестр, которая принесла удачу и выросла в большую экспедицию.

Работая днем в ЦК партии, ночами Третьяков сидел над археологией. В это время он привел в порядок материалы донских раскопок и Чувашской экспедиции, где студентом работал с Ефименко. Две работы по этим материалам издал под совместным авторством с Ефименко («Древнерусские поселения на Дону» и материалы из

абашевских курганов), а одну — только под именем Ефименко. Когда он мог сам распоряжаться своим поведением, это был глубоко порядочный человек.

Еще в 1948 г. Третьяков возобновил археологические исследования в Поднепровье — в бассейнах рек Роси, Тясьмина, Горыни и Случи. П. Н. Третьяков пришел к мысли, что этническую историю I тысячелетия н. э. в Среднем Поднепровье, в частности восточнославянский этногенез, не понять без исследований в Верхнем Поднепровье. Между тем древности Верхнего Поднепровья оставались малоизвестными. С 1950 г. он начал полевые работы в Верхнем Поднепровье. В 1950–1953 гг. работы велись в южной части Верхнего Поднепровья, на Гомельщине, изучались особенно зарубинецкие древности. При участии Ю. В. Кухаренко и О. Н. Мельниковской были исследованы Чаплинские городище и могильник и другие памятники.

6. Институт славяноведения. В 1951 г. он уходит из Отдела науки ЦК, чтобы стать заместителем академика-секретаря Отделения истории. Он исполнял эту должность при многих секретарях —от Грекова и Панкратовой до Жукова (до 1959 г.). В 1951–1953 гг. он также ответственный редактор головного исторического журнала страны «Вопросы истории» и, что и было главным основанием для его ухода из отдела науки ЦК, директор Института славяноведения Академии наук (тоже с 1951 по 1959 г.). О Третьякове этого времени тот же Г. Б. Фёдоров, только недавно поддержанный им, в своей мемуарной «Брусчатке» пишет с ненавистью и презрением:

> «В "Госкультпросветиздате" (впоследствии — издательство "Советская Россия") я был составителем и редактором серии "По следам древних культур". Я задумал ее как серию сборников, в которых ведущие археологи страны в живой и доступной форме должны были рассказать о тех областях археологии, а которой они работали. В каждом сборнике предполагалось поместить по 10–12 статей, тематически связанных между собой. Уже был опубликован и тут же переведен и издан в ряде стран, — например, во Франции, — сборник по Кавказу и Закавказью. Готовился к сдаче в печать сборник "Древняя Русь", в стадии редактирования находился сборник "От Волги до Тихого Океана".
>
> Неожиданно меня вызвал к себе в кабинет новый заместитель академика-секретаря Отделения исторических наук, член-корреспондент Академии Наук Петр Николаевич Третьяков (сбой памяти: членкором он стал только в 1958 г. — Л. К.). В нашем Институте он заведовал сектором этногенеза, а работу археолога

он совмещал с должностью одного из инструкторов сектора науки ЦК КПСС и хотя бы поэтому был человеком весьма влиятельным. Меня он знал хорошо, поскольку по его приглашению в 1949 году я принимал участие в его экспедиции в Житомирской и Новоград-Волынской областях Украины, да еще некоторое время работал в его секторе. Человеком он был неглупым, но, как говорится, полностью продавшим душу дьяволу. Когда-то довольно способный ученый, он уже давно махнул рукой на настоящую науку и был озабочен только тем, чтобы в возможно более пристойной и наукообразной форме популяризировать указания своего чекистского начальства. Прежде всего поэтому, собственно, я и ушел из его сектора.

Так вот, усадив меня и глядя на меня своими ничего не выражавшими (их, видимо, в ЦК учили так смотреть) серыми глазами, он спросил:

— Это правда, что в сборник из серии "По следам древних культур", который должен скоро пойти в печать, "Древняя Русь" Вы включили статью Рабиновича об археологии Москвы?

— Да, это так, — ответил я.

— Так вот, — не допускающим возражения тоном заявил Третьяков, — статью надо изъять. Это не пожелание, а требование. Наличие статьи Рабиновича в таком сборнике может сыграть роль ложки дёгтя в бочке меда. Понятно?

– "Госкультпросветиздат" в систему Академии Наук не входит, — ответил я, — и работу по сборнику я веду не по плану Академии. Так что ничего Вы от меня по сборнику требовать не можете. Если Вас не устраивает соавторство с Рабиновичем в этом сборнике, то можете забрать обратно Вашу статью. Мне будет жалко — статья неплохая, — но сборник получится и без нее.

Повторяю, Третьяков хорошо знал меня. Он поглядел на меня с холодным бешенством и проворчал;

— Идите. Пусть все останется как есть.

Сборник так и вышел и тоже был переведен на ряд языков и издан за рубежом — в частности в Польше».

Это неточность. Сборник вышел в 1953 г. не совсем «так». Одиозной фамилии Рабиновича всё-таки в сборнике нет. Очерк Михаила Григорьевича Рабиновича о древней Москве издательство подало под прозрачным псевдонимом Михаила Григорьева.

Не думаю, что Третьяков выражал здесь свои собственные взгляды. Никогда за ним ничего подобного в бытовом общении и по собственной инициативе не водилось. Просто он был в это время рупором и исполнителем идей ЦК партии. А из ЦК в последние сталинские годы

исходила политика государственного антисемитизма, прикрытого парадными декларациями интернационализма и равноправия. Фёдоров, не причастный к партийному руководству, мог позволить себе в упор не понимать высших целей партии (хотя на это нужна была смелость) и вести себя с достоинством интеллигента. Третьяков был причастен к партийному синклиту (хотя и с самого низа оного) и должен был воспринимать все зигзаги партийной линии как свою линию поведения, каждый раз как прямую. Обязан был проводить ее «в массы». Когда он видел, что есть люди, которые, опираясь на декларативные лозунги, не поддались партийному диктату его интеллигентское происхождение говорило ему, что они-то и ведут себя с достоинством, которого он не может себе позволить. Отсюда его «холодное бешенство».

Вопрос лишь в том, насколько он сознавал этот психологический механизм (или эти настроения лишь бередили его подсознание). Насколько прочно политика партии вошла в его плоть и кровь.

Здесь я должен буду вернуться к его полемике с Арциховским 1937 г. Еще тогда явственно советская методика и риторика Третьякова, при всей фундированности аргументации, должна была вызвать резкое неприятие у старых археологов, и так достаточно обиженных советской властью и ее молодыми апологетами в науке. А его тогдашняя направленность против Спицына, его недавнего учителя!

У профессора С. В. Белецкого (которому я признателен за ознакомление) сохранился экземпляр четвертого выпуска «Советской археологии», купленный им в студенческие годы (1970-е) у букиниста в Ленинграде и происходящий из чьей-то частной библиотеки (видимо, распроданной после смерти владельца). Обе статьи, Третьякова и Арциховского, несут на себе следы активного и пристрастного чтения — подчеркивания и помет красно-коричневым карандашом. Пометы сделаны, надо полагать, сразу по получении книги, то есть в 1937–1938 гг.

Напротив третьяковской инвективы о националистических взглядах Спицына на полях помета: «Мерзавец Третьяков». Обвинение Спицына в следовании индоевропеистике сопровождается набором восклицаний: «Портач П. Н., жулик, подхалим, мерзавец». В конце статьи свободное место занято размашистой итоговой оценкой: «Авантюрист в науке, наглец и проходимец. Его лозунг: “Куда ветер дует”. Он рвется к славе беспринципно и нагло. Цель оправдывает средства».

Чтение статьи Арциховского доставляет критику удовольствие. Напротив его аргументов на полях пометы: «!!» «Так его!», «Жулик

и невежда пойман за руку», «Высек А. В. Н. П. (инициалы Третьякова здесь перепутаны от волнения. — Л. К.)», и после статьи заключение: «Браво, молодец Арциховский ткнул Третьякова в грязь, что развел он сам».

Автор помет выступает как человек брюзжащий и раздражительный. Бросается в глаза явный перебор в критических оценках, часто заменяемых бранью. Критика душат эмоции, при этом он не забывает именовать обоих (Третьякова и Арциховского) по имени-отчеству. Это явно человек старого закала. В поисках автора помет круг подозреваемых быстро сузился: отпали все москвичи, все репрессированные, все женщины (почерк явно мужской), поиски сконцентрировались на славистах, работавших в 30-е гг., и в поле зрения оказался старый археолог Николай Иванович Репников, копавший в Крыму и в Старой Ладоге и умерший в 1940 г., не дожив до 60-ти. Репников был другом Спицына и должен был знать близость Третьякова к нему. Впрочем, перейдя в окружение Ефименко и других учеников Волкова, Третьяков попал в среду, относившуюся к Спицыну скептически. Но почерк не совпал. Белецкий, я и наши коллеги перебрали едва ли не всех археологов подходящего калибра (как выше указано), но всё время оказывалось, что почерк не тот.

Но, взглянув на почерк, Б. Б. Пиотровский из Эрмитажа сказал, что почерк кажется ему знакомым. Взяв образцы, он прислал через несколько дней свои результаты. Это оказался покойный Борис Александрович Латынин. Всё это было совершенно невероятно: ведь в 1937 г. Б. А. Латынин был под арестом, а затем в лагере на Колыме! А после смерти вся его библиотека поступила в Эрмитаж. Но почерк был, несомненно, его, и пришлось искать разгадку.

Борис Александрович Латынин (1899–1967) был дворянин, петербуржец, учился в знаменитом училище правоведения, после революции оказался в университетской аспирантуре, в окружении Марра, дружил с молодой красавицей Пассек, активно работал в Яфетическом институте, затем в ГАИМК, изучал бронзовый век степей. В 1924 г. его ненадолго арестовали выпустили. В 1935 г. арестовали и выслали в Самару (Куйбышев) на три года, в 1936 г. отменили приговор и вернули. Но в том же году арестовали снова, осудили в 1937 г. на 5 лет и отправили на Колыму. По отбытии срока не выпустили, продержали в лагере, пока он не потерял ногу. Инвалида выпустили осенью 1944 г. С 1946 г. поселился в Сызрани, только в 1953 г. вернулся в Ленинград, где его М. И. Артамонов устроил на работу по специальности в Эрмитаж. Я познакомился с ним в это время. В 1967 г. он умер.

Ясно, что пометы свои он не мог сделать в 1937–1938 гг.: не до того было. «Советская археология» со статьями Третьякова и Арциховского попала в его руки только после освобождения из лагерей (после 1946 г.), а скорее — после возвращения в Ленинград (после 1953 г.). Так что в его взволнованной реакции на шестом или седьмом десятке на антиспицынскую позицию Третьякова сказались не столько третьяковские авансы 1937 г., сколько третьяковская карьера в идеологическом отделе ЦК партии и в Академии наук в 1950-е. Думаю, что сказалась и привязанность Латынина к Артамонову, с которым в это время Третьяков спорил по проблемам этногенеза славян (отсюда интерес к славянской проблематике, которой сам Латынин не занимался). Позицию Артамонова Латынин воспринимал как свободную мысль и объективность, а позицию Третьякова — как навязываемый сверху официоз. Это, кстати, было общее настроение всего круга учеников и соратников Артамонова.

Книга же как-то ускользнула от общей судьбы его библиотеки — та поступила после смерти в Эрмитаж, а эту книжку, вероятно, кто-то «зачитал» и продал отдельно.

При всей необъективности раздраженной критики со стороны автора помет («жулик», «проходимец», «авантюрист», «портач», «невежда» — все эти эпитеты к Третьякову неприложимы), негодование пожилого изгоя понятно: ему претит всё направление советской интерпретации истории. А своими политическими выпадами против своего учителя, столь модными в то время, и своими успехами на службе в аппарате ЦК Третьяков дал повод и для подозрений в личной непорядочности, в беспринципности и карьеризме.

Между 1950 и 1960 гг. он продолжает вести раскопки, на сей раз в Верхнем Поднепровье, на Смоленщине. Там он ищет предков славян среди позднезарубинецких племен. Особенно интересны были раскопки на городищах Верхнего Посожья. Поселение Тушемля раскопано им столь же полно, как Березняки. На этом городище оказалось три культурных слоя (второй половины I тыс. до н. э., начала нашей эры и второй половины I тыс. н. э.). Исследованы и другие городища, много- и однослойные. Построена культурно-хронологическая шкала верхнеднепровских древностей.

Однако всё больше мучило подозрение, что и это не славяне, а восточные балты. В 1958 г. его избрали в члены-корреспонденты АН СССР. Но это был пик его официальной академической карьеры.

7. Кризис. «Развенчание сперва Марра, а потом и Сталина, — пишет Формозов (2011: 174–175), — больно ударило по Третьякову. Он растерялся и долго не мог понять, как надо перестраиваться. Что-то в нем навсегда надломилось. Еще десять лет вращался он в чиновничьем мире, был редактором "Вопросов истории", директором Института славяноведения, курировал совершенно чуждые для себя темы и теоретически обосновывал разные нелепые требования ЦК. Язвительный Граков прозвал его "директивным Петенькой", ибо он уже разучился просто обсуждать научные вопросы, а всюду сбивался на менторский тон... Двусмысленное положение тяготило Петра Николаевича. В 1959 году он отпросился в отставку со всех руководящих постов и вернулся в Ленинград рядовым сотрудником ИИМКа».

В хрущевское время пребывание в сталинском партийном аппарате повредило дальнейшей административной карьере Третьякова. Он оставил свои руководящие посты и занялся исключительно наукой. Возможно, после знаменитого доклада Хрущева на XX съезде партии сказалось и разочарование в большевистской пропаганде. Новочеркасский расстрел, ввод танков в Чехословакию на подавление «пражской весны» («социализма с человеческим лицом») — всё это было уже без его прямой причастности к руководящему слою, к номенклатуре.

Вернувшись в Ленинград, он снова стал простым старшим научным сотрудником Института археологии, ездил в экспедиции, обрабатывал материалы. В коридорах ИИМКа я встречал его в это время с лотком керамики в руках, несущего ее из подвальной камералки в сектор. «Авторитет Третьякова, некогда общепризнанный, катастрофически упал, — записывает в мемуарах Формозов. — Окружающие смотрели на него как на неудачника. В какой-то мере так оно и было...» Но его археологические работы приняли наибольший размах именно в это время. После 1960 г. Третьяков передвинул свои раскопки к востоку, с Днепра на Десну. У него сложился новый вариант автохтонной концепции славянского этногенеза.

Именно в это время, в 1962 г., в «Советской археологии» появляется его теоретическая статья «Этногенический процесс и археология». Терминология несколько странная (два термина совмещены: «этногония» подразумевает «этногонический процесс», а «этногенетика» — «этногенетические исследования»). Но если оставить в стороне терминологические несообразности, то в этой статье содержатся соображения Третьякова о главных трудностях археологов в решении проблем этногенеза. Суть в том, что лингвистика не согласуется с археологией. После выступления Сталина в дискуссии

по вопросам языкознания и марризму советским ученым стало ясно, что культура меняется резко, а язык сохраняет специфику. Из этого вытекает нигилистическое отношение к данным археологии для решения проблем этногенеза.

Где же выход? Выход Петр Николаевич видел в том, чтобы выявить в культуре всё-таки такие элементы, которые непосредственно отражают этнические особенности, которые изменяются медленно и удерживают традицию. То есть обойти сталинскую декларацию и опереться если не на всю культуру, то на ее часть. Это концепция «этнических признаков». Последующее обсуждение этой проблемы в археологической и этнографической литературе показало, что на «этнические признаки» археологического материала опереться невозможно, что признаки эти неустойчивы и не универсальны, что в разных местах то одни, то другие элементы культуры обретают этническое значение. Археолог не может знать, какие и где. Всякий раз разные.

Третьяков в этой статье заявлял: Брюсову удалось показать, что в первобытности археологические культуры совпадают с этносами. А это уж и вовсе отказ от принципа недостоверности совпадений культуры с этносом. Между тем Брюсов как раз подтвердить свое заключение ничем не мог.

Те же взгляды Третьяков отстаивал в своих тезисах 1969 г. на теоретическом семинаре 1969 г. в ИИМКе (опубликованы в брошюре «Теоретические основы советской археологии»).

Этим методическим принципам соответствовала и конкретизация картины этногенеза у Третьякова: этнические соотношения прослеживаются по археологическим культурам. По его концепции, восточнобалтийские древности, простирающиеся и на Верхнее Поднепровье, относятся здесь лишь ко времени I тысячелетия до н. э. Но позже их здесь сменяет другая культура, которой в Верхнем Поднепровье почти нет. Это позднезарубинецкие древности начала нашей эры и более поздние — середины и третьей четверти I тысячелетия. Они близки среднеднепровским раннесредневековым поселениям.

Третьяков пришел к выводу, что накануне нашей эры восточные славяне занимали Среднее Приднепровье и от них остались древности зарубинецкого типа. Соседняя с юга черняховская культура — в основном не славяне (это он давно уже признает). В начале нашей эры началось переселение народов. Славяне сдвинулись в южные и восточные районы Верхнего Поднепровья, где ранее жило восточнобалтийское население. С середины I тысячелетия н. э. в Верхнем Поднепровье началась ассимиляция балтов славянами, у которых

уровень культуры и общественного строя был выше. Одновременно днепровские славяне расширяли свою территорию на юг, в Среднее Поднепровье, на территорию, прежде занятую черняховской культурой. В конце I тысячелетия н. э. они объединились здесь в обширный союз — Русь. А Поднестровье и Волынь принадлежали славянским группировкам другого происхождения (культура Корчак).

Древняя история славянских племен, с точки зрения Третьякова, протекала с участием соседей, прежде всего балтийских, финно-угорских и сармато-аланских племен. Все они затем так или иначе влились в древнерусскую народность (Шмидт 1969; Древние славяне 1970).

Во всех этих местах памятники, которые он счел позднезарубинецкими и раннеславянскими, теперь его молодые оппоненты рассматривают действительно как раннеславянские, только не зарубинецкие. То есть зарубинцы по новым представлениям — тоже не славяне. Интуиция вела Третьякова по верному пути, а догматические устремления сбивали на проторенную дорогу.

Третьяков старался обосновать фактами свою автохтонную концепцию славянского этногенеза в трудах «Финно-угры, балты и славяне» (1966) и «У истоков древнерусской народности» (1970). Многое в построениях Третьякова держалось на определенных

П. Н. Третьяков в своем ленинградском кабинете. Переживая крушение гипотезы о зарубинецко-черняховско-славянских связях

методических допущениях, гипотезах. Его постоянным критиком был И. И. Ляпушкин, работавший с ним в одном секторе, завзятый эмпирик и сторонник строжайшей методики. Как-то в раздражении полемики Третьяков сказал ему: «Что бы вы делали, Иван Иванович, если бы не было меня? Ведь вся ваша работа сводится к исправлению моих промахов!» Но Иван Иванович был для него тайным эталоном, и ему страстно хотелось убедить именно его. Через несколько лет я видел Третьякова, рыдающего над гробом И. И. Ляпушкина. Никто не горевал так отчаянно и безутешно.

«Мы, археологи-слависты, в свое время тяжело переживали крушение гипотезы о зарубинецко-черняховско-славянских связях, оказавшись у разбитого корыта», — написал он в 1966 г. (Третьяков 1966: 119). Он требовал изучать одновременно со славянами их соседей: балтов, германцев, фракийцев, финно-угров. Иначе «этногенические изыскания не выйдут из тупика» (Третьяков 1969: 33). Стало быть, признавал, что они в тупике. До самой смерти Третьяков искал пути выхода из тупика. Между тем именно его исследованиями были выявлены памятники, которые сейчас являются опорными в изучении славянского этногенеза: Колочин, Тушемля. Именно его мысль нащупывала культуры, которые продолжали на восток раннеславянскую полосу культур — пражского типа, пеньковскую, Корчак...

Умер Третьяков в 1976 г., в 67 лет, когда брежневский застой еще казался вечным. Последняя его книга, «По следам древних славянских племен», вышла посмертно в 1982 г. с «поправочными» примечаниями Б. А. Рыбакова и Э. А. Сымановича, опирающихся, естественно, на концепцию Рыбакова, который считал черняховскую культуру славянской. Эти не собирались покидать «разбитое корыто».

Старший сын Петра Николаевича, Виктор, способный и работящий, окончив Ленинградский университет, стал известным археологом, специалистом по лесному неолиту; к сожалению, пережил отца всего на 9 лет — умер на самой заре горбачевской «перестройки».

Между марксизмом и косиннизмом

А. Я. Брюсов

Я залы посещал ученых заседаний
И слушал с ужасом размерность их речей.
.....
Однажды ошибясь при выборе дороги,
Они упрямо шли, глядя на свой компас.
И был их труд велик, шаги их были строги,
Но уводил их путь от цели каждый час.

В. Брюсов. Замкнутые, II. 1900–1901.

1. Происхождение переводчика и поэта. О брате Валерия Брюсова, знаменитого поэта, в энциклопедиях и интернетных справочниках можно найти такие сведения: «профессор искусствоведения, сотрудник Исторического музея, участник поисков Янтарной комнаты». Археология даже не упоминается. Тем не менее это был очень крупный и известный археолог (Раушенбах 1965; 1967; 1985). Иное дело, что археологом он стал далеко не сразу.

Мемуары его (Брюсов, 2013), хранившиеся в поврежденном виде (с какими-то изъятиями) в отделе рукописей «Ленинки», изданы С. В. Кузьминых и С. П. Щавелевым (2012). Мемуарами, а также биографическим очерком составителей я и воспользуюсь. Есть о Брюсове и статьи его учеников.

Александр Яковлевич Брюсов (1885–1966) — младший брат знаменитого поэта Валерия Брюсова (1873–1824). Эта купеческая семья — не из рода Брюсов, иностранцев на русской службе петровского времени, а из их крепостных, которые давно перешли в собственность других помещиков, владевших деревней Сысуевой в Солигаличском уезде Костромской губернии. Дед братьев Брюсовых, по отцу Кузьма, откупился из крепостных крестьян и стал печником. Потом он переехал из Костромы в Москву, где разбогател на торговле пробкой. К концу жизни имел в Москве каменный дом и оставил своим

наследникам солидный капитал. Образования получить не довелось, так что он едва мог проставить подпись. Помогал ему младший брат Петр, дядя поэта и археолога.

Дед со стороны матери, Александр Яковлевич Бакулин, писал прозой и стихами, сочинял басни и слыл среди домашних чудаком.

Дело свое Кузьма Брюсов завещал не отцу Валерия и Александра Якову, а их двоюродному брату Авиву Петровичу (Авиве, Авве). Гимназический одноклассник и друг Александра и биограф Валерия поэт Ходасевич (1939) пишет:

«Уж не знаю, почему пробочное дело Кузьмы Брюсова перешло к одному Авиве. Почему Кузьме вздумалось в завещании обделить второго сына, Якова Кузьмича? Думаю, что Яков Кузьмич чем-нибудь провинился перед отцом. Был он вольнодумец, лошадник (просадил все деньги на скачках, играя на тотализаторе. — Л. К.), фантазер, побывал в Париже и даже писал стихи. Совершал к тому же усердные возлияния в честь Бахуса. Я видел его уже вполне пожилым человеком, с вихрастой седой головой, в поношенном сюртуке. Он был женат на Матрене Александровне Бакулиной, женщине очень доброй, чудаковатой, мастерице плести кружева и играть в преферанс...

Не завещав Якову Кузьмичу торгового предприятия, Кузьма Брюсов обошел его и в той части завещания, которая касалась небольшого дома, стоявшего на Цветном бульваре, против цирка Соломонского. Дом этот перешел непосредственно к внукам завещателя, Валерию и Александру Яковлевичам».

Обойденный в завещании Яков Брюсов, отец братьев, характеризуется ими как шестидесятник. Он интересовался математикой, медициной, сельскохозяйственными науками, был знаком с трудами Маркса и Дарвина и сочувствовал идеям революционеров-народников (Брюсов 1964). Под его влиянием и Авив Петрович подумывал о производственных артелях в духе Чернышевского, устроил школу в своем селе Корцове, пытался противодействовать старорежимным чиновникам на волостных выборах. Яков овладел французским языком и хорошо знал русскую литературу, даже сам немного печатался. Семья этого нескладного вольнодумца вообще дала заметный вклад в русскую интеллигенцию. Две сестры доктора исторических наук Александра Яковлевича также стали докторами, одна — химии, другая — искусствоведения, профессором консерватории, там же преподавала и третья.

Детей в семье Якова воспитывали в духе атеизма и материализма. «От сказок, от всякой „чертовщины“, меня усердно оберегали. Зато

об идеях Дарвина и принципах материализма я узнал раньше, чем научился умножать», — вспоминал Брюсов (2002: 227–229). Детям даже воспрещалось читать религиозную литературу, так что впоследствии Александру не пришлось менять философскую основу своих исследований. Учился Александр сначала в классической гимназии, потом в 1904 г. поступил на историко-филологический факультет Московского университета, но в связи с революционными событиями 1905 г. и студенческими беспорядками был вынужден оставить учебу.

Не окончив Университет, отправился за границу. В 1907 г. умер отец и на полученные по наследству деньги А. Брюсов путешествовал по многим странам. В 1905 г. он посетил Турцию, Грецию, Египет, Индию, Австралию. В 1907 г. — Францию и США. В 1908 г. побывал на Ближнем и Дальнем Востоке. В 1909 г. последовали Италия и снова Дальний Восток. В 1910 г. опять Франция, Италия, Ближний Восток. Языки он знал. Свободно владел французским, в меньшей степени латынью и другими романскими (итальянским, испанским, португальским), а также древнегреческим и английским.

Брата он младше на 12 лет. Тоже подвизался на поприще литературы — состоял в разных литературных кружках, печатал стихи (но под псевдонимом Alexander, чтобы не давило имя брата). Стихи технически выполнены отлично, а стиль характерен для символической поэзии Серебряного века.

На маленьком дворе с зеленым попугаем
Зеленый плющ обвил старинный серый дом.
На маленьком дворе с протяжным, громким лаем
Испуганный щенок метнулся под окном.
На маленьком дворе стоят рядами ставни,
Тая коварный блеск невысохших белил.
И, словно некий дух, домов хранитель давний,
Над маленьким двором излил избыток сил.

И т. д.

Но как поэта старший брат не очень ценил его. Это показывают письма Валерия Брюсова. В 1908 г. он писал знакомой поэтессе: «Владя (Ходасевич. — Л. К.) издал свою книгу. Поэзии в ней мало, но есть боль, а это кое-что. Не такая пустота, как стишки Alexander'a». В письме к Зинаиде Гиппиус от 27 декабря 1906 г.: «Был ли у вас мой брат по пути в Америку? и юноша Гумилев? Первого не рекомендую, второго — да». Все же 22-летний Александр Брюсов издал в 1907 г. целый сборник стихов — «По бездорожью». В дневнике Валерия Брюсова есть

только одно упоминание о младшем брате. В революционное время 1905 г. поэт записал: «Мой брат делал вид, что всё знает, со всеми в сношениях, но все известия его оказывались вздором» (В. Брюсов 1927: 137). Формозов (2011: 156) желчно комментирует: «Эта черта сохранилась у Александра Яковлевича до последнего вздоха. Он был патологическим лжецом, причем врал с единственной целью — показать значительность собственной персоны».

Занимался Александр и переводами. В 1912–1913 гг. попытал счастья на стезе деда и дяди — занялся торговлей, открыл лавку на Мясницкой, продавая фотоаппараты, химикаты и хирургические инструменты. То ли не преуспел, то ли оборвала война. Так же как семейный быт, не очень традиционный: жил в гражданском браке с разведенной женщиной, потом она ушла к его другу Ходасевичу. В 1914 г. призван в армию как прапорщик запаса, воевал офицером — командовал ротой, потом батальоном, но это продолжалось первый год войны. В 1915 г. под Валдавой попал в плен и три года (по 1918 г.) провел в германском плену. Там на практике освоил немецкий. В Россию вернулся в 1919 г. В Москве работал сначала библиотекарем в отделе печати Моссовета, затем переводчиком в Управлении связи Красной армии. Официально женился в 1921 г. на студентке-медичке, брак оказался прочным.

2. Социологизация археологии. В археологию Брюсов пришел сравнительно поздно. В молодости о ней не думал. Только по окончании Гражданской войны, вполне взрослым человеком, отошел от литературной деятельности, поступил в Московский университет и стал учеником Городцова. В советское время купеческое происхождение (внук купца) и прошлое царского офицера весьма отягчали жизнь, но А. Я. Брюсова спасала слава брата, великого поэта советской ориентации, занимавшего крупные посты.

В 1922 г. Брюсов вернулся в Московский университет, где в это время уже не было историко-филологического факультета, а был факультет общественных наук (ФОН). Вот этот факультет 40-летний Брюсов и закончил вместе с молодыми М. Е. Фосс и А. П. Смирновым то ли в 1924, то ли в 1925 г. по специальности «археология». Поступил в аспирантуру НИИ археологии и искусствознания РАНИОН, которую завершил в 1928–1929 гг. Ему было уже 44 года. Кандидатская диссертация его была на тему «Северо-Запад СССР с конца III до начала I тысячелетия до н. э.». Это и дальше оставалось его основной темой исследований.

В аспирантуре он вместе с Арциховским, Киселевым и Смирновым занимался у искусствоведа и литературного критика, ставшего социологом, Фриче и участвовал в попытках социологизировать археологию, построить «марксистскую археологию». Старался рассмотреть эволюцию форм жилища как отражение эволюции социальных систем, и об этом его первая книжка, вышедшая в 1926 г.: «Жилище. История жилища с социально-экономической точки зрения». А в 1928 г. вышла продолжающая эту разработку статья «Восстановление общественно-экономических формаций в культурах неолитического типа».

Вместе с Арциховским, Киселевым и Смирновым он отстаивал создание марксистской археологии. Но в советской науке возобладала (временно) ликвидаторская линия на уничтожение буржуазной науки археологии, и тогдашний руководитель ГАИМК С. Н. Быковский предложил было вообще делить историю не по видам источников, а по формациям, в Ленинграде же возникла идея заменить археологию историей материальной культуры. Арциховский со товарищи вынуждены были опубликовать в 1931 г. покаянную статью-декларацию с игривым названием «Возникновение, развитие и уничтожение марксистской археологии». Брюсов в критический момент сдачи статьи в печать был в экспедиции. Он отправил в журнал открытое письмо (для публикации) с уверением, что он целиком поддерживает отречение своих товарищей.

Поспешил Брюсов. Не потребовалось ликвидировать марксистскую археологию (а вскоре ликвидировали и ликвидаторов: Быковский был арестован и расстрелян). А социологическая направленность советской археологии, созданная с участием Брюсова, после значительного периода подавленности в сталинские годы всё же возродилась и через Чайлда и других западных археологов-марксистов в целом оказывала влияние на западную археологию.

3. Выделение культур лесного неолита. Еще в 1925 г., сразу по окончании Университета, Брюсов начал работать в Государственном Историческом Музее (ГИМ), сначала хранителем, а с 1930 г. заведующим отделом. Одновременно он был преподавателем Коммунистического университета трудящихся Китая (1927–1929 гг.), доцентом Московского университета (с 1929 г., то есть по окончании аспирантуры), старшим научным сотрудником НИИ археологии и искусствознания РАНИОН (1929–1931 гг.), старшим научным сотрудником Московского отделения ГАИМК (1932–1939 гг.).

Еще до кандидатской диссертации археологические интересы Брюсова сосредоточились на Северо-Западе России. С 1923 г. он стал ездить в эти районы лесной полосы Европейской части СССР — на берег Белого моря вместе с М. Е. Фосс, Д. А. Крайновым и А. В. Збруевой, (в 1926 г.), затем много лет — в Карелию и Вологодскую область, где он раскопал свайное поселение Модлона, в Новгородскую область.

Его кандидатская диссертация, защищенная в конце 20-х, была посвящена неолиту Северо-Запада СССР, в основном Карелии. Он всё более увлекался исследованием конкретных форм, в которых проявлялись общие закономерности, столь интересовавшие его вначале. Работал в Институте археологии и искусствознания РАНИОН и хранителем в ГИМ, позже заведовал там первобытным отделом. В 1935 г. опубликовал статью «Кризис буржуазной археологии и поиски новых путей вслепую», в которой критиковал методы Косинны. Он раскопал первое в нашей стране свайное поселение Модлона. Книга, расцененная как докторская диссертация, сделана и опубликована до войны — «История древней Карелии» (1940), а уже во время войны (1943) ему без защиты присвоена степень доктора исторических наук. В книге он старался разделить разные группы памятников, разграничить их территории. Выявить древние культуры, которые можно было бы увязать с конкретными народностями и языками.

Петроглифы Карелии он связывал с древними эпосами — «Эддой» и «Калевалой», настаивая, что большим лодкам на петроглифах должны соответствовать реальные суда. Равдоникас возражал этой трактовке, полагая, что изображены мифические солнечные ладьи. Однако на Дону были обнаружены большие долбленки неолитического возраста, что было принято за подтверждение точки зрения Брюсова, хотя предложенная Равдоникасом тема петроглифов от этого не становится менее убедительной.

4. Поиски Янтарной комнаты. В начале Отечественной войны Брюсов был эвакуирован вместе с музейными фондами и с осени 1941 г. по 1943 г. жил в эвакуации. Вернувшись в Москву, сразу же защитил ту самую докторскую диссертацию и в 1944 г. был зачислен старшим научным сотрудником в ИИМК. Там и проработал почти всю оставшуюся жизнь. Но первая его послевоенная экспедиция была необычной. В апреле 1945 г., через две недели после взятия Кёнигсберга, Брюсов получил командировку туда для розыска и возвращения российских культурных ценностей. Он провел там больше двух месяцев, там и встретил окончание войны.

Среди вывезенных немцами из оккупированных частей СССР сокровищ культуры оказалась знаменитая Янтарная комната, подаренная курфюрстом Пруссии Фридрихом Вильгельмом I царю Петру I и ставшая частью Екатерининского дворца в Царском селе (Пушкин). Она так и не найдена. В связи с этой горячей темой журналисты наплодили массу историй, от достоверных рассказов до мистической чуши. Так, Алексей Познанский в журнале «Совершенно секретно» старается представить дело так, что некие скрытые силы уже в послевоенное время убивали всех искателей этой комнаты, оберегая ее тайну от советских властей. Он набрал некоторое количество смертей причастных лиц и хочет доказать, что это были неслучайные смерти. Его опровергает тот факт, что два главных участника событий дожили до глубокой старости: осужденный гауляйтер Эрих Кох и советский профессор Александр Яковлевич Брюсов. Алексей Познанский (1998) пишет:

> «Комиссией по вывозу ценностей руководил профессор Александр Яковлевич Брюсов, искусствовед и историк, брат известного поэта Валерия Брюсова. Так случилось, что, будучи специалистом в основном по живописи, он ничего о Янтарной комнате не слышал, и никто из членов комиссии не знал, что ее привезли в Кенигсберг. Роде, правда, в беседе с Брюсовым мельком упомянул о двух бункерах в кварталах старого города, где спрятаны сокровища мирового значения. Узнав, что картин там нет, Брюсов к "сокровищам" охладел».

Ну, полная чушь. О Брюсове сведения заимствованы из недоброкачественных справочников, где он искусствовед, специалист по живописи. Археолог Брюсов был не руководителем, а членом бригады Комитета по делам культпросветучреждений при Совнаркоме РСФСР под руководством Т. А. Беляевой, а в Кёнигсберге работала еще и бригада Комитета по делам искусств, руководимая Н. Ю. Сергиевской, и другие команды. Брюсова направили в Кёнигсберг наряду с другими экспертами-музейщиками неслучайно. Предстояла оценка и опознание музейных экспонатов, древностей, а также были возможны раскопки руин. Археологу тут и карты в руки. Руины представлял собой Кёнигсбергский замок, разрушенный при налете английской и американской авиации.

Поскольку важными древностями для Севера были янтарные изделия Балтики, Брюсов сосредоточился на богатейшей немецкой коллекции янтаря, хранившейся в Кёнигсберге. Он осмотрел ее и заключил, что она «подлежит отправке в Москву» в компенсацию за

утраченные сокровища России. Ведь немцы захватили и вывезли в Кёнигсберг Янтарную комнату. Ее тоже надо было отыскать.

Немецкий язык не значился в числе выученных Брюсовым, но, проведя три года в немецком плену в Первую мировую войну, он должен был хоть как-то изъясняться по-немецки. Наверное, имелись и переводчики. В Госархиве Российской Федерации хранятся акты об осмотре Кёнигсбергского замка, об учете сокровищ и «Кёнигсбергский дневник» Брюсова — верный археологическим нормам, Брюсов вел полевой дневник своей работы. Это помогает сейчас ориентироваться при продолжении поисков Янтарной комнаты. Большие фрагменты дневника опубликованы Ларисой Бабаевой в «Независимой газете» за 22 июня 2001 г.

Упоминаемый и Познанским доктор Альфред Роде — это был директор уничтоженного бомбежкой Кёнигсбергского музея в замке. Он принимал участие в раскопках руин, помогая извлекать оттуда сохранившиеся экспонаты или их обломки. Именно он, специалист по янтарю (есть его научные работы по этой тематике), отвечал за сохранность Янтарной комнаты четыре года войны. После сокрушительной бомбежки Роде отрапортовал, что комната уцелела, и гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох поручил ему эвакуацию комнаты, чтобы она не досталась наступавшим советским войскам. Эвакуировать ее должны были в Саксонию. Далее следы комнаты теряются. Эвакуировал ли ее Роде или перепрятал в Кёнигсберге, неясно.

Брюсов описывает свои беседы с Роде.

> «Роде — старик на вид, с трясущейся правой рукой. Одет неряшливо (нарочно?). Искусствовед. Имеет ряд научных трудов. Алкоголик. Доверия не внушает. Мне все сдается, что он знает больше, чем говорит, а когда говорит, то нередко лжет. Если на него не смотреть, но следить издали или исподтишка, то его рука перестает дрожать. Уверяет, что лучшие коллекции были эвакуированы, но он не знает куда, когда я его спросил — не в Растенбург ли? — то он тотчас воскликнул: "Так вы их нашли?" И тому подобное. <...>
>
> Продолжаю. Раскопки в замке были начаты до меня ради отыскания Царскосельской Янтарной комнаты. Начали их в южном крыле по указанию Роде, утверждавшего, будто здесь стояли упакованные ящики с этой комнатой. Через день по приезде я обратил внимание на то, что часть маленького зала, где, по словам Роде, стояла комната, раскопана, а на остальном пространстве она уместиться не может. Указал на это Роде, тот, немного поспорив, сдался и заявил, что комната стояла

в северном крыле в большом зале вместе с мебелью Кайзерлинга. Это подтвердил Фейерабенд. <...>

19 июня. Сегодня в замке я нашел ряд документов по эвакуации коллекций из Кенигсберга. По ним видно, что с конца 1944 года этим делом заведовал Роде. Начинаю более тщательный просмотр этих бумаг».

Брюсов не пренебрегал и картинами и прочими экспонатами, но главной его целью была Янтарная комната.

«Найден ряд картин и среди них мадонна Вероккио (его мастерской), Брегель-младший и другие. <...> В Шлоссе (Замке. — Л. К.) найдено было много документов, показывающих, что Роде стоял во главе охраны музейных ценностей во всей Восточной Пруссии. Он вывозил отсюда вещи в "замки". Он подготовлял вывоз Янтарной комнаты в Саксонию. Но от него ничего нельзя добиться. Он не лжет, но говорит очень мало, только тогда, когда мы и без него что-нибудь открываем. <...> Я никак не могу добиться, чтобы с Роде поговорили по-серьезному, а не гладили его по головке и манили "системой пряника". По добру он ничего не скажет. По-моему, матерый фашист».

Комната оставалась недоступной, но Брюсов нашел знаменитую коллецию 110 тысяч янтарей со включениями («инкюзами»), а также бесчисленные сокровища музеев и дворцовых собраний: рельефы на дереве эпохи Дюрера и произведения мастерской Вероккио, картины итальянских, французских и русских художников, скульптурные группы, фаянс XVII–XVIII вв., мейсенский фарфор, как и фарфор Санкт-Петербурга, Китая и Англии, японские художественные изделия, старинная церковная утварь из драгоценных металлов (Овсянов 2005). Под его наблюдением всё это было запаковано в 60 ящиков, и, возвращаясь в Москву, он оформил документы на перевозку и сдал ящики под охрану военным. Но, наблюдая, что творится вокруг, 8 июля записал в дневнике: «Итак, наша работа, по-видимому, пройдет впустую. Вещи мы запакуем, но сохранятся ли они, — маловероятно» (цит. по публикации Л. Бабаевой). Как в воду глядел. Вещи по назначению не прибыли. Всё было расхищено военным начальством, трофейными командами, финотделами и политотделами частей и соединений, а также первой волной переселенцев. Из янтарей немецким музейщикам удалось вывезти 17 тысяч, остальные (93 тысячи!) ушли на частный рынок (Овсянов 2005).

Янтарной комнаты среди эти сокровищ не было. Роде уверял, что в самый ответственный момент он заболел и о судьбе Янтарной

комнаты ничего больше сказать не может. В декабре они с супругой умерли от дизентерии, но Познанский уверяет, что могила их пуста. Брюсов пришел к выводу, что Янтарная комната была всё же эвакуирована в Саксонию, в район города Рохлиц. Видные немецкие археологи (в частности, Клаус Гольдман) считают, что она погибла, а Роде рапортовал о ее сохранности, боясь гнева начальства. В печати высказывалось много нареканий на Брюсова за то, что он упустил возможности выяснить секрет укрытия комнаты по свежим следам. А вскоре и Роде умер или пропал, и Кох отправился на тот свет, и многие следы исчезли. Но в той обстановке с возможностями штатского музейного работника вряд ли можно было сделать больше.

В 1949 г. Брюсов снова побывал в Кёнигсберге (уже Калининграде) и для него саксонская версия по-прежнему была главной (1). Но изложил он и еще две: 2) Комната осталась на территории Замка, и 3) перепрятана в другое место Кёнигсберга. Руководители поисков склонились ко второй версии и все поиски дальше вели в этом направлении. Возможно, Брюсов был прав, и ему напрасно не поверили.

Но вообще-то существует около 50 версий нахождения Янтарной комнаты.

Возможно, именно в этих поисках Брюсов натыкался на залежи немецкой археологической литературы, на книги и статьи раскритикованного им Косинны, вчитался в них с новых позиций советского внимания к этногенезу. Во всяком случае, отношение его к методам Косинны меняется.

5. Возвращение к Косинне. Освобождение от марровских догм пришлось как нельзя более кстати. Брюсов занялся теоретическим обоснованием разнообразия неолитических культур Севера, которое он связал с сегментацией племен. Книга Брюсова «Очерки по истории Европейской части СССР в неолитическую эпоху» (1952), переведенная также в Германии, принесла ему европейскую известность (он почетный член Преисторического общества Англии) и авторитет ведущего специалиста по неолиту в СССР. Он стал профессором Университета и заместителем Арциховского по редактированию «Советской археологии». В партию вступил после смерти Сталина, в 1954 г., уже почти в семидесятилетнем возрасте (Раушенбах 1965; 1967; 1985). Москвичи выдвинули Брюсова на роль лидера в изучении каменного века — в противовес Ефименко. Его стали посылать в заграничные командировки — налаживать связи с Данией, Австрией, Германией...

Обширную культуру ямочно-гребенчатой керамики он разбил на целый ряд небольших неолитических культур: карельскую, каргопольскую, льяловскую, волосовскую и др. Это была полезная работа, вполне в духе времени. Начавшись с дробления культуры ямочно-гребенчатой керамики у Брюсова, затем эта тенденция дробления переметнулась на катакомбную культуру (в 1970 г. я счел ее варианты самостоятельными культурами, а за мною это стали признавать и другие), затем это перекинулось на ямную культуру.

А. Я. Брюсов

Грач в Ленинграде и Формозов в Москве были против этой тенденции. Они стояли за обобщенное представление о ранних культурах.

Еще аспирантом в начале 1950-х гг. Формозов отказался иметь своим научным руководителем признанного лидера московских неолитчиков Брюсова и взамен добивался, чтобы его руководителем был человек со стороны (не сотрудник ИИМКа) Г. Ф. Дебец. Брюсов ему не импонировал, некоторые отрицательные явления в методике молодой человек именовал «брюсовщиной» и ссылался на непочтительные ремарки в адрес А. Брюсова в дневнике его старшего брата. Отношения между Брюсовым и Формозовым были навсегда испорчены. В своей диссертации 1954 г. и в вышедшей на ее основе книге Формозов (1959: 8) открыто критиковал Брюсова:

> «Легко понять, к чему должно привести это направление исследований. Очевидно, микрокультур будет выделено столько, что даже специалист-археолог не сможет запомнить не только их характерные черты, но даже их названия. А что это реально даст для понимания древней истории, кроме уже установленного на примере Карелии и сопредельных районов факта существования узколокальных племенных культур в пережиточном неолите? Мы не можем проследить историческую судьбу каждой небольшой группы первобытных людей и, говоря о финно-угорском этногенезе, ссылаемся на все культуры с ямочно-гребенчатой керамикой в целом, а не на одну лишь

> балахнинскую или каргопольскую культуру. Следовательно, принятое в настоящее время направление исследований может дать для восстановления истории первобытного человечества меньше, чем изучение больших групп родственных культур, исследование их происхождения, изменения их границ на протяжении времени и т. д.».

В этом рассуждении не учтен очень существенный факт: если ошибочный вывод по одной «микрокультуре» будет сделан (а избежать ошибок трудно), то он коснется только одного фрагмента, а если мы при этом сразу беремся за большое обобщение, то искажен будет вывод обо всей культуре. Поэтому лучше описывать матерал по дробным частям и лишь потом объединять то, что потребует объединения.

Но в последние годы Формозов признал, что его позиция по этому вопросу была нерациональной. Только в одном случае он остался верен своим ранним идеям о порочности выделения узко локальных культур — в случае сравнения Жукова с Брюсовым.

В свое время Б. С. Жуков выделил в неолите лесной полосы культурные комплексы с большим территориальным охватом — комплекс гребенчатой керамики, затем более поздний Льяловский и еще более поздний — Волосовский. Брюсов, занявшись этой территорией после Жукова, придал этим комплексам значение узко локальных культур примерно одного хронологического пласта. Это Формозов считает его ошибкой, подчеркивая, что современные исследователи всё больше склоняются к хронологическому пониманию соотношений этих комплексов. «Одним словом, — пишет он, — идеи Жукова выдержали испытание временем, хотя присваивались другими людьми, тогда как построения А. Я. Брюсова устарели полностью» (Формозов 2008: 86).

Я оспаривал выводы Боюсова по другим основаниям. Культуры ямочно-гребенчатой керамики Брюсов считал этническими и родственными между собой, предположительно финно-угорскими. Фатьяновскую признал совершенно чуждой им, инородной и пришлой (сторонники теории стадиальности твердили о ее автохтонности). Все это обосновывал методологическими выкладками. Это был шаг в сторону косинновских принципов.

Хрущевскую либерализацию Брюсов воспринял как возможность реконструировать миграции и в самом начале 60-х гг. построил свою концепцию происхождения индоевропейцев. Он выводил их из понтокаспийских степей вполне в духе Косинны — дальними миграциями катакомбной культуры, реконструируемыми по одним лишь находкам каменных боевых топоров. А помещение исходного

центра на территории СССР придавало концепции патриотическое звучание. Таким образом, Брюсов проделал очень показательную эволюцию от марксистского социологизма к косинновскому этнизму с национал-патриотическими обертонами. Эту трансформацию он проделал вместе со всей официальной советской археологией, но раньше и ярче других.

Тогда же я выступил против этой концепции, утверждая, что непременного совпадения этноса (особенно языка) и культуры нет, послал свои возражения в «Советскую археологию». Но из редакции прислали ответ, в котором было выражено удивление по поводу самоуверенности, с которой молодой автор (мне было 35 лет!) выступает против маститого ученого. Я никуда не мог пристроить свою статью против Брюсова. Тогда я написал и отослал в немецкий журнал большую статью против Косинны — против источника тех методов, которыми пользовался Брюсов. Статья вышла в 1974 г., а в 2000 г. была напечатана по-русски (в Молдавии).

В своей «Археологической типологии» 1982/1991 гг. я критиковал классификацию каменных боевых топоров Брюсова и Зиминой, выполненую ими в 1966 г. для «Свода археологических источников». Классификация эта была сделана вроде бы по таким же формальным основаниям, как и известная классификация ютландских топоров Питера Глоба. Но классификация Глоба работает — по ней топоры четко распределяются по хронологии и по территориям, а классификация Брюсова-Зиминой не работает: у них топоры беспорядочно рассыпались по всей карте и не имеют четкой хронологиии. Я в своей книге старался выяснить причины этой неудачи. Здесь этот методический вопрос не имет смысла разбирать. Достаточно лишь констатировать, что неудача Брюсова означала кризисные явления в советской методике исследований.

К концу жизни Брюсов был чрезвычайно влиятелен в СССР: возглавлял отдел полевых исследований, был заместителем Арциховского по редактированию «Советской археологии», заслуженным деятелем науки РСФСР и Карельской АССР, был награжден к юбилею орденом Ленина. Но в научной среде его выводы встречались со скепсисом и возражениями — как ветеранов (Равдоникаса, Окладникова, Фосс), так и археологов следующего поколения (Формозова, Клейна).

Старость Брюсова не была величественой, и молодая жена не спасла положения. Формозов (2011: 156, 158) пишет, что знал его в старости как неряшливого опустившегося старика. «Ему отняли ногу, и он несколько лет сидел дома, изнывая от скуки. Пасынок

потихоньку распродал его библиотеку. Никто не хотел навестить больного». Формозов не совсем прав: сотрудницы брюсовского отдела в ГИМе постоянно навещали старика, устраивали его юбилеи.

Тем не менее (это я привожу в оправдание Брюсова — и Формозова!) Формозов (2011: 158) так завершает свои воспоминания о Брюсове:

> «Всё же нужно признать и одну заслугу покойника. В те годы, когда теоретики ГАИМКа, насаждая стадиальную схему, отменили локальные варианты в культуре каменного века, и Ефименко принял эту нелепую догму, Брюсов нашел в себе мужество отстаивать истину. В "Сообщениях ГАИМК" Быковский обвинял его ни много ни мало, как в пособничестве панфинистам и фашистам. Шутить с этим в тридцатых годах не приходилось. Тем не менее Брюсов не капитулировал. Археологические культуры он выделял без серьезных оснований, везде и всюду пел дифирамбы Сталину, не стеснялся обличать в антимарксизме Равдоникаса или Пассек, но так или иначе именно он в крайне неблагоприятных условиях продолжал важную линию исследований. Благодаря ему М. Е. Фосс и О. А. Граковой в сороковых и пятидесятых годах быстрее и легче удалось оживить интерес к этой проблематике, а археологам младшего поколения — далеко опередить самого Брюсова. Скажем же ему спасибо».

В конце его жизни из-за энтерита развилась гангрена, ногу ампутировали, но старик вскоре умер. После смерти в 1966 г. наследие его составляло 118 печатных работ, сравнительно немного для 80-летнего ученого, но ведь он начал-то после 40 лет...

Археолог во главе этнографии

С. П. Толстов

Во мне два «Я» — два полюса планеты,
Два разных человека, два врага:
Когда один стремится на балеты —
Другой стремится прямо на бега.

Я лишнего и в мыслях не позволю,
Когда живу от первого лица, —
Но часто вырывается на волю
Второе «Я» в обличье подлеца.

Вл. Высоцкий. Стихи, упавшие в меня.

Кто носорогу
Дорогу
Уступит,
Тот, несомненно, разумно поступит.
Любо толкаться ему, толстокожему,
А каково
Бедняге прохожему?

Борис Заходер. Носорог.

1. Фигура. Овеянный славой дальних экспедиций в пустыни Кара-Кум и Кызыл-Кум, он как бы сошел с миража: вокруг него — зной, барханы и руины засыпанных городов... Рюрик Садоков, его ученик, описывает первое знакомство с учителем при наборе в экспедицию: «Мне нравятся загорелые руки Толстова, крепкая шея, вьющиеся непокорные волосы» (Садоков 1972: 54). Этого высокого прихрамывающего человека с изрезанным морщинами лицом и прокуренными желтыми усами студенты боготворили, а коллеги побаивались, а то и ненавидели. Порывистый и резкий, с замашками армейского старшины, он владел основными европейскими языками и читал на

древних, отлично рисовал. Его работы отстаивали догматический марксизм, были насквозь пронизаны советской фразеологией и блистали неимоверно яркими мыслями.

2. Формирование личности. Сергей Павлович Толстов (1907–1976) родился в Петербурге в семье казачьего офицера. Его дед, Сергей Евлампиевич Толстов, — генерал от кавалерии, участник русско-турецкой войны, многих походов и экспедиций. Он был расстрелян в семидесятилетнем возрасте большевиками в Москве в 1920 г. Все четыре генеральских сына — офицеры царской армии. Отец Сергея Павловича, полковник лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, скончался от туберкулеза в 1916 г. Его дядя Вл. С. Толстов был активным деятелем Белого движения, атаманом Оренбургского казачьего войска, сражался против легендарного Чапаева, написал книгу «От красных лап в неизвестную даль» (издана в Константинополе в 1921 г.) и умер в 1956 г. в эмиграции в Австралии.

С таким родством уцелеть в Советском Союзе, и не просто уцелеть, а войти в советскую номенклатуру — это редкостное везенье и выдающийся талант выживания.

Бедствия Гражданской войны раздавили семью. Маленький Сергей вместе с братьями был определен сначала в Петербургский кадетский корпус, а в 1917 г. вывезен в Оренбург и помещен в тамошний кадетский корпус. Там дети пробыли недолго. По смерти матери одиннадцатилетний Сергей и его три брата оказались в детском доме в Москве, где будущему ученому довелось провести пять лет. Это всегда чувствовалось: приютские редко вырастают отменно вежливыми и деликатными — им ведь нужно отстаивать свои интересы и свой престиж в весьма хулиганской среде. Получил, будучи в приюте, среднее образование. Но состав педагогов там был неплохим, все братья Толстовы вышли в люди: один стал художником, другой математиком и генералом, третий — капитаном корабля. В детском доме же Толстов влюбился в Татьяну Трофимо̄ву и женился.

В 1923 г. Сергей поступил на физмат Университета, где определился на кафедру антропологии, возглавляемую после Анучина его учеником и продолжателем Жуковым, изучал этнографию и первобытную археологию. В 1925–1927 гг. участвовал в комплексной Антропологической экспедиции Московского университета во главе ее этнографического отряда, обследовал быт русских, мордвы, марийцев. Первая статья Толстова — классификация традиционных форм русского жилища (1927). В студенческие годы он участвовал в краеведческом

движении, возглавлял студенческую секцию Центрального бюро краеведения. В 1929 г., закончив физмат по кафедре антропологии (со специальностью «этнография тюркских народов»), поступил на историко-этнологический факультет, причем Толстов начал преподавать на этнологическом факультете, еще будучи его студентом.

Университет окончил в 1930 г. В этом году выступил с полемикой против статьи известного этнографа Д. К. Зеленина о финском вкладе в составе русской народности. Статья изобиловала резкими политическими обвинениями. В этом же году вступил в Общество краеведов-марксистов (ОКраМ), созданное как противовес традиционным краеведам и их Центральному бюро краеведения во главе с академиком С. Ф. Ольденбургом. В это время печатался в журнале «Советское краеведение», который был, по оценке Формозова, специально создан партийным руководством, чтобы свернуть изучение старины и направить краеведческое движение на обслуживание современности. С юных лет осталась в Толстове эта двойственность: интерес к истокам и убежденность, что это запретная, аморальная тяга, что народу нужно другое — то, что непосредственно решает современные проблемы.

Таким С. П. Толстов вступил в науку и политику

В 1930 г. упразднен Музейный отдел в Наркомпросе РСФСР, которым заведовала жена Троцкого. В 1931 г. кафедра антропологии была разгромлена, Жуков арестован, осужден и услан в Сиблаг. О. А. Кривцова-Гракова передавала Формозову убеждение старых археологов, что это собственный выкормыш Жукова Толстов его туда и упек. Формозову «не хотелось в это верить», но, лучше изучив реалии эпохи, он счел это возможным (Формозов 2008). Толстову, за которым маячила его белогвардейская родня, приходилось особенно активно доказывать свою лояльность большевикам. В статье 1929 г. «К проблеме аккультурации» он резко критиковал выдающегося русского этнографа Зеленина. В брошюре 1932 г. «Введение в советское краеведение» он обрушился на музеи

за собирание старины, усматривая в этом злостное противодействие революционным новациям.

Но достоверных данных о причастности Толстова к аресту Жукова нет. Более того, возникает недоумение: откуда Кривцова-Гракова могла знать о том, что Толстов виновен в аресте Жукова (донос? скверные свидетельские показания? исповедь Толстова?). Доступа к делу Жукова она не имела. Недоброжелательное отношение коллег к Толстову общеизвестно. Его легко могли заподозрить в неэтичных поступках, даже если он их не совершал.

Из анучинской школы он вынес приверженность к интеграции естественных и общественных наук (тогда это называлось комплексным подходом). Еще в 1929 г. он совершил свою первую этнографическую поездку в Хорезм. С этого времени увлекся Хорезмом и, конечно, периодом его апогея — его древней историей. Это ведь там действовали Бируни и ал-Хорезми, от названия трактата которого происходит слово «алгебра»! Постепенно интересы смещались и на археологические материалы — на древние памятники ирригации, древние постройки. В 1934 г. окончил аспирантуру ГАИМК по истории и археологии Средней Азии. С 1929 г. работал в Музее народов СССР сначала сотрудником, потом ученым секретарем. В 1936 г. стал заведующим московским отделением ИИМК. Профессор МГУ и заведующий кафедрой этнографии со времени ее открытия — с 1937 г. Итак, он сформировался как этнограф и археолог, специализировавшийся по среднеазиатской культуре.

Появление Толстова в 1938 г. на вечеринке у Арциховского ученик того, Федоров, (1997/2007) описывает так:

> «Он был <...> высокого роста, широкоплечий, в гимнастерке, перехваченной в тонкой талии узким кавказским ремешком. Лицо с очень правильными красивыми чертами было темно-коричневого цвета, и на нем особенно выделялись довольно большие, пшеничные, лихо закрученные на концах усы.
>
> — Сердей Павлович Толстов, лучший специалист по археолодии Средней Азии, — представил его наш учитель.
>
> Толстов принял это представление как должное, крепко пожал нам руки, присел к столу, налил и тут же выпил стопку водки».

Археолог Рабинович (2005; 295) вспоминает, что Толстов «и до войны одевался, как бы сказать, в стиле военного коммунизма, чуть подправленном сталинской "партийной формой": френч, обмотки, широкий кожаный ремень, лихо заломленная кубанка». Если бы не знать, что это партийный стиль, можно было бы упрекнуть его «в нарочитом

щегольстве полувоенной одеждой, что так распространилась в те трудные годы (да ведь и достать штатской одежды не было возможности)».

3. Теоретик этнографии? Несколько слов следует сказать о Толстове как теоретике. Этому вопросу посвящена специальная статья Ю. И. Семенова (2004) и его половина совместной статьи (Рапопорт и Семенов 2004). Семенов стремится доказать, что Толстов не только обобщал и систематизировал факты этнографии, но и разрабатывал теории этой науки. Правда, только до середины 30-х гг., так как после убийства Кирова и развязывания сталинского террора заниматься теорией стало смертельно опасно. Да и до того он был в значительной мере скован догмами и не мог в полную меру развернуть свою интеллектуальную мощь.

Семенов выделяет три основных теоретических проблемы, разрабатывавшихся Толстовым до этой в буквальном смысле dead line — мёртвой линии.

Первая проблема — это проблема перехода от животного к человеку. В своей работе 1931 г. «Проблема дородового общества» Толстов подверг сокрушительной критике определение первобытного человека как собирателя — он остаивал изначальность охоты.

Вторая проблема — возникновение экзогамии и рода. Эта проблема разработана в статье 1935 г. «Пережитки тотемизма и дуальной организация у туркмен». В ней развивается идея о том, что на какой-то ранней стадии развития первобытного человечества существовали раздельно совершенно самостоятельные коллективы мужские и женские, и они встречались раз в году для полового общения.

Третья проблема — переход от первобытного общества к классовому и первые формы классового общества. Эта проблема поставлена С. П. Толстовым в статье 1932 г. «Очерки первоначального ислама». Здесь выделен период перехода от доклассового общества к классовому как особая историческая эпоха, которую нельзя полностью отнести ни к собственно первобытному обществу, ни к одной из классовых общественно-экономических формаций.

Я очень почитаю талантливого теоретика первобытности Ю. И. Семенова, но, на мой взгляд, первые две проблемы не являются теоретическими. Были первобытные люди собирателями или охотниками, это сугубо эмпирический вопрос, он решается исключительно фактами. Точно так и вопрос о том, существовали раздельные мужские и женские коллективы или нет. Это невозможно установить прямо, но гипотеза об этом — гипотеза о факте, а не о законе, и решается дело сопоставлением косвенных даных, но всё же о том, был такой факт

или нет. Здесь есть гипотезы, но не теории. Третья проблема имеет некоторые признаки теоретического подхода (стоит ли выделять промежуточную фазу), но и здесь главное решается фактами: были основания для этого в материале или нет.

Гораздо больше теоретического можно усмотреть в занятиях Толстова проблемами этногенеза. Потому что там спор шел о методах и принципах исследования и лишь затем — о фактах происхождения народов, фактах этнической истории.

4. Хорезм и этнография. В 1938 г. началась Хорезмская экспедиция Толстова. Вообще-то, Хорезм ранее был открыт А. И. Тереножкиным, тот провел там разведки и планировал развернуть раскопочную деятельность, но именно Толстов воспрепятствовал реализации экспедиционных планов Тереножкина (см. воспоминания Тереножкина, опубликованные его сыном в Киеве — Тереножкин 2006). В 1939 г. Толстов нашел в Хорезме остатки городов с жилыми стенами — в крепостных стенах были жилища населения. Вопреки западным схемам развития Азии, Толстов истолковал эти города не как феодальные крепости, а как громадные загоны для скота. Описание подобного он нашел в Авесте — это священная Вара иранцев. В том же году он стал завом кафедры этнографии и московского отделения ИИМК.

С началом войны Толстов вступил командиром взвода в народное ополчение, офицером артиллерийской разведки участвовал в боях под Ельней и Можайском, был принят кандидатом в члены партии. В октябрьские дни 1941 г. на исфаке МГУ получили от Толстова «единственную в своем роде» телеграмму: «Ранен в бою под Можайском прошу срочно ходатайствовать оставлении рядах Красной армии» (Рабинович 2005: 204). Тяжело раненного в ногу Толстова отправили санитарным эшелоном в Среднюю Азию, но недалеко от Ташкента его забыли на носилках посреди перрона, а эшелон ушел. Другой эшелон захватил его и увез в Сибирь, в Красноярск. Здесь в госпитале он провел четыре месяца. Чтобы не терять времени, изучал языки, как Шлиман, — вчитываясь в беллетристику на них. В госпитале его нашло семейство друзей и выходило. Когда демобилизованный и вылеченный Толстов приехал в Ташкент, где тогда пребывало в эвакуации Отделение истории Академии наук, оказалось, что там уже объявили его погибшим и почтили память вставанием.

Но в 1942 г. «воскресший из мертвых» защитил докторскую диссертацию «Древний Хорезм». Защита проходила в какой-то

столовой в подвале, при свечах (диссертация опубликована в 1949 г. одновременно с книгой «По следам древнехорезмийской цивилизации» и увенчана Сталинской премией — причем первой степени, тогда как выдвинут он был только на вторую степень, первая предназначалась лишь премированному одновременно Рыбакову за «Ремесло Древней Руси»). Поправка сделана карандашом Сталина.

Тогда же, в 1942 г., Президиум Академии наук поручил ему создать московскую группу Института этнографии — сам Институт в Ленинграде в блокаде, часть сотрудников в эвакуации. Археолог Рабинович, забракованный по состоянию здоровья для фронта, возглавлял библиотеку Университета, из которой «драпануло» начальство, но, когда начальство вернулось, оказался не у дел. Толстов предложил ему в 1943 г. войти в его группу: «Пока нас четверо — Косвен, Никольский, Богданов и я. Пьет а терр (франц. «пристанище». — Л. К.) — вот в этом кабинете. Нам нужен ученый секретарь. Так вот, не станете ли вы им? Предупреждаю: археологией заниматься не придется». Рабинович согласился.

Таким С. П. Толстов создавал после войны в Москве центр Института этнографии

Через короткое время Толстов уже возглавлял Институт этнографии, сменив на этом посту ленинградского академика В. В. Струве (на этом посту Толстов останется четверть века — пока сможет работать, до 1966 г.). Поначалу у новоиспеченного института не было ничего своего, даже «пишущей машинки — символа всякого учреждения». С мытарствами Толстов пробил для своих людей продовольственные карточки, зарплату в Москву переводили из Ташкента, где помещалась эвакуированная из Ленинграда канцелярия Института. Вскоре в Институте уже работало созвездие крупнейших ученых, хотя тогда еще не всем известных: Токарев, Богатырев, Кушнер, Рыбаков, Бунак, Дебец, Чебоксаров. Появились аспиранты: Чичеров, Потапов, Якимов, Соколова и др. Толстов был тогда

«в расцвете своих творческих возможностей, — писал впоследствии тогдашний ученый секретарь Рабинович (2005:

206–207). — Нельзя сказать, что приводило меня в больший восторг — наблюдение за полетом его мыслей или форма, в которую он их облекал. До тех пор я знал, что он археолог — и его этнографическая ипостась меня восхитила. Я слушал, буквально раскрыв рот и развесив уши, старался впитать как можно больше этих увлекательных гипотез, таких красивых и убедительных. Сергей Павлович и сам был увлечен изложением своих последних выводов и делал доклады с удовольствием. Как-то он даже сказал:

— Мой день рождения. Давайте назначим мой доклад.

<...> Мы заседали по утрам не только потому, что с наступлением темноты даже передвигаться было трудно. У Толстова рабочий день резко делился на две части. С утра — дела института. Отделения академии и пр. В 2 часа он всё это кончал, чего бы это ни стоило. Обедал, ехал домой спать. Вставал часов в 7 вечера — и всю ночь, часов до 4 утра, читал и писал — словом, работал над своей темой. А там опять несколько часов сна — и снова директорство.

— Что вы меня уговариваете? Я сплю не меньше, чем вы, — часов восемь или около того. Но так я из одного дня делаю два.

Дорого это ему обошлось».

В 1950–1951 гг. по совместительству Толстов возглавлял Институт востоковедения, опять же сменив академика Струве (тот был назначен директором Института истории). С 1943 по 1945 г. был деканом истфака МГУ. Как раз тогда дочь Сталина, Светлана Алилуева, хотевшая быть филологом, по воле Сталина поступила на истфак. В 1944 г. Толстов принят в партию. С 1946 г. главный редактор «Советской этнографии» (до 1966). Затем стал ученым секретарем Президиума Академии наук (1949–1954). В 1953 г. избран членом-корреспондентом АН СССР, но в полные академики не мог пройти.

Академик Струве, которому Толстов всё время наступал на пятки, подружился в эвакуации с М. Е. Массоном, пробивал его на пост начальника Хорезмской экспедиции, но, не преуспев в этом, помог ему организовать Южно-Туркменистанскую экспедицию, ставшую конкурентом Хорезмской, и стал членом ее совета, печатал в ее трудах свои исследования по истории Средней Азии. Впоследствии Толстов имел почетные титулы в Таджикистане и Узбекистане, но не в Туркмении, где раположен Хорезмский оазис и работала экспедиция Толстова. А Массон был академиком Туркменистана, но не Узбекистана, где расположены Самарканд и Ташкент, в которых он жил.

Среди влиятельных академиков не только Струве был недругом Толстову. Рыбаков, ставший академиком в 1958 г., не мог забыть, что

в получении Сталинских премий (огромное возвышение в те годы) Толстов оказался на той же ступеньке, хотя первоначально планировался на ступеньку ниже.

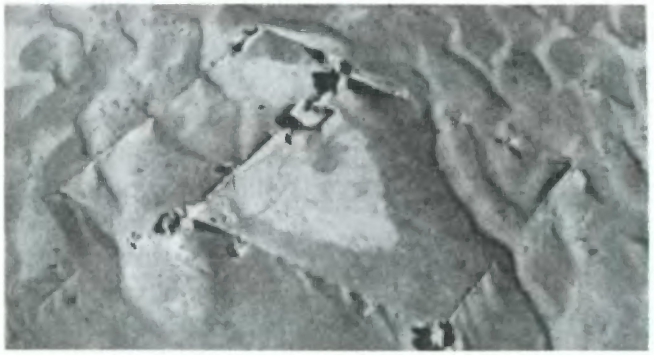
Академик Б. Гафуров, который был академиком во-вторых, а во-первых был первым секретарем ЦК КП(б) Таджикистана, то есть боссом республики, тоже имел зуб на Толстова. Вот его письмо от 14 апреля 1947 г. А. А. Жданову, главному идеологу СССР в то время:

> «Вы лучше меня, конечно, знаете, что сейчас вся пропаганда пантюркистов в том именно и состоит, что все среднеазиатские народы являются тюрками. При этом пантюркисты считают тюрками даже таджиков, не говорящих на тюркском языке. Поэтому я считаю, что теория, проповедуемая проф. Толстовым, исключительно для нас вредна и все установки проф. Толстова только помогают пантюркистам. В то же время я считаю, что всякое утверждение чисто турецкого происхождения народов Средней Азии только помогает нашим врагам, и этого ждут пантюркисты, являющиеся опаснейшими врагами Советского Союза на востоке» (ГАСПИ, ф. 17, оп. 125, д. 552, л. 57). Цит. по: А. А. Улунян. 2007. История и политика: забытые уроки. — Фергана.ру (fergananews.com/articles/5041)

При такой родне и таких недругах удивительно, как Толстов уцелел! Но Сталинская премия за Хорезм была повышена самим Хозяином. На факультете Толстова училась дочь Великого Кормчего — академики это, конечно, знали и могли лишь тайно бросать Толстову черные шары.

«Его в академики не пускали, — вспоминает один из его соратников С. И. Брук. — Всё время он не добирал одной трети голосов. Так его не любили. — И добавляет: — Характер у него был отвратительный. На всех он кричал... Ни с кем не ладил и портил отношения» (Брук 1995: 93). Берестов (2002), писатель с археологическим образованием, сохранил восхищенное воспоминание профессора Гракова: «Сокрушительный был декан! Разбил кулаком два стекла на столе у ректора!» Правда, это не относилось к высшим властям и их представителям: «Он был груб, но умел сдерживать себя... В трудные моменты на столе появлялся коньяк» (Брук 1995: 94). «...Умел маневрировать» (1995: 101).

Заветы анучинско-жуковской школы, тяга к комплексному подходу реализуются в его Хорезмской экспедиции — там над едиными заданиями работают археологи, этнографы, географы, гидроморфологи. Экспедиция применяет авиаразведку, аэрофотосъемку — в СССР это было впервые. В 1945–1950 гг. экспедиция ведет главным



В Хорезмской экспедиции Толстова применялась авиаразведка. Кум-Баскан с воздуха

образом раскопки Топрак-кала — дворца правителей Хорезма в III в. н. э. С 1951 г. экспедиция изучает формирование древних русел Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи и историю их обитаемости. Даже археологию он стремится поставить прямо на службу современности — народному хозяйству: прослеживанием древних русел помочь современным ирригаторам. Раскапываются и сакские памятники. Толстов приходит к выводу, что в скифское время жители этих мест были не только скотоводами, но и ремесленниками, ирригаторами, градостроителями.

Писатель Р. Бершадский, побывавший в его экспедиции и восхищенный им, описывает его романтический облик «в желтом тропическом шлеме с двумя козырьками: спереди и сзади, <...> лицо табачно-желтое от солнца, русые усы, которым предоставлено расти, как им хочется».

Сталин читал «Древний Хорезм» Толстова — известны его советы строителям Большого Туркменского канала читать Толстова. Вождя привлекали его реконструкции древней ирригации Туркмении. Есть мнение, что чтение Толстова повлияло на выбор вождя провести канал по северному маршруту — через Кара-Калпакию в Узбекистан, по старому руслу Аму-Дарьи — Узбою. Так и начали строить Главный Туркменский канал, используя даровой (рабский) труд заключенных, подобно древним деспотам. Однако после смерти вождя его преемники — Берия с Маленковым, а потом Хрущев — отказались от этой идеи как слишком дорогой в новых условиях. Канал прошел по южному маршруту — из Главного Туркменского превратился в Большой Каракумский. Если Главный Туркменский орошал в основном Узбекистан, то Каракумский — в основном Туркмению. Реконструкции Толстова потеряли привлекательность для советского руководства. В результате

Хорезмская экспедиция, мавзолей Сарлытам. Рисунок Николая, брата С. П. Толстова

выигрыш оказался сомнительным: Аральское море обмелело, а земли туркменских оазисов стали засаливаться (Германов 2002).

В институте Толстов вместе с Потехиным затевает пересмотр ориентиров. Интерес к традиционной культуре должен уступить место исследованиям современности — колхозного быта, городской рабочей среды, преодолению религиозных и национальных предрассудков. В 1951 г. в Ленинграде проводится Всесоюзное этнографическое совещание под лозунгом: ближе к современности! С 1957 г. Толстов организует выход многотомной этнографической описательной серии «Народы мира» — с тем же уклоном. Оценка этой толстовской тенденции, встреченной многими с неприятием, может быть двойственной. С одной стороны, это было подавлением традиционных функций этнографической науки, ее связи с историей, забвение ее ответственности за спасение этнографических и фольклорных источников истории, особенно средневековой и первобытной истории. А следовательно, и связи с археологией. С другой стороны, в Советском Союзе ведь не было культурной антропологии в англосаксонском понимании, с ее широкими культурологическими интересами, и некому было исполнять ее функции в обществе. Толстов думал, конечно, не об этом — он выполнял партийный заказ.

5. Под эгидой Марра. К числу ближайших учеников академика Н. Я. Марра Сергей Павлович не принадлежал. Университет окончил к тому времени, когда Марр был уже слаб, болен и боялся ареста. Из аспирантуры вышел уже после смерти Марра. Но всё его становление как ученого прошло в обстановке культа Марра, когда теория стадиальности считалась, по выражению Покровского, «железным инвентарем марксизма». Идеи Марра витали в воздухе, которым дышал молодой Толстов (и который представлялся удушливым для старых лингвистов).

С. П. Толстов в директорском кабинете ленинградского отделения Института этнографии (бывал там наездами)

Будучи человеком творческим, критическим и талантливым, он не мог воспринять все эти марровские чудачества типа исходных «языковых элементов» «сал», «бер», «йон», «рош», он просто считал, что это слишком специальная для него сфера и надо ее принимать как результат профессиональных исследований в другой науке. А вот реалистичные идеи Марра, пусть и не доказанные, но и не абсурдные, он воспринимал с жадностью — о языковых скрещениях, о движении от множества языков к одному языку коммунистического будущего всей планеты, о расистских порок ах схемы индоевропейского древа (о них говорил не только Марр, но и многие западные лингвисты), о структурах языков и их структурных преобразованиях. Он осваивал эти идеи и стремился придать им своей творческой мыслью еще больше реалистичности.

Эти идеи проводил в своих статьях по этногенезу и в своих лекциях. Они придавали его лекциям необыкновенную новизну и увлекательность. Писатель Валентин Берестов был в числе его студентов и оставил живое описание его лекций:

> «Всё, о чём он читал, было как бы заново проверено и обогащено его талантом. Читал он спокойно, последовательно, методично, словно это было не сплошное новаторство, а нечто общеизвестное, утверждённое во всех инстанциях. Даже свою увлечённость новыми идеями, свой неукротимый темперамент Толстов искусно скрывал. Привычные в те времена связки "как известно", после чего шли мысли, высказанные впервые, "мы имеем", хотя сказанное часто знал и "имел" только он один, типичные для того времени "с одной стороны" и "с другой стороны" как бы убаюкивали рвение искателей крамолы».

То есть вдумчивых слушателей не оставляло чувство, что новизна здесь граничит с крамолой, ибо им преподносились идеи, абсолютно новые, отсутствующие даже у Марра.

> «Затаив дыхание, слушали мы, например, лекцию о языках флективного, агглютинирующего и аналитического строя. Оказалось,

аналитические языки: английский, французский, болгарский и, кажется, суахили — образовывались в местах смешения народов, служа посредниками между ними. Вот и отлетели в сторону, как помехи, изменчивые, трудные для запоминания окончания имён существительных при склонении, окончания глаголов — при спряжении. Зато усилилась управляющая роль предлогов...

И на концах ойкумены образовались как бы два языковых полюса. На одном подлежащее стояло впереди сказуемого, приставка значила больше, чем суффикс, определение ставилось перед определяемым. На другом всё наоборот: сказуемое перед подлежащим, определение за определяемым, а в составе слова господствуют суффиксы. А в промежутке между полюсами — смешение форм».

Любопытно, что я, не имея в Ленинграде возможности слушать Толстова, с восхищением отметил и навсегда запомнил те же самые пассажи — они есть в статьях Толстова, в частности в работе «Из предыстории Руси» (Толстов 1947). У меня было полное ощущение, что я прикасаюсь к мыслям гения.

Но всё это сам Толстов считал продолжением и развитием идей Марра. Поэтому когда в 1950 г. «Правда» начала длительную дискуссию об учении Марра, поместив критическую статью тбилисского лингвиста А. Чикобавы, Толстов отправил в «Правду» статью в поддержку учения Марра. Вообще тогда большинство думало, что эта дискуссия затеяна ради того, чтобы выявить «недобитков» — сохранившихся злопыхателей, противников Марра, и окончательно их разгромить. Я, тогда студент IV курса Ленинградского университета, принадлежал к исключениям. Я уже выступал в ИИМКе с критикой этого учения и, когда начались гонения на меня, отправил в «Правду» статью с критикой Марра. Из Ленинграда ушла еще только одна статья (профессора Попова) против Марра, все остальные (их десятки) были за. В Москве картина была той же. Филолог-славист С. Б. Бернштейн, не любивший как

С. П. Толстов
времен дискуссии о Марре

Марра, так и Толстова, 1 июня записал в дневнике (2002: 149), что Толстов «обещает Чикобаве Голгофу». Со слов профессора В. В. Пименова, С. С. Алымов (2009) рассказывает о лекции Толстова по общей этнографии

> «в день опубликования статьи Чикобавы. К середине лекции кафедра была уже завалена записками с вопросами о его отношении к статье, и профессор посвятил ответу на этот вопрос около часа, в течение которого он критиковал Чикобаву и убедил всех студентов в правильности теорий Марра».

Статья профессора Толстова была отправлена в «Правду» 19 июня — за день до появления разгромной статьи Сталина об учении Марра (Алымов 2009). 23 июня Бернштейн записал в дневник (2002: 151): «Многие марристы находятся в состоянии шока... Сергей Павлович Толстов совсем почернел». Он еще успел выцарапать свою статью обратно из «Правды» и заменить ее другой («Пример творческого марксизма») — вполне согласной с критикой товарища Сталина и осуждающей антимарксистское учение Марра. Она была напечатана 4 июля.

Впрочем, не печатали уже и критиков Марра. Когда я, еще до публикации Сталина, приехал в Москву и зашел в редакцию «Правды», я узнал, что готовится выступление вождя. Мне было сказано, что Сталину показали выжимку из моей статьи и она получила одобрение. «Значит, ее напечатают?» — обрадовался я. «Нет, — был ответ. — Как вы понимаете, после публикации статьи товарища Сталина дискуссия примет совсем другой ход». Она и приняла. Обсуждали уже не Марра, а гениальные замечания товарища Сталина о языке.

На очередную лекцию по общей этнографии Толстов не пришел.

Зигзаги убеждений Толстова вполне понятны, и осуждать его за них трудно. Это были азы выживания в тех условиях и в той среде. А вот дальнейшее говорит о том, что гены казачьих генералов в нем всё же взыграли. Недавно С. С. Алымов сопоставил злополучную неопубликованную, выцарапанную из «Правды» статью и «покаянный» доклад, сделанный Толстовым месяц спустя на заседании ученого совета факультета. Оказывается, в этом докладе он сохранил в основном свою прежнюю аргументацию — целыми страницами цитировал свой «промарровский» текст в «антимарровском» выступлении!

> «Как общие взгляды Марра на процесс этногенеза и глоттогенеза, так и частные его высказывания по этногенезу отдельных народов явились важным вкладом в разработку историками, археологами, этнографами и антропологами этногенетических проблем. <...> Теория Марра о развитии языков “от множества к единству”, о роли смешения (“скрещения”) древних племенных

> языков в формировании языков современных — оказали плодотворное влияние на развитие исторических исследований по вопросам этногенеза. <...> Советские историки в своей исследовательской работе оказались не в состоянии использовать обобщения лингвистов-компаративистов, так как они неизбежно вели к антиисторическим, расистским выводам. Работы Марра по вопросам этногенеза выдержали проверку в свете исторических фактов. Перекрестная проверка данными истории, археологии, этнографии, антропологии показала, что в вопросах этногенеза факты говорят за Марра, против компаративистов» (Толстов, ссылка на архив — АРАН, ф. 1869, оп. 1, д. 61, л. 4–5).

Толстов считал, что идея генеалогического древа индоевропейцев неразрывно связана с расизмом, что идеи «праязыка» и «прародины» индоевропейцев непременно ведут к культуртрегерскому толкованию. Как это индоевропейцы из небольшой области (которая до сих пор убедительно не отыскана) расселились по всей Европе и части Азии, благодаря каким таким качествам? Не ясно ли, что колонизация всех земель и ассимиляция всех других народов требует признания расового превосходства индоевропейцев.

> «Расизм вовсе не обязательно связан с формой носа или цветом волос... Расизм — это идея об "избранности", особой, отприродной, действующей независимо от истории и подчиняющей себе историю, одаренности отдельных народов или групп народов. <...> Создание генеалогического древа неотделимо от идеи "избранной расы", ибо не может найти объяснение в условиях первобытнообщинного строя неограниченное и непрерывное распространение одного народа на территории, занятой другими народами, если не принять гипотезу о его отприродных высших качествах» (Толстов, ссылка на архив — АРАН, ф. 1869, оп. 1, д. 61, л. 16).

Далее Толстов излагал факты, легшие в основу выдвинутой им месяц спустя «гипотезы лингвистической непрерывности». Эти факты также поразили Берестова своей оригинальностью (хотя прежде эту идею выдвигал опальный лингвист финно-угорвед Д. К. Бубрих). В лекциях «Сергей Павлович вспомнил о Миклухо-Маклае, как тот, посещая одну за другой папуасские деревни на Новой Гвинее, изучал тамошние диалекты. И оказалось, что жители одной деревни прекрасно понимают своих соседей слева и справа, но сами эти соседи понимают друг друга уже несколько хуже. И так по всему берегу Маклая. А для жителей отдалённых деревень, расположенных в разных концах берега, их языки были просто чужими. Вот почему в Австралии обнаружено

множество не только языков, но даже языковых групп. А друг друга все ближайшие соседи прекрасно понимают. Это и есть первобытная лингвистическая непрерывность».

На ученом совете в 1950 г. профессор А. В. Арциховский, симпатизировавший Толстову, защитил его от возможных нареканий:

> «Я никогда не признавал Марра. В моих работах нет ни одной ссылки на него. Я никогда не упоминал даже имени Марра. Поэтому вы должны поверить тому, что я сейчас скажу. Сергей Павлович порой цитировал Марра на каждом шагу. Но Марр настолько противоречив, что у него можно найти цитаты на все случаи жизни. Толстов создавал Марра по своему образу и подобию. И вот теперь мы видим мысли Сергея Павловича без всяких подпорок. Забудем о Марре, которым тут и не пахнет и никогда не пахло, и поговорим о гипотезе Толстова» (Рапопорт и Семенов 2004: 204).

Это отчасти верно, хотя Алымов имеет резон сомневаться, действительно ли в трудах Толстова «не пахло» Марром. Позиция директора Института предопределила довольно вялый ход антимарристской кампании в этнографии. Несмотря на давление Отдела науки ЦК и Отделения исторических наук Академии, на принятое решение выпустить специальный сборник против извращения марксизма и т. д. (в языкознании и археологии такие вышли) — в этнографии он так и не появился!

С. П. Толстов в последние годы жизни

В следующем, 1951 г. Толстов уже лежал с тяжелым инсультом — так для него закончилось участие в дискуссии по вопросам языкознания. Преподавание этнографии вообще пришлось оставить, а вскоре за тем — и заведование кафедрой. Директорство в Институте продолжалось. Оправившись, Толстов был по-прежнему деятелен и продуктивен, но подволакивал ногу и не восстановил четкую речь. Он работал еще 15 лет, но сосредоточился на более узких проблемах — на Хорезме, Средней Азии.

6. Итоги. Книги его о Хорезме переведены на многие языки — в ГДР, Польше, Венгрии, Чехословакии, Франции, Японии. В 1962 г.

выходит его книга «По древним дельтам Окса и Яксарта». Вклад его в науку велик и несомненен. В то же время он в ней кое-что и тормозил. Нетерпим он был к другим талантливым ученым. «Толстов и Токарев, два титана, друг друга недолюбливали», — пишет Брук (1995: 93). По воспоминаниям Брука, Токарев говорил впоследствии о Толстове: «Человек он тяжелый. Ничего не давал мне печатать». Когда директорство Толстова окончилось, оказалось, что у Токарева накопилось 13 ненапечатанных рукописей монографий, в том числе ставшие знаменитыми книги «История мировой этнографии». Брук замечает: «Толстов был ревнив», — и называет его «нехорошим человеком».

В начале 60-х гг. Толстов перенес еще один инсульт, в середине 60-х — новый. Последние двенадцать лет жизни он тяжело болел и был совершенно нетрудоспособен. От дел в институте он окончательно отошел. Международный конгресс этнографических наук 1966 г. в Москве, инициированный им, готовили уже без него. Согласно воспоминаниям Брука (1995: 94), «он тогда почти ничего не соображал и не видел, ослеп после второго инсульта». Другой сотрудник, В. А. Тишков (в последующем директор), добавляет, что тогда в Академии наук были очередные выборы. Тишков с двумя академиками, Б. А. Рыбаковым и Б. Б. Пиотровским, повезли урну для голосования к Толстову домой. «Он только руку смог подать». Выходя от него, Рыбаков, который его терпеть не мог (как, впрочем, и Толстов Рыбакова), сказал: «Это ему расплата. Неумерен в своей жизни». «Да, пил он много», — подтверждает Брук. Умер Толстов десять лет спустя, в 1976 г., не дожив до 70-ти. В своем дневнике его соратник и соперник Токарев записал: «Смерть, растянувшаяся на двенадцать лет. Ужасно!» (Рапопорт и Семенов 2004: 210).

Библиотеку С. П. Толстова в начале 1980-х гг. приобрёл Каракалпакский филиал Академии наук Узбекской ССР. В Каракалпакии предполагалось учредить Дом-музей или мемориальный кабинет С. П. Толстова. Это не было сделано.

Странная судьба: одной рукой он интегрировал этнографию с археологией, а другой — всячески убирал древности из этнографии. И соратники дают ему двойственные оценки. Брук, называя его «нехорошим человеком», добавляет, что это был «великий ученый». Токарев, притеснявшийся им при жизни, говорил о нем: «Это великий ученый. Он поразил нас всех... Каждая его работа по этнографии — это шедевр. Испортил все тем, что ушел в археологию. Он был от бога этнографом» (Брук 1995: 93). Но именно в археологии этот «от бога этнограф» и «нехороший человек» сделал одно из крупнейших открытий: раскопал древний Хорезм — ирригационную цивилизацию в пустыне.

Раздвигатели горизонтов

Горизонт мой! Ты опять далёк?
Ну ещё, ещё, ещё рывок!

Михаил Светлов. Горизонт. 1957.

Отличительной чертой советской археологии была ее претензия, будучи имперской, выступать как интернациональная. Отсюда при очевидном стремлении к унификации и централизации происходило ее дорогостоящее и плодотворное внимание к интенсивному археологическому исследованию периферии, национальных окраин. Это привело к выделению целой категории археологов, типичных для советской эпохи, — тех, кто специализировался на археологии национальных окраин, периферийных территорий, прошлого различных народов, входивших в состав Советского Союза. Чем бы ни была мотивирована такая специализация, она раздвигала горизонты советской археологии.

Нередко это были местные кадры, местные кадры, получившие образование в российских вузах, а часто — и ученые из центра, специализировавшиеся на изучении окраин и переезжавшие на постоянное жительство туда или остававшиеся в старых центрах, где возникали очаги изучения той или иной окраины.

С. И. Руденко из Петербурга-Ленинграда сосредоточил свои усилия на Алтае; другой ленинградец, М. П. Грязнов, кроме Алтая, охватил изучением всю Южную Сибирь, как и москвич С. В. Киселев; вся Сибирь стала доменом обосновавшегося было в Ленинграде сибиряка А. П. Окладникова, который и жить теперь переехал в Новосибирск. Закавказье изучали москвич Куфтин (Грузию) и петербуржец Б. Б. Пиотровский (Армению). На Северном Кавказе специализировались А. А. Иессен и Крупнов. В Средней Азии обосновался М. Е. Массон, а сын его В. М. Массон, не теряя специализации, переехал сначала в Москву, потом в Ленинград, где возглавил ИИМК. На Урале и по всей Европейской части России открывал новые культуры и памятники О. Н. Бадер. Кто только ни изучал богатейшую территорию Украины — из Москвы Т. С. Пассек, Б. Граков и др., из Ленинграда — М. И. Артамонов, С. Н. Бибиков, М. А. Тиханова, И. И. Ляпушкин и др.

Семь отобранных здесь фигур достаточно значительны и представительны, чтобы охарактеризовать всё разнообразие этой категории.

К вертикальному положению

С. И. Руденко

Из-под стольких кибиток,
Из-под стольких копыт,
Он вставал — не убитый,
Только временно сбит.

Е. Евтушенко. Ванька-Встанька.

1. Подготовка. В сознании большинства образованных россиян, интересующихся археологией и что-то читавших о ней, имя Руденко неразрывно связано с Пазырыкскими курганами на Алтае, где в вечной мерзлоте сохранились татуированные вожди скифского времени, ковры, которым более двух тысяч лет, и кони с имитацией оленьих рогов. Многие и видели эти находки в Эрмитаже. Для питерских археологов Руденко был в Институте археологии многолетним заведующим лаборатории археологической технологии, где делают радиоуглеродную датировку находок. Но биография Руденко (см. Решетов 1998; С. И. Руденко 1998; Жизненный путь 2004) значительно шире, драматичнее и интереснее, чем эти краткие сведения.

Сергей Иванович Руденко (1885–1969) — соплеменник и земляк Ефименко и тоже ученик Волкова (Хведора Вовка). Из семьи украинских дворян, детство провел на Урале и отсюда вынес этнографические и антропологические интересы: отец был членом комиссии по размежеванию башкирских земель. Окончив классическую гимназию в Перми в 1904 г., занимался в Петербургском университете на физико-математическом факультете (1904–1910). Из-за студенческих волнений в 1905 г. университет дважды закрывали на полгода. Чтобы время не пропадало, Руденко подрядился собирать этнографические сведения о башкирах для Пермского музея. В 1907 г. приват-доцентом на кафедре географии и антропологии Петербургского университета стал Ф. К. Волков, с одновременным заведованием в Музее Александра III

(так тогда назывался Русский музей) этнографическим отделом. Руденко выбрал занятия у Волкова. Первая работа о башкирах вышла во французском журнале в 1908 г. Тогда же он вместе с Ефименко участвовал в раскопках палеолитической стоянки Мезин под руководством Волкова. Хоть и младше своего земляка Ефименко на год по возрасту, он опередил его по учебе на два курса. Звали они друг друга по имени-отчеству.

Университет он окончил по первому разряду и был оставлен для подготовки к профессорскому званию — это нечто типа нынешней аспирантуры. Сдав отлично экзамены, был в награду направлен в двухлетнюю поездку за границу. Основными западноевропейскими языками он владел свободно. После путешествия по странам Ближнего Востока и Италии год продолжал образование в Париже (1913–1914). В Париже главным образом работал в Антропологической школе, в которой раньше трудился Волков. Под руководством Мануврие разрабатывал антропологическую тему «Сравнительная морфология таза приматов и человека в связи с его переходом к вертикальному положению».

Переход к вертикальному положению очень подходил быть девизом Сергея Ивановича: всю жизнь он отказывался быть согбенным и умел из любых угнетающих и пригибающих долу ситуаций распрямляться и занимать вертикальное положение. Даже овладевать вертикалью власти и занимать командные высоты в науке.

2. От этнографии к археологии. Командировка Руденко была прервана войной, и в июле 1914 г. он вернулся в Россию. По возвращении читал лекции в Петербургском университете (на кафедре географии и антропологии) и на Бестужевских курсах, а летом 1915 г. в Оренбурге познакомился с М. И. Ростовцевым и по его просьбе раскапывал Прохоровские курганы в Оренбуржье, ставшие эталонными для раннесарматской культуры (прохоровская культура). В 1916 г. опубликована первая часть его этнологической монографии «Башкиры» (вторая в 1925 г., переизд. в 1931 г.). Башкиры оставались его главным центром этнографических интересов (Руденко 1998).

Получив за нее в 1918 г. магистерскую степень по географии в Московском университете, летом 1918 г. Руденко оказался на колчаковской территоррии. Не то чтобы он перешел линию фронта — просто, трудясь над организацией базы для научных исследований у Миассова озера, он был отрезан линией фронта. А зная о тяжелом положении в Петрограде, принял предложение из Томского

университета, подчинявшегося колчаковской администрации. Но большевистскую революцию он и в самом деле не принял. Всей душой был с белыми. Некоторое время работал в Оренбурге, а с 1919 г. стал сначала доцентом университета, а затем в том же году профессором Сибирского (Томского) университета. Сюда к нему приехал работать Теплоухов из Перми. Между обоими учеными установились не только научные контакты, но и дружеские отношения. В ноябре 1920 г. Руденко был избран деканом физико-математического факультета (Рудковская 2004).

Когда Колчака разбили и в Сибири начала устанавливаться советская власть, оставаться в Томске, где была свежа память о недавнем сотрудничестве с колчаковскими властями, для декана Руденко стало опасно. Многим преподавателям поставили в вину сотрудничество с белым правительством. Удручало сверх меры, что факультеты получили ориентировку на практические задачи советской власти, юридический был закрыт, историко-филологический преобразован в факультет общественных наук, физико-математический оказался под угрозой закрытия как не имеющий практической цели. А в Петрограде жизнь понемногу восстанавливалась, к тому же там была как-никак alma mater со старыми связями. Оттуда звали. В 1921 г. Руденко переехал в Петроград. Там он начал работать в ГАИМК, заведовать этнографическим отделом Русского музея и кафедрой антропологии и этнографии Университета. За ним последовал Теплоухов, а за Теплоуховым потянулись Грязнов и Шнейдер.

Стимулированный Волковым интерес к человеческой культуре и географической среде обратил внимание Руденко на английскую школу географической археологии. Он написал сочувственное предисловие к русскому переводу книги Крофорда «Человек и его прошлое» (1924). Взгляды этой школы были очень близки палеоэтнологическим идеям Волкова, которых придерживался и Руденко.

Становившийся всё более обязательным марксизм Руденко принять не мог, отвергал его с ходу и заявлял об этом студентам. «Марксизм не может быть увязан с наукой. Дух марксизма и дух антропологии несовместимы, и поэтому студентам — убежденным марксистам — я советую перейти на другое отделение...» — говорил он в 1929 г. Предание приписывает ему такое заявление в Русском музее: «Пока я здесь, никакого марксизма в музее не будет!» (Платонова 2004: 126).

Н. И. Платонова в одной из лучших своих работ (о деле Руденко) приводит документ, позволяющий представить размах его

влиятельности в 1920-е гг., достигнутый за короткое время и начатый с очень скверной базы (приезд из колчаковского очага). Это проект резолюции с осуждением «руденковщины» в этнографическом отделе Русского музея:

> «С именем Руденко связана целая эпоха в деятельности ленинградских антропологов, археологов, этнографов и музееведов, охватившая десятилетие 1920-х годов... Занимая крупные административные должности в научных учреждениях, располагая громадными денежными средствами и обладая возможностью выпускать в свет много изданий через издательство Академии наук (АН), свободное от политконтроля со стороны Облита, Руденко использовал все преимущества этого положения, для того чтобы в своей научной и общественной деятельности проводить в жизнь реакционную идеологию, носителем которой он являлся. В течение всего десятилетия 1920-х годов положение было таково, что в издательствах АН, Русского музея, Русского географического общества (РГО) и некоторых других учреждений нельзя было печатать ничего, что шло бы вразрез с той идеологией и теми методами, носителем которых являлся Руденко. В его руках находилось формирование кадров научных сотрудников этнографического отдела Русского музея, Комиссии по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран (КИПС), целого ряда больших академических экспедиций, а также научная подготовка молодежи в лице студентов антропологического отделения Ленинградского университета...»

Платонова подтверждает: да, все эти командные высоты были в руках Сергея Ивановича, огромные средства от местных властей в республиках тоже. В кампании разгромной критики «руденковщины» Платонова различает две струи: во-первых, идеологическую, направленную против антимарксистских прегрешений Руденко, и, во-вторых, антиавторитарную. В этой второй участвовали и совсем другие люди — его ближайшие сотрудники, раздраженные и обиженные его авторитарным стилем руководства: «слишком жестким, властным характером наделила природа самого Сергея Ивановича, чтобы всё обходилось гладко». Разногласия с П. П. Ефименко и Д. А. Золотаревым дали начало всей кампании на географическом факультете. А Руденко обвинял их в карьеризме.

Впрочем, за ссорами с Ефименко могли скрываться и политические мотивы: Руденко был явно антибольшевистски настроен, а у Ефименко за плечами была революционная деятельность его и его

отца (с дореволюционным прозвищем «Царедавленко»), и позже он попытался найти в археологии палеолита опоры для марксистских взглядов (матриархат, стадии эволюции).

Весь этот период, несмотря на поистине энциклопедический характер знаний Руденко (Бикбулатов и Кучумов 1996), главным центром притяжения для Руденко всё же была этнография — работа над этнографическими монографиями, экспедиции, руководство Комиссией по изучению племенного состава, лекции и заведование кафедрой, этнографический отдел Русского музея и т. п. Археология привлекала его временами (Мезин, Прохоровские курганы), но лишь как отдельные экскурсы.

В конце 1920-х гг. сенсационные археологические находки его музейной экспедиции на Алтае побудили его самого всерьез заняться археологией. Это были сначала могильники разного времени, а затем Пазырыкские курганы с погребениями скифской знати, в которых лежали богатые вещи необыкновенной сохранности (они сохранились так благодаря образовавшейся под курганами вечной мерзлоте). В 1924 г. в разведках он нашел в числе прочего Пазырыкские курганы, в 1927 г. направил на курганы отряд Грязнова, который раскопал в Шибе курган с вечной мерзлотой, а в 1929 г. — Первый Пазырыкский курган. В 1929–1931 гг. выходили публикации Руденко и отдельно Грязнова об этих комплексах. Вполне возможно, что переход на поле протоисторической археологии был попыткой уйти от опасной конфронтации на новое поприще. Но этот переход был прерван в самом начале.

3. Преодоление репрессий. В августе 1930 г. в обстановке разгромной критики старых кадров 45-летний Руденко был арестован — его взяли в Уфе, где он находился по делам Башкирской экспедиции. Он был обвинен в создании подпольной украинской и русской националистической организации в Русском музее в составе монархического «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России», возглавленного якобы академиками С. Ф. Платоновым, Е. В. Тарле, Лихачевым и др.

Идеологическая кампания против него в печати, начавшаяся за полтора года до его ареста, приобрела другой оборот — она превратилась в очернение врага народа (Платонова 2004). Комсомолец Бернштам вменил ему в вину идеализм в этнографии. Горбунова объявила, что его экспедиция преследовала отнюдь не научные цели — слово «научная» критик брала в кавычки применительно

к экспедиции Руденко. И Бернштам, и Горбунова — известные впоследствии археологи. Вошел в обиход термин «руденковщина». Кампания по очернению Руденко не только началась за полтора года до ареста, но была с ним и не очень связана: она велась на факультете и в музее, а следствие шло только по делу академиков и их «подпольной организации» в Академии наук и имело целью уничтожить автономию этой структуры от советской власти. Молодые марксистские критики Руденко (Худяков, Горбунова, Бернштам, Кричевский) после ареста Руденко даже не знали, в чем его обвиняли следователи. Знали только, что он арестован, значит, враг.

Следствие по делу Руденко продолжалось 6 месяцев, всё это время он провел в одиночке, и за это время у него было 32 допроса. Следователя Руденко описывает как «вполне культурного человека», поляка по фамилии Алексеев (видимо, партийный или чекистский псевдоним). Он был с Руденко вежлив, добивался признания, но так и не добился. Ни на какие компромиссы Руденко не пошел. По-видимому, А. М. Алексеев быстро оценил твердый характер и железные нервы Сергея Ивановича и разговоры вел лишь в надежде случайно выудить что-либо затрагивающее других людей. Судя по воспоминаниям Руденко, его следователь прекрасно понимал, что Руденко ни к каким подпольным организациям не причастен, но, по убеждению следователя, этого подследственного необходимо было осудить как опасного для советской власти человека, и нужно было лишь оформить это осуждение наболее приличным образом. Тогда еще пытки в ГПУ не были узаконены, и приходилось соблюдать формальную законность.

В феврале 1931 г. Руденко был осужден особой «тройкой», приговорен к десяти годам лагеря с конфискацией имущества и направлен на Беломорканал. Там он быстро выдвинулся благодаря своим знаниям ученого-естественника, практически нужным руководству стройки. Какой смысл заставлять такого специалиста махать кайлом? Заключенному были поручены гидрологические работы (изучение донного льда, озерных волн и их воздействия на оградные сооружения, и т. п.). В 1934 г. он был досрочно освобожден за ударную работу, проработав в северных лагерях ровно три года вместо десяти. Ему была разрешена прописка в любой точке Советского Союза, в том числе в Москве и Ленинграде.

Первой мыслью Руденко, как он вспоминает, было немедленно ехать в Ленинград. С этой мыслью он пошел к начальству. Помощником начальника Управления Беломорканала был вольнонаемный

Коренштейн, сам бывший заключенный. Он отсоветовал Сергею Ивановичу ехать: освободившиеся часто возвращаются обратно как заключенные — идут повторные аресты. Впоследствии Руденко узнал, что Золотарев, освободившийся раньше, уже снова попал в лагеря. Безопаснее остаться и пересидеть опасное время на канале. Руденко оценил совет и был оставлен вольнонаемным в должности старшего инженера стройотдела Беломорско-Балтийского комбината НКВД.

Но с осени 1934 г. его по работе перевели в Ленинград — он стал помначальника отдела гидрологии и водного хозяйства ленинградского бюро того же комбината. Решил зайти в Эрмитаж, куда были переданы его пазырыкские материалы, и обратился к директору И. А. Орбели с просьбой разрешить ему работать с пазырыкскими вещами. Узнав, где Руденко работает, чернобородый и величественный Орбели в дальнейшем перестал его принимать и перестал его замечать при встрече. Не узнавал его при встрече и старый друг Ефименко.

Когда в 1939 г. Руденко наконец уволился из системы НКВД, вернуться в археологию или этнографию оказалось невозможным. Ведь кампания по его очернению и осуждению не была дезавуирована. Он был отсидевший «враг народа», который может в любой момент опять загреметь туда же — могут припомнить старые грехи. В стране всё еще правил Сталин. Устроился Сергей Иванович старшим научным сотрудником в гидрологическом институте, где его имя не было таким громким и одиозным. В этой должности он и встретил Отечественную войну. В начале 1942 г. отказавшийся ехать в эвакуацию, он был направлен в Гидрометеослужбу Ленинградского фронта делать прогнозы ледового режима на трассе Ладожского озера — обеспечивать Дорогу Жизни в блокаде.

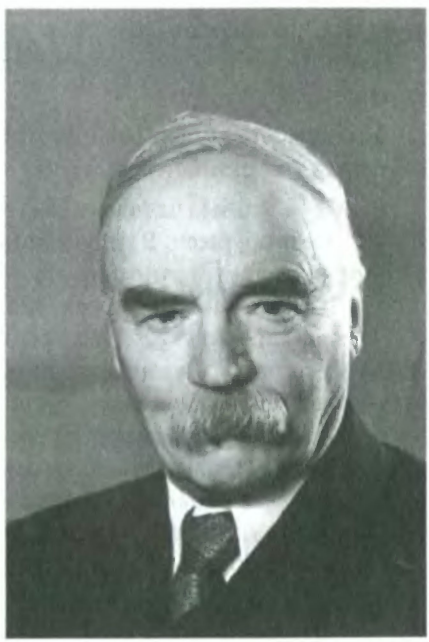
Той же зимой он обратился в ИИМК АН СССР с просьбой о приеме на работу. Оставшейся в блокадном Ленинграде частью Института руководил на правах и. о. С. Н. Бибиков. Едва живой от голода Бибиков подписал приказ о его зачислении (Платонова 2004). Так в совершенно экстремальной ситуации 57-летний Руденко снова оказался в археологии.

В 1944 г. за исследования испарения с поверхности больших водохранилищ, проведенные в гидрологическом институте, Руденко получил степень доктора технических наук.

4. Поздний расцвет. В 1945–1946 гг. 60-летний Руденко обследовал археологически Чукотку, в результате чего представил работу «Древние

культуры Берингова моря и эскимосская проблема» (опубликована в 1947 г., перев. на англ.). С 1947 г. он возвращается к раскопкам Пазырыкских курганов на Алтае, поначалу с помощью Грязнова, и ведет эти раскопки до 1949 г., а затем копает на Алтае другие курганы до 1954 г. В результате выходят его всемирно известные и переведенные на западные языки труды «Культура населения горного Алтая в скифское время» (1953, переизд. в Америке) и «Культура Центрального Алтая в скифское время» (1960).

Учитывая нелюбовь Сергея Ивановича к марксизму, любопытно, как он справлялся с реконструкцией социального строя исследуемых обществ (Дашковский 2001) — по-видимому, сводил его к конкретным отношениям людей и групп.



С. И. Руденко по возвращении в археологию

Едва ли не первым из советских археологов он узнал об изобретении в 1947–1950 гг. радиоуглеродного метода и оценил его значение. В 1954–1957 гг. он основал лабораторию археологической технологии в Институте археологии в Ленинграде и до самой смерти заведовал этим подразделением. В 1955 г. 70-летнему Руденко удалось пробить постановление Президиума АН СССР об учреждении такой лаборатории в Институте. В стране это до сих пор единственная радиоуглеродная лаборатория в археологическом учреждении. Вокруг нее он собрал и специалистов по другим естественнонаучным методам — химическому и спектральному анализу материалов, геофизике, палеографии. Ему и пристало руководить такой лабораторией: он же доктор технических наук.

Реабилитация пришла в 1957 г. в пору хрущевского «позднего реабилитанса», когда Руденко был уже признанным и безусловно уважаемым ученым, проявляя свои лидерские качества.

Он стал организатором внедрения методов естественных наук в археологию, редактировал сборник «Новые методы археологических

исследований». Для Руденко «новые методы» — это вовсе не социологические изыски, а методы естественных наук в археологии: радиоуглеродный, термомагнитный, дендрохронологический и т. п. От него и через него проходит связующая нить от естественнонаучной традиции палеоэтнологов к экологическим интересам нового поколения в археологии. В лаборатории под его руководством работали и формировались как исследователи Я. А. Шер, П. М. Долуханов, в этнографической секции Географического общества его помощником, преемником и учеником был Л. Н. Гумилев. Многие побаивались едкой руденковской критики.

Этот маленький колкий старичок с моржовыми усами был для молодых археологов, тяготевших к естественнонаучным методам, живой легендой и доказательством возможности сопротивления судьбе.

Его заместитель по лаборатории Я. А. Шер описывает его в своих мемуарах с восхищением и пиететом:

> «Это был человек в высшей мере интеллигентный, настоящий петербуржец. В нем никогда не было ни малейшего высокомерия. Достаточно сказать, что в нем не было ничего советского. Сдержанно-доброжелательный тон общения, одинаковый со всеми — от студента до большого начальника. Я ни разу не видел его рассерженным, хотя поводов к тому бывало предостаточно. К нам, молодым, он обращался исключительно по имени-отчеству, добавляя "дружище" или "голубчик".
>
> Он неизменно приходил в институт в черном костюме, под которым была белоснежная крахмальная сорочка и темный галстук. Носил обручальное кольцо, а тогда кольца у мужчин считались буржуазным пережитком. Он жил в известном доме на углу 7-й линии и набережной. На этом доме больше мемориальных досок, чем окон. В нем жили все знаменитые питерские академики. На работу в любую погоду ходил пешком. Зимой — в пальто касторового сукна с каракулевым воротником и такой же каракулевой папахе. На штиблетах — галоши. При этом весь путь проходил по двум набережным и Дворцовому мосту, продуваемым со всех сторон воспетыми Гоголем петербургскими ветрами.
>
> Сергей Иванович продолжал руководить лабораторией археологической технологии до 82 лет... В 1967 г. Руденко вышел на пенсию и был назначен на должность консультанта».

Меня он на дух не выносил. Возможно, потому, что в 1966 г. в «Природе» вышла моя большая статья с критикой радиоуглеродного

метода. В 1968 г. на моей защите кандидатской (о происхождении катакомбной культуры) сидел в первом ряду как член ученого совета и, глядя мне прямо в лицо, непрерывно бормотал: «Я против, я против, я против, я против...» У меня было три черных шара.

Умер Руденко в следующем году в возрасте 84 лет, оставив действующую лабораторию и постоянно читаемые труды по многим наукам, особенно — по археологии.

Заброшенный в археологию

Б. А. Куфтин

Как бы ни был нечуток и груб
Человек, за которым следят, —
Он почувствует пристальный взгляд...

А. Блок. Есть игра... 1913.

1. Этнографическое начало. Борис Алексеевич Куфтин (1892–1953) — один из создателей советской археологии Закавказья. Археологией занялся очень поздно — после 42 лет. До того был известен как этнолог, археологом стал по превратностям судьбы.

Родился в Самаре, дворянского происхождения. Отец — офицер (поручик), мать — педагог. Еще будучи учеником Оренбургского реального училища, он занимался сбором ботанических и зоологических коллекций и совершил путешествие пешком от Аральского моря до Ташкента.

Окончив училище, поступил на естественное отделение физмата Московского университета в 1909 г. Через два года за участие в студенческом движении был исключен, выслан из Москвы и эмигрировал. Жил во Франции, Италии и Швейцарии. В 1913 г., после амнистии по случаю 300-летия дома Романовых, вернулся в Москву. В 1913–1914 гг. преподавал на кафедре ботаники в Московской сельскохозяйственной академии и читал курсы в Народном университете Шанявского. Вообще он явно специализировался по ботанике.

В 1916 г. отправился в район Джунгарского Алатау (горная система в юго-восточной части Казахстана) с научными целями. В связи с этой экспедицией в сферу научных интересов Куфтина вошла новая область — этнография. Это произошло благодаря знакомству с профессором В. В. Богдановым, этнографом. Богданов предложил ему заняться сбором материалов по казахскому народному календарю. Уже в 1916 г. в «Этнографическом обозрении» была опубликована

первая этнографическая работа Куфтина «Календарь и первобытная астрономия киргиз-казацкого народа». Результатом же экспедиции стала работа «Орография Джунгарского Алатау», которая и была им представлена как кандидатская диссертация в Московский университет. Кандидатская диссертация тех времен была равнозначна нынешней дипломной работе, а кандидатский экзамен, сданный им в 1917 г., — современному госэкзамену. Так что, можно сказать, теперь он окончил Университет. Окончил со специализацией в антропологии-археологии-географии. Это был диапазон интересов его учителя, академика Д. Н. Анучина, который и оставил его при кафедре для подготовки к профессорскому званию.

В 1919 г. сразу продвинулся по двум направлениям: университетскому и академическому. В Московском университете он стал доцентом с курсом лекций по истории первобытной культуры, параллельно работая в Институте антропологии МГУ, где с 1923 г. руководил секцией народоведения. В ГАИМК он стал сотрудником этнологического отделения. С 1924 по 1930 г. работал также в Центральном музее народоведения. С 1928 г. профессор.

В своей автобиографии Куфтин пишет: «До 1930 г. мною читались курсы: 1) история первобытной культуры и народоведение; 2) описательное народоведение; 3) народоведение Восточной Европы и Кавказа; 4) народоведение Сибири и Средней Азии; 5) народоведение турецких племен». Кроме того, он вел занятия по курсам «Методы научного определения этнографических памятников», подготавливавшему студентов к музейной работе, и «Введение в археологию доклассового общества». Теоретическая составляющая народоведческого курса носила название «Сравнительное народоведение или общая этнология, ее предмет, задачи и история».

Основные работы Куфтина в этнографии были посвящены изучению материальной культуры в связи с проблемами этногенеза. Во многом он следовал Богданову, который критиковал эволюционизм как гоняющийся за абстракциями общечелóвеческого быта, тогда как требуется конкретное изучение культуры по областям, вникание в территориальную связь явлений. Это был культурно-исторический метод. Куфтин шел в русле этих идей. К изучению современности Куфтин относился скептически, этнологию он считал наукой исторической. В современности его интересовали только пережитки. Основным компонентом культуры, позволяющим выделять этнические группы, он считал народный костюм.

В 1924 г. был создан по инициативе Богданова Центральный музей народоведения. Куфтин в нем руководил отделом Сибири. Теперь он стал ездить не только по Центральной России, но и в Сибирь, на Дальний Восток и Кавказ.

В этнографии многие ведущие исследователи учились у него в 20-е гг.: С. П. Толстов, М. Г. Левин, С. А. Токарев, Г. Ф. Дебец, Н. Н. Чебоксаров, Я. Я. Рогинский и др.

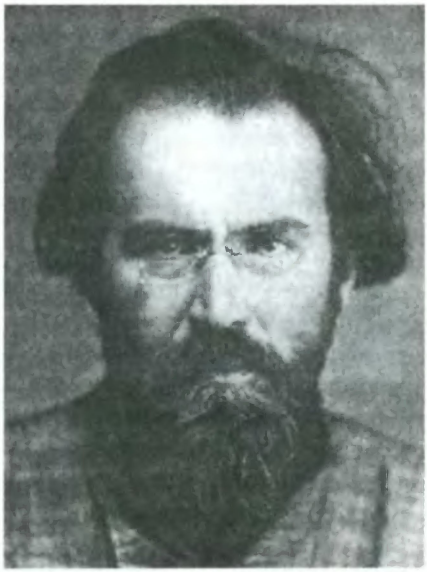
Сосредоточение на материальной культуре, сочетаемое с ориентировкой на углубление в историческое прошлое, естественно обращали Куфтина к археологии. Еще в 1919 г. он проводил разведку в Рязанской губернии, обнаружив неолитическую стоянку. В 1923 г. совместно с Жуковым он копает неолит близ Льялова под Москвой. На этих раскопках он рассорился с Жуковым — за приоритет в публикации материалов. Куфтин быстро опубликовал две заметки, не спросив начальника раскопок Жукова, и тот отстранил его. Разгорелась полемика. Свою очередную статью Куфтин сопроводил такой сноской:

> «К сожалению, мне не удалось до конца разобрать керамику, так как при обработке льяловского материала мне было оказано препятствие Б. С. Жуковым, который, однако, сам свободно пользовался моим дневником, рисунками, советами и дружеской критикой» (Куфтин 1925: 25).

В 1929 г. прошло Всесоюзное этнографическое совещание, на котором обсуждались предмет и методы этнографической науки в новом, марксистском ключе. Основные доклады делали профессор декан этнологического факультета П. Ф. Преображенский, В. Г. Богораз-Тан и Б. А. Куфтин. Они пытались отстоять принципы культурно-исторической школы в марксистских одеждах. На них нападали радикально настроенные молодые сторонники слома всего старого (в том числе и самой этнографии): В. Б. Аптекарь, а также всё более отходившие от коллег С. П. Толстов из Москвы и Н. М. Маторин из Ленинграда, делавшие карьеру; и в общем позиция Куфтина, в самом деле не знавшего марксизм, была признана немарксистской. В его докладе было много интересных идей, но четкой системы не было.

В 1929–1930 гг. разразилась катастрофа: кафедра была разгромлена, профессора арестованы или разогнаны. На Куфтина тоже завели следственное дело. Его сослали на три года в Вологду, где он должен был прозябать, а после возвращения он не мог устроиться на работу по специальности: он ведь был обвинен в некритическом восприятии буржуазного наследства. Теперь стоило ожидать дальнейших репрессий. Но в 1933 г. товарищ по анучинскому коллективу,

грузинский профессор Г. К. Ниорадзе, помог ему переехать в Тбилиси, где Куфтин устроился работать консультантом по археологии в Музее Грузии. Это уберегло Куфтина от нового ареста: в 1933–1934 гг. большая группа ученых была схвачена, в том числе девять этнографов (Алымов и Решетов 2003).



Б. А. Куфтин около 1933 г. Фотография из следственного дела (взята из «Воспоминаний» Б. Б. Пиотровского)

2. Археолог на Кавказе. Вместе с Ниорадзе Куфтин организует выставку «Доклассовое общество в Закавказье». Это была первая археологическая выставка в Грузии, и она послужила толчком для развития грузинской археологии. Впоследствии отношения между Ниорадзе и Куфтиным были испорчены. Пиотровский (1993: 195) называет отношения между ними после войны «несносными».

В Грузии Куфтин начисто отказывается от этнографической работы. То ли ему опротивело то, что привело его и коллег в лапы ГПУ, то ли ему посоветовали не приближаться к старым, еще опасным кругам связей, то ли грузинская этнография требовала знания грузинского языка, какового знания у Куфтина еще не было. Так или иначе, он переквалифицировался в археолога. В 1934 г. он уже участвует в экспедиции И. И. Мещанинова в Абхазию, обследует дольмены, копает комплексы раннего металла в Сачхере и др.

В 1936–1940 гг. под началом Куфтина ведутся раскопки на Цалкинском плато в Триалети, где открываются богатейшие комплексы бронзового века со знаменитыми золотыми сосудами. До того бронзовый век в Грузии был слабо известен вообще. По раскопкам в Триалети Куфтин строит периодизацию истории материальной культуры Закавказья от каменного века до раннего Средневековья. Именно Куфтин выделил впервые куро-аракскую и триалетскую культуры, самые яркие археологические культуры Грузии. В 1938 г. Б. Б. Пиотровский встретился с ним и описывает в мемуарах (2009:

151), как Куфтин знакомил его со своими результатами в Триалети: «Куфтин раскрывался с трудом, дневники не показывал, просил ничего не зарисовывать... Многого не договаривал». На пятый год после начала работ Триалетской экспедиции выходит обобщающая книга Куфтина «Археологические раскопки в Триалети. Опыт периодизации памятников». Куфтин объявляет, что золотые сосуды принадлежат местным предкам грузин, свидетельствуют об их ранней (одного времени с хеттами) государственности, и в 1942 г. эта книга приносит ее автору — первому среди археологов — Сталинскую премию. А всего за десять лет до того это был изгой, дрожавший в ожидании ареста в Вологде и не могший рассчитывать на работу в Москве.

Б. А. Куфтин, академик Грузии

В 1944 г. он публикует статью «К вопросу о древнейших корнях грузинской культуры». В ней он утверждает, что древние культуры Грузии самобытны, а не заимствованы, не находились под влиянием переднеазиатских центров. Это утверждение приветствовалось грузинской советской элитой как патриотическое достижение. Периодизация кавказской первобытности, построенная Куфтиным, в основе держится до сих пор. Оправдались и его предположения о переднеазиатских связях кавказских культур.

В 1944 г. его избирают членкором, в 1946 г. действительным членом Академии наук Грузии. Затем он проводит ряд экспедиций в Закавказье, и после каждой выходит том или двухтомник — экспедиция в Южную Осетию и Имеретию, новые раскопки в Триалети, изучение Западной Грузии, изучение древней Колхиды...

3. Средняя Азия и гибель. Ссоры с Жуковым и Ниорадзе, как и поведение в беседе с Пиотровским, показывают, что характер Куфтина был нелегким. По-видимому, разладились отношения с грузинскими

коллегами или начальством — Куфтин снова меняет специализацию. В 1951 г. по приглашению М. Е. Массона Куфтин участвует в работах Южно-Туркменистанской экспедиции — в раскопках многослойного поселения Намазга-тепе в Туркмении — и строит также там периодизацию. Весной 1953 г. он делает об этом доклад в Академии наук СССР в Москве.

Эта бурная археологическая деятельность продолжалась менее 20 лет. Она пресеклась внезапно и нелепо: в 1953 г. 60-летний исследователь погиб от несчастного случая в Прибалтике, в один год со Сталиным. Так сообщают официальные биографии. Но в 90-е гг. абхазский археолог Ю. Н. Воронов (1994: 69–71) опубликовал в своей передаче воспоминания своего учителя, археолога Л. И. Соловьева, умершего в 1973 г. Как пишет Воронов, среди историй, поведанных ему Соловьевым, была одна, повествование которой, в отличие от других его рассказов, «обычно шло на пониженных тонах». Там гибель Куфтина выглядит по-иному, а другой археолог-кавказовед, В. Б. Ковалевская, сопроводила мне его рассказ дополнительными подробностями.

После «Публикации «Материалов по археологии Колхиды» Куфтин якобы отказался резко порвать с учением Марра и был обвинен в «космополитизме и преклонении перед иностранщиной». «Гневные статьи против него появились в Тбилиси и Москве (Апакидзе, Кацнельсон и др.» — что несколько странно, потому что Кацнельсон был ярым марристом. «Я, — рассказывал Соловьев, — был свидетелем того, как на археологической конференции в Москве грузинские ученые косяком пошли против Куфтина, в чем их поддержали Крупнов и некоторые другие москвичи. В ответ на каждое обвинение Куфтин забавно взвизгивал. Выступить ему не дали...»

По словам Соловьева, «Куфтин добился личной встречи с Берией, которому напомнил, что, являясь основателем престижной научной концепции происхождения грузин, уже отбыл 5 лет в сибирской ссылке, куда готов вернуться, если его знания и опыт больше не нужны. Берия цыкнул, и враги замолкли». Эта часть рассказа явно выдумана. Куфтин вряд ли бы осмелился так разговаривать с Берией, да и откуда об этой беседе знать Соловьеву, и не бывал Куфтин в сибирской ссылке (не 5 лет в Сибири, а 3 года в Вологде).

«Однако, — продолжал рассказывать Соловьев, — подспудная травля в Тбилиси продолжалась, и ученый обратил свой взор на Среднюю Азию». В Академии наук Грузии «и раньше исследователя неоднократно оскорбляли (ему, например, наносили удары по лицу

академик Церетели и археолог Гобеджишвили)...» Здесь опять противоречие: кто бы посмел его травить, если Берия «цыкнул»!

Незадолго до гибели Куфтин задумал переселиться в Среднюю Азию, чтобы исследовать Анау. В ходе разборки переезд был ему запрещен. «В ответном слове ученый заявил, что ему достаточно написать небольшой реферат по своим публикациям с исправлением содержащихся в них ошибочных представлений о происхождении картвелов, чтобы у потомков последних отпала охота его удерживать и, наоборот, возникло желание его прогнать». Такая угроза высказать правду (с подразумеваемым умолчанием о ней в обмен на свободу отъезда) совершенно недостойна ученого и вряд ли имела место.

Какая же правда имеется в виду? Это поясняет следующий пассаж рассказа Соловьева в передаче Воронова: «Исходя из содержания моих бесед с Куфтиным в 1946–1948 годах, я полагаю, что речь шла о том, что исследователь к тому времени опасно укрепился во мнении, что начиная с эпохи дольменной культуры и до середины I тысячелетия до н. э. вся Колхида была заселена абхазо-адыгами, позже оттесненными в места нынешнего своего обитания». От 1946 до 1954 г. Куфтин мог бы хоть где-то еще высказать эту гипотезу. Но не высказал. Была ли такая беседа с Соловьевым, сказать трудно. Ясно лишь, что Воронов в годы публикации этого пересказа был полон идеями абхазо-грузинского противостояния и очень хотел подкрепить свою позицию опорой на авторитет академика-лауреата, так что в его устах рассказ Соловьева мог приобрести такое именно звучание.

А вот что грузинские власти сталинского закала рассматривали Куфтина как придворного летописца, одаренного милостями и обязанного век прославлять своих благодетелей, это правдоподобно.

Весной 1954 г. Куфтин с женой-музыковедом и пианисткой В. К. Стешенко-Кузьминой отправился отдохнуть в санаторий в Прибалтику. Никто не видел, как он погиб. Несколько дюжих молодцов в строгих костюмах принесли его умирающего с обломком железной пики от ограды в животе. Якобы 60-летний ученый зачем-то перелезал через высокую ограду и нечаянно насадил себя на железную пику. Если подробности таковы, то это действительно странно. Но в Прибалтике грузинские козни были маловероятны, а у всесоюзных органов не было веских оснований убирать его, как какого-нибудь Троцкого. Далее Соловьев рассказывал, что жену к умирающему не пустили, она вскрикнула: «Убили!» — и бросилась в соседнюю комнату, где ее через некоторое время нашли висящей на оконной фрамуге.

Друзья (это добавление Ковалевской) не поверили в ее самоубийство: она была глубоко верующей, а для верующих это великий грех.

Позже Соловьеву рассказали, что в тот же день, когда в Прибалтике погиб Куфтин, в Тбилиси был обыск в его квартире и исчезли подготовленные к печати рукописи — 2-й том «Раскопок в Триалети» и 3-й том «Материалов по археологии Колхиды». Исчезли навсегда.

Подтверждений этой версии гибели Куфтина нет, а Абхазия, откуда эта версия происходит, враждует с Грузией. Археолог Воронов, по воспоминаниям которого передан рассказ Соловьева, стал вице-премьером Абхазии, восставшей против Грузии, и был убит, но не грузинами, а местным криминалитетом.

Куфтин похоронен в Пантеоне Грузии в Тбилиси.

Первопроходец

А. П. Окладников

Подольститься просто очень,
это делал я не раз —
сверхдоверчивые очи
в Государстве Синих Глаз.

А устроен я так странно —
все скучаю по ветрам,
неизведанные страны
снятся, снятся по утрам.

А. Дольский. Государство Синих Глаз.

1. Трудный образ. Составить себе объективное представление об Окладникове нелегко, несмотря на то что литературы о нем порядочно. Но она очень противоречива. Есть много апологетических книг и статей, написанных его учениками и друзьями, — это повествования о самоотверженном подвижнике науки и образце добродетелей (Ларичев 1958; 1968; 1970; Деревянко 1978; Бродянский 1983; Конопацкий 2001; отчасти Шер 2008), а вот в произведениях его коллег и оппонентов (Формозов 1995; 2004; 2008 и др.), да и некоторых учеников (Матющенко 1994 и др., Мочанов 2005) предстает если не отъявленный негодяй, то во всяком случае человек неприятный, совершавший неприглядные поступки. Критикуют и его школу, его отбор и воспитание учеников. При этом и его критики признают за ним огромные достижения в археологии.

Уже тот факт, что многие ученики его боготворят и помнят его как благодетеля, говорит о том, что не всё в нем так уж плохо. С другой стороны, критиков слишком много, они слишком разнообразны, однако едины в своей неприязни. Можно объяснить злую критику со стороны Киселева или Брюсова амбициями, личными столкновениями. Но у некоторых (скажем, Матющенко) не было никаких

Сторожка при школе, в которой проходило детство
А. П. Окладникова

личных столкновений с Окладниковым. Значит, в Алексее Павловиче были некие качества, вызвавшие отторжение у ряда наблюдателей. Очевидно, фигура неоднозначная, и как сплошные панегирики, так и одни лишь анафемы здесь не помогут в оценке его роли и места в археологии. Требуется более спокойный и беспристрастный анализ.

2. Сибирское начало. Алексей Павлович Окладников (1908–1981) родился в таежном селе на притоке Лены. Отец был в нем учителем и мастером на все руки. Фамилия Окладников досталась ему, когда он стал приемным сыном купца Окладникова. Настоящая фамилия отца и деда Алексея Павловича — Коростылев, матери — Ларионова. Предки Алексея Павловича — охотники. В Гражданскую войну это «красное село» подверглось атакам каппелевских офицеров, в селе стояли красные мадьяры, образовалась комсомольская ячейка. Отец состоял в эсерах, которые готовили мятеж против колчаковских властей, он был арестован и зверски убит (о нем тепло вспоминает в эмиграции бывший министр колчаковского правительства; если бы Павел Окладников дожил до прихода красных, был бы репрессирован тоже). Мать работала сторожихой, поднимая двоих детей, так что симпатии мальчика были на стороне красных.

Еще школьником он напечатал под псевдонимом в газете статью о местных кулаках. Когда же дядя его со стороны матери был раскулачен и посажен, Алексей ходил хлопотать о его освобождении, поскольку дядя был не кулаком, а середняком, но юноше посоветовали

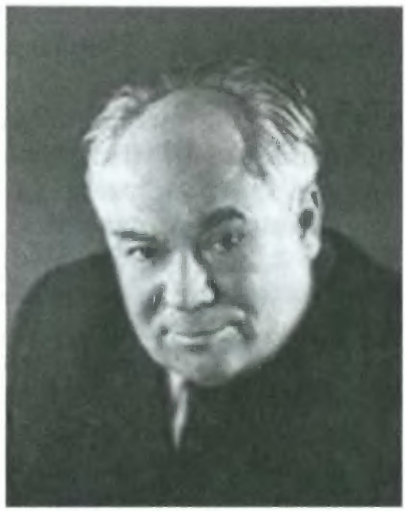
убираться подобру-поздорову. Он много читал, а сельскохозяйственный труд не любил. Среди его первых книжных приобретений была книга о раскопках скифских курганов на Юге России. В 1924 г. он организовал в школе краеведческий кружок и занялся археологией. Сам открыл стоянки каменного века в верхнем течении Лены.

В 1925 г. 17-летний Окладников поступил в Иркутский Педтехникум, затем в Пединститут. Там побыл год в окружении профессора Бернгарда Эдуардовича Петри (учениками которого были также Г. Ф. Дебец, М. М. Герасимов, Г. П. Сосновский и др.). В 1926 г. Петри был отстранен от преподавания как чуждый марксизму, и Формозов пишет, что Окладников в дальнейшем чрезвычайно редко упоминал его имя, хотя оно под запретом не было. Конопацкий показал, что это не так. Петри был арестован и расстрелян в 1937 г., и упоминать его было нельзя, а как только это стало возможно, Окладников стал его упоминать.

Окончив Пединститут, он работал в Иркутском музее (заведовал Этнографическим отделом) и продолжал разведки и раскопки по Лене. Продолжал также борьбу с идеологическими врагами коммунистов — был делегатом I Всесоюзного съезда воинствующих безбожников в Москве. С этим связано его исключение из комсомола. Он надругался над мощами: вывозя то ли скелет, то ли мумифицированный труп из храма, усадил его на повозку, надел дурацкий колпак из газеты и вставил в зубы скелета папироску. Это вызвало волнения среди верующих, и лишь заступничество архиерея, помнившего об отце Алексея, спасло его от более сурового наказания (Конопацкий 2001: 103; Формозов 2011: 136).

В Иркутске же он женился на внучке купчихи и выпускнице художественного училища Вере Дмитриевне Запорожской. Первоначально она была Кочкиной, но семья, чтобы откреститься от родства с известным разбойником Кочкиным (дядей Веры), уехала в Запорожье и взяла фамилию Запорожских. Свадьбы не было, и каждый остался при своей фамилии. Так и прожили всю жизнь. Отец Веры Дмитриевны был до революции мировым судьей, мать — старостой в церкви, сестра и зять-офицер эмигрировали в Харбин, так что анкету Алексея Павловича этот брак отнюдь не улучшил. Впрочем, раз свадьбы не было, то можно было и не упоминать этих свойственников в анкете. Наличие скверного происхождения и опасной родни нередко делало людей в те времена тихими и дрожащими. У Окладникова был другой характер. Опасность придавала ему больше активности и наступательности. Конечно, он маскировался под крестьянина-бедняка, сына революционера, погибшего в борьбе с Колчаком.

Еще там же, в Иркутске, по-видимому, были заложены основы ссоры Окладникова с Герасимовым. Оба питомца Петри не ладили, хотя с Дебецом Герасимов был очень дружен. Версию романтическую (Герасимов ухаживал за Верой Дмитриевной, но она предпочла Окладникова) сам Окладников отвергал — говорил, что Герасимов больше ухаживал за красавицей, будущей матерью Г. И. Медведева. Конопацкий выдвигает резонную версию профессионального соперничества. Герасимов во всем опережал Окладникова: открыл Мальту в 1928 г., на 8 лет раньше, чем Окладников — Буреть, на 7 лет раньше обследовал Амур, обладал талантом художественной реставрации. Окладников не мог этого перенести. Мальта была опубликована Герасимовым в 1928–1929 гг., а в 1932 г. в «Сообщениях ГАИМК» вышла разгромная рецензия 23-летнего Окладникова в критиканском комсомольском стиле «За методологию диалектического материализма в истории доклассового общества». Методологии этой он у Герасимова не усмотрел и выводы его счел бездоказательными. Они рассорились на всю оставшуюся жизнь.



М. М. Герасимов, изобретатель методики восстановления лица по черепу, соперник и недруг Окладникова

3. Ленинградские успехи. В ГАИМК в это время происходили потрясения. Старые ученые шельмовались за неспособность или нежелание работать в новых условиях и были «вычищены» (уволено 60 человек). Набирались новые кадры — готовые воспринимать марксизм и соответственно перестраивать археологию. В 1934 г. Окладников, не окончив Пединститута и даже не сдав экзамены за последний курс, получил приглашение в аспирантуру ГАИМК в Ленинграде. Проходил ее под руководством Ефименко, в Ленинграде и остался. Аспирантские годы Окладников вспоминал как самые тяжелые в жизни. Они ютились с женой в одной из лакейских комнат верхнего полуэтажа Мраморного дворца, где тогда размещалась ГАИМК. Время было голодное, жили крайне бедно. Учил языки — английский и немецкий,

поглощал литературу по археологии в богатейшей библиотеке ГАИМК, набирался ленинградской культуры.

Но продолжал разведки и раскопки по сибирским рекам. Как бы в подарок Ефименко в 1936–1939 гг. нашел палеолитические женские статуэтки в Бурети — тот ведь как раз в это время сделал палеолитических «венер» своим козырным ходом в археологии. Кроме того, Окладников «догнал» Герасимова с его Мальтой. Статуэток, правда, в Бурети меньше, но зато одна совершенно уникальна — с четким лицом и в костюме типа мехового комбинезона с капюшоном.

Между тем в стране бушевал террор.

> «Как мы жили тогда? — вспоминал Окладников. — В страхе. Забирали по ночам. Вот мы с Верой Дмитриевной у себя в комнатке <...> сидели и ждали: если до двух часов ночи не придут, не подъедет машина, значит, всё — можно ложиться спать. А на следующий вечер — всё сначала. Услышишь шорох колес под окнами и думаешь: а не за тобой ли? Люди исчезали незаметно и навсегда».

Во внутриакадемической жизни Окладников вел себя осторожно и аполитично. Слишком часто менялись ориентиры, слишком резкие расправы с неугодившими следовали одна за другой. Только что Быковский увольнял недостаточно марксистских ученых, и вот он уже сам арестован и тотчас расстрелян. «В 1937 году меня фактически спасла аполитичность, — вспоминал Окладников. — В аспирантуре я был самым аполитичным. Я занимался главным — наукой. Всё остальное меня не интересовало». Спасла его не столько аполитичность, сколько удаление на долгие сроки в таежные экспедиции.

В 1937 г. вышла его первая книжка «Очерки по истории западных бурят-монголов». В стенной газете немедленно появилась заметка, в которой его обвиняли в том, что он бурятский национал-демократ. Окладников тогда не знал, что еще один донос (в Бурятский ЦИК) был написан Г. П. Сосновским (его соратником по кружку Петри) и Л. П. Потаповым, в будущем известным этнографом. Вызвали куда-то на собеседование. Накануне этого собеседования он пошел к своему руководителю П. П. Ефименко советоваться. (Того то ли уже арестовывали, но выпустили, то ли приезжали арестовывать, но не застали дома.) Спросил его, как быть и что делать. Петр Петрович говорит: «Главное — со всем соглашайтесь, ни от чего не отказывайтесь, кайтесь, кайтесь, так будет лучше». Окладников: «Мне не в чем каяться, я ни в чем не виноват, это наговор». Ефименко: «Поступайте, как знаете, я вам сказал свое мнение». На собеседовании с молодым

человеком в полувоенной форме Окладников занял наступательную позицию, громил своих анонимных критиков, уличал их в незнании того, кто такие бурятские национал-демократы вообще... Сработало! От него отстали (Конопацкий 2001: 128–129).

Кандидатскую диссертацию защитил по неолиту Прибайкалья.

В Средней Азии в 1938 и 1939 гг., руководя отрядом в составе экспедиции Массона-старшего, он раскопал погребение неандертальского мальчика в гроте Тешик-Таш, Узбекистан. Опубликовал в книге «Тешик-Таш. Палеолитический человек». В конце книги высказано важное заключение, ставшее впоследствии предметом нападок: «Характер захоронения ребенка с лежащими вокруг рогами козлов свидетельствует о более высоком развитии психики мустьерских людей, чем обычно принято считать» (Окладников 1949: 84). Монография вышла в 1949 г. и получила Сталинскую премию.

Войну Окладников провел в Якутии: 33-летний археолог как работал в экспедиции у Шишкинских писаниц, когда началась война, так и застрял там. Позже его прикомандировали к Якутскому институту языка, литературы и истории, где он и трудился до 1946 г. Почему его не взяли в армию, трудно сказать. Он не был еще ни доктором, ни лауреатом. Толстов в таком же статусе воевал, Пиотровский был включен в готовившийся к отправке партизанский отряд, Шульц ушел в ополчение, на фронте были Каргер, А. П. Смирнов, Колчин, Монгайт, Борисковский, погибли на фронте Талицкий, Круглов... Окладников в это время изучал неолит и бронзовый век Якутии. Неужто военкоматам было велено считать это более важным, чем разгром врага? Думается, что на опасности войны Окладников реагировал так же, как на опасности террора, — укрывался на долгие сроки в далекую глушь тайги — в данном случае подальше от Ленинградского военкомата. А в 1942 г. последовал приказ — всех уцелевших кандидатов наук вернуть с фронта.

А. П. Окладников, открыватель неандертальского погребения в Тешик-Таше

В 1940–1945 гг. Окладников руководил большой Ленской экспедицией. «Ленские древности» вышли тремя выпусками (1945–1950). В 1946 г. с археологическими целями совершил поездку на Колыму. Там встретил своего друга детства Александра Лобанова в качестве заключенного. Тот, выучившись на агронома, был арестован в 1937 г. и получил 20 лет лагерей как «личный враг товарища Сталина» за то, что в лекции назвал Сталина учеником и соратником Ленина. А нужно было говорить: «Сталин — это Ленин сегодня!» После этого в 1946 г. Окладников вступил в партию.

Обобщающую работу по истории Якутии защитил в 1947 г. как докторскую диссертацию (вышла в 1949 г.). Тогда же он обобщил свои работы на юге Сибири, построив периодизацию неолита Прибайкалья (трехтомная монография «Неолит и бронзовый век Прибайкалья» вышла в 1950–1955 гг.). В процессе подготовки этого труда на основе его кандидатской диссертации им были выделены и названы известные ныне всем археологам этапы: исаковский, серовский, китойский, глазковский. Формозов (2011: 138), издеваясь над его многословием, обилием цитат из классиков марксизма и материалов, не относящихся к делу, приводит примечательный факт: когда первый том перевели в США (в 1952 г.), американцы выкинули всё постороннее — и получилась из фолианта в 412 страниц брошюра в 96 страниц.

А. П. Окладников — лидер Сибирской археологии

В отличие от Пиотровского или Толстова, Окладников не увлекался конкретными положениями Марра, а только принимал общие принципы его учения. От эволюционизма и теории стадиальности у него отложилось убеждение в единстве человеческого рода и мировой культуры, поэтому в своих интерпретациях он запросто подбирал аналогии из любых регионов, что делало его трактовки увлекательными, но не очень убедительными. Но убедительность тогда не так уж была важна — важнее было соответствие политическим требованиям.

За полтора десятилетия он сделал молниеносную карьеру. К 1949–1951 гг., то есть к 40 с небольшим годам, он уже был замдиректора всего Института, заведующим Ленинградским отделением ИИМК. Тогда я его впервые и увидел. Помню, меня поразило, когда к группе чинных профессоров-археологов подошел высокий краснорожий парень в черной косоворотке и фамильярно заговорил с ними. Окладников весьма бравировал своей простонародной внешностью и щеголял демократическими манерами — был очень доступен, прохаживался в обнимку со студентами по коридору, редко носил галстук. Лицо всегда было растянуто сладчайшей улыбкой, но за сетью морщин глаза не смеялись. Он был вечно озабочен своей влиятельностью и славой. И был ненасытен — в самореализации и в работе.

Примерно в те же годы или чуть позже его впервые увидел Я. А. Шер (2009: 63), который описывает его как высокого моложавого человека (лет 45). «На бронзовом от загара лице с выступающими скулами блуждала светская улыбка. Непокорные волосы местами стояли торчком».

Формозов (2011: 141) описывает личное знакомство с ним иначе:

> «Это был вечно спешащий человек с лисьей мордочкой и бегающими глазками, всем и каждому демонстрировавший сердечное расположение, но органически неспособный к простому человеческому общению. Все разговоры велись на ходу — в коридоре или на улице, причем Ваш собеседник больше спрашивал и с поразительной быстротой схватывал самую суть рассказа о новых наблюдениях и находках. Через полгода отклик на них появлялся (к месту и не к месту) в очередном опусе Окладникова. <...> На заседаниях, сидя в президиуме, Окладников без устали строчил свои статьи или правил корректуры, но всегда выступал в прениях. Получить от него справку о его находках или доступ к коллекциям было совершенно невозможно. Взамен этого рекомендовалось читать его труды, оттиски которых он щедро раздаривал. Но стоило выразить сомнение в каком-либо выводе автора — и дружбу, и сердечность как рукой снимало, маэстро впадал в истерику, топал ногами, сдергивал галстук и злобно огрызался».

Помню, Окладников поразил меня не только всеми этими чертами, но и озорным остроумием. Тогда Хиле (Рахили) Левиной, поступившей работать в библиотеку ИИМКа (впоследствии Хиля и возглавила ее), потребовалась от дирекции какая-то справка, получить которую оснований не было, Окладников, тогда директор, ни слова не говоря, накатал справку и сказал: «Вот вам Хилькина грамота!»

4. Ленинградские невзгоды. Гроза налетела неожиданно и со стороны, откуда ее никто не ожидал. Как заведующий ленинградским отделением Института Окладников в апреле 1949 г. сделал к юбилею Института доклад, и в начале 1950 г. Эрмитаж его издал отдельной брошюрой (говорят, академик Орбели, ученик Марра, лично набирал текст — он любил такую ручную работу). Институт носил имя академика Н. Я. Марра, и доклад назывался «Николай Яковлевич Марр и советская археология». Учеником Марра Окладников не был (Марра застал уже больным, был на его похоронах), к учению его обращался мало, но в докладе и брошюре курил ему фимиам, как было принято, а директорский пост придавал этому масштаб. Через полгода после выхода брошюры началась дискуссия в «Правде» по вопросам языкознания — об учении Марра.

По воспоминаниям М. К. Каргера (ссылка на архив ИИМК в: Алымов 2009, прим. 55),

> «После открытия дискуссии на страницах "Правды" собрался Ученый совет ЛОИИМК, и все члены Ученого совета выступили в защиту, поддержку Марра, выступили с восхвалениями учения Марра, потому что никому в голову не приходило усомниться в его правильности. Все так и объяснили, что это сделано нарочно, вот "Правда" сначала напечатала статью Чикобава, и всех, кто против Марра выступит, потом разнесут в прах».

Я хорошо помню эту дискуссию, потому что сам в ней участвовал, хотя и не на виду: я, тогда студент, сделав доклад с критикой Марра в ИИМКе, послал свою статью в «Правду», и это была одна из двух ленинградских статей против Марра (а несколько десятков — за). Ее не напечатали, потому что уже были запланированы статьи Сталина. Когда они вышли, пожилые археологи, мои учителя, не спрашивали меня о том, как я пришел к моим выводам, не согласным с Марром, а спрашивали, как я догадался, что именно станет нужным, как я учуял, куда повернет идеология. Я не держал нос по ветру, я исходил из научных фактов и теорий. Но можно было бы разъяснить и смену идеологии режима. Власть повернула от интернационализма (заклейменного как космополитизм) к русскому великодержавному национализму, учение Марра уже не годилось для оформления новых идей политики. ИИМКовские ученые этого не уловили и были в шоке, они были совершенно потеряны.

Зато московские археологи решили использовать ситуацию и отобрать у ленинградцев остатки первенства в Институте. Дирекция и серийные издания были переведены в Москву еще раньше, но

по реальному раскладу сил ленинградцы еще первенствовали в распределении денег на экспедиции и по объему листажа для изданий. Особенно усердствовал С. В. Киселев, замдиректора (директором был неархеолог А. Д. Удальцов). Уже 5 июля в Москве в Институте состоялось открытое партсобрание. На обсуждении создавшегося положения Киселев, сам как раз повинный в причастности к марризму, резко критиковал Окладникова (своего ленинградского конкурента по изучению Сибири и по директорству) за раздувание культа Марра. Весь удар решено было направить на Ленинградское отделение. В Ленинград на обсуждение были командированы доктор наук Рыбаков и боевые кандидаты, друзья Монгайт и Фёдоров.

В ноябре состоялось обсуждение на расширенном заседании ученого совета отделения ИИМК. Доклад должен был делать заведующий Окладников. Об этом докладе он вспоминал:

> «Москвичи под руководством Сергея Владимировича Киселева быстро сориентировались, провели такое обсуждение и решили перенести весь удар на Ленинградское отделение. Ведь здесь работал Марр, в Институте был кабинет Марра (мемориальный. — Л. К.), ну и вообще его почитали как ученого. В общем, целый букет. И масса поводов для критики в таких условиях.
>
> Всё шло к тому, что нужно было каяться. Мне предстояло выступить с докладом как заведующему отделением. А только что вышла моя книжка о Марре. Положение было сложное. И я решил не каяться, а защищаться. Попытаться понять и всем объяснить, почему так произошло, почему мы заблуждались. Во-первых, потому, что Н. Я. Марр был действительно великим ученым и предложил мало кому понятное "новое учение о языке" с положением о его классовой сущности. А во-вторых, потому что мы были плохими марксистами и не разобрались как следует в его наследии. Но вот спасибо товарищу Сталину за то, что он нас просветил и наставил на путь истинный. На этом и построил свой доклад.
>
> Заканчиваю доклад и сажусь на место. В президиуме сидят москвичи и внимательно с интересом слушают. Стол длинный, покрытый сукном. Поднимается на трибуну член-корреспондент Александр Юрьевич Якубовский. Видно, что он очень волнуется. А у него был излюбленный, картинный, хорошо отшлифованный, просто артистический жест. В критический момент он снимает пенсне и швыряет его на стол, но не так, чтобы оно разбилось, а чтобы двигалось. И вот пенсне катится, катится по столу, по всей его длине и, кажется, вот-вот упадет. И все внимательно,

> с интересом следят, гадают и ждут: упадет или нет. Но жест точно рассчитан, и в пяти сантиметрах от края стола пенсне останавливается, и все вздыхают с облегчением. А Александр Юрьевич, выждав эффектную паузу, заявляет, что он не может сразу сказать, чем именно, но доклад ему не понравился. А дальше пошла дискуссия» (Конопацкий 2001: 191–192).

Ну, память слегка подвела Алексея Павловича: по стенограмме, Якубовский выступал не сразу после докладчика, а вообще на второй день дискуссии, но напряжение передано верно. Я специально процитировал этот длинный пассаж, чтобы показать литературный талант Окладникова. В дискуссии москвичи изложили мнение московской части коллектива, что Марр вообще не был ни великим ученым, ни археологом, а просто вульгаризатором марксизма. Что он создал в языкознании «аракчеевский режим» и защищать Марра — значит выступать против гениальных указаний товарища Сталина.

Глава небольшой московской делегации Б. А. Рыбаков направил докладчику Окладникову записку с вопросом: «Был ли аракчеевский режим в археологии?» «Этот вопрос привел докладчика в замешательство («Я попросту обалдел», — признался он). Форма этого вопроса, по его же словам, вызвала ассоциацию с обстановкой судебного дознания...» (Алымов, прим. 56 — ссылка на архив ИИМК).

В декабре, под Новый год, в Москве состоялось заседание Ученого совета, на которое были вызваны ленинградцы: Окладников (зав), Дьяконов (ученый секретарь) и Каргер (кажется, парторг). Доклад делал опять Киселев, сосредоточивший огонь на Окладникове и Бернштаме (своем личном враге).

По словам Окладникова, у москвичей уже был список видных «замарранных» ленинградцев с пометками, куда кого сослать: Бернштама — во Фрунзе, Артамонова — в Елабугу, Окладникова — в Якутск, словом, каждого — в места, где они были во время войны. Замаран был и Пиотровский, ученик Марра. Спасло их только указание Сталина, что дискуссия была свободной и наказывать за откровенность никого не следует. Скрепя сердце, ограничились тем, что ликвидировали в Ленинграде ученый совет (восстанавливать его пришлось через несколько лет) и изменили структуру секторов так, чтобы поменьше нитей руководства сосредоточивалось в Ленинграде.

После заседания Окладников подошел к Киселеву и сказал ему, что у них разные представления о совести. Личные отношения были разорваны навсегда. Ленинградцы, не дожидаясь резолюции Ученого совета, отправились на вокзал. И то сказать, иначе не успели

бы уехать: Новый год. Вскоре последовало снятие Окладникова с заведования как не справившегося с работой. Он остался заведующим сектором палеолита. Хотели всё же убрать его из ИИМКа, переведя в Институт народов Севера, но Окладников был в отъезде, в экспедиции.

В конце 1950 г. вышел один из главных трудов Окладникова «Неолит и бронзовый век Прибайкалья». На эту книгу вышла в следующем, 1951 г. разгромная рецензия А. Я. Брюсова в журнале «Вестник древней истории», который редактировал С. В. Киселев. Объяснить этот выпад Брюсова Окладников пытался рассказом о нечаянной обиде, нанесенной им Брюсову. Якобы, отчитываясь в Полевом комитете о раскопках, он, Окладников, в ответ на замечание Брюсова отмахнулся: «Ну, вам, старшим товарищам, виднее». И вдруг Брюсов изменился в лице. Тут Окладников заметил, что рядом со стариком Брюсовым сидит молоденькая особа — оказалось, новая жена Брюсова. Брюсов воспринял указание на свой возраст как намеренную обиду и вот отомстил.

После выступления Сталина в «Правде» на дискуссии об учении Марра — археологи под угрозой: Б. Б. Пиотровский с газетой «Правда» в руке и А. П. Окладников (фото из «Воспоминаний» Б. Б. Пиотровского).

Мне кажется, что расхождение между Брюсовым и Окладниковым глубже и затрагивает основные принципы исследований. Вывод Брюсова (1951: 161) о публикации Окладникова таков:

> «Как исследовательская работа рецензируемая книга неудовлетворительна. Собственно истории древнего населения Прибайкалья уделено слишком мало внимания, хотя материал для этого был у автора колоссальный. Вместо этого автор посвятил всю свою энергию и изобретательность созданию весьма сомнительных доказательств того, что долина р. Ангары с палеолита и до бронзовой эпохи занимала ведущее положение в сложении

если не мировой, то евразийской культуры, — занятие пустое, а в известной мере и вредное».

В следующем году в «Вестнике древней истории» было помещено письмо Окладникова (1952: 199) в редакцию. Он уязвил самого Брюсова указанием на его любимое занятие:

«Брюсов фактически требует ограничения исторических исследований передвижением и столкновением этнических групп. Однако в данном случае я не вижу фактических оснований, чтобы объяснять смену этапов прибайкальского неолита сменами населения, как хочет Брюсов».

После ответа Брюсову Окладников перестал печатать свои работы в ВДИ.

В 1952–1953 гг. на Окладникова обрушилась еще одна дискуссия. Не занимавшиеся археологией философы выступили против него, чьи позиции были подточены обвинениями в марризме, с критикой его наиболее ярких открытий. М. С. Плисецкий в «Советской этнографии» и И. Б. Астахов в «Вопросах истории» выступили против признания палеолитических погребений, против наличия у людей палеолита зачатков представлений о загробной жизни и против первобытного искусства — Астахов по старинке считал его фальсификацией, а утверждение его — происками патеров и аббатов, которых марксисты должны разоблачать, а не пропагандировать. Он характеризовал заключения Окладникова как «рецидивы марровской теории». Отвергал человеческое сознание у первобытного человека до верхнего палеолита и Б. Ф. Поршнев, талантливый историк. Окладников сумел убедить партийные инстанции в полной некомпетентности этих своих критиков, что и показал в своих статьях. Особенно примечателен его подробный разбор докторской диссертации Астахова в 1954 г. в «Вопросах философии», где он показал не только некомпетентность этого искусствоведа, но и его зависимость от учения Марра. В 1955 г. журнал «Вопросы истории» был вынужден поместить извинение за статью Астахова, которая «не способствует развитию исторической науки».

От всех передряг и нервных стрессов первой половины 1950-х Окладников заболел диабетом — на всю жизнь.

В конце 40-х и в 50-е гг. он много копает в Средней Азии (открыл гиссарскую культуру в Таджикистане, сплошь обследовал пещеру Джебел в Туркмении). С 1958 г. руководит большими раскопками на Ангаре (на строительстве Иркутской и Братской ГЭС). В 60-е гг. ездит на раскопки в Монголию.

Его бурная открывательская активность охватывает и памятники первобытного искусства. С бешеной энергией и колоссальной трудоспособностью он фиксирует наскальные изображения по Лене — монографии «Шишкинские писаницы» и «Ленские писаницы» (обе вышли в 1959), «Петроглифы Ангары» (1966).

5. Новосибирский академик. В начале 60-х забрезжило обретение самостоятельности. Это означало необходимость переселиться в Новосибирск. В 1961 г. глава новосибирского центра академик Лаврентьев пригласил его, и в 1962 г. Окладников переселился в Новосибирск. В 1962 же году Окладников стал профессором и заведующим кафедрой Новосибирского университета. Затем становится по совместительству директором новоучрежденного Института истории, филологии и философии, в котором создает обширное отделение археологии (с 1966 г.). Шер, знавший его в поле и Новосибирске, характеризует его как неутомимого поисковика, который «с радостью менял кабинет директора на брезентовую палатку в экспедиции». «А. П. по институту не ходил, а носился как метеор, и за ним едва поспевали его ученики и сотрудники: В. Е. Ларичев, С. Н. Астахов, Е. Ф. Седякина и другие».

Академик А. П. Окладников, основатель Новосибирского Института этнографии и археологии АН СССР

В 1964 г. он вводит в науку местонахождение Филимошки, в 1972 г. — Улалинку. Найденные там оббитые гальки Окладников диагностирует как вещи исключительной древности — нижний палеолит, сравнимые с древнейшими находками Евразии. Он полагает, что синантроп Китая произошел от улалинских гоминид! Опытные палеолитоведы отнеслись к этим находкам скептически, хотя в последнее время нижний палеолит Сибири находит признание.

С середины 60-х гг. Мочанов обвинил Окладникова в том, что тот поверхностно и поспешно выделял неолитические культуры

новопетровскую, громатухинскую и кондонскую, что на деле там в каждом случае не культура, а «композит» — смешанное скопление разнокультурных вещей, в котором археолог не разобрался. Мочанов вообще подметил в Окладникове такую черту: поспешно заявить о непроверенной находке как о сенсации, дабы извлечь из нее максимум выгоды — новую славу, звания, ассигнования, а потом о ней тихо забыть и свести ее дезавуацию на нет. Сам Мочанов претендует на то, что разобрался в путанице данных Окладникова. Мочанов известен тем, что открыл в Якутии действительно важную палеолитическую культуру на пути заселения Америки (Дюктайская пещера). В Диринг-Юрахе он открыл древнейшие памятники Сибири и датировал их миллионами лет, объявив Якутию (а не Африку) прародиной человечества, хотя датировка естественнонаучными методами дала 230–250 тысяч лет — тоже вполне достаточно для сенсации, хотя и не для признания Якутии прародиной человечества.

Окладников и его ученики важность открытия Мочанова признали, а критику открытий Окладникова — нет. Между тем Мочанов и сам обосновывал свои определения легковесно. Слепая увлеченность Мочанова собственными открытиями облегчила Окладникову и его сторонникам борьбу с Мочановым.

Вообще занятость Окладникова Институтом, учениками, лекциями и изданиями несколько потеснила его полевую активность. Дома работал он обычно под приглушенную классическую музыку, для чего у него в кабинете было много грампластинок и отличная аппаратура. В остальном быт был спартанским. Окладников вообще выделялся среди археологов: не пил, не курил, чему можно было только симпатизировать.

Новосибирск был центром Сибирского отделения Академии наук СССР — центрального научного учреждения страны. Тем, кто оказался ведущим ученым в Сибири, гораздо проще было стать академиками, чем в обеих столицах: конкуренции меньше, больше свободных мест. Членкором Окладников был избран в 1964 г., академиком стал в 1968 г., в возрасте 50 лет. В Новосибирске пробыл 20 лет.

В Новосибирске у него образуется большая школа. Среди его учеников выделяются Н. Н. Диков, Ю. А. Мочанов, Р. С. Васильевский, В. Е. Ларичев (эти потянулись за ним из Ленинграда), Б. А. Фролов, А. И. Мартынов А. П. Деревянко, В. И. Молодин и др. Все они стали докторами, Деревянко, а за ним Молодин — академиками, Диков — членкором.

Сам он был в 70-е гг. избран членом Венгерской и Монгольской Академий наук, членом-корреспондентом Британской академии наук, в 1978 г. получил звезду Героя Социалистического труда (к 70-летию), а в 1981 г. умер на 74-м году жизни.

6. Ученики: нарекания и оправдания. Учеников и сотрудников Окладников использовал как «негров». Опись кремней для монографии Окладникова о Джебеле сделана З. А. Абрамовой, обзор иностранных источников для окладниковского «Утра искусства» подготовлен Б. А. Фроловым (для этого и был взят в аспирантуру с факультета журналистики), сотрудники набирались из студентов восточного факультета — чтобы могли реферировать литературу для шефа на восточных языках (Формозов 2011: 142–143).

Отношения с учениками складывались очень неровно. Одних он нежно опекал и продвигал (так что, кажется, вызывал даже подозрения у властей в сексуальном пристрастии к юношам), других, особенно строптивых — отвергал и всячески притеснял. Так, не взлюбил Н. Н. Дикова (потом вернул расположение), Ю. А. Мочанова, всю иркутскую группу Г. И. Медведева, а японист М. В. Воробьева, квалифицированного специалиста, держал при себе помощником, потом возвел на него необоснованные обвинения и уволил), позже поссорился и с А. П. Деревянко, и с В. Е. Ларичевым.

Ученик Окладникова Ю. А. Мочанов, открыватель палеолита в Якутии

Мочанов, такой же энтузиаст и трудоголик, как и Окладников, открыл памятники палеолита на крайнем Севере Сибири, в Якутии, можно сказать, организовал в Якутии археологию. Но, обладая обостренным чувством самоуважения и справедливости, обрушился на своего учителя с едкой и уничтожающей критикой, не прощая ему никаких недостатков, а пуще всего — подминания учеников под себя. Сам он, однако, также конфликтный и эгоистичный, перессорился с археологами Петербурга, где он учился, за первенство в открытии памятников, выдвинул сумасбродную идею происхождения человека из Сибири и воюет за ее утверждение.

Н. Н. Диков, член-корр. АН СССР, глава Магаданского археологического центра

В романе Геннадия Гора «Ошибка профессора Орочева», 1955 г., ученик Окладникова Николай Диков, по сообщению Конопацкого (2001: 10–15, 276–285), послужил прототипом юноши, выведенного как антагонист главного героя, а главный герой явно имеет прототипом Окладникова. Геннадий Гор бывал у Окладникова, беседовал с ним. Сам Окладников пояснял, что это художественное описание его конфликта с учеником и аспирантом Н. Н. Диковым. В этом произведении рассказано, как профессор Орочев, очень похожий на Окладникова, убедившись в полной неспособности своего аспиранта, очень похожего на Дикова, написать диссертацию, сам написал ее за него. На защите хвалил собственную работу. А аспирант предпочел забыть об этом и опубликовал ее как свою собственную. И даже возмечтал о Сталинской премии.

Окладников же разрыв свой с Диковым объяснял так:

> «Вскоре после защиты кандидатской диссертации приходит ко мне Коля Диков и говорит: “Нам теперь вдвоем тесно будет в Сибири. Давайте договоримся, разделим территорию. Ваша территория — до Урала. А всё, что за Уралом и до Тихого океана, — моя”. Я его спрашиваю: “Коля, вы хорошо подумали?” Он отвечает: “Хорошо. Я всё решил”. — “Ну, подумайте еще неделю”. Приходит ко мне через неделю. Спрашиваю его, что он решил, не передумал ли. Он отвечает, что нет, и настаивает на своем. Так нам и пришлось с ним расстаться. Претензий у меня к нему не было. Это он задумал делиться» (Конопацкий 2001: 418, прим 4).
>
> «Свидетели тех событий, — пишет Конопацкий, — осуждали А. П. Окладникова за разрыв с Н. Н. Диковым, не сразу нашедшим себе место, и сочувствовали последнему. Кто и насколько прав, теперь уже невозможно решить».

Ну, это как сказать. Предложение Дикова выглядит совершенно дико: Окладникову отведена территория России до Урала — то

есть без Сибири! Вся Сибирь — Дикову?! Даже если бы он настолько сдурел, что предложил шефу раздел, неужели бы предложил такой раздел? Потом Диков свил себе гнездо в Магадане и стал членкором АН СССР. И ведь оказался не столь уж неспособным! Докторскую сделал сам и защищал в Новосибирске, у Окладникова. Мог бы выбрать Москву (где у Окладникова было достаточно недругов) или Ленинград (где Диков учился и где его помнили). Но сам же Конопацкий удивляется: Диков выбрал Новосибирск! Если бы написание диссертации за него и предложение о разделе имело место, то Окладников вряд ли допустил бы его защищаться в Новосибирске, да и Диков не помыслил бы сунуться туда. Поэтому я склонен верить не Окладникову, а Дикову.

С Диковым мы вместе были студентами в Ленинграде. Он учился на два курса старше меня (был в одной группе с братьями Сорокиными, Стависским, Рахилью (Хилей) Левиной, сверстники звали его Кокой Диковым). Помню, как мы бродили по ночным улицам Ленинграда и я спросил его о причинах раздора с шефом. Кока посмотрел на меня своими миндалевидными глазами и сказал: «Ссоры не было. Он мне предложил: ваша работа выходит под моим именем, а вы получаете за это сразу место и перспективу продвижения. Я отказался». Вот и гулял два года без постоянной работы. За отказ он получил сполна. Это впоследствии не препятствовало новому взаимодействию с Окладниковым.

Диков окончил Университет в 1949 г., защищал кандидатскую в 1953 г., с 1955 г. поселился на Чукотке в Магадане, докторскую защитил в 1972 г., членкором стал в 1979 г., умер в 1996 г. Геннадию Гору Окладников поведал свою версию конфликта в 1953 или 1954 г., Конопацкому значительно позже.

Когда Ю. А. Мочанов и другие обвиняют учеников Окладникова в тех же хищнических замашках, это звучит реалистично. Взять, например, его ученика академика А. П. Деревянко. Я одобрительно отношусь ко многим делам академика Деревянко, и мне не очень импонирует жизненный стиль Мочанова. Но Деревянко же сам сообщает о себе, что за 40 лет выпустил 80 монографий и свыше 700 статей. Это значит в среднем по 2 книги и 18 статей в год. При этом еще ездил в экспедиции, был секретарем ЦК комсомола, потом обкома КПСС, потом руководил институтом, читал лекции и прочее. Да столько за оставшееся от службы время не то, что сочинить, а просто переписать не успеешь. А ведь нужно еще исследования провести, которые лягут в основу этих книг и статей! Значит, имя

А. П. Деревянко, впоследствии академик и директор Новосибирского института этнографии и археологии, глава отделения истории РАН

академика стоит на работах, выполненных другими[1]. Никуда от этого вывода не уйти. Я понимаю, что академик — организатор масштабных коллективных работ, не сомневаюсь в значительности его вклада в их осуществление, возможно — и его идей. Но идеи — это еще не авторство. За них благодарят, но имя на обложке не ставят.

Питомцы Окладникова унаследовали многие черты мэтра — его энергию, открывательский запал, любовь к экспедициям, работоспособность. Но, к сожалению, многие в первую голову унаследовали изрядный дилетантизм (впрочем, последнее не относится к Деревянко, Молодину, Шунькову). Окладников не имел профессионального археологического образования, он был самоучкой и слишком спешил, так что в аспирантуре не воспользовался возможностью внимательно поучиться у такого мастера, как Ефименко. Известно, что тот несколько раз заставлял его переделывать диссертацию. Полевая методика Окладникова вызвала критику А. Я. Брюсова, который тогда был председателем Полевого комитета. Особенно ненадежны окладниковские определения петроглифов — аналогии натянуты и даже распределение изображений по эпохам (что — палеолит, что — бронзовый век и т. п.) вызывает сомнения. Критика дана в работах Формозова, который прямо обвиняет Окладникова в подтасовках.

Формозов (1995) также с неприязнью отмечает всегдашнюю готовность Окладникова менять свои взгляды по указке сверху. В 30-е гг. требовалась критика царистской колониальной политики — и в своих очерках по истории бурят (1937) Окладников писал о гнусных

[1] Я сам пишу споро, и у меня в некоторые годы выходило по нескольку книг. В 2010 г. даже четыре. Но это книги, над которыми я работал много лет (когда не выходило ничего), а к концу жизни я спешу их выпустить в свет.

захватчиках-казаках и сопротивлении вольнолюбивого бурятского народа. Через несколько десятилетий курс изменился — и в своей истории Бурятии (1976) Окладников пишет уже о добровольном вхождении Бурятии в состав России и об исторических корнях дружбы двух народов. В пятидесятых годах был союз с коммунистическим Китаем — и Окладников в книге о Приморье выводит все главные элементы культуры из Китая. Позже отношения с Китаем испортились — и во втором издании той же книги категорически отрицается китайское происхождение чего бы то ни было. Нечего и говорить о перипетиях оценки Марра: сначала панегирическая книжка о Марре, потом отречение, а позже (после смерти Сталина) новые восторги.

А. К. Конопацкий отвергает морализаторство Формозова, для каждого случая находит оправдание. Но как ни оправдывай каждый случай, в общем ситуация именно такова, какой ее описывает Формозов. Да, трудно было иначе, давили же, пресекали карьеру. Это и Формозов признает. Но, говорит он, были же те, кто на такое угодничество не шел. Потому что оно ставило научную истину на второе место, а на первое — карьеру. Ну а с истиной так: когда она на втором месте, ее нет.

Хорошо знающий Окладникова археолог-сибиревед Матющенко (1994: 47–49, 52–53) пишет о его «нетерпимости к любому критическому слову в свой адрес» и о его «ревнивом отношении к успехам своих коллег», о неуемной жажде почестей. Вслед за Чернецовым он отмечает многословие книг Окладникова, сложность оборотов и обилие повторений, что делает стиль Окладникова рыхлым и неясным. Формозов пишет, что чем труднее проблема, тем больше доказательства заменяются у Окладникова литературными красотами стиля.

Но за всем этим нельзя забывать, что уйма памятников открыта этим сибирским самородком и первопроходцем, свободным от строгой методики и от занудной морали, и им же основан огромный новосибирский центр археологии. Даже недруги Окладникова не отрицают его достижений, обаяния и одаренности. По странной прихоти судьбы он с размахом продолжил в Сибири дело Герарда Миллера, хотя как личность напоминал-то он как раз миллеровского врага Ломоносова — был столь же неистов, талантлив и беспринципен, только менее широк: ограничивался археологией.

Охотник за памятниками и культурами
О. Н. Бадер

Недостатки человека являются
продолжением его достоинств.
Франсуа де Ларошфуко

1. Известность. Имя Отто Николаевича Бадера (1903–1979) известно всем в отечественной археологии. Он был неутомимым охотником за памятниками и культурами по всей Европейской части страны — от палеолита до позднего Средневековья, а по территории — Приполярья до Крыма и от Оки до Западной Сибири. Был мастером археологической разведки. Множество мест на археологической карте нашей страны заполнено им. Но он был также и руководителем крупных археологических экспедиций и создателем пермской школы археологов. Его ученики — Генинг, Оборин и другие. Более 400 печатных работ оставлено им.

Всего этого не отрицает и Формозов. Но в последних публикациях А. А. Формозова (особенно в книге «Человек и наука») в адрес Бадера высказано немало нареканий. Охотился за новыми памятниками, за полевыми открытиями, жаждал наложить на как можно большее количество находок свое имя, а серьезно обработать их не удосуживался, ограничивался мелкими заметками. Монографии, требовавшие усидчивого труда, так и не вышли. Тщеславен был, гонялся за мелкими успехами, а раскопки вел плохо. Школы не оставил, его ученики — это не школа (Формозов 2005: 55–65).

Критики Формозова отвергают его тон и утверждения о Бадере: как это «ничего, кроме заметок и предварительных сообщений, из-под его пера не выходило»?! «Ну а как же быть, — возражает академик В. И. Молодин (2006: 174), — <...> с монографиями Отто Николаевича: "Балановский могильник" (М., 1963), "Древнейшие металлурги Приуралья" (М., 1964), "Бассейн Оки в эпоху бронзы"

(М., 1970), "Сунгирь. Верхнепалеолитическая стоянка" (М., 1978)?» Выходит, в чем-то у Формозова перехлест? А есть ли в его упреках Бадеру нечто дельное?

Молодин усматривает причины настроенности Формозова в том, что Сунгирь первоначально намечался на обработку Формозову, а достался этот первоклассный памятник Бадеру. «Обидно, конечно». Ну, Формозов не очень гонялся за сенсационными открытиями — достаточно намаялся со Старосельем. Были у него и другие основания для неприязни к Бадеру. Тот выступал против положений его кандидатской диссертации и нелестно отзывался о его результатах, рецензируя его рукопись о Староселье. Но это всё argumenta ad hominem. Неважно, почему он был плохого мнения о Бадере, важно, насколько это мнение справедливо; если не вполне справедливо, то в какой части справедливо.

2. Образование. Отто Николаевич Бадер родился 29 июня 1903 г. в селе Александровском бывшего Гадячского уезда Полтавской губернии в семье лесничего, российского немца. Отец много лет был лесничим в Московской и Смоленской губерниях. Юношеские годы Отто Николаевича прошли в Смоленской губернии вблизи города Белого. Увлечение археологией началось у него еще в школьные годы. Любовь к природе у сына лесничего естественна, но Отто заинтересовался и историей. В гимназии он организовал первое в городе краеведческое общество, и делегатом от него он, будучи уже студентом, побывал на 1-м Всероссийском съезде краеведения в 1924 г., еще не под самый занавес краеведческого движения в стране, но близко к нему.

В 1922 г. Отто Бадер поступил в 1-й Московский университет на археологическое отделение факультета общественных наук. Его сокурсниками стали А. В. Арциховский, А. Я. Брюсов, Б. Н. Граков, П. А. Дмитриев, Л. А. Евтюхова, С. В. Киселев, Д. А. Крайнов, О. А. Кривцова, А. П. Смирнов, М. Е. Фосс — это всё в будущем известные в археологии имена. Вот в каком кругу обретался и рос студент Бадер. Увлеченные лекциями В. А. Городцова, студенты-археологи сплотились вокруг своего учителя в очень дружный, спаянный археологический кружок, который они именовали, на первобытный манер, тотемом и все имели свои тотемные клички.

Бадер посещал также лекции по антропологии, палеоэтнологии и этнографии на кафедре антропологии физико-математического факультета МГУ. Там преподавали Д. Н. Анучин, Б. С. Жуков, В. В. Бунак, Б. А. Куфтин. Он и в дальнейшем в своих археологических

исследованиях не раз обращался к антропологии, этнографии, геологии и другим естественным наукам. Пожалуй, в отличие от своих сокурсников, разделявших антипатию своего шефа к анучинской школе и больше всего к Жукову, Бадер был близок к естественникам (возможно, сказывалось изначальное влияние отца).

Сложившаяся при кафедре антропологии 1-го МГУ палеоэтнологическая школа Д. Н. Анучина и ее лидер — Борис Сергеевич Жуков — оказали заметное влияние на его формирование как археолога. Б. С. Жуков и его соратники В. В. Бунак и Б. А. Куфтин в своих лекциях и семинарах формировали у студентов комплексный подход к изучению археологических, антропологических, этнографических и лингвистических источников для реконструкции облика древних культур. Для Бадера главной научной школой стали Палеоэтнологическая лаборатория при Институте антропологии МГУ, созданная Жуковым, и его Антропологическая комплексная экспедиция (АКЭ) по Центрально-Промышленной области (Кузьминых 2004). Бадер участвовал в археологических полевых исследованиях Городцова, но особенно интенсивно — в экспедициях Жукова. В 1923–1925 гг. он работал на раскопках Льяловской стоянки, в 1925–1929 гг. — в Антропологической комплексной экспедиции: на раскопках той же Льяловской, в 1926 г. — других неолитических стоянок в районе города Горький.

Еще будучи студентом, Бадер познакомился на деле с музейной работой — сначала работая в Музейном фонде Главнауки Наркомпроса, а с 1924 г. заведуя археологическим отделом Государственного музея Центрально-Промышленной области в Москве.

3. Антропология и археология. В 1926 г. Бадер окончил университет и был назначен сотрудником Института и Музея антропологии МГУ, с 1931 г. он — ученый секретарь их и «Антропологического журнала». С 1927 по 1930 г. он работал специалистом-археологом в музейном отделе Главнауки Наркомата просвещения. С его участием были организованы археологические разделы в ряде местных областных и районных музеев. В 30-е гг. это совместительство пресеклось в связи с разгромом краеведения, но появилась другая работа. С 1933 г. он по совместительству научный сотрудник, а с 1937 г. — ученый секретарь Московского отделения ГАИМК (ныне Институт археологии РАН). Таким образом, он освоился в двух очагах московской археологии — академическом и университетском — в городцовском и жуковском.

Но больше всего он увлекался археологическими разведками — его легкая подвижная фигура маячила на просторах страны. Проделан 750-километровый маршрут по реке Ветлуге (1925, 1926); затем 350 километров по Унже (1926); 120 километров по Проне (1928); маршрут по Верхней Волге между Калинином и Кимрами (1930, 1931); 600 километров по Вятке и по Каме (1931). Бывало, что он завершал полевые работы с первыми снегами (Кузьминых 2004). В 1927–1930 гг. он обследовал более 100 стоянок и местонахождений с каменными орудиями на центральных и восточных Яйлах первой гряды Крымских гор.

На рубеже 20-х и 30-х гг. Бадеру уже 26–27 лет. В отличие от своих коллег и сокурсников, Бадер не ввязывался в теоретические дискуссии тех лет. Возможно, поэтому репрессии и чистки обошли его стороной, но они обрушились на его учителей рядом: в 1931 г. был арестован Б. С. Жуков и сослан в лагерь на Алтае, Б. А. Куфтина выслали в Вологду, и после освобождения он скрылся в Грузию. Это, конечно, воздействовало на Бадера и его сверстников, в умы и сердца их вселился страх. В конце 1929 г. многообещающие контакты с финским ученым А. М. Тальгреном обрываются, ни о каких связях с заграницей мечтать не приходится.

Но археологические разведки и раскопки Бадера продолжаются. В 30-е гг. он руководит многолетними Окской и Чувашской экспедициями Института антропологии МГУ, изучавшими памятники бронзового века. Три года (1934, 1936, 1937) раскапывали Балановский могильник, а по нему была названа выделенная Бадером культура восточнее фатьяновской. Потом переместился на юг. Работы в Северном Причерноморье, которые раньше шли под руководством Б. С. Жукова, теперь Бадер вел самостоятельно. В 1936–1939 гг. он руководил Азово-Черноморской экспедицией по изучению памятников неолита и более древних. Он занялся тогда древними изображениями

О. Н. Бадер, обследователь множества памятников и культур

знаменитой Каменной могилы в Приазовье: наскальная живопись эта была важна для познания древнего искусства и культов. За пятилетие с 1935 по 1939 г. было обследовано около 600 гротов и навесов в скалах. В общем, в Крыму им открыто немало памятников палеолита, мезолита и неолита.

По неолиту Волго-Окского междуречья Бадер создал периодизацию культур, выявил новые культуры. Совместно с М. В. Воеводским он выявил балахнинскую неолитическую культуру в Волго-Окском междуречье. В бронзовом веке средней полосы европейской части России он выделил поздняковскую культуру, исследовал памятники фатьяновской и дьяковской культур. С середины 30-х гг. он — постоянный член Четвертичной комиссии. Ряд лет он являлся председателем Археологической комиссии Московского научно-исследовательского бюро краеведения и Комиссии по истории Москвы, вел археологические исследования в Москве и Московской области.

И 37-й год его не задел. В 1937 г. О. Н. Бадеру присвоено звание кандидата исторических наук без защиты диссертации — по совокупности работ.

Выбила из большой науки его война. Война всем принесла беду, но Бадеру — по-особому.

4. Война и репрессии. В первые дни Великой Отечественной войны Отто Николаевич уходит на фронт в составе ополчения МГУ. В конце 1941 г. он отозван с фронта по национальному признаку: немец. Немцев как потенциальных предателей отправляли в Трудармию, на чрезвычайно скудное довольствие и самые изнурительные работы. Бадера отправили отбывать срок в Трудармии в г. Нижнем Тагиле. Это было не административное решение, а судебное дело. Судили за то, что немец. Вот выборка, касающаяся Бадеров (однофамильцев), из нижнетагильской Книги памяти жертв политических репрессий.

Книга памяти жертв политических репрессий г. Нижний Тагил содержит следующие данные:

> «Бадер Магдалина Иосифовна, 1883 г. р.; немка; место рождения: Молочанский р-н, Днепропетровская обл.; домохозяйка. Место проживания: г. Н. Тагил. Арестована 28.12.34. Осуждена по ст. 58-10. Приговор: 3. Реабилитирована при жизни 27.11.58 Президиумом СОС. Номер дела: 27538-58
>
> Бадер Роза Ивановна, 1908 г. р.; немка; место рождения: Молочанский р-н, Днепропетровская обл.; место работы: Н. Тагил, больница № 2; сиделка. Место проживания: г. Н. Тагил.

Арестована 28.12.34. Осуждена по ст. 58-10. Приговор: 3. Реабилитирована 27.11.58 Президиумом СОС. Номер дела: 27538-58

Бадер Семен Иванович, 1910 г. р.; немец; место рождения: Молочанский р-н, Днепропетровская обл.; место работы: УВЗ, вагоносборочный цех; слесарь. Место проживания: г. Н. Тагил. Арестован 31.12.37. Осужден по ст. 58-2-6-9-11. Приговор: ВМН (высшая мера наказания). Расстрелян 22.10.38».

И внимание:

«Бадер Отто Николаевич, 1870 г. р.; немец; место рождения: с. Александровское, Гадячинский уезд, Полтавская губ. Арестован 01.01.41 (опечатка: 42). Осужден по ст. Т/м. Номер дела: Мемориал. Реабилитирован при жизни 31.10.58 Военным трибуналом УралВО. Номер дела: 27335-58».

В романе Бориса Раушенбаха «P.S. — Постскриптум» описан следующий эпизод:

«Уже в Свердловске мы кое о чем начали догадываться. Когда я явился с вещичками, то в толпе увидел профессора Московского университета Отто Николаевича Бадера, и жена, которая меня провожала в армию, сказала: "Вот, обрати внимание: Бадер — страшный лопух, и, если ты ему не поможешь там, куда вы едете, он неминуемо погибнет..." Она все поняла!»

Так в жизнь Бадера вошли тюрьма во Владимире, лагеря в Магнитогорске и Свердловске и отряд Трудармии в Нижнем Тагиле. В феврале 1942 г. Бадер был направлен в стройотряд №18-74 Тагиллага НКВД, в 4-ю колонну. Там ему повезло: профессора направили работать секретарем-статистиком в медицинском стационаре кирпичного завода. Больше года провел там.

С 1943 г. то ли сорокалетнего немца приметила директор Нижнетагильского краеведческого музея Н. Н. Грушина, то ли Бадер сам вышел на музей. Бадер оказался единственным в Тагиле археологом с правом раскопок и имеющим большой опыт раскопок, а музей должен был обследовать зону строительства треста «Тагилстрой». В зоне строительства оказалась Полуденская неолитическая стоянка. По просьбе Грушиной Бадер был откомандирован из стройотряда на лето 1944 г. руководить археологической экспедицией. Работы шли два года.

Таким образом, в 1944–1946 гг. Бадер работал в штате Тагильского краеведческого музея, исследовал неолитическое поселение Полуденка. В Тагиле он организовал краеведческое общество и развернул раскопки в палеолитическом гроте на Медведь-Камне, также вел

раскопки Ермакова городища. На базе своих исследований он составил археологическую карту Тагильского края и открыл археологический отдел в экспозиции Тагильского музея. В 1945–1946 гг. он раскапывал Островскую палеолитическую стоянку (им. М. В. Талицкого) на реке Чусовой. В 1946 г. он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» — для него, в его положении, эта медаль была ценнее высоких орденов для иных коллег.

После войны он всё же в течение десяти лет не мог вернуться в Москву.

5. Пермский университет. По окончании войны Бадер оказался утратившим многое: поломан жизненный уклад, погублена карьера, пришлось распрощаться с навыками столичного жителя. Он был лишен университетской кафедры и учеников. Накопленные за 17 полевых сезонов источники на Оке практически оказались вне доступности.

Но на фоне стольких убитых и искалеченных это было не так уж страшно. Знания при нем, и сохранено здоровье. Археологов вокруг нет. В 1946 г. его пригласили в Пермский (тогда Молотовский) университет на должность доцента для чтения курса археологии. В Перми все пришлось начинать сначала. Вскоре кроме общего курса археологии О. Н. Бадер читает еще курсы: историю первобытного общества и этнографию. Он создает кабинет археологии, студенческий кружок и организует полевую и лабораторную подготовку студентов. Написал он и методическое руководство «Археологические памятники Прикамья и их научное выявление» — в 1947 г. оно издано книгой. В том же году он организовал I Уральское археологическое совещание. С этих пор такие совещания стали традиционными (проводятся в разных городах Волго-Уралья и Западной Сибири). Так начался пермский период его биографии. Именно в это трудное для Бадера время помощь жены его, Марии Александровны, была особенно необходимой.

Надо признать, что в археологическом отношении Прикамье уже не было terra incognita: в тридцатые годы здесь работала новостроечная Камская экспедиция ГАИМК-ИИМК под руководством А. В. Шмидта и Н. А. Прокошева, в ней участвовали А. В. Збруева и М. В. Талицкий. После войны строительство Камской ГЭС возобновилось, так что огромному количеству археологических памятников разных эпох угрожало затопление. Вот решением 1-го Уральского археологического совещания в апреле 1947 г. и была создана Камская

археологическая экспедиция (КАЭ), продолжательница экспедиции ГАИМК-ИИМК. Такм образом, на новом месте Бадер опять создал большую археологическую экспедицию — Камскую экспедицию Пермского университета.

Эта экспедиция под его руководством работала в зоне строительства Камской и Воткинской гидроэлектростанций в 1947–1958 гг. Ядром экспедиции и источником кадров для нее стал студенческий научный кружок по археологии Урала. За первые 10 лет работы КАЭ были опубликованы три тома трудов и около 200 отдельных работ по ранней истории Прикамья.

Исследовались палеолитическая стоянка имени Талицкого, а также памятники мезолита, неолита, бронзового и раннего железного веков Прикамья. Сибирские черты в материалах стоянки Талицкого Бадер связал с палеогеографической обстановкой, сложившейся во второй половине плейстоцена, когда надвигавшиеся с севера материковые льды и трансгрессии Каспия на юге отделили Урал и часть Поволжья от Европы, оставив их открытыми со стороны Сибири. Это обусловило пути заселения Урала и Северо-Восточной Европы. Бадер аргументировал гипотезу о существовании палеогеографического барьера между Уралом и Волгой, с одной стороны, и Русской равниной — с другой.

Он же впервые ввел в научный оборот как своеобразную культуру уральского мезолита, связанную с Прикаспием и Кавказом. От Бадера вошло в науку и понятие камского неолита. Наконец, им был исследован Турбинский могильник и выделена сейминско-турбинская культура. Одно это открытие увековечивает его имя в археологии.

В 1954 г. на материалах Камской экспедиции Бадер создал при Пермском университете Музей археологии Прикамья. Хранилище музея уже тогда насчитывало около 1,5 млн вещей. В Пермском университете Бадер читал курсы археологии, этнографии, истории первобытного общества, ряд спецкурсов, вел спецсеминар по методике археологических исследований.

Бадер считается основателем пермской школы археологов. Ведь в Пермском университете он впервые организовал специализацию по археологии и вырастил целую плеяду талантливых учёных, из которых некоторые основали свои собственные школы, а многие продолжили археологические исследования учителя в разных городах и научных центрах: В. Ф. Генинг (Свердловск), Н. А. Мажитов (Уфа), Г. И. Матвеева (Самара), В. А. Оборин, В. П. Денисов, Ю. А. Поляков,

А. Д. Вечтомов, И. С. Поносова (Пермь), З. П. Соколова, В. А. Могильников. Б. Г. Тихонов (Москва), Р. В. Чубарова (Санкт-Петербург).

Одна из выпускниц Пермского университета (уже послебадерского времени), Р. Д. Голдина (2002: 29–30) всё же заметила после первых бесед со старым выпускником В. Ф. Генингом:

> «Выяснилось, что пермская школа теоретически готовила неважно. Я ощутила себя редкой невеждой, не знавшей многих элементарных вещей, и, хотя В. Ф. Генинг был ко мне очень снисходителен, пришлось заниматься много и настойчиво. После освоения значительного числа литературы я начала кое-что понимать не только в полевой археологии, но и в самой науке».

Да и к самому Генингу были претензии в плане владения теоретическими знаниями (Клейн 1986; 1991).

6. Снова в Москве. Смерть Сталина внесла некоторую либерализацию даже до XX съезда партии. В 1955 г. Отто Николаевич смог вернуться в Москву, в Институт археологии АН СССР. Это событие открыло новый этап в его жизни и творческой биографии. С 1955 г. Бадер работает старшим научным сотрудником Института истории материальной культуры — Института археологии АН СССР. В 1956–1959 гг. заведует камеральной лабораторией Института, а в 1970–1973 гг. исполняет обязанности заведующего сектором неолита и бронзы.

Одновременно он опять начал читать курс лекций по каменному веку, теперь уже на кафедре археологии МГУ. С 1956 по 1969 г. Бадер ведет преподавательскую работу на историческом факультете и руководит специализацией студентов. И тут он тоже организует студенческий кружок по каменному веку. Из этого кружка вышли археологи С. Н. Астахов (Петербург), Н. О. Бадер (сын), Л. В. Грехова, П. М. Кожин, Л. В. Кольцов, Н. В. Рындина, М. П. Зимина, отчасти и Е. Н. Черных (Москва).

Бадер сумел возобновить прерванные надолго полевые исследования в Волго-Окском междуречье. Но и связь с Пермским университетом долго не прерывал. Под его руководством продолжают работать Камская археологическая экспедиция, а затем начинается Воткинская.

Из работ Бадера по фатьяновской культуре особенно интересна книга о Балановском могильнике, в ней выделена балановская культура, которую одни считают разновидностью фатьяновской, другие — родственной культурой. В бадеровской книге «Бассейн Оки в эпоху бронзы» он развивает мысль о самостоятельности балановской и фатьяновской культур, о южном происхождении поздняковской

культуры и о роли местных волосовских элементов в абашевской культуре. Бадер отстаивает идею о волго-камском происхождении волосовской культуры. В этой книге также освещены начатые в 1912 г. раскопки на Сейминской дюне и полностью опубликованы материалы Сейминского могильника. Здесь же отводится значительное место и культуре с «текстильной керамикой», которую О. Н. Бадер рассматривает как результат слияния разнородных культур бронзовой эпохи в Средней России и считает ранним этапом дьяковской культуры. Особое место О. Н. Бадер уделяет и проблеме этногенеза финно-угорских народов.

О. Н. Бадер, основатель Пермской школы археологии, исследователь Каповой пещеры и Сунгири

В 1964 г. от О. Н. Бадера был принят к защите доклад по совокупности работ «Древнейшая история Прикамья», давший ему докторскую степень. В этом докладе обобщен огромный материал от заселения Урала человеком до начала железного века.

Но два памятника особенно прославили его имя — Каповая пещера и Сунгирь.

7. Каповая пещера. Мне представляется, что история открытия палеолитических росписей в Каповой пещере на Урале объективно описана в очерке Формозова (2004: 80–89) «Вокруг Каповой пещеры» в его курской книжке (иди скорее брошюре) «Рассказы об ученых». Суть дела в том, что палеолитические росписи («монументальное искусство», как пишет Формозов) получили развитие не у всего палеолитического населения, а лишь у некоторых групп, в частности в Южной Франции и Северной Испании. У нас — как ни искали, ничего подобного не обнаруживалось.

Но в 1959 г. в огромной Каповой пещере на реке Белой, на территории Башкирского заповедника, зоолог Александр Владимирович

Рюмин нашел росписи и объявил их древнейшими на земле. Рюмин был в прошлом студентом отца Формозова, профессора-зоолога Московского университета. По рассказам родственников, «Шурка Рюмин» был трудолюбивым романтиком, честным энтузиастом и упрямцем-чудиком с завиральными идеями. Кандидатскую диссертацию его провалили на защите.

В 1959 г. он выступил в Институте археологии с докладом о своих открытиях. Он показывал камушки, на которых археологи не опознали следов искусственной обработки, и фотоизображения скал, на которых он видел пещерного медведя и саблезубого тигра-махайрода, но и это археологи не признали: махайрод вымер задолго до палеолитического искусства. Но на одном кадре было четкое изображение лошади, которое могло быть недавним, а могло — палеолитическим.

В 1960 г. в пещеру отправилась экспедиция Бадера, Рюмин провел их на второй этаж пещеры (куда было очень трудно подняться), и Бадер убедился в том, что изображение лошади — палеолитическое, а рядом он открыл изображение мамонта. Тут и разгорелся конфликт. Рюмин обиделся за то, что его изображения не признаны, и понял, что Бадер больше в нем не нуждается и собирается вести исследования один. Бадер же с раздражением воспринимал претензии дилетанта, не желающего признавать компетенцию ученых. Рюмин начал выступать в печати с оповещениями о своем открытии и безудержно фантазировать. Бадер в 1963 г. поместил в «Советской археологии» резкий отзыв об этих бреднях. Рюмин забросил свою основную работу ради археологических открытий в пещере. Его уволили из заповедника и оставили без средств к существованию. Он подозревал, что это сделано по наущению Бадера. Неизвестно, так ли это, но, когда дирекция заповедника вознамерилась взять его снова на работу, Бадер организовал письмо из Москвы, и дирекция отказалась от этих планов. На шестом десятке биолог стал зарабатывать ловлей змей, и его ужалила гюрза, с трудом спасли.

Московская экспедиция тем временем проработала в Каповой пещере 6 полевых сезонов (видимо, чтобы отделиться от писаний Рюмина, Бадер стал именовать ее местным названием Шульган-таш). Нашли там изображения еще восьми мамонтов и носорога. Палеолитических орудий под изображениями не было, но поодаль, в гротах, они нашлись. Пещера служила не жилищем, а святилищем.

Рюмин начал рассылать жалобы во все инстанции, обвиняя Бадера в присвоении чужого открытия. К разбирательству был привлечен Формозов, который не нашел в действиях Бадера криминала: Бадер

аккуратно ссылался на первооткрывателя — что тот нашел первое палеолитическое изображение (лошади). Дальнейшее исследование дилетант проводить не вправе.

В дальнейшем (в своем очерке) Формозов делает намеки, на то, что с Рюминым обошлись чересчур жестоко, что можно было более уважительно использовать его способности лазать по закоулкам пещеры (лучше пожилого археолога), но признает, что с характером Рюмина это — утопия.

Так или иначе, а Каповая пещера подорвала уникальность испано-французского региона в обладании палеолитическими росписями, и это, несомненно, открытие первого ранга.

8. Сунгирь. С 1956 по 1977 г. Бадер ежегодно работал на палеолитическом поселении Сунгирь. Открытые здесь погребения принесли памятнику и Бадеру мировую известность. В 1964 г. на берегу Клязьмы, близ города Владимира, было найдено захоронение взрослого мужчины, а в 1969 г. — парное погребение двух детей: в одной могиле с юга лежал мальчик 12–13 лет, а с севера — девочка 9–10 лет. Дети были уложены в могилу вытянутыми и головами друг к другу и присыпаны охрой. Похоронены они были в центре жилища, на месте очага. После некоторого перерыва поставлены новые жилища в стороне от прежних. А затем в трех метрах от могилы детей была вырыта еще одна могила — для пожилого мужчины, высокорослого (до 180 см) и широкоплечего. Люди в могилах — кроманьонцы. Сунгирь считают сезонной стоянкой охотников на мамонтов, но соотношение костей мамонтов с другими не подсчитано, а сами кости утеряны.

От других палеолитических погребений сунгирские отличались богатством инвентаря, особенно могила детей: оружие из бивней мамонта — копья, дротики, кинжалы, множество (до 10 000) бус из бивня, вероятно, нашитых на одежду, браслеты и перстни из бивня, сверленые клыки песца, прорезные диски, значение которых непонятно (поэтому считается ритуальным), «жезлы» из бивня и рога. Наконец, есть и фигурки животных — мамонта и лошади-сайги. Исходя из расположения бус, реконструирована одежда детей — она похожа на современную одежду северных народов. Любопытно, что оружие найдено только в могиле детей, а взрослый погребен без оружия. В одежде мальчика часть бус особого вида образует подобие хвоста. Погребению головами друг к другу соответствует статуэтка в палеолитической стоянке Гагарино — две человеческие фигурки

вытянуты по прямой и соприкасаются головами. Так что это, видимо, какой-то осмысленный ритуал.

Орудия и прочий инвентарь Сунгирской стоянки близки культуре поселений того же времени на Среднем Дону — в Костенковско-Боршевском районе. Возраст стоянки — около 25–29 тыс. лет.

9. Образ. Говорят, что Бадер работал в романтический период развития науки, во время ярких археологических открытий и бурного накопления фактического материала (Кузьминых 2004: 149). Но все его современники работали в этот период. Тем не менее не все были романтиками полевой археологии. Бадер был. Он был прежде всего энтузиастом разведок, маршрутных экспедиций, жил раскопками и жаждал всё новых открытий. Формозов относит его к типу «полевых археологов», придавая этому не чисто информативный или классификационный смысл, а негативно-оценочное звучание. Для него это почти осудительная кличка.

«Полевой археолог» в этом смысле для него тот, кто, увлекшись погоней за всё новыми открытиями, способными прославить его имя, не очень бережно копает, совершенно не заботится о дальнейшей судьбе памятников, плохо и недостаточно заботливо обрабатывает найденный материал. Для него важно застолбить открытие, а полностью подготовить материал к введению в научный обиход, законсервировать, отреставрировать, подробно описать, проделать все доступные анализы, монографически издать — это он предоставляет другим, преемникам, потомкам.

Я бы сказал, что почти в каждом из полевых археологов есть эта жилка, у одних больше, у других меньше. Это обычный внутренний конфликт работника — между страстью и долгом, между увлеченностью и обязанностью. Формозов прав в распространении этой опасной черты на всех полевых археологов, но отсюда отнюдь не вытекает резон выделять полевых археологов в некий отрицательный тип. И вовсе нет оснований делать Бадера классическим представителем этого отрицательного типа. Молодин уже отмечал, что Бадер оставил целую серию монографий — едва ли не больше, чем Формозов (правда, если устранить брошюры, то не больше), который, кстати, тоже был увлеченным полевым археологом всю первую половину своей жизни. А борьба Формозова за неприкосновенность Староселья ничуть не лучше борьбы Бадера за право единолично распоряжаться Каповой пещерой. У последнего даже больше резона.

Формозов (2005; 56) предъявляет Бадеру упрек:

> «Но, что греха таить, он нередко вел раскопки на памятниках, найденных другими, выхватывая их из рук краеведов и менее расторопных коллег. Первые кремни со стоянки Сунгирь, присланные из Владимира Н. Н. Воронину, были переданы им мне. Обнаруживший наскальные рисунки в Каповой пещере ученик моего отца А. В. Рюмин пришел к первому опять же ко мне, но Отто Николаевич решительно заявлял, что Ока — его район, и Урал — его район. Следовательно, я обязан уступить ему изучение открытых там новых объектов».

М. В. Аникович рассказывает эту историю по-иному. Кости и письмо действительно были присланы Воронину. Но памятник открыли два в будущем известных археолога — С. Н. Астахов и Е. Н. Черных, тогда студенты-старшекурсники, правда, отправившись проверять место по поручению Бадера. Оба они составили чертеж разреза, Астахов определил палеолитический возраст. Черных палеолитом не интересовался, а Астахова Бадер оттеснил и даже не позволил писать по этому материалу дипломную работу. Но первая публикация была их — за два года до бадеровской (об этом см. Черных 2013).

Из рук краеведов нужно было выхватывать. Студентов специалистами (с грехом пополам) можно было не считать. Что же до «менее расторопных коллег», то они могли спорить и не соглашаться. А уж если уходить от неприятных споров, то нечего и сетовать.

Более существенны упреки в том, что Бадер не успевал обрабатывать и публиковать свои открытия, да не давал их и обработать другим — свои и жуковские поздняковские материалы в течение полувека, то же и с дьяковским городищем Синьково под Москвой. Кандидатскую диссертацию он не защищал, получил степень за совокупность работ. Докторскую диссертацию «Древнейшая история Прикамья» не подготовил — степень присвоили за обобщающий доклад — брошюру в 42 страницы (Формозов 2005: 57–61; Кузьминых 2004).

Можно найти ряд недостатков в 12 бадеровских монографиях, из них многие — брошюры, а основные нужно переиздавать: памятники опубликованы неполноценно, ни комплексов, ни указаний могил под рисунками в этих книгах нет. Можно выявить ряд неоконченных Бадером работ, необработанных полевых материалов, можно с иронией отметить его страсть зачислять в свой список печатных работ мельчайшие заметки и высказывания (Формозов 2005: 60). Но всякий должен отметить масштаб личности Бадера, его колоссальный вклад

в науку и, учитывая невзгоды, обрушившиеся на него, подвижнический стиль его жизни.

> «Хорош ли был Бадер в роли раскопщика, а не разведчика? — ставит вопрос Формозов (2005: 63). — Я в этом не уверен. В Сунгире, вскрыв 2 500 м², он не нашел ни одного развала жилища, тогда как на всех аналогичных палеолитических стоянках они представлены. Находки в Баланове описаны не по комплексам могил, а суммарно. Вряд ли эти упущения извинительны».

Тут с Формозовым согласен и Аникович.

> «Бадер, — говорит он, — вообще палеолитоведом не был, полевую школу проходил на голоценовых памятниках и считал, что так же можно копать палеолит. Сунгирь он копал, в сущности, как однослойную мезолитическую стоянку — пластами и "зеркальными" горизонтальными зачистками. <...> В результате снесено было все, что возможно и невозможно, только погребения зафиксированы» (личное письмо от 22 января 2011 г.).

Относительно Баланова даже почитатели Бадера говорят о необходимости нового издания, а с Сунгирем сомнения могут разрешить только новые раскопки или, возможно, дотошный планиграфический анализ добытого материала, если для этого хватит данных.

Формозов (2005: 57) отрицает, что отряд романтических помощников и учеников Бадера представлял собой его школу. «В действительности таковой не было. Студенты усваивали только азы полевой работы. Диссертации аспирантов руководитель визировал, не читая, и никто из них не развивал идеи учителя». Это, вероятно, справедливо. Но тут всё дело в определении понятия «научная школа». Если считать школой много преданных учеников, солидарности на этой основе — школа есть. Если требовать чего-то большего: наличия оригинальной концепции, отличительных новых идей, единства на этой базе, — школы нет. Но таких школ вообще в нашей археологии очень мало.

В статье-дифирамбе Бадеру сформулирована основная отличительная черта образа Бадера в глазах его многочисленных учеников: «О. Н. Бадер принадлежит в отечественной археологии к когорте "последних из могикан" с присущей для них поистине бескрайней хронологической и тематической "всеядностью"», — об этом раньше написал С. В. Кузьминых. Да, такой размах был.

Р. М. Голдина, которой не довелось много общаться с Бадером, вспоминает, как в 1959 г. Бадер приехал на встречу со студентами Пермского университета после завершения раскопок Турбинского I могильника. Встреча состоялась в археологическом кабинете Университета:

> «Стремительно входит О. Н. Бадер — небольшого роста благообразный старичок, очень энергичный, с короткими седыми волосами, седой бородкой клинышком, греческим носом, серыми глазами — красивое интеллигентное лицо. Кроме того, О. Н. Бадера отличала своеобразная манера при разговоре склонять немного голову, как бы подчеркивая внимание к собеседнику, и очень яркая, удивительно точная и образная речь. Это был образец интеллигентности. Его ученики говорили, что Отто Николаевич даже в бане, где человек предстает совсем обнаженным и беззащитным, не терял своей интеллигентности. В археологическом кабинете Пермского госуниверситета он был чем-то вроде спустившегося с неба сверхчеловека и его авторитет был непререкаем. <...> Он говорил очень вдохновенно и красиво. Честно говоря, мне удалось в жизни слышать немногих столь одаренных ораторов. Студенты были все им очарованы» (Голдина 2002: 19–20).

Не стоит думать, что Бадер был таким уж безобидным не от мира сего «лопухом», каким он предстает в этих воспоминаниях Голдиной, да и Раушенбаха. У Формозова мы видим совсем другого Бадера — цепкого, жесткого, упорного, даже озорного. Та же Голдина (2002: 20) вспоминает и эпизод другого плана:

> «Пошутить был горазд и О. Н. Бадер. В 1950 г. выехали на раскопки интереснейшего Неволинского могильника VII–IX вв. на р. Ирень. Жили все вместе в большой армейской шатровой палатке. В. А. Оборин любил поспать и всхрапнуть. И О. Н. Бадер решил избавить его от этого недостатка. Он встал пораньше, взял ложку соли и всыпал ее в рот спящему В. Оборину. Очевидцы рассказывают, что вмиг проснувшийся В. Оборин пулей выскочил из палатки и помчался к реке. А когда прополоскал рот, злобно закричал: "Какая сволочь это сделала?" Он был уверен, что это проделки дежурившего на кухне В. Генинга. Тот, как мог, отказывался. И только спустя некоторое время О. Н. Бадер признался, что это дело его рук. В. Оборин опять же был сконфужен, так как никогда бы не смог заподозрить в чем-то подобном интеллигентнейшего Отто Николаевича, а тем более обозвать его столь неприличным словом».

В воспоминаниях самого Оборина (1991) этот эпизод отразился лишь в обобщенной характеристике Бадера: «Ему было присуще чувство юмора, он любил различные весёлые розыгрыши, писал лирические стихи и стихи на археологические темы».

Характерно описание Голдиной ее последнего свидания с Бадером:

> «Последняя наша встреча с О. Н. Бадером состоялась в 1978 г., когда я пришла попроведать его в больнице в Москве во время моей командировки. Он был уже тяжело и неизлечимо болен. Я нашла его сидящим на скамейке в скверике больницы. Он очень похудел, и сострадание не оставляло меня ни на секунду. Я не могла сдержать слез, но он был бодр и строил многочисленные планы на будущее. В частности, он был увлечен идеей экспедиции по пути Ермака в Сибирь. Примерно определял, как построить маршрут, кого пригласить, что копать. Но, увы, его планам уже не суждено было сбыться» (Голдина 2002: 20).

Он умер 2 апреля 1979 г., на другой день после дня шуток и обманов.

Восхождение на «Красный холм»

Б. Б. Пиотровский

В пути на горную вершину,
В пути почти на небеса...

Варлам Шаламов. Наверх.

За подобную оплошность
Не постигла б нас беда?
Осторожность, осторожность,
Осторожность, господа!

Н. А. Некрасов. Осторожность.

1. Происхождение и среда. Вот уж кто поистине баловень судьбы! В его биографии бывали и неприятности, опасности, провалы, да и могло ли быть иначе в России, с ее драматической историей? Но он всегда выходил из них удачно и без потерь, и в целом это была солнечная жизнь с самого начала и до конца. Большая благополучная и зажиточная семья, детство в окружении сливок русской интеллигенции, юность в столичном университете, работа в верхах русской археологии, удачный брак, удачные дети, руководство археологами, затем до конца жизни — Эрмитажем, посещение мировых столиц и контакты с королями и президентами — в качестве директора Эрмитажа, передача этого поста сыну. Почетные титулы и ордена российские и иностранные. И самое важное: раскопанные им древности вошли в школьные учебники и останутся там навсегда.

Какую роль в этой судьбе сыграло удачное стечение обстоятельств, а какую — личность героя? Мог ли любой оказавшийся в тех же условиях повторить эту судьбу?

В нашем распоряжении очень подробные мемуары Бориса Борисовича, обладавшего удивительно цепкой памятью, масса документов и фотографий, воспоминания сопричастных, личные впечатления — свои и друзей.

Борис Борисович Пиотровский (1908–1990) происходит из обрусевшего рода польских шляхтичей, высланных в Сибирь (по-польски фамилия читается Пётровски и равнозначна русскому Петровский). Отец, подполковник, преподавал математику и механику в военном училище, оба деда, Бронислав Пиотровский и Александр Завадский — поляки и генералы российской армии. Первый — пехотный, участник русско-турецкой и русско-японской войн, второй — артиллерийский, директор кадетского корпуса то в Нижнем, то в Москве, то в Петербурге.

В 1915 г. отец получил новое назначение и семья переехала в Оренбург (где в свое время дед возглавлял Оренбургскую бригаду), но мальчика не отдали в тамошнюю гимназию — мать сама дала детям начальное образование (впоследствии она и стала педагогом). На лето ездили на дачу под Петербург — в Царское Село. Февральскую революцию встретили восторженно, надели красные банты. Мальчик пошел в гимназию, где по истории у него была годовая тройка. Оренбург несколько раз переходил из рук белых (атаман Дутов) в руки красных, будучи одним из первых очагов сопротивления красным. Гимназисты приветствовали вступление в город атамана Дутова, пели хором кантату в честь атамана. В честь красных не пели.

Отец в чине полковника ушел в отставку и стал директором гимназии. Он первым, в 1919 г., уехал в Петроград, чтобы потом забрать и семью. Только в 1921 г. вернулись в Петроград.

Отец стал работать в Педтехникуме им. Ушинского с базой в Павловске, куда дети выезжали на лето. В техникуме проводились внеклассные занятия по вечерам, выступали с лекциями А. Ф. Кони, В. Э. Мейерхольд, путешественник П. К. Козлов. Исторический кружок вела египтолог Н. Д. Флиттнер, которая приносила из Эрмитажа египетские древности. (Тогда ей было лет сорок с небольшим — я помню старушку Флиттнер: гораздо позже я сдавал ей один из своих первых экзаменов в Университете.) В 1922 г. Борис побывал на юбилейной выставке Шампольона в Эрмитаже. На него произвел огромное впечатление Египетский отдел Эрмитажа, особенно фаянсовые фигурки ушебти.

Осенью на экскурсии класса в Эрмитаж Флиттнер обратила внимание на школьников, особо интересующихся Древним Египтом, и пригласила их приходить к ней в Эрмитаж и заниматься. В числе этих троих школьников были 14-летние Борис Пиотровский и Сергей Черников — оба потом стали археологами, и Исидор Лурье — этот стал известным египтологом. Борис стал заниматься иероглифами

в ее кружке, и позже, издавая путеводитель по отделу, она отметила его участие — все рисунки выполнены им. Так в 1922 г. в Эрмитаже появился его двенадцатый директор.

А в 1924 г. родственница учительницы истории (бывшая баронесса Корф) подарила Борису привезенные из Египта вещицы: скарабея, фаянсовую фигурку Исиды и две птолемеевские монеты, полученные от самого Гастона Масперо, знаменитого французского египтолога. Так в душе Бориса наметилась тонкая ниточка осязательной преемственности от великих ученых прошлого.

2. Студенческие годы и Марр. С 1925 по 1930 г. он студент историко-лингвистического факультета Ленинградского университета. Учился вместе с Ираклием Андроникиовым, Ю. А. Перепелкиным, Д. А. Ольдерогге, В. В. Мавродиным. Занятия по античной эпиграфике и дипломатике проводил С. А. Жебелёв, по египтологии — В. В. Струве (впоследствии оба стали академиками). Свои курсы, как вспоминает Пиотровский (2009: 39–40), Струве читал по бумажке. Они были содержательными, но слушать их было трудно. Он «прекрасно владел техникой научного исследования, у него была огромная картотека по разным темам, и он отлично знал библиографию. В. В. не любил талантливых людей, которым наука давалась легко».

В числе лекторов были И. Г. Франк-Каменецкий, Б. М. Эйхенбаум, Б. В. Фармаковский.

На следующий год увлечение египтологией начало постепенно гаснуть. Увлекли лекции А. А. Миллера по археологии Кавказа. Занимался у него в семинаре и стал ездить с ним в Северо-Кавказскую археологическую экспедицию — в дельту Дона, потом в Кабардино-Балкарию. Первым его памятником было Гниловское городище на Дону. Когда студент попал на него, его охватило недоумение и даже разочарование. Вместо архитектурных остатков и керамики,

Б. Б. Пиотровский
на пороге археологии
(в 1926 г. на даче в Морстамяки)

которую нужно бережно вынимать из земли, он увидел земляные холмы, усыпанные черепками, и нельзя было шагу ступить, чтобы не раздавить несколько черепков. Это были груды мусора. Наивная экзотика быстро улетучивалась. Раскопки приучили студента не откапывать древние стены, а исследовать стратиграфические отложения. Миллер приучал своих учеников «к точным чертежам, которые не могут быть заменены никакими описаниями». Он говорил: «Археологические раскопки можно признать удовлетворительными лишь в том случае, если по их материалам можно составить детальный макет исследованного памятника» (Пиотровский 2009: 49).

Археологию Кавказа студент и избрал своей специализацией. Тут незадолго до окончания Пиотровский едва не поплатился за свои успехи в учебе и за энтузиазм. Студенческий комитет, состоявший из активных комсомольцев, куда входил и будущий археолог Е. Ю. Кричевский, подал записку в деканат с требованием отчислить Пиотровского как «академиста», не желающего заниматься политическими предметами и общественной работой и досрочно заканчивать факультет. Декан не пошел навстречу общественникам, а в самом комитете обнаружились нелады.

> «На одном из комсомольских собраний студент С. С. Черников, с которым я занимался еще у Н. Д. Флиттнер, простодушный человек, спросил без всякой задней мысли Кричевского: "Я смотрел книгу «Весь Петербург» за 1915 год и нашел имя Юрия Кричевского, управляющего банком, — случайно, это не твой отец?" С. С. Черников попал в цель, поднялся шум, жена Кричевского, С. И. Капошина, одна из активнейших комсомолок, требовала от мужа раскаяния и покаяния. Кричевского исключили из комсомола, но его роль осталась прежней» (Пиотровский 2009: 67).

С председателем комитета, Серафимом Демьяновым, было еще хуже: уже после окончания университета он был разоблачен как гомосексуалист и застрелился.

Но археологическое будущее Пиотровского оказалось под другой, совершенно неожиданной угрозой. Для расширения кругозора студент записался также на курс «Палеонтология речи» академика Н. Я. Марра и слушал его с увлечением. Лингвистическая доказательность ему не требовалась, поскольку лингвистики он не знал, и ему

> «становилось ясным, что египетские термины власти оказывались связанными со скотоводством. В древнеегипетском языке термин "солнце" имел целую паутину связей, основанную

на ассоциации. Солнце сопоставлялось с "птицей" (поскольку парит в воздухе), со "змеей" (по аналогии ожога с укусом), с всевидящим оком и др. Я пытался даже в словаре древнеегипетского языка выделить пучки семантических связей — это объясняло значение многих амулетов и магических действий».

Для зачета Марр велел студенту, которого он воспринимал как начинающего египтолога, письменно представить какой-нибудь «семантический пучок» на египетских материалах — в таких «пучках» он разные орудия связывал с небом, солнцем и т. п. Студент за одну ночь написал статью о египетском термине «железо» — ведь у древних народов небо представлялось металлическим. По воспоминаниям Пиотровского (2009: 52), когда он принес ее Марру, тот посмотрел и сказал: «Первое качество то, что она короткая, прочту на извозчике». На вопрос, когда прийти за зачетом, Марр ответил: «Завтра ко мне домой в 7 часов». — «Вечера? — «Нет, утром». Утром студент был у двери квартиры академика. Тот вышел в переднюю и, узнав, что студент — археолог, стал шуметь: «Почему археологи понимают, а лингвисты нет?!»

Можно было ответить, что именно потому, что лингвистам ясна абсурдность его учения, а археологам — пока нет. Но студент был далек от подобных мыслей. Марр отказался ставить простой зачет, поставил «весьма», расписался и сказал, что напечатает эту статью в «Известиях Академии наук»!

Он действительно велел опубликовать эту работу в «Докладах Академии наук» и пригласил студента посещать заседания Яфетического института у него на квартире. Успех был слишком неожиданным, и, прежде чем опубликовать работу, осторожный студент показал ее другу отца — известному лингвисту Щербе (впоследствии академику) — и своему наставнику в археологии А. А. Миллеру. Те не стали оспаривать мнение Марра, и работа была опубликована вместе с другой, более дельной, египтологической заметкой студента, а студент был зачислен в штат ГАИМК. Представил его к зачислению лаборантом в археологический сектор Миллер, но Марр зачислил его не лаборантом, а научным сотрудником, и не в сектор археологии, а в свой сектор — сектор языка.

3. На поиски халдов. Учитывая, однако, занятия у Миллера, Марр посоветовал студенту поискать на Кавказе памятники культуры халдов (или урартов), клинописные тексты о которых были в 1927 г. обобщены в книге другого марровского ученика — И. И. Мещанинова

(впоследствии тоже академика) «Халдоведение. История древнего Вана». Пиотровский посещал занятия у него на квартире вместе с И. А. Орбели, Б. А. Латыниным, Т. С. Пассек, осетином и осетиноведом В. И. Абаевым (при усах с бородой и в черкеске).

С 1930 г. Пиотровский с коллегами-армянами начал обследовать Армению в поисках памятников урартов, и... тут его карьера едва не оборвалась. Во время загородной вечеринки на Масленицу в 1935 г. (уже после убийства Кирова и смерти Марра) все участники вечеринки были арестованы как члены террористической организации. По словам Пиотровского Формозову (2004б: 76; 2008: 69), подозревали, что по доносу Кричевского. Однако обошлось —Пиотровский был необыкновенно везуч. Продержав несколько недель в тюрьме в перенаселенной камере и потаскав на допросы, его и нескольких других молодых людей (Круглова с Подгаецким) выпустили, тех, кто постарше, — нет. В Эрмитаже допустили к работе сразу, в ГАИМК приняли холодно и было сообщено, что уволены. Восстанавливались по суду, в конце концов оформили совместительство.

В 1937 г. несчастье постигло его армянского соратника и друга Леона Гюзальяна: в «перетряхивании органов» погиб брат Леона, Рубен, работавший в НКВД, а в 1938 г. был, разумеется, арестован и сам Леон: зачем имел такого брата? Он был приговорен к 8 годам лагерей. Борис Борисович переписывался с ним, посылал ему продукты и книги, поддерживал его жену. Это было в годы Большого Террора, когда многие даже при виде члена семьи арестованного не узнавали его и переходили на другую сторону улицы.

В 1937 г. вышел учебник истории СССР А. В. Шестакова, в котором первым государством на территории СССР выступало Урарту, а определялось оно как «государство родоначальников нынешней Грузии». В том же году это было подхвачено А. С. Сванидзе, который был близок со Сталиным и еще не успел подвергнуться опале. Он, кстати, организовал журнал «Вестник Древней Истории».

В 1938 г. по совокупности египтологических и халдоведческих статей (вместе около двух десятков) Пиотровскому была присуждена степень кандидата, а в следующем году вышла его небольшая книжка, обобщающая поиски памятников халдов, — «Урарту. Древнее государство Закавказья». В ней автор выступил за иное толкование вопросов этногенеза на Кавказе: Урарту является не зародышем Грузии, а очагом, к которому восходят культуры нескольких народов Закавказья: в частности армян и грузин. Это выглядит более разумным, потому что язык халдов (урартийцев) не выглядит ни

индоевропейским (каков армянский), ни картвельским, а технические достижения и принципы государственности Урарту влияли на всех соседей; когда же это государство распалось, подвластные племена вошли в разные объединения.

Пиотровского пригласили сделать об этом доклад на заседании Отделения истории и философии Академии наук СССР. Там на него обрушился академик С. Н. Джанашия, который требовал в резолюции Отделения признать приоритет грузин в наследии Урарту. И Пиотровский и председательствовавший Б. Н. Греков растерялись, но за Пиотровского вступились другие академики. Резолюции не приняли никакой — ни с одобрением Пиотровского, ни с осуждением его позиции. Но власти, заинтересованной в гашении раздоров между республиками, больше подходило именно его решение.

В том же 1939 г. он начал систематические раскопки на одном из этих памятников — Кармир-Блур («Красном холме») под Ереваном, где за несколько лет до того была найдена клинописная надпись с именем царя Русы. Этому памятнику суждено было стать его главным открытием. В составе экспедиции работал И. М. Дьяконов, а на открытие раскопок приехали директор Эрмитажа И. А. Орбели с сопровождавшей его всегда К. В. Тревер. Сопровождавший ее сотрудник экспедиции «курил и что-то оживленно рассказывал. В разговоре он нечаянно коснулся горящей папиросой руки своей спутницы, та

Общий вид холма Кармир-Блур («Красный холм») с руинами крепости Тейшебаини в ходе раскопок

вскрикнула, разжала руку и выронила свою сумочку. Наклонилась и, вместо того чтобы поднять ее, подняла с поверхности холма кусок камня с клинописью, который, как выяснилось позже, соединился с тем обломком камня с именем царя Русы I, который был раньше известен» (Пиотровский 2009: 158).

В первые же дни работы были прерваны дождем. На следующий день, когда археологи поднялись на холм, перед ними открылись контуры помещений. «Дело в том, что намокшие сырцовые стены высыхали медленнее, чем заполнение комнат, и они очень четко просматривались» (Пиотровский 2009: 158).

Летом 1941 г. участница экспедиции Рипсиме Джанполадян, которая всё больше нравилась Пиотровскому, нашла бронзовую статуэтку урартского бога войны Тейшебы. Это было 21 июня 1941 г. В своих мемуарах Пиотровский (2009: 170) придает этому мистическое значение — говоря о том, как ему сообщили о нападении Германии, он добавляет: «Днем раньше нас оповестил об этом Тейшеба». Ну уж тогда пусть бы археолог винил в войне себя: не надо было выбирать для раскопок город Тейшебаини, названный по богу Тейшебе.

4. Война. Однако раскопки прервала война. Пиотровский прошел подготовку к партизанской войне, но отряд, в который он был определен, так и не успели перебросить в тыл врага. Началась блокада Ленинграда. Пиотровский был назначен в противовоздушную оборону Эрмитажа заместителем начальника пожарной команды. Его задачей было спасать Эрмитаж от немецких зажигательных бомб. Бывало по нескольку налетов в день. Но пожарников подкармливали, и Пиотровский выжил, другим приходилось хуже. В эту зиму умерли от голода его сверстники Деген-Ковалевский (через месяц после защиты диссертации) и Подгаецкий, как и их общий учитель Жебелёв и многие другие ученые. Кричевский погиб при отправке на Большую Землю. Из 100 с небольшим сотрудников ленинградского отделения ГАИМК 7 погибло на фронте, 28 умерло в блокаде.

Всё же именно в этой обстановке ученый написал свой первый большой труд «История и культура Урарту».

Весной 1942 г. автора, получившего звание «профессора Эрмитажа», смогли отправить на Большую Землю. Он вспоминает тарелку жирного супа, съеденную после Ладожского озера, и результат: тошнота и острая боль в желудке, опухшие ноги. Привезли в Армению, где эвакуированные ленинградцы получали в день килограмм хлеба, а коньяк и вино первое время не вызывали опьянения: целиком

усваивались. Всегда хотелось есть, и нужно было сохранять самообладание — кончать есть вовремя.

В конце 1942 г. Пиотровский был зачислен в штат армянского Института истории старшим научным сотрудником. В мемуарах записано (2009: 208):

> «Мне пришлось много поработать над актуальной во время войны темой: "Происхождение армянского народа". Надо было заново пересмотреть сведения античных источников, особенно Геродота, данные армянских историков, таких как Моисес Хоренаци, сообщения вавилонских хроник о последних днях Ассирийского государства и связать их воедино. Что-то получилось, во всяком случае, "аборигенность" сложения армянского народа стала очевидной».

Учитывая языковую принадлежность армян к индоевропейцам и указания Геродота об их родстве с фригийцами и выведение фригийцев с Балкан, это была очень трудная задача. Но с опорой на идеи Марра о смешении и скрещении всего со всем и о повсеместной автохтонности ее можно было решить в угодном для армянских властей виде — чтобы армяне оказались исконными жителями Закавказья. Пиотровский на это пошел без тени сомнения. Двумя десятилетиями позже И. М. Дьяконов рассмотрел эту тему иначе, обосновав принадлежность языковых предков армян к мушкам (фригийцам в широком смысле) и их связь с хеттской государственностью, так что образование армянского народа у него связано не с распадом Ассирии, а с распадом Хеттской империи. И самоназвание армян «хайя» происходит от термина «хатт-» — названия хеттов. Но, конечно, масса местного населения, принявшая (и сильно трансформировавшая) язык пришлых мушков, была старым аборигенным населением, бывшим некогда под властью Урарту.

Эти выводы Дьяконова не устраивают некоторых нынешних армянских националистов, но в науке авторитетом пользуется именно концепция Дьяконова и мало вспоминается актуальная некогда концепция Пиотровского. Иначе обстоит дело с его концепцией государства Урарту. Она быстро вошла во все школьные учебники, и, поздравляя Бориса Борисовича с очередным юбилеем в 1960-е, я прочел юбиляру свои стихи, в которых были такие строки:

> Едва садились мы за парту,
> Уже зубрили про Урарту.

В Ереване Пиотровский опубликовал свою книгу об Урарту в 1944 г. и тотчас защитил ее как докторскую диссертацию. В это же

время сыграли и свадьбу с Рипсиме Джанполадян. И еще пара событий относится к этому же периоду: Пиотровского избрали членом-корреспондентом Академии наук Армянской ССР и членом ВКП(б).

5. Раскопки Кармир-Блура и дискуссия по языкознанию. Вернувшись в Ленинград сразу же после войны, Пиотровский стал заместителем директора Эрмитажа вместо арестованного М. А. Гуковского (директором до 1951 г. был академик Орбели). Гуковский же, вернувшись через несколько лет, был назначен директором Эрмитажной библиотеки. В 1946 г. Пиотровский получил за свою книгу об Урарту Сталинскую премию, и, поскольку их тогда выдавалось мало, Борис Борисович вошел в когорту «административных кадров».

С 1945 г. возобновились раскопки в Кармир-Блуре (как стало ясно из надписей, это была крепость урартов Тейшебаини — город бога Тейшебы). Их Пиотровский продолжал еще четверть века — до 1971 г. Выезжал он из Ленинграда в Ереван со всем семейством — женой и двумя маленькими сыновьями — Михаилом и Левоном. Работы за 1939–1953 гг. отражены в трех последовательных выпусках отчетов «Кармир-Блур». В 1949–1950 гг. были расчищены знаменитые кладовые Тейшебаини с огромными карасами (сосудами), вкопанными в пол, и с 97 бронзовым чашами, сложенными стопкой.

Б. Б. Пиотровский со значком Сталинской премии вскоре после войны

В 1949 же году Пиотровский издал свой курс лекций «Археология Закавказья» — первое обобщение всех археологических данных по этому региону. К лекциям он тщательно готовился и, подобно Миллеру, давал особо заинтересовавшимся студентам свои конспекты. А записи студентов, если оказывались тщательными, освобождали их от ответов на экзаменах. Вот эти-то записи и помогли быстро составить текст курса для печати.

Пиотровский рассматривает зерно из кувшина, найденного на Кармир-Блуре

Б. Б. Пиотровский в камералке с вещами из Кармир-Блура в 1961 г.

С 1950 г. параллельно с раскопками Кармир-Блура начались раскопки и на более раннем памятнике Эребуни (холм Эрин-берд), который, несомненно, дал имя Еревану (в 1968 г. на этом основании отпраздновали 2750-летие города).

Этот год для Пиотровского был трудный: его кумир и учитель Марр был ниспровергнут самим Сталиным. Это было так. В июле 1949 г. на заседании Президиума АН СССР Мещанинов делал доклад с типично советским названием «О современном положении в советском языкознании и мерах улучшения языковедческой работы в Академии наук СССР». Название очень напоминало доклад Т. Д. Лысенко на недавно прошедшей сессии ВАСХНИЛ с разгромом генетики. Было указано неблагополучие на линвистическом фронте — активизация «реакционно-идеалистических учений», связанных с зарубежной индоевропейской лингвистикой и враждебных марксистскому учению о языке Марра. Лидерами этих враждебных учений были названы академик В. В. Виноградов и грузинский академик А. С. Чикобава. Марристы, особенно подручный Мещанинова профессор Г. П. Сердюченко (академик Г. А. Капанцян называл его Гадюченко), уже готовились к чистке индоевропеистов.

Б. Б. Пиотровский
в камералке с вещами
из Кармир-Блура в 1961 г.

Они не знали, что Чикобава уже сумел убедить своего соплеменника Джугашвили в ненужности и зловредностии учения Марра для советской внутренней политики, в ее несогласуемости с новыми тенденциями в трактовке этногенеза. А 9 мая в «Правде» статьей Арнольда Чикобавы с нападками на Марра была открыта дискуссия. Мещанинов ответил, но тому ответил Виноградов — и пошло-поехало. А 20 июня в дискуссии выступил сам Сталин, полностью разгромивший марровское учение. Началось обратное движение.

Конечно, археология не лингвистика, но теория стадиальности и там насаждалась. Московское отделение Института археологии восприняло дискуссию как повод для окончательного подавления Ленинградского отделения — рассадника марризма. Стали выявлять, кто особо запачкан марризмом — «замарран». Тут оказались Пиотровский, Окладников, Равдоникас, Ефименко и другие.

Пришлось публично каяться и отрекаться. Однако значимость сделанных археологических открытий (древнейшая цивилизация Закавказья, высокая древняя культура закавказских народов СССР!) перевесила ранние семантические грешки. В 1951 г. в Кармир-Блуре был найден бронзовый щит царя Аргишти — если следовать несколько мистическому подходу Пиотровского, то это Аргишти послал ему защиту.

В том же году вышел академический сборник об успехах советской археологии со статьей Пиотровского об Урарту. Этот сборник попал на стол к Сталину. Фамилия Пиотровского в оглавлении была обведена. Сталин проштудировал именно эту статью — его интересовала история Грузии. Каждый раз, когда Пиотровский упоминал найденные клинописные таблички и надписи, вождь делал пометки на полях синим карандашом: «На каком языке?», «Какой язык?»

«Язык?» — и так почти двадцать раз. Он опасался, что автор трактует культуру Урарту как протоармянскую. Против не понравившихся ему пассажей Сталин делал иронические пометки: «Ха!», «Ха-ха!», «Ха-ха-ха!» Но в конце автор подводил итог: «В процессе распада этого большого государства Передней Азии <...> возникли современные народы Закавказья — армяне и грузины...» Справа на полях Сталин поставил знак «N», а слово «возникли» обвел карандашом. Автор современного обзора сталинских пометок Б. С. Илизаров (2002: 264) восклицает: «Уф-ф! Можно сказать, пронесло».

С другой стороны, и покаяние Бориса Борисовича было лишь показным. В глубине души Пиотровский сохранил почитание Марра и стадиалистские убеждения. Как только стало возможным, он к ним вернулся открыто. В 1961 г. в докладе «О характере закономерностей в истории культуры» он отстаивает идею одновременных сдвигов во всех сферах культуры с повышением уровня производства.

6. ИИМК и экспедиция в Нубию. В 1951 г. Орбели был снят с поста директора Эрмитажа и заменен М. И. Артамоновым. Но с ним Пиотровский работал недолго. В Ленинградском отделении Института археологии считали, что он тайный маррист и недостаточно покаялся. Особенно усердствовали Каргер и Рогачев, —вспоминает Пиотровский. Действуя через райком партии, они добились в 1952 г. обсуждения поведения нескольких коммунистов: Артамонова, Пиотровского и Бернштама — на партсобрании в присутствии секретаря райкома. Но в индивидуальной беседе Пиотровский сумел переубедить секретаря райкома, и дело закончилось тем, что положение в Институте было признано неблагополучным и исправлять его был направлен <...> коммунист Пиотровский. Ю. Ю. Пиотровский (2002: 27) считает, что это сказалось внимание Сталина к статье «Урарту», но вряд ли Сталин непосредственно занимался назначением директора даже не Института Академии наук, а Ленинградского отделения этого Института.

С 1953 по 1964 г., т. е. в послесталинское и хрущевское время, Пиотровский возглавляет ленинградское отделение ГАИМК–ИИМК. Основную свою задачу Пиотровский видел в том, чтобы «разбить групповщину». Поэтому он избегал индивидуально советоваться с коллегами, а всё решал на совещаниях. В моде тогда было «коллегиальное руководство», что очень устраивало Пиотровского: он вообще не любил брать на себя ответственность. При нем Отделение потеряло свою самостоятельность. Используя «замарранность»

Б. Б. Пиотровский, 11 лет был главой ленинградского отделения ИИМК

Ленинградского отделения, москвичи забрали в Москву издание «Советской Археологии» и «Кратких сообщений», ввели в редакции много москвичей, перевели в Москву все отделы (в Ленинграде оставили только группы сотрудников), Полевой комитет, хотели перевезти и архив с библиотекой, но не нашли помещения. Еще в 1951 г. был ликвидирован Ученый совет Отделения.

Экспедиционные средства и издательский листаж (объем изданий) делились в Москве, в дирекции. Пиотровскому приходилось часто туда ездить, и ему удавалось добиваться для Ленинграда даже более значительной доли средств, чем уделялось Москве. Позже дело свелось всё же к трети всего для Ленинграда. В 1955 г. Пиотровскому удалось восстановить Совет отделения.

Одиннадцать лет Пиотровский руководил отделением.

Уже как глава этого отделения он выпускает расширенное и дополненное издание своей диссертации под новым названием «Ванское царство». В это время расширились возможности контактов с зарубежной археологией, особенно со странами, находившимися в сфере советского влияния. Таким был тогда Египет. И вот исполняется юношеская мечта Пиотровского —в 1961–1963 гг. он возглавляет советские раскопки в Нубии, в зоне советского строительства Ассуанской плотины. Книгу об этих раскопках «Вади-Аллаки — путь к золотым рудникам Нубии» Пиотровский смог подготовить только к 1983 г., двадцать лет спустя. Дело в том, что в 1964 г. его положение резко изменилось.

7. Директор Эрмитажа. К концу своего правления Хрущев рассорился с творческой интеллигенцией. Директор Эрмитажа Артамонов оказался слишком либеральной и фрондерской фигурой для ленинградского партийного руководства, и весной 1964 г. его

со скандалом изгнали из Эрмитажа. Ректор Университета академик Александров, тоже либерал и фрондер, тут же демонстративно зачислил его в штат Университета. В таких условиях пост директора, предложенный Пиотровскому (другие отказались), принять было неудобно, хотя всей предшествующей карьерой Пиотровский был приуготовлен к этому посту. С другой стороны, он член партии (с 1945 г.), а значит, обязан выполнять партийное поручение. Высокий партийный функционер должен был привезти и представить коллективу Эрмитажа нового директора, но он не решился это сделать, и представление прошло самотеком. «Нам было очень жаль Бориса Борисовича, — рассказывала мне старая сотрудница Эрмитажа, Алиса Владимировна Банк, об этом заседании, — но мы не аплодировали». А вот уходящего Артамонова провожали овацией. Впрочем, интеллигентный и дипломатичный, новый директор, отнюдь не новичок в Эрмитаже, быстро сработался с коллективом.

В конце 1964 г. кремлевским заговором Хрущев был устранен от власти и в стране установился режим «второго Ильича» — Брежнева. С этим совпало воцарение Пиотровского в Эрмитаже. С этого времени, однако, в его деятельности наступает резкий перелом: административные обязанности отнимают всё больше времени и всё больше увлекают. Поездки за рубеж приобретают не научный, а дипломатический характер (переговоры о выставках и т. п.). В списке его научных работ можно заметить этот перелом: перечень публикаций каждого года сильно раздувается за счет участия в редактировании (он нередко даже вряд ли читал текст, над которым ставилась его фамилия как члена редколлегии), за счет иностранных переводов старых работ, за счет идеологических докладов, юбилейных выступлений, газетных заметок («Тутанхамон был бы нам благодарен», «Родился я с любовию к искусству», «Я книги никогда не продавал» и т. п.). А работ исследовательских, особенно по археологии, всё меньше. Всё чаще годы, в списках за которые их нет совсем. Между тем руководитель научного учреждения вроде бы должен регулярно подтверждать свою научную квалификацию. И вот одна и та же работа о скифах в Закавказье повторяется с небольшими изменениями 7 раз, да еще она же является основой для главы в книге.

А престижных обязанностей всё прибавляется: Пиотровский угодил в элиту, рост идет уже автоматически. С 1965 г., следующего за воцарением в Эрмитаже, Пиотровский становится и заведующим кафедрой на восточном факультете Университета, сменив умершего

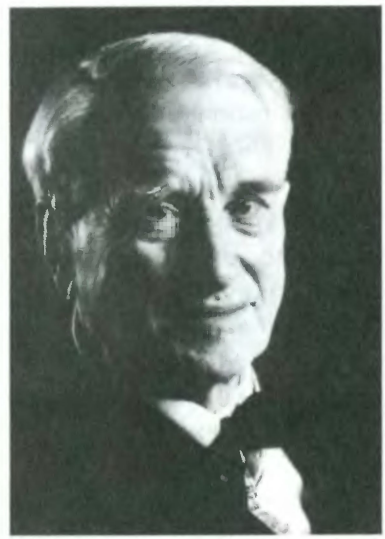
Академик Б. Б. Пиотровский — директор Эрмитажа

академика Струве. В 1968 г. Б. Б. Пиотровского избирают действительным членом Армянской академии наук, в 1970 — всесоюзной, в 1980 — в Президиум последней. Он также депутат Ленинградского горсовета, член горкома партии (с 1971 по 1988 г.!), председатель Ленинградского отделения Всероссийского общества охраны памятников, председатель разных других обществ.

Как директор Эрмитажа и востоковед, открывший неведомую ранее цивилизацию, он широко известен за границей. Книги его переведены на много языков. Его избирают почетным доктором Делийского и Гентского университетов, членом разных иностранных академий: Британской, Баварской, Марокканской, а также прочих известных учреждений — Азиатского общества Франции, Германского археологического института и др. Его награждают французским командорским орденом Искусства и литературы и орденом ФРГ «За достижения в науках и искусствах», которым до него были награждены такие корифеи, как Ролинсон и Лепсиус, Эдуард Мейер, Виламовиц и Моммзен. Никто из советских археологов не имел таких почестей за рубежом.

В нашей стране он получил много орденов, но ордена в брежневскую эпоху обесценились и выдавались за ранг и выслугу лет. Положенную директору к семидесятилетию «Гертруду» (звезду Героя Социалистического труда) он, однако, не получил. Ненавистный ему Рыбаков получил, а он нет.

8. Характер. В Ленинграде он был очень популярен. Каждый из 24 выпусков телесериала об Эрмитаже начинался с выступления Бориса Борисовича. О нем складывали легенды. Говорили, что партийный босс Ленинграда коротышка Романов затребовал посуду из царских (настоящих романовских!) коллекций для свадьбы своей



Б. Б. Пиотровский, обаятельный и непозволительно осторожный

дочери, но директор не дал. Отсюда и романовский гнев. Нет, Пиотровский обычно ладил с начальством. Даже профессор А. Д. Столяр (1991: 3), пишущий (в некрологе) о Пиотровском в панегирических тонах («яркая и обаятельная личность, носитель мудрости и добра»), отмечает контраст с прежними директорами — Орбели и Артамоновым, которые умели противостоять партийному диктату: «Борису Борисовичу в силу общей природной мягкости его характера не был свойственен такой открытый героизм». Его друг А. А. Формозов (2008) отозвался более решительно: «О нравственной стойкости Б. Б. Пиотровского говорить вряд ли можно». Сотрудник Эрмитажа Е. В. Зеймаль в некрологе о директоре поминает его «осторожность (порой непозволительную)». Так что с Романовым всё было проще. Сущей мелочью Борис Борисович рассердил партийное начальство (напечатал на новогодних поздравлениях не ту картинку, которую ему рекомендовали из обкома).

Уже в 1969 г., через пять лет после назначения на пост директора, он пишет для себя (сугубо для себя и, может быть, для самых близких) стихотворение, не ахти какое достижение в поэзии, но показательное. Оно найдено в его бумагах и факсимильно опубликовано в «материалах к биографии» (Вопль души 2008) — его отчетливым почерком:

Я шагаю по Москве,
Я брожу без дела,
Вся душа моя в тоске,
Москва мне надоела.
Захожу я в Управленье,
Завожу я разговор,
Это адское мученье —
Слушать всякий детский вздор:
«Руководим мы ведь Вами,
Вами мы ведь руководим,
Никуда не суйтесь сами,

Мы за ручку Вас проводим».
Разъяснить нельзя им даже,
Убедить нельзя мне их,
Что директор Эрмитажа
Обойдется и без них.

(«Вопль души»)

Но стихотворение в стол — это единственное возмущение, на которое он был способен. На деле делал то, что велено сверху. Посмел закусить удила — сразу же одернули. Ну, ничего, он получил свою «Гертруду» пять лет спустя — к семидесятипятилетию (в 1983 г.). Хотя Пиотровский был чужаком в партийной элите (слишком аристократичен и интеллигентен), он в общем устраивал брежневскую верхушку тем, что был осторожен и очень консервативен.

Меня он поддерживал, пока я шел в гору, написал (после долгих колебаний) предисловие к моей книге, но не раз говаривал, как всегда, заикаясь и повторяя словечко «вот» (он выговаривал «вохт»): «Вы слишком много, вохт <...> не по чину, печатаетась на Западе. Вас посадят». Верно, посадили. Когда я вышел из тюрьмы и лагеря, влиятельные эрмитажники, мои бывшие сокурсники, чтобы помочь мне продержаться, заключили со мной договор на перевод одной рукописи на немецкий. Я успел сделать только часть перевода. Борис Борисович вызвал их к себе и сообщил, что к нему приходил какой-то чин из КГБ и велел расстаться со мной. Договор был расторгнут. Вряд ли визит из КГБ был реальностью: в других местах мне помогали беспрепятственно.

Через несколько лет у меня уже выходили статьи и в редакции восточной литературы в Москве обсуждалась моя книга. Она прошла все инстанции, но застряла на последней. В Москве председатель редсовета (тогда членкор) Бонгард-Левин с недоумением поведал мне, что к нему по собственному почину позвонил из Ленинграда академик Пиотровский и сказал: «Я, вохт-вохт, очень люблю Клейна, но тучи над его головой <...> еще не разошлись. Печатать не следует». Я бы не поверил Бонгарду, но изъявление благорасположенности перед тем, как зарубить чью-либо инициативу, было типичным для Пиотровского, каким я его знал. Бонгард сказал: «Привезите мне записку от Пиотровского — немедленно пускаем книгу в печать. Но только письменное согласие!» Когда я обратился к Пиотровскому за письменной поддержкой, он сказал: «Хорошо, вохт, я позвоню ему». Я сказал, что Бонгард просит непременно бумажку. «Вы не

знаете этого механизма, — сказал академик. — Я опытнее. Тут нужен звонок». Конечно, не было ни звонка, ни бумажки. Книга не вышла.

Что ж, страх был намертво вколочен в души советской интеллигенции сверху донизу. Тем более я могу оценить, какое сильное движение души ему потребовалось, чтобы регулярно писать письма и слать посылки Гюзальяну в лагерь!

9. Итог. Из трех академиков, возвышавшихся над советской археологией: Рыбакова, Окладникова и Пиотровского — последний был бледнее двух других, беднее идеями, менее активен, меньше других формировал облик советской археологической науки — характерно, что вне Армении у него практически не оказалось персональных учеников. Зато его собственный вклад был более доброкачественным и надежным.

Ему необыкновенно везло. Марр настолько любил его и выделял, что завидовали замы и помощники Марра. Марр его и направил на халдов-урарту. Затем с ним подружился Орбели, человек взбалмошный и агрессивный. Уцелеть в волне репрессий — это повезло, могли ведь и не выпустить в 1935 г. Выжить в блокаде — это вообще не многим было дано. Будучи любимым учеником Марра, не пострадать во время сталинского разгрома марризма и даже получить назначение на административный пост — опять же везение.

Удача, везение многое определяли в его успехах, но далеко не всё. Он был очень работящим, аккуратным, даже педантичным в работе, наблюдательным и спокойным — качества, незаменимые для археолога. В отношениях со старшими и власть имущими он был почтителен и охоч воспринимать (идеи Марра, идеи Сталина, аборигенность армян и т. п.). Соблюдал осторожность и умел ограничивать свои функции и притязания, а это в условиях тоталитарного государства было необходимо. Врожденный аристократизм плюс впитанная с детства интеллигентность, ограниченные указанными качествами, делали его в «государстве рабочих и крестьян» очень пригодным для места в витрине. Он был в этом смысле уникален.

А удачно намеченный памятник, ставший его судьбой, как и избранная спутница жизни, укрепившая его связь с Арменией, — это его личный выбор.

«Перестройка» всколыхнула Эрмитаж. Среди молодежи появились лидеры, предлагавшие проекты по реорганизации работы музея и выступавшие против директорских позиций. После одного из

заседаний с такими выступлениями у разволновавшегося 82-летнего директора сдало сердце. Смерть настигла его после четвертьвекового руководства Эрмитажем, в 1990 г., так что «лихих девяностых» он уже не увидел, развернувшейся в эти годы критики авторитетов и устоев не услышал. Ему устроили необыкновенно пышные похороны, а директором избрали его сына — востоковеда-арабиста Михаила. Боюсь ошибиться, но как директор сын превосходит отца. Что ни говори, а Россия всё-таки Восток: где еще директорские посты передаются по наследству в династии?

Комиссар археологии

С. В. Киселев

И он, садясь с женой в карету,
Свершив предательство свое,
Считал, что делает карьеру,
А между тем губил ее.

Евг. Евтушенко. Карьера.

1. Путь наверх. В создании марксистской археологии и в сотворении стандарта советской археологической монографии отличился Сергей Владимирович Киселев (1905–1962). Он родился в год первой русской революции, а вторая обеспечила его взлет. Отец — техник вагоностроительного завода в Мытищах под Москвой. В 1915 г. сын техника поступил во 2-ю Московскую гимназию, отличавшуюся особым демократизмом и вниманием к гуманитарным дисциплинам, в 1923 г. — в Московский университет. Он намеревался учиться у С. В. Бахрушина и стать историком, но увлекся лекциями Городцова и стал его учеником (хотя сверх программы посещал и семинары историков). Занимался московскими древностями. В это время по заданию Главнауки Городцов проехался по Сибири, обследуя тамошние музеи. Его поразил объем неизвестных, неизученных древностей. Он и ориентировал ученика на специализацию по сибирской первобытной археологии.

В 1926 г. Киселев уже в аспирантуре у Городцова в Институте археологии и искусствознания РАНИОН, а по совместительству работает в Историческом музее. В 1928 г. Минусинский музей пригласил аспиранта для съемки и описания археологических памятников. Он, отправившись на личные средства в Минусинск, изучает там коллекции музея и ведет раскопки неподалеку, проводя один всю обработку материала. Здесь, на Тагарском острове, он зафиксировал курганы афанасьевской и карасукской культур,

а также «минусинской курганной культуры» скифского времени, по классификации Теплоухова и Мерхарта, которым немедленно дал название тагарской культуры. Теплоухова как автора исходной периодизации не упоминал, хотя тот еще не был репрессирован. Само собой, он абсолютно не упоминал его и позже, когда тот уже погиб. Творцом археологии Южной Сибири выступил он сам.

В Минусинский музей поступили от Киселева предметы афанасьевской культуры и таштыкские гипсовые маски.

В 1929 г. обследование Минусинской котловины было продолжено. Учтено свыше 4 тыс. памятников, но далеко не все были занесены на карту.

Одновременно аспирант занимается в социологическом семинаре В. М. Фриче, где молодые ученики Городцова старались освоить марксизм и приложить его к археологии. Киселев — в числе наиболее преуспевающих, его работа «Поселения» опубликована (Киселев 1928). В ней он связывает развитие форм поселения со сменой социально-экономических структур. В подготовке доклада «Новые методы археологии», где был выдвинут «метод восхождения», а археология приравнена к истории (только с лопатой) он — соавтор А. В. Арциховского. На рубеже 30-х гг. ему вместе с другими аспирантами, учениками Городцова, пришлось публично отречься от учителя и заклеймить его как царского офицера и буржуазного формалиста, а в 1930 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Минусинский неометалл», выполненную под руководством и в духе этого «буржуазного» спеца.

Кузьмина (2008: 15) вспоминает:

> «Много позже, когда Киселев умер и его приемная дочь Ося Евтюхова распродавала его библиотеку, мне досталась статья тридцатых годов, в которой три любимых ученика В. А. Городцова: С. В. Киселев, А. П. Смирнов и А. В. Арциховский — публично отрекались от своего учителя. На оттиске статьи была надпись (в дар жене. — Л. К.): "Дорогой Лидасе моя подлая статья" — значит, не заблуждался, а понимал, что делал!»

В начале 30-х, когда Быковский объявил киммерийцев яфетическими предками славян и провозгласил «теорию стадиальности», Киселев ввел «киммерскую стадию» на Енисее.

2. Работа и забота. В 1930-е гг. обследование Минусинской котловины продолжалось, с 1931 г. — вместе с Л. А. Евтюховой. Евтюхову ученик Киселева Л. Р. Кызласов (2004) характеризует так:

«Л. А. Евтюхова была воистину кадровым археологом божьей милостью. Прирождённая художница, она прекрасно рисовала не только красками, маслом и акварелью, но и слыла отличным графиком; снимала слепки, лепила фигурки из глины и пластилина. И она же чертила чертежи, схемы и карты, мастерски фотографировала любые объекты, вела топографическую съемку, водила любые автомашины. В Москве Сергей Владимирович всегда был для неё пассажиром.

В свободное время, где-нибудь в сибирской глуши, она умела наловить на уху для всей экспедиции рыбы разных пород. И ещё — очень любила охоту, стреляла из дробовика навскидку и всегда без промаха. Добывала пролетающих диких уток и гусей или бегающих по холмам тяжёлых дроф — "степных куриц". Лидия Алексеевна, и всё это на моих глазах, спокойно проходила по щебнистой осыпи, ползущей по склону горы, переплавлялась с помощью шеста на утлом самодельном плотике через бурную горную речку, разжигала костёр во время ливня и грозы и т. п. Всё она умела делать чисто и хорошо, выполняла молчаливо и решительно.

Всюду она была очень аккуратной, гладко причесанной, всегда в отглаженной спецодежде — и на раскопках, и во время походов. Она руководила полевой практикой археологической молодёжи, охотно беседовала с начинающими, делилась навыками полевых исследований и многими профессиональными секретами».

Таким образом, содружество Кызласов–Евтюхова значительно усиливало позиции Киселева в археологии.

С 1930 г. начинает работать Саяно-Алтайская экспедиция Киселева, и работает четверть века — по 1956 г. Раскопаны и классифицированы памятники разных эпох — от афанасьевской до тагарской и таштыкской. Пазырыкские курганы Руденко и Грязнова Киселев отнес к гунно-сарматскому времени, а не к скифскому, поэтому он счел, что допазырыкские курганы скифского времени Южной Сибири обнаружены им впервые.

В 1933 г. в большой работе «Разложение рода и феодализм на Енисее» он продолжает разрабатывать социологическую интерпретацию археологических материалов по усвоенным у Фриче принципам. О. С. Свешникова приводит эту работу как пример «социологического схематизма», с которым потом, после 1937 г., было предписано бороться. Она характеризует эту работу так:

«В творчестве С. В. Киселева эта работа является единственным примером исторических обобщений без аргументации

результатами собственно археологических исследований. В работе нет ни одного рисунка, ни одного описания вещи или памятника, все приводимые археологические данные имеют обобщенный вид, например неодинаковость количества вещей в погребальных инвентарях одного могильника по сравнению с другим, но и таких указаний в тексте немного. Работа представляет собой рассказ о древней истории Южной Сибири, изложенный на основе марксистской методологии и с большим количеством марксистских терминов» (Свешникова 2009: 113).

Эта работа вместе с его другими статьями легла в основу капитального труда «Древняя история Южной Сибири», защищенного в 1946 г. как докторская диссертация, опубликованного в 1949 г. в МИА (переиздан в 1951 г.) и увенчанного Ломоносовской и Сталинской премиями — несмотря на вопиющую ошибку (Пазырыкские курганы отнесены к гунно-сарматскому времени).

В этом труде уже есть и рисунки, и описания, и сравнительные таблицы. В нем, по советской норме тридцатых годов, не фигурируют археологические культуры, а только эпохи (Киселев был в этом близок к Грязнову). Но главным оказалось то, что конкретные разработки источников были всемерно сокращены и убраны на задний план, в сводные таблицы, а на передний план выдвинута реконструированная, т. е. гипотетическая, история населения изучаемого региона. Речь в книге идет о племенах и народностях, их хозяйственных достижениях и социальных переменах. Это особенно ярко выступает по контрасту с трудами на ту же тему ленинградца Грязнова (1930; 1941, 1952 и др.), где на первом плане тщательный анализ источников. Как отмечает Формозов (1995), своей книгой Киселев создал образец археологического обобщающего произведения нового типа — угодного советским идеологам, которые под флагом историзма хотели иметь пластичную, манипулируемую историю, не слишком зависящую от источников. За образцом последовали другие труды того же типа, других авторов (Окладникова, Фосс, Гуриной, Крупнова и пр.).

С 1939 г. он по совместительству профессор на кафедре археологии в Московском университете — у своего друга Арциховского. Ученик Арциховского Г. Б. Федоров (1997/2007) вспоминает появление Киселева на вечеринке у Арциховского:

«Вот вошел и сразу как бы заполнил собой комнату высокий громкоголосый человек в синем костюме и желтых кожаных до колен крагах, которые раньше я видел только в кино и на картинках.

— Сердей Владимирович Тиселев, — представил его нам Арциховский (не произносивший [к] и [г]. — Л. К.), — лучший специалист по археолодии Южной Сибири, Алтая и Тувы.

Киселев захохотал громовым хохотом и густым басом проворчал, ухмыляясь во весь свой большой рот с крепкими рельефными губами: "Ну, ты и скажешь, Тема, — лучший! А где другой, не лучший?" — на каковое замечание, впрочем, наш учитель и ухом не повел. А мы любовались Киселевым. Лицо его с большими и грубыми чертами, изрезанное морщинами, на первый взгляд казалось даже свирепым, но стоило приглядеться, как сквозь неровную сетку морщин отчетливо проступали ум, доброта, насмешливость и, главное, страстная заинтересованность жизнью».

Он читал курсы «Бронзовый век», «Железный век» и, конечно, курсы по археологии Сибири, Монголии, Китая. Вокруг него группировались ученики: Н. Я. Мерперт, Л. Р. Кызласов, М. А. Дэвлет, Н. Л. Членова, Э. Б. Вадецкая, Э. А. Новгородова и др. Кузьмина в своих воспоминаниях пишет: «Лекции его мы очень любили: он — похожий на медведя — такой большой и громогласный — зачаровывал нас. Он говорил "ар-р-реал", и перед нами открывались связи с другими далекими регионами, за фактами виделась Ее Величество История» (Кузьмина 2008: 15).

Его ученик Л. Р. Кызласов (2003) описывает его с понятным восхищением: «Он отличался галантностью в общении с дамами и добротой к чужим детям — своих не имел. Носил задорный чубчик и всегда был гладко выбрит. Имел скульптурные черты узкого лица, с вертикальными складками (почти каннелюрами!) на щеках, крупный нос и спокойные серые глаза. Не уважал полузнаек, ценил целеустремленных и упорных в достижении цели».

С. А. Киселев в апогее своих занятий археологией и административных успехов

3. Почти у власти. После войны в результате истощения и рассеяния ленинградского коллектива археологов административное руководство ИИМК было передано москвичам (как можно полагать, не без хлопот московской археологической верхушки). В особенном выигрыше от этого оказался Киселев. С 1942 г. именно он уже выступает с юбилейными, итоговыми и установочными статьями по всей археологии («25 лет советской археологии», «Задачи советской археологии» и т. п.).

Директором, однако, назначается более титулованный ученый, и притом — историк, не археолог, а после его ухода — другой историк. Киселев же остается только заместителем директора ИИМК. Но так как директорами в это время были историки, далекие от археологии, —занятый на многих постах академик Б. Д. Греков, а потом безынициативный медиевист А. Д. Удальцов, — фактическим руководителем института был всё это позднесталинское время Киселев. Порывистый и динамичный, он определял жизнь и политику головного археологического учреждения страны. Именно он, «комиссар археологии», как его прозвали, наставляет всех по вопросам идеологии и методологии, клеймит космополитов (в частности, Равдоникаса), а после 1950 г. — и последователей Марра, особенно ленинградцев (Киселев вообще очень ревниво относился к деятельности ленинградских конкурентов и при всяком случае старался их принизить).

В 1948 г. Киселев выпустил свой основной труд «История Южной Сибири» — сначала в серии МИА («Материалы и исследования по археологии»), затем, когда он получил Сталинскую премию, толстым томом с золотым тиснением в 1951 г.

Именно Сергей Владимирович ввел обычай всем археологам страны собираться ежегодно на «пленумы» по итогам раскопок и обмениваться информацией. Это было нечто вроде восстановления Археологических съездов, проводившихся до революции Московским археологическим обществом. Он же редактировал журнал «Вестник древней истории».

Формозов (2011: 152) отмечает заслуги Киселева: «В штат института он пригласил ведущих сотрудников Исторического музея и лучших выпускников кафедры археологии. В интересах дела он был способен пренебречь собственными симпатиями и антипатиями и никому не мешал работать».

Но институт комиссарства, ехидно подметил Формозов, был отменен во время войны. Вместо двоевластия (командир и комиссар)

теперь повсюду вводилось единоначалие, и появлялись единоличные властители. Тому, кто побеждал в схватках типа лысенковской биологии против генетики (на сессии Сельхозакадемии), вручалась власть и роль непогрешимого арбитра. В каждой науке находились желающие сыграть эту роль. Теперь Киселев мог реально претендовать только на функции замполита. Нужно было подняться еще на ступеньку.

По мнению Формозова, у нас тогда за лидерство боролись в Москве Арциховский, Толстов и Киселев, а в Ленинграде — Равдоникас, Артамонов и Третьяков. Но Третьяков ушел на работу в ЦК, потом возглавил Институт славяноведения; Толстов стал директором Института этнографии; Артамонов и Равдоникас «сошли с ринга» (Равдоникас — как ленинградский сепаратист и космополит, Артамонов — за приверженность иудаистам-хазарам), а Арциховский критиковался за объективизм и запоздал со вступлением в КПСС. Ситуация упрощалась: с историками мог конкурировать вроде только Киселев. Но для этого он должен был оставаться вне конкуренции прежде всего в своей узкой специальности, а там он был не один.

Его конкурентами по специализации были ленинградские археологи М. П. Грязнов, А. Н. Бернштам и А. П. Окладников. Грязнов был его самым прямым конкурентом, изучая те же курганные культуры Южной Сибири. Но этот конкурент был не очень опасен: во-первых, он не имел высшего образования, что затрудняло его продвижение по степеням, во-вторых, он провел несколько лет в лагерях в 30-е гг., в-третьих, он не понимал требований сверху — изучал источники, археологические культуры-эпохи, в то время как нужно-то было рисовать красивую и лестную историю племен и народов.

Второй конкурент, Бернштам, был опаснее, так как в юности сам отметился своей разгромной комсомольской критикой «руденковщины». Но он отошел от этих увлечений молодости, увлекся выяснением истины и «подставился» своей книжкой 1951 г. о гуннах — увидел, что это не такие сплошные бандиты, какими их рисовали историки. Обычный кочевой народ, не хуже татар и монголов, причинивших Руси много зла, но и принесших какие-то позитивные вклады. У всех у них есть потомки, намекал Бернштам, у гуннов — казахи, надо быть осмотрительнее с ярлычками. Нашествие гуннов, говорил Бернштам, было прогрессивным явлением — разрушило рабовладельческую империю. Как это прогрессивным?! А ведь товарищ Сталин назвал немецких фашистов гуннами! Ай, подставился Бернштам,

подставился. С Бернштамом расправились и без Киселева — началась кампания по его травле.

Но и Киселев руку приложил: Бернштам еще вздумал уже после выступления товарища Сталина, развенчавшего академика Марра, защищать Марра, говорить, что у него было и нечто ценное и что надо переждать, пока издательства придут в себя, и вернуться к некоторым идеям Марра. Это надо же! Призвал перехитрить товарища Сталина! Киселев прямо и откровенно разоблачил Бернштама в своих докладах. Бернштам еще раз показал свою слабость — не вынес товарищеской критики и умер в 1956 г. 46 лет от роду.

А третий конкурент, вроде бы самый далекий от непосредственных занятий Киселева, — сибиряк Окладников, мало прикасавшийся к курганам Минусинских степей, а больше бродивший по тайге и горным пещерам, на деле был самым опасным, потому что хорошо знал правила советской жизни и придерживался тех же установок, а территориальных границ себе не ставил. Его-то Киселев раздраконил в своих антимарровских докладах по первому разряду. Правда, Окладников как раз марристом-то не был, а лишь как заведующий Ленинградским отделением сделал за год до дискуссии юбилейный доклад в честь Марра, изданный отдельной брошюрой. Да ведь и сам Киселев был причастен к пропаганде Марра не меньше — за месяц до дискуссии напечатал в «Вестнике древней истории», который редактировал, хвалебную статью о Марре. Вот теперь он первым, не дожидаясь критики, подверг свой проступок самокритике, что позволило ему со всей страстью обрушиться на Окладникова.

> «Уже после дискуссии в "Правде", — гремел он, — после выступления И. В. Сталина, не оставивших никакого сомнения в истинной роли Н. Я. Марра в языкознании, получила распространение версия о том, что Марр, наделавший столь много ошибок в языкознании, на самом деле является выдающимся археологом. Эта версия нашла свое отражение в докладе А. П. Окладникова (тут имеется в виду его покаянный доклад после дискуссии. — Л. К.) и в прениях по его докладу на ноябрьском заседании ученого совета ЛО ИИМК» (Киселев 1951: 9–10).

Досталось почти всем археологам-ленинградцам. После доклада Окладников подошел к Киселеву и сказал: «У нас разные представления о совести». Отношения между ними были навсегда разорваны.

Та же Кузьмина продолжает свой панегирик так:

> «Но он был человеком своего очень трудного времени и приспособился жить в нем. На заре моей научной жизни началась

кампания по борьбе с марризмом. На пленуме Института С. В. вышел на трибуну, стал громить "этих отщепенцев", и тут пошли имена: Равдоникас, Окладников, другие ленинградцы и вдруг <...> Пассек. Я сидела за спиной Татьяны Сергеевны и видела, как налилась кровью ее шея. Подлость была в том, что Пассек была ближайшей подругой жены Киселева, Лидии Алексеевны Евтюховой, а он даже не предупредил Т. С., что будет вынужден упомянуть ее в числе питерцев, слушавших лекции Марра» (Кузьмина 2008: 15).

4. Итоги. В то же время он был отличным заведующим сектором бронзового века в Институте. Кузьмина (2008: 16) свидетельствует:

«Атмосфера в секторе была очень доброжелательна, а Киселев был лучшим заведующим, с которым мне пришлось работать. Все идиотские распоряжения, которые обрушивались на наши головы от академических чиновников, он умел подавать с таким юмором, говоря: "Сегодня у нас будет урок чистописания", — и своим изощренным умом выдумывал нам в план-карты такие названия тем, что ни одному чинуше не к чему было придраться. Подводя итог чьему-нибудь докладу, С. В. поворачивал всё так, что материал ложился в исторический контекст. Бедный докладчик ходил довольный, и только на третий день до него доходило, что его доклад был плохонький, а блеск ему придал С. В.»

Он и его жена Евтюхова вели интересные раскопки и получали ценные для науки результаты, в частности открывая погребения и дворцы древних правителей (племенного вождя, ханьского полководца Ли-Лина). С 1947 г. Киселев начал работы в Монголии. Он усомнился в чисто кочевом характере монгольского феодализма, и последующие пятнадцать лет работ в Монголии показали, что он был прав. Киселев предпринял раскопки Каракорума. Раскопки подтвердили, что это древняя столица монголов. Был открыт и исследован дворец еще одного властителя — Удэгея, сына Батыя. Проблема власти была не менее близкой душе Киселева, чем проблема поселения. В 1953 г. он стал членкором АН СССР.

После XX съезда, когда приоткрылся железный занавес, «многие потянулись за рубеж, — вспоминает Формозов (1995; 156). — Киселева это не привлекало. Очень надо, чтобы мне иголки под ногти загоняли и расстреляли как шпиона. Ездил он только в Монголию и Китай, незадолго до смерти посетил Венгрию и Кипр».

С. В. Киселев в заботах и размышлениях

Он был идеально чист и был наверху. Казалось, путь к вершине власти открыт...

Подкосила его поначалу неудача в поле: гигантский Салбыкский курган, раскапывавшийся им в 1954–1956 гг., оказался ограбленным подчистую еще в древности. А мог бы дать великолепные сокровища, которые бы приподняли Киселева еще чуть-чуть. Ведь оставалось так немного! Наконец, в 1956 г. директором Института археологии был назначен не историк, а археолог. Но это был не Киселев, а Рыбаков, занимавшийся более важной для власти тематикой — славянской археологией. Назначение энергичного и властного Рыбакова директором Института было для Киселева еще более неприятной неожиданностью. Бразды правления уходили из рук. Он както сник. Четвертьвековая Саяно-Алтайская экспедиция пресеклась. Поработал еще чиновником в аппарате Академии наук, но это было вдали от археологии. Через несколько лет (в 1962 г.) на 58 году жизни он умер.

Массон, сын Массона

М. Е. и В. М. Массоны

Сумей, не дрогнув среди общей смуты,
Людскую ненависть перенести
И не судить, но в страшные минуты
Остаться верным своему пути.

Умей не раздражаться ожиданьем,
Не мстить за зло, не лгать в ответ на ложь,
Не утешаясь явным или тайным
Сознаньем, до чего же ты хорош.

Умей держать мечту в повиновенье,
Чти разум, но не замыкайся в нем,
Запомни, что успех и пораженье —
Две лживых маски на лице одном.

Редьярд Киплинг. Если сможешь (Заповедь сыну)
(Пер. А. Грибанова)

1. Родословная и отец. Умерший недавно Вадим Михайлович Массон — несомненно, одна из немногих фигур в советской археологии, оставивших крупный вклад и имеющих международное признание. И на постсоветском пространстве, и в мировой археологии Массон известен и уважаем. Он не создал собственного учения, но открыл в Туркменистане самую северную в Азии энеолитическую культуру с мотыжным земледелием, почти цивилизацию, и развивал в России американский неоэволюционизм в марксистской одежке. В Петербурге и среднеазиатских государствах многие видные археологи — его ученики. Несколько десятилетий он возглавлял в Ленинграде/Петербурге отделение Института археологии АН СССР/РАН и добился разделения Института на два самостоятельных и восстановления в Петербурге прежнего Института истории материальной культуры (ИИМК).

По семейному преданию, предки Массона эмигрировали из Шотландии, где их фамилия была Мейсоны, во Францию, став там Массонами. Тем не менее связь с Британией не прерывалась: сын эмигранта Жак женился на англичанке Саре Уайт. В начале XIX века отпрыск этого семейства Луи, возможно, не приняв наполеоновской узурпации власти, эмигрировал в Россию и поселился во Пскове. Людвиг Яковлевич (это был прадед Вадима Массона) устроился учителем в гимназию и женился на русской девушке Раисе Михайловне Окунь. У них было 10 детей, но выжили только трое, из которых две дочери. Портреты предков висели на стенах квартиры Массона-старшего в Ташкенте, а затем — в петербургской квартире Вадима Массона.

Единственный сын обрусевшего учителя Евгений Людвигович, дед Вадима, стал топографом и участвовал в съемке южных окраин Российской империи — сначала Кавказа для железной дороги, потом Средней Азии. Здесь, в Самарканде, он возглавил топографический отдел при генерал-губернаторе, составляя топографические карты Самаркандской области. Женился он на русско-украинской дворянке Антонине Николаевне Шпаковской, оставившей ради него мужа и двоих детей. В 1897 г. родился сын Михаил, отец Вадима Массона. Родился в Петербурге, куда мать приехала к брату-врачу на время родов.

Еще подростком Массон-старший был увлечен раскопками местного археолога В. Л. Вяткина на Афрасиабе, в частности, когда тот обследовал остатки обсерватории Улугбека (XV век). Окончив с золотой медалью Самаркандскую гимназию в 1916 г., Михаил Массон поступил по настоянию отца в Петроградский политехнический институт на отделение ирригации (нужная в Средней Азии специальность), но в первый же год был призван в армию, прошел обучение на ускоренных курсах Михайловского артиллерийского училища и попал на Юго-Западный фронт. По-видимому, оказавшись в армии не офицером, он быстро проникся революционными настроениями солдатских масс. В ноябре 1917 г. молодой прапорщик был избран в Курске членом Совета рабочих и солдатских депутатов. В боях на Дону против войск Каледина получил контузию — повреждение барабанной перепонки, стал туг на ухо (заметим, что Арциховский и Массон оба воевали на Калединском фронте, но по разные его стороны). В 1918 г. он появился в родном Самарканде, где в результате смерти отца домашнее гнездо пришло в упадок. Массон устроился работать заведующим Самаркандским областным музеем.

Конечно, у него не было ни высшего образования, ни специальной подготовки, но время было такое. Его начальником, Комиссаром народного образования, был недавний почтальон И. Чичевичкин. Именно Чичевичкин в 1919 г. велел Массону к Сельскохозяйственной выставке раскопать на городище Афросиаб средневековую резную панель для выставления, чтобы «наука показала на выставке большой пролетарский шаг вперед по сравнению с царским временем». Позже Массон участвовал в работах по спасению медресе Улугбека. Тогда углубили площадь перед зданием на два метра, вернув мечети прежние пропорции. В 1921 г. молодой Массон был уже женат на работнице бактериологической лаборатории Ксении Ивановне.

В 1923–1924 гг. Массон был переведен в Ташкент на работу в Туркестанском (позже Узбекском) Комитете по делам музеев и охраны памятников старины и искусства. Переехал вместе с матерью и женой Ксенией Ивановной. Ему поручили заведовать археологическим отделом Главного Среднеазиатского музея. То есть, не имея специального археологического образования, он стал по должности главным археологом Средней Азии. Он начал вести археологические работы по реставрации памятников старины в Средней Азии, а разъезжая по республикам, выступал как инструктор по музейным делам. Как интеллигентный человек, он понимал это несоответствие и поступил учиться на курсы Туркестанского Восточного института. Но учиться не получилось: в институт поступил анонимный донос, обвиняющий Массона в том, что он выходец из эксплуататорского сословия. Во избежание разборок Массон оставил учебу.

Пришлось обретать знания самообразованием, штудируя литературу и добывая конспекты студентов Казанского и Петербургского университетов (Пилипко 2004: 187).

В 1927 г. из-за конфликта с руководством пришлось уйти из музея. Мотивировали увольнение недостаточной политической зрелостью и приверженностью «чистой науке». Знакомый геолог предложил ему место библиотекаря в Среднеазиатском Геологическом Комитете. С 1929 г. он занимался историей горного дела. В 1929 г. у него родился сын Вадим, также ставший знаменитым археологом.

В 1932 г. Михаил Евгеньевич под Термезом нашел Айртамское буддийское святилище, которое произвело большое впечатление на Третьем международном конгрессе по иранскому искусству в Ленинграде. Массон прославился, и в 1936 г. ему в числе нескольких других советских археологов была без защиты присвоена степень доктора наук, чему способствовали видные востоковеды В. В. Бартольд

и И. А. Орбели. В том же году в Среднеазиатском университете (Ташкент) он учредил кафедру археологии Средней Азии и затем руководил ею почти тридцать лет. Ему была отведена квартира в Доме Специалистов, где жила научная элита Ташкента. Сталинские репрессии второй половины тридцатых годов его миновали. В 1940 г. он получил звание профессора.

С 1936 по 1938 г. Массон раскапывал кушанский и средневековый Термез на Аму-Дарье, открыл буддийский пещерный монастырь. В своих экспедициях он всё меньше замыкался на одной эпохе, а ставил задачу исследования всего хронологического диапазона культур.

В это время он познакомился с чрезвычайно элегантной женщиной-архитектором, младше его на 18 лет — Галиной Анатольевной Пугаченковой, изучавшей древнюю архитектуру. Она стала его ученицей, а потом женой (Пугаченкова 1998). Впоследствии, работая с ним в экспедициях, получила известность как археолог (и звание академика Узбекской ССР), хотя основная ее специальность — история архитектуры.

На лето 1941 г. Массон планировал большую экспедицию по изучению Самарканда времени Тимура. Перед самой войной Массон был в составе той самой комиссии, которая вскрывала могилу Тамерлана, несмотря на предупреждение местных стариков, что могилу нельзя трогать — будет война. Комиссия вскрыла гробницу в начале июня 1941 г., а 22 июня Гитлер напал на СССР. Массон-старший, однако, хотя и был инициатором вскрытия, в самом вскрытии не участвовал: заболел (Мойсеенко 2004).

Его раскопки в Узбекистане были затруднены: он рассорился с некоторыми руководителями Узбекской академии наук. Помог другой конфликт. Во время войны в Ташкент было эвакуировано Отделение истории Академии наук СССР. Влиятельнейший академик В. В. Струве устраивал у себя журфиксы по вторникам, собирая вокруг себя историков. На этих вторниках бывал и Массон и сумел понравиться академику Струве. Струве в это время был очень настроен против С. П. Толстова, заменившего Струве на директорском посту в Институте этнографии. Толстов планировал экспедицию в Туркмению, в Хорезм. Струве пытался пробить Массона на пост ее начальника — не выгорело. Тогда он помог Массону получить добро на большую Южно-Туркменистанскую экспедицию, южнее Хорезмской.

Так, вскоре после войны Массон-старший стал руководителем Южно-Туркменистанской экспедиции, и Пугаченкова, ставшая доцентом его кафедры, была вместе с ним в экспедиции. Экспедиция

раскапывала парфянские города Нису и Мерв. Знаменитые ритоны из слоновой кости были обнаружены осенью 1948 г. на городище Старой Нисы. Собственно, нашла их и тщательно расчистила Елена Абрамовна Давидович, жена известного археолога Б. А. Литвинского, также работавшего в экспедиции. Пугаченкова сразу же оценила ранг находки, и Литвинский с Давидович, открывшие ритоны, были как-то оттеснены, а ритонами занялась Пугаченкова.

В лето Ашхабадского землетрясения, разрушившего город, раскопки были приостановлены, но вскоре продолжены. Еще там были найдены мраморные и глиняные скульптуры, статуэтки из металла, а главное — открыт парфянский архив: более двух с половиной тысяч надписей на обломках керамики (остраконах). Этот архив дал уйму сведений о религиозной жизни и культуре Парфии. Экспедиция выпустила 23 тома исследований.

2. Массон-старший как ученый. Как пишет о нем ученик Пугаченковой Тигран Мкртычев (ferghana.ru), Массон «думал и говорил о себе как о человеке, который делает среднеазиатскую археологию». Он сам создал о себе этот миф — и этот миф до сих пор жив, хотя Массон ведь не был даже профессиональным археологом». И хотя в среднеазиатской археологии действовали и другие крупные фигуры: С. П. Толстов, А. Н. Бернштам, Б. А. Литвинский, М. М. Дьяконов, — создавшие свои крупные школы.

Вероятно, именно сознание отсутствия профессионального образования побуждало Массона быть консерватором в обрядности, всячески подчеркивать знаки принадлежности к сословию ученых, исследователей. Он носил в поле экспедиционный костюм дореволюционного покроя, надевал пробковый шлем британских путешественников и круглые очки со съемными затемняющими насадками. В городских условиях постоянно ходил в черной бархатной академической ермолке. В экспедиции в полевом лагере всем надлежало сидеть за длинным обеденным столом строго по ранжиру. По мере взросления и повышения статуса участники застолья приближались к Массону, сидевшему во главе стола (Пилипко 2004: 190, 195–196).

Но если Массон-старший не имел ни профессионального образования, ни высшего образования вообще, не прошел школы у хорошего специалиста, то на чем строился его авторитет?

Во-первых, на его исключительных способностях, трудолюбии и энергии. Он был очень организованным, целеустремленным и пробивным человеком. К тому же он был, безусловно, очень одарен,

Профессор Михаил Евгеньевич Массон, академик Туркменистана, отец Вадима Массона

владел кроме русского тремя основными европейскими языками (английским, немецким и французским), освоил также арабский и фарси, разбирался в древнегреческом и латыни. Говорят, что он понимал и речь на всех среднеазиатских языках.

Во-вторых, авторитет его строился на специфике среднеазиатской археологии того времени. Она была в зачаточном состоянии. Территория изобиловала белыми пятнами. Масса первоклассных памятников и культур ждала своего открытия. Территория огромная, а профессионально образованных археологов не было или появлялись считанные единицы. С другой стороны, Массон и не вдавался в сложную научную проблематику. Он избрал себе доступные области работы — открытие памятников, их описание и простейшие выводы. А методика этой работы была описана в печатных инструкциях Спицына и Городцова, в иностранных учебниках.

И вся школа Массона в основном специализировалась на этих первых стадиях археологической деятельности, но оказывалась гораздо слабее в овладении всем спектром проблем и методов археологии.

Что же касается концепций, то с этим дело обстояло просто: марксизм давал Массону стандартные нормы толкований, оставалось лишь строго их придерживаться, не мудрствуя лукаво. Как истый марксист, Массон стремился доказать наличие рабовладельческого строя в Средней Азии, изучал он также историю Самарканда, Бухары, Ташкента, историю денежного хозяйства и горного дела.

Существенно, что он обладал твердым характером и лидерскими качествами.

Его биограф Флыгин (2005) пишет:

> «Интеллектуально он подавлял окружающих. Ему была свойственна убежденность в своей правоте, которая, в свою

очередь, переходила в нетерпимость. Он не допускал существования полутонов, служебной либо житейской гибкости. К нему напрасно было взывать войти в положение. Человеком он был бескомпромиссным — в быту, в науке. Им восхищались, но любить его было трудно.

Естественно, такие черты характера нередко осложняли отношения Михаила Евгеньевича с другими людьми, приводили к разрыву с коллегами и близкими. Так, различие во взглядах на конкретную научную проблему привело к разрыву с востоковедом А. Ю. Якубовским, с которым Массона связывала многолетняя дружба. Примерно такая же причина привела к разрыву с другим известным ученым — астрономом В. П. Щегловым.

Да что коллеги! Массон не щадил и самых близких, если их позиция казалась ему, по канонам его внутренней морали, предосудительной. Он порвал отношения со своей матерью, которая, в глазах Михаила Евгеньевича, была приверженкой старых реакционных порядков. Сам он, к слову сказать, до конца жизни оставался верен сделанному в юности выбору и сохранил приверженность социалистическим идеалам, воспринимаемым с присущей ему искренностью. <...>

Еще с предвоенных лет у Массона испортились отношения с Т. Н. Кары-Ниязовым, в отношении научных взглядов которого он не скрывал своего скептического мнения. Следствием этого явилось то, что, когда в 1943 году была создана Академия наук Узбекистана, первым (1943–1947) президентом которой был избран Кары-Ниязов, Массон — один из авторитетнейших ученых республики! — не был избран в ее состав. А ведь его фамилия стояла среди первых в предварительных списках рекомендованных в Академию ученых. Однако академиком М. Е. Массон все-таки стал. В 1951 году создали Академию наук Туркменистана, и он был избран ее действительным членом».

Со второй супругой, Пугаченковой, отношения тоже были не всегда спокойными. В Южно-Туркменистанской экспедиции появился искусствовед-архитектор Лазарь Израилевич Рempель. Это был ссыльный, которому постоянная работа была запрещена, а временные заработки, как в экспедициях, разрешались. Вот он и нанялся в экспедицию фотографом. Был он человеком светским и интересным, у Галины Анатольевны нашлись общие с ним интересы. «А Михаил Евгеньевич, ее муж, — пишет Мкртычев, — был, скажем так, человек грубоватый». Мкртычев называет его «фараонистым». Рempеля Массон из экспедиции выгнал. Но сломить Пугаченкову не удалось, нашла коса на камень. Она много переписывалась с Рempелем, а из

этой переписки выросли ее труд о ритонах (Рempель обогатил ее искусствоведческое мышление) и совместная публикация обоих «Искусство Узбекистана».

За свою жизнь Массон-старший обследовал или раскопал более 80 памятников, опубликовал более 400 печатных работ. Секрет его работоспособности он сам сфомулировал на склоне лет:

> «Жить надо, подчинив свое время определенному распорядку, строгим принципам. Ни часа, ни дня без серьезной работы. Вот главные из них... встаю в шесть утра... работаю с короткими перерывами весь день. В десять часов вечера ложусь спать. Такой режим сохраняет работоспособность. Я за свою долгую жизнь не выкурил ни одной папиросы, не выпил ни одной рюмки водки. Пью только зеленый чай».

Им была создана своя школа археологии, подготовлены ведущие археологи разных республик Средней Азии и Казахстана.

В 1967 г. семидесятилетний М. Е. Массон оставил университет и ушел на пенсию. После этого писал свои труды, не отказывал никому в консультации, но с тех пор не нанес ни единого визита на родную прежде кафедру — не мог забыть бестактность факультетского и университетского начальства, которое выпроводило его на пенсию бесцеремонно и безразлично. Скончался в 1986 г. в 89-летнем возрасте. Супруга пережила его надолго — умерла в 2007 г., в возрасте 92 лет, уже в самостоятельном Узбекистане, автором более 750 работ.

Молодой доктор наук
В. М. Массон

3. Массон-сын. Сын Михаила Евгеньевича, Вадим, родился в 1929 г. в Ташкенте. По окончании школы поступил в Среднеазиатский университет, специализировался по археологии, на кафедре, которой руководил отец. С отцом же стал ездить в первую для себя экспедицию — на раскопки Старой Нисы. В 1950 г. окончил университет и поехал в Ленинград поступать в аспирантуру в Ленинградское отделение Института археологии. Пройдя ее к 1953 г. у М. М. Дьяконова, в 1954 г.

(т. е. 25-летним) защитил кандидатскую диссертацию и был принят в Институт на работу. В 33 года защитил докторскую и стал заведовать сектором Средней Азии и Кавказа. Одновременно он стал читать курсы по среднеазиатским древностям на кафедре археологии Ленинградского университета, что заведомо расширяло круг его учеников.

Конечно, тот факт, что он сын Массона, открывал ему двери в археологии и облегчал продвижение. Но Массон-младший и сам обладал унаследованными от отца трудоспособностью и энергией, не говоря уж об атмосфере археологии с детства. Он был живее и несравнимо доступнее в общении, чем отец, был более глубоко сведущ в археологии, но языками владел хуже — французским сносно, по-английски говорил с ужасающим акцентом, а немецкого вовсе не знал. Был очень похож на отца — такой же высокий, худощавый, с редкими белесыми волосами и невыразительными глазами.

В 1970 г. готовился его перевод в Москву, где он должен был занять высокий административный пост в Институте археологии. Рыбаков ему благоволил, но было одно препятствие: Массон не был партийным. Поскольку пребывание в партии рассматривалось как допуск к карьере, Рыбакову и в голову не приходило, что кто-то может сам не хотеть. Он приехал в Ленинград и спрашивал у тогдашнего партсекретаря Я. А. Шера, почему Массона не принимают. Шер ответил, что организация препятствий не ставила. Рыбаков спросил: может быть, в обкоме что-то имеют? Шер отвечал: не знаю. Узнайте — велел Рыбаков. Но Шер вскоре был переизбран и поручения не выполнил (личное сообщение 2010 г.). А Массон вступил в партию. По этому поводу веселый и молодой тогда иранист Иван Стеблин-Каменский (впоследствии академик) сочинил (или ему приписывают?) стишок:

Наверно, это просто сон:
Вступает в партию Массон.
Быть может, в партии масоны —
Опять желанные персоны.
Жидо-масонская пора
Всё не уходит со двора.
Но всех жидов унес муссон.
Их должен заменить Массон.

Но тут экспедицией Массона заинтересовался КГБ. Сам Вадим Массон был столь же тверд в марксистской вере, как и его отец, хотя и позволял себе фрондерские шуточки в лекциях и личном общении. Но в его экспедиции молодежь, копавшая могильник, и вовсе разошлась и День археолога, пришедшийся на подготовку очередного

партийного съезда, отметила транспарантами и лозунгами: «Дадим к XXIV съезду 24 погребения!» и т. п. Договорились по возвращении организовать тайное чтение книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В экспедиции нашелся стукач. К тому же первой женой Вадима Массона была дочь какого-то генерала КГБ, и после развода бывший тесть обещал припомнить бывшему зятю его нарушение коммунистической морали. Участников экспедиции стали вызывать и допрашивать (на этом одному моему ученику, Ф. Р. Балонову, отказавшемуся разговаривать, перекрыли путь в аспирантуру). За Массона вступились видные археологи, он уцелел, но перевод в Москву был исключен (к радости московских конкурентов).

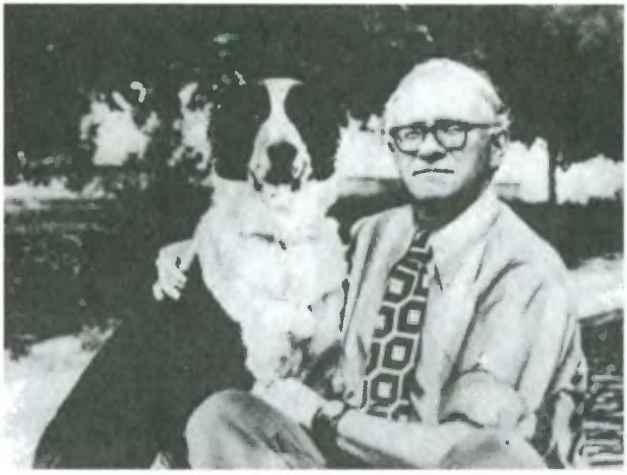
Массон сохранил за собой пост заведующего сектором, а с 1982 г. возглавил все Ленинградское отделение, ставшее в 90-е самостоятельным институтом, — возглавлял по 1999 г., и при нем было восстановлено прежнее название: Институт истории материальной культуры (это чтобы отличался от Московского).

Собственные полевые исследования Массон начал с раскопок памятников, предшествовавших завоеванию Средней Азии Ахеменидами. Раскопанный им Яз-депе — цитадель-резиденция правителя доахеменидской эпохи, это ранний железный век.

Затем последовали раскопки древнего земледельческого поселения VI тысячелетия до н. э. — знаменитого Джейтуна, по которому Массон выделил Джейтунскую культуру. Он разрабатывал проблему «неолитической революции» Чайльда на основе нового материала, в новом регионе. Раскопки начались в 1946 г., но в основном развернулись в 1955–1958 гг. Результаты были опубликованы в монографии 1971 г. «Поселение Джейтун. Становление производящей экономики».

С 1965 г. более 30 лет Массон с сотрудниками раскапывали памятник протоурбанистической цивилизации Алтын-депе в Каракумах, датируемой концом III — началом II тысячелетия до н. э. Открыт монументальный храм и комплексы с имуществом социальных верхов. В погребении обнаружены золотые головы волка и быка, инкрустированные бирюзовыми вставками. Алтын-депе был включен Массоном в свиту ранневосточных цивилизаций. Монография об Алтын-депе вышла в 1981 г., переведена в США.

Таковы основные публикации материалов, открытых его экспедициями. Это, конечно, огромная работа и непреложный вклад Массона-младшего в науку. Правда, в книге «Человек и наука» Формозов (2005: 74) критикует Массона за то, что тот привозит из экспедиций, изучающих многослойные поселения древнейших земледельцев



В. М. Массон — начальник Южно-Туркменской археологической экспедиции. На Алтын-депе, 1974 г.

Туркмении, только целые сосуды, а тысячи черепков выбрасывает, хотя даже в Москве нет образцов этой ранней керамики. Но трудности хранения массового материала у нас известны, и это вина не только Массона (на Волго-Доне, скажем, после определения выбрасывались кости животных). В отличие от отца, Массон-младший писал и много обобщающих трудов, действительно строя археологию Средней Азии. Он старался выдвинуть обобщающие концепции, в которые бы его открытия вписывались.

Еще не опубликовав Джейтун, он написал обобщающий труд «Неолитические земледельцы Средней Азии» (1962). В еще более общем плане памятники Средней Азии были включены в мировую картину развития в книге «Средняя Азия — Древний Восток» (1964). Эта книга остается его лучшей книгой. Динамика урбанизации рассмотрена в его книге «Земля тысячи городов» (1966). В 1969 г. перевод этой книги вышел в Токио, а в 1982 г. ее дополненное издание в Германии. В 1989 г. в Ленинграде появилась монография Массона «Первые цивилизации». В этой книге были рассмотрены древние цивилизации Среднего Востока, Индии, Китая, Перу и Америки.

Оба Массона принадлежат к числу создателей среднеазиатской археологии наряду с С. П. Толстовым, Б. А. Литвинским, М. М. Дьяконовым. Массон-младший уточнил хронологию Куфтина (Намазга I–VI), и на этой хронологии держится вся первобытная археология Средней Азии.

В. М. Массон на раскопках Илгынды-депе в 1997 г. с Н. Ф . Соловьевой

В. М. Массон, директор Института истории материальной культуры РАН

4. Массон-младший как теоретик. Массон был первопроходцем в создании книг по методам кабинетных археологических исследований, в какой-то мере напоминающих книгу Чайльда «Составление прошлого из обломков». Он следовал в советской археологии за С. Н. Бибиковым, который, правда, книг об этом не написал, но предлагал методики в своих статьях и книгах по палеолиту и по Триполью. А первые книги этого рода «Экономика и социальный строй древних обществ (в свете данных археологии)» 1976 г. и «Исторические реконструкции в археологии» 1990 г. (и в новом варианте 1996 г.) написал Массон. К этим книгам много претензий, они сделаны поверхностно, но они первые. После него в этом жанре работал Генинг, но его схоластичные и заумные труды не идут в сравнение с ясно написанными книгами Массона, которыми археологи пользуются до сих пор.

Проблемы, занимающие Массона в этих книгах, схожи с теми, которые следом за Чайльдом в Англии подняли в американской археологии Брейдвуд и Адамс (Массон на три года младше Адамса). Это проблемы неоэволюционизма.

В теоретических работах Массона — в книгах и ряде статей — много декларативных утверждений приверженности марксизму, есть попытки сформулировать теоретические положения марксистской археологии

с ориентировкой на работы советских археологов 30-х гг. Но как только дело доходит до интерпретации конкретного материала, каких-либо принципиальных отличий от западных работ не обнаруживается. Это те же проблемы, те же способы их решения и те же выводы, которые характерны для работ неоэволюционистов на Западе — Чайльда, Брейдвуда, Адамса. Обобщающие книги Массона, в сущности, повторяют классические обзоры Чайльда и Грэйема Кларка, но в очень сжатом виде и в основном на среднеазиатском материале.

Даже последовательность изложения та же: марксистские обзоры материала обычно начинаются с производительных сил — орудий труда, у Массона же всё начинается с subsistence — обеспечения пищей, как у западных коллег, и даже главный рубеж в экономике древних обществ проводится между «производством продуктов питания» и «внепищевым производством». В западной науке это наследие «теории полезности» в ценообразовании, которая натолкнулась на противоречащие факты: самыми дорогими оказывались не самые полезные продукты питания, а ювелирные изделия. Трудовая теория стоимости ввела свои критерии и другие рубежи в хозяйстве. Распределение хозяйства также противоречит этому делению: скажем, скотоводство поставляло и сырье для непищевой отрасли, и продукты питания.

Большее воздействие марксизма ощущается лишь в том, что больше внимания уделено формированию социальных классов.

Массон провозгласил создание «социологической археологии», задачей которой является реконструкция древних социальных и хозяйственных систем на основе археологических источников. Создать «социоархеологию» или «социальную археологию» с теми же задачами до него уже предлагали норвежец Гутторм Ёсинг и другие западные авторы. Но, судя по тем закономерностям, которые предлагает изучать автор (а это закономерности развития самих социальных структур, а не материальной культуры, в которой они отражаются), у него получилась не «социологическая археология», а нечто другое. Получилась, так сказать, археологическая социология, т. е. продолжение обычной исторической социологии в глубь времен на основе одного вида источников, а правомерность такого продолжения на резко суженной базе сомнительна. Да и не дело это археологов.

Класс купцов, по Массону, появляется (на схеме в книге 1976 г., рис. 8), когда «ведущей экономической формой становится денежная торговля по формуле Т–Д–Т» (Массон 1976: 91–92), т. е. товар — деньги — товар. Класс купцов не мог бы существовать при таком простом денежном обращении, так как не мог бы получать прибыль. Для характеристики

деятельности купцов требуется всеобщая формула капитала Д–Т–Д1, которая выражает и операции торгового капитала (купить, чтобы продать дороже). Возможно, археологу не обязательно знать Маркса или хотя бы учебник политэкономии. Но не знаешь — не применяй.

Это социоисторическое течение, ближе других соответствующее советской идеологии и умело подстраивавшееся под нее, под ее зигзаги, оказалось очень живучим. В последние десятилетия советской власти с методологическими разработками в духе социологического историзма выступал и Вадим Массон в Ленинграде (статья 1974 г. и книга 1976 г.). А В. Ф. Генинг в Киеве выдвинул подробное методологическое обоснование «социологической археологии», как он ее понимает — вполне в духе 30-х гг. (книги 1982, 1983 и 1989 гг.). Рекомендации Массона не выходят за пределы поиска стереотипных соответствий социальным структурам в археологических материалах, а пространные труды Генинга отличаются изрядным догматизмом и схоластикой. Так что, можно сказать, течение выдохлось.

Вадим Михайлович всё время старался поспевать за теоретическими новациями, но угнаться за модой ему было трудно, потому что раскопки не оставляли много времени на чтение. Поэтому его попытки выглядели вторичными, а идеи — неверно схваченными. Так он увлекался и моделями, и системным подходом, и критикой новой археологии. И всё это как-то поверхностно и неплодотворно.

В последнее время он ухватился за понятие культурогенеза. Понятие это само по себе явилось на смену понятию этногенез, поскольку всё больше выясняется опасность решения этой проблемы на материалах археологии. Но как раз Массон к понятию археологической культуры очень долго намеренно не обращался, как и многие археологи на Западе. Если к исходу своей деятельности он понял, что многое упускал, это заслуживает уважения. Лучше поздно, чем никогда. Однако основные разработчики понятия культурогенез не исследуют (в отличие от В. С. Бочкарева) реальные отношения между культурами, в чем и есть резон и смысл понятия, а пустились в классификационные игры с самим понятием на самом высшем уровне абстрации. Это совершенно неплодотворно. Они объявляют себя последователями В. М. Массона. Но в последней своей книге «Культурогенез Древней Центральной Азии» (2006), В. М. Массон опирается на В. С. Бочкарева, явно предпочитая рассматривать реальные связи и отношения между культурами. Перед созданием этой книги он организовывал конференции и семинары по проблемам взаимодействия

традиций и инноваций, по типам культурной трансформации, по путям культурной интеграции.

Как ученый Массон отличался широтой и разнообразием своих работ, но большой глубины в них не стоит искать. Как человек он был энтузиастом, знающим, толковым, с бешеной энергией, но, может быть, слишком торопливым и, откровенно говоря, не очень умным.

Как бы компенсируя свою ограниченность протоисторическим и историческим временем, под старость В. М. Массон выдал и книгу «Палеолит Восточной Европы». Она посвящена проблемам палеоэкономики, культуро- и социогенеза. В ней рассматриваются также экологический стресс голоцена и ритмы культурогенеза. Можно опасаться, что книга эта, нацеленная осветить палеолит в ракурсе культурогенеза, не заинтересует палеолитчиков.

Эти книги вряд ли прибавят вес имени Массона, но это не уменьшает его значимость. Вклад Массона в археологию и без того достаточно внушителен: прежде всего, он состоит в том, что Массон расширил первоначальный очаг неолитической революции на север и интенсивно исследовал самый северный район протогородских цивилизаций Плодородного Полумесяца. Он написал самостоятельно или в соавторстве 32 монографии и более 500 статей. Работы В. М. Массона опубликованы в США, Англии, Германии, Франции, Италии, Японии и других странах.

5. Ничто человеческое... Для американцев Вадим Массон быстро становился своим. Он по характеру очень напоминал именно американцев — энергичный, знающий, страшно деловой и поверхностный. Бернгард Хэнзель, руководитель преисторического семинара в Берлине, вел с Массоном переговоры о сотрудничестве Свободного университета Берлина с ИИМКом. После переговоров он спросил Массона, что тот предпочитает: чай или кофе. «Мне всё равно, — ответил Массон. — Лишь бы быстрее подписать». Чем шокировал церемонного немца. Трусливым он, безусловно, не был, а был человеком рисковым, честолюбивым и стремительно карьерным. Во всех не касающихся археологии делах он был циничным прагматиком.

В книге «Русские археологи в период тоталитаризма» Формозов (2004: 100) включает Вадима Массона в череду археологов, иллюстрирующих «тип ученого-дельца, мастера саморекламы, охотника за чинами, званиями, деньгами» наряду с Окладниковым, Лесковым, Мартыновым, Пряхиным и почему-то Шером. «Да, они хорошие организаторы. Но беспокоит их вовсе не научная истина, а личный успех,

ради чего они готовы на всё и потому порой весьма опасны для науки». В воспоминаниях Столяра (2004: 435) о Формозове, напечатанных при жизни Формозова и Массона, о Массоне суждение не менее жесткое, но столь же голословное. Он повествует, как в сознании его и Формозова

> «проходила этическая сепарация, "отсеявшая" в частности В. М. Массона. На рубеже 50-х годов этот азиатский пришелец начал с очень энергичной атаки на археологическую поросль Ленинграда и Москвы. С невероятным темпераментом он в беседах, письмах и дарственных надписях на оттисках призывал к беззаветной дружбе и взаимопомощи "археологов разных специальностей". Я тогда соглашался с мнением А. А., что нам встретился "интересный энергичный малый", мы были огорчены его "ашхабадскими неприятностями". Но вскоре А. А. с той проницательностью, которая у него внешне как-то не видится, поставил этой личности точный диагноз: "очень неприятное впечатление". Мальчик твердо решил делать карьеру и жмет вовсю. Но до чего дойдет Массон-Junior, этот елдаш (по-туркменски — "товарищ"), когда он посчитает себя прочно сидящим на коне, мы, конечно, вообразить не могли».

До чего дошел этот «елдаш», осталось за рамками первой части воспоминаний, а вторая так и не вышла. Но незаслуженно обиженный Формозовым Шер (2006: 168) жалуется, что его умеренно критическая рецензия на книгу Формозова была не допущена в «Советскую археологию», членом редколлегии которой был Формозов, «с помощью В. М. Массона». Требовался отзыв ленинградского отделения Института, в котором тогда работал Шер. «Но по настоянию В. М. Массона сектор ее отклонил. Потом мне объяснили, что главным основанием был звонок Формозова Массону» (Шер 2009: 67).

Массон был порядочным человеком, насколько может быть порядочным циничный прагматик. Вторая жена его перешла к нему от археолога Игоря Ильича Коробкова. Галина Федоровна была также известным археологом, ученицей и преемницей Сергея Аристарховича Семенова, руководила лабораторией трасологического анализа. Коробков же продолжал работать в Институте. Массон вообще старался никого не увольнять.

Он не был ни мелочным, ни мстительным. На мою резкую критику не отвечал административными воздействиями, хотя мог бы. Отношения между нами были прохладными, но уважительными. Импонировала его человеческая черта — он, подобно англичанину Крофорду, обожал кошек. Если ему сообщали, что у знакомого есть

красивый кот, обязательно улучал возможность заглянуть. Дома у него была большая коллекция разнообразных изображений кошек.

Но его вжитость в систему государственно-административных отношений (при наших-то азиатских нормах и навыках) порой удручала.

Массон-младший имел прочные связи во всех среднеазиатских республиках, и эти связи ему пригодились после отделения этих республик от России — распада СССР. Особая близость с Туркменией выразилась в том, что он был назначен советником по культуре туркменского деспота Сапармурата Ниязова — Туркменбаши. Понятно, что связи эти нужны были Массону для упрочения своих позиций как археолога, копающего в Туркмении и чувствующего ответственность за памятники, но есть ситуации, когда связи, как бы они ни были полезны, входят в противоречие с принципами.

Супруга В. М. Массона Галина Федоровна Коробкова, преемница С. А. Семенова на посту заведующего лабораторией трасологического анализа

Туркменбаши, создавший режим произвола и террора, вознамерился возвеличить себя как отца нации и создать учение типа северокорейского Чучхе. Туркменбаши провозгласил Единственно Верное Учение, изложенное в фундаментальной книге «Рухнама». «Рухнаму» велено было изучать во всех детских садах, школах и институтах Туркмении, петь о ней песни и славить отца нации.

Настойчиво поговаривают об активном участии советника по культуре в создании этой книги, поскольку сам Туркменбаши с грехом пополам окончил Политех (Ленинградский политехнический институт) и гуманитарного образования не имел. Значительная часть книги является пересказом или прямым плагиатом книги английского историка Босуорта. Может быть, Массон не соавтор, но публично отзывался он об этой книге с придыханием:

> «Чем больше я вникаю в смысл духовности страны и общества во всех многообразных проявлениях. Вместе с тем это должно быть не бездеятельное изучение, как некогда годами "изучали" краткий курс истории ВКП(б), а активная повседневная работа

по деятельному воплощению в жизнь идей и замыслов президента Сапармурата Туркменбаши. "Рухнама" — это многофункциональная концепция. И в ней, в частности, представлены просветительский, познавательный, воспитательный аспекты. Выход в свет книги должен стимулировать всестороннюю активную деятельность во всех сферах и, прежде всего, в интеллектуальной жизни Туркменистана» (интервью с В. М. Массоном в turkmenistan.ru 2 марта 2001).

Привычка — вторая натура. Сказался долгий советский опыт обязательного славления сначала кровавого грузина-генералиссимуса с его «Кратким курсом», потом маразматического Брежнева с «Малой землей». И то сказать: не питерский археолог высказывался, а председатель научного совета Международного института культурного наследия народов Туркмении; лауреат премии Махтумкули...

В. М. Массон в 2000-е гг. — после директорства.

Где сейчас Туркменбаши? А слова, недостойные выдающегося ученого, остались на бумаге.

В Москве не забыли и не простили ему отделения ИИМКа от Москвы. Когда в Институте его ближайшие более молодые помощники, с поддержкой ли Москвы или без нее, убрали Массона из руководства, он тяжело переживал свою отставку с поста директора и заведующего сектором. Быть может, его пассы в сторону Туркменбаши были связаны именно с попытками доказать свою значительность. Последние его годы были трудными и горькими. Массон перенес инфаркт и почти ослеп. В августе 2008 г. умерла его супруга. В феврале 2010 г. его не стало.

Вероятно, сочувствие к его тяжкому состоянию и обида за его бесцеремонное оттеснение от руля вызвали реплику профессора С. В. Белецого в Интернете: «Ушел последний из великих ИИМКа. Остались пигмеи».

Мастера

Великий Мастер с нивелиром
Стоял средь грохота и гула
И прошептал: «Идите с миром,
Мы побеждаем Вельзевула».

Н. Гумилев. Средневековье. 1915

У археологов всегда держится в уме не только черный список коллег, данным которых нельзя доверять, но и золотой список тех, данные которых всегда надежны и выводы которых почти всегда осторожны, трезвы и остроумны. У которых всегда стоит поучиться. Это не всегда самые маститые археологи, не всегда лидеры, потому что лидерство подразумевает смелые гипотезы и риск ошибок. А надежность данных требует большого мастерства и осторожности. В такой список советские археологи наверняка включили бы А. А. Иессена, И. И. Ляпушкина и М. П. Грязнова. Москвичи добавили бы В. Д. Блаватского, питерцы — В. Ф. Гайдукевича.

Рыцарь археологии

А. А. Иессен

В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти перекат,
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.

Б. Пастернак. Смелость. 1941.

1. Происхождение и офицерская молодость. Сколько я себя помню в археологии, Александр Александрович Иессен был перед моими глазами, и я о нем в сущности ничего не знал, кроме очевидных научных достижений. Всю жизнь Александр Александрович старался быть незаметным — частично из врожденной порядочности и скромности, частично из опаски. В советской жизни ему, по-видимому, было муторно и зябко.

Через 30 лет после его смерти, к 100-летию Иессена его коллеги по Эрмитажу выпустили сборник, а в нем его многолетняя соратница по экспедиции К. Х. Кушнарева опубликовала его биографию, неожиданную для многих.

Происхождение и ранние годы Александра Александровича Иессена (1896–1964) нам известны прежде всего по его автобиографиям (Автобиография 1940, 1951). Потомок русифицированных датчан, А. А. Иессен — петербуржец. Прадед Петр Петрович, сын пастора, эмигрировал в Россию в 1823 г. из Шлезвига, тогда датского (Пруссия захватила эту территорию позже). Он стал профессором, автором многих трудов, и первым директором Юрьевского (Дерптского) ветеринарного института и получил полагавшееся по чину потомственное дворянство.

Дед Людвиг Петрович был востоковедом и дипломатом, знал 14 языков. Служил в посольстве в Тегеране — уже после гибели там Грибоедова.

Отец, Александр Логинович (Людвигович), агроном, окончивший философский факультет Лейпцигского университета, состоял на частной службе и до 1917 г. заведовал частными имениями и конторами фирм. После революции служил в Рабоче-Крестьянской Инспекции в Петрограде, а с 1921 по 1935 г. — на заводе «Красный Треугольник». Мать, Мария Робертовна, уроженная Мазинг, домохозяйка. В середине 30-х отец попал в мясорубку террора: в марте 1935 г. был выслан из Ленинграда в Уфу, без права выезда, паспорта и пенсии. Там 75-летний старик был арестован в 1937 г. и расстрелян (семье было сообщено, что он отправлен в северные лагеря без права переписки; дату расстрела сын узнал уже в 1957 г., когда отец был посмертно реабилитирован). Мать умерла в 1938 г. Александру Александровичу было тогда больше сорока, и он был уже давно работником Эрмитажа.

В 30-е гг. пришлось сжечь семейный архив.

Младший брат отца, агроном, проживал в окрестностях Риги и оказался не в границах Советского Союза. Поэтому репрессий избежал, с 1921 г. или около этого времени переселился в район Данцига, и с конца 20-х гг. связь с ним прервалась: переписка с родственником за границей была чрезвычайно опасна. Само его существование было для А. А. Иессена дополнительным отягчающим обстоятельством.

Сам Александр Александрович тоже провел больше года за границей: мальчиком в 1910–1912 гг. он болел костным туберкулезом

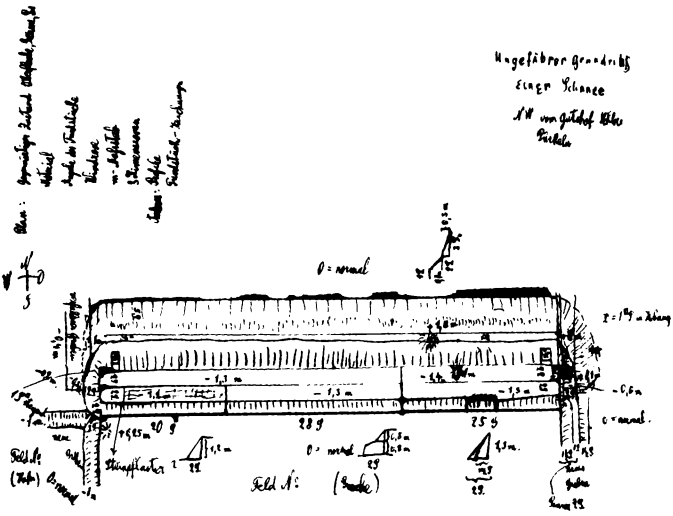


Схема (с обмерами) руин шведского укрепления под Петербургом, составленная Шурой Иессеном в 13 лет (из сборника памяти Иессена)

коленного сустава и пролежал почти два года, из них 15 месяцев на лечении в санатории в Лесэне (Швейцария). Но, несмотря на плохое здоровье, мальчик увлекался военным делом, любил играть в солдатики, знал корабли и их оснащение. Любил лошадей и с детства ездил на них и умел их обихаживать. В 13 лет составил схему руин шведского укрепления и провел его точные обмеры — записаны на немецком языке (схема сохранилась в его бумагах). Его кумиром был дядя адмирал Карл Петрович Иессен — командующий отрядом крейсеров во время русско-японской войны.

Раннее детство Шура Иессен провел в Курской и Киевской губерниях, но ко времени гимназического обучения семья оказалась в Петербурге. В гимназии Реформатского училища в Петербурге его учителями были О. Ф. Вальдгауэр и В. В. Струве (впоследствии глава античного отдела Эрмитажа и академик). Иессен хорошо владел немецким и французским, хуже знал английский. На немецком писал стихи. В гимназии выучил латынь и греческий. К 1915 г. юноша окончил гимназию с золотой медалью и поступил в Петроградский университет, но шла война, и юноша оказался в Михайловском артиллерийском училище, ускоренный курс которого прошел и весной 1916 г. был выпущен прапорщиком.

Прапорщик А. А. Иессен в мае 1916 г.

В 1916–1917 гг. участвовал в Первой мировой войне артиллеристом, в конце начальником связи дивизиона (дослужился до чина подпоручика, по-современному — младшего лейтенанта). За храбрость был награжден боевыми орденами Анны и Станислава. В декабре 1917 — январе 1918 г. был выборным командиром батареи.

В январе 1918 г. воинскую часть, уже Красной армии, отправляли на бои с петлюровцами. Иессен отказался участвовать в Гражданской войне. Он был задержан и доставлен в штаб VII Армии. Его продержали под арестом 4 дня, допросил его лично командарм Триандафилов

и не расстрелял, а отправил домой с советом разобраться в революционных событиях. Иессен вернулся в Петроград в феврале и демобилизовался. Это дало ему возможность возвратиться на историко-филологический факультет Университета. Продолжать занятия было трудно: приходилось подрабатывать, служа сначала в страховом обществе «Помощь», потом в Комитете Гос. Сооружений.

Весной 1919 г. был призван в РККА и отправлен на северо-западный фронт в район Пскова — Острова, где шли бои против войск белоэстонцев и Юденича. Командовал сначала взводом, потом батареей и был начальником связи и разведки дивизиона. С окончанием военных действий и заключением мира с Эстонией в январе 1920 г. дивизия была направлена в тыл и переведена в трудармию, а Иессен был переведен в ведомство военно-учебных заведений (Гувуз), где прослужил строевым командиром по июль 1922 г.

Но мирной жизни это не означало. В октябре 1920 г. его отправили во главе Петроградской бригады курсантов на Южный фронт. По окончании кампании против Врангеля, а затем против Махно с февраля 1921 г. Иессен служил помкомандира батареи 7-х Севастопольских Арткомкурсов и вел преподавательскую работу. В январе вернулся в свою Артшколу в Петроград, откуда в июле 1922 г. был демобилизован для продолжения учебы. С 1922 г. в семейном архиве сохранилась хартия, в которой молодой Иессен изложил основы воинской чести, как он ее понимает (Кушнарева 1996: 14):

> «Воин — это рыцарь в лучшем смысле этого слова.
>
> Воин — это тот, кто ради защиты своих близких берет на себя самую тяжелую ответственность — берет на свою совесть возможную смерть людей.
>
> Воин — это ангел-хранитель, это старший брат, это лучший друг человечества.
>
> Я снимаю с себя оружие, я покидаю ряды государственной армии, но я клянусь всегда и во всем стремиться быть воином. И я не забуду своего девиза: жить — это значит бороться (Vivere militare est)».

Это было написано не для официального оглашения или для печати. Это для себя. Если из грязи и крови Первой мировой и Гражданской войн он мог вынести такие убеждения, то это был идеалист высшей пробы. Неясно, от кого в его представлении воин должен был защищать своих близких — кто враг, и классовый он или национальный. Если в Первой мировой еще была некая определенность, то Гражданская война сбила ориентиры. Но вот же как-то Иессен

для себя решил эту проблему, после колебаний (отказ участвовать) сделал выбор...

Вернувшись в Университет по командировке Пуокра (Пролитуправления военного округа), с 1924 г. стал участвовать в археологических экспедициях, к 1925 г. (в почти 30 лет) окончил Ленинградский университет по археологическому отделению факультета общественных наук. Параллельно с учебой служил в тресте Электроток линейным контролером. В начале 1926 г. был зачислен нештатным, а затем штатным аспирантом ГАИМК. Проходил аспирантуру под руководством А. А. Миллера и, окончив в 1929 г., стал научным сотрудником ГАИМК — в 33 года.

Жена А. А. Иессена (брак с 1927 г.) также из иммигрантов — Ирина Федоровна Геккер, дочь врача.

2. В ГАИМК и Эрмитаже. В 1929 г вышла первая печатная работа. С 1929 г. Иессен стал ежегодно выезжать в поле уже не сотрудником, а начальником экспедиций. Его специализация — бронзовый век Кавказа. Иессен — пионер в изучении металлургии и металлообработки в СССР. Он ввел понятие «очага металлургии и металлообработки», построил периодизацию бронзового века Кавказа, выделил прикубанскую культуру, датировал майкопскую культуру.

С октября 1927 г. работал совместителем в Эрмитаже в эллиноскифском отделении, затем в секторе доклассового общества. В 1930 г. был арестован его коллега Г. И. Боровка по обвинению в шпионаже. В 1931 г. пошли массовые чистки в Эрмитаже, как и в ГАИМК. Иессен их прошел благополучно, хотя трепка нервов была изрядная. В 1934 г. он оставил работу в Эрмитаже, так как был назначен в ГАИМК ученым секретарем Института археологической технологии, которым до 1930 г. руководил М. В. Фармаковский, брат основателя петербургской школы классической археологии. Но, проработав на этом посту менее года (тогда в Академии шли постоянные перестановки), остался просто действительным членом этого Института. Отсюда интерес Иессена к древней металлургии. В 1930 г. был арестован М. В. Фармаковский, а в 1933 г. — учитель Иессена А. А. Миллер. Это были тяжелые удары. Можно сказать, снаряды падали уже совсем близко.

В 1935 г. Иессен участвовал в III Международном конгрессе Иранского искусства в Москве как докладчик. В 1935 же году вышла его пионерская работа «К вопросу о древнейшей металлургии меди на Кавказе» — без нее немыслимо дальнейшее изучение предмета. С июля 1935 г., учитывая освобождение от поста ученого секретаря

Института, вернулся на работу в Эрмитаж, где с 1936 г. стал одним из создателей Отдела доклассового общества (позже переименованного в Отдел истории первобытной культуры) и его заведующим. Напоминаю, что в марте 1935 г. родителям Александра Александровича было велено выехать из Ленинграда в Уфу, где они были на высылке под надзором НКВД и должны были каждый месяц являться в комендатуру на проверку. А в декабре 1937 г. отец был арестован и расстрелян. Советские недоумки подрубали корни семьи, давшей стране воина-рыцаря и замечательного ученого.

А. А. Иессен в 1940 г.

Летом 1937 г. А. А. Иессен был членом комиссии по переводу ГАИМК в состав Академии наук в качестве Института и стал научным сотрудником этого Института — ИИМК. В 1938 г. ему без защиты была присуждена степень кандидата исторических наук.

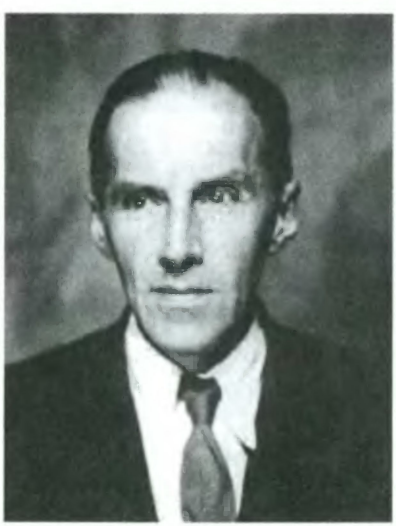
Во время войны Александр Александрович просился на фронт, но его не взяли: подозревали, что он немец. Правда, не выслали, как Бадера: не хватало формальных оснований. Но оказался всё-таки там же, где был Бадер, — на Урале: 1 июля его с первым эшелоном Эрмитажа вывезли в Свердловск. Правда, в августе 1941 г. его мобилизовали в армию, но пробыл он там недолго и лишь в Уральском военном округе. В январе 1942 г. его, 46-летнего и больного, демобилизовали, и он вернулся в филиал Эрмитажа. Там, в эвакуации, изучал раннюю металлургию Урала (был в 1944–1945 гг. профессором Уральского университета).

В эвакуации написал свою небольшую и неожиданную книгу «Греческая колонизация Северного Причерноморья, ее предпосылки и особенности», она вышла в 1947 г. Для Иессена она не была неожиданной. В ней были рассмотрены древнейшие связи Северного Причерноморья и Предкавказья с Эгейским миром и Балканами — постоянная тема Иессена. Но выводы были — о греческой колонизации. Он показал, что рассматривать ее нужно с обеих сторон, с местной, понтийской, тоже, что это был двусторонний процесс. Книга Иессена

вызвала серию продолжений и возражений. Постановка вопроса была новой, но на ней лежала печать общего увлечения повсеместной автохтонностью. Впоследствии победила противоположная точка зрения — что греческая колонизация была вызвана не местным развитием колонизуемых территорий, а прежде всего процессами в самой Греции. Но сама постановка вопроса была полезной.

Вернувшись после войны в Ленинград, продолжал свою главную тему — кавказоведение. На рубеже 50-х выделил предскифские памятники, и, несмотря на то что он был плохим оратором, говорил очень тихо, его докладу зал аплодировал стоя. В 1950 г. вышла его статья «К хронологии больших кубанских курганов», в которой завершен и разрешен спор о периодизации и хронологии этих курганов — майкопского и сопряженных с ним памятников. Он окончательно доказал, что это ранний бронзовый век, и разбил эту группу на два этапа, показав, что Майкоп относится к раннему.

В 1951 г. Иессен выступает с большой статьей «Прикубанский очаг металлургии и металлообработки в конце медно-бронзового века». В ней вместо неопределенного понятия «металлургический центр», господствовавшего в тогдашней археологии, он вводит точное понятие «очаг металлургии и металлообработки», показав, что этот очаг имеет четкие границы. У него еще не было представления, что эти очаг металлургии и очаг металлообработки — разные понятия и могут иметь несовпадающие границы, но путь к этому пониманию был проложен.



А. А. Иессен — лидер советского археологического кавказоведения и археологического изучения металлообработки в бронзовом веке

Фактически Иессен был создателем и лидером советского археологического кавказоведения, но официально таким лидером считался клеврет академика Рыбакова Е. И. Крупнов, ученики которого регулярно проводят ныне Крупновские чтения. Как пишет Формозов (2011: 62): «В докторской и лауреатской книге Крупнова основные выводы беззастенчиво заимствованы у Иессена».

В 1955 г. Иессен уступил свой пост заведующего первобытным отделом Эрмитажа М. З. Паничкиной, а в 1960 г. в связи с ликвидацией совместительства покинул Эрмитаж, оставшись только сотрудником ИИМК.

В последние годы жизни Иессен 10 лет занимался Закавказьем, из них 7 лет руководил крупной совместной экспедицией Академии наук СССР и Азербайджанской Академии наук. Это была Оренкалинская экспедиция в Мильско-Карабахской степи. Он открыл там памятники неолита и раннего энеолита — впервые на Кавказе — и под конец решил раскопать огромный курган близ Уч-тепе, без внешних следов ограбления, надеясь найти погребение типа Майкопского. Копали два года, но, к великому разочарованию Иессена, в кургане было средневековое погребение и следы уничтоженной могилы бронзового века. Вскоре экспедиция была расформирована, так как азербайджанцы решили исследовать эти плодородные места сами, без ленинградских коллег.

А. А. Иессен. Отдых в кавказском антураже

Оба эти удара подкосили здоровье Иессена. У него онемели ноги, а через несколько месяцев он умер — в возрасте 68 лет.

3. Образ ученого. Облик его сильно изменялся в течение жизни. В молодости это был сильный и бодрый здоровяк-воин, а в пожилом возрасте тощий и болезненный интеллигент с костлявым и нервным лицом, с трагическим изломом бровей. Это видно на фотографиях. Перемена произошла за тридцатые годы — тяжелые для всей страны и для Иессена лично. Иессен послевоенного времени — тихий, незаметный, неслышный, весь ушедший в работу. Таким и я его помню.

Он был чрезвычайно деликатен и стеснителен. Вспоминаю, как однажды он запнулся в докладе на заседании перед описанием весьма откровенной сцены на античном изображении. Он мялся, краснел, бледнел и не находил слов. «Здесь изображено... э-э... как

бы это сказать...» Тут раздался властный голос проф. А. А. Передольской, видной античницы: «Ну, Александр Александрович, здесь же не Институт благородных девиц. Скажите прямо...». И она назвала вещи своими именами. От-чет-ли-во. По скла-дам.

Его ученица К. Х. Кушнарева (1996: 15) затруднилась четко ответить на вопрос, что было главным в его творчестве.

> «"Древняя металлургия", — скажут одни. "Металлургия Кавказа", — уточнят другие. "Майкопская культура", — ответят третьи. "Археология Юга СССР", — возразят четвертые. "Кавказ и древний Восток", — будут настаивать пятые. Будут правы все, и каждый сможет доказать свою правоту. А вот сам А. А. неоднократно говорил, что в археологии его больше всего интересуют культурные связи Востока и Запада».

Сухой, тихий, очень вежливый и скромный, Иессен был чрезвычайно осторожным, аккуратным и методичным исследователем — истинный ученик Миллера, более других на него похожий тематикой и всем исследовательским обликом. Работал с безупречной добросовестностью. Публиковал очень мало и редко, но каждая его работа высоко ценится специалистами. Но в чем-то были и отличия от Миллера: миллеровской «табели о рангах» Иессен у себя в экспедиции не признавал. Своим начальственным положением никогда не пользовался в распределении благ. Даже не имел особой комнаты в экспедиции — жил вместе со всеми.

Та же Кушнарева (1996: 18) пишет о его полевой работе в последней экспедиции.

> «Я работала в экспедиции все семь лет ее существования. Каждый год мы проводили в поле по четыре-пять месяцев. <...> Работал А. А. от зари до глубокой ночи. Всегда подтянутый, хорошо выбритый, в безукоризненно чистой одежде, деловой и очень требовательный к сотрудникам, но спокойный, ровный и всегда приветливый, он создавал вокруг себя удивительно здоровую и добрую рабочую атмосферу».

Когда в июле 1956 г. за день до отъезда загорелись машины и дом экспедиции в открытой степи, все были в панике. Сгорали вещи, деньги, чертежи. Все выбежали наружу. Но в окнах объятого пламенем дома появлялась и исчезала фигура Александра Александровича. Рискуя жизнью, он сбрасывал вниз ящики с материалами, приготовленные к отправке. Коллекции и документация были спасены. Он был верен своему девизу, записанному в 1922 г.

Эрудиция его была гораздо шире, чем его специализация. По воспоминаниям Грязнова, однажды во время войны они сидели в академической столовой с расписным фризом под потолком. Глядя на роспись, Иессен проронил: «Вот это скопировано с такого-то источника, а это с другого. — И неожиданно добавил: — Вот так и майкопский пояс». Позже вышла его работа, в которой было показано, что знаменитый майкопский пояс из Нью-Йоркского музея — подделка. «Выводы Александр Александрович взял с потолка», — шутил Грязнов. Иессен обладал феноменальной памятью и подробнейшей личной картотекой, по которой после войны воссоздавал в музейных собраниях комплексы из перемешанных и депаспортизованных коллекций. После его смерти остались богатейшие «Иессеновские подборки» материалов по темам, которыми он занимался.

С Венерой и мотыгой

В. Д. Блаватский

Я больше дольних смут не вижу,
Ничьих восторгов не делю;
Я никого не ненавижу
И — страшно мыслить — не люблю!

Но, с высоты полета, бездны
Открыты мне — былых веков:
Судьбы мне внятен ход железный
И вопль умолкших голосов.

Прошедшее, как дно морское,
Узором стелется вдали;
Там баснословных дней герои
Идут, как строем корабли.

В. Брюсов. В горнем свете. 1918.

1. Ученичество. Владимир Дмитриевич Блаватский (1899–1980) родился в Петербурге. Отец его, дворянин, был таможенным чиновником, так что детство и юность будущего археолога прошли в постоянных переездах из одного пограничного города в другой. Но с повышением отца по службе он переместился в центр, и последние годы гимназической учебы Владимира прошли в Москве. Ко времени революции (1917) он окончил гимназию с медалью и поступил в Московский университет на отделение античного искусства.

Дома жизнь стала значительно труднее. Сравнительно просторная квартира чиновника высокого ранга была превращена в обычную советскую коммуналку. Первые годы в Университете были связаны с трудностями бытового порядка (разруха, голод, холод) и с утратой части профессуры (эмиграция, увольнения), а с 1921 г. начались революционные перестройки образования. Стабильные

программы и критерии исчезли, на первый план выступили грубая социологизация и лозунговая риторика. К тому же учеба подрывалась необходимостью поиска подработок и была прервана военной службой в Московском гарнизоне с 1919 по 1922 г. В 1923 г. Блаватский закончил уже не историко-филологический факультет, а факультет общественных наук. Сколько лет выходит чистой учебы? Но в университетах Англии и сейчас учатся три года.

Основным местом работы (и это на долгое время) стал Государственный музей изобразительных искусств (ныне имени Пушкина). Это был тяжелый и нудный труд, в основном технический — инвентаризация и идентификация экспонатов. Но этот труд дал ему непосредсвенное владение материалом — античными расписными вазами. Это и были сюжеты его первых публикаций.

Кроме этой основной работы Блаватский вошел в коллектив искусствоведов, собранный в Государственной академии художественых наук (позднее Академия искусствознания), а с 1925 г. поступил в аспирантуру РАНИИОН. Аспирантами Блаватский и Кобылина состояли у А. С. Башкирова, поэтому они должны были участвовать в его Таманской археологической экспедиции. Но Блаватский быстро сообразил, что это не та археологичсекая школа, которая ему нужна, что настоящую школу античника можно получить только в Ольвийской экспедиции Фармаковского.

Именно с 1925 г. она возобновилась. Блаватский принял участие в этой экспедиции, работал там пять сезонов (несколько лет уже без умершего Фармаковсого) и прошел великолепную школу. В дальнейшем Блаватский всегда считал себя учеником Фармаковского. Побывал он и в Северо-Кавказской экспедиции у Миллера.

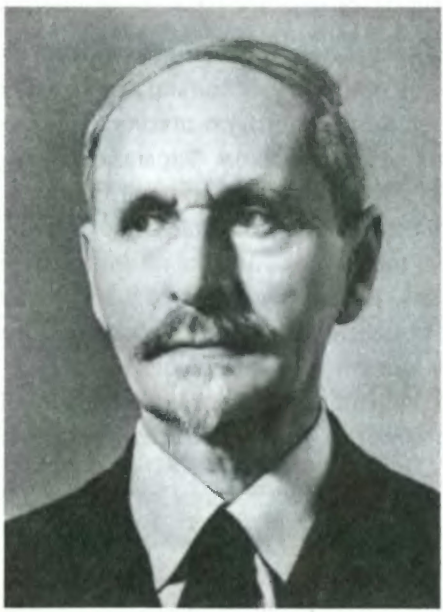
Аспирантуру он окончил в 1929 г., защитив кандидатскую диссертацию на тему «Чернофигурные лекифы V века до н. э. из эллинских городов Северного Причерноморья». Нужно учесть, что в то время как видные советские археологи, коллеги Блаватского, оканчивали аспирантуру без защиты и получали ученую степень без защиты — приказом по министерству просвещения, Блаватский свою степень получил академически безукоризненно — в результате защиты диссертации.

2. Профессиональный рост. Репрессии, которые обрушились на советскую археологию, музеи и ГАИМК с началом 30-х гг., как-то миновали Блаватского. Убедившись, что другие античные экспедиции могут мало что добавить к его уже неплохому опыту, нажитому

в экспедиции Фармаковского, Блаватский начал в 1930-е гг. проводить самостоятельные раскопки. Несколько лет он копает римскую крепость Харакс в горном Крыму, затем проводит раскопки в Камыш-Буруне около Керчи, в Керчи (древний Пантикапей — раскопки на горе Митридат) и несколько лет копает Фанагорию (на Таманском полуострове). Средств на раскопки выделялось мало, но Блаватский распределял их так, чтобы при этом минимуме средств получить максимум возможной информации (Кошеленко и Масленников 2000).

С ним стали считаться. Взяли сначала внештатным, а потом и штатным сотрудником в московское отделение ГАИМК, благо ГАИМК сильно поредела от арестов и чисток. Тогда же Блаватский и начал преподавать, причем сразу стал читать лекции аспирантам. Тогда существовали специальные институты аспирантуры при научных учреждениях. Вот его и взяли доцентом в такие институты при ГИМе и при Академии архитектуры. А с 1939 г. он стал доцентом исторического и филологического факультетов Московского университета.

Рассказывая о вечеринке 1938 г. у Арциховского, Г. Б. Фёдоров (1997/2007) описывает фигуры приглашенных начальников экспедиций образно и метко, как он это умеет. В их числе у него описан и представленный Арциховским как «лучший специалист по античной археолодии» (тот всех представлял как «лучших») «невысокий, но словно стоящий на ходулях, также с бородкой и усиками, необычайно, как-то ненатурально церемонный — Владимир Дмитриевич Блаватский. Этот "лучший специалист по античной археолодии" был на несколько лет старше остальных — ему было сильно за сорок». Если это не ошибка памяти, то, видимо, Блаватский выглядел старше своих лет: в 1938 г. ему было 39. Он был сверстником Гракова, но действительно на 3–8 лет старше остальной компании — Ар-



В. Д. Блаватский

циховского, Киселева, Толстова и Пассек. Много старше всех был только Брюсов — ему тогда было за 50.

Возрастное старшинство наряду с традиционным старшинством античной археологии над другими отраслями, на чем настаивали немецкие археологи-классики, подчеркивало реальную опытность Блаватского и создавало для него среди археологов ореол умудренного авторитета, мастера по гамбургскому счету.

Он стал считаться ценным преподавателем, хотя и не выговаривал [р] и [л], заменяя их звуками [в] и [у] соответственно. Преподавание обычно стимулирует людей творчески активных на обобщение деталей и осмысление целых систем, целых отраслей знания. Действительно, Блаватский разработал курсы лекций, а так как в стране в 1938–1940 гг. поощрялось создание учебников, Блаватский предложил свои курсы, и они вышли как книги: «Архитектура Древнего Рима», «Архитектура античного мира» и «Греческая скульптура». Он сразу стал автором вузовских учебников, то есть видным и авторитетным ученым, со своей концепцией истории искусства.

Чтобы укрепить свое положение, Блаватский начал работать над докторской диссертацией. Темой он выбрал «Технику античной скульптуры». Во-первых, это было ново — никто эту тему всерьез не разрабатывал. Изваяния изучались только с эстетической точки зрения (по форме) или с социологической (по содержанию). Во-вторых, это было очень по-советски, с подчеркиванием производственного начала, как положено марксисту. Марр же провозглашал: «Долой Венеру Милосскую, да здравствует мотыга». Но быстро было понято, что это в лучшем случае сказано для красного словца, а в худшем — крайнее преувеличение. Но любой художник, скульптор, архитектор должен знать и свою профессию как ремесло — владеть камнерезным мастерством, правилами строительства, технологией красок. Блаватский же предусматривал синтез двух сторон анализа — искусствоведческой и технологической, для которой и пригодится археологическая подготовка.

3. Военное испытание. Вся эта работа была прервана Отечественной войной. Поскольку Блаватскому в 1941 г. было уже 42 года, он не подлежал призыву, но в июле 1941 г. оказался в рядах Московского народного ополчения, в 8-й Краснопресненской дивизии. В январе 1942 г. он получил тяжелую контузию (повреждены были рука и слух) и вернулся вместе с другими уцелевшими ополченцами из преподавательского состава в Москву.

Он был включен в Государственную чрезвычайную комиссию по учету ущерба, нанесенного немецко-нацистским нашествием музеям и культурному достоянию страны. Это огромная работа, с выездами на места, с проведением исследований в тяжелейших условиях военной разрухи, часто при полном отсутствии документации.

В апреле 1943 г. Блаватский защитил докторскую диссертацию, выполненную в довоенные годы, и в том же году стал професором кафедры археологии МГУ. Тогда же в ИИМКе он организовал сектор античной культуры. В этом плане он содействовал переводу центра института из Ленинграда в Москву: до того центром античной археологии в стране был Ленинград. В 1944 г. Блаватский был избран членом-корреспондентом Академии архитектуры.

В организации античного сектора в Москве был для таких московских археологов, как Блаватский, весьма жизненный интерес. Дело шло буквально о выживании. Ведь в Ленинграде созрел после войны мятеж, возглавленный Равдоникасом, нацеленный на принижение и разгром московской археологии, объявление ее антимарксистской. В 1948 г. Равдоникас выступил с разгромным докладом, и поначалу маститые московские археологи мялись и выступали очень нерешительно: в памяти было слишком свежо недавнее заседание сельхозакадемии, где с аналогичным разгромом генетики выступил академик Лысенко. Блаватский выступал даже заискивающе — с пространными похвалами ленинградцу Фармаковскому: на всякий случай примазывался к вероятным победителям. Несмотря на его обычные дефекты речи, это-то было достаточно ясно.

Вообще в России мужество в боях вовсе не обязательно гарантировало такую же повадку в отношениях с властью.

Только после решительных выступлений молодежи — Рабиновича и Фёдорова — «старики» стали выступать решительно и разделались с Равдоникасом. М. Г. Рабинович (2005: 260–261) в своих мемуарах вспоминает:

> «А теперь мы удостоились одобрения старших. Блаватский (единственный раз за всю мою жизнь!) подарил мне свою книжку.
>
> — М-м-м, дорогой, мне особенно пвиятно сдевать вам этот м-м-м — подавок в знак того, что нам, стаушим, отвадно, м-м-м, видеть в моодых такой, м-м-м, запав. То есть что мы, м-м-м, недаом на вас надеялись еще в студенческие ваши годы».

А Арциховский пожал ему руку (почему-то тайком). Подарок Блаватского Рабиновичу тем более значим, что Блаватский ненавидел

евреев — по воспоминаниям Белецкого, когда он говорил о евреях, его трясло. И вот же, подарил книгу Рабиновичу!

4. Изучение Боспорского царства. После Отечественной войны развернулись масштабные раскопки Блаватского. В 1945–1958 гг. он руководит Пантикапейской экспедицией — проводит раскопки Пантикапея, столицы Боспорского царства, а кроме того, в некоторые годы проводит и разведки прилегающей территории — Керченского и Таманского полуостровов (Пантикапей располагался у пролива). Долгое время археологи копали здесь почти исключительно гробницы, где можно было найти произведения искусства и плиты с надписями. Блаватский стал раскапывать сам город. Раскопки города, просуществовавшего около полутора тысяч лет, с перекопами и нарушениями слоев, требовали большого мастерства. Пригодилась школа Фармаковского. Раскопки города позволили поставить целый ряд проблем социально-экономического плана (Кузищин 1986).

В экспедициях Блаватского участвовали сотрудники сектора и много студентов. Всем им Блаватский предоставлял категории материалов для исследований и публикаций, оставляя за собой основную часть отчетов, обобщение и основные выводы. Итогом этих исследований явилась книга «Пантикапей», вышедшая в 1964 г.

На Таманском полуострове полевому исследованию подверглись сельское население — хора Боспора, которая до того почти не изучалась. Итогом явилась книга 1953 г. «Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья».

В 1958–1969 гг. Блаватский встал во главе советско-албанской экспедиции и выехал в Албанию для изучения чисто греческого города. За три сезона экспедиция провела раскопки Аполлонии Иллирийской и Ориона. Планы продолжения работ сорвал разрыв отношений между Албанией и СССР.

Новаторской стала Подводная Азово-Черноморская экседиция Блаватского 1957–1965 гг. Подводные работы проводились с археологическими заданиями и раньше. Но водолаз в тяжелом скафандре уходил под воду, а археолог на корабле принимал доставаемые им находки. Такая археология мало отличалась от археологии XVIII–XIX веков по методике. После изобретения акваланга Ив Кусто первым использовал его для погружения самих археологов под воду и разработал методику расчистки и фиксации находок под водой. Блаватский первым в СССР оценил эти возможности и стал использовать их. Он сообразил, что это сгодится не только для обнаружения затонувших

кораблей, но и для обследования прибрежных поселений, ушедших под воду при опускании суши или подъеме уровня моря. В частности, 2/5 Фанагории оказались под водой.

Итоги и перспективы этого дела он изложил в совместной со своим учеником Г. А. Кошеленко книге 1963 г. «Открытие затонувшего мира».

Научная карьера Блаватского не была сплошным движением от триумфа к триумфу. Серьезной критике подвергась книга Блаватского 1947 г. «Искусство Северного Причерноморья». Старая ленинградская исследовательница М. И. Максимова (1949) в своей рецензии в «Вестнике древней истории» указала на поверхностность и чрезмерную лаконичность анализа Блаватского, игнорирование важных и актуальных тем, шаткость доводов, случайнось рекомендуемой литературы.

Некоторые идеи Блаватского и позже вызывали споры и неприятие. Такой была его идея, что греческая колонизация началась с устройства эмпориев (торговых факторий), а не апойкий (выселков), то есть имела торговое начало, а не земледельческое. Спорили и о его кардинальном отделении античного, греческого общества от Древнего Востока. Восток, более застойный, повлиял на мир развитием религий, тогда как греческий мир, быстро развивающийся, дал миру науку и политику. Блаватский считал, что в основе этого лежит уникальность полиса, тогда как его оппоненты усматривали близкие явления и на Востоке.

На шестом десятке здоровье Блаватского резко ухудшилось. После 1965 г. он уже не участвовал в экспедициях, но не прекращал кабинетной работы.

Если посмотреть список его монографий, то бросается в глаза энциклопедичность. Кроме названных, в список входят «История античной расписной керамики» 1953 г., «Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья» 1954 г., «Природа и античное общество» 1976 г. В совокупности получается целая библиотечка, охватывающая все отрасли античной археологии и античного искусства с упором на греческие колонии Северного Причерноморья.

5. Обучение мастерству. За долгие годы полевой работы Блаватский сложился как выдающийся мастер раскопок античных памятников. Это сказалось на всем его облике. Еще говоря о конце 20-х гг., Б. Б. Пиотровский (2009: 63) живописал, как среди археологов Кавказа появился: «...археолог-античник В. Д. Блаватский в белой

На коллективном снимке Северо-Кавказской экспедиции на Нальчикском могильнике в 1929 г. Блаватский виден во втором ряду по правую руку от поднявшегося над всеми Б. Г. Деген-Ковалевского. По левую руку от Дегена стоит А. А. Миллер с сумкой, а рядом с ним, заслоняя частично Блаватского, — А. М. Оранжиреева. Во втором же ряду с другого края от Блаватского стоят Б. Б. Пиотровский и А. А. Иессен

гимнастерке, белой фуражке, в черных высоких сапогах, с сумкой через плечо, в которой были разные лопаточки, совочки, шилья. Он своего внешнего облика не изменял и в последующие годы, всегда изысканно вежливый».

Фармаковский свое умение передавал ученикам живьем, не оставив описаний. Блаватский решил зафиксировать сложившуюся методику. В 1961 г. он написал книгу «Античная археология Северного Причерноморя». В ней он описал систему памятников, с которыми имеет дело наш археолог-античник. В 1967 г. выпустил книгу «Античная полевая археология», в которой изложил методику раскопок этих памятников. Книга эта служит учебником для всех античников до сих пор, особенно московских. Питерские античники считают книгу Блаватского несовершенной передачей методики Фармаковского — у них другие, более прямые каналы передачи опыта: продолжавшаяся десятилетиями Ольвийская экспедиция, Херсонес, и ученики Фармаковского — Книпович, Карасев, Леви.

В Институте археологии РАН учрежден мемориальный кабинет В. Д. Блаватского — честь, которой никто больше не удостоен. Учреждение мемориального кабинета — славная затея, уникальность же его способна вызвать недоумение. Неужели никого нельзя поставить рядом? Арциховского? Но уместнее на кафедре. Рыбакова? Но уж больно дискредитированы концепции. Бадера? Воеводского? Толстова? Киселева? Брюсова? По каждому есть поводы для отвода — то большее участие в других коллективах, то масштаб не тот, то слишком много обиженных и недовольных. Знающий, вежливый и заботливый Блаватский оставил по себе хорошую память. Пестовал учеников, даже материально помогал им. Создал античную археологию в Москве.

Я хорошо знал ученицу Блаватского А. В. Давыдову, работавшую в Ленинграде на кафедре. По личным обстоятельствам (выход замуж) она сменила город (Москву на Ленинград) и специализацию — с античности на Сибирскую археологию, но читала и курс античной археологии, славилась своей строгостью и знала всех в археологии. По методичности, требовательности и норовистости она была поистине Блаватским в юбке. За многие годы повседневного общения Блаватского она не упомянула ни разу...

Победительный педант

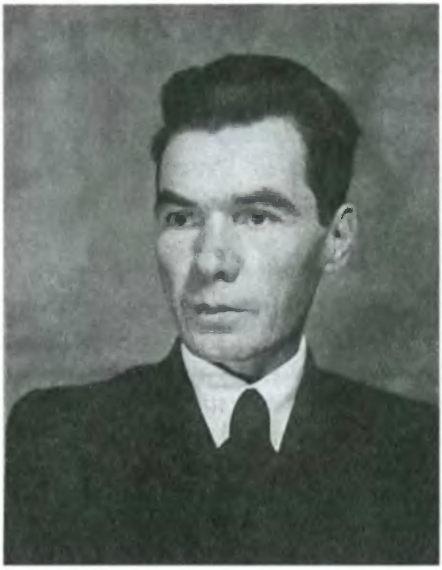
И. И. Ляпушкин

Не удивляйся ты, что всех он презирает,
Что, дорожа собой, не верит никому,
Что правила свои он навязал всему
И, словно Аристарх, над всеми надзирает.
Паскаль, ведь он — педант! Он маску избирает,
Но нет, не скрыть лица педантского ему.
Педант на короля — не знаю почему —
Похож: такую же, должно быть, роль играет.
Ведь у педанта есть, как и у короля,
Вассалы — школяры и двор — учителя,
И для него, Паскаль, держава — это школа.

Жеошен дю Белле. Сожаления, LXXCVI.

1. Облик. Ивана Ивановича Ляпушкина (1902–1967) я помню тщедушным осторожным старичком, щепотно проходившим по коридорам ИИМКа с лотком керамики. На худом морщинистом личике выдавались крепкие круглые щечки и блуждала вежливая, но скептическая улыбка. Шевелюра до старости оставалась черной и жесткой. Он пользовался исключительным уважением среди коллег и был чрезвычайно популярен среди студентов, хотя лекций не читал — они его знали по докладам и экспедициям. И, конечно, по книгам. То, что написано Ляпушкиным, было добротным и достоверным. Факты проверены и надежны. Это была правда в чистом виде, редкий продукт в социальных науках.

На кафедре в Университете вместе со мною работала лаборанткой тихая и скромная Людмила Степановна Кухарева — жена Ивана Ивановича. Много моложе его, она всегда за глаза называла его по имени-отчеству — Иваном Ивановичем, никак не Ваней. К нему студенты стремились попасть в экспедицию — считалось, что у него-то уж можно научиться строжайшей методике раскопок.



И. И. Ляпушкин
в послевоенные годы

Копал он ювелирно, славился как раскопщик-виртуоз. Предельно щепетильный в отношениях, к коллегам он относился с уважением и тактом. Даже самых низших научно-технических сотрудников (лаборантов) звал исключительно по имени-отчеству (Овсянников 2005: 14). К ученикам своим относился дружелюбно, но ответственно, шпынял своим скрипучим голосом их неустанно. Поступал всегда по совести и требовал этого от других.

Между тем над этим исключительно честным человеком висело подозрение в нескольких смертоубийствах. Был под судом.

2. Крестьянское начало. Начало биографии И. И. Ляпушкина вполне заурядно. Родился в обычной крестьянской семье Поволжья — в слободе Савруха Бугурусланского уезда Самарской губернии (при советской власти это стал Подбельский район Куйбышевской области). То ли в роду Ляпушкиных, то ли Кунавиных (фамилия матери) была явная примесь неславянских народов Поволжья — чувашей, башкир или мордвы. Об этом говорит сам облик Ивана Ивановича: черные как смоль волосы, некоторая скуластость.

Отец его крестьянствовал, имел дом с подворьем и надворными постройками, скотину, полевой надел, иногда подрабатывал кузнечным ремеслом — знал это дело, поскольку дед был сельским кузнецом. Мать — домашняя хозяйка. Деревенскую жизнь и сельское хозяйство Иван Иванович знал не по книгам, а из личного постоянного опыта, с детства. А это хозяйство и этот быт, конечно, изменились со времен Древней Руси, но к началу XX века не принципиально. Раскапывая древние поселения и жилища, Иван Иванович раскапывал всё свое. Он знал, где что лежит, по детали сразу понимал, от чего этот фрагмент, где должны быть другие вещи — ухват, загнетка, лампада, повойник, серп, коса, решето, корыто.

К 1914 г. (то есть двенадцати лет) окончил начальную школу и поступил в двухклассное земское училище, но, не окончив его, перевелся в реальное училище в уездный город Бугуруслан. После революции, в 1918 г., в родном селе была открыта школа II ступени — перешел в нее. Но и ее не окончил. В этом году в селе сменялись власти — белые, потом красные. Утвердилась советская власть. Материальное положение семьи было незавидным, нужно было работать. В 1920 г. поступил работать учителем младших классов (школьным работником I ступени) в своем же селе и одновременно волостным инструктором по ликбезу (ликвидации безграмотности). Так в 18 лет началась его служебная карьера.

Отец был атеистом, мать сомневалась, есть ли высшая сила. Иван Иванович в старости признавался своему подручному Д. А. Мачинскому в экспедиции, что он по отношению к вере ближе к матери.

Весной 1921 г. он получил повышение — стал уездным инструктором по ликбезу, а уже летом в числе других отобранных был направлен в Туркестан в распоряжение Наркомпроса. Там получил назначение областным инструктором ликбеза в Облполит просвет Ферганского облоно, в город Коканд, где и работал до начала 1922 г. Здесь кругозор его расширился — он познакомился с другим бытом, другим народом, смог взглянуть на привычные быт и культуру со стороны.

Но советские формы жизнеустройства испытывали то и дело перестройки и реорганизации. С ликвидацией Облполитпросвета должность Ляпушкина исчезла, и он получил назначение секретарем новоорганизованного областного отделения Госиздата. Но волжский паренек тяжело переносил климатические условия Средней Азии. А тут и вести из дому позвали: в Поволжье голод, нужно ехать спасать родителей.

Так Ляпушкин оказался опять на родине. Осенью 1922 г. грамотный и вошедший в слой сельской интеллигенции парень был избран в сельсовет, быстро стал секретарем, а вскоре и заместителем председателя сельсовета, в котором он работал до ноября 1923 г. Это означало улучшение уровня снабжения, так что семья выжила. В июне — августе 1923 г. И. И. Ляпушкин был делегатом от Бугурусланского уезда на 1-й сельскохозяйственной выставке в Москве. В ноябре 1923 г. вернувшийся из Москвы делегат был избран членом правления новоорганизованного сельскохозяйственного товарищества — прообраза будущего колхоза.

В апреле 1924 г. (вскоре после смерти Ленина) был ограблен склад товарищества. Четырех заподозренных в воровстве (Ляпушкин в автобиографии 1939 г. пишет прямо: «четырех воров») члены товарищества поймали и устроили самосуд. Все четыре вора были убиты. Убит был и как-то затесавшийся в это дело сельский священник (в автобиографии Ляпушкин, говоря об убийстве «четырех воров», добавляет просторечно: «и попа»). То ли священник хотел остановить самосуд, то ли был заподозрен, что помогал ворам как враг товарищества, но убит был и он.

Всех причастных к этому делу арестовали, в том числе и Ляпушкина. Однако его соучастие не было доказано, и в декабре 1924 г. выездная сессия Самарского губернского суда его оправдала. Без ознакомления с судебным делом (а дела этого уровня в Самаре уничтожены) невозможно сказать, почему был привлечен в качестве соучастника Ляпушкин, но что он был атеистом, не испытывал никакого уважения к попам (был исполнен обычного для активной трудовой молодежи тех лет непочтения к ним) ясно из стиля его речи по прошествии 15 лет. Еще решительнее должно быть его отношение в молодости к сугубо нетрудовому элементу — ворам. Чувство долга, правды и справедливости всю жизнь владело его помыслами. Что же до самосуда, то в зрелом возрасте он бы, несомненно, не одобрил такую меру, но как он относился к подобным вещам в молодости, будучи не очень образованным низовым активистом колхозного движения, — трудно сказать. Мы знаем только, что суд не собрал достаточно улик для его осуждения.

И. И. Ляпушкин в 1950-е гг.

Между тем в мае 1924 г. Ляпушкин подлежал призыву в Красную армию. Обвиняемый, естественно, не мог служить в рядах РККА, и Ляпушкин был призван только в январе 1925 г., после оправдания. Служил он в 1925–1926 гг. рядовым в команде учебного артиллерийского полигона в Приволжском военном округе. Здесь у него снова было столкновение чувства долга с ценностью человеческой жизни.

По рассказу М. К. Каргера, когда Ляпушкин стоял в карауле, кто-то приближался к посту. Солдат всё выполнил педантично по инструкции — крикнул: «Стой! Кто идет?», выстрелил в воздух, потом прицелился и выстрелил по идущему. Убил. Никаких наказаний, потому что выполнил долг. Опять же, возможно, что в пожилом возрасте задумался бы, заколебался бы. А тогда не колебался. Это возраст: молодо-зелено. Но повышенное чувство долга и педантизм в выполнении должного остались на всю жизнь. Это характер.

3. Выдвиженец. После армии многие сельские парни не возвращались в деревню. Ведь это был чуть ли не единственный способ вырваться из деревенской глуши и беспросветности, подняться на другую социальную ступень. Их манил город. После демобилизации летом 1926 г. 24-летний Ляпушкин поступил на курсы по подготовке в вуз при Саратовском губпрофсовете, а для заработка служил счетоводом в коммунальном тресте. В июне 1927 г. он окончил эти курсы и выдержал приемные испытания в Ленинграде в Пединститут им. Герцена на историческое отделение историко-лингвистического факультета. Вуз был известный, хотя и не самый престижный (не университет), да и при приеме для крестьянского сына, прошедшего армию, были, конечно, существенные поблажки, конкурировать с более подготовленными детьми дворян, попов и городских служащих не приходилось — тем чинились всяческие препятствия. Ляпушкин был принят.

Учились тогда три года, но, конечно, программа была переполнена пропагандистскими курсами по марксизму-ленинизму, социологическими схемами и злободневной политической агитацией. Всё же некоторые факты и навыки работы при желании усваивались. Во всяком случае, после института Ляпушкин сообщал в анкетах о слабом владении немецким и французским, а это уже прогресс.

По окончании был рекомендован к научной работе (ведь тогда властям было очень нужно оттеснить старую научную интеллигенцию и заменить ее проверенными выдвиженцами из пролетарских низов). Но у Ляпушкина обнаружился туберкулез, жить в Ленинграде с его сырым и прохладным климатом ему было не рекомендовано, и по распределению Наркомпроса он был направлен в Уральский отдел наробразования (Свердловск), а оттуда — на юг Урала, в г. Миасс Уральской области, преподавателем истории в педтехникум. В техникуме он проработал всего полгода, как его в марте 1931 г. перевели в Миассе же в Горный учебный комбинат,

состоявший из рабфака, техникума и школы Горно-промышленного ученичества. Это было сделано «в связи с прорывом там» (что-то там не ладилось). Там он стал заведующим учебной частью и преподавателем истории, что означало повышение. На этом месте он проработал пять лет (до октября 1935 г.). Видимо, тут у него выработался тот менторский тон, который его уже никогда не оставлял. Тут он и женился на Анне Михайловне Кононенко, и в 1933 г. у супругов родилась дочь Надежда.

«Желание продолжать подготовку в области истории не покидало меня», — пишет в «Автобиографии» Ляпушкин. Еще летом 1934 г. он сделал попытку поступить в аспирантуру, но Главное управление учебными заведениями Наркомата тяжелой промышленности не отпустило его с работы. Только летом 1935 г. удалось получить согласие, и Ляпушкин снова поехал в Ленинград и подал заявление в ГАИМК. Почему он выбрал ГАИМК, трудно сказать — ведь археология его поначалу не привлекала. Он добивался зачисления на специальность история СССР. ГАИМК была в эти годы в состоянии потрясений. Марр был уже мертв. Его преемники один за другим уходили на расстрел. Многие археологи были арестованы. Срочно требовались новые кадры. Ляпушкин был принят.

4. Становление археолога. Совершенно не имея археологической подготовки, Ляпушкин избрал тему диссертации, требующую только письменных источников: «Деревня конца XVII и начала XVIII века по материалам Старо-Русских вотчин Иверского монастыря». Научным руководителем его стал известный ученый Михаил Илларионович Артамонов, тоже из крестьян. Но Артамонов лишь самое детство провел в деревне, а вырос в Петербурге. Ляпушкин понимал, что удержаться в ГАИМК он сможет, только если освоит археологию. И он начал усиленно изучать ее.

В 1937 г. ГАИМК была преобразована в институт Академии наук (ИИМК) и всё не имеющее отношения к археологии было из нее удалено (язык, письменная история, фольклор, мифология). Тему диссертации пришлось сменить. Новая тема звучала так: «Славяно-русские поселения на Дону и на Тамани по археологическим данным». Это, конечно, отсрочило защиту. К тому же стало ясно, что всё равно Ляпушкин выполнить работу в срок не сможет — у него обнаружилось обострение туберкулеза, и потребовались отпуска и длительное лечение. Весной 1939 г. он окончил аспирантуру без защиты, но защита была отложена ненадолго.

В 1940 г. Ляпушкин руководил отрядом Славянской экспедиции и участвовал в Саркельской экспедиции М. И. Артамонова, под его же руководством трудился над частями тома «Истории культуры Древней Руси», а диссертация его была сдана в печать в первый том МИА. В том же году умерла его жена Анна Михайловна. В 1940 же году, в ноябре Иван Иванович вышел на защиту своей кандидатской диссертации. Оппоненты — П. П. Ефименко и В. В. Мавродин — признали высокую и непреходящую ценность работы 38-летнего диссертанта — он собрал и ввел в научный оборот новые материалы, систематизированные и проработанные. Каждый его вывод был основан на надежной базе фактов. Его учитель предположил, что славяне появились в степном Подонье лишь в конце X века, а не в незапамятной древности, как утверждали многие поклонники повсеместной автохтонности и наследники славянофилов. Вывод Артамонова Ляпушкин доказал с полной достоверностью. Учитывая политические коннотации, для этого вывода требовалось определенное мужество — как от учителя, так и от ученика.

Стало ясно, что в науку вошел очень серьезный, ответственный и способный ученый, готовый трудиться терпеливо и систематически, четко знающий границы своих возможностей и границы возможностей любого археологического источника.

5. Научная совесть против предвзятых идей. Войну 39-летний Ляпушкин встретил ученым секретарем сектора дофеодальной и феодальной Восточной Европы. Но, видимо, напряжения, связанные с защитой диссертации, изрядно подорвали его слабое здоровье. Обострение туберкулезного процесса привело к тому, что Ляпушкин не только был освобожден от мобилизации и снят с военного учета («белобилетник»), но и получил рекомендацию медиков прекратить на долгое время работу и отправиться в континентальный климат на отдых и лечение. В августе он получил неоплачиваемый многомесячный отпуск и уехал опять в родное Поволжье, к родственникам в Сызрань-Самарской области, где в результате блокады Ленинграда оказался в эвакуации. В 1942 г. ему отпуск заменили командировкой, повысив звание (он стал числиться старшим научным сотрудником), а в 1944 г. он присоединился к той группе сотрудников ИИМК, которые были в это время в Елабуге. Некоторое время он даже замещал заведующего этой группой. В Ленинград вернулся в июне 1945 г., вскоре после победы над Германией. Поселен был вдовец с дочерью на Дворцовой набережной, в доме 18 — в Новомихайловском дворце, это прямо в здании, где размещался ИИМК.

В 1946 г. 44-летний Иван Иванович женился на студентке кафедры археологии Л. С. Кухаревой, из Белоруссии.

Поскольку жил он в здании Института (на третьем этаже, занятом тогда другим Институтом), то в секторе он повлялся всегда вовремя, спускаясь по лестнице, на обед уходил к себе, а затем появлялся снова на рабочем месте. В его узкой комнатушке не было места для письменного стола, так что всё рабочее время Иван Иванович проводил в секторе. Раздевалкой в вестибюле он не пользовался, а приходил и уходил тихо и незаметно, что создавало необычное впечатление. «Получалось, что он ВСЕГДА в институте» (Овсянников 2005; 14). В нем как бы воплотился дух ИИМКа. Значительно позже он получил отдельное жилье.

Общей темой его работ стал этногенез славян — тема, в те годы вышедшая в нашей археологии на первый план. Господствующими тенденциями в разработке этой темы были концепции Б. А. Рыбакова и П Н. Третьякова, в разных вариантах рисовавших картину глубочайшей древности заселения славянами как можно более широкой территории, как можно более близкой к нынешнему расселению восточнославянских народов. Рыбаков выводил славян из трипольской культуры энеолита — через культуры бронзового века и скифского времени, а затем поля погребений (особенно через яркую черняховскую) к культуре Киевской Руси. Третьяков вел славян из культур бронзового века, захватывая и лесные районы и опираясь в основном на зарубинецкую культуру полей погребений. Оба исходили из принципа, что их выводы подкрепляют право славян на эти земли, опровергают аргументы немецких и любых других агрессоров и знаменуют патриотическую позицию. Эта идея пронизывала всю партийную идеологию и господствовала в прессе.

Артамоновские гипотезы о приходе славян с территории Польши звучали как ересь, хотя и допустимая (коль скоро Польша тоже славянская страна и входила в «лагерь социализма»).

Для утверждения господствовавших концепций требовалось сковать очень много звеньев в цепи, ведущей от избранных древних истоков к памятникам Киевской Руси. Для изготовления каждого звена требовались надежные факты, а фактов было, как это частенько бывает в археологии, огорчительно мало. Оба талантливых ученых заменяли эти факты многими блестящими гипотезами и просто интуицией. Но чем больше было этих блестящих гипотез, чем больше интуиции, тем слабее и воздушнее становились построения этих мэтров.

Слабость их построений компенсировалась научным авторитетом, академическим весом и административным ресурсом обоих светил.

И тут появляется Иван Иванович Ляпушкин со своей крестьянской сметкой, с примитивностью своих приемов, с наивной верой в непреложность фактов, с докучливой дотошностью — и показывает, что красивые и нужные гипотезы не держатся, что цепь рассыпается, что никакой преемственности нет и последовательные культуры, по крайней мере левобережной Украины, не связаны одна с другой. Что тут шла смена культур, а не развитие культуры одного и того же населения. Ползучий эмпирик, педант, редкостный зануда, но ведь ничего не поделаешь — в его обстоятельных обобщениях материала комар носа не подточит.

Формозовская издевка в мемуарах (2011: 176–177):

> «Я помню, как в сороковых годах Ляпушкин был посмешищем в глазах этих двух корифеев. Они спорят о вопросе государственной важности — об этногенезе славян, — а им суют в нос какие-то черепки! При чем тут черепки? Третьякова в ЦК снабдили точными указаниями, где и когда произошли наши великие предки, а паршивый кандидат наук смеет в этом сомневаться, придумал разную чушь — "пражский тип" и еще чего-то. Глупость! Нелепость!
>
> В пятидесятых-шестидесятых положение изменилось. Третьяков и Рыбаков окончательно запутались в том, кто анты, кто венеды, кто русы и т. д., а Ляпушкин долбил и долбил в одну точку, и постепенно стала вырисовываться цельная концепция ранней истории славян в Восточной Европе».

Это был явный, сознательный и воинственный адепт эмпирического метода. У него были в секторе сильные союзники — М. А. Тиханова и Г. Ф. Корзухина, значительно более образованные. Да и остальные противопоставить ему не могли ничего, кроме требований идеологии. А эмпирический метод был вне конкуренции, когда противостоял предвзятым схемам и навязываемым выводам. Рыбаков был далеко — в Москве, а ближним оппонентом Ляпушкина был Третьяков, которого вели предвзятые идеи, но и изрядная интуиция. На любом заседании, где Ляпушкин присутствовал, Иван Иванович не пропускал ни одного необоснованного утверждения без ехидного вопроса о подтверждающих фактах. Не избавлен был от них и Третьяков.

Их противостояние так описывает О. В. Овсянников (2005: 14), работавший с Ляпушкиным в его последние годы:

«Дни, а это были в то время вторники, когда делали доклады, И. И. Ляпушкин или его "извечный" оппонент П. Н. Третьяков, были для сектора всегда особенными: в напряженной дискуссии сталкивались два различных подхода к интерпретации археологических фактов. Иван Иванович считал, что даже гипотезы, высказываемые исследователем, должны быть предельно аргументированными, обо всём другом он говорил: "Этого мы не знаем!" или "Таких данных и такого материала у нас нет!" П. Н. Третьяков видел в имеющихся фактах уже достаточное основание для гипотез и считал, что ученый уже сейчас, на данной ступени исследования, имеет право высказывать те или иные предположения. Часто можно было наблюдать, как глубоко волнуют Ивана Ивановича эти дискуссии, а П. Н. Третьяков, возражая своему оппоненту, сидел как скала, плавно жестикулировал своими огромными "крестьянскими" руками, нередко иронично улыбался».

Третьяков ощущал Ляпушкина своим постоянным критиком и даже как-то попрекнул его тем, что вся его (Ляпушкина) деятельность в науке сводится к исправлению третьяковских промахов. «Что бы вы делали без меня?» — вопрошал Третьяков.

6. Три монографии и Гнёздово. Ляпушкин был очень последователен в своих научных изысканиях. Продолжая и расширяя свои работы по Тамани и низовьям Дона, он поначалу сосредоточился на изучении культур Левобережной Украины, точнее территории от Дона до Днепра. Изучал там не только славян, заселявших лесостепь, но и степные племена. Он не во всем соглашался со своим шефом Артамоновым. Тот считал салтовскую степную культуру хазаро-болгарской, а Ляпушкин показал, что салтовская культура сложилась из двух культурных компонентов — алан и болгар, а значит, несет признаки двух этносов — ираноязычного (аланы) и тюркоязычного (болгары).

Многие годы он раскапывал в лесостепи славянское городище Новотроицкое. В своей первой монографии, 1958 г., «Новотроицкое городище», он дотошными раскопками показал, что у славян Левобережья накануне образования государственности первичной ячейкой общества была не большая патриархальная семья, пережиток родового строя, а уже соседская община, состоявшая из семей разного происхождения.

В следующей монографии, 1961 г., он обратился к общему развитию культур Левобережья. Монография эта называлась «Днепровское лесостепное левобережье в эпоху железа». Занявшись лесостепью,

Ляпушкин установил, что в этом регионе четко выделяются три культуры: культура скифского времени (VII–III вв. до н. э.), затем поля погребений, а именно черняховская культура (III–IV вв. н. э.) и славянская культура — роменско-боршевская (VIII–IX вв.). Никакой преемственности между ними нет, развитие неоднократно прерывалось вторжениями кочевников из степей. На Правобережье он предположил ту же картину, хотя признал, что здесь славянская культура могла появиться раньше. И его предположение вскоре оправдалось — когда в 1953 и 1956 гг. были обнаружены раннеславянские памятники пражского типа (VI–VII века н. э.).

Затем Ляпушкин расширил свои интересы с лесостепи на лесную полосу славянского расселения. В ней славянские памятники плохо отделимы от балтских и финно-угорских, а в верхних слоях населения — от норманнских, и это проблема, представляющая огромную трудность для ученых. Ляпушкин пришел к выводу, что славяне появились в лесной полосе не раньше VIII–IX веков и что славянскими являются не длинные курганы и сопки, на которых сосредоточивалось внимание русской археологии, а сравнительно небольшие круглые насыпи.

В последние годы он перенес работы в район Гнездова под Смоленском. Там издавна Д. А. Авдусин из Москвы копал могильник, стараясь представить его как славянский, тогда как значительная часть погребений носила явно скандинавский характер. Ляпушкин обнаружил неподалеку от могильника поселение IX–X веков, что почему-то никому не приходило в голову. Он начал раскопки этого поселения. Копал он его совершенно больным (В. А. Булкин вспоминает, что Иван Иванович имел с собой целый мешок лекарств). Раскопки шли неудачно: сезоны выдались дождливые, слой был сильно поврежден распашкой —борозды шли прямо по материку. Данных было недостаточно для Ляпушкина.

Целая группа моих учеников (Г. С. Лебедев, В. А. Булкин, В. А. Назаренко и др.) направилась с ним в эту экспедицию в 1966 г. С Глебом Лебедевым в экспедиции была его жена Вера Витязева. В. А. Витязева написала воспоминания об этой экспедиции, еще не опубликованные, и разрешила мне воспользоваться ее рукописью. По соображениям Витязевой, «экспедиция на Смоленщину была хорошо спланированной акцией московских славистов». Она указывает П. Н. Третьякова, Б. А. Рыбакова, может быть, В. В. Седова и, наверное, Арциховского, но прежде всего — Д. А. Авдусина, «главного по антинорманизму, поскольку не первое десятилетие копал Гнездовский могильник (до сих

пор не опубликованный) и всеми силами доказывал, что к варягам он имеет самое отдаленное отношение, а скорей всего — не имеет вообще». Из ленинградцев не могли обойтись без М. К. Каргера, директора ЛО Института археологии АН СССР. По мнению Витязевой, обеспокоенные исследованиями норманнских древностей в Ленинграде, московские организаторы задумали противопоставить этому раскопки славянских древностей в наиболее знатном центре, привлекательном для «норманистов», а «особые задачи возлагались на руководителя: именно человек, научная репутация которого не вызывала сомнений, должен был найти здесь ранних славян, что было как жизненно важно для официальной науки...»

Это вряд ли так. О Гнездовском поселении до Ляпушкина никто не знал. Авдусин считал, что там просто распаханные курганы. Даже когда Ляпушкин показал ему полураскопанную землянку, он продолжал утверждать, что это распаханный курган! Все перечисленные слависты (Третьяков, Рыбаков, Седов, Каргер и др.) не составляли одной команды и были друг с другом в весьма натянутых отношениях. Н. И. Платонова, возражая против этого предположения Витязевой, ссылается на москвичку Т. Пушкину, которая в разговоре с Платоновой вспоминала, что «Ляпушкин с ребятами свалился в Гнездово как снег на голову, абсолютно неожиданно для москвичей».

Другом И. И. Ляпушкина был маститый смоленский археолог Евгений Альфредович Шмидт, очень схожий с Иваном Ивановичем по убеждениям и приемам работы. Материал опровергал убеждения Авдусина. «С каждым днем количество находок скандинавского происхождения, в том числе дирхемов, подвесок, застежек, бус, обломков фибул, увеличивалось. <...> Все-таки ранним оказался слой со скандинавскими, а не славянскими вещами, уже на этом этапе исследования можно было говорить о взаимосвязи Гнездовского могильника и нашего поселения».

После студенческой практики студенты во главе с Лебедевым провели разведку по реке Каспле (по «Открытому листу» Е. А. Шмидта).

В Гнездове Ляпушкин провел два полевых сезона, а после возвращения из второго умер. После его смерти раскопки там продолжил, естественно, Авдусин. Лишь через два десятилетия, уже перед своей смертью, Авдусин признал, что скандинавов было в Гнездове гораздо больше, чем он первоначально предполагал...

Третья монография И. И. Ляпушкина, 1968 г., «Славяне в Европе накануне образования Древнерусского государства», вышла посмертно. Он умер внезапно, в 1967 г., 65-летним, прямо на работе,

в помещении сектора Древней Руси. Когда он потерял сознание, его положили на длинный стол, за которым обычно заседал сектор, вызвали скорую помощь, но Иван Иванович был уже мертв.

Над его гробом безутешно рыдал Петр Николаевич Третьяков, тоже пришедший к концу своей жизни и потерявший своего основного критика и достойного ценителя — того, кого он страстно хотел переубедить. А может быть, он плакал о самом себе. Его карьера шла под уклон, за год до смерти Ляпушкина Третьяков признал, что он и его союзники оказались «у разбитого корыта». Ляпушкин умер как победитель.

Но победа была неполной. Его эмпирический метод имел свою ограниченность. Он в пух и прах разносил малообоснованые построения своих коллег. Доказывал, что славяне поздно появились в лесах Северо-Запада Руси. Длинные курганы и сопки не считал славянскими, только малые круглые курганчики. Впоследствии его ученики проверяли его убежденность и пришли к выводу, что славянские погребения были более разнообразными. Впрочем, и это еще не доказано.

Вдова его, Людмила Степановна, наведывалась в гости к его любимой ученице Зое Бессарабовой, в Старую Ладогу, где та работала в музее. Там, у Зои, и скончалась. Глебу Лебедеву выпало на долю везти ее тело в стареньком дребезжащем автобусе в Петербург. После этого сказал жене: «Запомни, пожалуйста: где бы со мной это ни случилось — никуда не вози. Хорони на месте» (Витязева, рукопись). И он, погибший 2003 г., похоронен в Старой Ладоге.

7. Характер. В печати было всего два небольших некролога по Ляпушкину (Памяти 1969; Артамонов и др. 1971) и несколько воспоминаний (Овсянников 2005; Павлова 2005). Во-первых, вскоре настала «пражская весна» 1968 г., наши власти очень испугались, и всё, что не укладывалось в идеологическую норму, стали прижимать. А скепсис Ляпушкина ведь был направлен против гипотез, принимавшихся за официозную концепцию. Во-вторых, Ляпушкина очень уважали и ценили, но не любили. Он был крайне сух и узок в своих интересах.

> «Иван Иванович не был педагогом в буквальном смысле этого слова, — вспоминала моя сокурсница К. В. Павлова (2005: 10), работавшая с ним на Ново-Троицком городище и в последующих экспедициях. — Он не устраивал в конце дня обсуждения того, что было сделано за день, как это имело место у некоторых других

начальников экспедиций. Иван Иванович на раскопе был всегда сосредоточен и молчалив, говорил только тогда, когда нужно было дать какие-либо распоряжения или поправки в процессе раскопок. <...> Но Иван Иванович никогда не упрекал провинившегося. Он молча исправлял ошибку, если это было возможно, что действовало гораздо сильнее словесного наставления».

Вне рабочего процесса он не молчал. Его педантичность и требовательность многим въелась в печенки. Молодежь очень к нему тянулась, но нарывалась на бесконечные нравоучения, произносимые без тени юмора. В экспедиции к нему рвались многие, у него можно было научиться копать безукоризненно. Как отмечает Павлова (2005: 10–11), он «мастерски владел как лопатой, так ножом и кистью, умел легким поворотом кончика ножа отделить рыхлую землю от плотной корочки стенки полуземлянки или поверхности обгоревшего дерева, не оставив на ней следов ножа, и расчистить даже самый маленький предмет, не сдвинув его с места».

Быт экспедиции был построен рационально, и поведение самого Ивана Ивановича безукоризненно. Витязева, благоговевшая перед ним, описывает это так:

«У самого И. И. Ляпушкина культурное, даже аристократическое начало, таилось в бездне бытовых мелочей: ходил быстро, но не торопясь, не размахивая руками; сидел во главе стола, как глава большого семейства, чрезвычайно аккуратно ел, никогда не беря в руки куска булки (хлеб ему был противопоказан, а булка только в подсушенном виде), но отламывая крохотные кусочки; мастерски управлялся с редкими у нас в меню кусочками мяса или рыбы, элегантно и не торопясь пил свежезаваренный чай из своего стакана с подстаканником. Ежедневно щеткой чистил "полевые доспехи": пиджак, брюки и кепку, осуществлял "постирушки" — мы не видели, где он это делал (видимо, на Днепре, который здесь от силы имел от двух до четырех метров в ширину, но к нему нужно было довольно далеко идти), а потом на траве, по кустам носки, майки, носовые платки, любимые рубашки в крупную бело-синюю клетку блаженно сохли под лучами сияющего солнца. Все это в нем было совершенно естественно и в то же время неназойливо-поучительно: работа в поле — это служение науке. Прикасаясь к истории, человек должен быть чист, настроен на работу, внимательность и осторожность не позволяют ему отвлекаться по пустякам, разговаривать ни о чём, рассказывать анекдоты.

Нужно учесть, что многие (особенно из первокурсников) совсем недавно были детьми совершенно домашнего "ленинградского свойства": их учили музыке, иностранным языкам, рисованию, лепке, танцам, водили по театрам, они много читали, занимались в археологических кружках в Университете или Эрмитаже, т. е. ни стирка носков, ни приготовление каши или бутербродов на 20 человек, не говоря о том, как растопить печку или хорошо вымыть посуду, в эту программу никак не вписывались, но в "полевой академии" Ляпушкина, когда "живой пример" перед глазами, все усваивалось быстро и основательно. Так же как в экспедициях М. К. Каргера (я была у него в Полоцке и в Новогрудке), у И. И. Ляпушкина в купальниках или шортах на раскопе никто не появлялся: работу (каждый в своем квадрате) начинали в синих хлопчатобумажных тренировочных костюмах (по утрам было прохладно), потом мальчики раздевались до пояса, на девицах — светлые кофточки или очень популярные тогда мужские рубашки с короткими или закатанными рукавами, но не майки. Панамы, соломенные шляпы, косынки на головах — не обязательны, но очень желательны. На земле — не сидеть, на раскопе, при расчистке культурного слоя, когда нужно было присесть или встать на колени, под все необходимые места подкладывались дощечки; на траву — что-нибудь из одежды.

Ещё об отношении И. И. к земле: летний сезон 1967 года был на Смоленщине необычайно теплым, средняя температура больше 20 гр. жары, ходить ежедневно по полтора км от базы до раскопа и обратно казалось нам каким-то безумием. Палаток в нашем хозяйстве было достаточно, и всем хотелось раскинуть на берегу Днепра палаточный городок, костер, каша с дымком, песни, сон под звездами. На все наши уговоры И. И. о переносе базы, хотя бы временном, о том, сколько бы мы сэкономили и сил, и времени, слышали в ответ одно и тоже: "Нет. Ни в коем случае". Когда своими приставаниями мы надоели ему до предела, он произнес примерно следующее: мы не знаем, какие происходили здесь события. Культурный слой земли все "помнит" — и войны, и эпидемии, может быть, на молекулярном уровне. С этим нужно быть крайне осторожными, если не хотим навлечь на себя беду. Закончили работу, тщательно вымылись с мылом — и отправились на базу. Там переоделись, все привели в порядок, вычистили, просушили на солнце. И никак иначе, и расстояние до раскопа должно быть не менее километра, из-за которого, как он понимает, весь сыр-бор разгорелся».

Но в учениках у него оставались очень немногие и ненадолго.

И. И. Ляпушкин
на Гнёздовском раскопе
с Е. А. Горюновым в 1966 г.

Так, Д. А. Мачинский работал с ним, но не остался его учеником. Почему? Очевидно, не сошлись — даже не характерами, а всем содержанием личностей. С одной стороны, очень однонаправленный на добросовестную работу и узкий в своих интересах Иван Иванович, истый представитель традиционной культуры, считающий свой стиль жизни единственно правильным и достойным, но сознающий и свою крестьянскую ограниченность. С другой — гораздо более молодой человек, наследственный археолог, из дворян, с широким кругом интересов (кроме археологии — поэзия, политика, мифология, искусство, романы с женщинами), блестяще пишущий и говорящий, не очень склонный считаться с утвердившимися нормами. Тоже добросовестный и преклоняющийся перед фактами, но выдвигающий и блестящие гипотезы. Иван Иванович упорно поднимался по ступеням традиционной научной карьеры, а Дмитрий Алексеевич, для сверстников Дима, наплевал на статус и материальные соображения и не стал защищать диссертаций — так и остался на всю жизнь известным ученым, но без степеней и званий. Несовместимость.

Так же, но с несколько иной расстановкой акцентов рассматривает причины этой несовместимости В. А. Витязева в упомянутой рукописи — почему «ушел» Д. Мачинский от своего учителя:

> «...с его гениальной поверхностностью и всеядностью, любвеобилием, шлейфом романов, желанием поражать, восхищать и восхищаться каждую прожитую минуту своей жизни, высочайшей самооценкой её, постепенным, но настойчивым культивированием своего культа, почти болезненной жаждой славы — со всем этим багажом, даже в начале научного пути, у И. И. Ляпушкина ему делать было нечего. Тот требовал повседневной работы, решения серьезно поставленных задач,

результат которых ничего не обещал — ни имени, ни денег, ни славы, ни роскошных публикаций, поскольку история славян в то время строилась на мифах и вранье, а И. И. предпочитал молчание мифотворчеству».

Вот и мои ученики, проработав в экспедиции И. И. Ляпушкина пару лет, получив нужную направленность и очень много ценных навыков, не прижились в ней. Почти все они работали в ней до самого конца сезона, гордились ею, но не были в ней своими. Я не виню в этом Ивана Ивановича. Вина скорее на моих учениках. Они не сумели сообразить, что с ними работает человек пожилой и больной. Выполняя его требования по работе и учась у него, в нерабочее время не поддержали ритм и стиль его экспедиции, не собирались вокруг него, не умели его разговорить. Вырываясь на волю, озорничали, шумели, мешали ему отдыхать, да и выпивали (группа была пьющая). Конечно, не это отвращало от него. Как отмечает Н. И. Платонова: «Даже о его "диктатуре трезвости" повествовалось с неподдельным восхищением: "А он нашел выход: начинал работу, когда магазин еще не открывали, а отпускал с раскопа — когда он уже был закрыт!"» (личное письмо в янв. 2011).

Витязева: «К понятию "школы" И. И. Ляпушкин относился с какой-то настороженностью и недоверием, может быть, потому, что большинство участников Гнездовской экспедиции из Варяжского семинара с юношеским снобизмом вольготно рассуждали о варягах, норманнской проблеме, "школе Клейна", "кабинетной археологии", математических методах исследования, типологии, и поэтому вопросы о "его школе" воспринимал как в высшей степени бестактные и "глядел волком", но к своей ученице, Зое Дмитриевне Бессарабовой, выпускнице кафедры археологии, археологу-слависту, специалисту по керамике, относился очень требовательно: рассматривал прорисовки, указывал на ошибки, очень редко хвалил; делал он это без свидетелей в своей маленькой комнате, но по выражению лица Зои мы догадывались, как проходила очередная встреча "на высшем уровне"».

Но какую-то роль сыграли сверхсерьезность и скука, царившие в окружении Ивана Ивановича. Видимо, ему не хватало широты и общей культуры — того, что было в избытке у его союзниц: М. А. Тихановой и Г. Ф. Корзухиной. Он не умел собрать вокруг себя интересных ребят, занять их, стать для них не только замечательным мастером, но и интересным человеком.

Детектив в археологии

М. П. Грязнов

По ногтям человека, по его рукавам, обуви и сгибе брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки — по таким мелочам нетрудно угадать его профессию. И можно не сомневаться, что все это, вместе взятое, подскажет сведущему наблюдателю верные выводы». Правила дедукции, изложенные мной в статье, о которой вы отозвались так презрительно, просто бесценны для моей практической работы. Наблюдательность — моя вторая натура.

Конан Дойл. Этюд в багровых тонах. Часть I, гл. II.

1. Звездные учителя. В Петербурге наиболее крупная школа сейчас — это школа Грязнова, и литература о нем очень велика и всё время растет. Нынешние археологи всё снова и снова обращаются к осмыслению его опыта, образа и места в науке (Аванесова и Кызласов 1985; Матющенко 1989 и др.).

М. П. Грязнов в молодости

Михаил Петрович Грязнов (1902–1984) по рождению и исследовательским интересам — сибиряк. Родной его город — Березов бывшей Тобольской губернии. В этих местах князь Меншиков, сподвижник Петра I, томился в ссылке. Родился будущий археолог в семье инспектора четырехклассного училища (отец имел чин надворного советника, соответствующий подполковнику

в армии). Привязанность к традиционному сибирскому блюду — пельменям — сохранялась у профессора Грязнова всю жизнь. Он рассказывал, как в детстве вместе с братом и сестрой они лепили сотни пельменей, которые потом складывали в мешки и уносили на чердак для замораживания.

Учился Михаил в Томском реальном училище, где учителем истории был Виктор Фёдорович Смолин, позже открывший абашевскую культуру.

Смолин был тогда еще молодым человеком. Он кончал гимназию тоже в Томске, потом учился в Казанском университете, но в 1911 г. оставил его и уехал в Германию, где слушал лекции по древней истории в Лейпцигском университете у знаменитых К. Ю. Белоха, К. Лампрехта и других. Затем с 1913 г. занимался в Университете Галле у Э. фон Штерна работой по греческим колониям Северного Причерноморья. В 1914 г. вернулся в alma mater — Казанский университет, где ему не зачли экзамены, сданные за границей, и пришлось продолжать с оставленного этапа, так что студенчество длилось 10 лет (1909–1918). Университет Смолин окончил в мае 1918 г. События Гражданской войны забросили значительную часть профессуры Казанского университета в Томск (бежали от большевиков). Смолин, уехав с ними, стал преподавать в реальном училище и в университете на историко-филологическом факультете с 1918 по 1920 г. — вот тут у него и учился Грязнов.

Смолин был в числе учредителей в Томске Института исследования Сибири с программой археологического исследования региона.

В. Ф. Смолин — открыватель абашевской культуры и учитель Грязнова

Он считал, что пора поднимать археологию как особую науку, потому что специфика исследования археологических источников (их гибель при раскопках) диктует тщательную фиксацию, а это доступно только археологам-профессионалам. Проводил он и обследование местных памятников, работая вместе со своими учениками, среди которых был и Грязнов.

После «томских каникул» Смолин вернулся в Казань, позже (в 1925 г.) раскапывал Абашевский могильник и состоял в переписке с Городцовым и Тальгреном. В конце 20-х гг. он укрылся от возможных преследований в Херсонесе, где был директором музея, всё же был арестован в 1931 г. (видимо, припомнили ему бегство в колчаковский Томск), но выпущен, работал на мелкой должности в Пятигорске и в 1932 г. умер от тяжелого порока сердца в возрасте 42 лет (Кузьминых 2004).

Но за 12 лет до того он-то и пробудил в юном Грязнове интерес к древностям. Семнадцати лет Михаил Грязнов поступил в Томский университет на естественное отделение физмата, где одним из профессоров был С. И. Руденко. Это вторая звездная фигура, которой суждено было сыграть важную роль в судьбе молодого Грязнова, но больше на дальнейших этапах. Я не рассказываю здесь о нем подробнее, потому что ему посвящен отдельный очерк в этой книге. Всё же и в это раннее время, летом 1920 г., Михаил Грязнов поехал под руководством именно Руденко в географическую экспедицию — изучать озера и прочие водоемы, изучать их режим, биопродуктивность и т. п.

С. А. Теплоухов, С. И. Руденко и М. П. Грязнов в Томске

Работы шли на берегах Енисея, который станет на всю жизнь основным центром работ Грязнова, и здесь он случайно попал в археологический отряд С. А. Теплоухова, работавший в составе той же экспедиции. Я. А. Шер (2009: 84) передает рассказ Грязнова об этом эпизоде, как они со своим товарищем Евгением Шнейдером плыли на лодке по Енисею мимо деревни Батени.

> «Плывем, плывем, видим: на берегу палатки. Откуда здесь быть палаткам? Причалили к берегу и пошли посмотреть. Увидели раскопки, познакомились с руководителем. Это был Сергей Александрович Теплоухов. Мне стало интересно, я решил задержаться на день, потом еще на день, на неделю, ну и задержался... на всю оставшуюся жизнь».

Ну, тут некоторое лукавство. Восемнадцатилетний студент явно был подготовлен к этому решению своей предшествующей жизнью и предшествующими учителями.

Сергей Александрович Теплоухов (1888–1934) происходит из крестьянского рода крепостных графов Строгановых, но рода, давно расставшегося с крестьянством. Еще отец прадеда Сергея Александровича был служителем при мельнице, прадед — приказчиком, дед получил «вольную» и высшее образование, стал директором Главного управления имениями Строгановых и лесоводом, женился на дочери немецкого профессора и в конце жизни увлекся археологией и нумизматикой, вероятно, не без влияния семейства Строгановых. Это увлечение продолжали его сыновья, лесничие, особенно Федор Александрович (Овчинников и Васильева 1999). Сыном другого брата и был Сергей Александрович Теплоухов, интеллигент и энтузиаст археологии в третьем поколении. Сергей Александрович сначала занимался зоологией, потом антропологией, которой учился у Б. Ф. Адлера в Казанском университете. Адлер же в Лейпцигском университете был учеником Ф. Ратцеля, антропогеографические идеи которого исповедовал. Познакомил Теплоухова и с идеями Анучина.

Теплоухов увлекся происхождением финнов и «антропогеографической» гипотезой Кастрена — Аспелина об Алтае-Саянской прародине финнов. Бронзовый век Западного Урала по этой гипотезе был ответвлением от Сибирского. Но Н. Ф. Катанов лингвистически и А. М. Тальгрен археологически опровергли эту гипотезу. Теплоухов решил проверить эту гипотезу на антропологическом материале. Он выхлопотал себе экспедицию летом 1913 г. в Туву, собрал там большие материалы и убедился, что тувинцы стоят ближе к тюркам и монглам, чем к финнам. В 1914 г. Теплоухов окончил университет по зоологии

и географии с этнографией и для подготовки к преподаванию был направлен в Петербургский университет, где антропологией занимался под руководством Волкова и проникся интересами палеоэтнологии (Китова 2007: 33, 41–51, 73–91, 170–193).

В 1917 г. Теплоухов вернулся в Казанский университет ассистентом при кафедре географии и этнографии. В 1919 г. вместе с профессурой Казанского университета Теплоухов оказался на колчаковской территории сначала в Пермском, а затем в Томском университете, где, кстати, жили его родные. Он захотел проверить полученные в 1913 г. результаты в Минусинском и Красноярском краях уже на материалах археологии. Но убедился в отсутствии стержня для выводов — относительной хронологии этих мест. По его убеждению, «материальную культуру должны изучать натуралисты», так как они лучше других владеют методами систематизции, им легче определить географические условия развития, им привычнее «типологическая классификация предметов» (Китова 2007: 165). В основу он клал погребения, а слово «культура» считал равнозначным слову «эпоха»: «Более определенно мы можем говорить о "культурах" или, вернее, стадиях общественного развития...» (Теплоухов 1932, стб. 405). Позже мы ту же идею найдем у Грязнова. В 1929 г. Теплоухов и разработает на этой основе свою колонку сибирских культур: афанасьевская — андроновская — карасукская. В 1920 г. он только начинал это обследование долины Енисея, где его и застал студент Грязнов.

С. А. Теплоухов — основатель периодизации бронзового века Южной Сибири и учитель Грязнова

Став его ментором, Теплоухов помог ему затем перевестись на биологическое отделение Ленинградского университета, заниматься антропологией и палеоэтнологией. От него Грязнов получил свою приверженность к интенсивному изучению микрорайона, к эволюционистскому автохтонизму, к уравнению археологической культуры с периодом — одним из многих в развитии одного и того же населения (Матющенко и Швыдкая 1990; Вадецкая 1992).

Будучи студентом, Грязнов работал регистратором в ГАИМК, а затем, оставив Университет (ушел с третьего курса), стал научным

сотрудником — в ней и одновременно в этнографическом отделе Русского музея. Здесь его старшим товарищем оказался С. И. Руденко, теперь уже надолго, и первые свои работы Грязнов писал под его руководством.

В Ленинграде Грязнов встретился с Марией Николаевной Комаровой, петербургской барышней, которая стала его женой. Мы ее помним как легонькую старушку с седыми кудряшками из-под панамки и с «беломориной» в руке. Шеру она рассказывала, как в юности ходила на выступления поэтов, слушала Александра Блока, который ей не понравился. Она училась тоже у Руденко, хотела стать антропологом, но потом сменила интерес на археологию. Ездила с мужем в экспедиции, впоследствии защитила кандидатскую диссертацию и проработала всю жизнь в Эрмитаже, в Первобытном отделе.

С середины 20-х гг. молодой Грязнов начал раскопки курганов знати скифского времени на Алтае. В 1924 г. начались работы экспедиции С. И. Руденко в составе 5 человек, в том числе и был Грязнов. Первые два года в основном работы носили разведочный характер с небольшими раскопками одиночных могил, только в могильнике Кудыргэ раскопки были более обширны. Вообще экспедиция работала не коллективом, а отдельными отрядами. В 1927–1929 гг. отряд Грязнова работал на реке Урсул и в урочище Шибе, а также на реке Улаган. Он раскопал курганы в Шибе и Первый Пазырыкский, оба с вечной мерзлотой в основании, давшей изумительную сохранность содержимого могил. Подготовку, раскопки и всю обработку вел Грязнов. Он же вел и дневник раскопок — главный документ открытия. Руденко в это время руководил другим отрядом в другом месте — на юге Горного Алтая. Но «Открытый лист» был выписан на имя Руденко, он числился начальником всей экспедиции, а Грязнов был моложе, был младше по иерархии — как ученик и как подчиненный, начальник отряда. Уже в этом заключалось зерно будущего конфликта.

Не забудем, что к этому времени Грязнов разошелся и с Теплоуховым. «С зимы 1930–1931 гг. отношения наши резко изменились, и я с ним встречался только по работе. Причиной были постоянные конфликты на почве авторства...» (Из личного 2002: 88). При всей скромности Грязнова вопрос об авторстве был для него принципиальным.

Руденко был, конечно, опытнее, эрудированнее. Грязнов первоначально датировал Пазырыкские курганы IV–III веками до н. э. (впрочем, Киселев еще позже), а Руденко выправил датировку на V–IV века, а затем уточнил — вторая половина V века до н. э. Это датировка, которая

подтверждена дендрохронологией. Но именно Грязнов провел раскопки Шибинского и Первого Пазырыкского кургана.

Занимался Грязнов также бронзовым веком степей, проблемами возникновения кочевого скотоводства. Он вошел в группу ИКС, которая в 1930–1931 гг. занималась Историей Кочевого Скотоводства. Группа установила, что до кочевого скотоводства господствовало оседлое скотоводчески-земледельческое хозяйство (Пряхин и Писаревский 1987; Савинов 1995; Жук и Михалева 2000; Свешникова 2004). Установил последовательность древних культур Алтая.

В 1928 г. Тальгрен так отозвался из Финляндии о его ранних работах: он станет Монтелиусом для эпохи бронзы Туркестанских степей (Tallgren 1928: 187).

2. Исковерканные судьбы. Итак, с 1924 г. Алтайскую экспедицию возглавил Руденко. При нем-то в Пазырыке и были обнаружены знаменитые могилы в вечной мерзлоте. Руденко, до того хотя и занимавшийся археологией, но не считавший это своим главным занятием, стал ради этих находок археологом. Но, опубликовав несколько работ о них, был арестован (1930). Продолжал раскопки и публиковал открытия Грязнов и, как тогда было неизбежно, не упоминал имени «врага народа» Руденко. Впоследствии, после возвращения Руденко, возник конфликт. Из-за чего? Ведь Руденко, конечно, понимал незбежность замалчивания своего имени в тогдашних условиях. Я думаю, что именно спорность притязаний Руденко на авторство открытия заставила его быть особо чувствительным к нарушениям того, что он считал всё-таки своей интеллектуальной собственностью.

Возможно, с его точки зрения, Грязнов вообще должен был отказаться от публикации — но чего ждать? Кто мог знать, когда выйдет Руденко и выйдет ли вообще. Возможно, что Руденко потребовал какого-то публичного отказа от авторства, признания подмены подлинного автора. Руденко вообще был очень авторитарным человеком. Грязнов, при всей скромности и всем уважении к учителю, мог очень вежливо, но решительно напомнить, что является не посторонним для этих древностей человеком, что как-никак раскопки реально вел он и дневник писан его рукой. Это ли навеки рассорило обоих исследователей, попробуем выяснить далее. Во всяком случае, позже, работая в послевоенное время в одном институте, они всю оставшуюся жизнь не разговаривали друг с другом. Других форм конфликт на людях не приобретал.

В 1933 г. пришел и черед Грязнова, 29 ноября он был арестован, обвинен в подпольной деятельности в составе фашистской организации украинских и русских националистов, якобы созданной Руденко и Теплоуховым в Русском музее («Дело славистов»). Арестованы были в разных городах более 70 человек. В том числе археологи А. А. Миллер и С. А. Теплоухов, этнографы Ф. А. Фиельструп, Е. Р. Шнейдер и Д. А. Золотарёв и др. (см. Ашнин и Алпатов 1994). Поскольку Грязнов очень мало рассказывал о своем пребывании в заключении, об этом ходят самые разные слухи. Вот что дошло до Кузьминой:

> «Его свели на очную ставку с любимым учителем Сергеем Александровичем [Теплоуховым]. Тот был уже совершенно сломлен и уговаривал Грязнова всё подписать, чтобы прекратить страдания» (Кузьмина 2008: 32).

Теплоухов повесился в тюрьме в начале марта 1934 г., Фиельструп тоже погиб в тюрьме, Шнейдер пропал без следа. В отличие от Теплоухова и ряда других коллег, признавших облыжные обвинения, Грязнов проявил твердость духа и ничего не признал. Поэтому наказание ему ограничилось высылкой на три года в Киров (б. Вятка), где он работал в краеведческом музее (Макаров 1998). Своего учителя Теплоухова он не предал на допросах и впоследствии не скрывал своей приверженности его взглядам (Грязнов 1988).

В рассказе об очной ставке Кузьмина явно перепутала действующих лиц. В архиве мы имеем записи допросов Грязнова (Из личного 2002), составленные им самим в вятской ссылке по свежей памяти и тайным заметкам (видимо, для какой-то жалобы в вышестоящие инстанции). Там ясно сказано, что очную ставку с Теплоуховым Грязнов требовал, но ее ему не дали. А были очные ставки с Миллером и Бонч-Осмоловским. Вот Бонч-Осмоловский как раз и увещевал Грязнова не запираться и «оставить формальный метод мышления».

Формозов (2004: 106) освещает эти события иначе. Он припоминает проработку «руденковщины» в Русском музее. С. А. Теплоухову и М. П. Грязнову пришлось выступить и отмежёваться от репрессированного Руденко. Правда, они уклонились от политического разбора классовых корней «руденковщины», а только спорили с отсутствующим коллегой по научным вопросам. «Мог ли Грязнов избежать этого выступления?» — спрашивает Формозов и отвечает: «Пожалуй, мог бы», — и ссылается на Фиельструпа, отказавшегося участвовать в проработке. Ну, не у всех хватало решимости. О поведении Грязнова в тюрьме Формозов пишет:

> «В архиве Грязнова сохранилась его запись двенадцати допросов во время следствия. Из нее видно, что на восьмом допросе обвиняемый принужден был дать какие-то показания против Теплоухова, а на одиннадцатом — против Руденко. <...> В 1960-х годах Грязнов сделал в ЛОИА доклад о Теплоухове, чьи заслуги замалчивали почти тридцать лет. По рассказам присутствовавших, закончив речь, Михаил Петрович помолчал, а потом произнес еще фразу: "И вот такого человека я погубил", — и заплакал».

Ученик Грязнова Д. Г. Савинов (2006: 170–171) решительно возражает Формозову и осуждает его за это изложение.

> «Однако обратимся к источникам, которые, к счастью, на этот раз сохранились и которыми пользовался сам Формозов. В тексте допросов, записанных М. П. Грязновым, говорится, что все обвинения в участии в контрреволюционной организации через посредство Теплоухова "я решительно отверг" и "убедившись, что от меня не добиться признания моей вины, следователь заявил, что меня больше на допрос вызывать не будут и что меня ждет наиболее суровый приговор". О С. И. Руденко сказано только, что Грязнов описал известные ему "случаи злоупотребления со стороны начальника экспедиции", но это можно трактовать как угодно. Записи М. П. Грязнова опубликованы (Степи Евразии..., 2002. С. 86-90). Фраза, сказанная Грязновым после доклада в 1963 г., как и трогательная деталь о том, что он "заплакал", — выдуманы. Ничего этого, по свидетельству ближайшей сотрудницы М. П. Грязнова М. Н. Пшеницыной, присутствовавшей на этом заседании, не было. А ведь такая деталь — "заплакал", — поданная умело и как бы между строк, далеко не безобидна. В ней и признание собственной вины, и чувство раскаяния...»

Савинов невнимательно читал грязновские записи допросов. Там ведь черным по белому указано, что о «злоупотреблениях» Руденко Грязнов говорил на двенадцатом допросе, а на одиннадцатом допросе Грязнов (Из личного 2002: 89) совершенно ясно заявил,

> «что Руденко вместе с окружающей его группой преподавателей Лен. Гос. университета, научных сотрудников Государственного Русского музея, в том числе и мной, относясь с недоверием, а иногда и враждебно, ко многим мероприятиям Советской власти, проводил политику саботажа этих мероприятий и тем самым опорочил работу по реорганизации музея и Университета... я не был активным его сподвижником, так как не разделял всех его взглядов... что начиная с 1930 г.

> я много работал над своим идеологическим перевооружением, что в 1931 г. я публично выступил на методологическом совещании в этнографическом отделе Гос. Русского музея с критикой научных работ Руденко и отмежевался как от его методологических установок, так и от своих собственных установок периода до 1930 г. и что вся моя последующая деятельность была направлена к полному овладению марксистско-ленинской методологией...»

Для осуждения Руденко по одному из пунктов (саботаж) статьи 58 этого было совершенно достаточно. Недаром запись об этом допросе завершается таким пассажем:

> «...следователь выразил свое удовлетворение по поводу данных мною показаний и заявил, что мой конфликт со следственными органами ликвидирован и что теперь мой режим может быть облегчен. Со следующего дня я получил разрешение покупать газеты и журналы, меня стали водить на прогулки и я получил разовую передачу...»

Другое дело, что допрос этот состоялся 14 марта 1934 г. К этому времени Руденко был уже не только осужден, но и досрочно освобожден и работал в системе НКВД, так что показания Грязнова не оказали никакого воздействия на его судьбу. По-видимому, Грязнов и исходил из того, что Руденко уже всё равно осужден как «враг народа» и ему показания уже не повредят. Не этот ли эпизод привел потом к ссоре двух выдающихся археологов? Нет, вряд ли. У Руденко не было случая ознакомиться с показаниями Грязнова. Ему их не предъявляли.

Насчет покаяния и плача Грязнова. Формозов был не такой человек, чтобы что-то выдумывать, да еще о Грязнове, которого он очень почитал. Несомненно, он что-то подобное слышал от очевидцев. Мог перепутать место и время выступления Грязнова, но вряд ли намеренно исказить сам факт. Он мог воспринять в другом свете, чем запомнилось грязновским ученикам; могли и очевидцы что-то преувеличить.

В ответе критикам Формозов (2008: 69) назвал и источник своего сведения о докладе Грязнова — А. Д. Грач. Саша Грач был моим близким другом, но я должен сказать, что за ним водился такой грешок: в своих живых и эмоциональных устных рассказах любил приукрасить, преувеличить и драматизировать события. Так что я бы как раз полной веры его рассказу не давал. С другой стороны, мог и сам Грязнов придать чрезмерное значение своим промахам — ведь судьба

подписавших признание была предрешена. Мог рассказать о своей критике Теплоухова дрогнувшим голосом — для Грача этого было достаточно, чтобы вспоминать о рыдании.

Когда откроются секретные протоколы, тоже не всему можно будет верить. Часть допросов не протоколировалась, часть искажалась следователем при записи. Однажды Грязнов всё-таки разговорился с Шером об одном тюремном эпизоде:

> «На последнем допросе, незадолго до объявления приговора, мне предложили подписать протокол допроса. Я отказался и сказал, что, как и прежде, ничего не подпишу. Тогда следователь с ехидным смешком достал из папки протоколы предыдущих допросов и, показывая их мне, спросил: "Это ваша подпись?" Я внимательно рассмотрел подпись и сказал: "Похоже, что моя, но я ничего не подписывал". Он еще раз усмехнулся и убрал протоколы в папку. А я так и не понял... Ведь вот вы знаете, что у меня почерк далеко не каллиграфический (это действительно было так. — Я. Ш.), и подпись не так уж просто подделать» (Шер 2009: 87).

В 1956 г., как и многие подвергшиеся сталинским репрессиям, Грязнов был реабилитирован, по счастью —при жизни.

3. Возвращение в науку. Вернувшись в Ленинград в 1937 г., Грязнов был принят на работу в Эрмитаж, а с 1939 г. был восстановлен и на своей должности в Институте, в который была реорганизована ГАИМК. Именно в это время он сформулировал представление об эпохе «ранних кочевников» (Шевченко 1992; Савинов 1995). Излагая в 1939 г. свои результаты в макете древнейшей истории страны, он называл скифское время «эпохой ранних кочевников», занимающей 8 столетий (VII в. до н. э. — I в. н. э.). Эпоха эта делится на три этапа: ранний (майэмирский) — средний (пазырыкский) — поздний (шибинский).

Одним из первых Грязнов начал применять математические методы в археологии, в частности строил корреляционные таблицы (сказалась естественнонаучная подготовка). В 1941 г. он опубликовал свою знаменитую корреляционную таблицу бронзовых кельтов, которая была вехой на пути развития статистико-комбинаторных методов в советской археологии. В 20-е гг. с опытами их применения выступил Ефименко, в 30-е Арциховский, но наиболее строгое корреляционное поле предложил именно Грязнов. А написана эта статья была еще в 1929 г.! Из всех троих он был наиболее включен

в естественнонаучный способ мышления и наиболее привержен к разработке средств обеспечения объективности исследований, причем он применил этот метод раньше Крёбера, раньше американцев, за которыми укрепилась слава инициаторов этого дела, — знаменитая работа Крёбера вышла в 1941 г. (Свиридовская 1992; Шер 1992). А Грязнову в 1929 г. было сказано, что его работа посвящена мелочам вещеведения и ее незачем печатать. К сожалению, в советской археологии господствовало насаждаемое сверху убеждение, что объективность гарантируется применением марксизма-ленинизма и особой нужды в дополнительных мерах нет, поэтому мы отстали на несколько десятилетий в разработке этих методов, и дальнейшее развитие они получили только с 1960-х гг., что видно по сборникам «Новые методы в археологии» (1965), «Археология и естественные науки» (1970) и книге Каменецкого, Маршака и Шера.

Военное время Грязнов провел в эвакуации в Свердловске. В январе 1945 г. защитил в Свердловске (еще в эвакуации) кандидатскую диссертацию по эпохе бронзы в Казахстане, а в июне того же года по пазырыкской теме ему была присуждена без защиты степень доктора. В Ленинград вернулся уже доктором. Уникальность этого восхождения состоит в том, что он не имел высшего образования, и в том, что кандидатская и докторская степени получены в один год!

Грязнову принадлежит идея, что курган только в результате стихийных разрушений и оплывания земли приобрел привычный нам облик кургана, а строится каждый курган как архитектурное сооружение с деревянными конструкциями, иногда каменными. Но каменные сохраняются лучше, а деревянные исчезают. Точно так же он реконструировал и социальное устройство исчезнувших обществ — по следам в археологическом материале: по взаиморасположению и взаимоотношениям этих жалких остатков можно было сделать некоторые выводы о связях и отношениях людей — о системе власти, об организации общества (Бобров 1997; Васютин 2002).

В Эрмитаже Грязнов был к концу войны естественным хозяином Пазырыка, а Руденко, как мы помним, в военное время не допускался академиком Орбели к своим материалам. Это, конечно, могло бы поссорить обоих ученых, но и в этом Руденко Грязнова не винил. Сотрудничество продолжалось.

В 1947 г. Равдоникас предложил Грязнову ассигнования на новые раскопки в Пазырыке, но Грязнов отказался, сочтя средства недостаточными. «Это можно только грабительски вытащить оттуда вещи и больше ничего». Тогда Равдоникас предложил эти деньги Руденко,

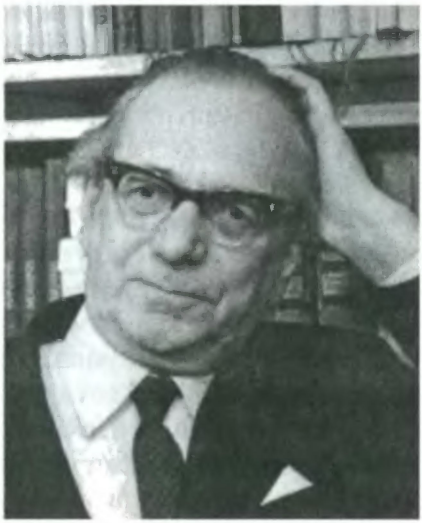
и тот, «человек смелый», согласился, а доктор наук Грязнов с супругой Комаровой согласились ехать помогать Руденко. По рассказу Комаровой, Руденко действовал «грабительски»:

> «когда могилу копал, брал то, что у него в ногах было, и кидал мне наверх, тут и кости попадались. А я сидела и подбирала то, что он вытаскивал из могилы. Это был курган 2. Копали, конечно, скверно. Ему было трудно разобраться при таком способе раскопок. Так же были исследованы и другие курганы. Очень помог разобраться в этой груде вытащенных вещей и костей Михаил Петрович. Он занимался этим, реставрировал, подбирал» (Пазырык 2002: 96).

В своих публикациях (даже Первого кургана) Руденко считал себя единственным автором открытия. Между тем Грязнов не только раскапывал Первый Пазырыкский курган, но и его участие в раскопках Второго и всей группы было значительным и очень важным. Конфликт усугубился разногласиями по методике. Вот после этой экспедиции и публикаций Руденко отношения были разорваны на всю оставшуюся жизнь.

С 1953 по 1968 г. Грязнов управлял сектором Средней Азии и Кавказа в Ленинградском отделении Института археологии. В эти послевоенные годы он руководил крупнейшими в Сибири новостроечными экспедициями: Новосибирской, Иркутской, Красноярской (Астахов 1992).

М. П. Грязнов за описанием и зарисовкой находок в своей Новосибирской экспедиции, первая половина 1950-х, напротив, за тем же столом, его супруга М. Н. Комарова



М. П. Грязнов у полок с книгами

М. П. Грязнов в своем служебном кабинете

В 1971–1974 гг. раскапывал в Туве скифский курган VIII–VII вв. до н. э. Аржан, который перевернул представления археологов о начале скифского времени, отодвинув его на век глубже и дав веские аргументы в пользу восточной прародины скифов. Датировав курган VIII–VII вв. до н. э., Грязнов заключил, что «скифская триада» ведет свое происхождение не из Ирана или Причерноморья, а везде появляется одновременно, причем роль Саяно-Алтайского очага очень велика.

Теперь для всей степи Грязнов полагал одинаковые этапы бронзового века, распространив схему Теплоухова на всю степь и синхронизировав восточные этапы с причерноморскими. Конкретно ранняя часть этого развития выглядит так: аржано-черногоровский этап (VIII–VII вв. до н. э.) сменяется майэмирско-келермесским (VII–VI вв. до н. э.), а тот пазырыкско-чертомлыцким (V–III вв. до н. э.). Вообще он воспринимал археологическую культуру как этап, стадию в развитии местного населения, следуя в этом Теплоухову. Он придерживался этого взгляда и на рубеже 70-х гг., и нет признаков, что позже он пересмотрел это архаичное представление.

Параллельно с Семеновым Грязнов создавал методику изучения древних орудий по следам их использования — трасологию — и много лет читал такой курс в Ленинградском университете. К деталям относился поистине любовно. Его исследования поражают тонкостью проникновения в материал, чему способствовало редкое для наших археологов знание этнографии. Грязнова по заслугам называли мастером археологической миниатюры (см. также Вадецкая 1987; Глушков 1992; Коробкова 2002). Но им созданы и широко известные обобщающие труды, хотя обобщения не идут дальше того, что позволяют источники. Его «Южная Сибирь» выходила на разных языках, также и публикация Аржана.

4. Учитель и человек. С 1951 г. К Грязнову стали направлять в обучение аспирантов. С 1955 по 1970 г. он руководил огромной экспедицией на территориях затопления строящейся Красноярской ГЭС. В своих экспедициях Грязнов создал обширную школу археологов, к которой принадлежат К. А. Акишев, В. И. Матющенко, Г. А. Максименков, Я. А. Шер, А. А. Аскаров, Д. Г. Савинов, Н. А. Боковенко, Л. С. Марсадолов и др.

Его давняя аспирантка Е. Е. Кузьмина, приехавшая к нему учиться из Москвы, описывает его так:

> «...это был человек маленького росточка, с близорукими глазками, в очках, которые он поднимал на лоб, чтобы что-нибудь рассмотреть, и очень внимательными глазами, в которых иногда появлялось лукавство: у него было своеобразное чувство юмора». В квартире его «на одном стеллаже были папки, посвященные каждому археологу. В каждой была фотография (он увлекался слайдами), краткая биография, оттиски статей, а, главное — комментарии Грязнова, касавшиеся каждой работы, его заключение — иногда очень остроумное, — по поводу самого ученого.

М. П. прочитал мне отзывы о нескольких ученых, но то, что он написал обо мне, читать не стал. Какое счастье, что весь этот бесценный архив после смерти Грязнова целиком вывез В. И. Матющенко в Омск, и эти папки станут источником информации для историков археологии XX века!» (Кузьмина 2008: 31–32).

Я знал про этот стеллаж и даже изготовил и подарил Михпету карикатуру на самого себя для своей папки в нем, хотя никогда ее не видел.

Я. А. Шер (2009: 73), бывший его аспирантом, добавляет такие штришки:

«Он очень хорошо рисовал. Его рисунки можно оценить по ряду его публикаций, которые он сам иллюстрировал. Когда его просили посмотреть переведенный на ватман полевой чертеж, он сдвигал на лоб очки и, низко наклоняясь, рассматривал чертеж. Потом доставал из кармана пиджака изысканно заточенный карандаш "Кох-и-Нор" (по тем временам большой дефицит) и легкими точными штрихами вносил исправления».

Шер вспоминает его начальные уроки:

«— Нельзя браться за диссертацию, не имея заранее собранного материала, и тем более нельзя планировать такую работу под материал, который еще находится в земле.

Потом, немного пожевав губами "м-да, м-да", он мне сказал, как я понял позже, еще более важное:

— Ну-с, а вообще наши с Вами отношения будут складываться так: инициатива будет исходить от Вас, а я буду или соглашаться, или возражать».

Кстати, мои отношения с моим шефом, М. И. Артамоновым, строились по этой же формуле. А Шер объяснил суть этого правила:

«Эту фразу я запомнил на всю жизнь. Спустя несколько лет, когда у меня появились свои студенты и аспиранты, я столь же четко требую его соблюдения от них. Я вижу в этой фразе важнейший принцип воспитания научной молодежи: науке, научному мышлению и творчеству научить невозможно. Но если ты хочешь чему-то научиться, то нужно обязательно первые годы поработать рядом со своим учителем и, помогая ему, внимательно присматриваться к его стилю работы и образу мысли. И тогда ты обязательно чему-то научишься или, что еще лучше, пойдешь дальше своего учителя. Ну а если не научишься, то, увы, ничего не попишешь. В науке, как и в природе, действует жесткий естественный отбор» (Шер 2009: 74).

Подобно Арциховскому, он не выговаривал звуков [к] и [г], но, в отличие от Арциховского, держался в стороне от марксизма и большой научной политики. Это был очень спокойный и доброжелательный человек, сама скромность, непритязательный до абсурда (профессор, доктор наук, всю жизнь прожил в коммунальной квартире), строгих принципов в быту и методике.

Быт его описывает Кузьмина (2008: 31):

> «Он жил на 12-й линии Васильевского острова в квартире, где обитал цвет научной и художественной интеллигенции Серебряного века. Но ему — учителю поколений археологов всей страны, лауреату Государственной премии — так и не дали отдельной квартиры. Они с Марией Александровной Комаровой — верной спутницей всей его жизни и матерью их единственного сына Орика — обитали в двух отдельных комнатах в огромной коммуналке. В одной комнате они жили: влево от двери там стоял круглый стол, за которым М. А. поила нас чаем. Напротив был кабинет Михаила Петровича: там рядами стояли стеллажи до потолка, на которых в строгом порядке были расставлены огромные папки с материалами, собранными Грязновым за всю жизнь...»

Летом он жил на даче в Петергофе, «которую он очень любил, украсил свой домик копиями зверей из Аржана и развел садик, где акклиматизировал сибирские растения, в частности золотые саранки, которые сияли, как маленькие солнца» (Кузьмина 2008: 32). О дачном сборном домике в Старом Петергофе вспоминает и Шер (2008; 90):

> «Многое в этом доме шеф сделал своими руками. Они уезжали туда с первым теплом, жили там до поздней осени и всей душой отдыхали от сутолоки и неудобств большой коммунальной квартиры. В небольшом садике при даче шеф устроил уголок сибирской природы. Из каждой экспедиции он привозил и высаживал здесь либо семена, либо луковицы, саженцы и побеги каких-то сибирских растений и потом с искренней любовью и гордостью показывал тем, кто приезжал к нему впервые, алтайский кедр, байкальский багульник, енисейскую саранку, "жарки" и многое другое».

То, что Грязнов начал свое образование с естественнонаучного факультета, наложило отпечаток на всю его научную деятельность. Как пишет Шер:

> «Хоть Грязнов был доктором исторических наук, в нем всегда превалировало естественнонаучное восприятие. В его публикациях места, связанные с анализом вещей, костей, слоев,

> перекопов, следов сработанности, всегда были немного ярче, чем необходимые по официальной идеологии, но, как мне кажется, вынужденные социально-экономические обобщения. Как-то М. П. в разговоре со мной полушутя, но в то же время с достаточной серьезностью сказал: "Я ведь не историк, я археолог, а точнее — натуралист"».

Будто, услышав это замечание, Кузьмина (2008: 33) сравнивает двух крупнейших археологов-сибиреведов:

> «М. П. был и оставался естественником, в отличие от С. В. Киселева, который в первую очередь был историком. С. В. говорил: "Мы с Грязновым, как два корабля, идущих параллельным курсом в тумане и никогда не сталкивающихся". Грязнова не очень интересовала дата кургана, но зато по костям жеребенка он точно знал, в каком месяце принесена жертва. Где он был абсолютным асом — это реконструкция сосудов по фрагментам, технология нанесения орнамента и анализ металлических изделий. <...> Он словно видел древнего мастера и безошибочно определял, из чего сделана литейная форма, где литник, почему образовался брак».

Как и Кузьмина, я посещал его спецкурс по трасологии в Эрмитаже, читавшийся с 1946 г. Помню протянутые над нашими стульями и большим столом веревочки с развешанными на прищепках чертежами и фотографиями, которые передвигались по ходу лекции. Недавно я нашел у себя конспект этого курса.

Когда Кузьмина приехала к нему зимой 1984 г., «Михаил Петрович доживал свои последние дни: у него был рак желудка, он уже почти ничего не ел. Но меня поразило мудрое философское отношение к смерти, с которой он уже, казалось, примирился, и в то же время совершенно угасший интерес к археологии, и доброжелательность к людям» (Кузьмина 2008: 32).

Наследием Грязнова осталось полторы сотни печатных работ, в том числе 13 монографий, разветвленная школа и очень добрая память. Разумеется, архив, который еще предстоит разбирать (Пшеницына 1987; Васильева 2002; Длужневская и др. 2002). В Омске регулярно проходят «Грязновские чтения», в Петербурге время от времени — Грязновские конференции, собирающие уйму народа.

Вот уж кто действительно жив в археологии — это Грязнов.

Мастер и его предел

В. Ф. Генинг

Мы счастливы не благодаря
нашим достоинствам,
а благодаря ошибкам и слабостям.
В. Гёте. Беседы с Римером.

1. Предупреждение. Когда я пишу о Владимире Фёдоровиче Генинге (1924–1993), я испытываю некоторую неловкость. Долгое время он считался моим главным оппонентом в советской теоретической литературе по археологии. И есть немало археологов в России, которые внимали Генингу как серьезному теоретику (он столько написал!) и воспринимали наши баталии как столкновения равных противников (Холюшкин и Гражданников 2000: 24). Так что критические оценки в моем изображении Генинга могут быть поняты как запоздалое сведение счетов.

Между тем, хотя я и спорил с ним всерьез, потому что речь шла о серьезных вещах, я не мог относиться к его рассуждениям как к солидным теоретическим работам. Я вполне уважал и ценил Владимира Федоровича как полевого археолога, обработчика материала и организатора, но его многочисленные попытки проявить себя в теории были чем угодно: схоластикой, риторикой, политикой — только не археологической теорией (Клейн 2005: 445). Далее я постараюсь обосновать свое мнение.

В начале теоретического бума в советской археологии на рубеже 60-х и 70-х, мы, встретившись в Москве, куда он приезжал из Свердловска, а я из Ленинграда, выступали с ним вместе на совещаниях по теории, потому что оба были за ее интенсивное развитие, оба выступали против попыток свести всё к формальностям и параду. Я возлагал большие надежды на наше сотрудничество. Но как только взялись за непосредственную работу, стало ясно, что его амбиции

значительно превышают его возможности. То, что он убежденно и настойчиво предлагал, совершенно не годилось. Ну, ни в какую.

Мы никогда не враждовали (по крайней мере я не испытывал к нему личной вражды, полагаю, что и он ко мне тоже), хотя порой мы и обижались друг на друга (за резкие выражения). Не было столкновения карьерных интересов (мы работали в совершенно не пересекающихся учреждениях), была только конкуренция взглядов, а для меня она никогда не переходила на личности. До самых последних лет его жизни мы изредка переписывались, обменивались мнениями, встречались при поездках в города, где жил оппонент, готовы были к сотрудничеству. Но сотрудничать не выходило: слишком разным было понимание целей и принципов. А я откровенно говорил ему, что теория — не его сильная сторона.

Я надеюсь, что мое изображение фигуры Генинга получится объективным, хотя его поклонникам может показаться в чем-то неприятным. У Генинга много активных учеников и последователей, и написано о нем порядочно (Ашихмина 1995; Викторова 1999; Журавлева 2000; Бунятян 2002; и др.). Всё это — литература панегирическая, но извлечь из нее можно немало черт, реалистически очерчивающих характер.

2. Кочевое детство и подневольная юность. Владимир Фёдорович принадлежит к семье поволжских немцев, подавшихся на Алтай, когда переселение в Сибирь стимулировалось в ходе столыпинской аграрной реформы. Отец Фёдор Карлович был учителем, мать, Софья Фёдоровна Роот, — бухгалтером. Родился Владимир Фёдорович то ли в Славгороде, то ли в селе Подсоснове Алтайского края. В 1930 г., когда мальчику было 6 лет, родители разошлись, и через два года мать вышла замуж снова, и семья переехала в Новосибирск, а еще через 4 года, в 1936 г., в г. Талды-Курган Казахской ССР. В 1941 г. родители переехали в поселок Текели Талды-Курганского района Алма-Атинской области, где строился комбинат. Там в 1942 г. Владимир окончил среднюю школу.

При таких частых переездах и учебе в провинциальных и поселковых школах, да еще в нерусских областях, можно с уверенностью сказать, что среднее образование было получено не лучшего уровня, несмотря на оценки. Оценки в аттестате были отличные и хорошие за исключением немецкого — тройка. Это говорит о том, что Владимир Генинг был полностью русифицирован и в немецком слаб.

Тем не менее в паспорте стояло «немец», а в войну почти все немцы подверглись у нас своеобразному интернированию — они были мобилизованы в Трудармию, где жили в лагерных условиях, получали скудное питание и использовались на тяжких работах. Не избежал этого и Генинг. С июня 1942 по апрель 1945 г. он отбывал эту повинность в рабочих колониях под Казанью и Ульяновском (Симбирском). Около 500 советских немцев из Сибири было привезено в Казань в декабре 1942 г. и в лютую стужу размещено в палатках на берегу реки Казанки. Они строили мост через реку. К весне половина пригнанных скончалась от голода, болезней и тяжести труда. К весне на слабость пожаловался врачу и Владимир Генинг. Его перевели на строительство железной дороги Казань — Сталинград. Там подневольные жили в домах и кормили их лучше. В 1944 г. Генинга перевели на работы в совхоз Ульяновской области. Там вообще стало терпимо.

В апреле 1945 г., уже в преддверии победы, Генинга перевели на работу на Урал — в Красновишерский леспромхоз Пермской области, где он четыре месяца проработал десятником лесозаготовок. На этом его подневольная эпопея закончилась (Мельникова 2003).

3. В Молотовском университете у Бадера. После победы обращение с советскими немцами стало смягчаться, и 22-летнего Генинга райком партии направил в дальний поселок Велс в семилетнюю школу учителем истории, географии и немецкого языка (ведь немец же!). Генинг не стал отказываться. Правда, у него не было высшего и специального образования — за плечами была только средняя школа, а по немецкому языку в аттестате стояла тройка, но в поселке Велс в пермских лесах и этого было достаточно. После года преподавания там учителя Генинга перевели учителем немецкого в семилетнюю школу райцентра — Красновишерска, одновременно он стал преподавать в школе рабочей молодежи. Надо полагать, за время преподавания молодой учитель сам усвоил азы немецкого языка. За всю его научную карьеру не видно, чтобы он продвинулся в нем дальше.

В 1946 г. 23-летний учитель женился — в жены взял армянку Тамару Карповну, тоже из высланного семейства.

Учителем Генинг был инициативным, провел со школьниками туристический поход по реке Вишере. В том же году поступил заочником на историко-филологический факультет Молотовского (Пермского) университета. В следующем году он снова отправился в туристический поход со школьниками, но уже как студент истфилфака и с историко-краеведческими задачами. Более того, он

явился к Бадеру и выпросил у него книгу по археологическим возможностям туристов. Из похода он привез зарисовки петроглифов и находки из самовольных небольших раскопок. В сентябре 1948 г. появился с ними в кабинете археологии, «несказанно удивив своих будущих однокурсников». Тут как раз было ликвидировано заочное отделение, и Генинг стал обычным дневным студентом. При этом он не имел права уезжать из края, каждую неделю нужно было отмечаться в спецкомендатуре.

Молотовский университет мало отличался от других провинциальных университетов России. Развернутого фронта научных работ в нем не было, уровень исследований и обучения был невысоким, но среди преподавателей встречались выдающиеся личности, особенно среди ссыльных. Таким был Отто Николаевич Бадер, тоже из ссыльных немцев. Создать полноценную систему археологического образования при возможностях провинциального вуза было немыслимо, но Бадер сумел наладить частную подготовку к полевой и камеральной археологии, а также к решению локальных археологических и исторических задач (составление археологических карт, выделение культур, построение колонок хронологии и т. п.). К этому времени Бадер, однако, и эту свою подготовку еще не успел развернуть. Так что археологическое образование Генинга было весьма ограниченным, локальным и провинциальным. Оно было достаточным для самостоятельных раскопок, но слишком скудным для интерпретационных, исторических и теоретических исследований.

Эта ситуация осложнялась тем, что Генинг по свойствам своего характера, закалявшегося в жизненных трудностях, был уверен в своих возможностях, упорен в достижении больших целей и склонен не пасовать перед трудностями. Он не только не знал многих необходимых отраслей знания, но и не понимал, что не знает. Не понимал, чего ему недостает. Отношение местных сокурсников, еще менее образованных, только поддерживало его в этом убеждении:

> «С первого же занятия, — вспоминала его сокурсница Т. А. Федорова, — он произвел на нас большое впечатление как человек эрудированный и очень приветливый, веселый, внимательный к людям. Он был всеми обожаемый человек. Очень серьезно относился к учебе (университет В. Ф. Генинг окончил с отличием)» (Мельникова 2003: 43).

Бадер считал, что творческую энергию у учащихся может возбудить только воспитание самостоятельности. Поэтому он рано поручал своим студентам настоящие исследовательские задачи, писал

отзывы на их сочинения. На дипломную работу Генинга, получившую оценку «отлично» (1952 г.) сохранился отзыв Бадера с большим числом претензий, в том числе и чисто грамматических: «эллептическая форма» (много раз), «светилища» (много раз). «Стиль изложения (построение фраз, согласование сказуемого с подлежащим, прилагательных, определений с подлежащими) оставляет желать лучшего» (Мельникова 2003: 63). Всё это так и осталось.

Несмотря на то что Генинг считался первым в своей группе и был рекомендован к научной работе, его не оставили в городе, а направили по распределению в деревню учителем. Возможно, причиной было отсутствие вакансий, а скорее — всё еще клеймо высланного немца. Два года он проработал учителем истории в городе Кудымкар и в селе Сива Молотовской (ныне Пермской) области. В Кудымкаре он снова организовал кружок археологии среди старшеклассников.

4. Аспирантура в Казани. С момента окончания Генингом университета Бадер вел переговоры о его назначении в Ижевск директором республиканского музея Удмуртии. Но удалось это назначение только два года спустя, в 1954 г., и не директором, а заместителем. Еще до этого Генинг организовал Удмуртскую археологическую экспедицию. Директор музея Андреев относился к ней и деятельности Генинга ревниво; видимо, и Генинг, первоначально намечавшийся директором, не очень считался с авторитетом своего начальства.

С результатами раскопок Генинг был командирован в Москву на ежегодный всесоюзный пленум и познакомился с московскими археологами. А. П. Смирнов предложил Генингу поступить к нему в аспирантуру ГИМа или ИИМКа. Но Генинг для этого должен был поехать один, без жены: для нее была запретна территория западнее Казани. Поэтому Генинг в 1955 г. договорился с казанскими археологами и поступил в аспирантуру Института языка, литературы и истории КФАН СССР. Причины отказа были непонятны Смирнову, и отношения между Генингом и Смирновым долго оставались прохладными.

Несколько лет еще продолжал Генинг руководить Удмуртской археологической экспедицией, и в 1958 г. вышла его книга «Археологические памятники Удмуртии», очень похожая на книгу Бадера 1950 г. «Археологические памятники Прикамья».

Руководителем Генинга в Казани стал историк и археолог Николай Филиппович Калинин, солидный ученый, но, разумеется, по авторитету и компетенции в археологии не идущий в сравнение с А. П. Смирновым. И в целом археологическое сообщество Казани,

хоть это и был более старый и крупный университет, немногим превосходило археологическую среду Молотова, далеко отстоя от столичного мира археологов.

По сравнению с Молотовым Генинга поразила постановка философской подготовки аспирантов в Институте языка, литературы и истории и университете. Конечно, это была сугубо марксистская подготовка — диамат-истмат, но она была гораздо солиднее, чем в Молотове. Молодого уральского археолога увлекла сама возможность абстрактного мышления, постановка вопросов о принципах всего сущего, возможность подведения теоретического обоснования под спорные вопросы археологии — ведь марксистская философия претендовала на положение науки наук! Это было так занимательно —получить конечные ответы на самые глубинные вопросы бытия и познания. На кандидатском экзамене по философии Генинг показал отличные знания, и преподаватели предлагали ему даже заняться именно философией в Казанском университете, а не археологией. Если бы это было принято, мы имели бы сейчас еще одного философа с пристрастием к археологическому материалу — типа новосибирца Гражданникова (тот происходит именно из казанских философов), изобретшего «всеобщий периодический закон».

По счастью, Генинг остался археологом. Но эта страсть к философствованию осталась в нем навсегда, и философию он всю жизнь понимал только как советско-марксистскую, усвоенную из стандартных марксистских учебников довоенного и послевоенного времени. Другой не знал, и другая для него оставалась путаными буржуазными измышлениями, тогда как в марксистской философии всё ясно, упорядочено и одобрено верховными авторитетами. Не обладая школой настоящего философствования, настоящего теоретизирования, он имел явную тягу к догматическому стилю мышления, потому что именно это давало ему прочную нить Ариадны для выхода из лабиринта. Из всего прочего арсенала литературы о познании прочел только несколько переводных книг (в частности, Томаса Куна).

Тема кандидатской диссертации была тоже на материале Удмуртии — «Пьяноборская культура». В 1959 г. в Москве состоялась защита. В 1960 г. его пригласили в Уральский университет в Свердловск.

5. В Уральском университете. В Свердловске он застал раздор между двумя основными тамошними археологами. С давних времен там работала жена расстрелянного в 1937 г. археолога А. А. Берса, Е. М. Берс. Она не имела не только археологического, но и высшего

образования вообще. Археологией овладевала на практике и могла обучать студентов азам ремесла, но была очень слаба в знаниях археологии как науки. Она заведовала в Университете археологическим кабинетом. В послевоенное время там появился К. В. Сальников — археолог рабочего происхождения, но с червоточинкой: в Гражданскую войну он воевал на стороне Колчака, где потерял ногу, и белогвардейское прошлое висело над ним всю жизнь. В Самаре он начал учиться на Высших археологических курсах у В. В. Гольмстен, продолжил в Московском университете у В. А. Городцова, а завершил археологическое образование в аспирантуре ГАИМК, откуда, правда, был отчислен за невыполнение плана. Затем в 1930-е гг. работал в Средневолжском и Оренбургском (Чкаловском) областных архивах, в 1937–1940 гг. в Челябинском областном музее, в 1940–1946 гг. вновь в Оренбурге, преподавал (также в 1943–1946 гг. работал в редакции газеты «Чкаловская коммуна»), в 1946–1960 гг. он доцент Уральского университета (Свердловск), а с 1960 г. заведует сектором археологии и этнографии Института истории, языка и литературы Башкирского Филиала АН СССР (Уфа). Это был профессиональный археолог, и у него много заслуг перед уральской археологией.

Отчеты Берс о раскопках вызывали нарекания Полевого комитета, а без их утверждения ей запрещали вести раскопки в следующие годы. Сальников не хотел ее защищать, и между ними были нелады. Есть сведения, что Берс и хлопотала о приглашении в Свердловск Генинга, чтобы противопоставить его Сальникову. Но еще до появления Генинга оба тамошних археолога покинули Свердловск: Сальников вернулся в Уфу, чтобы уйти от столкновений с Берс, а Берс пришлось покинуть университет и уехать в Новосибирск (Матющенко 2001: 35; Мельникова 2003: 54).

Р. Д. Голдина (2002: 29–30) описывает, как она, тогда молодая выпускница Пермского университета, в 1962 г. застала в кабинете археологии своих руководителей — Оборина и других, возбужденно беседующими с незнакомцем. «Красивое волевое лицо, серо-синие глаза, черные волнистые волосы, выразительный излом бровей и характерный рисунок губ». Оказалось, это Генинг, приехавший в Пермь из Свердловска набирать команду. Голдина получила приглашение. «В. Ф. Генинг мне сразу понравился. Он умел быть очень обаятельным и нравился многим женщинам. Но справедливости ради следует сказать, что он этим не злоупотреблял». Из учеников Сальникова с Генингом осталась работать В. Д. Викторова.

Генинг объединил все экспедиции кафедры истории СССР в одну Уральскую экспедицию под своим руководством. Помощниками его были В. Е. Стоянов, В. Д. Викторова и позднее Р. Д. Голдина. Он возродил Уральские совещания спустя 13 лет после первого, проведенного при Бадере, и стал проводить их регулярно. Он организовал выпуск «Вопросов археологии Урала» (ВАУ), и за 14 лет его пребывания в Свердловске вышло 13 выпусков ВАУ.

Генинг существенно изменил программу преподавания. При нем археология, этнография и история первобытного общества были соединены в один большой курс. Это дало возможность сразу, период за периодом, наполнять археологические памятники социально-историческим и этническим содержанием. Сразу, не отделяя одно от другого. Генинг считал, что только такая археология может считаться по праву исторической наукой и заслуживает аттестацию марксистской. Его ученики представляют это как большое достижение Генинга, как прогрессивную новацию.

Между тем это было грубой ошибкой. Археология — источниковедческая наука. Памятники очень трудны для интерпретации, их социально-исторические соответствия (корреляты — называют их в Америке) неоднозначны и уж во всяком случае на первых шагах не могут быть определены достоверно, гарантированно. Что такое «грузик Дьякова типа»? По одним гипотезам, грузик, по другим — навершие масляной лампы, и т. д. Для чего служили молоточковидные булавки? Так со многими археологическими источниками. Для их понимания нужно подключение других видов источников, не археологических. Поэтому сначала нужно обследовать их как источники, препарировать. Это очень длительный и трудоемкий процесс, со своими методами и задачами, и лишь после этого они могут быть включены (и то не все) в историческое исследование, опять же со своими задачами и методами. А это значит, что эти виды исследования должны быть разделены, археология и история не совпадают. Преподавать историю с однозначно подобранными археологическими коррелятами — значит воспитывать археологов-догматиков с шорами на глазах.

Еще в 1959 г., то есть перед приходом в Уральский университет, вышла его написанная за два года до того большая статья «Очерк этнических культур Прикамья в эпоху железа». В этой работе он выдвинул свое видение проблемы археологической культуры как локальной этнической культуры. То есть он ввел в определение археологической культуры этническую значимость как обязательный атрибут. Критерием выделения археологических культур, по Генингу,

должны служить те массовые материалы, которые отражают этнические черты населения.

Генинг не одинок в этом убеждении — Захарук, Брайчевский и Ляпушкин считали так же. Тем не менее это тоже явная ошибка. Не только потому, что археологическая культура — это единица археологической классификации, то есть источниковедческого упорядочения материала, а этническое определение — это вывод, историческая оценка, к ней должен повести долгий путь анализа, сопоставление археологической культуры с другими археологическими культурами, с лингвистическим материалом, топонимикой и т. д. Но это ошибочно еще и потому, что принципиального совпадения культуры с языком в их границах нет, а с этносом и подавно, поскольку этнос — категория социальной психологии. Этнография поставляет примеры несовпадения культур и языков.

Генинг разделил все археологические материалы на имеющие этническое значение (керамика, способ погребения и т. п.) и не имеющие его (орудия труда, жилища и т. п.). На деле такого четкого деления нет. Каждый признак в одних ситуациях может различать этносы, в других — нет.

Свою концепцию археологической культуры Генинг положил в основу докторской диссертации. Тема — «Этническая история Южного Прикамья в I тысячелетии до н. э.». Идею диссертации (и последующей книги) он изложил в письме к однокурснику В. А. Оборину от 12 февраля 1968 г.:

> «Я сел за диссертацию, т. к. тема "Этническая история", взялся за знакомство с состоянием теоретической стороны этой проблемы и оказался в тупике — по этому вопросу нет не только ни одной теоретической работы, но и вообще ничего нет! Что такое этнос? Эту проблему подняли в дискуссии историки. А как он "ведет" себя в первобытности, как развивается, трансформируется и прочее, прочее — ничего нигде!!! По наивности решил — надо в диссертации хоть во вступлении написать кое-что, и ниточка потянулась так, что до сих пор сижу и не могу оторваться. Написал первую часть (около 90 стр.) — развитие этноса в родовом общества. Казалось бы, для диссертации для чего она нужна? Но не будешь строить дом со второго этажа?! Да **сейчас залез** в самые дебри — развитие этноса в период разложения **первобытного** общества. Тут дело движется плохо, **ибо в жизни** человечества был полнейший бардак — в прямом и переносном смысле! Самое тяжелое, что пока я всё это делаю на этнографическом материале, т. е. хочу проследить, как

было у живых людей, чтобы в свете этого посмотреть на наших покойничков. Мне кажется, кое-что интересное получается. Когда закончу, пошлю тебе на первую пробу. Да по пути еще с одним вопросом — о племенной организации. И здесь такая же чехарда! Смысл ее таков: племя — институт политической надстройки, зарождающийся в эпоху первобытного общества» (Мельникова 2003: 127–128).

Получается такая картина. Как историк-синтезатор Генинг не мог разобраться в материале. «В жизни человечества получается полнейший бардак», «чехарда». То есть исследователь не видел внутренней организованности материала, не мог найти в нем связующих нитей. Спасением было внести в него порядок снаружи, извне. В распоряжении Генинга был только один рецепт — марксистско-советская схема, пятиступенная лестница социально-экономических формаций. Для этноса был подход от сталинского определения нации и общей схемы диамата-истмата. «Здесь этнический процесс, — пишет Генинг в «Автобиографии», — рассматривается как явление надстроечного порядка, т. е. детерминированное структурой и генезисом экономического базиса...» Ну, дальше уже просто: разделить «этнический процесс» на периоды соответственно социально-экономическим формациям, ввести для каждого периода свое обозначение этноса этого времени, и — вперёд, классифицируй археологический материал!

В 1970 г. вышло его учебное пособие «Этнический процесс в первобытности». Он задался целью построить общую теорию этногенеза как концепцию этнического процесса, способную осветить археологам интерпретацию. Исходить он решил из этнографии, коль скоро этнографический материал характеризует этнические особенности наиболее полно и целостно, тогда как археологический материал односторонен и фрагментарен. Значит, нужно строить концепцию, обобщая этнографический материал, а затем перенести полученные выводы на археологический. То есть не привлекать отдельные этнографические аналогии, а наложить обобщенную этнографическую модель на археологию.

Но Генинг счел обязательной для этноса (по дефиниции) общность культуры и этим резко приблизил археологические общности к этническим. Он не учел вероятность многомерного определения этноса, когда то один, то другой признак становится определяющим. Общность происхождения (реальную или воображаемую) и религиозную общность он отверг вообще в качестве возможных отличительных признаков этноса. Не учел он и то, что преемственность по культуре

может не совпасть с преемственностью по языку. Его этногенез, совпадающий с глоттогенезом, — это культурогенез.

По итогам видно, что он озабочен не столько выявлением длительных этнических процессов, сколько жесткой классификацией типов этнических общностей. Каждому периоду первобытности он предписывает особый тип. Для этих типов Генинг, следуя этнографу Н. А. Бутинову, вводит благозвучные термины: этлине, конэо, мегрэо, терэо. Термины эти чужды духу русского языка и потому неудобны: они не склоняются и не образуют прилагательных. Теперь уже можно сказать, что они и не привились.

Реальные соотношения — совпадения, несовпадения — разных этнообразующих признаков (язык, материальная культура, религия и др.) в их статике и особенно в динамике остались вне внимания автора. Это значит, остался вне рассмотрения вопрос о том, когда, при каких условиях общности этих элементов развиваются вместе, а когда раздельно. Но без решения этого вопроса даже самая стройная концепция не может служить теорией этногенеза, которая бы включала археологические материалы в этногенетические исследования. Генинг возвел внушительную конструкцию, которая ничего не поддерживает.

В. Ф. Генинг

Диссертация была защищена в Москве в Институте археологии АН СССР. С острыми возражениями еще на предзащите в 1973 г. выступали известные археологи А. П. Смирнов, Ю. А. Краснов, В. И. Мошинская, Н. Л. Членова. Защита в 1974 г. продолжалась пять часов, но степень присудили.

В то же время Генинг выступил и с методикой, в которой его исследовательская программа должна была реализоваться на практике. Тогда в моду входили статистические методы. Но сами по себе эти методы не содержали бы ничего оригинального, да и были в археологии люди куда более

подкованные в математике, чем Генинг (например, Б. И. Маршак, Я. А. Шер, В. Б. Ковалевская, И. С. Каменецкий). В статистике обычно признакам придается равный вес, а если и вводятся разные оценки веса, то с детальным обоснованием.

Коньком Генинга было придание признакам разного назначения, разного веса, в соответствии с его социальными и этноразличительными функциями, которые, как я уже отметил, не имеют постоянного значения. «Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок» была им опубликована в 1971 г. (из нее выросла монография 1992 г. «Древняя керамика. Методы и программа исследования в археологии»). Над аналогичной программой обработки погребального обряда он работал совместно со своим студентом В. А. Борзуновым — вышла в 1975 г. (а Борзунов защитил дипломную работу на тему «Методика сравнительного анализа андроновского погребального обряда»).

В Свердловске Генинг воспитал большое количество самостоятельных археологов, работающих по его методам и образцам и разъехавшихся по разным городам. В самом Свердловске (ныне снова Екатеринбурге) это В. Д. Викторова, Л. Н. Корякова, В. А. Борзунов и др., в Ижевске Р. Д. Голдина собрала вокруг себя большой коллектив, в Челябинске — Г. Б. Зданович со своими учениками, в Караганде — В. В. Евдокимов, в Сыктывкаре — Л. И. Ашихмина и т. д. В какой мере можно эту плеяду учеников называть школой Генинга (а так называют — Мельникова 2003), конечно, зависит от того, что понимать под школой. Если понимать под школой именно плеяду личных учеников, подражающих учителю в своей работе и разрабатывающих смежные темы, то такая школа налицо. Если же требовать выдвижения и разработки некой значительной концепции, активного отстаивания неких общих идей, то, пожалуй, этого не было. Идеи были слабоваты, а ученики были вовсе не теоретики. Только Викторова пыталась следовать за шефом в теории, но ее работы («Археологический факт» 1975, «Археологическая теория в трудах В. А. Городцова» 1977) были очень слабы.

6. Синташта. Зато в поле результаты Генинга и его команды были блестящие — как и у Бадера. По раскопанным в Уральском регионе материалам Генинг выделял одну культуру за другой: ломоватовскую, азелинскую, мазунинскую, поломскую и т. д. То есть в регионе, который хотя и не был белым пятном до Генинга, но представлен был в археологии разрозненными памятниками, стала нарастать сплошная сеть периодов и культур, и это несомненная заслуга Генинга.

Главной заслугой Генинга С. В. Кузьминых считает организацию широких археологических исследований Уральской археологической экспедиции в Обь-Иртышье, где до этого уровень исследований оставался на рубеже начала 50-х гг., что зафиксировано в трудах В. Н. Чернецова и В. И. Мошинской (личное сообщение С. В. Кузьминых). Но особенно прославился Генинг обнаружением Синташты. Уральская экспедиция открыла этот памятник разведками на территории строительства водохранилища в Челябинской области в 1968–1969 гг. С 1972 по 1975 г. Генинг развернул здесь раскопки. Обработка материалов показала выдающееся значение этого памятника, и Генинг вернулся к нему вместе со своим учеником Г. Б. Здановичем в 1983 г. для новых раскопок. Статьи с анализом памятника выходили уже в 70-е гг., а полная публикация осуществлена обоими авторами и сыном Генинга совместно только в 1992 г. — «Синташта. Археологические памятники арийских племен».

Еще в 1970-е гг. Генинг верно определил присутствие в памятнике черт, связанных с индоарийской этнической спецификой, — наличие коней и колесниц, погребения собак, другие особенности, зафиксированные в Ригведе и Авесте. Выбора между Ригведой и Авестой, говоря об индоиранской специфике памятника, Генинг не сделал, не уточняя, предки ли это индоариев или иранцев, — и поступил правильно, потому что в памятнике есть и те и другие черты, а на таком удалении во времени от исторических индоариев и иранцев невозможно выбрать, какие черты преобладают, только на основании анализа самого памятника. Возможно, что его побудило к такой осторожности представление, что индоиранцы (арии) разделились на индоариев и иранцев весьма поздно, перед самым вторжением в Индостан и Иран. Но он и это не уточнял, а ныне это подвергается сомнению. Е. Е. Кузьмина, вначале тоже придерживавшаяся такой трактовки памятников этого типа, стала позже выводить из них именно индоариев.

Датировку памятника вначале Генинг определял как XVI в. до н. э., исходя из аналогий в Микенах. Потом благодаря исследованиям К. Ф. Смирнова и Е. Е. Кузьминой дату удревнили на век. Ныне в связи с калиброванной радиоуглеродной хронологией встает вопрос о повышении возраста еще на два-три века, а соотношение с Микенами меняется на противоположное: не воздействие микенской культуры на далекие степные, а наоборот, воздействие степных культур Приуралья на далекие Микены. То есть с течением времени значение

В. Ф. Генинг с сотрудниками своего теоретического сектора в Киеве

Синташты всё возрастает (ср. оценку работ Генинга в Синташте в Кузьминых 2004).

7. Теоретик в Киеве. Весной 1974 г. состоялась защита докторской, а осенью Генинг перевелся в Киев, в Институт археологии Академии наук Украинской ССР, где занял пост замдиректора по науке. Причины переезда многообразны. Генингу было уже пятьдесят лет, и начались проблемы со здоровьем. Врачи посоветовали сменить климат и виды деятельности. С этого времени он прекратил ездить в поле. Кроме того, это было административное повышение. Наконец, его всё время тянуло к теоретическому осмыслению археологических данных. В 1978–1979 гг. Генингу удалось создать в Институте новое подразделение — Отдел теории и методики археологических исследований, учрежденный раньше, чем московский отдел (с 1985 г.), которым ведал Ю. Н. Захарук. Этакая рокировка проделана: украинец Захарук приглашен был налаживать теорию в Москву, а русскоязычный Генинг — насаждать теорию на Украине.

Его сотрудница Е. П. Бунятян (2002: 9–10) вспоминает, что многие украинские археологи принимали в штыки нововведения Генинга, в немалой мере из-за его приверженности марксистско-ленинской теории и его апломба, — видели в этом некомпетентное вмешательство в дела отделов, а его теории считали оторванными от практики археологии.

Лекции Генинг тут читал изредка (по методологии археологии), но занимался подготовкой диссертантов. Кандидатские под его руководством защищали Е. П. Бунятян, С. Ж. Пустовалов, А. И. Ганжа и др.

В 1985 г. после десятилетней работы в Киеве Генингу было присвоено звание профессора, а в 1986 г. сердце не выдержало — Генинга постиг инфаркт. Пришлось оставить работу в дирекции и сосредоточиться на работе в Отделе теории и методики. Но это был уже глубоко больной человек. Жить ему оставалось еще семь лет — до 1993 г. Умер, не дожив немного до семидесятилетия. Он успел, однако, дожить до падения советской власти, распада Советского Союза и краха марксистско-ленинской идеологии. Этого краха он так и не понял и не принял. Остался до конца твердым марксистом.

За почти двадцать лет своей работы в Киеве он издал ряд монографий по теоретической археологии и много статей. Эти монографии — «Объект и предмет науки в археологии» 1983 г., «Структура археологического познания. Проблемы социально-исторического исследования» 1989 г. и «Очерки философии социоархеологии» 1992 г. (последняя — в соавторстве с сыном). Кроме того, в наше время теоретическими стали исследования по истории археологической науки, так что к этой серии монографий можно отнести и книгу Генинга 1982 г. «Очерки по истории советской археологии (У истоков формирования марксистских теоретических основ советской археологии. 20-е — первая половина 30-х годов)». Всего в библиографическом указателе Генинга значится 210 печатных работ, из них — с полсотни можно отнести к теоретическим, причем примерно четыре десятка относятся к киевскому периоду.

Историографическая книга Генинга отличается полнейшей партийно-большевистской ортодоксальностью. Автор ее придерживается крайне застарелых даже для того времени взглядов: советская археология превосходит царскую и развивалась от успеха к успеху, 30-е гг. — ее расцвет. Никаких репрессий, никакого давления, почти никаких ошибок. Она по всем показателям превосходит зарубежную буржуазную археологию. Между тем позади уже было разоблачение культа личности, близилась перестройка. То ли запуганный немец дрожал за свое так трудно доставшееся благоденствие, то ли в его плоть и кровь вошла идеология его угнетателей — феномен известный. Он и позже остался на тех же позициях. Это в какой-то мере объясняет и его теоретические взгляды.

Как отрасль археологии теоретическая археология образовалась сравнительно недавно — в середине 70-х гг., но отдельные

теоретические монографии и статьи выходили и раньше. Накопившийся к 70-м гг. опыт этой сферы занятий показывал, что теоретическая археология отлична от полевой работы и эмпирических разработок материала. Что для нее нужны другие способности, другое образование (в дополнение к археологическому), что опыта полевой работы совершенно недостаточно.

В этой сфере занятий добивались успеха лишь те исследователи, которые, кроме широкого знания полевой археологии (а не только памятников своего региона), были начитаны в теоретической литературе мира (а значит, владели языками и имели к ней доступ), были сведущи в специфической философии и методологии науки (а не только в стандартном марксизме), имели хорошее представление о смежных науках — лингвистике, этнологии, антропологии и т. п. И нужно еще много свободного времени для спокойных размышлений и хорошее владение русским литературным языком для ясного изложения и четких формулировок.

Из предшествующего обзора видно, что ничего этого у Генинга не было. К сожалению, он был абсолютно не приготовлен к занятиям теорией. У него был только вкус к теории, а этого мало. И были апломб и административный ресурс — а этого (при таких условиях) слишком много.

По аспирантским меркам, Генинг был хорошо подкован в так называемой марксистской философии, усвоенной из учебников. Он понимал, что в тогдашних условиях это было его силой. И пользовался этой силой со всей страстью своего энергичного характера. Он обожал дисциплину и порядок во всем (об этом говорят все его ученики и работники его экспедиций). Он наводил порядок и в «бардаке» археологических данных, заимствуя схемы этого порядка прямиком из марксистской философии — из диамата-истмата, единственного доступного ему источника воспаряющей и упорядочивающей мысли. То есть для него археологическая теория состояла из прямого наложения марксистских схем и догм на археологический материал. Другие возможности теоретических рассуждений были ему совершенно недоступны и чужды.

Дальнейшее для него состояло в детализации схем и догм в приложении к археологии, в определении новых понятий, возникающих в этой сети, в их иерархическом упорядочении и в придумывании зубодробительных терминов для них. При его путаном языке сеть эта часто достигает у него такой сложности, что уразуметь смысл изложения совершенно невозможно. Через короткое время начинаешь

понимать, что перед тобой не теория и не философия, а чистейшая схоластика. Его выводы суть либо сугубые банальности, изложенные псевдонаучным, гелертерским языком, либо несуразности. И возникает впечатление: если это теория, то я уж лучше укроюсь от нее на самое дно эмпирики.

Ю. Н. Захарук, завсектором Теории и методов в московском Институте археологии, был тоже слабым теоретиком — примерно по тем же причинам, что и Генинг. И тоже несомненным энтузиастом теоретической археологии — это он пробил в дирекции согласие на сектор. Умер Захарук — и его теоретические работы в секторе фактически забыты. Но при всей скудости его теоретического багажа, у него в омуте марксистско-философской риторики попадались очень дельные мысли, потому что он старался исходить из археологической практики. У Генинга дельных идей в теории я не мог найти.

Я много спорил с Генингом по вопросу о предмете и методической природе археологии (Клейн 1986; 1991; Генинг 1989, 1992), подробно доказывая слабость его положений, но последние книги Генинга решил просто игнорировать: жаль было тратить на них время. Его влияние было заметным, когда подкреплялось административным ресурсом. Когда этот источник влияния исчез, пустопорожность его теоретических рассуждений стала явной. На них еще много почтительных ссылок, но это не деловое употребление его выводов и предложений. Это просто знаки уважения к его заслугам как видного полевого археолога, учителя многих археологов и обаятельного энтузиаста. Лишь иногда это почтение к объему его теоретических трудов.

Через десятилетие после его смерти сотрудники его сектора на деле отреклись от его принципов и методов, только упрямый С. Ж. Пустовалов остался им верен, что вызвало его конфликт с коллективом и затормозило защиту его докторской диссертации.

Нонконформисты

Стране со мной не повезло.
Мне со страною — тоже.
В своей стране я как изгой.
На что это похоже?
Но я, надежды не тая,
Свой хвост держу трубою:
Страна совсем не значит — я,
Но Родина — другое!

Н. Старченков.
Стране со мной не повезло.

Понятие парадигмы я не считаю адекватным для характеристики современной ситуации в археологии, ибо всеобъемлющей системы общепринятых правил в ней не существует. Но есть некий набор принятых в данное время в археологии страны принципов и норм, которые поддерживаются господствующей школой (или школами) и головными учреждениями данной дисциплины. Однако во всякое время существовали исследователи-одиночки, не укладывавшиеся в стандарты, которыми в это время руководствовалась вся дисциплина. В советское время, с его обязательным монолитным единством и конформизмом, это было не только трудно, но и смертельно опасно. Когда мир делился надвое и всякая развиваемая у нас концепция получала непременно аттестацию марксистской, предлагать нечто необычное, занимать обособленную позицию означало быть научным диссидентом. Можно было получить клеймо ревизиониста, критикана, противника господствующей идеологии. А это грозило репрессиями или в лучшем случае всяческим затруднением научной карьеры. Некоторые избежали и того и другого, но к верхам научного истэблишмента не пробился никто.

Для истории науки значение этих людей определяется тем, что в отклонениях от научных норм своего времени и среды часто содержатся зародыши нового, ростки будущего. Из людей этого склада мне представляется уместным отметить Г. А. Бонч-Осмоловского, С. Н. Замятнина, А. Н. Рогачева, А. Л. Монгайта, Г. Б. Фёдорова и А. А. Формозова.

За полшага до Борда

Г. А. Бонч-Осмоловский

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны.

Н. Гумилев. Я и вы. 1918.

Вхождение в тему. С биографией Глеба Анатольевича Бонч-Осмоловского (1890–1943) я познакомился задолго до подступа к написанию этой книги. Сначала в Волго-Донской экспедиции 1947–1948 гг. я мельком встречался с работавшей там художницей О. Г. Бонч-Осмоловской, первой женой Глеба Анатольевича, умершего в войну — за 4–5 лет до того. Но я, студент, совершенно не понимал тогда значения знакомства с этой женщиной, не понимал, что передо мной живая история нашей науки.

Потом, через много лет, мой брат, историк, занимавшийся историей революционного движения в Белоруссии, наткнулся на интересные связи этой примечательной дворянской семьи и стал писать о ней очерк (Клейн 1986), а так как вышел на археолога Глеба, то сообщил об этом мне. Затем моя бывшая студентка Надежда Платонова вышла замуж за физика Андрея Глебовича Бонч-Осмоловского, сына археолога, и смогла более детально войти в биографию покойного свекра (Платонова 1995, 2006, 2008, 2009; Осмоловская 2010), которую исследовала до того в рамках штудий по истории археологии (из них выросла ее докторская диссертация).

Ее поразила трагическая судьба этого талантливейшего человека, сотканного из противоречий, по ее определению.

> «Потомок старинного дворянского рода — он всегда выглядел разночинцем до мозга костей. Великий эрудит, мастер точных логических построений — оказывался совершенным слепцом в политике. Любимец женщин — потерпел сокрушительное фиаско в любви. Полнейший бессребреник — обладал недюжинной

практической сметкой. Подвижник, мученик науки XX в. — был самым неуёмным жизнелюбом, умевшим, как мальчишка, радоваться каждой мелочи.

Этнографы считают его этнографом, археологи — археологом, антропологи — антропологом. И это вполне оправданно. В каждой из этих наук Г. А. Бонч-Осмоловский проявил себя как крупный специалист. А в 1935–1936 гг. он показал себя профессионалом и в геологии. Но все-таки по-настоящему выдающиеся открытия были сделаны им в областях палеоантропологии и первобытной археологии» (Платонова 2005: 301).

2. Метания. Вся первая часть его жизни — первые тридцать лет — были сплошными метаниями: от революционеров к контрреволюционерам, от белых к красным, наконец, от революции к науке.

Глеб Анатольевич принадлежит к известной в Белоруссии семье дворянских революционеров-народников. Родился в родительском имении в селе Блонь Минской губернии. К «Народной воле» его родители не принадлежали, так как отвергали террор. Отец был членом группы «Черный передел», помогал группе «Народная воля» деньгами. После 1905 г. — эсер. Был сослан в Сибирь. Сам Глеб одно время принимал некоторое участие в их подпольной деятельности и даже был радикальнее их — хранил дома бомбы друга-анархиста, но скоро разочаровался в революции. Не убоялся, а утратил веру. Увлекся психологией. Это была натура мятущаяся и устремленная к идеалам.

В 1909 г., девятнадцати лет, поступил в Петербургский университет на естественное отделение физмата. Тогда же он познакомился с московским этнографом В. В. Богдановым, ученым секретарем Этнографического отдела Общества любителей антропологии и этнографии при Московском университете. Богданов был учеником московского же профессора Анучина. Под влиянием Богданова студент забросил психологию и отдался этнографии. Еще до начала занятий он бросился в поездку по Кавказу, где изучает народную культуру Кавказа и путешествует по труднодоступным уголкам Хевсуретии. Во всем следует примеру и советам Богданова — тот тоже первую свою поездку проделал один.

Однако с 1912 г. он стал слушать в Петербурге лекции анучинского соперника Ф. К. Волкова и стал его учеником, что в дальнейшем обусловило его палеоэтнологическую ориентацию. Теперь его поездки стали экспедициями Русского музея, где Волков руководил

Этнографическим отделом. Студент делает два доклада о хевсурах, на одном из докладов присутствовал знаменитый М. М. Ковалевский, который доклад похвалил. Первая печатная работа Глеба появилась в 1912 г. в Ежегоднике Русского антропологического общества при Петербургском университете.

Но с бунтарски настроенным молодежным окружением Волкова, в основном украинским, охладевший к революции Бонч-Осмоловский не мог найти полного единения. Платонова ищет причину в одном из двух обстоятельств. То ли сказалось, что он «утратил веру отцов». «Он чужой! — сокрушался Л. Е. Чикаленко. — Теперь "отцы и дети" наоборот. Дети пламенных отцов — усталые, маловерные. Выросшие в революционной среде, они с детства к ней привыкли, она лишена в их глазах возвышающей романтики!..» (Платонова 2009). То ли неполное доверие к нему возникло из-за его привязанности к Богданову, питомцу другой школы. Первое вероятнее, тем более что связано с его обыкновением встречать всякое утверждение насмешливым отрицанием.

На старших курсах его интерес к полевой этнографии ослабел. Первая мировая война принесла более жгучие социальные проблемы, переориентировала интересы.

В 1915 г. из Университета, не сдав последних экзаменов и не защитив диплома, ушел добровольцем на фронт, служил в разведывательном мотобатальоне. Война не принесла ожидавшегося морального очищения, а в окопах он заболел туберкулезом и в феврале 1917 г. демобилизовался.

Г. А. Бонч-Осмоловский на фронте в 1916 г.

Февральскую революцию встретил с энтузиазмом, отчетливо симпатизировал Временному правительству. Для лечения чахотки вынужден был отправиться из Петрограда на юг. Октябрьский переворот наблюдал извне, с юга России. Большевиков презирал, белым симпатизировал. Оказавшись во врангелевском Крыму и увидев белое воинство с изнанки, переменил симпатии и с нетерпением ждал большевиков, даже

установил связь с их подпольем. Потом, уже при советской власти, стал видным чиновником.

В Крыму Глеб Анатольевич повстречал свою суженую — художницу Ольгу Морозову, дочь известного ученого-лесоведа, основателя научной школы. Первым ее мужем был П. О. Сомов, белый офицер, племянник известного художника, бежавший с Врангелем из Севастополя. Она бежала с ним, но, испытав дикие бедствия за границей, вернулась вместе с ним, а второй раз в бега отправиться не решилась и осталась с сыном в России.

> «Мы встретились зимой 1918 г. на пароходике, шедшем из Ялты в Севастополь в штормовую погоду, — рассказывала в 1971 г. О. А. Бонч-Осмоловская археологам (Платонова 2005). — На пароходе нас было две женщины и группа молодых людей самого разношерстного вида, занявших стол в кают-компании. Среди них были демобилизованные солдаты царской армии, может быть, бежавшие с фронта — может быть, участники Гражданской войны, которая уже началась в Крыму, или же просто бродившие в поисках своего места в бурном потоке событий.
>
> Один из севших за стол, бледный, наголо обритый, с широкой озорной улыбкой, обратился к нам с просьбой дать нож, чтобы разрезать хлеб. Ножа у нас не оказалось, но знакомство состоялось. Глеб Анатольевич потащил меня на палубу и под ветром и мокрым снегом стал горячо, с необычайным оживлением рассказывать о Петербурге-Петрограде, о довоенных годах своей жизни, о своем увлечении этнографией и путешествиях по Кавказу, о том, что он не успел закончить университет, был мобилизован. <...> Он был отравлен газами, контужен и получил на войне туберкулез. В Крыму он лечился».

Быстрый роман завершился примирением с первым мужем (еще перед его вторым бегством), и лишь много спустя был заключен брак с Бонч-Осмоловским. Сын Сомова, Горик (Георгий), стал пасынком Бонч-Осмоловского (впоследствии крупнейший российский эпидемиолог, основатель научной школы).

Бонч заведовал отделом охраны памятников при Крымском облисполкоме («Крымохрис»), был уполномоченным чрезвычайной комиссии по экспорту Совета Труда и Обороны («УполрекомэкспортСТО») и вместе с женой вошел в комиссию, которая проводила национализацию частных коллекций.

За этой работой познакомился с трудами К. Мережковского по палеолиту Крыма. К этому времени Мережковский забросил археологию, его обобщающий труд по крымскому палеолиту, как гласит

легенда, пропал, а сам Мережковский был забыт. Макс Эберт считал, что в плейстоцене Крым был островом и оставался незаселенным. Жуков со своими учениками Бадером и Сосновским изучал только «микролитическую культуру» Крыма. А по сведениям Н. И. Платоновой (личное письмо от 23 января 2011 г.), многое подсказал Л. А. Моисеев, профессиональный археолог, сотрудник Фармаковского. С ноября 1920 г. он заведовал Севастопольским комитетом по делам музеев и был по совместительству директором Херсонесского музея. Он производил самостоятельные разведки неолита в Крыму и в одиночку открыл десятки стоянок. Бонч с ним контактировал и мог воочию убедиться, что Крым в археологическом отношении сулит немало.

3. Археологические открытия. В 1922 г. Бонч-Осмоловский забросил ответственные посты в Крыму и уехал в столицу. Устроиться-то он намеревался в Москве, где жил его первый учитель Богданов, где еще был жив Анучин, а кроме того, анучинский ученик Куфтин хорошо знал Крым. Вот его и хотел иметь научным руководителем Бонч-Осмоловский. Поехал туда с докладом. Но знакомство с Б. А. Куфтиным тут же закончилось полным разрывом отношений: у Куфтина был характер тяжелый и неуживчивый, а Бонч вел себя всегда самоуверенно и дерзко, что не вязалось с его статусом недоучившегося студента. Возраст (за 30) не принимался во внимание.

Москва отпала. Пришлось устраиваться с семьей в Ленинграде. Тут Волкова уже не было: умер еще в 1918 г., а его старшие ученики занимали видные посты: С. И. Руденко заведовал Этнографическим отделом Русского музея, А. А. Миллер — этнологическим отделением РАИМК, недавние соученики Бонча — Ефименко, Крыжановский, Золотарев — преподавали, некоторые стали профессорами. На своего бывшего соученика смотрели как на взбалмошного и неделового неудачника, потерявшего зря время из-за романтизма, разбросанности и лени. Вдобавок за ним шла худая слава: он подыгрывал большевикам, чего ни Руденко, ни Миллер не могли уважать, а в Крыму реквизировал частные коллекции в пользу советских учреждений — выступал как один из ненавистных комиссаров.

Осенью 1922 г. Бонч прибыл в Петроград довершать университетское образование и упорно занимался в семинаре Ефименко. У этого по крайней мере политические свойства Бонча — народническое происхождение и недавняя революционность — не вызывали такого отторжения, а типологии кремневой индустрии у него можно было научиться.

В 1923 г. Бонч-Осмоловский получил диплом и тотчас начал разведки палеолита в Крыму. В Русском музее эту активность одобряли, но денег на работы не дали. Деньги Бонч добыл в Крыму и в Главнауке, пользуясь своими старыми связями. В команду набрал крымских подростков, в их числе Сергея Бибикова, а таже студентку Серафиму Трусову (впоследствии помощница Бонча в экспедициях и жена Бибикова). Уже в следующем году наткнулся на грот Киик-Коба, где открыл очень ранние (он отнес их к ашелю) кремневые орудия и часть скелета (ноги) неандертальца — первая находка в Восточной Европе и пятая в мире! Ноги лежали в углублении — могила! Намеренное захоронение! Оценив важность открытия, целиком отдался археологии.

А в июне 1925 г. в Крым отправилась экспертная комиссия Главнауки — Бунак, Городцов и Жуков. Осмотрев раскопки, все трое признали и четвертичный возраст находок, и наличие искусственного погребения, и методическую доброкачественность раскопок, выявили и поправили недостатки.

Методику Глеб Анатольевич осваивал по книгам и по интуиции. Многому научился у москвичей Жукова и Городцова — членов комиссии по проверке раскопок в Киик-Кобе: как и москвичи, он разбивал раскоп на квадраты, разбирал наслоения послойно, проводил нивелировку поверхности и находок, одну за другой вскрывал небольшие площади и подробно фиксировал разрезы,

Разборка культурного слоя в Крымской экспедиции
Бонч-Осмоловского под его наблюдением (стоит первым слева)

для порядка в учете находок и сооружений изготавливал поквадратные карточки, массовый материал брал целиком. Очень интересно, что в пору всеобщего увлечения раскопками широкой площадью (несомненно, новым и прогрессивным приемом), он предпочитал последовательное вскрытие небольшими участками и следил именно за вертикальной стратиграфией — ее забвение чревато большими потерями информации (это ценное замечание Платоновой — 2009).

В 1926 г. Бонч пробил себе командировку в мекку палеолитчиков, Францию, и установил контакты с Брейлем, Капитаном, Пейрони, Вэзоном — с теми, кто ревизовал периодизацию Мортилье. Но в обстановке ожидания близкой победы коммунизма во всем мире Бонч остался верен первоначальному эволюционизму — идее всеобъемлющего и однотипного проявления законов эволюции повсеместно, во всем мире. Полагают, что беседы с Бончем повлияли на Брейля в некоторых вопросах, например в предпочтении техники раскалывания орудий их форме.

Брейля Ольга Георгиевна описывала как толстого пожилого аббата, который

> «размахивал крыльями своей черной сутаны. Это был жизнерадостный и галантный человек. <...> Глеб Анатольевич говорил по-французски с белорусским акцентом, не считаясь с иноземным синтаксисом. Я смеялась. Брейль не мог удержаться от добродушного смеха. <...> На прощанье Брейль подарил Глебу Анатольевичу 2 тома роскошного издания своих трудов с рисунками животных из Альтамирской пещеры. Эти книги выручили нашу семью в годину бедствий» (Платонова 2005).

В 1928 г. В альманахе «Человек» в номерах 2–4 появилась статья Бонч-Осмоловского «К вопросу об эволюции древнепалеолитических индустрий», в которой он применил к хронологическим характеристикам статистику, предвосхитив на три десятилетия методику Борда. Он ввел в палеолитоведение понятие о комплексе каменной индустрии и требовал анализировать и сравнивать не отдельные типические орудия, а весь комплекс и изучать динамику развития. Как пишет С. А. Васильев (1994), Бонч остановился «за полшага от Борда» — не выражал сходство кумулятивными графиками. Но зато это было двумя десятилетиями раньше!

Он предлагал анализировать не типы орудий, а их типичные рабочие элементы, то есть то, что Ирвинг Рауз в США тогда же назвал модами. Его работа 1931 г. о нарезках (следах утилизации) на

палеолитических костях животных, по мнению Платоновой (2005), на полвека предвосхитила развитие новой дисциплины — археозоологии (или тафономии), начавшееся приблизительно в 1980-х. На мой взгляд, изучение следов утилизации имеет мало общего с тафономией, зато явно конкурирует с работами С. А. Семенова по трасологии. Экологические и демографические интересы Бонч-Осмоловского намного опередили советскую науку своего времени, занятую социологическим толкованием памятников, да и в мировой науке эти интересы широко развернулись только в Новой Археологии 60-х гг.

С Ефименко Бонч разошелся в методах датирования находок. Ефименко основывался на отрывочных сведениях о фауне и проводил широкие аналогии, привязывая стадии крымского палеолита к европейской шкале. Бонч отказывался от геологической привязки, пока не будет построена шкала развития фауны.

Поразительно, как этот новичок в полевой археологии сумел ввести в практику ряд новаций. Чтобы проследить контуры объектов, он предложил фиксировать каждый археологический предмет, замеряя залегание от постоянной нулевой точки. Чтобы иметь возможность прослеживать развитие там, где нет естественного членения, мощные однородные напластования стал делить на условные горизонты.

4. Под катком советской повседневности и репрессий. В 1924 г. вся эта деятельность едва не оборвалась. К Глебу Анатольевичу заехал друг юности, былой работник Эрмитажа, археолог А. Э. Серебряков. Он тоже был фронтовым офицером, но у белых, затем уехал в эмиграцию, стал разведчиком, был направлен в Советскую Россию. Не мог же Бонч предать старого друга на расстрел! Несколько раз Анатолий Серебряков переночевал у Бонча, а при возвращении был арестован на финской границе. И назвал тех, у кого он гостил в Петербурге. Правда, отметил, что Бонч сочувствует советской власти, что они не союзники. Но недоносительство налицо.

Всех причастных вызвали в ГПУ и взяли подписку о невыезде. Кроме Бонча и еще двух причастных: Бонч оказался в экспедиции, точное местонахождение не было известно на работе. Его объявили в розыск. Полгода Глеб Анатольевич ожидал ареста каждый день. Но за Серебрякова заступились влиятельные знакомые в самых верхах, и дело (а оно не было надуманным) закончилось не расстрелом, а 10-летним лагерным сроком Серебрякову, недоносителей же помиловали. Пронесло.

Но его недолюбливали и коллеги.

Причиной непринятия открытий Бонч-Осмоловского является, несомненно, то, что они никак не вписывались в социологический подход тогдашней советской археологии, в ее узкий марксистский догматизм, но изрядную долю неприятия, по мнению Платоновой (а она основывается на семейном предании о своем свекре), порождал и конфликтный высокомерный характер Бонч-Осмоловского, вызывавший у одних поклонение, у других — непонимание и ненависть. Он не делился с коллегами дублетами оттисков, полученных из-за границы, а дразнил ими и предлагал выменять на что-нибудь ценное.

Г. А. Бонч-Осмоловский, каким его знали коллеги

Руденко его, видимо, терпеть не мог, Ефименко тоже недолюбливал. Во всяком случае, когда его прямой характер в столкновении с низовой советской действительностью тех лет, насквозь фальшивой и глупой, высек искры скандалов, лидеры археологической общины дали скандалам разгореться и передавали рассмотрение глупейшего дела Бонча из одной комиссии в другую, из одной инстанции в другую, возлагая вину именно на Бонча.

В 1929 г. у супругов родился сын Андрей. Несмотря на бедность и изнуряющую скудость окружающей советской жизни, Глеб Анатольевич сохранял оптимизм и веру в победу социализма. У жены, которая выносила еще больше тягот, этой веры не было. Она вела постоянный дневник и значительную часть его сохранила (ликвидированы были только самые опасные тетради за самые тяжкие годы — годы репрессий).

Документальная повесть ее имеет форму дневника, первая часть которого напечатана при советской власти (Морозова 1976), а весь дневник опубликован позже Платоновой (2005). Повесть эта настолько

красноречива, что следом за Платоновой придется цитировать ее большими кусками. Вот отрывки из нее:

«21 марта 1929 года.

Паша (домоправительница Морозовых, оставшаяся с Ольгой Георгиевной и ее детьми. — Л. К.) приходит с базара, если не заплаканная, то потому только, что злость пересиливает. Стоит часами в очередях — на хлеб, на сахар, на керосин, на масло, на соль.

<...> Глеб продолжает отмахиваться от бабьих воплей. Он удивляется стоянию в очередях и общему настроению, он склонен всё это объяснять интеллигентской или бабьей распущенностью. Его кремни заслонили для него живую жизнь, а газеты поддерживают в нем бодрый и довольный тон. <...>

23 апреля 1929 года.

Толпы нищих крестьян из Псковской губернии осаждают город, стучатся в двери. Люди становятся на колени и плачут. В деревне вымерли старики и дети. Многое рассказывают. Об этом газеты не пишут. Вероятно, мелочь по сравнению с задачами социалистического строительства. <...> Ну что ж, гнусностям и глупостям нет конца, нет конца лишениям, голоду, разрухе всех видов. Во имя чего? Во имя "строящихся гигантов", каких-то мифических заводов, эксплуатация которых рассчитана на времена счастливого будущего. А пока разоряют всё, что можно, чистят "бывших" людей, воюют с кулаками, воюют с антисемитами, преследуют интеллигентов и всех, кто не рабочий. Выкачивают деньги даже у детей в школах "на тяжёлую индустриализацию". Давят цензурой до того, что ни одного живого и свободного от тенденции и агитки слова не просачивается больше ни в литературу, ни в театр, ни в газету. Сам воздух полон уныния, недоверия, злобы. Все подозревают друг друга, дети шпионят на учителей, студенты — на профессоров, рабочие — на инженеров. А бедные женщины стоят в очередях с тупостью животных, приученных к постоянному страданию.

Глеб продолжает улыбаться и по-прежнему бьет меня, дядю, всех — рассуждениями о целях, которых мы не понимаем. Мы — жалкие нытики. <...>

30 августа 1929 года.

Жизнь на каждом шагу опрокидывает глебовские оптимистические построения. Он говорит очень убеждённо и убедительно, но я привыкла не уважать его логику, так как своими глазами убеждалась, что он неправ в корне, в оптимизме, который у него предпосылкой всему. И общее положение,

политическое и экономическое, и личные дела — всюду он терпит поражения. <...>

Глеб выброшен из университета, теперь у него отнимают комнату. В своей борьбе он проигрывает непрестанно. <...>

9 февраля 1930 года.

<...> С тех пор, как вышибли Глеба из университета (с весны), он получает только 80 рублей, а проживаем мы 350. Выручают книги отца, но жить этой милостыней тяжко, а ещё тяжелее сознание бессилия. Вот уже сколько лет Глеб не может стать на ноги на своей научной дороге. <...>

Долгие годы Глеба затирали Руденко и другие в академической среде за левизну его взглядов, за откровенные высказывания, за самостоятельность научной мысли. Пришло другое время. Вместе с чисткой академических зубров полетел и он. Не пригодились и здесь ему левые взгляды, не поддержали студенты.

На командные посты вылезли просто мерзавцы, карьеристы, "липовые марксисты". В чистке, шпионстве, сборе сплетен — во всей новой системе перестройки пригодились именно те, у кого нет убеждений и кто ничем не брезгует. И этим людям, в целях личной карьеры, такой вот Глеб особенно опасен. Вот и началась война. Было задушено много людей — никто не попробовал защищаться. Глеб ринулся и за себя, и за других, и в начале зимы ещё был пафос, вера в успех честной войны, вера в добрых коммунистов, до коих он наконец дошёл и всё рассказал. Теперь же настала прострация, провал в обломовщину. Он всё ждёт и все по инерции бегает по людям, но настроение упало, и этот ответ его: "На днях всё должно разрешиться!" — звучит похоронно. Он не работает совсем и не отдыхает никогда, он истрёпан, вял, равнодушен. Меня бесит все. И они, и он. Я не могу говорить с ним спокойно. <...> Можно было бы с самого начала действовать иначе. Быть может, если меньше с самого начала верить в добрых коммунистов и в торжество всякой правды. <...>

А фактически так: Глеб служит, не получая денег, вот уже третий год, и им создана Четвертичная галерея, где обрабатывается его материал. И крупные академики считают его своим, и коммунисты, сидящие на верху верхов, — объявили его реабилитированным от вражеских нападок, — а дело не двигается, потому что не хватает одной бумажки. Потому что требуется что-то пересмотреть, потому что одному важнейшему коммунисту некогда оформить своё отношение к делу — и так без конца. Заседание окончательное (окончательных заседаний было не

менее шести за эту зиму) откладывается с 8-го на 18-е, с 18-го на 28-е — и опять на 8-е следующего месяца. <...>

27 февраля 1930 года.

Грызemся с Глебом, стала зла, как крымская овчарка. Все мне противно, и он тоже, со всеми своими неудачами.

8 марта 1930 года.

Глеб вернулся. Я спросила:

— Ну как?

— Да ничего хорошего. Дело передано в Секцию научных работников.

Я отвернулась к стене носом и не могла говорить весь вечер. И Глеб на меня разозлился.

Дело Глеба очевидно и давно уже стало безнадежным. Какие-то неуловимые враждебные силы орудуют. И бороться особенно трудно, потому что все сочувствуют, все возмущаются, бумаги, реабилитирующие его, налицо, а дело передается из Локального бюро в местком, из месткома — в секцию, и нет конца».

16 марта Глеб вернулся с работы повеселевший. "Знаете, какая комиссия собирается по моему делу?" И стал перечислять: Марр, Орбели, Кипарисов... Его друг Крыжановский ухмыльнулся: "Ну, если ваше дело выйдет, Глеб Анатольевич, то у Ефименко останется одно утешение — то, что его раздавил большой автомобиль"».

Из чего мы узнаем, что в числе гонителей видную роль играл Ефименко. Равдоникас хорошо отзывался о находках Бонча, но добавлял, что в области синтеза, обобщений «Бонч-Осмоловский не дал ничего» (Платонова 2010б: 177). Продолжаем цитировать дневник О. Г.:

«18 марта 1930 года.

<...> история Глеба. Из-за подлости одного карьериста, паршивой комсомолки, из-за дурашливой студенческой заметки, двух-трёх глупейших сплетен (1-я — в Университете на занятиях лежал на диване, 2-я — в экспедиции была сотрудница, имевшая икону), из-за этой неслыханной дряни [он] вот уже полгода бьётся за реабилитацию себя, за утверждение в Академии наук. И сейчас комиссия в составе Марра и других генералов от науки и коммунизма копается днями в грязи этих доносов, выясняя его общественную физиономию» (Платонова 2005).

Эта комиссия наконец освободила Бонч-Осмоловского от обвинений и восстановила на работе. Но радость была недолгой.

Во-первых, жизнь продолжала быть отчаянно трудной. Продолжение дневника О. Г.:

«4 июня 1930 г.

Жизнь встала. Бурное социалистическое строительство. Жизнь встала потому, что ничего нет — нельзя работать. За отсутствием материалов стоят постройки. Перерытые в прошлом году улицы перерываются снова, так как в своё время не хватило цемента или труб или ещё чего-то. Люди, едущие в ударные экспедиции, не могут выехать из-за отсутствия необходимейших мелочей. Моя ударная работа в музее застыла на месте вот уже 2-й месяц, потому что нет столярного клея, белил, фанеры. И так всюду, везде...

В городе — ни одной пары обуви, это звучит дико, но это так. Пусты продовольственные магазины, и только столовки осаждаются толпами людей. К чему, спрашивается, достижение — 7-часовый рабочий день, если после него рабочему приходится простаивать часами в очереди за обедом и в очереди за папиросами, причем получить их всё же — маловероятное счастье? <...>

4 июля 1930 г.

<...> А живем мы так. Дается паёк, на который нельзя жить. Покупаем продукты на рынке по сумасшедшим ценам — реальное повышение зарплаты... (зачёркнуто). Мы — это все. Рабочие, конечно, тоже. <...>

Предметов промышленности просто нет. Нет мыла, например. Мы давно не моемся. Нет ниток, пуговиц, булавок, столярного клея, бумаги; говорить об одежде и обуви не приходится вовсе. Папирос купить нельзя.

16 августа 1930 г.

<...> Сейчас нельзя болеть. Никто не принесёт обеда, потому что столовые не отпускают на дом. В лавках просто ничего нет. За парой носков люди стоят в очередях целыми днями. За конфетами тоже. Никто не может достать чего-нибудь за другого, даже вооружившись его заборной и паевой книжкой. Спрашивается: как достать тому, кто в часы выдачи (надо их ловить и узнавать заранее) занят на работе?» (Морозова 1976).

Таков был реальный социализм сталинского разлива. Это во-первых.

Во-вторых, контакты с иностранцами, интеллигентность, оригинальность мышления — всё это было смертельно опасно в СССР. Дальнейшего отец Глеба, старый политкаторжанин Анатолий Осипович Бонч-Осмоловский, не увидел — он умер в 1930 г. В 1931 г. арестован

и подвергнут пыткам Глебов брат Родион Бонч-Осмоловский, экономист, который был до революции эсером, как и отец. Заставляли признаться во вредительстве. После пыток и ареста жены всё подписал. Приговорен к 10 годам лагерей. Племянник обоих (Родиона и Глеба) студент Игорь арестован в 1932 г. Три года лагерей за участие в литературном кружке. Террор нарастал. К осени 1933 г. многие коллеги были уже арестованы — и друзья, и притеснители: Руденко, Боровка, Крыжановский, Миллер, в Москве — Жуков и другие.

По воспоминаниям жены, Глеб Анатольевич сказал ей: «Взяты все. Теперь очередь за мной». В ту же ночь за ним пришли. Бонч был брошен в тюрьму, его обвиняли в принадлежности к «троцкистско-фашистской организации» — «Русской национальной партии». Он пытался покончить с собой, но в тюремной больнице его вернули к жизни. Затем он подписал признание («по словам М. П. Грязнова, на допросах Бонч оговорил его и других коллег по Русскому музею» — Формозов 2011: 114), был услан в Воркуту (Ухтпечлаг) на три года, но в связи с ударным трудом по угледобыче был освобожден на полгода раньше, в 1936 г.

Из воспоминаний сына:

> «При входе в квартиру я обомлел: дверь в коридор была открыта, а около телефона (такой старинный большой аппарат красного дерева с блестящими бронзовыми звонками висел на стенке посредине коридора) стоял высокий человек и говорил в трубку. Секунда растерянности — и я узнал отца. С диким криком: "Батя!" — я бросился к нему и повис на его руках. Удивительно, что я его сразу узнал, так как из лагеря он вернулся с довольно большой темной, с проседью, бородой» (Платонова 2005).

Такая вот реализация классической картины Репина «Не ждали». По освобождении Глебу было разрешено проживать не ближе 100 км от Ленинграда, и он поселился под Оредежем, на лесном хуторе у основательного крестьянина Павлова. Но оттуда, несмотря на запрет, тайно ездил в Ленинград, чтобы завершить первый том публикации и исследования Киик-Кобы. Жил на этом хуторе с сынишкой Андреем. С женой расходились всё больше и в 1937 г. расстались, хотя и продолжали общаться. В это время в жизни Глеба Анатольевича появилась новая женщина — Надежда Викторовна Тагеева, геохимик, ставшая его второй женой.

Когда Павлова раскулачили, хутор разорили, пришлось перебраться в другую деревню — Щербинку. Тут Надежда Викторовна часто жила вместе с ними и взяла на себя заботы о быте.

Содействие пришло из Москвы. Друзьям удалось пробить согласие издательства Академии наук принять в печать его труды по палеолиту Крыма. Из воспоминаний Формозова (2011: 114–115):

> «Пробивание этих томов было целой эпопеей. Печатались они в издании Комиссии по изучению четвертичного периода, и председатель ее И. М. Губкин числился ее редактором. Сановный и партийный академик, естественно, побаивался недавнего врага народа. Рассказывают, что Бонч получил его визу в перерыве какого-то заседания, перекрыв вход в уборную. До тех пор, пока Губкин не поставил подпись, настырный автор оттирал от двери изнемогавшего вельможу. Том набрали, но тут цензоры испугались татарского слова "коба", да еще в сочетании с "Шайтаном". Ведь "Коба" — это партийная кличка Сталина. К счастью, они удовлетворились вставкой в текст с разъяснением, что "коба" значит "пещера" и ничего больше».

Первый том вышел в 1940 г. и вызвал острую полемику. Второй том появился в 1941 г. К началу войны Бонч-Осмоловский был возвращен в Ленинград, получил без защиты степень доктора по истории, а академик Л. А. Орбели хлопотал о присуждении ему и степени доктора биологических наук. Бонч был принят преподавателем антропологии на исторический факультет Университета, но начать преподавание не успел.

С началом войны детей (Андрея и его кузин) удалось пристроить в детский коллектив (детей художников города), которым руководила завуч Ольга Антоновна Артамонова-Полтавцева, жена археолога профессора Артамонова, очень энергичная женщина и близкая приятельница Бонч-Осмоловских. Коллектив вывезли вовремя из Ленинграда в сибирское село Ёмуртлу, и Ольга Антоновна сумела сохранить всех детей, они ее очень тепло вспоминали.

Бонч-Осмоловский был эвакуирован в Казань, причем первая жена помогала второй отправить его, совершенно изможденного и больного, из блокадного Ленинграда в Казань. В начале 1943 г. он оправился и сумел прорваться в Ёмуртлу, чтобы забрать оттуда Андрея. В Казани он числился в штате Института истории материальной культуры, который под руководством проф. Артамонова находился в эвакуации неподалеку — в Елабуге. Всё свободное от служебных заданий время Бонч отдавал окончанию третьей части своего монументального труда «Палеолит Крыма». Работал с середины дня до 1–2 часов ночи.

Очень переживал за родных. Сестра Ирина умерла в блокаде. Брат Родион получил второй лагерный срок и сгинул в лагерях.

Антрополог В. В. Бунак приглашал его переехать в Москву, в Антропологический институт МГУ. Глеб Анатольевич был в это время очень худой, весил меньше 60 кг при росте в 174–175 см. За полтора года он болел воспалением легких пять раз. Сказывался недолеченный туберкулез. В Казани в 1943 г. Бонч и скончался в возрасте 53 лет на руках у Надежды Викторовны и сына от остановки сердца. Вдова сохранила все его рукописи и передала их в археологические учреждения в упорядоченном виде. Сын вырос физиком, стал доктором наук.

Г. А. Бонч-Осмоловский только после смерти осознан во весь рост

Формозов интересовался Бончем как своим предшественником по раскопкам крымского палеолита. Он отмечает, что солидным ученым чудилось в нем «что-то авантюрное, деляческое, даже жуликоватое». Замятнин обижался на Бонча за то, что тот стянул у него из дому таблицы по палеолиту и напечатал их в США, правда, с указанием авторства, но без разрешения. Борисковский пенял покойнику за то, что тот не делился с коллегами дублетами оттисков иностранных работ, а только дразнил и предлагал меняться. «Мне кажется, — заключает Формозов, — что у Бонча было немало общего с Окладниковым: та же потрясающая "моторность", сочетающаяся с авантюризмом. Но Окладников мне неприятен, а Бонч симпатичен. Почему?» Из причин Формозов выделяет две: карьеризм и холуйство первого и жертвенность второго (Формозов 2011: 116).

Опубликовать Г. А. Бонч-Осмоловский успел менее полусотни работ. Третий том «Киик-Кобы» выпустили уже его коллеги в 1954 г. Как пишет Н. И. Платонова (1995: 121), «у него были ученики,

но не оказалось последователей. На нем фактически прервалась традиция — одна из самых интересных и многообещающих традиций в исследовании первобытности в России».

Открыватель и еретик

С. Н. Замятнин

Научили горькие уроки —
Есть в своем отечестве пророки.
Смелость их берет все города, —
Правда, запоздало иногда.
Как же я в России разуверюсь,
Если в ней поруганная ересь
Классикой становится всегда?

Евг. Евтушенко.
Похороны Окуджавы.

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спасаться не должны.

Осип Мандельштам.
И поныне на Афоне...

1. Краеведческое начало археолога. Писать биографию Замятнина (Григорьев 1992; 2005; Локальные 1999; Акиньшин 2002; Бухтоярова 2012) легко: она проста и открыта. Но сделать ее интересной и занимательной очень трудно — не за что зацепиться.

Заслуги его известны: Сергей Николаевич Замятнин (1899–1958) открыл первые памятники древнего (нижнего) палеолита на территории СССР. Он один из создателей советской науки о палеолите, но изучал и памятники более поздних эпох. Статьи — вот они. Но кроме полевых работ и написания статей вроде бы ничего внешне не происходило. «Сергей Николаевич пользовался репутацией обаятельного лентяя — и не вполне ложной», — замечал влюбленный в него Формозов (2011: 118). Между тем это один из наиболее оригинальных и интересных археологов СССР. В условиях советской

стандартизации мыслей он умел тихо и спокойно выработать свою концепцию развития палеолита, отличную от общепринятой и противостоящую ей. Был в сущности еретиком, но избежал пут инквизиции.

Родился Замятнин весной 1899 г. в Павловске Воронежской губернии в семье беспоместного дворянина (прадед был священником) и статского советника (соответствует должности вице-губернатора), а мать его была из купеческого рода (всё это он в советское время скрывал). Окончил лучшую гимназию в Воронеже (Акиньшин 2002). Еще 16-летним гимназистом, в 1915 г., он участвовал в раскопках Воронежской Ученой архивной комиссии на Частых курганах скифского времени. В 1916–1917 гг. сам проводил разведки в Павловском и соседнем уездах. С 1915 же года начал работать в Воронежском музее — сначала практикантом, потом научным сотрудником, потом заведовал там археологическим отделом. В период Гражданской войны он работал уполномоченным по спасению культурных ценностей в Воронежской губернии (а сюда входила и конфискация церковных сокровищ). Тем временем учился в Воронежском отделении Московского археологического института (институт готовил в основном архивистов) и в 1920 г. окончил его. С этого времени стал работать губернским инспектором в службе охраны памятников, в архивном управлении и хранителем археологического отдела в Воронежском губернском историко-культурном музее, преподавал в том же отделении МАИ, выпускником которого был.

Такое начало обеспечило ему широту исследовательских интересов в плане разнообразия аспектов культуры — от каменного века до позднего Средневековья, хотя и в ограниченном регионе. В 1922 г. он выпустил брошюру «Очерки по доистории Воронежского края» и позже не раз возвращался к этой теме. В этой книге он опубликовал обломок женской статуэтки, найденной в Костенках С. Круковским. Круковский хотел вывезти этот обломок за рубеж, но на таможне он был отобран и переслан в Воронежский музей. Изучив его, Замятнин сам направился в Костенки.

2. Специализация на палеолите. Познакомившись по долгу службы с Костенками на Дону, Замятнин провел первые после революции раскопки Костенок I и Боршева I. В Костенках он нашел новую статуэтку из бивня мамонта и с тех пор специализировался по палеолиту, попав в окружение Ефименко. «Молодой человек, вы ничего не знаете о палеолите», — было первое суждение Ефименко.

Глубокие знания Петра Петровича поразили молодого воронежца, но и способности того произвели благоприятное впечатление на Ефименко. Замятнин получил приглашение в Ленинград. В 1924 г. он переехал в Ленинград и поступил работать в ГАИМК, младшим научным сотрудником.

С. Н. Замятнин на раскопках в Боршеве в 1920-е гг.

Ефименко не сразу оценил перспективность Костенок, и первое время там распоряжался Замятнин. Да и масштабность Замятнина Ефименко не сразу оценил. Но Ефименко со своим опытом работ в Чувашии стал фаворитом Марра (тот очень интересовался чувашами как яфетидами) и постепенно вытеснил Замятнина из Костенок, став там главным руководителем. Да Замятнин и не был честолюбивым, спокойно уступил старшему первенство. Однако в дальнейшем напористость и жесткость Ефименко вызывала у Замятнина раздражение.

В 1925 г. Замятнин стал аспирантом ГАИМК — это был первый набор ее аспирантов. Он учился в аспирантуре вместе с Артамоновым, Иессеном, Худяковым, Ворониным, Корзухиной — все они стали впоследствии известными археологами. Окончив аспирантуру, он стал в ГАИМК старшим научным сотрудником, а одновременно был включен в Комиссию по изучению четвертичного периода АН СССР, где он, Бонч-Осмоловский, Бадер и Воеводский трудились одновременно с геологами Г. Ф. Мирчинком и В. И. Громовым.

В 1925–1933 гг. Замятнин работал и в экспедиции Миллера в Предкавказье, где расширились территориальные и хронологические границы его интересов. Но палеолит он не оставлял. С 1925 г. исследовал Ильскую в Прикубанье, недалеко от Краснодара, один из первых известных в СССР памятников мустье — по тогдашней периодизации, памятник среднего палеолита. Еще в конце XIX века памятник был открыт французским археологом Ж. де Баем, но затем данные о локализации раскопок были утрачены, и в археологи стали сомневаться, существовала ли вообще такая стоянка. С. Н. Замятнин

нашел место старых раскопок, и в 1926 и 1928 гг. он провел новые раскопки этой первой стоянки мустьерского времени не в пещере. Это было сенсацией. Результаты работ были опубликованы на французском языке и вызвали огромный интерес археологов мира. Позже, в 30-е гг., туда ринулся из Москвы Городцов и несколько лет копал там.

В те же годы (вторая половина 20-х) Замятнин раскапывал палеолитические памятники и на Русской равнине. В 1927 г. открыл на Дону стоянку верхнего палеолита Гагарино (Липецкая область), где обнаружил целую серию женских статуэток (6 экземпляров) и — впервые в мире в 1929 г. — палеолитическое жилище, специально устроенное на открытом пространстве — не в пещере. Диаметр его в среднем 5 м, площадь 20 кв. м, а на полметра оно было углублено в землю. Он же открыл Бердыж в Белоруссии, а на Дону, в том же Костенковско-Боршевском районе, стоянки Костенки II, III и IV.

В палеолите доминирующей фигурой стал Ефименко. У Замятнина не было постоянного известного учителя-археолога, но общение с Ефименко, несомненно, способствовало росту его квалификации. Впрочем, работа в экспедиции под руководством Миллера дала Замятнину идейную опору и вне круга Ефименко. С Ефименко они всё больше расходились в понимании палеолита — Замятнину претил тот ортодоксальный эволюционизм и стадиализм, в который Ефименко ударился в 30-х. Он то и дело обращал внимание на незамеченные Ефименко аспекты. Пожалуй, до выдвижения Рогачева это был первый и главный соперник Ефименко в стране. Отношения между ними испортились. Единственное, что предотвращало открытое столкновение, это была благодушная лень Замятнина. В 1937 г. Равдоникас и сам Ефименко обвиняли «разоблаченного» Быковского в том, что тот намеренно ссорил Ефименко с Замятниным (Бухтоярова 2012), но это было всего лишь эпизодом разоблачительной кампании. Замятнин отмалчивался.

Для археолога у него были существенные недостатки: он не умел рисовать, очень был туг на подъем в письменном изложении результатов своих размышлений и исследований, а без этого труд археолога пропадает. Григорьев (2005) весьма едко разбирает замятнинские отчеты по Гагарину, считая, что они стоят на уровне раскопок Майкопского кургана. В то же время Замятнин сознавал значимость своих выводов и злился на себя. Характер его тоже был не сахар. Не умиляют Григорьева и взаимоотношения Замятнина с коллегами, его поведение в коллективе. Замятнин никогда не приходил вовремя на заседания — неизменно опаздывал на 15–20 минут, даже когда

назначен был его собственный доклад. Григорьев по рассказам членов сектора (лично он не застал Замятнина) передает такой эпизод:

> «Однажды опоздавшему на заседание сектора ИИМК С. Н. Замятнину было сделано замечание от П. П. Ефименко. Сергей Николаевич незамедлительно развернулся и покинул зал. Немного погодя П. П. Ефименко попросил П. И. Борисковского догнать обиженного. В итоге Павел Иосифович пробежал почти километр, остановился и стал уговаривать вернуться, выступить на заседании. Сергей Николаевич некоторое время обдумывал предложение, а затем воскликнул: "Мой трамвай!" — сел и уехал домой». По впечатлениям Григорьева, у Замятнина был «весьма вздорный характер» (Рассказ записан И. В. Бухтояровой (2012: 110).

3. Кавказ. В 1933–1938 гг. — снова в ИИМКе, а по совместительству в ассоциированном с Музеем Антропологии и этнографии Институте этнографии АН СССР. Замятнин — старший научный сотрудник Музея Антропологии и Этнографии. С 1934 г. он целиком переключился на обследование Кавказа. Он обнаружил домустьерские памятники Абхазии (итоги нескольких лет работ — книга «Палеолит Абхазии»), первые в СССР палеолитические гравировки на скалах в Имеретии (Мгвимеви), в 1937 г. — первое ашельское местонахождение в Прикубанье (Фортепьянка), в 1936–1938 гг. мустьерские и верхнепалеолитические горизонты в пещерах Навалишенской и Ахштырской близ Адлера. С 1936 г. копал в Армении.

Ахштырская пещера близ Адлера находится в Ахштырском ущелье, прорытом рекой Мзымтой, 70 тысяч лет тому назад вода выдолбила эту пещеру, и, поскольку река продолжала углублять свое русло, уровень воды опустился, и пещера была заселена людьми. Последние тысячелетия в ней жить было бы неудобно, так как река ушла очень глубоко — пещера сейчас на высоте 120 м от уровня воды! Пещера была открыта французом Е. Мартелем в начале XX века, в 1936 г. жена Замятнина, М. З. Паничкина, нашла в ней обработанные кремни и кости, а в 1937 г. Замятнин начал раскопки. Культурный слой оказался мощностью в 5 м! Раскопки продолжали Паничкина и Е. А. Векилова, потом С. А. Кулаков. В пещере оказалось два периода заселенности — мустьерский (неандертальцы) и верхнепалеолитический (homo sapiens). Между этими периодами в пещере жили пещерные медведи (92% всех костей).

Замятнин разработал периодизацию верхнего палеолита Закавказья, сохраняющую свое значение до сего дня.

В 1936 г. вышел первый выпуск серии альманахов «Советская археология», ставших зачатком журнала «Советская археология». Выпускал его поначалу Институт антропологии, археологии и этнографии Академии наук. Сейчас название альманахов звучит привычно, но тогда это было свежее и смелое противопоставление истории материальной культуры, еще недавно пропагандировавшейся Институтом истории материальной культуры с другого берега Невы. Редактором, как пишет Формозов (1995: 66), числился поначалу академик И. И. Мещанинов, но на деле создавал всю серию Быковский (как организатор) и Замятнин (научный редактор).

С. Н . Замятнин
в предвоенные годы

Формозов видит в Замятнине идеального ученого и человека. Не все близкие люди оценивали Замятнина так. Другом Замятнина в конце 20-х — начале 30-х гг. был Глеб Бонч-Осмоловский. Жена его, О. Г. Бонч-Осмоловская (Морозова), записывала в дневник 9 февраля 1930 г.:

«Я очень хорошо знаю [С. Н.] Замятнина. Он — молодой приятель Глеба, узкий археолог, милый человек (был и очень красив, а теперь обрюзг). <...> С тех пор как Глеб в беде, никто из "друзей" его не навещает. Надо сказать, что осенью Глеб выволок этого Замятнина из подобной беды. Ну а люди редко прощают благодеяния» (Платонова 2005).

Конечно, писала очень субъективно настроенная женщина в час отчаяния. Всё виделось в дурном свете. Мы не знаем, почему Замятнин в это время не навещал Бонча. Возможно, был в экспедиции или болел. Неясно, и какие бедствия самого Замятнина имеются в виду, из которых его вытаскивал Бонч-Осмоловский. Но время было страшное. Возможно, что Замятнин и в самом деле недооценил, насколько в это время Бонч нуждался в дружеской поддержке: тот ведь никогда это не показывал.

Период Большого Террора и смежные с ним репрессии до и после этого Замятнин пережил со сравнительно удачным результатом: его

арестовали, но, продержав несколько недель в тюрьме, выпустили. Из репрессированных археологов так повезло немногим (Пиотровскому, Блаватскому, Равдоникасу). Бонча арестовали в 1933 г. и выпустили только в 1936 г. с запретом жить в Ленинграде.

Из ленинградской блокады Замятнина вывезли распухшим от голода. В эвакуации во время войны Замятнин провел в 1943 г. первые исследования в пещерах Таджикистана.

4. Концептуальные труды и завершение. После войны, вернувшись из эвакуации, он возобновил экспедиционную работу на Кавказе — в Армении, где он открыл классические древнепалеолитические памятники Сатани-Дар и Арзни. В это время Замятнин перешел окончательно в археологический отдел Музея антропологии Академии наук (Кунсткамеру), где он работал по совместительству и до войны. И сосредоточенность на Кавказе, и оставление ИИМК означали, что он ушел от подавляющего соседства с Ефименко.

Затем тяжелая болезнь воспрепятствовала полевой работе, но не прервала обработку материалов. Из его публикаций этого времени новаторское звучание для советской археологии имела статья «О локальных различиях в палеолите» (1951). Замятнин пришел к выводу, что в верхнем и даже в древнем палеолите можно наметить большие области, различающиеся по культуре. Раньше у нас в палеолите, согласно эволюционистским идеям Мортилье, считалось возможным выделять только эпохи. Позже в верхнем палеолите стали выделять и узколокальные культуры — как в неолите. Средней линии — на выделение только крупных общностей, охватывающих огромные регионы, придерживался следом за Замятниным Формозов.

С. Н. Замятнин: послевоенные успехи

С 1952 г. Замятнин сумел вернуться к полевой деятельности и обнаружил Сталинградскую палеолитическую стоянку (мустье). Сталинградская стоянка, открытая геологом М. Н. Грищенко в балке Сухая Мечетка, попала в зону строительства Волжской плотины, поэтому оказалось

возможным вскрыть ее широкой площадью. На глубине около 20 м за два года (1952 и 1954) было расчищено более 600 кв. м (а всего площадь стоянки оценивают в 1500 кв. м) и собраны огромные материалы. Тогда это было основным источником для изучения мустьерской эпохи в Восточной Европе. Стоянку ориентировочно датировали временем 100–75 тыс. лет от нашего времени, — это пора появления неандертальцев. Но дата, полученная для нее естественнонаучными методами, —178±31 тыс. лет.

С. Н. Замятнин в середине 1950-х гг.

В промежутках между работами над этой стоянкой и позже Замятнин открыл палеолит в Азербайджане (грот Дамджили) и мезолит в Кабарде (грот Сосруко), впервые на Кавказе выявил мезолитические слои. Такой связки приоритетов на открытия хватило бы на целую группу исследователей.

От работы его оторвала лейкемия — рак крови. Полагают, что во время работ на Сталинградской стоянке вместе с известным геологом-женщиной В. Л. Яхимович он получил высокую дозу облучения (при испытаниях ядерного оружия на полигоне Капустин Яр неподалеку). К этому добавились два инфаркта. Видимо, сказывались и последствия блокады.

Еще перед войной Замятнин задумал обобщающую работу о палеолите. Эскиз ее подготовил для академической «Всемирной истории». Эскиз не увидел света, но рукопись часто использовалась специалистами. Книгу о палеолите завершить не успел. Умер на шестидесятом году жизни в конце 1958 г., в начале «оттепели». Список его печатных работ невелик — несколько более полусотни, но ссылки на них не иссякают. Его бывшая жена (они разошлись), известная исследовательница палеолита Паничкина, выпустила посмертно книгу Замятнина «Очерки по палеолиту» (1965) — сборник его неизданных при жизни статей. Учеником его считал себя Формозов.

Формозов (1995: 77) полагал, что Замятнину обстоятельства большевистского террора и идеологического давления не дали развернуться в полную силу его таланта. «Я могу назвать ряд ученых, созданных для синтеза, обобщений, но ушедших в фактографию и не раскрывшихся полностью из-за нежелания вести бесплодные дискуссии, подвергаться всяческому поношению». В ряду таких ученых первым он называет С. Н. Замятнина. Формозов (2011: 134) перечисляет целый ряд обид, которыми Замятнина вытесняли из науки. Ефименко отнял у него Костенки и открытие жилища в Гагарине, Городцов противопоставлял его анализу свои дилетантские раскопки палеолита в Тимоновке и Ильской, замятнинские лекции в Университете были переданы Борисковскому, его раздел во Всемирной истории переделал Окладников, первые поездки за границу достались не ему и т. д.

> «Сильный человек типа Бонч-Осмоловского, вероятно, выдержал бы всё это, растолкал конкурентов и утвердил себя. Но Замятнин не был способен ни к компромиссам, ни к борьбе без перчаток». Он «мучительно переживал хамство со стороны коллег и их издевательство над наукой, хандрил, говорил, что лучше разводить щеглов и коллекционировать открытки, чем работать».

Странным образом в друзьях у него не задерживались яркие личности, преобладали заурядные и проходимцы. Судя по переписке, многолетним другом его был горьковский археолог Илларионов — карьерист и доносчик. Еще один приятель, Шоков, был скучным, весьма посредственным краеведом (что Замятнин и сам понимал). Заслуженным археологом, трудягой и энтузиастом был Поликарпович, но широкой образованностью и он не блистал (двух последних я знал лично). Видимо, яркие личности раздражали Замятнина своей активностью и успешностью, самим своим существованием подчеркивали его леность.

Замятнин был страстным библиофилом, коллекционером и шахматистом. Собирал и изучал экслибрисы, открытки с видами Воронежа, увлекся разведением певчих птиц. Под конец жизни был полным и ходил медленно, но его красивое лицо по-прежнему излучало энергию, отражая непрерывную работу ума.

Он был щедрым человеком, раздавал мысли и материалы. Както мы возвращались из библиотеки Института археологии вместе — я шел по набережной к Университету, Замятнин — к троллейбусной и автобусной остановке на этом пути. Я тогда занимался катакомбной

культурой и рассказывал о своих наблюдениях. Замятнин рассказал о своих курганных раскопках. «У меня лежат без движения материалы интересного катакомбного комплекса, — сказал Сергей Николаевич. — Заходите ко мне, я их с удовольствием отдам. Вам же, наверное, пригодятся для работы». Я поблагодарил и, конечно, обещал зайти. Но за рутинной работой в ближайшие дни так и не выбрался. Тогда в Университете у меня было очень много нагрузки. А вскоре я узнал о смерти Сергея Николаевича.

Спешите узнавать коллег и брать от них в дар то, чем они богаты.

Брейль на русский манер

А. Н. Рогачев

По нраву мысли мне, а не слова,
Но я, как малограмотный служитель,
Кричу «аминь», прослышавши едва,
Что написал способный сочинитель...
В других цени их перья золотые,
Во мне — мои деяния немые.

В. Шекспир. Сонет 85. Пер. Р. Бадыгова.

Я никогда не болел самонадеянностью,
да еще — в то время — чувствовал себя
малограмотным, — но я искренно верил,
что мною написана замечательная вещь.
Я затискал в нее все, о чем думал
на протяжении десяти лет пестрой
и нелегкой жизни.

М. Горький. Время Короленко.

1. Ученик Ефименко. Неизменный секретарь парторганизации ленинградского ИИМК в пятидесятые годы Александр Николаевич Рогачев (1912–1984) — родом из крестьян-бедняков Тамбовщины. Родился в деревенской глуши, в мордовском селе Альдия Тамбовской губернии. До конца своих дней сохранял неистребимый диалект: аканье, яканье и проч. Он рано потерял отца, батрачил. В старости поражал коллег, даря им собственноручно сплетенные лапти (Платонова и Аникович 2005: 13). Формозов (2004: 145–146) характеризует его так: «Он так и остался человеком малокультурным, говорил "лабалатория", не знал ни одного иностранного языка. <...> Той широты кругозора, что отличала Замятнина, Бонч-Осмоловского, Борисковского, самого Ефименко, у него не было и в помине». Палеолитчику французский необходим. В мемуарах Формозова о Рогачеве (2011:

132): «Из года в год возил в Костенки учебник французского языка для пятого класса, надеясь по вечерам потихоньку подучиваться. Но времени в экспедиции не хватало, и освоен был один алфавит». Однако рогачевский ученик Аникович вспоминает, что видел у Рогачева иностранные оттиски с пометками — тот, хотя языков и не знал, со словарем читал, с величайшим трудом продираясь сквозь иностранный текст.

Шестнадцати лет поступил в Моршанский педагогический техникум, оттуда — на педагогический факультет Воронежского университета (без вступительных экзаменов — по «классовому» набору). Там вступил в комсомол и всю жизнь был искренним и заядлым коммунистом. Принимал участие в раскулачивании, весьма драматическом (один партиец был убит). Под Воронежем в это время шли раскопки палеолита ленинградцами. В 1931 г. Рогачев перевелся в Ленинградский университет и занялся здесь археологией. С точки зрения отдела кадров, анкета у него была безупречной: социальное происхождение — крестьянин-бедняк, безотцовщина, батрацкий стаж — 4 года, с 1928 г. — член ВЛКСМ, в Институте был секретарем комсомольской ячейки, с 1932 г. — член партии. Твердокаменным большевиком оставался всю жизнь, в партийные истины свято верил.

После университета был принят в ГАИМК аспирантом, занимался у Ф. В. Кипарисова (очень его ценил как теоретика) и у П. П. Ефименко — «у Пятра Пятровича», как говаривал сам Рогачев. Побывал в экспедициях Миллера, Арциховского, Рыкова.

С 1934 г. он работал ближайшим помощником «Пятра Пятровича» на раскопках Костенок. Петр Петрович начал постепенно передавать ему бразды правления в экспедиции.

У Ефименко, правда, был другой преданный ученик в изучении палеолита — П. И. Борисковский. Он пришел к Ефименко студентом, в 1929 г., т. е. раньше Рогачева, и впоследствии станет ясно, что именно он будет до конца отстаивать концепцию Ефименко. Но, окончив Университет, он поступил в аспирантуру не к своему университетскому учителю Ефименко, а к начальственному тогда С. Н. Быковскому и стал применять к палеолиту социологический анализ — кстати, весьма успешно, выявил составные орудия до мезолита. Быковский заявлял, что Борисковский сделал шаг вперед по сравнению с Ефименко. Ефименко как-то сказал Борисковскому, то больше не считает его своим учеником. А Быковскому порекомендовал отправить этого аспиранта в какой-нибудь провинциальный музей. Но к середине 30-х гг. социология оказалась не в чести, а в 1936 г. Быковский был

расстрелян. Борисковский, как блудный сын, вернулся к Ефименко и с тех пор неуклонно заявлял, что концепция Ефименко — это и есть марксизм в палеолитоведении (Формозов 2004: 145).

Продолжая характеристику Рогачева и указав на отсутствие широты кругозора, Формозов (2004: 146) продолжает: «Но уж Костенковско-Боршевский район он изучил как свои пять пальцев. Борисковский в поле был совершенно беспомощен (это неверно: он отлично раскопал Костенки 2, 17 и 19. — Л. К.). Рогачев легко ориентировался в оврагах, прорезающих донской берег, в почвах, лёссах и всюду находил новые памятники».

Ефименко работал над монографией «Костенки I». Из новых памятников он Костенки IV (Александровская стоянка) выделил Рогачеву для диссертации, а Костенки VIII (Тельмановскую стоянку), открытую Рогачевым, оставил себе — с круглым жилищем и подозрением на преемственность между мустье и солютре (Ефименко еще надеялся то ли восстановить прежнее состояние эволюционистской схемы Мортилье — минуя ориньяк, то ли согласовать схемы Мортилье и Брейля).

Первые годы Рогачев целиком и полностью разделял взгляды Ефименко, шел за ним. Однако, уже раскапывая Александровскую стоянку в 30-е гг., он заметил, что длинные и круглые жилища вроде бы одновременны, но различаются по кремневому инвентарю: круглые с ориньяко-солютрейскими орудиями, а длинные — с мадленскими (статья 1940 г.). Более того, слой с ориньяко-солютрейским материалом оказался более поздним, а слой с малдленским — более ранним, хотя должно быть — по стадиальной схеме — наоборот! Это породило у Рогачева первые сомнения в том, что развитие палеолита так однолинейно, как учили французские эволюционисты и как учит Ефименко. Свою кандидатскую диссертацию о Костёнках IV писал с внешней стороны по образцу рукописи Ефименко о Костёнках I (по иронии судьбы она была опубликована в 1955 г. —раньше, чем образец), но то, что Ефименко и Борисковский считали мадленом, оказалось у Рогачева по стратиграфии не позже, как полагалось по схеме, а раньше, чем комплекс, который они сопоставляли с ориньяком и солютре!

В 1939 г. был призван в армию и прошел всю войну от первого до последнего дня. Сначала рядовым, потом офицером политотдела. Служил в обслуживании аэродромов. Всего пять полевых сезонов он провел в Костенках и потом почти десятилетие был оторван от археологии.

А. Н. Рогачев — офицер политотдела в 1945 г.

2. Мятеж против эволюционизма. Только в 1947 г. вернулся и уже в следующем году защитил кандидатскую диссертацию, опубликованную в 1955 г. («Алексеевское поселение древнекаменного века у с. Костенки на Дону»). Он сразу же после демобилизации включился в работу — отправился копать Костенки.

Положение его в Институте всё же было незавидным, можно сказать, бедственным. Он даже хотел перевестись в Минск. В письмах заведующему сектором археологии К. М. Поликарповичу в Минск от 15 октября и 23 ноября 1948 г. он жаловался на крайнюю необеспеченность на протяжении последних полутора лет (по возвращении из армии). Он получал маленькую зарплату и не имел квартиры — в комнатке в 9 кв. м ютилось 4 человека его семьи, «4 едока» — формулировал это по-крестьянски Рогачев. Да еще родился второй сын. «А если будут попытки вернуть меня в ИИМК, я сохраню гнев. П. П. Ефименко о моем таком решении не знает — второй месяц отдыхает где-то в Кисловодске, в Костенки приехать он не выбрал времени, общался со мной только телеграммами...» Рогачев всё же колебался и запрашивал Поликарповича о возможности совместительства в Минске. Так эта идея и не осуществилась (Чубур 2005: 156).

Коль скоро он был младший научный сотрудник, а Ефименко увяз в украинских делах, денег на раскопки Рогачеву выделили мало. Он не мог копать широкими площадями, а сконцентрировался на изучении стратиграфии — шурфы, зачистка профилей, небольшие раскопы. Тем более что давние сомнения в хронологической схеме учителя вели его к стратиграфии.

Обнаружилось, что в памятниках, исследованных самим учителем, Костенки I и VIII — не один слой, а несколько, и перекрывают

они друг друга не в той последовательности, в какой их располагал Ефименко.

В 50-е гг. в советской археологии назревал общий пересмотр концепции развития — выявлялись локальные различия, встал и вопрос об археологических культурах в верхнем палеолите. Сначала Рогачев, верный однолинейной идеологии стадиалистов, отнесся к этим веяниям отрицательно, но 5–7 лет спустя сам стал лидером этого движения в России. Замятнин отметил локальные различия в палеолите, Ефименко выделил «городцовскую культуру», а Рогачев разрушил всю однолинейную стадиальную схему. В нем всё время боролись марксистские идеи и эволюционистские догмы с трезвым крестьянским реализмом, и реализм побеждал. Как не без юмора отмечают Платонова и Аникович (2005: 26), если у Рогачева факты входили в противоречие со схемой, которая считалась марксистской, то последствия были решительными: схема... переставала считаться марксистской.

В основу своих выводов Рогачев положил не схему эволюции орудий, а геологическую стратиграфию. Он пригласил геологов М. Н. Грищенко, Г. И. Лазукова и А. А. Величко и с их помощью разобрался в геологии Костенковско-Боршевского района. Те проследили прослойки вулканического пепла, принесенного издалека, слои лёсса и связали по этим приметам разрозненные разрезы воедино. Соответственно, стоянки получили определенные и сопоставимые места в стратиграфии.

Рогачев пришел к выводу, что на этой шкале культурные комплексы верхнего палеолита занимают совсем не те места, которые им следовало бы занимать по однолинейной схеме Мортилье — Ефименко, что они образуют не одну, а несколько последовательностей. Кроме того, у Рогачева сложилось впечатление, что индустрии, занимающие смежные территории, изменяли свои ареалы, попеременно надвигаясь на промежуточную территорию, и на ней образовывались странные последовательности. Иными словами, эти индустрии вели себя, как археологические культуры. Он и называл их иногда культурами.

Ввиду серьезного расхождения со схемой, считавшейся отличительной для советской науки, в 1953 г. Рогачев был отстранен от руководства экспедицией, уступив этот пост Борисковскому, и была назначена комиссия археологов и геологов для проверки его выводов. Комиссия была вынуждена признать их правоту.

Любопытной была находка Рогачева в Костенках XIV (Маркина гора) в 1954 г.: в культурном слое верхнего палеолита лежало

окрашенное погребение молодого мужчины с черепом, показывающим явные признаки негроидной расы — прогнатизм (выступающие зубы) очень широкий нос и прочие. Современные исследователи видят больше близости к папуасам, чем к африканцам. Есть мнение, что близость к папуасам — это именно древнейшие черты homo sapiens повсюду, но сохранившиеся в изоляции в австралийском регионе.

Ефименко сохранял величественное молчание, хотя и был рассержен. Лишь в кратких замечаниях в своих статьях 50-х гг. он отметил, что вряд ли построения Рогачева будут приняты советской наукой. В 1963 г. Рогачев защитил докторскую диссертацию «Костенковско-Боршевский район и проблемы развития палеолита на Русской равнине». Ефименко дал положительный отзыв и признал, что его ученик прав. Как вспоминает Формозов (2004: 157), потрясенный Рогачев прослезился.

В 1967 г. Рогачев сформулировал тезисы своего подхода, который он назвал «конкретно-историческим», противопоставляя его «стадиалистской» концепции Ефименко и Борисковского. Суть его позиции заключается в том, что единое развитие от стадии к стадии для всего палеолитического мира отвергается, а взамен постулируется развитие с локальными особенностями в различных регионах и сосуществование археологических культур, «вполне аналогичных неолитическим культурам» (Рогачев 1967: 8; Аникович 2000; 2005). Несмотря на большевистскую убежденность во всем, на сугубо

На раскопках в Костенках в 1972 г. (слева направо) А. Н. Рогачев, З. А. Абрамова, Н. Д. Праслов, В. Я. Сергин, М. В. Аникович

марксистскую догматическую фразеологию, на очень слабую начитанность в западной литературе и настороженно-враждебное отношение к западным идеям и влияниям, в науке Рогачев разрушал остаточно-эволюционистские позиции и стадиализм, отстаивал антиэволюционистскую концепцию, очень схожую с концепцией аббата Брейля и Обермайера.

А. Н. Рогачев
в начале 1980-х гг.

«В последние годы, — пишет Формозов в мемуарах (2011: 135), — это был довольно нелепый человек, много и бестолково говоривший, порывавшийся поднять дискуссию то об азиатском способе производства, то об отрицании отрицания, то еще о какой-нибудь марксистской премудрости, подчас впадавший в настоящие истерики. Молодежь над ним посмеивалась, но всё же предпочитала его Борисковскому — за чутье к материалу и бескорыстную любовь к науке».

Но он вел раскопки в Костенках и передавал свои знания и свои убеждения молодежи.

3. Место Рогачева в изучении палеолита. Очень показательно, что хотя наследником Ефименко по руководству сектором палеолита в ГАИМК–ИИМК после Окладникова и по преподаванию на кафедре археологии в Ленинградском университете стал его верный ученик и неукоснительный последователь П. И. Борисковский, ведущими фигурами в следующем поколении сотрудников сектора ИИМК оказались ученики и Борисковского (Н. Д. Праслов), и Рогачева (Г. П. Григорьев). Они и написали апологетический некролог (1985). Григорьев и Праслов отстаивали наличие археологических культур в палеолите и считали, что, доказав новую концепцию палеолита, именно А. Н. Рогачев стал лидером советского палеолитоведения.

В период переоценки ценностей А. А. Формозов (2004) и С. А. Васильев (1998), сильно недолюбливавшие друг друга, выступили оба с пересмотром представления о Рогачеве как лидере и образце. Формозов (2004: 157) писал: «Он был для этого слишком плохо образован,

кроме Костенок, в сущности, не знал ничего, а читал, по язвительному выражению Бибикова, только "Капитал" и "Первобытное общество"... Статьи Рогачева, где утверждалось, что труды Сталина открыли нам глаза, что Ефименко был в плену антимарксистских идей Марра и т. п., сегодня вызывают улыбку». По этому поводу ученик Рогачева М. В. Аникович возражает, что интересующие его работы на иностранных языках Рогачев всё же читал — с трудом, со словарем, но читал (личное сообщение 2011 г.). А о гениальности Сталина кто тогда не писал! Но Рогачев писал это всё искренне.

И Васильев, и Формозов согласны с тем, что Рогачев помог нашей науке преодолеть эволюционно-стадиалистскую схему, но оба отвергают узко-локальные культуры в палеолите. Рогачев их не доказал и не мог доказать, полагают они. Что есть в палеолите, это большие зоны, различающиеся по типологии кремня, по природной среде и по адаптации к среде — любимая тема Формозова. Но коль скоро признаются различные ареалы и миграции, то эти зоны (очевидно, с двигающимися границами) есть просто большие культуры. Впрочем, и сам Рогачев небольшого размера культур не придерживался (это была идея Григорьева). Есть ли отличия от более поздних эпох? Вероятно, но культуры разных эпох и вообще различаются.

Я хорошо помню Александра Николаевича — это был коренастый неприметно одетый мужичок, у него было скуластое лицо с крепкими челюстями, серые волосы зачесаны назад, яростно пылающие глаза за стеклами очков...

Из марксистских ортодоксов в «шестидесятники»

А. Л. Монгайт

Когда-то мы радовались, что государственные
мужи перестали произносить речи по бумажке.
Напрасно радовались. Дайте, дайте им бумажку!
И пусть кто-нибудь грамотный ее напишет.
Возродите наконец старинную русскую должность,
которая звалась «ученый еврей при губернаторе»!

Андрей Дмитриев. Писатели о языке.
Отечественные записки, 22 (2005).

1. Путь в науку. Александр Львович Монгайт (1915–1974) — фигура интересная и заметная в советской археологии. Работая в Институте археологии в Москве, он никогда не был в руководстве Института и не определял его политику, но по его произведениям можно было подумать, что он — главный идеолог Института. Книги по общей археологии, представительная книга «Археология в СССР», переведенная на английский, разоблачительные статьи о буржуазной археологии — всё это Монгайт. В быту он был очень доброжелательным и любезным человеком. С красивым умным лицом, полноватый, он отличался какой-то барской холеностью, хотя он вовсе не из старой знати.

Происходит он из Николаева на Украине, еврей. По окончании средней школы несколько лет учительствовал в Николаеве, а с 1931 г. в Москве (в Промакадемии и техникумах). Учился на истфаке МГУ, кафедра археологии (1934–1940), и одновременно печатался в журналах на исторические темы (Французская буржуазная революция, история русской артиллерии).

Но в конце концов специальностью избрал археологию и участвовал в раскопках Арциховского в Новгороде. Его друг Г. Б. Федоров (1966) подшучивает над ним в своих воспоминаниях («Дневная поверхность») — рассказывает, что на раскопках Шура Монгайт очень быстро

приспособился к строгим методическим требованиям начальницы раскопа и стал расчищать кисточкой с тщанием и медлительностью, а копать и вовсе перестал. А поскольку его похваливали, то и другие стали следовать его примеру. «Великое монгайтовское движение» распространилось по экспедиции и затормозило раскопки, пока некий грубиян не нарушил общую нирвану, пустив в ход лопату. Таким образом, у Монгайта с молодых лет проявилось больше склонности к теории и методике, чем к орудованию лопатой.

В 1941 г., сутулый и болезненный, он вступил добровольцем в ополчение, но был демобилизован по болезни и оказался директором школы в Алма-атинской области. Общение со школьниками, вероятно, способствовало отработке у него простого, ясного, живого языка, которым отличаются его сочинения. В 1943 г. поступил в аспирантуру ИИМК. Защитил кандидатскую диссертацию в 1946 г. и стал научным сотрудником сектора славяно-русской археологии ИИМК.

2. Археолог-славист. Монгайт всегда выбирал темы, привлекавшие общественное внимание. В послевоенное время внимание прессы и исторической науки было сфокусировано на богатырской силе русского народа, выдержавшего тяжелейшую войну. Образ Ильи Муромца напрашивался как символ этой богатырской силы. Монгайт избирает Муром как объект своих археологических исследований. Книга «Муром» выходит в 1947 г. Разумеется, коль скоро война носила обронительный характер, традиция строить оборонительные сооружения была, так сказать, актуальной темой — и Монгайт участвует в изучении оборонительных сооружений работой по сооружениям Новгорода Великого, вотчины своего учителя Арциховского (работа 1951 г. в МИА 31). Но древнерусские крепости с более раннего времени и более основательно изучал другой еврей — ленингра-

А. Л. Монгайт во время исследований в Муроме и Старой Рязани

дец Раппопорт, конкурировать с ним было трудно, и Монгайт оставил эту тему.

Но основным объектом его раскопок с 1950 по 1955 г. становится Старая Рязань — город, сопротивлявшийся татарскому нашествию хана Батыя и уничтоженный им. Результаты раскопок (богатые клады, три неизвестных ранее церкви и проч.) обнародованы в книгах «Старая Рязань» (МИА, 49, 1955 — его докторская диссертация), «Рязанская земля» (1961) и «Художественные сокровища Старой Рязани» (1967).

В центре событий было также огромное расширение территории Советского Союза в результате войны. А кроме того, особый интерес сосредоточивался на Кавказе, где Сталин массовыми депортациями целых народов проводил зачистку территории от аборигенов, подозреваемых в неверности, нелояльности и сепаратистских намерениях. Монгайт пишет исследование о Тьмутороканском камне — самом крайнем свидетельстве расширения территории Киевской Руси, раннего утверждения русской государственной власти на Северном Кавказе. Книга «Надпись на камне» выходит в 1969 г.

3. В дискуссии о Марре. Как ученик Арциховского 35-летний Монгайт с большим энтузиазмом встретил развенчание марровского учения и Марра. В 1950 г., после дискуссии в «Правде» по вопросам языкознания и выступления Сталина, в ней началось искоренение учения Марра везде и разгром теории стадиальности и других марровских идей в археологии. Открытое партийное собрание прошло в Москве в Институте истории материальной культуры, и отчет об этом собрании вышел за подписью Монгайта в журнале «Вестник древней истории», редактором которого был Киселев, главный идеолог Института в это время и застрельщик очистительной кампании против марризма. В своем выступлении Монгайт говорил, что статьи Сталина важны для советской науки тем, что

> «кладут предел попыткам установить аракчеевский режим в науке (это Монгайт использовал выражение Сталина. — Л. К.). Такие попытки были в археологии: хотя Марр мало занимался археологической наукой, его "ученики" объявили Н. Я. Марра основоположником советской археологии. <...> Марра пытались навязать советским ученым в качестве какого-то посредника между ними и марксизмом. Проводники аракчеевского режима требовали от ученых ссылок на Марра даже в том случае, если эти ссылки не были обоснованы и ничего по существу работы не давали. Ссылку на Марра считали своеобразным пропуском

в советскую науку. Ярлыки с именем Марра наклеивались на всевозможные научные работы» (Монгайт 1950: 206–207).

Монгайт же был направлен в составе московской команды в Ленинград, чтобы довести точку зрения московских товарищей до сведения ленинградских коллег и проследить за тем, чтобы очистка от марризма в ленинградском гнезде его прошла решительно и последовательно. Конечно, ленинградцы пытались смягчить удар, отвести от себя наиболее тяжкие обвинения. Они говорили, что не всё у Марра было плохо, что не всё марровское они брали у него. Такую линию проводил Окладников, заведующий ленинградского отделения, в своем докладе.

Поднявшись в Ленинграде на трибуну, Монгайт вспомнил и недавнюю кампанию Равдоникаса по определению «двух лагерей» в археологии, и все другие проявления «культа». Из записей в стенограмме:

«Тов. Монгайт. <...> Но если мы будем разбираться в путях советской науки, то скажите, Алексей Павлович, только честно скажите, что было бы шесть месяцев тому назад, если бы я с этой кафедры начал критиковать учение Марра?

Тов. Артамонов. Но ведь Вы не критиковали! (Смех.)

Тов. Монгайт. Но что было бы, если бы я критиковал? Я, товарищи, ничего смешного в этом не вижу. Я терпеливо выслушивал потоки ругательств по моему адресу и адресу московских товарищей, прошу теперь терпеливо выслушать мой ответ на это, даже если он вам покажется смешным. Все-таки вам придется его выслушать!

Я думаю, что те товарищи, которые молчали, молчали не только потому, что они колебались, но потому, что они боялись выступать, а выступление товарища Сталина, разоблачая Марра как вульгаризатора марксизма, развязало языки, и товарищи начали выступать. Это относится к вопросу личных качеств — трусости или смелости товарищей, выступавших или не выступавших, но это имеет отношение и к тому режиму, который все-таки в институте существовал».

(Архив ИИМК. Ф. 312. Оп. 1. Д. 316. Л. 121).

Артамонова и других ленинградцев позабавило сослагательное высказывание Монгайта о критике Марра, потому что незадолго до дискуссии многие из них в этом самом зале присутствовали на моем студенческом докладе именно с радикальной критикой учения Марра (моими оппонентами были Окладников, Пиотровский и Мавродин, а моим руководителем — Артамонов).

Излагая подробно ход этой кампании в апологетической биографии Окладникова, его ученик А. К. Конопацкий (2001: 181) спрашивает: «Верил ли сам А. Л. Монгайт, добрейший и умнейший человек, в то, что говорил и делал? Ведал ли он, что творил, захваченный энтузиазмом борьбы с "крамольными ленинградцами"? Испытывал ли на старости лет смущение за свое прошлое?»

На старости лет Монгайт, несомненно, испытывал смущение за свои филиппики 50-х гг. против буржуазной археологии (я это знаю точно), но, думается, его участие в кампании против марризма и аракчеевского режима его ничуть не смущало. Он верил, что археология должна быть избавлена от марризма и от аракчеевского режима, а что археологи, приложившие руку к культу Марра и к установлению аракчеевского режима, при этом пострадают, его мало волновало. Кстати, не так уж и пострадали.

Но вот свою оголтелую критику буржуазной археологии Монгайт охотно бы вычеркнул из своего прошлого. В 1968 г. я представил в «Советскую археологию» статью, где упоминал давнее выступление Монгайта (1951 г.) о кризисе буржуазной археологии. Монгайт тогда был причастен к редколлегии и прислал мне письмо с просьбой снять эту ссылку. Мотивируя просьбу, он выразил сожаление, что писал тогда «в таком неприятном тоне, с оскорблениями в адрес наших буржуазных коллег». «Мне даже стыдно вспоминать об этом грехе молодости, — добавил он. — Так тогда было принято писать, и я по недомыслию писал, "как все". Хотя многое в этой статье верно, но самый тон лишает ее всякой ценности, и вряд ли стоит о ней напоминать нашим читателям» (личное письмо от 19.02.1968).

Он направил это письмо мне в самый подъем недолгих иллюзий о «социализме с человеческим лицом», перед Пражской весной.

А тогда, в пятидесятые (вот уж подлинно «лихие пятидесятые»), роль Монгайта не могла вызвать симпатий. Когда успешного начальника Московской археологической экспедиции Рабиновича снимали с должности как еврея, Удальцов, тогдашний директор Института, предложил было ему самому подыскать фигуру начальника фиктивного, при котором он был бы замом и вел все дела. «Никто вас не снимает. Мы вами... э-м... очень довольны. Но ведь Москва же и э-м... Рабинович. Вот». Рабинович решил, что для него будет не так унизительно, если директор сам себя назначит начальником экспедиции. Польщенный Удальцов, сообщает Рабинович (2005: 252–254), согласился.

«— Видишь, — поделился я с Монгайтом, — он соглашается! А так как все знают, что он никакой не археолог, то будет ясно и положение со мной.

Увы, друзья познаются в несчастье. Шура был тогда ушами Удальцова (чего я не знал) и выполнил, как видно, эту свою функцию. На другой день Удальцов отказался и начальником назначил Арциховского».

А вскоре Рабиновича и вовсе уволили. Он стал ходить по инстанциям, жаловаться — конечно, тщетно. При встрече в метро Монгайт сказал:

«"Помни, что ты не один. Не в тебе одном здесь дело. Начали с Рабиновича, могут добраться и до Монгайта". Сказал и вдруг как-то боязливо посмотрел в сторону. Следя за его взглядом, я увидел нашего бухгалтера Румянцева. <...> может быть, Шура опасался, что Румянцев сообщит, будто затевается заговор, и вот "они" уже шепчутся в метро».

Но до Монгайта дело не дошло. Он уцелел: очень был нужен.

Владея европейскими языками, Монгайт интересовался теоретическими вопросами археологии, читал иностранную литературу и выступал с резко критическими статьями о ней. В начале 50-х он говорит о «кризисе буржуазной археологии», громит Уолтера Тэйлора (совершенно не оценив эпохального значения его труда) и т. д. В то же время он пишет панегирическую книгу о советской археологии «Археология в СССР» (1955, есть переводы на европейские языки) — как раз одновременно с одноименной книгой М. Миллера, прямо противоположной по содержанию. Он явно претендует на роль если не главного идеолога в Институте, то по крайней мере ученого еврея при губернаторе. Однако время Кричевского прошло. Идеологом Монгайт не мог стать — и потому, что еврей, и потому, что не в партии. Тщетность его претензий стала особенно ясной, когда «губернатором» (или «воеводой») стал Рыбаков, взявший ориентацию на совсем других теоретиков.

4. Идеологические перемены. Но и сам Монгайт сменил ориентацию. Когда сталинский террор отпал и идеологический контроль стал не таким жестким, как прежде, Монгайт стал выступать с идеями внедрения строгой методики, естественных методов и призывами отказаться от прежних принципов исследований этногенеза. Он стал часто выступать во фрондирующем «Новом мире» Твардовского с рецензиями на исторические публикации и носился с какими-то подписными листами в защиту преследуемых диссидентов. Две его книги — «Что такое археология» (1957, втор. изд. 1966) и «В поисках

древнейших цивилизаций» (1959, втор. изд. 1966) — написаны в соавторстве с А. С. Амальриком — отцом известного диссидента, сидевшего в лагере, а затем высланного из страны. С Амальриком же Монгайт готовил книгу «Археологическая картография», но она так и не вышла.

«Шестидесятник»
А. Л. Монгайт в 1960-е гг.

Несколько слов об Амальрике (Монгайт 1969). Выпускник Московского университета, Алексей Сергеевич Амальрик старше Монгайта на 9 лет, сражался в Красной армии в Гражданскую войну, а в Отечественную был тяжело ранен. В 1959 г. 53-летним был выбит из работы инсультом. Умер в 1965 г. 59-летним, как раз во время рыбаковской кампании против Монгайта. Сын его, Андрей, родился в 1938 г., двадцати двух лет (в 1960) поступил в Московский университет на истфак. За курсовую работу с опровержением антинорманизма был в 1963 г. исключен из Университета. В 1965 г. арестован за диссидентскую деятельность, последовали суд и отправка в лагеря. На Западе изданы его книги «Нежелательное путешествие в Сибирь» и в 1969 г. (сразу после «пражской весны») «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». Новый арест в 1970 г., отправка на Колыму, и дальше сплошь суды и лагеря до 1975 г. В 1976 г. — высылка из СССР. В 1980 г. — гибель в автокатастрофе в Испании на пути на Мадридскую международную конференцию по правам человека.

Таким образом, к 1965 г. Амальрик-старший (соавтор) умер, а Амальрик-младший был арестован. Все это чрезвычайно раздражало Рыбакова. Когда Хрущева свергли и заменили Брежневым, Рыбаков решил разделаться с Монгайтом, устроив обсуждение его работ. Об этом эпизоде оппозиционно настроенный литературный критик Григорий Померанц (1998) вспоминает:

> «...академик Рыбаков решил использовать смену курса и свести счеты с профессором Монгайтом, скептически отзывавшемся об его археологическом национализме. Были заранее подготовлены разгромные выступления. Их язык, их тон напоминали Лысенко. Председательствующий, М. Я. Гефтер (тогда зав сектором

> методологии Института истории АН. — Л. К.) был захвачен врасплох и прислал мне записку с просьбой выступить, перебить проработочную машину. Я тут же набросал несколько тезисов и назвал концепцию Рыбакова славянским фашизмом. Но следующие ораторы меня просто не заметили. Они продолжали по заранее подготовленным бумажкам долбить Монгайта. Единственный эффект был тот, что Гефтер, сославшись на различие мнений, сумел отложить заседание, а в следующий раз против Рыбакова была мобилизована профессура других институтов (Поршнев, Токарев). Но это уже его, а не моя заслуга. Я не добился почти ничего. Моя страсть натолкнулась на холод аудитории, разбилась об него. А на следующий день — гипертонический криз: я и физически оказался слаб. Трудно начинать карьеру оратора в 47 лет».

Монгайт уцелел в Институте, но был выведен из состава редколлегии «Советской археологии» и из ученого совета института. Его доклад о несовпадении этноса с археологической культурой, напечатанный не в изданиях Института, а у востоковедов, вызвал в 1967 г. большую дискуссию. Чтобы расширить кругозор советских археологов, Монгайт написал очень объективно двухтомную «Археологию Западной Европы» (1973–1974), весьма информативную — она нарушала привычную догму о безусловном превосходстве советской науки над любой зарубежной.

Когда Монгайт умер в 1974 г. (не дожив до 60 лет), в стране был самый разгар андроповских репрессий против диссидентов. Организации были разгромлены, многие диссиденты арестованы, заключены в психушки и лагеря. Изрядное число археологов сторонились Монгайта как чумного. Никто из сотрудников его сектора, состоявшего в основном из людей Рыбакова, не стал писать некролог. В оба институтских издания — «Советскую археологию» и «Краткие сообщения» — некрологи написал другой отщепенец, специалист по первобытности А. А. Формозов. На Западе за Монгайтом закрепилось реноме марксистского ортодокса, основанное на его ранних критических статьях и «Археологии в СССР». Формозов же с достаточным основанием причисляет Монгайта к «шестидесятникам» XX века. Монгайт принадлежал к тем, кто помогал советским археологам открыть глаза и взглянуть по-новому на мир и на себя.

Интеллигент

Г. Б. Фёдоров

А сзади, в зареве легенд,
Дурак, герой, интеллигент
В огне декретов и реклам
Горел во славу темной силы,
Что потихоньку по углам
Его с усмешкой поносила
За подвиг...

Б. Пастернак. Высокая любовь. 1923–1928

1. Введение. В феврале 1993 г. в Лондоне скончался крупный российский археолог, приехавший туда преподавать, Георгий Борисович Федоров (1917–1993). Жена его, Марианна Рошаль-Федорова, осталась там, на родину не вернулась. Федоров был начальником крупнейшей Пруто-Днестровской археологической экспедиции, автором ряда монографий и известным писателем. Ни одно археологическое издание России не поместило некролога. Официальная археология предпочла не заметить его смерть.

Между тем у Федорова в России осталась масса друзей, весьма известных. Многие его любили, можно сказать, обожали, другие ненавидели, особенно дирекция Института археологии и партийное руководство. И любовь, и ненависть имели свои основания.

Марк Ткачук (1999: 10) описывает его так: «Мягкий и деликатный человек, чуть растерянный и растрепанный, с огромными внимательными серыми глазами». Среди друзей фамилию обычно не называли. Как пишет один из его друзей, бард Юлий Ким (2007):

> «Слово "гэбэ" всегда означало "госбезопасность". Посему произносилось с отвращением (как и производные от него: "гэбисты", "гэбешники"). Но для некоторого, причем весьма широкого, круга существовал еще и омоним, который был еще и антоним, то есть произносился с чувством прямо противоположным:

> "Гэбэ" — "Георгий Борисович" — Г. Б. Федоров. "Вчера славно посидели у ГэБэ... У ГэБэ в экспедиции было замечательно... Звонил ГэБэ, зовет к себе..." Многие звали его "Жора", хотя он был немолодым и вполне почтенным и к фамильярности не располагал, но говорилось так не из панибратства, а по особенной нежности к нему...»

Как и его ближайший друг в Институте археологии, А. Л. Монгайт, Фёдоров слыл фрондёром, собирал подписи под письмами в защиту известных диссидентов, преследуемых советской властью. Но незадолго до того он участвовал в одной из громких идеологических кампаний — по разгрому культа Марра, ездил с московской делегацией в Ленинград, громил и разоблачал сторонников Марра. Для профессоров-ленинградцев он был тогда активистом московской команды проработчиков, добивавшейся окончательного подавления ленинградской самостоятельности.

Выступление Г. Б. Федорова

О Федорове написано маловато, но друзья всё же оставили живые воспоминания, а многое о своей жизни рассказал сам Федоров в своих литературных произведениях. Почти все они автобиографичны и очень колоритны. В этом очерке я буду обильно цитировать Федорова и его друзей.

2. Происхождение и юность. Дед его в царской России был генералом казачьей управы, отец до революции преподавал латынь и русскую литературу в классической гимназии, но по идеалистическим иллюзиям стал большевиком. Родился Георгий Борисович в Петрограде в 1917 г. Его сверстников называли «ровесниками Октября» — предполагалось, что это для них предмет гордости. Но, как сообщает его жена, ГэБэ «неизменно повторял, что он родился 15 мая, когда во главе Временного правительства еще стоял приличный человек — князь Львов» (Рошаль-Федорова 2007).

Из-за голода и разрухи в Петрограде он начал ходить только в три года. Отец не мог прокормить семью и вывез жену и детей под Рязань, в имение деда Корзинкино, уцелевшее от грабежей. Потом семья переехала в Москву и поселилась на Тверской напротив бывшего Елисеевского магазина.

Когда Фёдоров учился в старших классах школы, истории как предмета не было.

> «До 1933 или 1934 года (точно не помню), — писал потом Фёдоров (1997/2007), — история считалась у нас буржуазной наукой, в школах и вузах она не преподавалась. Вместо нее преподавали нечто аморфное, большевистско-восхвалительное, под названием "обществоведение". Так вот известный историк профессор (впоследствии — академик) Б. Д. Греков полулегально при Институте Красной Профессуры вел для нескольких школьников занятия по истории. В число этих школьников входил и я. К нам захаживали и иногда вели занятия некоторые историки, среди них и Анна Михайловна [Панкратова, тоже будущий академик]...»

Федорову повезло: как раз к его окончанию школы вышли знаменитые постановления Сталина, Кирова и Жданова о возвращении истории в школу и вуз. В 1935 г. был снова открыт исторический факультет МГУ, и Федоров поступил туда с намерением стать дипломатом. Университет тогда носил имя М. Н. Покровского, но его тут же развенчали как социологизатора и извратителя марксизма. Были убраны из Университета преподававшие там Бухарин и Радек, а вскоре осуждены и казнены. Правда, одновременно вычистили и арестовали и противоположное крыло науки — ряд профессоров с дореволюционным стажем.

Об этом времени Фёдоров (1997/2007) вспоминал потом:

> «Первые два года обучения у блистательных наших профессоров были, может быть, лучшими годами моей жизни. Но в 1937 году все изменилось. Наш факультетский профессорский корпус был разгромлен. Одни профессора были расстреляны, другие — заключены в тюрьмы и концлагеря или отправлены в ссылки, третьи — просто уволены. Их место заняли, как правило, невежественные, тупые партийные ставленники, разные там почетные чекисты и т. д., над которыми мы, студенты, просто смеялись. Одним из немногих уцелевших из старого профессорского корпуса был Артемий Владимирович Арциховский».

Так его воспринимал Фёдоров. Восприятие не совсем верное. Артемий Владимирович не принадлежал к дореволюционному корпусу

профессоров. Он был из когорты молодых учеников Городцова (хотя и старого археолога, но тоже ставшего профессором только после революции), и эта когорта (Арциховский, Киселев, Брюсов, Смирнов) активно и рьяно осваивала марксизм под руководством старого большевика Фриче и вводила марксизм в археологию. С них он в ней начался. Но продолжим цитату из Фёдорова:

> «Между тем я, еще не очень-то разбираясь в событиях, происходивших в стране, еще с пеленой коммунистической утопии на глазах, все-таки "ни за какие коврижки" не мог поверить, что мои любимые профессора оказались врагами народа.
>
> Да, "что-то там неблагополучно в датском королевстве". Во всяком случае, становиться дипломатом у меня пропала всякая охота.
>
> Смутные мысли, раньше подавлявшиеся, все настойчивее появлялись в моей голове; вставали тревожные, требовавшие ответа, совсем непростые вопросы. Душу бередили воспоминания, — например, о сценах коллективизации, свидетелем которых я был в одном из русских хуторов под Весьегонском и в украинском селе Новые Санжары на Полтавщине. Снова требовали объяснения Торгсин, процесс Промпартии, слухи о причинах смерти Фрунзе и многое другое. А спросить было не у кого. Отец, которого я очень любил, страшась за меня, либо отмалчивался, либо говорил какие-то вымученные, ничего не значившие слова. Мне было его жалко, и я перестал его донимать. Друзья сами были в таком же положении, как и я. Кого же спрашивать, что делать? Неясно.
>
> В это время, в зимний семестр 1937–1938 годов, Арциховский начал читать курс лекций "Введение в археологию". Мой однокурсник и друг Шура Монгайт и я влюбились в Арциховского, а через него — и в археологию. Решили стать археологами — и в 1938 году под руководством Арциховского работали на раскопках в Новгороде, после чего наше стремление еще более окрепло».

Вероятно, на выборе сказалось не только личное обаяние Арциховского, но и то, что археология показалась студентам менее зависимой от всех зигзагов государственной идеологии и политики, более свободной для объективного исследования.

Еще более этот выбор закрепился, когда в 1938 г., на второй год Большого Террора, профессор и начальник экспедиции Арциховский признался студенту, что считает Сталина палачом и убийцей, и поделился своей личной тайной: он участвовал в Гражданской войне в столице казачества Новочеркасске на стороне белых — у Каледина!

«Господи! — написал Фёдоров потом в «Брусчатке» (1997/2007). — Что бы там ни было после, за этот разговор, — может быть, главный в моей жизни — до сих пор коленопреклоненно благодарю моего учителя, память которого священна для меня. Нашу, ставшую общей с ним, тайну его молодости я хранил до самой его кончины, да и потом рассказал о ней только двум близким людям и вот сейчас пишу о ней впервые».

По воспоминаниям Рабиновича (2005: 143), и Фёдоров не блистал идеальным благородством.

«Студенты старших курсов хорошо знали, что тот, кто хочет остаться в аспирантуре, должен понравиться профессору больше других. Притом — любым способом.

Например, наш Артемий очень любил, чтобы раскоп выгдядел аккуратно. И Жора Фёдоров первым стал выписывать лишний день рабочему, который после смены приводил борт его раскопа в порядок. Это была чистейшей воды показуха (правда, тогда не было такого слова). Но, заметив это, ближайший друг Жоры Шура Монгайт предложил мне объединенными усилиями превзойти в этом Федорова на нашем большом раскопе. К чести моей, я тогда отказался. <...> Но, что греха таить, не помог, например, Жоре освоить нивелировку (которую хорошо знал как техник), считая, что если он "пролез" в начальники раскопа, то пусть сам осваивает всё нужное для руководства. Нет, я тоже не был ангелом».

В 1940 г. Федоров окончил Университет. За время учебы он уже успел заработать себе реноме студента, увлеченного наукой, но аполитичного, скептика и хохмача, далекого от образцов идеологически выдержанного комсомольца.

«По окончании Университета я был рекомендован в аспирантуру кафедрой археологии, которой заведовал Арциховский. Определенные права на это у меня были. Я получил диплом с отличием. Моя работа "Нумизматические материалы по истории борьбы Москвы с Тверью" получила вторую премию на общеуниверситетском конкурсе студенческих научных работ, хотя среди претендентов были авторы работ о Ленине, Сталине и т. д. Однако партком истфака мою кандидатуру категорически отверг — так сказать, по идеологическим мотивам. Тогда Арциховский заявил примерно следующее: "Не знаю почему, но вы присвоили себе право вмешиваться в отбор будущих аспирантов. Однако кому быть моим ассистентом, решаю только я сам. Я беру Федорова ассистентом на кафедру археологии

и, если деканат мое решение не утвердит, уйду вместе с ним из Университета".

И меня, единственного со всего курса, зачислили ассистентом истфака МГУ».

Но вскоре он был призван в армию. Его часть находилась в Прибалтике, только что занятой советской администрацией и войсками. Об этом периоде своей жизни Федоров написал рассказ «Записки оккупанта» — само название говорит о его отношении к этой акции советского государства. Нет, он не присоединился в душе к подписи Молотова под тайным сговором с Гитлером о разделе Европы и не поверил в сообщения нашей прессы о ликовании прибалтов, освобожденных от собственных правительств. Он многое видел сам и верил собственным глазам.

В 1941 г. он сразу же попал на фронт, был тяжело контужен и парализован. После госпиталя его демобилизовали, и он вернулся в Университет. С Университетом Федоров был отправлен в эвакуацию в Ашхабад, участвовал в раскопках городища Таш-Рабат в Каракумах. Так началась его археологическая жизнь.

Еще до Победы над Германией Университет вернулся из эвакуации. Вскоре после этого Фёдоров был включен в команду археологов и искусствоведов, направленную на освобожденные территории для выявления ущерба, нанесенного советской культуре немецкими захватчиками. Вместе с ним в команде был А. П. Смирнов, из числа тех первых марксистов в археологии, к которым принадлежал и Арциховский. Как-то ночью Фёдоров задал сакраментальный вопрос:

«— Ну что за несчастная страна такая — наша Россия! Почему каждый свой шаг, в каком бы направлении он ни предпринимался, она должна оплачивать кровью, и почти всегда — кровью невинных людей?

— Да, — невесело согласился Алексей Петрович, — такая наша судьба.

Но я продолжал:

— Это же просто страшно. Вот возьмите юнкеров и студентов, погибших во время революции при обороне "Метрополя" в Москве! Ну зачем понадобилось убивать этих ребят-юнкеров? Разве нельзя было с ними найти общий язык? Не захотели. А ведь они просто за судьбу русской культуры боялись.

После очень долгого молчания Алексей Петрович наконец проговорил каким-то глухим, изменившимся голосом:

— Юнкеров там было совсем мало. В основном — студенты Московского университета.

— Да нет же, — возразил я, — юнкеров было большинство. Я по этому вопросу источники читал.

Опять после долгого молчания раздался из темноты голос Алексея Петровича, на этот раз совершенно спокойный:

— Вы источники читали, а я сам — один из этих студентов, оборонявших "Метрополь".

Я обомлел. Немного придя в себя, спросил:

— А что было потом?

Алексей Петрович ответил ровным голосом. Как будто о комто другом:

— Ранен был. Посчитали за убитого. Потом все-таки дознались, бросили в подвал со стражником. Изволите ли знать, новой власти с самого начала царских тюрем не хватило. Людей стали запирать в подвалы. Но и подвалов не хватило. Тогда стали по подвалам посылать специальные комиссии. Они определяли: кого к стенке, а кого выпустить, чтобы освободить подвалы для новых заключенных. Так вот, председателем той комиссии, которая инспектировала подвал, где обитал я, оказался мой гимназический приятель. Он без лишних слов приказал меня выпустить. ...Снова, как после признания Арциховского, испытал я чувство признательности за доверие и к этому моему учителю, а также восхищение им. Вот ведь что получается: и в Новочеркасске, и в Москве...»

Даже за плечами самых активных внедрителей марксизма в археологию вставало совсем другое прошлое; приверженность марксизму оказывалась навязанной, и сомнения, бередившие душу молодого ученого, внука казачьего генерала и сына интеллигентного коммуниста, обретали всё более четкие контуры, формируя независимое мышление и внутреннее сопротивление режиму.

3. Брак. В канун Нового 1945 г. Федоров познакомился с молодым кинорежиссером Марианной (Майей) Рошаль-Строевой. Марианна была дочерью двух кинорежиссеров: отец ее — классик советского кинематографа Григорий Львович Рошаль, снявший «Петербургские ночи», «Академик Иван Павлов», «Мусоргский», «Хождение по мукам», а мать — Вера Павловна Строева, которая снимала «Полюшко-поле», «Хованщину» и другие фильмы. Войну Марианна провела в эвакуации в Алма-Ате, работая помощницей у Сергея Эйзенштейна на съемках «Ивана Грозного». Жили в соседних комнатах дома, который называли

«лауреатником», в одной комнате — Эйзенштейн, в другой — Рошаль и Строева с дочерью. В комнатах рядом — другие известные работники кинематографа. Вернувшись в Москву, встретила Федорова. Любовь поразила обоих (Шахинджанян 2007).

В мае, сразу после окончания войны, Марианна была зачислена фотографом в экспедицию Федорова в Новгород, где он вел раскопки возле взорванного в войну храма Спаса на Нередице. По Киму (2007), сам Федоров рассказывал, «как он объяснялся с будущей женой. Дело было в 45-м году. Он отвел ее за локоток в сторонку, чтобы сказать очень серьезную речь. "Вам известны мои чувства к вам, — сказал он, — но прежде чем сделать вам предложение, я обязан открыть вам о себе важную тайну: я ненавижу Сталина". Молодая красавица Майя Рошаль простила ему этот грех — хотя и была потрясена, еще бы...»

Поскольку в семье Рошалей соблюдалось равноправие, у Марианны была двойная фамилия — от отца и матери, а так как Федоров хотел, чтобы и его фамилия была у жены, то она сменила фамилию: Рошаль-Строеву на Рошаль-Федорову. Эта же фамилия досталась детям — Вере, искусствоведу (ныне живет в Англии), и сыну Михаилу, известному книжному графику. Впоследствии сын стал художником-нонконформистом (концептуалистом) и умер в пятьдесят лет.

4. Археолог. Сразу же после войны внимание самых активных археологов привлекли вошедшие в состав Советского Союза новые территории, среди них — Молдавия. Со всех точек зрения руководство археологическими учреждениями было озабочено освоением этих земель, в частности, политически выгодным считалось показать их давнюю культурную и этническую связь с Русью, со славянскими культурами. Поэтому специализация по новым землям всячески поощрялась. А для молодых исследователей эти территории были привлекательны тем, что никто из наших маститых археологов на них не претендовал, никто не «застолбил» эти земли как свои «домены». Можно было работать без спроса и постоянной оглядки на «хозяев» территории.

В числе славянских племен Поднестровья были уличи и тиверцы. О тиверцах сообщали летопись и анонимный баварский географ, что это было могучее племя, владевшее полуторастами городами, и что они жили прежде на Буге и Днепре, но потом перешли Буг и «седяху по Днестру, приседяху к Дунаеви». Писал о них и византийский император Константин Багрянородный. Но больше ста лет археологи искали их следы и не находили ничего.

Фёдорову пришло в голову, что понимать слова летописца надо не буквально и искать надо не по Днестру на скалистых кручах, а отступя от берега, на плодородных землях по восточным притокам Днестра. С этой идеей он пришел к своему начальству — заву славяно-русским сектором Б. А. Рыбакову — и попросил средства на археологическую разведку в Молдавии. Тот засомневался: «До вас искали и не нашли. А вы найдете?» И отказал. Фёдоров перевелся от него в другой сектор, этногенеза, — к П. Н. Третьякову. Третьяков решил: «Берите машину. Даю только две ставки рабочего. Но без тиверцев можете обратно не возвращаться». Всю эту историю М. Е. Ткачук (1999: 8) излагает явно по рассказам самого Фёдорова.

Г. Б. Федоров — искатель тиверцев и борец против археологической лысенковщины

В 1950 г. 33-летний Г. Б. Фёдоров прибыл в Молдавию как начальник экспедиции. В первый же месяц разведок было обнаружено около пятидесяти памятников X–XI веков — поселений и городищ со славянской культурой: сердоликовые бусины, шиферные пряслица, керамика с волнисто-линейным орнаментом неукоснительно свидетельствовали о том, что это летописные русичи, а в этой местности — тиверцы. В том же году были начаты раскопки двух крупных городищ — Екимауцкого и Алчедарского. В ряде статей 50-х гг. было полностью доказано, что тиверцы найдены.

Летопись упоминает три города славян на Днестре: Белый город, Хотин и Черн. Белгород и Хотин и сейчас так называются, а города Черна нет на Днестре. Но городище Алчедар расположено на притоке Днестра по имени Черна!

Как обычно бывает, одно открытие влечет за собой другое, то — третье. Как учил математик и методолог науки Пойя, «сделав открытие, оглянись: открытия — как грибы. Они родятся кучками». Федоров открыл тут лукашевскую культуру III–I вв. до н. э., множество

поселений и могильников черняховской культуры, памятники ранних славян VI–IX веков, родственные пражской культуре, культуру Первого Болгарского царства. Всё это раскапывали отдельные отряды огромной Пруто-Днестровской экспедиции Фёдорова.

Федоров всё больше обрастал молодежью, приезжей, а главным образом местной. Он отправился в Кишиневский университет и Пединститут, прошел по школам с лекциями, искал учеников. Еще в 1950 г. в его экспедиционном лагере появляются Ваня Хынку, Георгий Чеботаренко, Павлик Бырня, Изя Рафалович, Лазарь Полевой, Витя Бейлекчи. Проходят годы, и первым из учеников Иван Георгиевич Хынку защищает диссертацию (ныне в Интернете он рекламируется как патриарх молдавской археологии).

Через десять лет после начала работ был издан толстый том, в котором были сведены воедино эти памятники предтиверского времени — «Население Пруто-Днестровского междуречья в I тысячелетии н. э.» (МИА 89). В 70-е гг. Фёдоров готовит уже второй том, посвященный как раз славянскому времени, но этот том не вышел. На публикации, как пишет Ткачук, был наложен негласный запрет.

5. В обороне против демарша Равдоникаса. В 1948 г. науку потрясла развязанная пронырливым и агрессивным «народным академиком» Лысенко кампания против генетики и генетиков, начавшаяся с дискуссии в Сельхозакадемии и завершившаяся разгромом с опорой на ЦК. Было объявлено о двух биологиях — марксистской, мичуринской и антимарксистской, основанной на буржуазном менделизме-вейсманизме-морганизме. Генетиков шельмовали громогласно и увольняли отовсюду. Целую науку ликвидировали.

Опираясь на этот опыт, глава ленинградского филиала Института истории материальной культуры Равдоникас задумал провести аналогичную операцию в археологии, объявить о двух тенденциях в археологии — марксистской и антимарксистской, разгромить своих московских конкурентов и отнять у них властные функции. Он подготовил доклад, в котором всё это было изложено, огласил его в Ленинграде и подготовил группу ленинградских товарищей, которые его поддержали, критикуя каждый своих московских конурентов. Славист Каргер критиковал москвича слависта Воронина, античники Максимова и Гайдукевич — москвича Блаватского, античника, и т. д.

Затем Равдоникас поехал со своим агрессивным докладом в Москву. Москвичи сильно испугались. Память о судьбе генетиков была

у всех слишком свежа. Когда Равдоникас огласил свой доклад, направленный особенно против Арциховского, москвичи стали выступать как-то нерешительно. Блаватский даже рассыпался в похвалах ленинградцу Фармаковскому. Киселев говорил так, чтобы не сказать ничего. Монгайт — тоже неопределенно.

Рассказывает Рабинович (2005: 260). В перерыве к нему подошел Федоров.

— Слушай, что все уши развесили! Давай огрызнемся как следует! Покажем Равдоникасу, что не испугались его! Я записал тебя на послеобеденное заседание.

Рабинович стал отговариваться, что неудобно лезть впереди старших, но Федоров сослался на то, что Рабинович — председатель месткома. «И я устыдился, — пишет Рабинович. — Настал, видимо, час, когда надо сказать, что думаешь». Он сказал, что не нашел во «Введении в археологию» Арциховского тех грехов, о которых говорил докладчик. Зато в собственных трудах докладчика он нашел чистейшей воды норманизм — объявление Ладоги норманнским городом, норманнские мечи на Днепре и т. д. Затем выступил Фёдоров и говорил о многих ошибках Равдоникаса. За ним Воронин раскритиковал Каргера. Естественно, очень резко говорил о Равдоникасе Арциховский. Третьяков, тогда референт ЦК, в заключительном слове сказал, что не может быть и речи о каких-то двух школах в археологии. Демарш провалился.

Где-то в углу лестничной площадки Арциховский тайком пожал руку Рабиновичу, пробормотав: «Бладодарю!» «Тогда мне всё это было, разумеется, очень приятно, но немного отравлял привкус какой-то стыдливой таинственности. Ах, они были много умнее меня и знали, что всё может еще по-разному обернуться и для них, и для меня».

А Фёдоров укрепился в боевом задоре.

5. В антимарровской кампании. В 1950 г., когда прошла дискуссия по вопросам языкознания в «Правде» и Сталин выступил в ней с разгромом Марра, археологи, пестовавшие теорию стадиальности и культ Марра, были в шоке. По образцу недавней дискуссии о генетике ожидали увольнений и репрессий. Особенно дрожали археологи Ленинграда, где было гнездо Марра — хранился, как святыня, его кабинет с должностью хранителя, институт носил его имя, наиболее близкие к нему ученики старались применять его идеи. Ясно, что предстояло разоблачать идеи Марра, признаваться в ошибках и каяться. Но надо же соблюсти достоинство и элементарные приличия.

Поэтому в открытом заседании Ученого совета Ленинградского отделения института виднейшие причастные археологи (Окладников, Пиотровский, Артамонов, Бернштам и др.) искали какие-то формы отступления с сохранением лица: говорили о том, что не всё у Марра было плохо, нужно сохранить разумные идеи, что, с другой стороны, сами они не так уж были привержены Марру, брали у Марра лишь кое-что. Да, конечно, это ужасно, но теперь, после мудрых указаний великого вождя, они прозрели...

Однако москвичей, где издавна сохранялась тайная оппозиция Марру и его приспешникам, где засели слависты, даже имени Марра не упоминавшие (Арциховский, Рыбаков), это не устраивало. Они слишком натерпелись от ленинградских идеологов, отождествлявших марризм с марксизмом. Они жаждали полного, кардинального, окончательного искоренения марризма. Чтобы направить обсуждение в нужное русло, дирекция направила в Ленинград специальную команду. Киселев, соратник Арциховского по разработкам марксизма в 20-е гг., был теперь замдиректора Института и главным идеологом Института при вялом и безликом директоре-историке Удальцове. Но Киселеву самому было в чем каяться, как и Удальцову.

В команду вошли заведующий славянским сектором Рыбаков, а с ним два близких ученика Арциховского: славист Монгайт и только что получивший самостоятельную экспедицию на Днестр Фёдоров. Распределение ролей было ясно. Рыбаков, заведующий славяно-русским сектором, был растущей силой, представителем самой главной тогда отрасли археологии — славяно-русской, к тому же он был совершенно не запачканн применением марровских идей. Монгайт и Федоров, тоже слависты, к тому же Монгайт занимался теоретическими вопросами археологии, а Фёдоров был фронтовиком. Оба они были любимыми учениками Арциховского, ярого ненавистника Марра, и к тому же обладали литературным талантом и могли подготовить нужные отчеты о заседании (что они и сделали). Почему не поехал в Ленинград сам Арциховский, неясно.

На первый взгляд, является психологической загадкой, как это Федоров, ненавидевший Сталина и всю атмосферу сталинской державы, активно участвовал в этой проработочной сталинистской команде рядом с Рыбаковым. Но это не такая уж большая загадка. Во-первых, с Рыбаковым они тогда дружили, знались домами. Во-вторых, Фёдоров прекрасно понимал, что возвел Марра в культовую фигуру и приблизил к партийно-государственным верхам именно Сталин. И все это понимали. Так что, говоря о Марре всё, что теперь можно

было сказать, ученые высказывали то, что они думали о белиберде, которую так долго все эти недоучки-идеологи почитали как высшую истину. Тем самым дискредитировались способности и авторитет всей этой верхушки во главе с мудрым Вождем и Учителем. Трудно было отказать себе в этом изощренном удовольствии.

Наконец, в Ленинграде были сосредоточены те силы, которые для Фёдорова воплощали в себе сталинистский вариант советской археологии и представляли живую угрозу для сообщества исследователей, настроенных на объективное изучение материала. Всего за полтора-два года перед тем Равдоникас, сильно замешанный в пропаганде идей Марра, попытался возобновить свою разоблачительную роль 30-х гг. и установить господство своей концепции как единственно верной, единственно марксистской. Он объявил московских археологов и их работы антимарксистскими. Арциховский вообще считал Равдоникаса ставленником чекистских сил. Бернштам также сопрягался для Фёдорова (как и для Формозова) с разоблачительной кампанией 30-х гг. (против «руденковщины»).

Арциховский также обрушился, в соответствии с партийной линией, на космополитизм Равдоникаса (упоминает, мол, бездну иностранных ученых и мало русских), но в этом Фёдоров за ним не последовал.

6. Потомок казаков и еврейский вопрос. Как известно, интернационализм Советского Союза и коммунистической партии показал себя как показной и фальшивый. Сначала русская национальная гордость унижалась и заниматься историей русской культуры было опасно — можно было получить обвинение в русском великодержавном шовинизме. Ответственные посты поручались евреям, грузинам и латышам — им советская власть больше доверяла. Первыми вышли из доверия латыши: образовалась независимая Латвия. Потом евреев, чтобы не сыграть на руку немецко-нацистской пропаганде, стали убирать с этих постов, а когда созданное при поддержке Сталина государство Израиль не стало марионеткой Советского Союза, на что он надеялся, Сталин рассердился на всех евреев и ввел в России политику государственного антисемитизма. При этом сам он провозглашал, что у нас антисемитизма нет и быть не может. Затем пошли депортации целых народов — чеченцев, ингушей, калмыков и т. д. Гонения на грузин вспыхнули уже в III тысячелетии...

Увы, многие люди интеллигентных профессий, даже ученые, поддались этому поветрию. А вот внук казачьего генерала Георгий

Борисович Фёдоров был чужд этих настроений. Он женился на полуеврейке, дочери еврея-кинорежиссера, дружил с евреями Шурой Монгайтом и Мишей Рабиновичем и не хотел понимать нужд партийной и советской политики. Он не хотел понимать, почему его друзья, ни в чем не повинные, отличные работники, должны отвечать за вины каких-то плохих евреев — сионистов (если сионизм — это грех), банкиров (если богатство — это грех) и так далее. И соответственно поступал.

Фёдоров со смаком описывает свой вызов в дирекцию, где его ожидала беседа с директором института А. Д. Удальцовым, замом Е. И. Крупновым (другом Рыбакова), секретарем партбюро П. Д. Либеровым в присутствии ученого секретаря Т. С. Пассек. Всех, кроме Пассек, Фёдоров решительно не уважал. Говорили они намеками и экивоками, а он ловил их на противоречиях и неясностях (далее цитирую Фёдорова с сильными сокращениями).

> «— Видите ли, Георгий Борисович, — осторожно и как бы даже застенчиво промямлил наш директор, член-корреспондент Академии Наук СССР Александр Дмитриевич Удальцов, нерешительно пощипывая седую бородку-эспаньолку и глядя на меня небесно-голубыми глазами, — мы с вами не на семинаре по диалектическому материализму. Мы собрались по совсем другому делу. Давайте его и решать.
>
> — Это вы собрались, — уточнил я, — я никуда не собирался. Просто вы меня вызвали... Что же касается дела, то вот уже час, как я не могу понять, в чем его суть.
>
> Удальцов уставился на меня, и я в который уже раз удивился тому, как такие ясные глаза могут быть у этого доносчика, хитрого и глубоко бездарного человека. <...>
>
> — Как это вы не можете понять, в чем дело? — пытаясь взять рассудительно-миролюбивый тон, сказал секретарь нашего партбюро Петр Дмитриевич Либеров, невысокий и далеко не молодой человек с каким-то стертым лицом. — Дирекция института и партбюро просят Вас уговорить Рабиновича — Вашего друга еще с университетских времен, а ныне начальника Московской экспедиции нашего Института, добровольно подать заявление об уходе с работы по собственному желанию. Что же здесь такого непонятного? — с тупым удивлением спросил он. — Что мы уже больше часа с вами бьемся и никак втолковать не можем?
>
> — Всё непонятно, — напуская на себя еще большую тупость, чем Либеров, что, впрочем, давалось мне без всякого труда,

когда я (всегда не по своей воле) попадал в этот кабинет, — вот именно, что всё непонятно. Почему я должен просить Михаила Григорьевича это сделать? Он что — плохо работает? Наоборот. Уж как вы его хотели скомпрометировать. Специально для проверки работы его экспедиции создали комиссию в основном из людей к нему недоброжелательных. Для видимости объективности включили туда и меня. Председателем назначили "истинно русского патриота", как любит выражаться Крупнов, профессора Алексея Петровича Смирнова. И что же? Комиссия, перед которой была тайно поставлена задача скомпрометировать Рабиновича, прежде всего благодаря глубокой порядочности Алексея Петровича, дала блестящий отзыв о его работе. Почему же институт должен лишиться такого сотрудника? <...>

Секретарь партбюро безнадежно махнул рукой и пробормотал:

— Вы всегда недооценивали значение политического фактора и сути стратегии нашей партии.

— Ну, почему же, — успокаивающе усмехнулся я, — очень даже оценивал, именно поэтому...

— Да перестаньте, наконец, — не скрывая раздражения, крикнул Крупнов. — Вы нас за нос водите, ведь ясно же, в чем дело. <...>

— Михаил Григорьевич сумел преодолеть все препятствия, у него блестящие результаты в Зарядье. Да институт за него обеими руками должен держаться, а не выгонять! <...> Да почему это я должен уговаривать Рабиновича подавать заявление об уходе?

— Да потому, что он еврей, — не выдержал наконец Крупнов, — теперь понимаете?

— Вот теперь понятно, — почти весело сказал я.

— Так вы поговорите с Рабиновичем? — спросил Удальцов и, облегченно вздохнув, снова принялся пощипывать бородку.

— Нет, не поговорю.

— Это почему же? — мгновенно еще более побагровев, спросил Крупнов.

— Да потому, что я — не член Союза Михаила Архангела и записываться в него не собираюсь! — И, понимая, что вот-вот сорвусь, вышел из кабинета директора, сильно хлопнув дверью».

Федоров в своих воспоминаниях не отметил одну подробность: его вызвали не просто как друга Рабиновича — он был одно время и членом партбюро Института (Некрич 1979: 45). Фронтовик и член

партбюро. А зря не упомянул: что член партбюро решился на такую демонстрацию, делает ему только больше чести.

Рабиновича всё-таки уволили в 1951 г. и назначили руководить раскопками Москвы <...> Фёдорова, сняв его с руководства Пруто-Днестровской экспедицией. Так дирекция убивала двух зайцев: ликвидировала самостоятельную фёдоровскую экспедицию и представляла дело так, что он «подсидел» своего друга. Фёдоров обжаловал это решение у секретаря отделения Академии наук и члена ЦК Панкратовой, с которой он был знаком со школьных лет. К ярости дирекции Панкратова приказала отменить решение. Тогда начальником в Москве вместо Рабиновича назначили провинциала Дубинина, которого Фёдоров характеризует как «бездарного ученого, подхалима и наушника». А Рабиновича Фёдоров забрал в свою экспедицию, в Молдавию, а потом его взял к себе в Институт этнографии Толстов.

В 1952 г. Фёдоров и Рыбаков, тогда еще не академик и не директор, а заведующий славяно-русским сектором, еще дружески захаживали домой друг к другу. Фёдоров описывает свой последний визит к Рыбакову, уже нацеленному на партийную выдержанность. Я уже вкратце излагал этот эпизод в биографии Рыбакова. Сейчас приведу более подробное описание Федорова, потому что он характеризует и самого Георгия Борисовича. За ужином Рыбаков сказал:

«— Георгий Борисович! У вас в экспедиции слишком много евреев и полуевреев. Вам надо от них избавиться.

Я опешил. Если бы этот разговор происходил в Институте, я бы нашел что ему ответить. Но я сидел у него дома, ужинал за его столом...

— Я ведь подбираю людей в экспедицию по тому, какие они люди и работники, а не по национальностям, — промямлил я.

— Придется вам учитывать и этот фактор, — непреклонно сказал Рыбаков. Но к этому моменту я уже пришел в себя.

— Как мне воспринимать ваши слова, как приказ или как дружеский совет? — осведомился я.

— А как вам легче?

— Конечно, как приказ.

— Ну вот и воспринимайте как приказ.

— Тогда, будьте любезны, — в письменной форме, по всем правилам: дата, номер, параграф, подпись.

— Не буду я ничего писать, — позеленев, зарычал Рыбаков.

— А я устных приказов не выполняю.

— Смотрите, пожалеете.

— Посмотрим.

Кажется, это был мой последний визит в его дом. Однако санкции против меня толком "развернуть" не успели. Через несколько месяцев, 5 марта 1953 года, произошла, как выразился придворный писатель Константин Симонов, "великая утрата" — Сталин "дал дуба", а вслед за тем, 4 апреля, появилось Сообщение МВД, реабилитировавшее врачей-евреев, этих якобы "убийц в белых халатах". В "Сообщении" осуждалась национальная рознь и люди, ее возбуждающие; так что явным антисемитам пришлось временно прикусить языки...»

7. Правозащитник. ГэБэ заступался не только за евреев. Любая национальность, которая оказывалась в опале, находила в нем защитника. Предоставлю слово для рассказа Ткачуку (1999: 10):

«Когда Павлик (Павел Петрович) Бырня должен был поступать в целевую московскую аспирантуру Института Археологии, вдруг выяснилось, что это ему никак не удастся. Дело в том, что в паспорте Павла Петровича значилась не самая популярная в Молдавии национальность — "румын". Начальник второго отдела Университета орал на отличника-выпускника: "Ах, ты — румын, собрался поступать в нашу советскую аспирантуру! Вы, румыны, двадцать лет издевались над молдавским народом, били его плетками-ногайками, а теперь мы должны всё забыть?"

Георгий Борисович кинулся "решать вопрос". Выяснилось, что Павлу Петровичу нужно просто потерять паспорт, а в новом указать правильную национальность. И дорога на Москву открыта. Быстро изложив суть дела, Фёдоров не увидел ликования на смуглом лице любимого ученика. "Я подумаю", — ответил он. А на следующий день наотрез отказался менять национальность. "Мои родители никого плетками не били. Почему я должен их предавать?" И тогда Фёдоров протянул руку Бырне и попросил прощения. "С тех пор я понял, что нам с Бырней по пути, что он настоящий, редкий человек", — вспоминал Георгий Борисович. Бырня в аспирантуру всё же поступил, защитил диссертацию, потом возглавил Отдел археологии. Сейчас Павел Петрович уже давно доктор исторических наук, автор шести монографий, декан факультета культурной антропологии Высшей Антропологической Школы».

Фёдоров привечал в своей экспедиции не только евреев, уволенных из научных учреждений и не могущих найти работу, но и другие категории опальных. У него в экспедиции работали землекопами, лаборантами, чертежниками, фотографами люди, вернувшиеся из

лагерей и исключенные из партии, уволенные с работы. Напоминаю, что в то время не работавшие, если они трудоспособны, оказывались вне закона: им предъявляли обвинение в тунеядстве (была специальная статья в кодексе) и отправляли в лагеря. Так что лишение работы и возможности быть принятым на работу означало дорогу прямиком в лагерь. Именно за тунеядство судили (и осудили) поэта Иосифа Бродского в Ленинграде.

В экспедиции Фёдорова был устроен тот самый археолог Михаил Рабинович, о котором шла речь в дирекции, перебился там пару лет, пока его не взяли в другой институт. У Фёдорова находили укрытие поэт Наум Коржавин (для друзей Эмка Мандель), сценаристы Валерий Фрид и Юлий Дунский — все они вернулись из лагерей. Время между увольнением отовсюду и эмиграцией провел в экспедиции Александр Некрич, попавший в опалу за книгу «1941, 22-е июня» — первую книгу о вине Сталина за наши поражения. В экспедиции же спасались от гонений известные диссиденты: Илья Габай, Вадим Делоне с Верой Белгородской, Виктор Хаустов с Верой Дашковой, Сергей Генкин, правозащитник и поэт Герцен Копылов, доктор физико-математических наук.

ГБ — археолог, писатель и правозащитник

Фёдорова не раз вызывали на допросы, в квартире его проводили обыски. Всё это, конечно, отражалось на его здоровье. Целая серия инфарктов сопровождала историю его взаимоотношений с властью. Можно сказать, что история его болезни — это история болезни страны.

Писатель Марк Харитонов нашел хорошую формулу, характеризующую ГэБэ:

«...Главным талантом Г. Б. Федорова, писателя, историка, видного археолога, был, конечно, талант человеческий. Он раскрывался порой по-особому в обстоятельствах той жизни, о которых повествуют его рассказы. Эти обстоятельства бывали не просто

тягостны — противоестественны, унизительны, бесчеловечны. Доброта, сострадание, простая порядочность иногда оказывались наказуемы; чтобы их проявить, требовались душевные силы» (Харитонов 2007).

8. Писатель. За вечерним костром в экспедиции ГэБэ царствовал над умами молодежи и взрослых. Прекрасный рассказчик, он завораживал слушателей. Русскую литературу и поэзию знал, как никто. Часами он мог читать стихи наизусть. Но он не только умел повествовать и рассуждать свободно. Он свободно, естественно и живо писал. Литературный дар у Фёдорова проявился рано. Первый рассказ его («В лесном селе») был напечатан в «Новом мире» Твардовского, и Фёдоров был принят в ПЕН-клуб. Далее рассказы и повести пошли без удержу, и все они были автобиографичны и документальны. «Я не умею выдумывать», — говорил он.

Естественно, что во многих его произведениях так или иначе присутствует археология. Его книга «Дневная поверхность» — одна из лучших книг о полевой археологии вообще. Но, как можно было видеть по приведенным здесь отрывкам, это всё книги не только научно-популярные, но и пронизанные гражданственностью и благородством.

Особенно этим отличается его книга «Брусчатка», сформированная вокруг одноименного рассказа и напечатанная посмертно в Англии в 1997 г., а через десять лет помещенная в Интернете на портале Шахинджаняна. В книге собраны автобиографические рассказы Фёдорова. По сути, это его мемуары. Там много об Институте археологии, об археологах — совершенно откровенно и честно.

Основных идей у этой книги две. Во-первых, это правдивость, честность, столь необходимая для самой профессии историка и археолога. Во-вторых, это подлинный (не коммунистический) интернационализм, столь важный для самого существования нашего многонационального государства.

> «Как известно, — писал Фёдоров (1997), — Карамзин, еще в XIX веке, желая одним словом определить главное из того, что в его время происходило в России, сказал "воровство". Если бы этому великому историку предложили также определить одним словом то главное, чем отличается Россия начиная с 1917 года и до наших дней, то он, скорее всего, избрал бы слово "ложь". Ложь с маленькой и с большой буквы, ложь всех видов и форм, на всех уровнях государственных и приватных структур».

Квинтэссенцию его творений можно видеть в следующем пассаже из «Брусчатки»:

> «Коммунистическая система калечила, ломала и губила людей не только в тюрьмах и лагерях, но и "на воле". Лживая и безнравственная в самой своей основе ("морально и нравственно то, что полезно для революции", "диктатура не ограничена никакими законами"), — она утверждала правомерность массового и индивидуального террора, полную не только политическую и социальную, но и экономическую зависимость любого советского гражданина от "государства" — узурпировавшей власть банды преступников, именовавшей себя партийной коммунистической номенклатурой или "слугами народа". Декларируемая "демократия", "власть трудящихся", якобы осуществлявшаяся через Советы разных уровней, фактически была господством этой мафиозной банды преступников. Это господство осуществлялось экономическим и внеэкономическим принуждением и террором — прежде всего через всесильное и совершенно не подконтрольное обществу "государство в государстве" — мощнейший аппарат тайной полиции, способной арестовывать, держать в заточении, пытать и казнить любое количество людей без суда и нормального следствия. Профсоюзы и другие организации, якобы призванные защищать интересы людей, на деле стали орудиями коммунистического террора. Наушничество и доносительство были возведены в ранг высшей доблести. Коммунистическая система уже самим фактом своего существования унижала человеческое достоинство, разрушала человеческую личность, отвергала те моральные и нравственные ценности, которые заключены в религии, выработаны человечеством путем проб и ошибок на протяжении его истории. Кроме того, была специально разработана и осуществлялась через партийные, советские, профсоюзные, комсомольские и другие организации система подавления и разложения человеческой личности, долженствующая превратить людей в стадо покорных, не рассуждающих, готовых на любую подлость циников и подонков. Для этого всячески раздувались в людях страх, тщеславие, корыстолюбие, зависть, национальное чванство, антисемитизм и другие низменные чувства...»

Чуть дальше он спрашивает:

> «Что заставило народ Германии поверить своему фюреру, когда он провозгласил германцев высшей расой, которой раболепно должны служить все другие народы? Что заставило другой великий народ поверить Сталину, когда он объявил,

что любой советский человек на голову выше всех обитателей капиталистических стран? Какая гордыня обуяла эти два народа, которые столетиями проходили страшные испытания железом и кровью, непотребные искушения <...>? Во всяком случае, к чему приводит крайний национализм, представление о каких-то исключительных правах и привилегиях, оба эти народа испытали на своей шкуре, заплатив жизнями своих лучших сынов».

9. Уход. Деятельность Фёдорова в Молдавии продолжалась 25 лет. Четверть века существовала его великолепная экспедиция. Но второй том ее трудов, подготовленный к началу 70-х гг., не вышел. Вышла в 1973 г. только его совместная с А. А. Полевым учебно-справочная книга «Археология Румынии».

Конец 60-х — начало 70-х гг. были временем резкого усиления борьбы советского режима против диссидентского движения. Советские правители были очень напуганы «пражской весной» 1968 г. и выходом восьми несогласных на Красную площадь. Сначала думали, что движение удалось подавить. Но оно росло. И 1971–1972 гг. стали годами массовых арестов и процессов в СССР. В 1973 г. распространяется солженицынский «Архипелаг ГУЛАГ», и в том же году председатель КГБ Ю. В. Андропов вводится в состав Политбюро. Усиливается и борьба с нонконформистским искусством. В 1974 г. состоится «бульдозерная выставка». Некоторое обострение переживает и антисемитская пропаганда в связи с «войной Судного дня» 1973 г. на Ближнем Востоке, где Советский Союз откровенно помогает Сирии и Египту оружием и дипломатической поддержкой, но арабские государства вынуждены отступить.

Рыбаков в это время уже давно академик и директор, он испытывает в начале 70-х несколько неприятностей, и ему приходится оставить пост секретаря отделения Академии наук. Он более не хочет терпеть либеральное гнездо под крышей своего Института. Пруто-Днестровская экспедиция ликвидирована, а Фёдоров лишен права вести раскопки.

В Молдавии он тоже становится персоной non grata. Дело в том, что его экспедиция раскрывала объективную картину этногенеза, в которой народы приходят в Молдавию из разных мест, тогда как молдавские археологи патриотического толка восстанавливают марровскую картину полной автохтонности молдаван, и все народы, проживавшие на этой земле, объявляются предками молдавского

народа. Среди этих патриотов оказался и первый ученик Фёдорова Иван Хынку, объявивший себя учеником Городцова (хотя тот умер до его поступления в старшие классы). Хынку стал главным археологом Молдавии и принял меры, чтобы ни Фёдорову, ни остальным его ученикам не было места в молдавской археологии.

Научных публикаций у Федорова более 200. Последние двадцать лет своей жизни он занимался литературным трудом и преподаванием. Часто болел. В 1990 г. он лежал с очередным отеком легких в академической больнице. Потом в сопровождении жены уехал в Англию читать лекции. Там он также сумел издать некоторых русских мыслителей, которых невозможно было издать на родине. В Лондоне его настиг очередной инфаркт — девятый или десятый, от которого он скончался 7 февраля 1993 г. Похоронен он на лондонском кладбище Ганнерсбери, и на надгробном камне начертано: «Он всегда спешил делать добро».

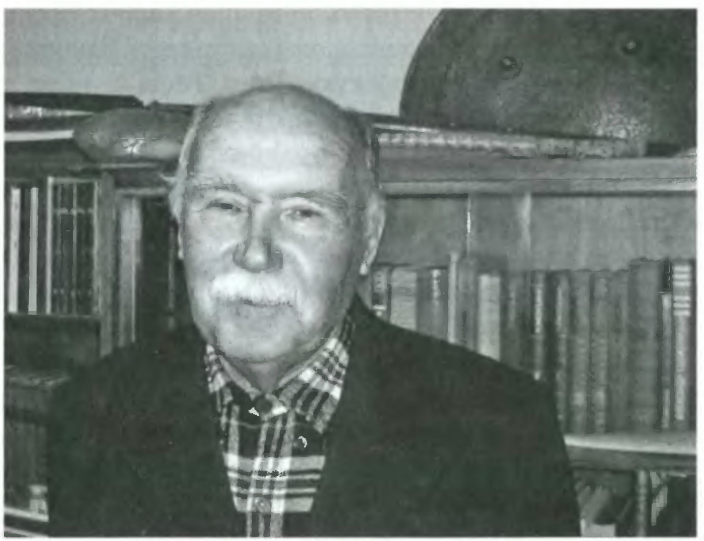
La bète noire постсоветской археологии

А. А. Формозов

И ныне есть еще пророки,
Хотя упали алтари.

Н. Гумилев. Пророки. 1915

1. Черный зверь? В каждой стране археология знает одиозную фигуру, на которой сосредоточена ненависть коллег. В Германии таким был Косинна, в Англии — Питер Аккоу, в США — Уолтер Тэйлор, в какой-то мере Джеймс Форд. У нас это Александр Александрович Формозов (1928–2009), московский археолог, проработавший в Институте археологии без малого 60 лет и ставший основателем историографии археологии как особой отрасли.



А. А. Формозов, la bète noire постсоветской археологии

Он почти мой ровесник (на год младше). Французское la bète noire в буквальном переводе означает «черный зверь» (это эвфемизм слова «дьявол»). Внешне этот эпитет совершенно не подходит к Формозову. Формозов — в годах полноватый, лысый, с сияющей застенчивой улыбкой на круглом лунообразном лице, Совсем не черный, а скорее светлый. Родился в семье известного професора зоологии МГУ, а мать его — тоже доктор наук, но по геохимии. Отчим — академик, вице-презиент Академии наук. Предки — священнослужители невысокого ранга. Учился в Московском университете. Е. Е. Кузьмина (2008: 19) вспоминает:

> «Он учился на два курса старше нас в "группе гениев". В нее входили уже тогда выделявшиеся Александр Александрович и будущие академики Валентин Лаврентьевич Янин, Валентин Васильевич Седов, а также ставший детским писателем Валентин Дмитриевич Берестов и исследователь Хорезма Юрий Александрович Рапопорт. Саша рассказывал, что в день окончания Университета трое: Янин, Седов и он — гуляли до рассвета по Москве и мечтали о своих будущих открытиях».

Один среди трех многообещающих Валентинов и еврея Юрия, Александр Формозов и в самом деле прошел гладкой дорогой. Учился он у Арциховского, потом в аспирантуре, защитил кандидатскую и проработал в московском Институте археологии АН СССР — РАН полвека, до выхода на пенсию. Внешне очень спокойная карьера.

Но, опубликовав множество книг, причем первоклассных и читаемых, за полвека не стал доктором (кандидатскую диссертацию представил и защитил, докторскую — нет). То ли не дали, то ли не захотел — у Столяра (2010: 23) сказано: отказался «по сугубо моральным мотивам». Происходя из рафинированно интеллигентной среды, не знал ни одного языка и с иностранными коллегами не общался. Имея уйму смелых идей, не оставил учеников. Щеголял своей демократичностью, но ему был присущ некоторый снобизм: смотрел на коллег из простонародья, на инородцев и провинциалов с высоты своей принадлежности к сливкам русской интеллигенции. Говорил о них печатно: «малокультурный», «темный», «серая масса». Впрочем, это поддерживало в нем накал принципиальности: надо же быть достойным своей миссии. Будучи в самом центре археологической науки и представляя элиту ученого мира, рассорился почти со всеми маститыми коллегами, многих обидел — и подвергся остракизму. А вот современная молодежь на него молится, да и в среднем поколении многие скорее с ним, чем против него.

Я не был его близким другом, но в приятельских отношениях мы были с 1951 г., то есть 60 лет, встречались на конференциях и в поле, переписывались, так что я могу судить об этой незаурядной фигуре не только по литературе, но и по своим личным наблюдениям. Близким другом его был ленинградец А. Д. Столяр, написавший о нем в своей обычной манере чрезвычайно словообильные и высокопарные воспоминания (Столяр 2004), однако из них можно извлечь немало конкретных сведений, как и из юбилейных статей, автобиографических заметок, мемуаров и некрологов.

2. Воспитание личности: вундеркинд. Происхождение фамилии прослеживается с начала XIX века. Фамилия объясняется с латинского formosus 'красивый' и принадлежит к числу так называемых семинарских фамилий — их давали в духовных семинариях воспитанникам, обычно из крестьян, дабы выделить из крестьянского сословия. То есть фамилия звучит как Красивый, Красавцев, Красавчиков.

Прадед Александра Александровича, Елпидорф, и был выпускником нижегородской семинарии и затем арзамасским священником. Сам Формозов характеризовал его, по словам Столяра, как «тяжелого и мрачного человека, пьяницу и семейного тирана». Дед археолога Николай хорошо окончил ту же семинарию, знал латынь и греческий, но отказался от принятия священнического сана, став чиновником. Дослужился до чина надворного советника (в армии это был бы подполковник), но в революцию 1905 г. отказался быть приставом в полиции и был уволен. Он увлекался толстовством, и кумиром его был В. Г. Короленко.

Отец археолога Александр Николаевич возлюбил природу, стал зоологом, профессором Московского университета и основателем русской экологии. Он был чужд новых увлечений математическими методами и техническими средствами, предпочитал непосредственное восприятие и передачу впечатлений словом, популяризирвал научные знания. Сын многое перенял у отца, кроме любви к природе: с собой в экспедиции отец его не брал. Вместо того развилось пристрастие к родному краю и его истории. Передалась и принципиальность отца — тот не признал истин «народного академика» Т. Д. Лысенко и остался на позициях генетики, чудом избежав расправы.

Мать археолога была родом из Костромы, крестным отцом ее был артист Малого театра Н. М. Падарин, который когда-то укрывал в своей квартире Ленина от полиции. Но семья Формозовых не была советской по духу. Родители одобряли воздержание Саши от

вступления в пионеры и комсомол. В своем кругу в Ленинграде я знал только одного юношу из интеллигенции, упрямо не вступавшего в комсомол, — это мой ученик Александр Козинцев, сын известного кинорежиссера. Видимо, и в случае с Формозовым авторитетность отца спасала юношу от нажима и отторжения среды.

Учитывая интересы сына, отец определил его в школьный кружок истфака, а с археологами отец был знаком с 1920-х гг. — знал М. В. Воеводского, О. Н. Бадера, С. П. Толстова, а для Б. С. Жукова определял фауну из раскопок (правда, к юношеству сына Жуков был уже арестован, а Бадер сослан). В 1940–1941 гг. отец впервые взял сына с собой в близкую экспедицию, где он проводил студенческую практику, — в Подмосковье, в Звенигород. В том же году вместе с матерью Саша ездил в Казахстан и на Южный Урал.

Сразу же после начала войны, в июле 1941 г., мать вместе с 12-летним сыном уехала в эвакуацию в Актюбинск, где работала ее геологическая экспедиция. Там, в Казахстане, на Урале и в Приаралье, Саша собирает подъемный археологический материал. В конце 1943 г. оба возвращаются в Москву и Саша относит свои находки в ГИМ, познакомившись с М. Е. Фосс и О. А. Граковой. Принимаются в печать и его первые заметки об этих находках (это оказалась кельтеминарская культура) — не без помощи нового мужа его матери, карьерного ученого, быстро растущего. Таким образом, первая печатная работа по археологии у Саши вышла в 1945 г., когда ему было 14 лет, и дальше они пошли сплошной полосой. Чем не вундеркинд? (Сам он впоследствии оценивал эти работы как дилетантские.)

В 1946 г. поступил на истфак МГУ, к С. В. Бахрушину, на кафедру истории СССР периода феодализма, но там сразу же его напугала атмосфера проработок и идеологически-политических кампаний, и он перевелся на кафедру археологии, которой ведал А. В. Арциховский. В мемуарах Формозов (2011: 44) вопрошает себя: «Не было ли это ошибкой? У меня нет необходимой археологу любви к вещам —ни к древним, ни к современным. Напротив, в книгах, в письменных источниках я всегда рылся с удовольствием». Ошибкой это было вряд ли — Спицын тоже признавался в предпочтении истории перед археологией. Но, видимо, это определило ранний уход из раскопочной деятельности, увлечение историей науки.

Встретили его восторженно, и Столяр перечисляет причины: он уже имеет за плечами археологический опыт, он единственный из всей группы собирается специализироваться по первобытной

археологии (остальные по славяно-русской и по восточным цивилизациям) и (как читатель понимает, главное): отец — профессор Университета, к тому же близко знакомый с ведущими археологами кафедры, отчим — влиятельная фигура в Академии наук. В эвакуации в Ашхабаде семья была в тесной небольшой общине с А. В. Арциховским, М. В. Воеводским, Б. Н. и О. А. Граковыми, вместе переносили тяготы жизни в эвакуации.

Как сообщает Столяр (2004: 445), по мнению Формозова в старости, тогдашнее захваливание было не очень педагогически разумным и повредило его становлению. Ну, это старческая ирония. А при первой встрече со Столяром (в 1949 г.) он выразил свою убежденность, что по существу у него не было учителей. Он сделал себя сам. Столяра, обожествляющего своих учителей и неустанно подчеркивающего свою верность им, это шокировало. Но Формозов (2005: 162) и в старости так считал. Вдумавшись, можно понять, что он был по сути прав. Он имел так много учителей, что мог их сравнивать, рано оценил их достоинства и недостатки и имел возможность выбирать если не кумиров, то идеалы. Он и выбрал — отнюдь не реальных московских учителей, а ленинградца С. Н. Замятнина, с которым общаться ему довелось мало.

В 1969 г. родители официально развелись, и, по мнению Столяра (2010: 27), это дурно повлияло на характер студента: оставшись с матерью, он лишился отцовского руководства. Подобные события, конечно, неприятны, но в 21 год вряд ли способны изменить характер. Впрочем, фактически отчим (геолог А. Л. Яншин) появился в семье раньше — с 1940 г.

В студенческие годы Формозов с увлечением слушает курсы (например, Рыбакова), много ездит на полевую практику в экспедиции — с Воеводским, Пассек и Граковыми, с ленинградцем Иессеном, с киевским археологом

А. А. Формозов в поле в свои молодые годы

Тереножкиным (у Тереножкина мы впервые с ним и встретились в 1951 г.). К окончанию университетского курса он был автором 12 публикаций и участвовал в редактировании статей для «Кратких сообщений» Института. Защитил дипломную работу «Палеолит Прикубанья, Нижнего Подонья и Приазовья». Состоялась та самая совместная прогулка с будущими академиками по ночной Москве.

Тут возникли некоторые затруднения. Получив направление Госкомиссии в аспирантуру, Формозов не смог добиться нужной аттестации от факультетской «общественности». «Треугольник» (партком, местком и дирекция) выдал ему (как и Седову) отрицательную характеристику. Под ней стояла и подпись Рыбакова. Путь в аспирантуру Университета был закрыт. Но тогда Рыбаков не был еще директором ИИМКа (Института археологии), директором был никакого отношения к археологии не имевший А. Д. Удальцов. Его вялое сопротивление удалось быстро сломить благодаря заступничеству Арциховского и Киселева, а тот был замом директора. Характеристику переменили. Резоном было не только знакомство (элементарный блат), но и необходимость в палеолитчике на смену умершему только что Воеводскому.

Научным руководителем аспиранта Формозова должен был стать А. Я. Брюсов, лидер московской первобытной археологии. Формозов со студенческих лет относился к научным достоинствам Брюсова скептически и решительно воспротивился. Ему претило выделение в каждом закоулке новой культуры, вмешательство в споры о культурах Украины без их изучения, фантастические идеи Брюсова. Он добился, чтобы руководителем стал Г. Ф. Дебец, даже не являвшийся сотрудником Института. Вдобавок аспирант стал употреблять бранную кличку «брюсовщина» и популяризировать воспоминания поэта Валерия Брюсова, в которых тот нелестно отзывался о своем младшем брате. Этот

Аспирант Института археологии Академии наук А. А. Формозов

последний стал злейшим врагом аспиранта, врагом влиятельным и заядлым.

Формозов надеялся на помощь со стороны лидирующего коллектива палеолитчиков Ленинграда во главе с П. П. Ефименко, но те не спешили помогать возрождению в Москве конкурентного палеолитического сектора, зато отношения с Киселевым эти попытки подпортили: тот был энтузиастом подавления ленинградских притязаний на лидерство и говорил Пассек, что в лице Саши растет «пятая колонна» ленинградцев. Из ленинградцев же на помощь Формозову пришел только Замятнин, стоявший в коллективе палеолитчиков особняком.

Между тем у Формозова подошел срок защиты кандидатской диссертации «Локальные варианты культуры эпохи мезолита в Европейской части СССР». Наметилось расхождение с установкой московской школы археологов-каменщиков (Фосс и Брюсов) на выделение узколокальных культур. Формозов склонялся к установкам ленинградцев Замятнина, Ефименко и др., для которых существовали обширные области в каменном веке, охваченные сходствами основных параметров. Он внес и нечто новое — идею об огромной устойчивости таких зон. Скажем, особая концентрация искусства во Франции сохраняется от первобытности до современности. При обсуждении стало ясно, что с диссертантом не согласны в том или ином вопросе семеро авторитетных коллег: Ефименко, Борисковский и Замятнин — кое в чем, Фосс и Бадер — во многом, Бибиков и Брюсов — в целом. Всё же защита прошла успешно в 1954 г. Новоиспеченному кандидату наук было 25 лет.

3. «Крымская война». В 1952 г. Формозов был направлен в Крым как начальник Бахчисарайского отряда Костенковской экспедиции П. И. Борисковского. То есть начальник был из Ленинграда, а центр экспедиции под Воронежем! Из раннесоветских исследователей каменного века в Крыму все: Г. А. Бонч-Осмоловский, Н. Л. Эрнст, Т. В. Гелах, О. Н. Бадер, Д. А. Крайнов и др. — подверглись репрессиям и отправились в лагеря или ссылку. Единственным, кто уцелел, был С. Н. Бибиков, кстати, уроженец Крыма, работавший в Ленинграде. Бибиков участвовал в раскопках Бонч-Осмоловского, а после его ареста копал несколько сезонов без него (последний раз в 1938 г.) и пришел к выводу, что всё в Крыму изучено и копать больше незачем. Этим мнением он и поделился с Формозовым. Против выбора Формозова не возражал. Сам он, оставив Крым, больше всего занимался Трипольем на Днестре.

В 1953 г. Формозову повезло — он обнаружил в пещере под Старосельем погребение мальчика-неандертальца (Формозов 2004а: 90–98). Перед тем в Крыму погребение неандертальца было обнаружено в 1924 г. Бонч-Осмоловским, но сильно разрушенное. А тут почти целый скелет! Формозов оценил важность находки и свою ответственность. Поэтому могилу присыпал и, несмотря на присутствие в экспедиции двух антропологов — супругов В. П. и Т. И. Алексеевых, вызвал из Москвы комиссию из виднейших авторитетов: археолога С. Н. Замятнина и антропологов М. М. Герасимова и Я. Я. Рогинского. Дальнейшие раскопки шли в присутствии и с участием комиссии. Это было предусмотрительно: впоследствии появились подозрения, что это не неандерталец, а татарчонок XVIII века — поблизости есть татарское кладбище, а детские кости труднее отнести к какой-то стадии эволюции. Но комиссия подтвердила, что погребение находилось в ненарушенном культурном слое, и увезла монолит со скелетом в Москву.

Это вывело из себя Бибикова — сделать такое упущение! По Триполью ему было трудно конкурировать с Пассек, а вот в палеолите Крыма зря был упущен приоритет — ведь можно было утвердить свою монополию! Такое открытие нельзя было оставлять в руках московского молокососа. Бибиков приехал после отъезда комиссии и завершения работ и обрушился с упреками, частично справедливыми, частично придирками. На следующий год был создана Крымская археологическая экспедиция, начальником которой стал Бибиков, и формозовский отряд был включен в нее. После сезона 1954 г. в Москву прибыла бумага из Ленинграда, в которой ряд сотрудников во главе с Бибиковым негодовал по поводу низкого уровня раскопок Формозова.

Как раз в 1954 г. Хрущев подарил Крым Украине, а в 1955 г. Бибиков (чью диссертацию Формозов подвергает сомнению — ее нет в архивах) стал директором Института археологии Украины, и на 1956 г. отказал Формозову в «Открытом листе». «Открытый лист» получила по просьбе Формозова М. Д. Гвоздовер. Копал по ее листу и писал отчет Формозов. В общем, ему пришлось покинуть Крым. Но и Бибиков там не закрепился (после удаления Формозова у него возникли новые интересы) — копать палеолит Крыма стал украинец Ю. Г. Колосов.

В том же году директором ИИМК в Москве стал Б. А. Рыбаков. Он был по натуре человек не зловредный, но властный, самоуверенный и коварный, так что, учитывая подписанную им пять лет назад характеристику своему выпускнику, Формозову предстояла нелегкая жизнь под надзором активного дрессировщика.

Выполнил он монографию по Староселью. Прохождение ее шло туго. Рецензентами были назначены О. Н. Бадер и Д. А. Крайнов. Они недолюбливали друг друга в науке, но оба терпеть не могли автора монографии. Отношения с Бадером явствуют из последующих книг Формозова. Он считал, что Бадер гонится за количеством статей, не заботясь об их качестве и о выполнении своего долга по полному изданию памятников. Очевидно, Формозов и не скрывал своего мнения — он вообще не умел скрывать оценок. А незадолго до своей защиты Формозов отказался редактировать книгу Крайнова, считая ее негодной к публикации. Крайнов слыл самым глупым из учеников Городцова, но именно он был очень близок к директору Рыбакову. Рыбаков же потребовал, чтобы непременно был отзыв Бибикова. Директор желал отзыва от директора. Монография вышла в 1958 г.

Затем Формозов определенно заработал неприязнь лидера Сибирской археологии А. П. Окладникова, написав откровенный отзыв на его рукопись статьи для юбилейного сборника. А затем еще и закрепил эту неприязнь отказом быть оппонентом кандидатской диссертации В. Е. Ларичева, тогда самого любимого ученика Окладникова.

Итак, ряд недоброжелателей выстраивается достаточно импозантный: Рыбаков, Брюсов, Бибиков, Бадер, Крайнов, Окладников. Для 25-летнего кандидата наук неплохо. Окончательно с Бадером рассорились в 1962 г., когда Формозов поместил в свою монографию о неолите Крыма и Кавказа крымские материалы Жукова, которые почему-то Бадер считал своими. В Институте был серенький археолог Л. П. Зяблин (говорю языком Формозова, но тут ничего не поделаешь: Зяблина я лично знал, он таким и был), так вот на заседании дирекции он заявил о «необходимости освобождения Института от людей типа Мерперта и Формозова» (Столяр 2010: 14). Таковы были ближайшие и отдаленные результаты «Крымской войны» Формозова.

4. Покорение Кавказа. Нельзя считать, что его так уж притесняли и травили сверху в Институте. Рыбаков говорил ему: «Мы же с вами из одной конюшни», «из одного стойла». Он имел в виду исконно-русское происхождение. Крупнов, правая рука Рыбакова, предлагал Формозову возглавить палеолитический отряд в Советско-Ливанской экспедиции. Тот отказался. В июле 1960 г. посылали в командировку в Париж. Снова отказался (Столяр 2010; 14). Понятно: языков не знал, не хотел позориться. Но предлагали — а ведь предлагали тогда очень немногим.

С 1957 г. Формозов решил сменить регион полевых работ — с Крыма на Северный Кавказ. Администрация ИИМК приняла эту идею с энтузиазмом, предложив Формозову руководить изучением палеолита всего региона и обещав поддержку и неограниченное финансирование. Формозов уловил за этим заднюю мысль выжить из региона ленинградцев Паничкину и Любина и перевести всё в Москву. Руководить всем он отказался и организовал взамен объединение небольшого московского отряда с таким же небольшим ленинградским (эрмитажным), предложив эту идею своему ленинградскому другу Столяру. Идея привилась. В 1957 г. оба друга проводили работы на неолитических стоянках в районе Адлера, со следующего года занялись раскопками местонахождений каменного века и ранней бронзы в Адыгее. Столяр начал раскапывать открытую аспирантом-физиком (добровольцем в его экспедиции) Алексеем Ельяшевичем энеолитическую крепость Мешоко (Ельяшевич впоследствии стал профессором и руководителем науки Петербурга). Совместные раскопки продолжались до 1965 г.

Столяр, с 1964 г. ставший доцентом Университета, продолжил раскопки и в 1965 г., но затем ему это стало трудно: сказались нагрузки в Университете, раздоры с хранителями материалов Мешоко в Эрмитаже и тяжелое заболевание матери. С 1967 г. привязанным к уходу за больной матерью оказался и Формозов.

Осмысляли находки оба друга тоже без столкновений, но несколько по-разному. Сначала Формозов выпустил очень толковую книгу «Каменный век и энеолит Прикубанья», в которой на широком фоне проследил непрерывное развитие майкопской культуры. Потом Столяр по стратиграфии Мешоко разбил в своих статьях майкопскую культуру на две стадии — собственно майкопскую и новосвободненскую, и это разделение на две культуры вошло в археологический обиход.

5. Борьба за петроглифы. Формозов же занялся наскальными изображениями СССР и в 1960-е гг. выпустил книги по первобытному искусству. Здесь он столкнулся с интерпретациями Окладникова, который придерживался менее строгой методики, а кроме того, не терпел сильной конкуренции. Несогласие Окладников принял в штыки, а у него было немало подручных.

Историю их противостояния Формозов излагает подробно в специальном очерке «Как мы спорим», написанном в 1983 г. и напечатанном в расширенном виде в книге «Человек и наука». Окладников

впервые занялся Сибирскими писаницами в 1940-х гг. и опубликовал о них более 20 книг. Он отнес их к каменному веку, некоторую часть даже к палеолиту. Аргументы его были неубедительными. Он утверждал, что: 1) бизоны и лошади в Сибири после палеолита отсутствовали (вымерли), 2) величина рисунков схожа — и, главное, 3) налицо сходство с фигурами пещерных фресок очень отдаленных стран — Франции и Испании, причем сходства частные (поза). Между тем и быки, и лошади водились в Сибири и после палеолита; размер рисунков — не доказательство, а поза (с подогнутыми коленями) слишком банальна. С отдельными возражениями выступали Замятнин, Киселев и Грязнов, но в провинции выводы Окладникова, красиво изложенные, принимались на ура.

В 1960-е гг. первобытным искусством занялся Формозов (первые статьи в 1961–1963 гг.) и начал систематично опровергать заключения Окладникова. Первая книга Формозова о первобытном искусстве вышла в 1966 г. («Памятники первобытного искусства на территории СССР»). В 1967 г. в «Советской этнографии» появилась вежливо-критическая рецензия Формозова на книгу Окладникова о Шишкинских писаницах. Отклики на эту рецензию от учеников Окладникова и искателей милостей от него (он был тогда уже членкором) не замедлили появиться, причем Г. И. Пелих признавалась, что бóльшую часть отклика написал за нее сам Окладников (Формозов 2005: 181). В 1969 г. Формозов поместил в «Советской этнографии» ответ Пелих и Савватееву, где высказался уже категоричнее о работах Окладникова. Одновременно вышла книга Формозова «Очерки по первобытному искусству», где была расширена аргументация, а также приведены примеры путаницы из работ Окладникова. Кроме того, равнодушие лидера сибиряков к памятникам было продемонстрировано съемкой кино по его сценарию в Шишкине, для чего древние гравировки замазали голубой краской.

Это уже было серьезнее. В 1970 г. в «Советскую этнографию» поступили сразу две статьи против Формозова, написанные одна А. И. Мартыновым из Кемерова, выдвиженцем Окладникова, другая — В. А. Рановым из Средней Азии. Оба собирались защищать докторские (и защитили через несколько лет у Окладникова в Новосибирске). Мартынова Формозов уличает в плагиате из формозовской книги, приводя параллельные тексты (в плагиате его уличали и в Ленинграде, куда он возил свою докторскую).

Дискуссия расширялась. На стороне Окладникова выступили А. И. Мазин, В. И. Молодин и др., на стороне Формозова — Н. Л. Подольский

и друг Формозова А. Д. Столяр, который, однако, и с Окладниковым ссориться не хотел. Еще один специалист по первобытному искусству, Я. А. Шер, занял такую же позицию, ратуя вдобавок за объективные формализованные методы. То есть он, по сути, также отвергал заключения Окладникова, но не ставя точки над і. Однако, в отличие от Столяра, он не был близким другом Формозова, и ему Формозов не простил отказа напрямую обвинять Окладникова. Он всячески треплет имя Шера, а Шер отвечает, так же не выбирая выражений.

Кстати, Шер был тогда уволен из ленинградского Института, собирался устраиваться в Сибири, и Формозов объяснет этим его нежелание раздражать Окладникова. Формозову, защищенному в своем московском благополучии наследственным статусом (то есть блатом), легко было предъявлять такие суровые требования людям, чье положение было гораздо более шатким.

Но обе рецензии на книгу Формозова (столяровская и шеровская) в печать долго не могли пробиться. Редактор «Советской этнографии» Ю. П. Аверкиева заявила, что не позволит Формозову «сводить личные счеты с Окладниковым», а академик Б. А. Рыбаков редакторам своих изданий велел вычеркивать из статей Формозова выпады в адрес Окладникова: с Мартыновым спорить можно, а с Окладниковым — нельзя (Формозов 2005: 196). В самом деле, что же это будет, если всякому позволено будет сомневаться в заключениях академика! Так можно дождаться, что и более высоких авторитетов не пощадят!

Дискуссия развернулась вовсю уже в конце жизни Формозова, когда в новой России он опубликовал задним числом несколько книжек об общей ситуации в советской науке, на что последовал залп статей в «Российской археологии» (№3 за 2006 г.). Окладников и его ученики и защитники были одной из тем спора. К грехам Окладникова он добавил еще два: «подмену жанра» (так называется целая глава в его книге «Человек и наука») и «хамелеонские трансформации».

Первый грех («подмена жанра») состоял в том, что вместо логически точных и обоснованных фактами положений используются красочные рассказы, беллетризованные разглагольствования с метафорами и пышными эпитетами, втюхивающие какую-нибудь заманчивую идею. «Как только Окладников подходит к чему-либо спорному, он сразу же начинает говорить красиво, и эти красивости затемняют суть дела» (Формозов 2005: 104). Формозов, конечно, удивительно наблюдателен и тонок в своем ехидстве.

Второй грех, разумеется, свойственный не одному Окладникову, заключался в легкости смены взглядов, ориентаций и убеждений в угоду властям. В 1937 г. Окладников писал о кровавом захвате Бурятии царскими колонизаторами и отчаянном сопротивлении вольнолюбивого бурятского народа, а через полтора десятка лет — о добровольном вхождении Бурятии в состав российского государства. В 50-х гг. — о массе заимствований из дружественного Китая, а как только Китай перестал быть дружественным — об отсутствии малейших влияний Китая на наш Дальний Восток. Окладников не считал нужным оправдываться. Разумеется, писал, как требовалось. Все так писали.

> «Нет, не все! — отвечает Формозов (2004: 98). — Были ведь ученые, работавшие так, как подсказывала научная совесть, а когда им работать не давали, находившие в себе мужество хотя бы молчать».

В статьях 2006 г. почти все авторы возмущены инсинуациями Формозова в адрес Окладникова. Но за исключением Шера возмущением дело и ограничивается. Опровержений нет. Савинов (2006: 171) приводит как анекдот указание Формозова на то, что палеолитические статуэтки из Бурети были забыты Окладниковым, а потом случайно найдены в сундуке матери среди старого тряпья и подарены приятелю, директору провинциального музея. Но у Формозова (2005: 68) есть ссылка на описание факта в книжке этого самого директора. Анекдотичность же сего факта у Савинова ничем не подтверждена. Основные возражения — против общей нигилистической позиции Формозова.

Только Шер (2006: 168) приводит несколько неточностей (искажений истины) в воспоминаниях Формозова и его коренное упущение: «В том, что Окладников заложил основы первобытной археологии Сибири и на пустом месте создал новый сибирский институт археологии, который теперь не уступает институтам Москвы и Санкт-Петербурга, Формозов видит больше отрицательного, чем положительного». Это верно, не замечать этого грешно.

6. Экспедиция в историю. С начала 60-х гг. Формозов занялся историографией русской археологии, оставив с конца 1960-х полевые исследования. Он быстро стал лидером в этой отрасли. Впрочем, его учитель Арциховский писал соответствующие главы в многотомной академической истории отечественной науки (с 1957 г.), но это были официозные очерки, а Формозов излагал новые идеи и вполне оригинальные трактовки.

Одновременно с работами по искусству Формозов выпустил первую историю археологии России — живую, обаятельную книжку «Очерки по истории археологии» 1961 г. Она охватывала только историю дореволюционной археологии и оканчивалась временем А. С. Уварова. Но впервые был представлен взгляд на русскую археологию не с официальной позиции, без шор, и об археологии говорилось просто, хорошим литературным языком, с личной заинтересованностью, заразительной для читателя. Развитие археологии было рассмотрено на фоне развития общества и его культуры, со сменой исторических ситуаций. Описание археологии времен Николая I принадлежит к лучшим страницам историографической прозы.

Главным принципом периодизации явилось изменение места археологии в обществе. В период ученых путешествий археология была частью географии, затем с подъемом романтизма и сентиментализма — частью филологии, затем, как считает Формозов, победила функция исторического познания, и археология стала частью истории, не дожидаясь прихода марксизма. Эта смелость историографа импонирует, но думается, что та «бытоописательная» концепция археологии, которую проповедовали Уваров и его соратники, была нацелена не на историю, а на этнографию, так что их археология была частью широко понимаемой этнографии и эта установка еще удерживалась палеоэтнологической школой в канун революции и после нее.

В 1974 г. последовала книжка «Археологические путешествия», в 1979 г. — «Пушкин и древности», в 1983 г. — «Начало изучения каменного века в России». Все эти книжки детализировали и развивали отдельные разделы «Очерков», а третья еще и показывала причины отставания русской археологии в освоении естественнонаучных подходов и методов. Истоки этого отставания лежали в идеологической цензуре. Книга Формозова была отрезвляющим чтением после десятилетий охоты за русскими приоритетами на всевозможные открытия.

Затем появились обобщающая книга «Страницы истории русской археологии» в 1986 г. и первая из крупных биографических работ — книга о Забелине в 1983 г. За ней через десятилетия последуют работа об Уварове — в 1994 г. и о Ефименко — в 2002 г. Работы эти настолько исчерпывающие и интересные, психологически проникновенные и историографически точные, что в моей книге трудно сказать об этих археологах что-то, что не было бы уже проанализировано Формозовым. Далее стали выходить сборники по

истории отечественной археологии под его редакцией, и в работах молодых исследователей неизменно отправной позицией является опора на Формозова.

Став инициатором, организатором и патриархом этой отрасли науки, Формозов не ушел из археологии в историографию. Он пришел к осмыслению истоков и причин всего, что происходит в нашей науке, к анализу традиций. Это не было бегство в спокойные убежища, где можно отсидеться в бумажных залежах. Это был поход за аргументами в борьбе за подлинную науку, как Формозов ее понимал.

7. Староселъский скандал и конфликт с Марксом. В 90-е гг. разыгрался скандал с той же пещерой Староселья (Формозов 2004а: 105), с которой началась научная карьера Формозова. Ученик Колосова, молодой украинский археолог В. Чабай, защитивший диссертацию в 1991 г., решил продолжить раскопки пещеры с 1993 г. и вовлек в это американского археолога Энтони Маркса из Далласа. Американцам было разрешено брать образцы для анализа, а за это они финансировали раскопки три года, а Чабаю оплачивали длительные командировки в Даллас.

Формозов был убежден, что без его разрешения копать памятник нельзя, хоть со времени его раскопок прошло 40 лет, а памятник теперь был в юрисдикции другого государства — Украины. Он мотивировал свой протест также соображениями методики. Раскоп в 1956 г. был тщательно законсервирован, заложен камнем, зарос дерном, и Бахчисарайский музей следил за его сохранностью. Выбирать для раскопок нужно было другие памятники, особенно находящиеся под угрозой разрушения.

О новых раскопках Староселья Формозов узнал стороной через год после их начала. Чабай прислал ему из Далласа объяснение, в котором писал, что никаких прав на Староселье у Формозова не было, так как нашел стоянку украинский археолог Микола Кацур, сотрудник Бахчисарайского музея, а Формозов, оттеснив первооткрывателя, копал, но так плохо, что был лишен «Открытого листа». Формозов объявил, что это ложь, так как Кацур — лаборант без археологического образования, нашел кремневые орудия там Формозов, о чем и рассказал Кацуру, никакое открытие Кацура нигде не зафиксировано. Умер Кацур в 1954 г., за 10 лет до рождения Чабая.

Для вящего позора Формозова была пущена версия, что мальчик вовсе не неандерталец, а татарчонок, потому что рядом Э. Маркс раскопал татарские погребения XVIII века. Но детальное сравнение

скелетов не было проведено. Кроме того, подозрение в конфузной ошибке падает не столько на Формозова, сколько на членов комиссии.

Спор был вынесен на страницы «Current Antropology» и «Российской археологии».

Квинтэссенция претензий Формозова (2004б: 102) изложена им четко и категорично:

> «В целом моя оценка такова: имел место не что иное, как бандитский захват чужого памятника, жульничество с обоснованием прав на него и шантаж — угрозы Чабая: если пикнете, я про вас ещё не то напишу.
>
> Но вот позиция окружающих: с морально-этической точки зрения, может быть, вы и пострадали, но уж с позиций права всё безупречно. Независимая Украина может поступать со своим памятником, как сочтет нужным. Это я слышал от Гвоздовер, Григорьева. Они знали обо всем чуть ли не на год раньше, чем я, еще при заключении договора Киева с Далласом, но скрыли от меня это. Сектор палеолита в Петербурге не захотел ссориться ни с украинскими, ни с американскими коллегами. Это "Ваши проблемы". А нам важно не потерять американские доллары.
>
> Но ведь лиха беда начало. Вчера захватили Староселье, завтра продадут Херсонес или Пантикапей. Моё право на Староселье не только в том, что я нашел эту стоянку. Оно — в труде, вложенном мной в раскопки (пять лет жизни) и в обработку материалов (те же пять плюс еще два). В Херсонес и Пантикапей вложили свои силы десять поколений русских ученых. Украинских здесь и тени не было».

Я считаю, что украинцы и американцы поступили не совсем культурно: нужно было соблюсти приличия и по крайней мере спросить старого московского археолога, каковы его соображения и пожелания. Это даже не этика, а всего лишь этикет. Но по этому поводу можно лишь пожать плечами: оснований для протеста тут нет. Я не поддержал Формозова, когда он просил меня дать мою подпись и присоединиться к его протестному письму в «Current Antropology». И американские доллары тут ни при чем. Не поддержал по принципиальным соображениям.

Прежде всего отбросим гневные пассажи о Херсонесе и Пантикапее. Поколения русских вкладывали свои силы в их изучение, как поколения англичан — в изучение Мохенджодаро и Хараппы, но сейчас это другая страна, как Пакистан для англичан. В нашей собственности остаются только публикации, отчеты и находки. И слава первооткрывателя. Я тоже был возмущен барским дарением Крыма

вместе со всем населением — как крепостной деревни — Украине. Но такова была феодально-социалистическая действительность под большевистской властью. Даже не Хрущева в этом следует винить персонально, а советский порядок вещей (кстати, в 1954 г. Хрущев еще и не был полновластным диктатором, под указом стоят коллективные подписи вождей). Для вождей это было как переложить кошелек из одного кармана в другой. А теперь это чужой карман. И с этим ничего не поделаешь.

Если бы речь шла не об украинском и американском вмешательстве, а о своих российских разборках, суть дела оставалась бы та же. Можно рассуждать о целесообразности выбора памятника, о методической разумности или неразумности вскрытия законсервированного (но не навечно же!) памятника. Но археолог, копавший его 40 лет назад, может иметь здесь только совещательный голос.

Я не считаю, что право археолога на открытые им памятники должно быть вечным. Он открыл памятник не для себя, а для науки. По традиции, ему как открывателю должна быть гарантирована возможность первому извлечь из этого памятника научную информацию, и на это должно быть отпущено столько лет, сколько потребуется. Но это всего лишь культурная традиция, никакого права у него на это нет (Кореняко 2004). Это учреждению принадлежит право установить такой порядок, коль скоро оно считает его разумным. А уж после этой работы, если открыватель больше над памятником не работает, памятник по истечении какого-то разумного срока (в несколько лет) должен поступить в общее пользование ученых. Несколько лет достаточно на перерыв в работе, на отдых, лечение, обработку информации. Если прошли десятилетия, а исследователь занялся другими работами, он теряет свою первоначальную кровную связь с памятником. Во избежание конфликтов надо бы внести в инструкции Полевого комитета точные сроки (раньше было 10 лет), но в данном случае картина ясная.

Примерно эти соображения я и изложил Формозову. Он обиделся, однако его почти никто не поддержал, и отношения восстановились. Правда, в последующих работах, особенно после того, как я вступился за Шера, нет-нет да и проскользнет старая обида.

«Шер, как и Клейн (которым за державу нисколько не обидно), убеждены, что в любой ситуации правы всегда американцы...» Не в любой. Но в этой Формозов не прав. А за родину (не державу), конечно, обидно, но Староселье тут ни при чем. Обидно по другим поводам.

Формозов так ссылается на работу двух русских археологов, подтвердивших его стратиграфию и палеолитический возраст погребения: «Эта работа была проведена по заказу американского профессора О. Бар Йозефа, относящегося к деятельности Э. Маркса далеко не так восторженно, как никогда не занимавшиеся палеолитом Я. А. Шер и Л. С. Клейн». Палеолитом я действительно не занимался, поэтому Энтони Маркса я не знал, до этих строк никогда и нигде не упоминал, а узнал о нем мельком только в письме от Формозова и никаких восторгов в ответном письме, естественно, не высказывал. По-моему, Шер тоже. Что поделаешь, обида порою застилает глаза.

8. Формозов как теоретик. На основании изложенного уже можно представить себе, что за фигурой был Формозов в советской археологии. Это был талантивый и эмоциональный исследователь каменного и бронзового веков, первобытной изобразительной деятельности и символики, а также истории археологической науки и отношения общества к материальным древностям. Это очень широкий круг интересов, и ясно, что человек с такими разнообразными интересами не мог их практиковать порознь. Он должен был как-то связывать их и освещать их неким пулом идей. То есть быть в какой-то мере теоретиком. Хотя Формозов всегда утверждал, что он не теоретик, но некий набор теоретических идей у него, несомненно, был. Кроме того, сама история археологической науки в наши дни стала отраслью теоретической археологии.

Одна из излюбленных теоретических концепций Формозова — идея постоянства и долговременности крупных локальных общностей, проходящих как сквозные традиции через много эпох, сохраняя в основном свои границы. Это своеобразное отражение стадиалистской идеи повсеместной автохтонности. Здесь можно было бы видеть и влияние экологической (географической) школы, но объяснения воздействием постоянной географической среды Формозов не выдвигал. Вероятно, почвой для формозовской концепции постоянных культурных очагов была его ностальгия по традиционной, дореволюционной культуре и науке. В советских условиях нежелание записываться в пионеры и комсомол, не говоря уж о партии, избегание упоминаний о классиках марксизма и славословий «отцу народов», критика явных пороков советской археологии были сами по себе почти теоретическими положениями.

Его философской базой, несомненно, был не марксизм, а старый позитивизм, мало отличающийся от традиционного для русской

археологии XIX века. Приверженность фактам, презрение к поспешным историческим выводам, обработка источников на первом месте, описание и классификация как ведущие виды работ, критика источников как необходимый этап исследования, восстановленное уважение к эмпиризму и вещеведению, симпатия к вкладам натуралистов в археологию — всё это характеризует его как позитивиста. Это и давало ему основание утверждать, что у него нет никаких теоретических предпочтений. Так говорили все позитивисты, хотя позитивизм — это уже философская концепция, предполагающая соответствующие теории (хотя бы как обобщения фактов).

В его позитивизме была некоторая доля фрондерства, противостояния марксистскому идеологическому прессу, но это не отменяет сути его концепции. В условиях этого давления и навязывания идеологии принципы эмпиризма, позитивизма и объективизма получали свое оправдание: они позволяли удержать хотя бы часть научной системы в сохранности. В этом сила эмпиризма — главного позитивисткого методического принципа.

Слабость позитивистского подхода хорошо видна на работах Формозова по первобытной изобразительной деятельности. Тщательно собрав и отсортировав факты, отлично классифицировав их по видам и по регионам, проведя их критику и предложив датировки, Формозов остановился перед объяснениями, в сущности, воздержавшись от самых трудных и важных вопросов. Это очень заметно при сравнении с работами его друга Столяра и его противника Шера. Столяр взял за основу идею, выдвинутую еще Пьеттом, о происхождении живописи из скульптуры и, разукрасив ее отдельными высказываниями Маркса (не Энтони, а Карла), построил эффектную, по крайней мере для советской России, концепцию эволюции изобразительной деятельности: от «натурального макета» (то бишь чучела) к пещерной фреске. Шер разработал методику формального анализа первобытных изображений и, поставив вопрос о причинах совершенства палеолитической пещерной живописи, привлек для решения психику душевнобольных, создающих похожие натуралистические изображения, также вопрос о разделении функций полушарий мозга и прочие факторы и пришел к оригинальной концепции, схожей с одновременно разработанными гипотезами Дж. Д. Льюиса-Уильямса из Южной Африки. Читать книгу Столяра поучительно и скучновато. Читать добротные книги Формозова очень полезно. Читать книги Шера еще и увлекательно. Книга Столяра — это пережиток XIX века в XX. Книги Формозова — это всё еще XX век. Книги Шера — XXI.

О характере Формозова писано немало — и восхищенных эпитетов (принципиальный, смелый, педантичный, ответственный, чрезвычайно работящий, любящий сын, хороший друг и т. п.), и злых, хлёстких кличек (сноб, зазнайка, завистник, собакевич, клеветник, неумеха и т. д.). Его лучший друг Столяр (2004: 423) определяет его (при жизни) так: «А. А., по мнению, пожалуй, единодушному самых разных людей, сложная и нелегкая личность. Точнее, я бы сказал — тяжелый человек. Прежде всего, хронически тяжелый, даже, можно сказать, беспощадный по отношению к себе». Столяр поясняет: не умеет приспосабливаться к людям, участвовать в групповой «борьбе», рубит с недипломатической прямотой и порой чрезмерной резкостью, а то и категоричностью. О чем здесь Столяр промолчал, это что резкая критика часто направлялась на самых маститых, что для самого Столяра было совершенно неприемлемо. И надо бы сказать еще об одном: слишком часто Формозов оказывался в своих обидах неправ.

К тому же идеальных людей не бывает (или, может быть, такие бывают, но крайне редко). У всех у нас есть достоинства и недостатки. Если видеть только недостатки у людей вокруг, то жить станет невозможно. Если же опираться на достоинства и по мере возможности устранять недостатки, то окажется, что хорошего в людях очень много. Баланс достоинств и недостатков в людях вокруг был Формозову чрезвычайно труден. Вероятно, потому, что он был слишком уверен в своей преимущественной и исключительной близости с культурным наследием страны, был очень раним и обидчив.

9. Грозный судия. Вот человек с такими данными и с такой биографией вступил в борьбу со всей системой позднесоветской и постсоветской археологии.

В 1963 г. Формозов написал книгу по истории охраны памятников в нашей стране. Только-только началась «оттепель», и он надеялся, что уже можно. Он писал о дурных дореволюционных традициях отношения к древностям в России, о выдающихся фигурах русской культуры, которые ни в грош не ставили отечественное достояние, о страшных потерях культурного наследия при советской власти. Книгу, конечно, зарубили. Видные археологи, на которых он надеялся (Арциховский, Воронин и др.), испугались, редакторы издательств набросились церберами на текст, особенной яростью отличался тогдашний директор академического издательства А. Н. Сахаров (потом, уже в недавнем прошлом директор Института истории) — Формозов прямо называет его «махровым черносотенцем». Формозов пытался

напечатать порознь хотя бы отдельные главы, но и их отовсюду выкидывали. Только после «перестройки» кое-что вышло, но впечатления не произвело (история этих мытарств изложена в Формозов 2010).

В конце 1972 г., надеясь на понимание Рыбакова, Формозов обратился к нему с открытой критической «Запиской» о состоянии первобытной археологии в СССР и в институте. Это было через полтора десятилетия после такого же письма Чайльда. Рыбаков спокойно поставил «Записку» на обсуждение (оно проходило уже в 1973 г.), снисходительно выслушал и удовлетворился общим народным гласом, что всё не так плохо. Письмо было принято за выражение личного недовольства Формозова своим положением (излагаю по воспоминаниям ИИМКовцев). «Вам надо выйти на защиту докторской», — сказал ему Рыбаков.

В последней версии своих воспоминаний Столяр (2010: 25–26) излагает эту историю несколько иначе: Рыбаков заказал Формозову эту записку и в сердечной беседе просил дать исчерпывающую характеристику всем ведущим сотрудникам Института, отметив их недостатки, и, получив эту записку на 100 страницах, разослал ее на обсуждение во все отделы. Что должно было восстановить против Формозова всех. Но общее обсуждение 1973 г. свернуло с обвинений Формозова в клевете на критику руководства и положения в Институте. Тогда собрание было прервано, а обещанное продолжение не последовало. Рыбаков же заявил Формозову: «Вы всегда меня ненавидели, а теперь встали на путь мести и шантажа». Повстречав жену Формозова, смягчил тон: «Формозов — честный человек, но крайне тяжелый».

Так или иначе, к 1973 г. (еще в советское время!) уже существовала идея книги «Человек и наука» — появился первый очерк с таким подзаголовком. Последующие очерки появились уже в начале 90-х, пока еще порознь в разных журналах.

В августе 1991 г. Формозов с женой провели три решающих для страны дня у Белого дома. Он считал, что родилась новая Россия, и настало время для свободного обсуждения насущных проблем науки.

Когда я опубликовал в 1993 г. свой «Феномен советской археологии», Формозов выступил с рецензией (1995а), в которой указал на недостаточную критичность моей книги по отношению к деятелям и эпохе советской археологии. Одновременно он опубликовал свою книжечку, скорее брошюру, «Русские археологи до и после революции» (Формозов 1995б), в которой привел почти полные данные о репрессированных и расстрелянных археологах, о допросах и пытках,

о чистках и проработочных кампаниях, о гибели музеев и памятников. Формозовская картина советской археологии была мрачна и ужасна. На книге обозначен тираж в 1000 экземпляров, но руководство Института позаботилось, чтобы на деле было издано всего 80 штук.

А. А. Формозов, историк науки, разочарованный идеалист и моральный судья российской археологии

В 2003 г. Формозова уволили на пенсию, а в 2004 г. он издал уже приемлемым тиражом более полную книгу «Русские археологи в период тоталитаризма» (Формозов 2004б) и очерки об этике ученых — «Рассказы об ученых» (Формозов 2004а). Роль независимого историографа позволила ему присвоить себе в глазах многих статус «грозного Судии». В следующем году вышла та самая пробивавшаяся по частям книга «Человек и наука» (Формозов 2005) — вопль души. В этой книге Формозов откровенно и мотивированно высказался об аморальных качествах многих наших ученых — рядовых и (horribile dictu!) маститых — об их карьеризме, угодничестве, кумовстве, начальственном барстве, фальсификациях, плагиате, беспринципности, лживости, корыстности, лени и прочем — обо всём, что свойственно любой науке, но особенно пышно расцветает в условиях тоталитарного и посттоталитарного строя. Он говорил со знанием дела, конкретно, с указанием имен и событий. Задеты не только А. П. Окладников, но и М. М. Герасимов, Т. С. Пассек, О. Н. Бадер, С. Н. Бибиков, Д. А. Крайнов, А. Н. Бернштам, П. И. Борисковский, Я. А. Шер, А. П. Деревянко, В. И. Молодин, Г. Н. Матюшин и др. Всё это было написано эмоционально и ярко. У него был писательский дар (хотя совершенно не было дара устной речи из-за ужасной дикции — не выговаривал [л], вместо [р] говорил [в]).

От моего «Феномена» книга отличалась направленностью: я анализировал социальные корни упадка науки, Формозов — этические, с массовым переходом на личности: всем сестрам по серьгам.

Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. В ближайшем номере «Российской археологии» (2006, 3) появилось сразу пять статей с опровержениями (Формозова обвиняли в «злобном шельмовании», клевете и оперировании слухами — последнее иногда было верно), но речь могла идти лишь о конкретных ошибках и промахах. Да, они есть, кое-кого Формозов задел сгоряча, к кому-то отнесся предвзято (я хорошо это знаю, потому что и ко мне он относился в разные времена по-разному, в зависимости от сиюминутных обид). Свешникова (2009: 25) заметила, что, сетуя на междоусобную борьбу между московскими и ленинградскими археологами за доминирование, Формозов всё же выступает активным сторонником московской группы: он высокомерен по отношению к провинциалам, обличает ленинградцев, но гораздо более снисходителен к москвичам (хотя и их поругивает).

Но общая картина, обрисованная Формозовым, к сожалению, верна. Все понимают, что в целом это так. Ведь читатели не с Марса.

Вскоре восьмидесятилетний возмутитель спокойствия умер (2009). Многие из сотрудников Института археологии, в котором он проработал полвека, не явились на его похороны. Но вышли три сборника в его честь. Только что выпущены в свет посмертно его мемуары — «Записки русского археолога» (2011). Книги его читают, читают, читают...

Краткое заключение

Сколько не разобрано бумаг,
Сколько не дописано историй!

Н. Гумилев. Открытие Америки, I.

Отобранные здесь биографии, на мой взгляд, репрезентативны, хотя в какой-то мере отбор предопределен наличным материалом и возможностями автора. Я не включил в свой обзор ряд авторитетных и влиятельных археологов просто потому, что плохо их знал и не нашел достаточно подробных биографических материалов в литературе, а работа в архивах для меня сейчас затруднена по личным обстоятельствам (состояние здоровья). Кого-то не включил просто по упущению. Поиски в архивах могут значительно обогатить наши сведения о многих героях моей истории и сделать необходимым введение новых героев.

Конечно, на отборе сказалось и мое персональное видение исторического значения тех или иных фигур нашей науки. Скажем, включив в обзор Б. А. Рыбакова как одну из важнейших фигур советской археологии, я обошел вниманием его друга Е. И. Крупнова, хотя он и административные посты занимал, и Сталинские премии получал, и множество учеников оставил, и до сих пор проходят Крупновские чтения. Вклад его в науку, на мой взгляд, объемистый, но заурядный, и фигура неинтересная (Формозов судил еще жестче: глупый и бездарь). То же касается Д. А. Крайнова. Возможно, следовало бы включить в обзор М. К. Каргера. Вклад его в славянскую археологию не столь масштабен, как вклад А. В. Арциховского или Б. А. Рыбакова, но добротен, а поведение типично для ученых-приспособленцев к обстановке постоянного террора. Наверное, зря обошел В. Ф. Гайдукевича. В. М. Массона я включил в обзор, а С. А. Плетневу не включил: при всем уважении к Плетневой масштаб фигур, на мой взгляд, различен. Расширив объем этой истории, можно было бы пополнить и охват фигур.

Другое обстоятельство могло несколько исказить перспективу последних этапов этой истории в биографиях. Дабы иметь свободу оценок, я включал в обзор только археологов, ушедших из жизни, а одни умирают в раннем возрасте, другие живут и в весьма преклонном. Поэтому сверстники представлены крайне неравномерно: одни

вошли в обзор, другие — нет. В. М. Массон и А. А. Формозов включены в обзор, а некоторые их сверстники обойдены. Но обойдены хотя бы по той простой причине, что их жизнь продолжается.

Если бы я ограничился справочными биографиями, то эти трудности не действовали бы. Но я хотел дать читателю подробные аналитические биографии с проникновением в психологию героев, с разбором мотивации поведения и поступков, с оценками вклада в науку. Конечно, это мои субъективные оценки, но я старался обосновать их, поставить их на прочную базу фактов и осветить их в исторической перспективе. А живых коллег это может не на шутку травмировать.

Таким образом, вполне можно представить себе, что кому-то придет в голову пополнить мою историю как по содержанию, так и по охвату — как отдельными деталями, так и новыми персоналиями. Тем не менее и в нынешнем виде она может представлять интерес. Так или иначе это сливки археологии.

Отобранная так моя выборка в ее советской и послесоветской части больше дореволюционной — здесь 34 персоны (там было 25). Это естественно: ближе к нашему времени — интереснее. Но и общее численное увеличение археологов сказывается. По национальному составу новая выборка не сказать, чтобы пестрее, но облик иной — нет такого обилия немцев и французов, которое там было в начале. Тут 24 русских, причем трое — с предками из литовцев, поляков и шотландцев, затем трое украинцев, трое казаков, двое российских немцев, один полугрузин-полушотландец, один белорус и один еврей. По классово-сословному составу она любопытна: 13 из интеллигенции, 12 из дворян, 4 из крестьян, 3 из купечества, 2 из священничества, 2 из рабочих. Общее число несколько больше всей выборки, потому что у некоторых двойное происхождение. Бросается в глаза, выходцы из каких классов и сословий пробились на самый верх в советской археологии —интеллигенция и дворянство. Из рабочих и крестьян — только 7 человек.

На мой взгляд, это говорит не только об истинных условиях прохождения людей из народных низов к вершинам науки в Советском Союзе, но и о плохой постановке ориентирования народных масс на почитание культурного наследия. Порассуждать о нашей высокой духовности, покричать о превосходстве нашей древней культуры — только кинь лозунг, простонародье подхватит, а вот посвятить этому культурному наследию жизнь и талант охотников мало, и всё больше из семей с высоким уровнем образованности.

Из 34 археологов, вошедших в выборку, 9 подверглись в той или иной степени необоснованным репрессиям (к этому можно добавить еще троих из дореволюционной выборки —тех, что успели пожить и в советское время), двое выдающихся (Миллер и Жуков) уже не вернулись в науку. А сколько еще не вошли в выборку просто потому, что их начатая и многообещающая работа была пресечена слепым мечом террора! Страх и воздержание от смелых идей были вколочены во всех, даже в таких, кто молодым сражался с оружием в руках против большевиков — как Арциховский и Смирнов. Или отказывался сражаться в Гражданской войне — как Иессен. Или отказывался состоять в партии — как Равдоникас. Марр, дрожащий под кроватью, — это в некотором роде образ всей советской археологии сталинского времени. В какой-то мере и не только сталинского. И всё же, когда читаешь биографии Артамонова, Грязнова, Ляпушкина, Гракова, Фёдорова, Формозова и других, ощущаешь, как сквозь страх пробивались ростки независимой мысли, самоуважения и достоинства. Без них наша наука — ничто, служанка не истории, а партийной или государственной пропаганды.

Конечно, если не задаваться целями агиографическими, не писать жития святых (а я не имел таких целей), то нужно признать, что цвет нашей археологии состоял из живых людей — со страстями и талантами, с достоинствами и недостатками, часто с выдающимися достоинствами и крупными недостатками, да и с сильными страстями. Некоторые уж очень яро стремились к власти, лидерству, почестям, жизненным благам. Что у них у всех было в избытке, это многообразные таланты и энергия. Многие отлично рисовали — Фармаковский, Миллер, Артамонов, Пиотровский, другие писали стихи и прозу — Брюсов, Артамонов, Семенов, Федоров, превосходным языком обладали также Монгайт и Формозов, некоторые были яркими лекторами — Арциховский, Киселев, Рыбаков, Толстов. Некоторые могли бы сделать больше, но были с ленцой (Арциховский, Замятнин). У многих из них характер был взрывной и неуживчивый. И Жуков, и Равдоникас, и Брюсов, и Окладников, и Граков, и Киселев, и Толстов, и Формозов то и дело вступали в конфликты с коллегами, и трудно было разделить, где причиной были принципы, а где ревность и больное самолюбие. Словом, в верхах науки мы видим те же человеческие слабости и проступки, которые привыкли наблюдать внизу, но страсти к науке, таланта и энергии хватало на то, чтобы всё преодолевать. Интерес биографа и состоит в том, чтобы выявлять, как это преодоление происходило.

На вопрос, который задавали себе старые археологи в революционные годы — сохранится ли наука археология? — время дало ответ: наша археология сохранилась, в чем-то даже стала богаче и сильнее, а какие-то важные достижения утратила. Что отнести к приобретениям, что — к потерям, об этом можно много спорить. Как ни странно, по прошествии века снова встает всё тот же вопрос, хотя и по другим причинам: сохранится ли археология как наука? Нужна ли она нашему современному обществу и его властям?

История науки не отвечает на такие вопросы, она лишь помогает их ставить и собирать материалы для ответов.

В молодости я дружил с известным художником М. М. Девятовым, я жил тогда за городом, в поселке. Как-то он приехал ко мне с приятелем, тоже художником. Этот приятель обожал красоты природы. Он выходил на пленэр на восходе солнца и жаждал запечатлеть каждый оттенок, возникающий у него на глазах. По мере того как менялось небо, он менял и краски на своем холсте, едва поспевая за ходом солнца. Заканчивал он, малюя закат, а назавтра, увидев, насколько красив восход, подмазывал картину, начиная опять с восхода. Это была очень непроизводительная работа.

Чтобы не уподобиться этому художнику, где-то надо класть последний мазок — и ставить точку.

Библиография

Абрамова З. А. 1992. П. П. Ефименко и изучение палеолитического искусства. Краткие сообщения Института археологии, 206: 17–22.

Аванесова Н. А., Кызласов Л. Р. Памяти Михаила Петровича Грязнова. Советская Археология, 1985, 4: 277–283, портр. Список печатных работ: 280–283.

Авдусин Д. А. 1989. А. В. Арциховский как руководитель семинара. Вестник Московского университета, ист., № 2, с. 79–84.

Авдусин Д. А. 2000. Артемий Владимирович Арциховский (1902–1978). Портреты историков. Время и судьбы. Том 1. Отечественная история. Москва, Наука: 304–321.

Автобиография 1940/1996 = Автобиография Александра Александровича Иессена (Архив ИИМК, 1940). Между Азией и Европой: Кавказ в IV–I тыс. до н. э. Санкт-Петербург, Эрмитаж, 1996: 7–9.

Автобиография 1951/1996 = Автобиография Александра Александровича Иессена (Архив Эрмитажа, 1951). Между Азией и Европой: Кавказ в IV–I тыс. до н. э. Санкт-Петербург, Эрмитаж, 1996: 9–11.

Агафонова Г. А. 1993. А. Н. Оленин и развитие историографической науки в первой трети XIX в. Феодальная Россия. Новые исследования. Санкт-Петербург, Третья Россия: 59–64.

Айналов Д. В. 1928. Академик Н. П. Кондаков как историк искусства и методолог. Seminarium Kondkovianum, t. 2: 311–321.

Академическое 1993–1998. Академическое дело 1929–1931. Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного ОГПУ. Санкт-Петербург, Библиотека Академии наук. Вып. 1–2.

Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1 Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993.

Акиньшин А. Н. 2002. Археолог Сергей Николаевич Замятнин (1899–1958): воронежские страницы биографии. Исторические записки: научные труды исторического факультета ВГУ, вып. 8. Воронеж, изд. ВГУ: 207–214.

Аксамітаў А. С., Малаш Л. А. 1991. З душою славяніна. Жыцце і дзейнасць З. Й. Даленгі Хадакоўскага. Мінск.

Александрова М. В. 1998. «Идеология» раскопок и приоритеты археологического исследования. Восточный граветт. Москва. РАН: 142–150.

Алексеев А. Ю. 2004. К портрету И. Е. Забелина на фоне скифологии. — Невский археолого-историографический сборник. СПб: 37–48.

Алексеев А. Ю., Мурзин В. Ю., Ролле Р. 1991. Чертомлык. (Скифский царский курган IV в. до н. э.). Киев: Наукова думка.

Алексеев В. М. 1935. Н. Я. Марр. К характеристике ученого и университетского деятеля. Проблемы истории докапиталистических обществ, 1935, № 3–4, с. 62–69.

Алексеев Л. В. 1968. К шестидесятилетию Б. А. Рыбакова. Советская Археология, № 2, с. 111–117.

Алпатов М. А. 1985. Русская историческая мысль и Западная Европа (XVIII —первая половина XIX в.). Москва, Наука.

Алпатов В. М. 1991. История одного мифа: Марр и марризм. М, Наука, 240 с.

Алымов С. С. 2004. Дмитрий Николаевич Анучин: «Естественная история человека в обширном смысле этого слова». — Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века. Москва, Наука: 7–48.

Алымов С. С. 2009. Космополитизм, марризм и прочие «грехи»: отечественные этнографы и археологи на рубеже 1940–1950-х годов. Новое Литературное Обозрение, 97.

Алымов С. С., Решетов А. М. 2003. Борис Алексеевич Куфтин: изломы жизненного пути. Репрессированные этнографы, Вып. 2: 227–268.

Аникович М. В. 1989. Проблема определения археологии как науки в русской дореволюционной археологии. Историки об истории. Омск, ОмГУ: 4–26.

Аникович М. В. 1990. Проблема определения археологии как науки в советской археологической литературе тридцатых–шестидесятых годов. — История археологических исследований Сибири: межвед. тематич. сборник научн. работ. Омск, изд. Омск. Университета: 5–31.

Аникович М. В. 1994. В. И. Равдоникас о предмете и задачах истории материальной культуры. Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения профессора В. И. Равдоникаса. Тезисы докладов. СПб, Гос. Эрмитаж, с. 15–17.

Аникович М. В. 1995. Проблемы определения археологии как науки в советской литературе 1970–1980-х годов: основные направления. — Археология Сибири: историография, ч. I. Омск: 4–24.

Аникович М. В. 2000. А. Н. Рогачев и «конкретно-исторический подход» в палеолитоведении. — Российская Археология, 4: 67–71.

Аникович М. В. 2005. О «конкретно-историческом подходе» А. Н. Рогачева. — Проблемы ранней поры Верхнего палеолита Костенковско-Борщёвского района и сопредельных территорий. Санкт-Петербург, ИИМК РАН: 33–47.

Анучин Д. Н. 1886. Граф А. С. Уваров. Биографический очерк. Труды VI Археологического съезда, т. I: III–XX.

Анучин Д. Н. 1887а. И. С. Поляков. Русские ведомости, № 99 (перепечатано в: Анучин Д. Н. 1952. О людях русской науки и культуры (статьи, некрологи и заметки). Москва, Географиздат: 96–104).

Анучин Д. Н. 1887б. С. А. Усов как член Московского археологического общества и как археолог-натуралист. — Древности. Труды Моск. арх. общ., 11 (3): XVIII–XXIX.

Анучин Д. Н. 1902. О задачах и методах антропологии. — Русский антропологический журнал, 1: 62–88.

Анучин Д. Н. 1906. Николай Ефимович Бранденбург (некролог). Древности, т. XXI.

Анучин Д. Н. 1909. И. Е. Забелин как археолог в первую половину его научной деятельности (1842–1876). Речь, произнесенная в заседании Московского археологического общества 10 апреля 1909 г. Москва, Типограф. Об-ва распространения полезных книг.

Анучин Д. Н. 1914. Д. Я. Самоквасов как археолог. — Древности. Труды МАО-150, т. XXIII, в. 2: 403–410.

Анучин Д. Н. 1950. О людях русской науки и культуры (Статьи, некрологи и заметки). М, Географгиз.

Ардашев Н. Н. 1909. И. Е. Забелин как теоретик археологии. — Древности. Труды Московского археологического общества, т. XXII, в. 2: 71–218.

Ардашев Н. Н. 1911. Граф А. С. Уваров как теоретик. Речь в заседании МАО 1909 по случаю 25-летия со дня кончины. Москва, типография Общества распространения полезных книг.

Артамонов М. И. 1934. Совместные погребения в курганах со скорченными и окрашенными костяками. — Проблемы истории докапиталистических обществ, 7–8: 108–125.

Артамонов М. И. (ред.). 1939. История СССР с древнейших времен до образования древнерусского государства, кн. 1. М.-Л. Изд-во АН СССР.

Артамонов М. И. 1948. Венеды, невры и будины в славянском этногенезе. Вестник Ленинградского университета, 2: 70–86.

Артамонов М. И. 1967. Вопросы расселения восточных славян и советская археология. — Проблемы всеобщей истории. Л.: 29–69.

Артамонов М. И. 1969. Этнос и культура. — Теоретические основы советской археологии. Тезисы докладов... Ленинград, ИИМК АН СССР: 3–6.

Артамонов М. И. 1971. Археологическая культура и этнос. — Проблемы истории феодальной России. Ленинград, изд. Ленинградского университета: 16–32.

Артамонов М. И., Корзухина Г. Ф., Мачинский Д. А. 1971. Иван Иванович Ляпушкин. — Краткие сообщения Института археологии (Москва), 125: 3–6.

Арциховский А. В. 1926. Социологическое значение эволюции земледельческих орудий. — Труды секции социологии РАНИОН, ч. 1, с. 123–135.

Арциховский А. В. 1929. Новые методы археологии. — Историк-марксист 14: 136–155.

Арциховский А. В. 1930. Курганы вятичей. Москва, РАНИИОН.

Арциховский А. В. 1931. Рец. на книгу Равдоникаса «Normannen der Ladogagebiet...» — Сообщения ГАИМК, № 7, с. 30–32.

Арциховский А. В. 1934. Возникновение феодализма в Суздальской и Смоленской землях. — ПИДО, 11–12, с. 35–66.

Арциховский А. В. 1937. В защиту летописей и курганов. — Советская Археология, 4: 53–61.

Арциховский А. В. 1940. Введение в археологию. М, изд. Московск. Университета.

Арциховский А. В. 1947. Введение в археологию. 3-е изд. Москва, изд. Московского университета.

Арциховский А. В. 1948. Забелин — археолог. Историко-археологический сборник. Москва, типогр. «Красный печатник»: 5–11.

Арциховский А. В. 1953а. Историография археологии. Программа курса. М, 1953.

Арциховский А. В. 1953б. Пути преодоления влияния Н. Я. Марра в археологии. — Против вульгаризации марксизма в археологии. М.–Л., АН СССР, с. 51–69.

Арциховский А. В. 1955–1963. Археология. Очерки по истории исторической науки в СССР. Москва–Ленинград: ч. 1 (1955): 525–535; ч. 2 (1959): 614–632; ч. 3 (1963): 586–596.

Арциховский А. В. 1956. Археологическое изучение Новгорода. — МИА, № 55, с. 7–43.

Арциховский А. В., Киселев С. А., Смирнов А. П. 1932. Возникновение, развитие и исчезновение «марксистской археологии». — Сообщения ГАИМК, вып. 1–2: 46–48.

Астахов С. А. 1992. М. П. Грязнов как организатор крупных новостроечных археологических экспедиций в Сибири. — Северная Евразия от древности до средневековья. Тез. конф. к 90-летию со дня рожд. М. П. Грязнова. ИИМК РАН: 10–12.

Афанасьев А. Н. 1865, 1868, 1869. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственых народов. Т. I–III, М, изд. К. Солдатенкова (нов. изд. М, Современный писатель, 1995).

Ашик А. Б. 1863. Стемпковский. — Записки Одесского Общества истории и древностей, т. 5: 901–915.

Ашихмина Л. И. 1994. Памяти учителя. — Европейский Север: взаимодействие культур в древности и средневековье. Сыктывкар, [s. n.]: 8–15.

Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. 1994. «Дело славистов»: 30-е годы. Москва, Наследие.

Бабаева Л. 2001. Противостояние или упущенные возможности. Из истории поисков Янтарной комнаты. — Независимая газета, 22 июня.

Бадер О. Н. 1966. Памяти Бориса Сергеевича Жукова. — Советская археология, 4: 23–28.

Бадер О. Н., Бунак В. В. 1963. Памяти Б. С. Жукова. — Вопросы антропологии, 15: 146–148.

Бартольд В. В. 1921/1977. Н. И. Веселовский как исследователь Востока и истории русской науки. — Записки Восточного Отделения РАО. Петербург, т. 25 (1917-1920): 337-355 (перепеч. в Бартольд В. В. Соч., т. IX, 1977).

Бартольд В. В. 1918/1977. Н. И. Веселовский. Некролог. — Бартольд В. В. Соч., т. IX. Москва.

Бахмат К. П. 1964. Викентій Вячеславовіч Хвойка (до 50-річчя з дня смерті). — Археологія (Київ), 17: 188–198.

Бахрушин С. В. 1937/1999. Г. Ф. Миллер как историк Сибири. — Миллер Г. Ф. История Сибири. Изд. 2-е, дополн. Москва, Восточная литература: 17–65.

Бедрик-Білан Х., Безносик А., Гнатюк М. та ін. 2005. 100 найвідоміших українців. Заг. ред. д. філос. наук, канд. іст. наук, Павленка. Київ, Орфей.

Беликов П., Князева В. 1873. Рерих. 2-е изд. Москва, Молодая Гвардия, ЖЗЛ (нов. изд. Николай Константинович Рерих. Самара, 1996).

Белковец Л. П. 1988а. Г. Ф. Миллер в оценке отечественной историографии. — Вопросы истории, 12: 111–122.

Белковец Л. П. 1988б. Россия в немецкой исторической журналистике XVIII в.: Г. Ф. Милер и А. Ф. Бюшинг. Томск, изд. Томского университета.

Белозёрова И. В. 1988. Музейная деятельность В. А. Городцова. — Труды ГИМ, вып. 68: 14–26.

Белозёрова И. В. 2010. Жизнь и научная деятельность В. А. Городцова в годы Великой Отечественной войны (по материалам личного архива в ОПИ ГИМ). — Человек и древности. Памяти Александра Александровича Формозова (1928–2009). Москва, Гриф и К: 690–702.

Белозёрова И. В., Кузьминых С. В. 2012. Н. Я. Мерперт о В. А. Городцове. —Российская Археология, 4: 169–173.

Белозёрова И. В., Кузьминых С. В., Сафонов И. Е. 2011а. Жизненный путь Василия Алексеевича Городцова (к 150-летию со дня рождения). — Российский археологический ежегодник, 1: 472–510.

Белозёрова И. В., Кузьминых С. В., Сафонов И. Е. 2011б. Судьба ученого: жизнь Василия Алексеевича Городцова в его дневниках и воспоминаниях. — Российская Археология, 1: 154–165.

Белокобыльский Ю. Г. 1986. Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири. История идей и исследований (XVIII —первая треть XX в.). — Новосибирск, Наука.

Белый А. 1930. На рубеже двух столетий. Ленинград, Земля и фабрика (нов. изд. Худ. Лит 1989).

Беляев Л. А. 2006. «Не посрамлю имени и чести». Рец. на книгу П. С. Уваровой. Российская Археология, 2: 163–169.

Бенуа А. Н. 1968. Книга о Рерихе. — Александр Бенуа размышляет (статьи и письма 1917–1960 гг.). Москва, Советский художник: 237–238.

Берг Л. С. 1946. Дмитрий Николаевич Анучин. — Берг Л. С. История русских географических открытий. 2-е изд. Москва, изд. Академии наук СССР, 282–318.

Бердинских В. А. 1991. Вятский период жизни А. А. Спицына. — Очерки истории русской и советской археологии. Москва, Институт археологии АН СССР: 81–101.

Бердников Л. И. 2007. Клан Веселовских. — Кольцо А, 42: (перепеч. В книге Бердников Л. И. 2009. Евреи в ливреях. Литературные портреты. Москва, Человек: 127–151).

Берестов В. Д. 2006. Выступление на встрече со школьниками. — Интернет, annacora в портале chtoby pomnili.

Берестов В. Д. 1998. Избранные произведения в 2 т. — Т. 2. М., Изд-во им. Сабашниковых: Вагриус.

Беридзе В. 1935. Детство и гимназические годы Николая Яковлевича. — Проблемы истории докапиталистических обществ, № 3–4: 135–151.

Бернштейн С. Б. 2002. Зигзаги памяти: Воспоминания. Дневниковые записи. М., Институт славяноведения.

Бершадский Р. 1959. Горизонты истории. Москва, Детгиз.

Бибиков С. Н. 1955. О некоторых вопросах истории трипольской культуры (Письмо в редакцию по поводу рецензии Т. С. Пассек). ВДИ, № 3: 209–214.

Бибиков С. Н. 1984. Петр Петрович Ефименко. Советская Археология, 4: 287–290.

Бибиков С. Н. Поселение Лука-Врублевецкая на Днестре (Материалы и исследования по археологии СССР, № 38). Москва–Ленинград, 1953.

Бикбулатов Н. В., Кучумов И. В. 1996. Ученый-энциклопедист. — Вестник Академии Наук, Башкортостан, т. I, 1: 62–69.

Биографии российских писателей. Герард Фридрих Миллер. — Сын отечества (СПб), ч. 70, 1821, № 22: 49–74; № 23: 97–117.

Бич О. И. 1948. Архив А. А. Спицына. — Советская Археология, X. Москва–Ленинград, изд. АН СССР: 21–52.

Білодід О. І. 1989. Про Макаренка М. О. — Археологія, 1: 120–131.

Блаватский В. Д. 1948. Б. В. Фармаковский — исследователь античного мира. — КСИИМК, 22: 8–13.

Бобринский А. А. 1887, 1894, 1901. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы. Т. 1. Дневники пятилетних раскопок.

СПб, типогр. М. Стасюлевича; Т. 2. Дневники раскопок 1889–1897 гг. и о курганах Звенигородского и Роменского уездов. СПб, типогр. В. Балашова и Ко; Т. 3. Дневники раскопок 1889–1897 гг. и о курганах Звенигородского, Каневского и Роменского уездов. СПб.

Бобринский А. А. 2003. Граф Алексей Александрович Бобринский (1852–1927). Сын об отце. Подготов. к публ., предисл. и примеч. И. Л. Тихонова. — Культурное наследие Российского государства. СПб, Вести, вып. 4: 479–532.

Бобров В. В. 1997. Проблема социальных реконструкций в научном наследии М. П. Грязнова. — Четвертые исторические чтения памяти М. П. Грязнова. Омск, изд. Омск. ун-та: 7–9.

Богаевский Б. Л. 1931. К вопросу о теории миграции. — Сообщения ГАИМК, 8: 35–38.

Богаевский Б. Л. 1935. Из воспоминаний о Н. Я. Марре. — Проблемы истории докапиталистических обществ, № 3–4, с. 164–166.

Богданов В. В. 1941. Д. Н. Анучин — антрополог и географ (1843–1923). Москва, изд. Московского общества испытателей природы.

Болсуновский К. В. 1909. Жертвенник Гермеса-Световида. Мифологическое исследование. Киев, типогр. т-ва Г. Л. Фронцкевича.

Болтенко М. Ф. 1928. Профессор Б. В. Фармаковский (1870–1928). Некролог. — Східний світ, 6: 3–12.

Бонгард-Левин Г. М. 1997а. Автобиографические материалы М. И. Ростовцева. — СР: 43–49.

Бонгард-Левин Г. М. 1997б. М. И. Ростовцев в Америке. Висконсин и Йель. — СР: 145–184.

Бонгард-Левин Г. М., Вахтель М., Зуев В. Ю. 1997. М. И. Ростовцев и Вяч. И. Иванов. — СР: 248–258.

Бонч-Осмоловская (Морозова) О. Г. 2010. Дневники. — Культурное наследие Российского государства, вып. 5, СПб.

Борисковский П. И. 1932. К вопросу о стадиальности в развитии верхнего палеолита. — Первобытное общество, Москва, 1932: 64–76.

Борисковский П. И. 1989. Петр Петрович Ефименко. Воспоминания ученика. — Советская Археология, 3: 253–259.

Бородин О. Р. 1994. Неизвестная страница из жизни Н. П. Кондакова. — Вопросы византиноведения, 55, ч. I: 43–46.

Бочкарев В. С. 1994. В. И. Равдоникас и революция в советской археологии. — Международная конференция, посвященная 100-летию

со дня рождения профессора В. И. Равдоникаса. С.-Петербург, Гос. Эрмитаж: 13–15.

Бочкарев В. С. 2001. Периодизация В. А. Городцова в контексте хронологических исследований европейского бронзового века. — Бронзовый век Восточной Европы: характер культур, хронология и периодизация: Материалы международной конференции. Самара: 8–10.

Брашинский И. Б. 1979. В поисках скифских сокровищ. Ленинград, Наука.

Бродянский Д. Л. 1983. Воспоминания об учителе. — Природа, 8: 89–93.

Брюсов А. Я. 1926. Жилище. История жилища с социологической точки зрения. Л.: Прибой.

Брюсов А. Я. 1933. Кризис буржуазной археологии и поиски новых путей вслепую (А. Броггер). — ПИДО, 1935, 9–10: 213–221.

Брюсов А. Я. 1951. Рец. на книгу: Окладников А. П. «Неолит и бронзовый век Прибайкалья». — Вестник древней истории. 4: 155–161.

Брюсов А. Я. 1952. Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху. Москва, изд. Академии наук СССР.

Брюсов А. Я. 1964. Страницы из семейного архива Брюсовых. — Ежегодник Гос. Исторического музея. 1962 год. Москва: 233–248).

Брюсов А. Я. 2012. На тропах археологии. Воспоминания. Составители, авторы вступительной статьи, примечаний, комментариев С. В. Кузьминых, С. П. Щавелев. М.–Курск: Изд-во КГМУ, 2012. 88 с. (одновременно воспоминания «На тропах археологии» напечатаны в Российском Археологическом Ежегоднике, 2, за 2012 г., с. 647–702, предваренные статьей тех же публикаторов «Воспоминания Александра Яковлевича Брюсова „На тропах археологии"», с. 636–646).

Брюсов Валерий. 2002. Дневники. Автобиографическая проза. Письма. М.: Олма-Пресс: 227–229.

[Брук С. И.] 1995. «Нелишне узнать из первоисточника» (С бывшим заместителем директора Института Этнографии С. И. Бруком беседует В. А. Тишков). — Этнографическое обозрение 1: 89–100.

Бунак В. В. 1924. Деятельность Д. Н. Анучина в области антропологии. — Русский Антропологический Журнал, 13 (3–4): 1–18.

Бунятян К. П. 2002. Володимир Федорович Генинг: Життя заради археології. — Сучасні проблеми археології. Київ: 6–11.

Буровский А. М., Детлова Е. В. 2010. Конфликт профессиональных культур (к истории взаимоотношений В. А. Городцова и Геро

Мергарта). — История археологии: личности и школы. Материалы междунар. научн. конфер. к 160-летию со дня рожд. В. В. Хвойки. С.-Петербург, Нестор-История: 127–133.

Буслаев Ф. И. 1897. Мои воспоминания. Москва, В. Г. фон Бооль.

Буслаев Ф. И. 1873. Догадки и мечтания о первобытном человеке. — Русский вестник, 107 (10): 698–764.

Бухтоярова И. М. 2012. Сергей Николаевич Замятнин и его вклад в изучение палеолита. Дисс.... канд. ист. наук. Воронеж (на правах рукописи).

Буянова Н. 2009. Золотой телец Аркаима. Челябинск, АЛИМ.

Быков Г. В. 1973. Свет и тени в научной биографии. — Человек науки...: 68–72.

Быковский С. Н. 1931. Яфетический предок восточных славян — киммерийцы// Известия ГАИМК, т. VIII, вып. 8–10).

Быковский С. Н. 1932. О предмете истории материальной культуры. — Сообщения ГАИМК, № 1–2, с. 3–6.

Бэр К. М. 1851. Человек в естественно-историческом отношении. — Симашко Юл. Русская фауна. И отд. изд. Петербург, типография К. Вингебера.

В. Г. 1932. За большевистскую бдительность в краеведении. — Советское краеведение, 1932, N 1:7–17.

Вадецкая Э. Б. 1971. Роль бугровщиков и легенды о «могильном золоте» на Енисее. — СА 2: 208–211.

Вадецкая Э. Б. 1987. Методологические разработки М. П. Грязнова. — Исторические чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. Омск, Ч. 1: 14–17.

Вадецкая Э. Б. 1992. Возвращение к С. А. Теплухову. — Вторые исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова. Часть первая. Омск, изд. Омского университета: 16–18.

Ваксель С. 1940. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга. Ленинград–Москва, изд. Главсевморпути.

Варламов В. Ф. 1988. Карл Бэр — испытатель природы. Москва, Знание.

Васильев С. А. 1994. Г. А. Бонч-Осмоловский и современное палеолитоведение. — Российская Археология 2: 202–207.

Васильев С. А. 1998. Стадиализм в палеолитоведении 60 лет спустя. — Археологические вести, 5: 250–255.

Васильева Р. В. 2002. Фонд М. П. Грязнова в рукописном архиве ИИМК. — Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы Междунар. научн. конфер., посв. 100-летию со дня рождения М. П. Грязнова. Санкт-Петербург, изд. Эрмитажа, кн. 1: 28–30.

Васильков Я. В., Сорокина М. Ю. (сост.). 2003. Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917–1991). СПб, Петербургское Востоковедение.

Васютин С. А. 2002. Проблемы социальной потестарной организации ранних кочевников в трудах Михаила Петровича Грязнова. — Степи Евразии в древности и средневековье: материалы Междунар. конф., посвященной 100-летию со дня рождения Мих. Петр. Грязнова. СПб, изд. Эрмитажа, кн. 1: 30–33.

Вдовин А. С., Кузьминых С. В., Серых Д. В. 2008. Всероссийские археологические съезды: от Пскова до Новосибирска. — Российская археология, 4: 170–177.

Вернадский В. И. 1927. Памяти акад. К. М. фон Бэра. — Первый сборник...: 1–9.

Вернадский Г. В. О значении научной деятельности Н. П. Кондакова. К восьмидесятилетию со дня рождения 1844–1924 (1924). — Кондаков: 228–257.

Веселовский Н. И. 1900. История императорского археологического общества за первое пятидесятилетие его существования. 1846–1896. СПб, типогр. управления уделов.

Веселовский Н. И. 1906. В защиту русских археологов. — Новое время, 25 окт., № 10998 (переизд. в ИАК, 1906, вып. 21. Прибавление: 65–68, 68–70).

Вздорнов Г. И. 1997. Н. П. Кондаков в зеркале современной византинистики. — Труды отдела древней русской литературы Пушкинского Дома, 50: 792–797.

Вигель Ф. Ф. 1893. Записки. Москва, Русский архив. Университетск. типогр. Часть 7.

Вигель Ф. Ф. 1928. Записки. Т. I. Москва, Круг (нов. изд. 2000. М, Захаров).

Видейко М. Ю. 2002. Т. С. Пассек — дослідниця Трипільської культури. Календар-щорічник Українознавство 2003 р. — Київ, Поліграфкнига.

Відейко М. Ю. 2012. Організаційний експеримент: Тріпільська комісія. — Археологія и давна історія України (Київ), в. 9: 84–92.

Видейко М. Ю. 2008. Т. С. Пассек — исследовательница Трипольской культуры. (btb-net.com/main/387/tspassek-dosldnitsya-triplsko-kulturi; iananu. kiev.ua/private pages/Widejko/article/passek).

Видейко М. Ю. 2011. Полевые дневники Викентия Хвойки: история открытий археологических памятников и источник для исследований. — История археологии: личности и школы. Материалы междунар. научн. конфер. к 160-летию со дня рожд. В. В. Хвойки. С.-Петербург, Нестор-История: 25–31.

Викторова В. Д. 1977. Археологическая теория в трудах В. А. Городцова. — Археологические исследования на Урале и в Западной Сибири (Вопросы археологии Урала, вып. 4). Свердловск, изд. Уральск. ун-та: 5–14.

Викторова В. Д. 1999. Обращаясь к теоретическому наследию В. Ф. Генинга. — 120 лет археологии Восточного склона Урала. Первые чтения памяти Владимира Федоровича Генинга. Ч. 1. Из истории Уральской археологии. Духовная культура Урала. Ч. 1. Екатеринбург: 24–31.

Винберг Н. А., Заднепровская Т. Н., Левина Р. Ш. и Любимова А. А. 1965. Советская археологическая литература. Библиография 1918–1940. М.-Л.: Наука.

Волков Ф. К. 1913. Новейшие направления в антропологических науках и ближайшие задачи антропологии в России. — Ежегодник Русского антропологического общества при Петербургском университете, т. IV. СПБ: 1–8.

Волков Ф. К. Антропология и ее университетское преподавание. — Ежегодник Русского антропологического общества при Петербургском университете, т. V. СПб: 99–107.

Вопль души 2008 = Вопль души 1969. — Хранитель. Борис Борисович Пиотровский. Материалы к биографии. Санкт-Петербург, изд. Эрмитажа: 761.

Воронин Н. Н. 1948. Археологические заметки. (3. К истории «археологических» изысканий в России). — КС ИИМК, XIX: 66–69.

Воронов Ю. Н. 1994. Лев Николаевич Соловьев: 1894–1972. СПб, Триал.

Высоцкий Н. Ф. 1911. Очерки нашей народной медицины. — Записки Московского Археологического института, т. XI: 1–168.

Г. Ф. Миллер 2007. = Г. Ф. Миллер и русская культура. СПб, Росток.

Галанина Л. К. 1977. Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Н. Е. Бранденбурга). — Археология СССР. Свод археологических источников. Выпуск Д1-33. Наука.

Генинг В. Ф. 1982. Очерки по истории советской археологии. Киев, Наукова Думка.

Генинг В. Ф. 1983. Объект и предмет науки в археологии. Киев, Наукова Думка.

Генинг В. Ф. 1987. Актуальні питання сучасного етапу розвитку археологічних знань. — Археологія, 57: 1–9.

Генинг В. Ф. 1988. Проблемные ситуации и научные революции в археологии. — Проблемная ситуация в современной археологии. Киев, Наукова Думка: 26–84.

Генинг В. Ф. Археология — целостная научная система или «дилетантские вылазки» и «полуфабрикат знания»? (По поводу концепции объекта и предмета археологии Л. С. Клейна). — Советская Археология (Москва), 1989, № 3: 215–228.

Генинг В. Ф. 1992. Археология древностей — опыт исследования истории и философии археологии начального периода. — Генинг В. Ф. и Левченко В. Н. Археология древностей — период зарождения науки (конец XVIII — 70-е годы XIX в.). Киев, кооператив «Археолог»: 3–36.

Генинг В. Ф. 1992. О стиле дискуссии Л. С. Клейна. Письмо в редакцию. — Российская Археология, № 4: 257–259.

Германов В. А. 2002. Глас вопиющего в пустыне. Альянс диктатора и учёного. — Культурные ценности. Cultural values. Bidliotheca Turkmeninnica. Международный ежегодник. 2000–2001. Санкт-Петербург: Европейский дом: 13–34 (печаталось с продолжениями в интернет-портале «Письма о Ташкенте»).

Герцен А. И. 1958. Былое и думы. Части 4–5. М., ГИХЛ.

Гидони А. 1994. В защиту искусства. Держава Рериха. М. Изобразительное искусство: 81– 90.

Гиря Е. Ю., Ресино Леон А. 2002. С. А. Семенов, Костенки, палеолитоведение. — Археологические Вести, 9: 173–190.

Глушков И. Г. 1992. Вещь глазами М. П. Грязнова. — Вопросы истории археологического исследования Сибири. Омск: 56–77.

Голдина Р. Д. 2002. Мой путь в археологию. — Исследовательские традиции в археологии Прикамья. Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Т. 4). Ижевск, 16–55.

Голубева О. Д. 1988. Хранители мудрости. Москва, Книжная Палата, гл. I. Алексей Николаевич Оленин: 5–90, 235–247.

Голубева О. Д. 1997. А. Н. Оленин. Санкт-Петербург, [Российская национальная библиотека].

Горнунг Б. В. 1952. Семантические «законы» Н. Я. Марра и вопрос об отношении языка к истории материальной культуры. — Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании. Т. 2. М, AN SSSR, с. 170–178.

Городцов В. А. 1901. Русская доисторическая керамика. Москва, Московское археологическое общество.

Городцов В. А. 1908. Первобытная археология. Курс лекций, читанных в Московском Археологическом институте. М.: Печатня А. И. Снегиревой.

Городцов В. А. 1910. Бытовая археология. Курс лекций, читанных в Московском Археологическом Институте. М.: Печатня А. И. Снегиревой, 474 с.

Городцов В. А. 1914. Руководство для археологических раскопок и обработки добытого раскопками материала. По лекциям, читанным В. А. Городцовым в Московском археологическом институте, составил С. И. Флях. Москва, изд. Московского Археологического Института.

Городцов В. А. 1916. Культуры бронзовой эпохи в Средней России. — Отчет Российского Исторического музея за 1914 г. М., Синодальная типография. 1915: 121–226.

Городцов В. А. 1923а. Археология. Т. I. Каменный период. Москва–Ленинград, Госиздат.

Городцов В. А. 1930. Значение изучения древней техники в археологии. — Труды секции археологии Ин-та археологии и искусствознания РАНИИОН, т. 5: 9–14.

Горький М. 1951. Лев Толстой. — Собрание сочинений в 30 томах. М.: Гос. издат. худ. лит-ры, т. 14.

Готье Ю. В. 1925. Очерки по истории материальной культуры Восточной Европы до основания первого русского государства. Ленинград, Брокгауз-Ефрон.

Граб В. И. 1990. Дело Н. Е. Макаренко. — Вивчення історичної та культурної спадщини Роменщини: проблеми і перспективи. Тези допов. та повідомл. до наук.-практ. конф. Суми, Ромни: 29–31.

Граб В. И., Супруненко А. Б. 1993. Из эпистолярного наследия Н. Е. Макаренко. — Донецкий археологический сборник, вып. 3, Донецк: 36–45.

Грабарь И. Э. 1937. Моя жизнь. Автомонография. Москва–Ленинград, Искусство.

Граков Б. Н. 1999а. Письма к родным. — Евразийские древности. 1000 лет Б. Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи. Москва, Институт археологии РАН: 34–36.

Граков Б. Н. 1999б. Четыре письма Б. Н. Гракова к Э. Х. Миннзу. — Евразийские древности. 100 лет Б. Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи. Москва, Институт археологии РАН: 37–41.

Греков Б. Д. 1949 (1960). Удар по антипатриотическим тенденциям в исторической науке. Отзыв на книгу Б. А. Рыбакова «Ремесло Древней Руси». — Новый мир, № 3, с. 170–173 (перепеч. в «Лит. газ.» за 13 апреля и «Правде» за 15 апреля, а также в: Греков Б. Д. Избранные труды, т. 3. М, АН СССР, с. 467–470).

Григорьев Г. П. 1964. Миграции, автохтонное развитие и диффузия в эпоху верхнего палеолита (VI Междунар. конгр. антропологич. и этнографич. наук). Москва, Наука.

Григорьев Г. П. 1972. Культура и тип в археологии: категории анализа или реальность? — Тезисы докладов на сессии ИИМК АН СССР: 5–9.

Григорьев Г. П. 1992. П. П. Ефименко и С. Н. Замятнин. — Краткие Сообщения Института Археологии АН СССР, 206: 12–17.

Григорьев Г. П. 1997. Ф. К. Волков и Мезин. — Традиции... 82–85.

Григорьев Г. П. 2005. Статуэтки из Гагарино. — Искусство и ритуал ледниковой эпохи. Луганск, Вега, 71–83.

Григорьев Г. П., Праслов Н. Д. 1985. Памяти Александра Николаевича Рогачева. — Советская Археология, 2: 302–303.

Грязнов М. П. 1930. Казахстанский очаг бронзовой культуры. — Казаки, Л, вып. 3: 149–162.

Грязнов М. П. 1941. Древняя бронза минусинских степей. I. Бронзовые кельты — Труды отдела истории первобытной культуры Гос. Эрмитажа, т. I, Ленинград: 237–271.

Грязнов М. П. 1952. Памятники карасукского этапа в Центральном Казахстане. — Советская Археология, Т. 16: 129–162.

Грязнов М. П. 1969. Классификация, тип, культура. Теоретические основы советской археологии (тезисы докладов...). Ленинград, изд. АН СССР: 18–22.

Грязнов М. П. 1988. С. А. Теплоухов и его роль в истории сибирской археологии. — Источники и историография. Археология и история. Омск, изд. Омск. у-та: 69–75.

Гуляев В. И., Беляев Д. А. 1995. О современном состоянии археологи в России (полемические заметки). — Российская Археология, 3: 97–104.

Гуменна Докія. 1978. Минуле пливе в прийдешнє. New-York, Slovo.

Гуменна Докія. 1990. Дар Євдотеї. Жар і крига. Балтимор–Торонто, т. 2: 279–280.

Гумилев Л. Н. 1966. Открытие Хазарии. Москва, Наука.

Гурвич Д. М. 1956. Татищев и русская археологическая наука. — СА, XXVI: 159–161.

Гурулева В. В. 2005. С. Г. Строганов — первый президент Императорской Археологической Комиссии. — Хранитель. Исследователь. Учитель. К 85-летию В. М. Потина. Сборник научных статей. СПб, Гос. Эрмитаж.

Дашковский П. К. 2001. Проблемы реконструкции социальной организации кочевников Горного Алтая скифской эпохи в творчестве С. И. Руденко. — Гуманитарные исследования на пороге нового тысячелетия. Барнаул, изд. Алтайского университета: 109–112.

Деревянко А. П. 1978. В поисках Оленя Золотые Рога: документальная повесть. Благовещенск, Хабаровское книжн. издат. (2-е изд. 1980).

Детлова Е. В. 2008. Геро фон Мергарт и А. А. Спицын: по страницам воспоминаний и писем. — История и практика археологических исследований. Материалы Международной археологической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения... А. А. Спицына. Изд. дом С.-Петербургского университета: 241–246.

Длужневская Г. В. 1991. Деятельность РАИМК–ГАИМК: 1919–1937. — Материалы конференции «Археология и социальный прогресс». Вып. 1. М, Инст. археол. АН СССР: 31–44.

Длужневская Г. В., Лазаревская Н. А., Медведева М. В. 2002. Научное наследие Михаила Петровича Грязнова в Фотоархиве ИИМК РАН. — Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы Междунар. научн. конфер., посв. 100-летию со дня рождения М. П. Грязнова. Санкт-Петербург, изд. Эрмитажа, кн. 1: 35–41.

Докторов Б. З. 2007. Биографии для истории. — телескоп, 1: 10–22.

Доленга-Ходаковский З. 1819. Розыскания касательно русской истории. — Вестник Европы, ч. CVII, № 20: 277–302.

Доманицький В. 1905. Піонер української етнографії. — Записки наукового товариства імені Шевченка (Львов), 15 (3): 1–43.

Донесение 1844. Донесение о первых успехах путешествия по России Зорияна Долуго-Ходаковского. — (Русский исторический сборник, т. 7. Москва, Имп. Русское историческое общество).

Древние славяне и их соседи. Сборник к 60-летию рождения П. Н. Третьякова. —Материалы и исследования по археологии СССР. Том 176. Ред. Ю. В. Кухаренко. М. Наука. 1970. 158 с. (Список работ П. Н. Третьякова с 1931 г.).

Древности (Труды МАО), том XXI, вып. 1. Протоколы заседаний Импер. МАО за 1903–1904 гг.: 49–50.

Дубаев М. Л. 2001. Харбинская тайна Рериха. Рерих и русская эмиграция на Востоке. Москва, Сфера.

Дубаев М. Л. 2003. Рерих. Москва, Молодая Гвардия (ЖЗЛ).

Дэвлет М. А. 1996. Петроглифы Енисея: история изучения XVIII — начало XX вв. Новосибирск, Наука.

Дюбрюкс П. 2010. Собрание сочинений. Тт. I–II. Сост. и отв. ред. Тункина И. В. Санкт-Петербург, Коло.

Ефименко П. П. 1926. Рязанские могильники. Опыт культурно-стратиграфического анализа могильников массового типа. — Материалы по этнографии (Ленинград), т. 3, вып. 1.

Ефименко П. П. 1931. Значение женщины в ориньякскую эпоху (Известия ГАИМК, т. 11, в. 3–4). Ленинград.

Ефименко П. П. 1933. К вопросу о стадиальности в истории доклассового общества (доклад на апрельском пленуме ГАИМК). — Проблемы истории доклассового общества, 5/6: 80.

Ефименко П. П. 1934. Дородовое общество. Очерки по истории первобытно-коммунистического общества. Москва–Ленинград (Известия ГАИМК, 79) (в 1938 г. переизд. под назв. «Первобытное общество»).

Ефименко П. П. 1960. Переднеазиатские элементы в памятниках позднего палеолита Северного Причерноморья (К происхождению мадленской культуры Восточной Европы). — Советская Археология, 4: 14–25.

Жебелев С. А. 1923. Введение в археологию. М–Пг, Наука и школа, ч. 2. Теория и практика археологического знания.

Жебелёв С. А. 1929. Памяти Бориса Владимировича Фармаковского. Речь на торжественном заседании ГАИМК... 4 октября 1928 г. — Сообщения ГАИМК, 2: 5–24.

Жебелев С. А. 1948. Археолог-энтузиаст (Памяти А. А. Спицына). — Советская Археология, X. Москва–Ленинград, изд. АН СССР: 9–11.

Жебелев С. А. 2002. ΟΞΥΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. — Кондаков: 217–222.

Жервэ Н. Н. 1994. Археологическая деятельность и коллекции В. С. Передольского в оценке А. А. Иностранцева. — Вопросы геологии и археологии. Тезисы докладов международного симпозиума, посвященного 150-летию со дня рождения... А. А. Иностранцева (1843–1919). Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет: 59–60.

Жизненный путь 2004 = Жизненный путь, творчество, научное наследие Сергея Ивановича Руденко и деятельность его коллег. Барнаул, изд. Алтайского университета.

Жихарев С. П. 1955. Записки современника. Москва–Ленинград, Academia.

Жук А. В. 1990. Отсутствие археологического интереса в средневековой культуре (на примере Западной Сибири). — История археологических исследований Сибири. Омск, изд. ОмГУ: 32–41.

Жук А. В. 1992. Василий Алексеевич Городцов в первые годы его научной деятельности. — Вопросы истории археологических исследований Сибири. Омск, изд. Омского университета: 24–36 (перепечат. 1995: Археология Сибири: историография. Омск, изд. Омского университета, ч. I: 25–43).

Жук А. В. 2005. Василий Алексеевич Городцов в рязанский период его жизни, службы и научной деятельности. Омск, Омский университет.

Жук А. В., Михалева Т. В. 2000. ИКС (по записям М. П. Грязнова). — Исторический ежегодник. Специальный выпуск. Посвящается 70-летию зав. каф. Омского гос. университета, зав. сектором археологии ИИФФ СО РАН, проф. д. и. н. Владимира Ивановича Матющенко. Под ред. Толпеко И. В. и Якуба А. В. Омск, изд. Омск. ун-та: 86–88.

Жуков Е. М., Захарук Ю. Н., Плетнева С. А. 1978. 70-летие академика Б. А. Рыбакова. — Вопросы истории, № 5, с. 130–134.

Журавлева Г. Н. 2000. Вопросы социальных реконструкций в работах В. Ф. Генинга. — Российская археология: достижения XX и перспективы XXI вв. Материалы научной конференции к75-летию В. Ф. Генинга. Ижевск: 24–30.

Забелин И. Е. 1860. Размышления о современных задачах русской истории и древностей. — Отечественные записки, т. 133, кн. 11, отд. 1: 94–146.

Забелин И. Е. 1872–1873. Опыты изучения русских древностей и истории: Исследования, описания и критические статьи. Чч. 1–2. Москва, типогр. В. Грачева.

Забелин И. Е. 1878а. В чем заключаются основные задачи археологии как самостоятельной науки? — Труды III Археологического съезда 1874 г. в Киеве. Киев, в типогр. Импер. университета Св. Владимира: 1–17.

Забелин И. Е. 1878б. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. — Древняя и новая Россия, 3: 185–203, 4: 281–303.

Забелин И. Е. 1900. Русское искусство. Черты самобытности в древнерусском зодчестве. Москва, Гроссман и Кнебель.

Забелин И. Е. 1995. Воспоминания о жизни. — Река времен. Книга истории и культуры. Москва, Эллис Лак — Река Времени, 2: 11–60.

Забелин И. Е. 2001. Дневники. Записные книжки. Москва, изд. им. Сабашниковых.

Завитухина М. П. 1977. Собрание М. П. Гагарина 1716 года в Сибирской коллекции Петра I. — Археологический сборник Гос. Эрмитажа, в. 18. Ленинград, изд. Гос. Эрмитажа: 41–51.

Загорская Е. И. 1995. Библиотечная классификация К. М. Бэра: к истории русских классификаций. — Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. II Междунар. конфер. Крым-95.

Замятнин С. Н. 1950. Первая русская инструкция для раскопок. — СА, XIII: 287–291.

Звагельський В. Б. 1990. Дослідник історії України М. Макаренко. — Питання археології Сумщини. М-ли наук. практ. конф. Суми: 21–33.

Звагельський В. Б. 1990а. Нові матеріали про Миколу Макаренка (розшуки 1988–1990 рр.). — Вивчення історичної та культурної спадщини Роменщини: проблеми і перспективи. Тези допов. та повідомл. до наук.-практ. конф. Суми, Ромни: 23–29.

Звагельський В. Б. 1990б. Хроніка життя і діяльності М. Макаренка. — Вивчення історичної та культурної спадщини Роменщини: проблеми і перспективи. Тези допов. та повідомл. до наук.-практ. конф. Суми, Ромни: 53–60.

Золотарев Д. А. 1918. Ф. К. Волков (некролог). — Русский Исторический Журнал, 5: 353–357.

Золотоносов М. Н. 2003. Отщеренis Серебряного века. Роман для специалистов (Братья Мережковские. Книга первая). Москва, Ладомир.

Зуев В. Ю. 1997. М. И. Ростовцев. Годы в России. Биографическая хроника. — СР: 50–83.

Длужневская Г. В., Медведева М. В., Платонова Н. И. и Мусин А. Е. 2009. Славяно-русские и средневековые древности в исследованиях Императорской археологической комиссии. — ИАК-150 (о Бранденбурге: 813–908).

ИАК-150 2009 = Императорская археологическая комиссия (1859–1917). К 150-летию со дня основания. У истоков отечественной археологии и охраны культурного наследия. Научн. ред.-сост. А. Е. Мусин. Санкт-Петербург, Дмитрий Буланин.

ИВ = *Иностранцев А. А.* 1998. Воспоминания (Автобиография). Санкт-Петербург, Петербургское Востоковедение.

Иванов Н. Н. 1910. Поляков И. С. — Русский биографический словарь, т. 14: 481–484.

Иванова Н. В. 2011. Переписка В. Т. Илларионова как источник по истории отечественной археологии 1930–1940 гг. — История археологии: личности и школы. Материалы междунар. научн. конфер. к 160-летию со дня рожд. В. В. Хвойки. С.-Петербург, Нестор-История: 162–169.

Игнаткин И. А. и др. 1964. Киев. Путеводитель-справочник. К., изд-во полит. лит-ры Украины.

Из личного 2002. = Из личного архива М. П. Грязнова. — Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы Междунар. научн. конфер., посв. 100-летию со дня рождения М. П. Грязнова. Санкт-Петербург, изд. Эрмитажа, кн. 1: 85–90.

Илизаров Б. С. 2002. Тайная жизнь Сталина. По материалам его библиотеки и архива. К историографии сталинизма. Москва, Вече.

Иностранцев А. А. 1882. Доисторический человек каменного века Побережья Ладожского озера. Санкт-Петербург, типогр. М. М. Стасюлевича.

Иоаннисян О. М. 2007. К вопросу о происхождении мастеров Дмитриевского собора во Владимире. — Труды по русской истории. Сборник статей в память о 60-летии И. В. Дубова. Москва.

Иоффе А. Ф. 1935. Ученый исключительной трудоспособности. — Проблемы истории докапиталистических обществ, № 3–4, с. 212.

К 60-летию. 1963. = К 60-летию Отто Николаевича Бадера. — Советская археология, 4: 126–128.

Каганович Б. С. 1994. Начало трагедии (Академия наук в 1920-е годы по материалам архива С. Ф. Ольденбурга). — Звезда, 1994, 12: 124–144.

Каменецкий И. С., Маршак Б. И., Шер Я. А. 1975. Анализ археологических источников (возможности формализованного подхода). Москва, Наука.

Каменская М. Ф. 1894. Воспоминания. — Исторический вестник, т. 55, № 5: 329–354; № 6: 621–633.

Каменский А. Б. 1991. Ломоносов и Миллер: два взгляда на историю. — Ломоносов. Сборник статей и материалов, 9. СПб, Наука: 39–48.

Каменский А. Б. 1996. Судьба и труды историографа Герарда Фридриха Миллера (1705–1783). — Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России. Избранное. Москва, Наука: 374–415.

Карасев А. Н. 1976. Б. В. Фармаковский и Ольвия. — Художественная культура и археология античного мира. Москва, Наука: 13–21.

Каренин В. 1927. Владимир Стасов. Очерк его жизни и деятельности. Ч. I. Ленинград, Мысль.

Каталог собрания древностей графа А. С. Уварова. Сост. П. С. Уварова. Отд. I–XI. Москва, в Синодальной типогр., 1887–1908.

Каханоўски Г. А. 1984. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI–XIX стст. Мінск, Навука і тэхніка.

Качалова Н. К. 1974. Эпоха бронзы (Эрмитажная коллекция Н. Е. Бранденбурга). Археология СССР. Свод археологических источников. Выпуск В4-12 М. Наука.

Ким Ю. 2007. Дорогой наш ГэБэ. — Брусчатка: 1.

Киркевич В. Г. 2005. Рерихи. Из материалов к книге. Междунар. научно-практич. конфер. «Рериховское наследие», т. II. Новая Россия на пути к единству человечества. СПб, Вышний Волочок, Рериховский центр СпбГУ, изд. Ирида-Прогресс: 328–351.

Кирпичников А. Н. 2003. Николай Ефимович Бранденбург — выдающийся оружиевед, историк, археолог. — Бранденбурговские чтения. СПб: 13–15.

Киселев С. В. 1928. Поселения. Социологический очерк. — Труды секции теории и методов РАНИОН, т. 2: 35–68.

Киселев С. В. 1951. Вопросы археологии первобытного общества в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. — Краткие сообщения ИИМК, 36: 3–13.

Киселев С. П. 1947. Дмитрий Николаевич Анучин — археолог. — Труды Института этнографии АН СССР, нов. сер. I: 22–24.

Китова Л. Ю. 2007. История Сибирской археологии (1920–1930-е годы): изучение памятников эпохи металла. Новосибирск, изд. Института археологии и этнографии СО РАН.

Клейн Б. С. 1986. В годину испытаний. Минск, Мастацкая Литаратура.

Клейн Л. С. 1955. Вопросы происхождения славян... — Советская археология, XXII. М.: 257–272.

Клейн Л. С. 1962. Краткое обоснование миграционной гипотезы о происхождении катакомбной культуры. — Вестник Ленинградского университета, 2:74–87.

Клейн Л. С. 1968. К семидесятилетию М. И. Артамонова. — Советская Археология (Москва), № 4, с. 151–156.

Клейн Л. С. 1972. О приложимости идей кибернетики к построению общей теории археологии. — Тезисы докладов на секциях, посвященных итогам полевых исследований 1971 г. Москва, Наука: 14–16.

Клейн Л. С. 1973. Археологические признаки миграций (IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук, Чикаго, 1973. Доклады советской делегации). Москва, б. и.

Клейн Л. С. 1975а. К разработке процедуры археологического исследования. — Предмет и объект археологии и вопросы методики археологических исследований. Ленинград, Наука: 42–44.

Клейн Л. С. 1975б. Проблема смены культур в современных археологических теориях. — Вестник Ленинградского Университета, 8: 95–103.

Клейн Л. С. 1977а. К оценке эмпиризма в современной археологии. — Проблемы археологии и этнографии (Л.), 1: 13–22.

Клейн Л. С. 1977б. Предмет археологии. — Археология Южной Сибири (Известия кафедры археологии Кемеровского университета, вып. 9). Кемерово, издат. Кемеровского университета: 3–14.

Клейн Л. С. 1978а. Археологические источники. Ленинград, издательство Ленинградского университета (второе, дополненное изд.: Санкт-Петербург, Фарн, 1995).

Клейн Л. С. 1978б. Три процедуры археологического исследования. — Вопросы археологии Урала, вып. 14. Свердловск, 1978, с. 15–24.

Клейн Л. С. 1981. Проблема смены культур и теория коммуникации. — Количественные методы в гуманитарных науках. Москва, издат. Московского университета: 18–23.

Клейн Л. С. 1986. О предмете археологии (В связи с выходом книги В. Ф. Генинга «Объект и предмет науки в археологии»). — Советская Археология, 3: 209–219.

Клейн Л. С. 1988. Стратегия синтеза в исследованиях по этногенезу. — Советская Этнография (Москва), 4: 13–23.

Клейн Л. С. 1990. Памяти языческого бога Рода. — Язычество восточных славян. Л., Музей этнографии народов СССР, с. 13–26.

Клейн Л. С. 1991а. В защиту «чистой археологии». — Советская Археология (Москва), 2: 102–110.

Клейн Л. С. 1991б. Рассечь кентавра. О соотношении археологии с историей в советской традиции. — Вопросы истории естествознания и техники (Москва), № 4: 3–12.

Клейн Л. С. 1991в. Языческий подход к лингвистике. — Советское славяноведение, 1991, № 4, с. 88–92.

Клейн Л. С. 1993а. Археология предреволюционной России. — Проблемы истории отечественной археологии. Тезисы докладов конференции (11–13 декабря 1990 г.). С.-Петербург, С.-Петербургский университет: 4–6.

Клейн Л. С. 1993б. Феномен советской археологии. Санкт-Петербург, Фарн.

Клейн Л. С. 1994. Збручский идол: интерпретация или языческая теология? — Этносемиотика ритуальных предметов. СПб, Российский этнографический музей, с. 210–221.

Клейн Л. С. 1995а. О древнерусских языческих святилищах. — Церковная археология (Материалы Первой Всероссийской конференции. Псков, 20–24 ноября 1995 года). Часть 1. Распространение христианства в Восточной Европе. Санкт-Петербург — Псков: 71–80.

Клейн Л. С. 1995б. Парадигмы и периоды в истории отечественной археологии. Рец. на: Г. С. Лебедев. История отечественной археологии 1700–1917. СПб, изд. Санкт-Петербугского университета, 1991. — Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. СПб, изд. Санкт-Петербургского университета: 173–183.

Клейн Л. С. 1995в. Российская археология на переломе. — Церковная археология (Материалы Первой Всероссийской конференции. Псков, 20–24 ноября 1995 года). Часть 3. Памятники церковной археологии России. Санкт-Петербург — Псков: 86–105 (На обор. титульн. листа: Археологические изыскания [ИИМК], вып. 26, ч. 3).

Клейн Л. С. 1997а. Российское палеоэтнологическое направление в контексте мировой археологии. — Традиции отечественной палеоэтнологии. Тезисы докладов Международной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Федора Кондратьевича Волкова (Вовка). Санкт-Петербург, изд. Санкт-Петербургского университета: 49–52.

Клейн Л. С. 1997б. «Человек дождя»: коллекционирование и природа человека. — Музей в современной культуре. Сборник научных трудов. Санкт-Петербургская гос. академия культуры. Санкт-Петербург, 1997: 10–21.

Клейн Л. С. 1999а. Глубина археологического факта и проблема реконверсии. — Stratum plus (Санкт Петербург — Кишинев — Одесса), 6: 337–361.

Клейн Л. С. 1999б. Миграция: археологические признаки. — Stratum plus (Санкт-Петербург —Кишинев — Одесса), 1: 52–71.

Клейн Л. С. 2000. Археология в седле (Косинна с расстояния в 70 лет). — Stratum plus (Санкт-Петербург —Кишинев — Одесса), 4: 88–140.

Клейн Л. С. 2001. Принципы археологии. Санкт-Петербург, Бельведер.

Клейн Л. С. 2004а. Введение в теоретическую археологию. Кн. 1. Санкт-Петербург, Бельведер.

Клейн Л. С. 2004б. Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества. Санкт-Петербург: Евразия.

Клейн Л. С. 2004в. Типы ученых в истории российской археологии. — Мавродинские чтения 2004. Актуальные проблемы историографии и исторической науки. Материалы юбилейной конференции, посвященной 70-летию исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Санкт-Петербург, изд. С.-Петербургского университета: 230–231.

Клейн Л. С. 2005а. Византиец. — Кондаковские чтения I. Проблемы культурной преемственности. Материалы I международной научной конференции. Белгород, Белгородский гос. университет: 5–24.

Клейн Л. С. 2005б. Работы по классификации и типологии в отечественной археологии на рубеже тысячелетий. Запоздалая рецензия. — Стратум-плюс (2003–2004), 2: 439–450.

Клейн Л. С. 2008. Экспедиция Мессершмидта. — «Троицкий вариант», вып. 18N (854), 9 декабря: с. 10–11.

Клейн Л. С. 2009а. Сановный ученый Алексей Николаевич Оленин. — Развитие личности, 1: 121–147.

Клейн Л. С. 2009б. Ave Caesar! — «Троицкий вариант», вып. 17 (36), 1 сент.: 14.

Клейн Л. С. 2010. Воевода советской археологии. — Технология власти, 2 (Нестор, 14). Санкт-Петербург, Нестор-История, 2010: 223–237.

Клейн Л. С. 2010. Трудно быть Клейном: автобиография в монологах и диалогах. Санкт-Петербург, Нестор-История.

Клейн Л. С. 2011а. История археологической мысли. Том 1. Санкт-Петербург, изд. С.-Петербургского университета.

Клейн Л. С. 2011б. La bète noire советской археологии: А. А. Формозов. — Л. С. Клейн, С. П. Щавелёв. Александр Александрович Формозов (1928–2009). Послесловие. Курск, изд-во Курского медицинского университета, 2011: 8–26.

Клейн Л. С., Лебедев Г. С., Назаренко В. А. 1970. Норманнские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения. — Исторические связи Скандинавии и России IX–XX веков. Под ред. Н. Е. Носова и И. П. Шаскольского. Л.: Наука: 226–252.

Кобылина М. М. 1976. Б. В. Фармаковский и античная художественная культура. — Художественная культура и археология античного мира. Москва, Наука: 46–55.

Ковалева В. Т. Свердловская школа В. Ф. Генинга. — 120 лет археологии Восточного склона Урала. Первые чтения памяти Владимира Федоровича Генинга. Ч. 1. Из истории Уральской археологии. Духовная культура Урала. Ч. 1. Екатеринбург: 24–31.

Ковалевская В. Б. 1991. Типологический метод В. А. Городцова. — Проблемы изучения древних культур Евразии: к 130-летию со дня рождения ученого-археолога В. А. Городцова. Москва, Наука: 192–199.

Козмин Н. К. 1922. Пушкин и Оленина (по новым данным). — Сборник Пушкинского дома на 1923 год. Петроград: 31–34.

Колесникова В. А. 2008а. Його називали археологом-революціонером (біографічній нарис). — Хвойка: 153–157.

Колесникова В. А. 2008б. Сторонкі життя Вікентія Хвойки. Київ, Наукова Думка.

Колпаков 1991. Теория археологической классификации. Санкт-Петербург, б. и.

Колчин Б. А., Шер Я. А. (ред.) 1965. Археология и естественные науки (МИА, 129).

Кондаков Н. П. 1884. Какая возможна в современной науке археологии постановка вопроса о влиянии в области искусства вообще

и византийского искусства в частности. — Бюллетени VI Археологического съезда в Одессе, № 4. Одесса.

Кондаков Н. П. 1892. История и памятники византийской эмали. Петербург, изд. А. Звенигородской (на обложке: Византийские эмали).

Кондаков Н. П. 1898. Русские клады. Исследование древностей великокняжеского периода. СПб, Импер. Археол. Комиссия.

Кондаков Н. П. 1899. О научных задачах истории древнерусского искусства. СПб, типогр. В. С. Балашова (оттиск из: Памятники древней письменности и искусства, № 132).

Кондаков Н. П. 1909. Македония. Археологическое путешествие. Санкт-Петербург, АН ОРЯЗ.

Кондаков Н. П. 2002. Воспоминания и думы. Москва, Индрик (напис. 1919, перв. изд. Прага 1927).

Кондаков Н. П. и Толстов И. И. 1898–1899. Русские древности в памятниках искусства. Санкт-Петербург, типогр. Министерства путей сообщ., т. V.

Конопацкий А. К. 2001. Прошлого великий следопыт (Академик А. П. Окладников: Страницы биографии). Новосибирск, Сибирский хронограф.

Копылов Г. Г. 2004. Об одной археологической экспедиции с Г. Г. Федоровым. — gen-kopylov.ru

Кореняко В. А. 2004. Этические проблемы и кризисные явления в археологии. — Проблемы первобытной археологии Евразии. К 75-летию А. А. Формозова. Москва, Институт археологии РАН: 36–47.

Коробкова Г. Ф. 1969. К 70-летию Сергея Аристарховича Семенова. — *Коробкова Г. Ф.* 1979. Сергей Аристархович Семенов. — Советская Археология, 4: 314–315.

Коробкова Г. Ф. 1992. Трасологические наблюдения М. П. Грязнова и современные достижения метода микроанализа в изучении каменных изделий поздних эпох. — Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы Междунар. научн. конфер., посв. 100-летию со дня рождения М. П. Грязнова. Санкт-Петербург, изд. Эрмитажа, кн. 1: 47–50.

Коробкова Г. Ф. 1999. К 100-летию Сергея Аристарховича Семенова. — Археологические Вести, 6: 503–511.

[Корф М. А.] 1899. Из записок барона (впоследствии графа) М. А. Корфа. — Русская Старина, 100 (11): 269–272.

Корягин С. В. 1999. Миллеры: Материалы к истории и генеалогии донского дворянского рода. Ч. 1 (Генеалогия и семейная история Донского казачества. Вып. 2). СПб.: ВИРД.

Костомаров Н. И. 1922. Автобиография. Под ред. В. Котельникова. Москва, Задруга (перепеч. В Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. Киев, 1990: 425–438).

Кочубинский А. А. 1896. Граф С. Г. Строганов. Из истории наших университетов 30-х гг. — Вестник Европы, 7: 165–196; 8: 471–490.

Кошеленко Г. А. 2004. Борис Владимирович Фармаковский (1870–1928). — Портреты историков. Время и судьбы. Т. 3. Древний мир и Средние века. Москва, Наука.

Кошеленко П. А., Масленников А. А. 2000. Владимир Дмитриевич Блаватский. — Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история. Москва, Наука: 64–72.

Крайнов Д. А. 1960. К столетию со дня рождения В. А. Городцова. — Советская археология, 1: 120–124.

Крайнов Д. А. 1975. К 70-летию О. Н. Бадера. — Памятники древнейшей истории Евразии. М., Наука.

Крайнов Д. А. 1985. К 125-летию со дня рождения В. А. Городцова. — Советская археология, 4: 265–268.

Крайнов Д. А. 1991. Памяти В. А. Городцова. — Проблемы изучения древних культур Евразии: к 130-летию со дня рождения ученого-археолога В. А. Городцова. Москва, Наука: 12–27.

Кропоткин П. А. 1966. Записки революционера. Москва–Ленинград, Мысль.

Круглов А. П. и Подгаецкий Г. В. 1935. Родовое общество степей Восточной Европы (Известия ГАИМК, вып. 119). Ленинград, ОГИЗ.

Крупнов Е. И. 1956. О жизни и научной деятельности В. А. Городцова. — Советская Археология, 25: 5–12.

Кузищин В. И. 1986. Об изучении социально-экономической истории древнего мира в произведениях В. Д. Блаватского. — Проблемы античной культуры. Москва, Наука: 36–43.

Кузнецов С. С. 1969. Александр Александрович Иностранцев. Ленинград, изд. Ленинградского университета.

Кузьмина Е. Е. 2008. Классификация и периодизация памятников андроновской культурной общности. Актобе, ПринтА.

Кузьминых С. В. 2004а. Отто Николаевич Бадер и отечественная археология эпохи раннего металла. — Российская археология, 4: 142–150.

Кузьминых С. В. 2004б. Проблемы эпохи раннего металла в трудах В. Ф. Генинга. — Удмуртской археологической экспедиции — 50 лет: Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 50-летию Удмуртской археологической экспедиции и 80-летию со дня рождения В. Ф. Генинга. Ижевск, УИИЯЛ УрО РАН: 91–99.

Кузьминых С. В., Белозёрова И. В. 2011а. В. А. Городцов об идеальном типе археологических музеев и единой системе экспозиции археологических памятников// Образы времени. Из истории древнего искусства. К 80-летию С. В. Студзицкой. (Труды ГИМ, 189). М.: ГИМ: 22–35).

Кузьминых С. В., Белозёрова И. В. 2011б. Между Москвой и Ленинградом: В. А. Городцов и ИАЭ/ИААЭ. — Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Т. II/ Ответ. ред. Н. А. Макаров, Е. Н. Носов. СПб. М. — Великий Новгород: ИИМК РАН, 2011: 333–334;

Кузьминых С. В., Усачук А. Н. 2011 «Миллион этой власти проклятий!..» (Письма Н. Е. Макаренко А. М. Тальгрену). — История археологии: личности и школы (к 160-летию со дня рождения В. В. Хвойки). Санкт-Петербург, Нестор-История: 195–216.

Кузьминых С. В., Щавелев С. П. 2012. Воспоминания Александра Яковлевича Брюсова «На тропах археологии»// Российский археологический ежегодник. № 2. С. 636–702.

Кузьминых С. В., Усачук А. Н. 2015. «Глубокоуважаемый и дорогой друг Михаил Маркович!» (Хельсинкская коллекция писем Н. Е. Макаренко А. М. Тальгрену). — Российский Археологический Ежегодник, 5, 2015 (в печати).

Купряшина Т. Б. 1990. Родословное древо Уваровых. — Уваровские чтения. Муром.

Купряшина Т. Б. 1991. Коллекция из имения А. С. и П. С. Уваровых Карачарово в Муромском музее. — Очерки истории русской и советской археологии. Москва, Инст. Археологии АН СССР: 51–69.

Купцов И. В. 2005. Род Строгановых. Челябинск, Каменный пояс.

Кураев А. 2002. Уроки сектоведения, часть 1. Как узнать секту? (На примере рериховского движения). Издательство: Формика.

Курочкин Г. И. 1995. Большая охота за сибирским «могильным золотом». — Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. СПб, Санкт-Петербургский университет: 9–17.

Куфтин Б. А. Льяловская неолитическая культура на реке Клязьме в Московском уезде в ее отношении к окскому неолиту Рязанской губер-

нии и ранненеолитическим культурам Северной Европы. — Труды общества исследователей Рязанского края. Вып. 5. Рязань, 1925.

Кушнарева К. Х. 1996. А. А. Иессен. Вехи жизни и творчества. — Между Азией и Европой: Кавказ в IV–I тыс. до н. э. Санкт-Петербург, Эрмитаж: 11–21.

Кызласов Л. Р. 1962. Начало сибирской археологии. — Историко-археологический сборник (в честь А. В. Арциховского). М., изд. Московского университета: 43–52.

Кызласов Л. Р. 1983. В Сибирь неведомую за письменами таинственными. — Путешествия в древность. Москва, изд. МГУ: 16–49.

Кызласов Л. Р. 2003. Киселёв Сергей Владимирович (1905–1962 гг.). — Древности Алтая, 11: 20–22.

Кызласов Л. Р. 2004. Памятные встречи с Л. А. Евтюховой (в ознаменование 100-летия со дня рождения). — Древности Алтая, 12: 82–84.

Кызласова И. Л. 1985. История изучения византийского и древнерусского искусства в России (Ф. И. Буслаев, Н. П. Кондаков: методы, идеи, теории). Москва, изд. Московского университета.

Кызласова И. Л. 1993. Н. П. Кондаков и П. С. Уварова. Письма 1880–1910 гг. Из фондов Исторического музея. — Художественно-исторические памятники Можайска и русская культура XV–XVI веков. Можайск, Программа «Храм» и др.: 105–124.

Кызласова И. Л. 2010. Об археологе В. П. Левашевой и ее отце протоиерее П. Н. Левашеве. — Человек и древности. Памяти Александра Александровича Формозова (1928–2009). Москва, Гриф и К: 751–769.

Лазарев В. Н. 1925. Никодим Павлович Кондаков (1844–1925). Москва, изд. автора.

Лазаревич О. В., Молодин В. И., Лабецкий П. П. 2002. Н. К. Рерих-археолог. Новосибирск, изд. Института археологии и этнографии СО РАН.

Лазаревич О. В. 1999. Археология в жизни и творчестве Н. К. Рериха: Автореф. дис... канд. ист. наук: Новосибирск.

Лапшин В. А. 1986. Оценка деятельности А. С. Уварова в русской и советской археологической литературе (динамика критики). — Финно-угры и славяне (Проблемы историко-культурных контактов). Сыктывкар, Пермский университет: 75–79.

Ларичев В. Е. 1958. А. П. Окладников — исследователь древних культур Азии: к 50-летию со дня рождения. Иркутск, Общество по распр. полит. и научн. знаний, Иркутск. отд.

Ларичев В. Е. 1968. Азия далекая и таинственная. Новосибирск, Наука.

Ларичев В. Е. 1970. Сорок лет среди сибирских древностей. Материалы к биографии академика А. П. Окладникова. Новосибирск, Зап.-сибирск. книжн издат.

Ларичев В. Е. 1976. У истоков верхнепалеолитических культур и искусства Сибири (к открытию в Кузнецком Алатау поселения Малая Сыя и скульптурного изображения черепахи). — Рериховские чтения. К 50-летию исследований Н. К. Рериха на Алтае. Новосибирск: 14–26.

Ларичев В. Е. 1985. Открытие наскальных изображений на территории Внутренней Монголии. В Синьцзяне и Цин-хае. — Рериховские чтения. К 110-летию Н. К. Рериха и 80-летию С. Н. Рериха. Новосибирск: 149–167.

Ларичев В. Е. 1993. Рерих и сотоварищи в Сибири. — Ларичев В. Е. Маточкин Е. П. Рерих и Сибирь. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во: 11–160.

Ларичев В. Е. 2000. Астральные боги древнекаменного века Сибири (мальтийская культура). — Рериховские чтения. Материалы конференции 3–6 ноября 1997 г. Новосибирск: 403–415.

Ларичева И. П. 1980. Проблемы археологии в изданиях Института «Урусвати». — Рериховские чтения. К 50-летию Института «Урусвати». Новосибирск: 41–47.

Ларюэль М. 2010. Арийский миф — русский взгляд. Пер. с франц. —Вокруг Света, 4 (2835).

Лебедев Г. С. 1992. История отечественной археологии. 1700–1917. Санкт-Петербург, изд. С.-Петербургского университета.

Лебедев Г. С. 1993. Опыт периодизации истории отечественной археологии. — Проблемы истории отечественной археологии. Тезисы докладов конференции (11–13 декабря 1990 г.). СПб, СПбГУ: 2–4.

Лебедев Г. С. 2005. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. Санкт-Петербург, Евразия.

Лебедева Е. Э. 2008. Отто Николаевич Бадер (1903–1979 гг.) — универсальный ученый когорты «последних из могикан». — Opentextnn.ru.

Левандовский А. А. 1990. Время Грановского. У истоков формирования русской интеллигенции. Москва, Молодая Гвардия.

Левин В. И. 1993. Дневная поверхность памяти. — Новая Юность, 3.

Лич Ст. 2011. Археолог и детектив: от Ленинграда до Сент-Мери Мид. — Российский Археологический Ежегодник (в печати).

Личное дело И. И. Ляпушкина. — Архив ИИМК, ф. 35, оп. 5, д. 190.

Локальные 1999. = Локальные различия в каменном веке. Тезисы докладов на Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения С. Н. Замятнина. Санкт-Петербург, СПбГУ–ИИМК РАН.

Ломоносов М. В. 1952, 1957. Полное собрание сочинений. Тома 6, 10. Москва – Ленинград, изд. АН СССР.

Лунин Б. В. 1979. Средняя Азия в научном наследии отечественного востоковедения. Ташкент, Наука.

Лыжникова О. Г. 2000. Этнографическое наследие Сергея Ивановича Руденко (1885–1969). — Наследие древних и традиционных культур Северной и Центральной Азии. Материалы XL региональн. студ. этногр. конф. Новосибирск, 3: 70–73.

Макаренко Д. Є. 1992. Микола Омелянович Макаренко. К., Наукова Думка.

Макаренко М. 1933. Маріюпільський могильник. Київ, Всеукраінська Академія Наук.

Макаров Л. Д. 1998. М. П. Грязнов и Вятка: материалы архива ИИМК РАН// Архивы и общество: история, современность, перспективы. Ижевск: 36–41.

Маковская Л. К. 2001. Николай Ефимович Бранденбург (очерк биографии). — Артиллерийский музей. СПб: 11–15.

Максимов А. 1913. «Разбросанность» в науке. — Русские ведомости, № 197.

Максимова М. И. 1949. Рец.: Блаватский В. Д. «Искусство Северного Причерноморья античной эпохи». — Вестник древней истории, 4: 186–188.

Манцевич А. П. 1987. Курган Солоха. Публикация одной коллекции. Ленинград, Искусство.

МАО-150 1915 = Московское археологическое общество в первое пятидесятилетие его существования (1864–1914). Ред. П. С. Уварова, И. Н. Бороздин. Тт. I–II. М, изд. Московского Археологического Общества.

Маркс К. 1846/1962. Письмо П. В. Анненкову. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2. М., Госполитиздат, т. 27, с. 401–412.

Маркс К. 1847/1955. Нищета философии. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2. М., Госполитиздат, т. 4: 65–185.

Маркс К. 1867/1960. Капитал, т. 1. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2. М., Госполитиздат, т. 23.

Маркс К. 1960. Второе воззвание Генерального Совета Международного Товарищества рабочих о франко-прусской войне. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 17: 274–282.

Марр Н. Я. 1922. Батум, Ардаган, Карс — исторический узел межнациональных отношений Кавказа. Петроград.

Марр Н. Я. 1892. Отчет... Н. Марра об археологической поездке в русскую Армению летом 1892 г. — Архив ИИМК, ф. 1, 1892, д. 33, с. 115–120, 146–240.

Марр Н. Я. 1924/1933. Индоевропейские языки Средиземноморья. — Доклады Академии наук, сер. В: 6–7 (цит. по перепеч. в: Избранные труды. М.–Л., АН СССР, I: 185–186).

Марр Н. Я. 1924/1934. Об яфетической теории. — Новый Восток 5: 303–339 (цит. по перепеч. в: Избранные труды, т. III, с. 1–34).

Марр Н. Я. 1925/1933. Postface (Послесловие). — Яфетический сборник, III, с. 165–167 (цит. по перепечат в: Избранные работы, т. I, с. 189–196).

Марр Н. Я. 1925/1933. Основные достижения яфетической теории. Ростов-Дон, Буревестник (цит. по перепеч. в: Избранные труды, т. I, с. 197–210).

Марр Н. Я. 1926/1935. Из переживаний доисторического населения Европы, племенных или классовых, в русской речи и топонимике. Чебоксары, Чувашск. Гос. издат. (цит. по перепеч. в: Избранные труды, т. V, с. 310–322).

Марр Н. Я. 1926/1936. Абхазский аналитический алфавит. Л., Институт живых вост. языков (цит. по перепеч. в: Избранные труды, т. II, с. 321–351).

Марр Н. Я. 1926/1936. О происхождении языка. — По этапам развития яфетической теории. Издание Института этнических и национальных культур народов СССР. Л.: 286–335.

Марр Н. Я. 1927/1933. Автобиография. — Огонек 27 (223) (цит. по перепеч. в: Избранные труды, I: 1–13).

Марр Н. Я. 1927/1937. Расселение языков и народов и вопрос о прародине турецких языков. — Под знаменем марксизма 6: 18–60 (цит. по перепеч. в: Избранные труды. М.–Л, т. IV, с. 125–160).

Марр Н. Я. 1928. Отчет о третьей лингвистической поездке за границу. — Известия Академии наук, с. 531–544.

Марр Н. Я. 1929/1934. Актуальные проблемы и очередные задачи яфетической теории. М, Коммунистическая Академия (цит. по перепеч. в: Избранные труды, т. III, с. 61–77).

Марр Н. Я. 1929/1936. Почему так трудно стать лингвистом-теоретиком. — Язык и материализм, I, ИЛЯЗВ, Л: 1–56 (цит. по перепеч. в: Избранные работы, т. II: 399–426.

Марр Н. Я. 1930. Доклад в Ленинградском Бюро СНК о работе ГАИМК. — Архив Н. Я. Марра, ф. 1, опись 1, дело 650, л. 2–3.

Марр Н. Я. 1930/1933. Яфетидология в Ленинградском государственном университете. — Известия ЛГУ, т. II, с. 47–68 (цит. по перепеч. в: Избранные работы, т. I: 254–272).

Марр Н. Я. 1931. В погоне за живой водой. — Сообщения ГАИМК, 1: 2–6.

Марр Н. Я. 1931/1933. Языковая политика яфетической теории и удмуртский язык (Уч. записки НИИ народов Советского Востока при ЦИК СССР, вып. 1. М., Центральн. издат., цит. по перепеч. в: Избранные труды, т. I, 273–289).

Марр Н. Я. 1932. К Бакинской дискуссии о яфетидологии и марксизме. Баку, изд. АзГНИИ.

Марр Н. Я. 1934/1936. Маркс и проблемы языка. — Карл Маркс и проблемы истории докапиталистических формаций (Известия ГАИМК 90: 3–21, цит. по перепеч. в: Избранные труды, т. II, с. 444–459).

Марр Н. Я. 1936. Общий курс. — Избранные. работы, т. II: 23—126.

Мартынов И. Ф. 1977. О библиотеке екатерининского пажа. Каталог книг Алексея Оленина, 1775. — Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1977. Москва, Наука: 155–159.

Мартынов А. И. 1983. Историография археологии Сибири. Учебное пособие. Кемерово, Кемеровский гос. университет: 33–37 (Экспедиция Г. Ф. [sic! — Л. К.] Мессершмидта и И. Страленберга; 37–48 (Великая Северная экспедиция).

Массон В. М. 1974. Развитие обмена и торговли в древних обществах. — Краткие сообщения Института археологии (Москва), 138: 3–11.

Массон В. М. 1976. Экономика и социальный строй древних обществ (в свете данных археологии). Ленинград, Наука.

Материалы 1910. = Материалы для биографии Гр. А. С. Уварова. — Уваров А. С. Сборник мелких трудов. Т. III. Под ред. П. С. Уваровой. Москва, типогр. Мамонтова: 1–172.

Материалы 1941 = Материалы по археологии Кабардино-Балкарии. — Материалы и исследования по археологии СССР. № 3. М.- Л.,. С. 5.

Маточкин Е. П. 1999. Археологические мотивы в искусстве Н. К. Рериха. — Петербургский Рериховский Сборник. Самара, АГНИ, вып. 2–3.

Матющенко В. И. 1989. М. П. Грязнов — историк. — Историк об истории. Омск.: 26–31.

Матющенко В. И. 1992. История археологических исследований Сибири (до конца 1930-х годов). Омск, изд. ОмГУ.

Матющенко В. И. 1994. Сибирская археология в 1940-е — 1950-е годы. Омск, изд. ОмГУ.

Матющенко В. И. 2001. 300 лет истории сибирской археологии. Т. 1–2. Омск, изд. ОМГУ.

Матющенко В. И., Швыдкая Н. П. 1990. Михаил Петрович Грязнов: Истоки научной школы. — История археологических исследований Сибири. Омск: 77–90.

Мацулевич Л. А. 1935. Из воспоминаний о Н. Я. Марре. —Проблемы докапиталистических обществ, № 3–4, с. 166–167.

Медведенко Н. А. 2006. История и археология Хазарского каганата в исследовании М. И. Артамонова. Воронеж, Истоки.

Мейлах Б. С. 1973. Биография как методологическая проблема. — Человек науки. Москва, Наука: 7–18.

Мелешко Б. В. 1996. Научное наследие В. А. Городцова. Автореферат канд. дисс. Институт археологии РАН. Москва.

Мельников В. Л. 1997б. Николай Рерих и Императорское Русское Археологическое Общество. — Санкт-Петербургский университет. СПб: Изд-во СПб ун-та, № 3 (3437): 19–23.

Мельникова О. М. 2003. Свердловская археологическая школа В. Ф. Генинга (1960–1974 гг.). Ижевск.

Мельникова О. М. 2004. Из истории переписки О. Н. Бадера с учеными Москвы и Ленинграда (1946–1954 гг.). — Российская археология, 4: 151–158.

Мелюкова А. И., Свиридов А. В. 2004. Борис Николаевич Граков (1899–1970). — Портреты историков. Время и судьбы. 3. Древний мир и Средние века. Москва, Наука: 45–63.

Мелюкова А. И., Смирнов К. Ф., Шелов Д. Б. 1969. К 70-летию Бориса Николаевича Гракова. — Советская Археология, 4: 112–116.

Мелюкова А. И., Яценко И. В. 1977. Скифская проблематика в трудах Б. Н. Гракова. — Граков Б. Н. Ранний железный век. Москва, изд. Московск. ун-та: 214–222.

Мережковский Д. С. 1914а. Автобиографическая заметка. Полн. Собр. Соч., т. 24. Москва, тов-во И. Д. Сытина: 107–116.

Мережковский Д. С. 1914б. Старинные октавы. Полн. Собр. Соч., т. 24. Москва, тов-во И. Д. Сытина: 45–46.

Миллер Г. Ф. 1750/1999. О сибирских надписях. — Миллер Г. Ф. История Сибири. Москва, Восточная литература: 519–534.

Миллер Г. Ф. 1764/1999. Изъяснение о некоторых древностях, в могилах найденных. — Миллер Г. Ф. История Сибири. Москва, Восточная литература: 512–518.

Миллер Г. Ф. 1775/1999. Автобиография. Описание моих служб. — Миллер Г. Ф. История Сибири. Москва, Восточная литература: 150–157.

Миллер Г. Ф. 1937. История Сибири. Т. I. Москва–Ленинград, изд. АН СССР; 2-е издание: 1999. Москва, Восточная литература.

Миллер М. А. 1954. Археология в СССР (Исследования и материалы Института по изучению истории и культуры СССР, сер. 1, № 12). Мюнхен.

Миллер М. А. 1958. Александр Александрович Миллер (1875–1935). — Вестник Института по изучению СССР (Мюнхен), 3 (28): 127–130.

Мирзоев В. Г. 1963. Историография Сибири. XVIII век. Кемерово, Кемеровское книжное изд-во.

Миханкова В. А. 1949. Н. Я. Марр. Изд. 3-е. М.–Л., АН СССР, 451 с.

Мойсеенкǒ А. 2004. Верил ли Сталин в проклятие Тамерлана. — Комсомольская правда, 23 и 24 ноября.

Молодин В. И., Лазаревич О. В. 2000. Археология в жизни и творчестве Н. К. Рериха. Рериховские чтения. Мат-лы конф. 3–6 ноября 1997 г. Новосибирск: 157–164.

Монгайт А. Л. 1950. — Обсуждение трудов И. В. Сталина по вопросам марксизма в языкознании в Институте истории материальной культуры Академии Наук СССР.— ВДИ, 3: 202 – 207.

Монгайт А. Л. 1956. Археология в СССР. М, изд. АН СССР.

Монгайт А. Л. 1963. Возникновение и первые шаги советской археологии. — История СССР, 4: 75–94.

Монгайт А. Л. 1965. А. С. Амальрик. — Советская Археология, 2: 306–307.

Монгайт А. Л. 1951. Кризис буржуазной археологии. — Краткие сообщения ИИМК, 40: 3–15.

Монгайт А. Л. 1967. Археологические культуры и этнические общности. — Народы Азии и Африки, 1: 53–69, обсуждение: 69–76.

Морозова (Бонч-Осмоловская) О. Г. 1976. Одна судьба. Ленинград, Советский писатель.

Мочанов Ю. А. 2005. Предисловие. — Таюрский В. Г. Новосибирский академик А. П. Деревянко и археология Якутии. Изд. ЯНЦ СО РАН.

Мошкова М. Г., Смирнов К. Ф. 1977. Проблемы сарматской археологии в работах Б. Н. Гракова. — Граков Б. Н. Ранний железный век. Москва, изд. Московск. Ун-та: 223–229.

Муравьев-Апостол И. М. 1823. Путешествие по Тавриде в 1820 годе. СПб, типография при особенных дел канцелярии Министерства внутренних дел.

Мурзакевич Н. Н. 1888. Записки. Русская Старина, т. 59 (9).

Мурзанова М. (сост.). 1928. Дневник А. А. Бобринского (1910–1911). — Красный архив, т. 1: 127–150.

Мурзанова М. (сост.). 1931. Воспоминания А. А. Бобринского (1880–1881). — Каторга и ссылка, 3 (76): 73–129.

Муромцева-Бунина В. Н. 2002. Н. П. Кондаков (К пятилетию со дня смерти) (1930). — Кондаков: 348–358.

Мюле Э. 1989. К вопросу о начале Киева. — Вопросы истории, 4: 118–127.

Назаров А. Г., Цуцкин Б. В. 2008. Карл Максимович Бэр (1792–1876). Москва, Наука.

Наумов Д. Николай Иванович Зибер: Из истории марксистской экономической мысли на Украине и в России. — Харків, Пролетарий, 1930 (гриф: Украинский институт марксизма-ленинизма, кафедра теоретической экономии).

Н. Е. Бранденбург (некролог). 1906. — Древности (труды МАО), т. XXI, вып. 1. Протоколы заседаний. См. Анучин 1906.

Некрич А. 1979. Отрешись от страха: воспоминания историка. London, Overseas Publ. Interchange.

Нелидов Ю. Н., Эссен Н. К. 1938. Предки и потомки академика К. Э. Бэра. — Русский Евгенический журнал, 2–3.

Нефедова Е. С., Переводчикова Е. В., Свиридов А. В. 1992. Материалы к биографии Б. Н. Гракова. — Граковские чтения на кафедре археологии МГУ, 1989–1990 гг. Москва, изд. Московского университета: 4–8.

Нидерле Л. 2002. Значение Н. П. Кондакова в славянской археологии. — Кондаков: 199–204.

Николай Макаренко 2009 = Николай Макаренко — последний хранитель магических рун Руси. Xpress, Сумской портал, «Воскресные чтения» за 26 сент 2009 г.

Никольский 1923. Комплексный метод в доистории. — Вестник Социалистической академии, 4: 309–349.

Німенко Н. А. 2002. Велет українознавства (До 125-річчя від дня народження Миколи Омеляновича Макаренка). — Сумська старовина, X: 5–25.

Новицкий Г. А., Рапов О. М. 1968. Б. А. Рыбаков (историк и археолог). — Вестник Московского университета, сер. ист., № 4, с. 90–94.

Новлянская М. Г. 1966. Филипп Иоганн Страленберг. Москва–Ленинград, Наука.

Новлянская М. Г. 1970. Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Сибири. Ленинград, Наука.

Новосельцев А. П. 1990. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. Москва, Наука (нов. изд. Тезаурус, 2008).

Новосельцев А. П. 1993. «Мир истории» или миф истории? — Вопросы истории, № 1, с. 23–31.

О[ленин] А. [Н.] 1806. Письмо к графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину о камне Тмутороканском, найденном на острове Тамане в 1792 году... СПб, в Медицинской типографии.

Оборин В. А. 1991. О. Н. Бадер (1903–1979). — Профессора Пермского университета: Библиографический указатель. Пермь, изд. Перм. ун-та: 95–97.

Овсянников О. В. 2005. Воспоминания о И. И. Ляпушкине. — Статум-плюс, 2003–2004, № 5: 14–15.

Овсянников Ф. В. 1879. Очерк деятельности К. М. Бэра и значение его трудов. — Записки Академии наук, СПб., том 35, кн. 1: 21–44.

Овсянов А. П. 2005. Духовное наследие Кёнигсберга в тоннах, штуках и мешках. Из истории потерянных и найденных памятников культуры. — Арт-гид: Кёнигсберг/Калининград сегодня. Калининград, (перепеч. В интернете: http://art-guide.ncca-kaliningrad.ru/?by=a&lang=eng&au=065ovsiyanov).

Овчинникова Б. Б. 1999. Генинг Владимир Федорович. Библиографический указатель. Екатеринбург, Уральский гос. университет.

Овчинникова Б. Б., Васильева С. В. 1999. Из наследия династии Теплоуховых. — Очерки истории Урала, 8: 104–112.

Окладников А. П. 1952. Письмо в редакцию. — Вестник древней истории, 4: 199–201.

Окладников А. П. 1976. Н. К. Рерих и археология. — Рериховские чтения. К 50-летию исследований Н. К. Рериха на Алтае. Новосибирск: 8–12.

Окладников А. П. 1974. Н. К. Рерих и его экспедиция. — Рерих Н. К. Алтай-Гималаи. — М.: Мысль: 277–293.

Окладников А. П. 1980. Институту «Урусвати» — 50 лет. — Рериховские чтения. К 50-летию Института «Урусвати». — Новосибирск: 7–12.

Оконникова Т. И. Формирование научных традиций в археологии Прикамья (60-е гг. XIX в. — конец 40-х гг. — XX в.). Ижевск, Удмуртский университет.

Орбели И. А. 1931. О классовых корнях некоторых традиций исторической науки. Сообщения ГАИМК, 1: 13–17.

Орбели И. А. 1955/1986. Воспоминания студенческих лет (речь 1955 г.). — Юзбашян К. Н. Академик И. А. Орбели. Изд. 2. М, Наука, с. 130–161.

Орлов Р. С. 1998. Про функціональне призначення Київського капища 1908 р. — Історія Русі — України (історико-археологічний збірник). Київ, Нац. ак. наук України: 193–208.

Осоргин М. А. 1992. Воспоминания. Повесть о сестре. Воронеж, изд-во Воронежского университета.

Оствальд В. 1910. Великие люди. Пер. с нем. 2-го изд. СПб, Вятское книгоиздат.

Островский Б. Г. 1937. Великая Северная экспедиция 1733–1943 гг. Архангельск, Севгиз.

Очерки 1955–1988. Очерки истории исторической науки в СССР. П. ред. М. Н. Тихомирова. М, АН СССР.

Павлова К. В. 2005. Из воспоминаний о последних десятилетиях жизни и работы Ивана Ивановича Ляпушкина. — Статум-плюс, 2003–2004, № 5: 9–13.

Пазырык 2002. = Пазырык. Разговор, услышанный 20 лет спустя. — Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы Междунар. научн. конфер., посв. 100-летию со дня рождения М. П. Грязнова. Санкт-Петербург, изд. Эрмитажа, кн 1: 91–96.

Памяти 1912. = Памяти Дмитрия Яковлевича Самоквасова. М., Синодальная типография.

Памяти 1969. = Памяти Ивана Ивановича Ляпушкина. — Советская Археология, 3: 217–219.

Панченко А. А., Петров Н. И. и Селин А. А. 1999. «Дружина пирует у брега...»: на границе научного и мифологического мировоззрения. — Русский фольклор (СПб), т. 30: 82–91.

Паромов Я. М. 1993. К биографии А. А. Миллера// Проблемы истории отечественной археологии. Тезисы. Тезисы докладов конференции. СПб., 1993. с. 31.

Паромов Я. М. 2010. Социалистическое соревнование в ГАИМК в 1930–1931 гг. — Человек и древности. Памяти Александра Александровича Формозова. Москва, Гриф и К: 790–801.

Пассек Т. С. 1954. Рецензия: Бибиков С. Н. Поселение Лука-Врублевецкая на Днестре (МИА, 38), 1953. — ВДИ, № 2 (48).

ПВ = Парфянский выстрел. Под общ. ред. акад. Г. М. Бонгард-Левина и Ю. Н. Литвиненко. Москва, РОССПЭН, 2003.

Пекарский П. П. 1870–1873. История Имп. Академии наук в Петербурге. Тт. 1–2. СПб, типогр. Импер. Академии наук.

Первый сборник памяти Бэра (статьи В. И. Вернадского, М. М. Соловьёва и Э. Л. Радлова), Л., 1927.

Переписка 2007 = Щавелёв С. П. (состав., вступ. и коммент.) 2007. Археология, история и архивное дело России в переписке профессора Д. Я. Самоквасова (1843–1911). Курск, изд. ГОУ ВПО КГМУ.

Пескарева К. М. 1980. К истории создания Российской академии истории материальной культуры. — КСИА 163: 26–28.

Петров Ф. А. 2003. Формирование системы университетского образования в России. Т. 3: Университетская профессура и подготовка Устава 1835 г. М., изд. МГУ.

Петрова М. В. Из прошлого рода графов Бобринских. — Вопросы истории, 5: 171–176.

Петрова М. Е., Чирков М. В. 2008. Отто Николаевич Бадер. Археолог, ученый-энциклопедист, теоретик, учитель, организатор науки. — Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. Выпуск V. Университет и историко-культурное наследие региона: сб. науч. тр. Пермь: изд. гос. пед. ун-та: 7–13.

Печенкин Н. 1905. Памяти Бранденбурга. —Артиллерийский Журнал, № 7: 741–764.

Пилипко В. Н. 2004. Михаил Евгеньевич Массон (1897–1986). — Портреты историков. Время и судьбы. Том 3. Древний мир и Средние века. Москва, Наука: 185–198.

Пиотровский Б. Б. 1995/2009. Страницы моей жизни. СПб, Наука (изд. 2-е, испр. и дополн. Москва, Руда и Металлы).

Пиотровский Ю. Ю. 2008. «Крупный человек <...> крупной эпохи». — Хранитель. Борис Борисович Пиотровский. Материалы к биографии. Санкт-Петербург, изд. Эрмитажа: 9–31.

Пичета В. И. 1978. Воспоминания о Московском университете (1897–1901). — Славяне в эпоху феодализма. К столетию академика В. И. Пичеты. Москва, Наука: 52–65.

Платонова Н. И. 1989. РАИМК — этапы становления 1918–1919. —Советская археология, 4: 5–16.

Платонова Н. И. 1991. Институт истории материальной культуры в годы Великой Отечественной войны. — Материалы конференции «Археология и социальный прогресс». Вып. 1. М, Инст. археол. АН СССР: 45–78.

Платонова Н. И. 1995. г. А. Бонч-Осмоловский. Этапы творческой биографии. — Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. Спб, 1995: 121–144.

Платонова Н. И. 1999. М. И. Артамонов — директор ИИМК. — Археологические вести, 6: 486–478.

Платонова Н. И. 2002. Панорама отечественной археологии на «великом переломе» (по страницам книги В. И. Равдоникаса «За марксистскую историю материальной культуры»). — Археологические вести, № 9: 261–278.

Платонова Н. И. 2003. Дело Сергея Ивановича Руденко: 1930–1957. — Невский археолого-этнографический сборник: К 75-летию А. А. Формозова. СПб, изд. дом Санкт-Петербургского университета: 126–138.

Платонова Н. И. 2005. Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский: судьба ученого (по страницам семейного архива). —Археологические Вести. — 12. — СПб., 2005: 301–315.

Платонова Н. И. 2008. Г. А. Бонч-Осмоловский и его сотрудники. — С. Н. Бибиков и первобытная археология. СПб.: Изд. ИИМК РАН/ ООО Элексис-принт: 20–28.

Платонова Н. И. 2009. Г. А. Бонч-Осмоловский: путь в археологию. — Российская археология. № 1: 166–174.

Платонова Н. И. 2010а. Граф Сергей Григорьевич Строганов: 1819–1840-е годы. — Краеугольный камень: Археология, история, искусство, культура. Москва, «Ломоносов», т. II: 153–164.

Платонова Н. И. 2010б. История археологической мысли в России. Вторая половина XIX — первая треть XX века. С.-Петербург, Нестор-История.

Платонова Н. И. 2010в. Карл Максимович Бэр и начало исследований первобытных древностей России. — Человек и древности. Памяти Александра Александровича Формозова (1928–2009). Москва, Гриф и К: 611–622.

Платонова Н. И., Аникович М. В. 2005. Александр Николаевич Рогачев: материалы, воспоминания, размышления. — Проблемы ранней поры верхнего палеолита Костенковско-Борщевского района и сопредельных территорий (Труды Костенковско-Борщевской арх. эксп., вып. 3). СПб, Копи-Р: 10–28.

Плетнева С. А. 1996. Воспоминания об М. И. Артамонове. Материалы по археологии и этнографии Таврии, 6: 20–33.

Плетнева С. А. 1998. Михаил Илларионович Артамонов (к столетию со дня рождения). — Российская Археология, 4: 202–213.

Плетнева С. А., Николаева Т. В. 1978. Краткий очерк научной, педагогической, научно-организационной и общественной деятельности [Б. А. Рыбакова]. — Борис Александрович Рыбаков (Академия наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. истор., вып. 12). Изд. 2. М, Наука, с. 9–28.

Плешивенко А. Г. 2011. «И жизнь, и слезы, и любовь...» Запорожье, ЛИПС.

Познанский А. 1998. Янтарь для диктатуры пролетариата. — Совершенно секретно, 10 (октябрь): 24–25.

Полевой Н. А. 1934. Материалы по истории русской литературы и журналистики 30-х годов. Ленинград, издат. писателей в Ленинграде.

Половцов А. А. 1966. Дневник государственного секретаря А. А. Половцова. Москва, Наука (переизд. 2005, М., Центрполиграф).

Поляков И. С. 1980. Антропологическая поездка в Центральную и Восточную Россию, исполненная по поручению имп. Академии наук (Записки Академии наук, приложение к XXXVII тому, № 1). СПб.

Полякова Е. 1985. Николай Рерих. Москва, Искусство.

Померанц Гр. 1998. Корзина цветов нобелевскому лауреату. — Померанц Г. Записки гадкого утенка. М.: Московский рабочий (глава «Через страх. Крыло первое»).

Помяловский И. В. 1984. Рец. на сочинение П. Н. Кондакова «Греческие терракоты в их отношении к искусству, религии и быту. — Известия Русского Археологического общества, X: 320–323. Ростовцев М. И. 2002. Странички воспоминаний. — Кондаков: 211–216.

Потанин Г. Н. 1903. Иван Семенович Поляков. — Сибирская жизнь. Томск, приложение к № 182.

Праслов Н. Д. 1999. Сергей Николаевич Замятнин: основные вехи жизни и творчества. — Stratum plus, 1: 7–9.

Прийма Ф. Я. 1958. Пушкин и кружок Оленина. — Пушкин. Исследования и материалы, т. II. М.–Л., изд. АН СССР: 229–246.

Пряхин А. Д. 1981. Периоды развития советской археологии. — Проблемы истории отечественной исторической науки. Воронеж, изд. Воронежского университета: 150–156.

Пряхин А. Д. 1986. История советской археологии. Воронеж, Воронежский гос. университет.

Пряхин А. Д. 1991. Педагогическая деятельность В. А. Городцова и подготовка кадров археологов. — Проблемы изучения древних культур Евразии: к 130-летию со дня рождения ученого-археолога В. А. Городцова. Москва, Наука: 207–213.

Пряхин А. Д. 2005. История отечественной археологии. Часть 1. Русская дореволюционная археология. Воронеж, изд. Воронежского университета.

Пряхин А. Д., Сафонов И. С. 2000. Проблемы эпохи бронзы Доно-Донецкого региона в научном наследии В. А. Городцова (первые десятилетия XX столетия). — Археология в российских университетах (Археология Восточноевропейской лесостепи, в. 16). Воронеж, изд. Воронежск. ун-та: 49–61.

Пряхин А. Д., Писаревский Н. М. 1987. М. П. Грязнов и разработка истории ранних скотоводческих обществ в группе по истории кочевнического скотоводства ГАИМК (1930–1999 гг.). — Ист. чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. Омск, Ч. 1: 27–29.

Пугаченкова Г. А. 1998. Михаил Евгеньевич Массон — основатель центральноазиатской археологической школы. — Кумбез, 1.

Пустовалов С. Ж. 1982. Первое систематическое описание керамики в отечественной археологии (К 80-летию выхода в свет). — Методологические и методические вопросы археологи. Киев, Наукова думка: 218–227.

Путник К. 2009. Союз заклинаний и реторты. Челябинск, ОЛИМ.

Пушкин А. С. 1949. Полн. собр. соч. в 16 тт. Том XII. М.–Л., АН СССР.

Пшеницына М. Н., Боковенко Н. А. 2002. Основные этапы жизни и творчества Михаила Петровича Грязнова (1902–1984). — Степи Евразии в древности и средневековье. Материалы Междунар. научн. конфер., посв. 100-летию со дня рождения М. П. Грязнова. Санкт-Петербург, изд. Эрмитажа, кн. 1: 19–23.

Пшеницына М. Н. 1987. Научное наследие Михаила Петровича Грязнова: (По материалам архивного фонда ЛОИА АН СССР). — Ист. чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. Омск, Ч. 1: 10–14.

Рабинович М. Г. 1949. О положении в археологической науке. — Краткие сообщения ИИМК, вып. 29, с. 125–129.

Рабинович М. Г. 2005. Записки советского интеллектуала. Москва, Новое Литературное Обозрение и Международный центр исследования российского и восточноевропейского еврейства.

Равдоникас В. И. 1930. За марксистскую историю материальной культуры (Известия ГАИМК, т. VII, вып. 3–4).

Равдоникас В. И. 1929. Обряд умерщвления женщин в древности. — Вестник знания, 2: 68–70.

Равдоникас В. И. 1930. За марксистскую историю материальной культуры (Известия ГАИМК, т. VII, вып. III–IV). Ленинград [Ленинградский Областлит].

Равдоникас В. И. 1932. Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадиальным развитием Северного Причерноморья. — Известия ГАИМК, т. XII, вып. 1–8 (Готский сборник): 5–106.

Равдоникас В. И. 1939–1947. История первобытного общества. Ч. 1–2. Ленинград, изд. Ленинградского университета.

Радиевская Т. Н., Беленко Н. Н. 2011. Первый археологический опыт Викентия Хвойки. — История археологии: личности и школы. Материалы междунар. Научн. конфер. К 160-летию со дня рожд. В. В. Хвойки. С.-Петербург, Нестор-История: 32–40.

Радлов В. В. 1894. Сибирские древности (МАР, т. I, в. 3). СПб, типогр. Академии наук.

Радлов Э. Л. 1927. К. М. фон Бэр как философ. — Первый сборник...: 60–71.

Райков Б. Е. 1961. Карл Бэр, его жизнь и труды, М.–Л., изд. АН СССР.

Рапопорт Ю. А., Семенов Ю. И. 2004. Сергей Павлович Толстов: выдающийся этнограф, археолог, организатор науки. — Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века. М., Наука: 185–232.

Раушенбах Б. P.S. —Постскриптум. Литературная запись Инны Сергеевой.

Раушенбах В. М. 1965. К 80-летию А. Я. Брюсова. — Советская археология, 3: 81–87.

Раушенбах В. М. 1967. Памяти Александра Яковлевича Брюсова. — Советская археология, 2: 117–119.

Раушенбах В. М. 1985. К 100-летию со дня рождения А. Я. Брюсова. Советская Археология, 4: 271–274.

Резолюция всероссийского археолого-этнографического совещания 7–8 мая 1932 г. — Сообщения ГАИМК 1932, 1/2: 1–6.

Репина Л. П. 1999. «Персональная история»: биография как средство исторического познания. — Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Москва, РГГУ: 76–100.

Репина Н. Л. 2001. Историческая биография и «новая биографическая история». — Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 5. Специальный выпуск: Историческая биография и персональная история. Москва, Наука: 3–12.

Рерих Н. К. 1921/2005. Об искусстве. М., Международный Центр Рерихов.

Рерих Н. К. 1999. Археология. Кн. 1. Материалы Императорской Археологической Комиссии 1892–1918. — Петербургский Рериховский сборник (Самара, АГНИ) 2–3.

Рерих Н. К. 1991. Глаз добрый. М.: Художественная литература, 223 с.

Рерих Н. К. 1994. Восток-Запад. М.: МЦР: БИСАН-ОАЗИС, 103 с.

Реуэль А. Л. 1956. Русская экономическая мысль 60–70-х гг. XIX в. и марксизм. М. Госполитиздат.

Решетов А. Н. 1994. Исследования А. А. Иностранцева и перспективы комплексного изучения народов. — Вопросы геологии и археологии. Тезисы докладов международного симпозиума, посвященного 150-летию со дня рождения <...> А. А. Иностранцева (1843–1919). Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет: 61–63.

Решетов А. М. 1995. К оценке деятельности Ф. К. Волкова. — Традиции...: 16–19.

Решетов А. М. 1998. С. И. Руденко — антрополог, этнограф, археолог. — С. И. Руденко и башкиры. Уфа, Гилем: 5–25.

Решетов А. М. 1999. Трагико-комический случай из жизни С. Н. Замятнина (К вопросу об аресте С. Н. Замятнина). — Локальные различия в каменном веке. Тезисы докладов на Международной кон-

ференции, посвященной 100-летию со дня рожд. С. Н. Замятнина. Москва: 45–47.

Решетов А. М. 2001. Александр Александрович Миллер — выдающийся археолог, этнограф и музеевед. — Интеграция археологических и этнографических исследований. Сборник науч. трудов. Нальчик–Омск: 8–16.

Ровнякова Л. И. 1963. Русско-польский этнограф и фольклорист З. Доленга-Ходаковский и его архив. — Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. Москва–Ленинград, издат. Академии наук СССР: 90–94.

Ровнякова Л. И. 1979. Чарноцкий. —Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. Москва, Наука: 357–358.

Рогачев А. Н. 1967. Некоторые проблемы изучения палеолита Европы. — Тезисы всесоюзной сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1966 года. Кишинев: 7–8.

Рогачев А. Н. 1972. П. П. Ефименко и вопросы социологии первобытного общества. — Краткие сообщения Института археологии (Москва), 131: 5–10.

Родионов Д. 2008. День трезвости. — Российская газета, № 4776 за 21 окт.

Романовский С. И. 1999. «Обрусение» русской науки как национальная проблема. — Вопросы истории естествознания и техники, 3: 43–46.

Росов В. А. 2002. Николай Рерих — Вестник Звенигорода: экспедиции Н. К. Рериха по окраинам пустыни Гоби. Санкт-Петербург, Алетейя–Ариаварта Пресс.

Росов В. А. 2006. Русско-американские экспедиции Н. К. Рериха в Центральную Азию (1920-е и 1930-е годы). Дисс. докт. Санкт-Петербург.

Ростовцев М. И. 1906. Гибель памятников. — Страна (Санкт-Петербург), 177: 4 (переизд. в ИАК, 1906, вып. 21. Прибавление: 63–65).

Ростовцев М. И. 1918. Эллинство и иранство на Юге России. Петроград, Огни.

Ростовцев М. И. 1924. Странички воспоминаний. — Никодим Павлович Кондаков. 1844–1924. К восьмидесятилетию со дня рождения. Прага, Пламя: 23–29.

Ростовцев М. И. 1925. Скифия и Боспор. Критическое обозрение памятников литературных и археологических. Ленинград, РАИМК.

Ростовцев М. И. 2002. Избранные публицистические статьи 1906–1923. Подготов. И. В. Тункиной. Москва, Росспэн.

Рошаль-Строева Марианна. 2007. Послесловие. — Фёдоров Г. Б. Брусчатка. Изд. в Англии, 1995, Перепечатана в 2007 на сайте e-reading.org.ua.

Руденко С. И. 1962. Сибирская коллекция Петра I. САИ Д3–9. Москва–Ленинград, Наука.

Рудковская М. А. 2004. Томский период жизни С. И. Руденко. — Труды Томского областного краеведческого музея, т. XIII. Томск, 60–91.

Русанова И. П., Тимощук Б. А. 1993. Языческие святилища древних славян. М, Наука.

Рыбакоў Б. А. 1932. Радзімічы. — Працы сэкцыі археолёгіі БАН, т. 3, Менск: 81–151.

Рыбаков Б. А. 1957а. О корпусе археологических источников СССР. Тезисы доклада. М.

Рыбаков Б. А. 1957б. Место славяно-русской археологии в советской исторической науке. — Советская археология, 4: 55–65.

Рябинин Е. А. 1998. Н. К. Рерих и археология Ижорского плато (ретроспективные заметки). — Петербургский Рериховский сборник. СПб: Изд-во Буковского: 80–101.

Рябинин Е. А. 1999. Н. К. Рерих и Императорская Археологическая комиссия. — Петербургский Рериховский сборник. Самара: АГНИ, Вып. 2–3: 15–34.

С. И. Руденко 1998 = С. И. Руденко и башкиры. Отв. ред. Юсупов Р. и Мурзабулатов М. В. Институт истории, языка и литературы Уфимск. Научн. центра АН. Уфа, Гилем.

Савинов Д. г. 1994. Перечитывая учебник Равдоникаса. — Международная конференция..., с. 81–83.

Садоков Р. 1972. Пески в пустыне. — Пионер 7.

Савенко Є. В. 2007. Висока доля Миколи Макаренка. — Кримська Світлиця № 52 за 28.12.

Савинов Д. Г. 2006. О «юбилейных» книгах А. А. Формозова. — Российская археология, 3: 169–173.

Савинов Д. Г. 1995. «Ранние кочевники» в исследованиях М. П. Грязнова и современное состояние проблемы. — Третьи исторические чтения памяти М. П. Грязнова. Омск, Ч. 1: 76–80.

Сакович С. И. 1977. К истории формирования коллекции И. Е. Забелина. — И. Н. Забелин: 170 лет со дня рождения. Материалы научных чтений ГИМ 29–31 октября 1990 года. Часть 1. Москва (Труды ГИМ, 81): 104–131.

Самошенко В. Н. 1984. Д. Я. Самоквасов как историк-архивист. — Историография и источниковедение архивного дела в СССР. Москва, Моск. гос. историко-архивн. инст.: 5–62.

Сафонов И. Е. 2001. Раскопки В. А. Городцовым курганов эпохи бронзы в Изюмском уезде летом 1901 г. (по архивным материалам). — Бронзовый век Восточной Европы: характер культур, хронология и периодизация: Материалы международной конференции. Самара: 11–18.

Сафонов И. Е. 2002а. В. А. Городцов и изучение эпохи бронзы Восточноевропейской степи и лесостепи. Воронеж, АКД.

Сафонов И. Е. 2002б. Подготовка В. А. Городцовым второго тома серии «Археология». — Археология в российских университетах (Археология восточноевропейской лесостепи, в. 16). Воронеж, изд. Воронежского университета: 62–70.

Саханев В. В. 1928. Александр Андреевич Спицын (К семидесятилетию со дня рождения). — Seminarium Kondakovianum, II. Prague: 343–346.

Сахаров А. Н. 1990. Забелин: новая оценка творчества. — Вопросы истории, 7: 3–18.

Свешникова О. С. 2004. Забытая работа группы ИКС. — Шестые исторические чтения памяти Мих. Петр. Грязнова. Омск, изд. Омск. ун-та: 20–23.

Свешникова О. С. 2009. Советские археологи в поисках первобытной истории: Историческая интерпретация археологических источников в советской археологии 1930-х —1950-х гг. Омск, изд. Омского университета.

Свиридовская О. Н. 1992. М. П. Грязнов и становление статистико-математических методов в советской археологии (1920–1940-е годы). — Вторые историч. чтен. памяти М. П. Грязнова. Омск, Ч. 1: 13–15.

Седов В. В. 1982. Восточные славяне в VI–XIII веках (Археология СССР). Москва, Наука.

Седов В. В. 1970. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М, Наука. [МИА, 163].

Седов В. В. 1979. Происхождение и ранняя история славян. М., Наука.

Семенов С. А. 1940. Изучение следов работы на каменых орудиях. —Краткие сообщения ИММК, 4: 21–26.

Семенов С. А. 1957. Первобытная техника (Опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы) (МИА 54). Москва–Ленинград.

Семенов С. А. 1973. О математизации археологии. — Тезисы докладов сессии, посвященной итогам полевых археологических исследований 1972 года в СССР. Ташкент, Фан: 65–67.

Семенов С. А. 1978. Системный подход и «Аналитическая археология» Д. Кларка. — Краткие сообщения Института археологии (Москва), 152: 43–48.

Семенов С. А. 1983. Введение. — Технология производства в эпоху палеолита. Ленинград, Наука: 3–8.

Семенов Ю. И. 2004. С. П. Толстов как теоретик этнологической и исторической науки. — Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи. М., Наука: 210–225, 230–232.

Семенова В. В. 1997. Биографии и общество: поиски социального в индивидуальном. — Социологические Чтения, 1: 146–159.

Серых Д. В. 2006. Всероссийские археологические съезды как форма организации отечественной археологической науки. Автореферат. Ижевск, 2006.

Синицын А. А. 1992. П. П. Ефименко и современное палеолитоведение. — Краткие сообщения ИИМК (Москва), 206: 6–11.

Слово об Учителе. — Евразийские древности. 1000 лет Б. Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи. Москва, Институт археологии РАН: 6.

Смирнов А. С. 2011. Власть и организация археологической науки в Российской империи (Очерки институциональной истории науки XIX — начала XX века). Институт археологии РАН.

Созинова С. Ф. 1990. Общественная и научная деятельность Алексея Николаевича Оленина. — Государство, политика и идеология в античном мире: Межвузовский сборник. Ленинград, изд. Ленинградского университета: 171–197.

Соколов В. А. 1981. Александр Александрович Иностранцев. Москва, Наука.

Солнцев Ф. Г. 1876. Моя жизнь и художественно-археологические труды. Рассказ академика Ф. Г. Солнцева (Русская старина, т. XV).

Соловьев С. М. 1854. Герард-Фридрих Мюллер (Федор Иванович Миллер). — Современник, т. 47, окт.: 115–150.

Сорокина И. А. 2008. Полевые археологические исследования в России в 1946–2006 гг. (по архивным материалам и публикациям). Тула, Институт археологии РАН.

Сотрудники 2004 = Сотрудники Императорского Эрмитажа 1852–1917. СПб, 2004..

Спицын А. А. 1899. Расселение древнерусских племен по археологическим данным. — Журнал Министерства народного просвещения, VIII: 302–340.

Спицын А. А. 1899. Сопки и жальники. — Записки Русского Археологического Общества, нов. сер., 11 (1–2): 149–154.

Спицын А. А. 1905. Владимирские курганы. — ИАК, вып. 15: 84–90.

Спицын А. А. 1899а. Раскопки художника Н. К. Рериха в Петербургской губернии. — ЗОРСА. Нов. сер. СПб., Т. 11, вып. 1–2: Мат-лы по доисторической археологии России. (Тр. Отд-ния русской и славянской археологии; кн.4): 323–330.

Спицын А. А. 1899б. Расселение древнерусских племен по археологическим данным. — ЖМНП, Вып. VIII: 301–340.

Спицын А. А. 1928. Мои научные работы. — Seminarium Kondakovianum, II. Прага: 331–344.

СР = Скифский Роман. Под общ. ред. акад. Г. М. Бонгард-Левина. Москва, РОССПЭН, 1997.

Стасов В. В. 1962. Письма к деятелям русской культуры. Т. 1. Москва, изд. АН СССР.

Стеганцева В. Я., Рысин М. Б. 2009. Императорская Археологическая комиссия и исследование памятников Кавказа и Предкавказья. — ИАК-150, гл. IX: 661–782.

Стемпковский И. А. 1827. Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае. — Отечественные записки, ч. 29, к. 81: 40–72.

Столяр А. Д. 1988. Деятельность Владислава Иосифовича Равдоникаса. — Тихвинский сборник. Вып. 1. Тихвин, б. и., с. 8–25.

Столяр А. Д. 1991. Памяти Бориса Борисовича Пиотровского. — Советская Археология, 3: 112–114.

Столяр А. Д. 1994а. Вклад профессора А. А. Иностранцева в развитие первобытной археологии России. — Вопросы геологии и археологии. Тезисы докладов международного симпозиума, посвященного 150-летию со дня рождения <...> А. А. Иностранцева (1843–1919). Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет: 51–54.

Столяр А. Д. 1994б. Предисловие. — Памятники древнего и средневекового искусства. Сборник памяти В. И. Равдоникаса (Проблемы археологии. Вып. 3). СПб, изд. С.-Петербургского университета: 5–11.

Столяр А. Д. 1997. «Пластические каламбуры» Мезинской коллекции (В защиту атрибуции «фаллосов» Ф. К. Волковым. — Традиции... 85–89.

Столяр А. Д. 1998. Триада жизнедеятельности М. И. Артамонова. — Проблемы археологии, 4: 7–32.

Столяр А. Д. 1999. Артамонов Михаил Илларионович. — сайт «Археологическая Web-энциклопедия» Информационного центра Института археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, раздел: Мировая антропология, этнография и археология в лицах.

Столяр А. Д. 2004. Мой друг Александр Александрович Формозов. Часть I (1949–1965). — Невский археолого-этнографический сборник. К 75-летию кандидата исторических наук А. А. Формозова. С.- Петербург, изд. С.-Петербургского университета: 417–453.

Столяр А. Д. 2010. Светлой памяти друга — Александра Александровича Формозова. — Человек и древности. Памяти Александра Александровича Формозова (1928–2009). Москва, Гриф и К: 11–36.

Столяр А. Д. и Белановская Т. Д. 1977. Памяти В. И. Равдоникаса. — Вестник Ленинградского университета, № 14 (сер. ист. 3), с. 156–158.

Стояновский Н. И. 1881. Очерк жизни Алексея Николаевича Оленина. Санкт-Петербург, типография Академии наук.

Стрижова Н. Б. 1988. Педагогическая деятельность В. А. Городцова. — Труды ГИМ, 68: 27–32.

Стрижова Н. Б. 1991. Московский археологический институт по материалам Отдела письменных источников Государственного исторического музея. — Очерки истории русской и советской археологии. Москва, Институт археологии АН СССР: 102–120.

Стрижова Н. Б. 1998. Архив А. С. и П. С. Уваровых в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея. — Очерки истории отечественной археологии, вып. II. Москва, ГИМ — Институт археологии РАН — Богородский печатник: 103.

Строганов С. Г. Дмитриевский собор на Клязьме во Владимире, строенный с 1194 по 1197 г. Москва.

Студзицкая С. В. 1988. Государственный Исторический Музей и В. А. Городцов. — Труды ГИМ, 68: 5–13.

Тетбу де Мариньи Я. В. Э. 1848. Павел Дюбрюкс. — Записки Одесского Общества Истории и Древностей, т. 2, отд. 1: 229–231.

Тимофеев В. И. 1994. О культурно-хронологической атрибуции находок каменного века из Приладожской коллекции А. А. Иностранцева. — Вопросы геологии и археологии. Тезисы докладов международного симпозиума, посвященного 150-летию со дня рождения <...> А. А. Иностранцева (1843–1919). Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет: 57–58.

Тимофеев Л. В. 1983. В кругу друзей и муз. Дом А. Н. Оленина. Ленинград, Лениздат.

Тихонов И. Л. 1994. К вопросу о роли А. А. Иностранцева в становлении палеоэтнологической школы Санкт-Петербургского университета. — Вопросы геологии и археологии. Тезисы докладов международного симпозиума, посвященного 150-летию со дня рождения <...> А. А. Иностранцева (1843–1919). Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет: 55–57.

Тихонов И. Л. 1995. Петербургская палеоэтнологическая школа (этапы формирования). — Санкт-Петербург и отечественная археология. Историографические очерки. Санкт-Петербург, изд. Санкт-Петербургского университета: 100–120.

Тихонов И. Л. 1996. К вопросу об объеме и содержании термина «археология» в русской дореволюционной науке. — Традиции российской археологии. СПб, ИИМК РАН и РАО (Археологические изыскания, вып. 33).

Тихонов И. Л. 1997а. Взгляды и труды А. С. Лаппо-Данилевского в области археологии. — Третьи Мартовские чтения памяти С. Б. Окуня в Михайловском замке. Материалы научной конференции. СПб.

Тихонов И. Л. 1997б. Деятельность Ф. К. Волкова в Санкт-Петербургском университете. — Традиции отечественной палеоэтнологии. Тезисы докладов... Санкт-Петербург, изд. С.-Петербургского университета: 11–16.

Тихонов И. Л. 2002. Предводитель дворянства, сенатор, депутат, министр, археолог граф А. А. Бобринский. — Знаменитые универсанты: Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. СПб, изд. С.-Петербургского университета, т. 1.

Тихонов И. Л. 2003. Археология в Санкт-Петербургском университете. Историографические очерки. СПб, изд. Санкт-Петербургского университета.

Тихонов И. Л. 2004а. Об обстоятельствах ухода В. И. Равдоникаса из Ленинградского университета (докуметы из личного дела). — Не-

вский историко-археографический сборник. Санкт-Петербург, изд. Петербургского Университета: 216–220.

Тихонов И. Л. 2004б. Последний председатель Императорской археологической комиссии граф А. А. Бобринский. — Невский археолого-этнографический сборник: К 75-летию кандидата исторических наук А. А. Формозова. Изд. С.-Петербургского университета: 95–117.

Тихонов И. Л. 2004в. Раскопки Солохи: рассказ участника (Из рукописи А. А. Бобринского). — Невский археолого-этнографический сборник: К 75-летию кандидата исторических наук А. А. Формозова. Изд. С.-Петербургского университета: 160–165.

Тихонов И. Л. 2006. «Как поссорились Сергей Григорьевич и Алексей Сергеевич...» (К вопросу об истоках конфликта между Археологической комиссией и Московским археологическим обществом). — In situ. К 85-летию профессора А. Д. Столяра. С.-Петербург, изд. С. Петербургского университета: 358–371.

Тихонов И. Л. 2010. Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. Москва, «Ломоносов», т. II: Воспоминания В. Г. Дружинина о А. А. Спицыне: 421–430.

Ткачук М. Е. 1996. Археология свободы. Опыт критической теории. Кишинев, [Стратум].

Толочко П. П., Боровський Я. Е. 1979. Язичницьке капище в «городі» Володимира. — Археологія Київа. Дослідження і матеріали. Київ, 3–10.

Толстов С. П. 1947. Из предыстории Руси (палеэтнографические этюды). — Советская этнография, VI–VII: 39–59.

Толстой А. К. 1981. Соч. в 2-х томах. Москва, Художественная литература.

Толстой Д. И. 1992. Революционное время в Русском музее и в Эрмитаже: Воспоминания графа Д. И. Толстого. [Вступ. ст.] С. Г. Блинова, Д. И. Толстого; Публ. [и примеч.] С. Г. Блинова. — Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. [Т.] II–III. М.: Студия ТРИТЭ — Рос. Архив: 330–361.

Толстой И. И. 1997. Дневник 1906–1916. Публикация Л. И. Толстой. СПб, Фонд регионального развития Санкт-Петербурга и др.

Традиции 1997 = Традиции отечественной палеоэтнологии. Тезисы докладов Международной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Федора Кондратьевича Волкова (Вовка). Санкт-Петербург 15–16 апреля 1997. Санкт-Петербург, изд. С. Петербургского университета.

Третьяков П. Н. 1937. Расселение древнерусских племен по археологическим данным. — Советская Археология, 4: 31–35.

Третьяков П. Н. 1966. Основные итоги работ Верхнеднепровской археологической экспедиции. — Древности Белоруссии. Минск, 1966, с. 114–126.

Третьяков П. Н. 1969. Археологические культуры и этнические общности. — Теоретические основы советской археологии. Ленинград, ЛОИА АН СССР: 28–33.

Третьяков П. Н. 1975. Ефименко и финно-угорская археология. — Труды Мордовского института языка, литературы, истории и этнографии. Саранск, 48: 3–6.

Труды I Археологического съезда, т. I, 1871. Протоколы заседаний Археологического съезда: XL–CXL.

Тункина И. В. 1995. А. Н. Оленин и древности Южной России. — Санкт-Петербург и отечественная археология (историографические очерки). СПб, СпбГУ: 18–27.

Тункина И. В. 1999. О судьбе рукописного наследия Павла Дюбрюкса. — Боспорский феномен: Греческая культура на периферии античного мира: Материалы Междунар. научн. конфер., дек. 1999 г. СПб, изд. С.-Петербургск. университета: 8–35.

Тункина И. В. 2001. Н. П. Кондаков по неизданным воспоминаниям Б. В. Варнеке. 1917–1920 годы. — Никодим Павлович Кондаков. Личность, научное наследие, архив. Научн. ред. И. Д. Соловьева. Гос. Русск. Музей. Санкт-Петербург, Palace Editions: 56–62.

Тункина И. В. 2002. Русская наука о классических древностях Юга России (XVIII —середина XIX в.). Санкт-Петербург, Наука.

Тункина И. В. 2004а. Материалы о Поле Дюбрюксе во французских архивах. — Мавродинские чтения 2004. Актуальные проблемы исторриографии и исторической науки. Санкт-Петербург, изд. СПбГУ: 244–246.

Тункина И. В. 2004б. Несколько штрихов к портрету В. И. Равдоникаса 1920-х гг. (по архивным материалам). — Невский историко-археографический сборник. Санкт-Петербург, изд. Петербургского Университета: 193–215.

Тункина И. В. 2004в. Эпизод к биографии В. А. Городцова: 1938 год. — Невский археолого-историографический сборник к 75-летию А. А. Формозова. Санкт-Петербург, изд. СПб университета: 184–192.

Тункина И. В. 2010. «Отец Боспорской археологии» Поль Дюбрюкс. — Дюбрюкс. Собрание сочинений, т. I. Санкт-Петербург, Коло: 13–101.

Тункина И. В. 1997. М. И. Ростовцев и Российская Академия наук. — СР: 84–123.

Уваров А. С. 1872. Меряне и их быт по курганным раскопкам. Москва, Синодальная типография.

Уваров А. С. 1881. Археология России. Каменный период, т. I. М., Синодальная типогр.

Уваров А. С. 1910. Раскопки Д. Я. Самоквасова. — Сборник мелких трудов. Т. II. Москва, типогр. Г. Лисснера и Д. Собко: 149–156 (= Древности, т. IX: 53–61).

Уваров А. С. 1910. Сборник мелких трудов. Том III. Материалы для биографии и статьи по теории археологии. Под ред. П. С. Уваровой. Москва, типогр. А. И. Мамонтова.

Уварова П. С. (ред.)]. 1890. Историческая записка о деятельности Московского археологического общества за первые 25 лет его существования. Москва, МАО.

Уварова П. С. 1913. Д. Н. Анучин как член Московского археологического общества. — Сборник в честь 70-летия Д. Н. Анучина. Москва, изд. общ-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии при Моск. Университете: 353–318.

Уварова П. С. 1914. Д. Я. Самоквасов как член Московского Археологического Общества. — Древности. Труды МАО, т. XXIII, в. 2:

Уварова П. С. 2005. Былое. Давно прошедшие счастливые дни (Труды ГИМ, в. 114). Москва, изд. им. Сабашниковых.

Урицкая Л. Б. 1997. Еврейская коллекция Ф. К. Волкова в собраниях РЭМ. — Традиция...: 29–31.

Успенский Ф. И. 1926. Памяти Никодима Павловича Кондакова. — Известия Академии наук СССР, сер. 6, т. 20: 567–576.

Файбисович В. М. 2006. Алексей Николаевич Оленин. Опыт научной биографии. СПб, Российская национальная библиотека.

Фармаковская Т. И. 1988. Борис Владимирович Фармаковский. Киев, Наукова Думка.

Фармаковский Б. В. 1914. Архаический период в России. — Материалы по археологии России, 34: 15–78.

Фармаковский Б. В. 1921. Веселовский — археолог. — Записки Восточного Отделения Русского археологического общества, т. XXV: 387–398.

Федоров Г. 1949. Обсуждение положения в археологической науке на расширенном заседании Ученого совета ИИМК АН СССР. — Вестник древней истории, № 2, с. 258–262.

Федоров Г. Б. 1966. Дневная поверхность. 2-е изд. М, Детгиз.

Федоров Г. Б. 1997/2007. Брусчатка. Издана в Англии. Перепечатана в 2007 г. на сайте e-reading.org.ua.

Федоров Г. Б. 1997/2007. От автора. — Брусчатка...

Федоров Г. Б. 1997/2007. Брусчатка. Глава: Татьяна Пассек.

Флыгин Ю. 2005. Неистовый Массон. Ferghana.ru/article.php?id.6465

Формозов А. А. 1961. Очерки по истории русской археологии. Москва, изд. Академии наук СССР.

Формозов А. А. 1967. Первый русский историко-археологический журнал. — Вопросы истории, 4: 208–212.

Формозов А. А. 1969. Очерки по первобытному искусству. М., Наука, 256 с.

Формозов А. А. 1974. Археологические путешествия. Москва, Наука.

Формозов А. А. 1983. Начало изучения каменного века в России. Первые книги. М, Наука: 70–84.

Формозов А. А. 1984. Историк Москвы И. Е. Забелин. Москва, Московский рабочий.

Формозов А. А. 1986. Страницы истории русской археологии. Москва.

Формозов А. А. 1994. О периодизации истории отечественной археологии. — Российская Археология, 4: 219–225.

Формозов А. А. 1995. Русские археологи до и после революции. М., б. изд.

Формозов А. А. 1975. Монгайт Александр Львович. — Советская Археология, 2: 318.

Формозов А. А. 1976. Памяти А. Л. Монгайта. — Краткие сообщения Института археологии АН СССР, 146: 110–112.

Формозов А. А. 1977. О критике источников в археологии. — Советская Археология, 1: 5–14.

Формозов А. А. 1979. Пушкин и древности. Наблюдения археолога. Москва, Наука.

Формозов А. А. 1981. К столетию «Археологии России» А. С. Уварова. — Природа, 12: 61–69.

Формозов А. А. 1983. Начало изучения каменного века в России. Первые книги. М, Наука.

Формозов А. А. 1984. Историк Москвы И. Е. Забелин: очерк жизни и творчества. Москва, Московский рабочий.

Формозов А. А. 1985. Воспоминания И. Е. Забелина о Т. Н. Грановском. — Археографический ежегодник за 1983 год. Москва, Наука: 100–105.

Формозов А. А. 1986. Страницы истории русской археологии. Москва, Наука.

Формозов А. А. 1988. Историк Москвы и русского быта И. Е. Забелин. — Бойкова О. Ф. (сост.). Иван Егорович Забелин. Библиографический указатель. Москва, Академия наук СССР, Моск. филиал Геогр. об-ва СССР — Центр. Гор. Публ. библиотека им. Н. А. Некрасова: 8–19.

Формозов А. А. 1993. А. С. Уваров и его место в русской археологии. — Российская Археология, 3: 228–245.

Формозов А. А. 1994. О периодизации истории отечественной археологии. — Российская археология, 4: 219–225.

Формозов А. А. 1995а. О книге Л. С. Клейна «Феномен советской археологии» и о самом феномене. — Российская археология, 3: 225–232.

Формозов А. А. 1995б. С. В. Киселев — советский археолог: 1930–1950-х годов. — Российская Археология, 4: 151–162.

Формозов А. А. 1995в. Русские археологи до и после революции. М., б. и.

Формозов А. А. 1996. К столетнему юбилею В. И. Равдоникаса. — Российская Археология, 3: 197–202.

Формозов А. А. 1998. Русские археологи и политические репресии 1920–1940-х годов. — Российская Археология, 3: 191–206.

Формозов А. А. 2002. О Петре Петровиче Ефименко (материалы к библиографии). — Очерки истории отечественной археологии. Вып. III. Москва, Наука: 73–126.

Формозов А. А. 2004а. Историография русской археологии на рубеже XX–XXI веков (Обзор книг, вышедших в 1997–2003 гг.). Курск, изд-во Курск. мед. университета.

Формозов А. А. 2004б. Рассказы об ученых. Курск, Курский гос. мед. университет.

Формозов А. А. 2004в. Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки. Москва, Знак.

Формозов А. А. 2004г. Петр Петрович Ефименко. — Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма. Историографические очерки. Москва, Знак: 110–163.

Формозов А. А. 2005. Человек и наука. Из записей археолога. Москва, Знак.

Формозов А. А. 2007а. Исследователи древностей Москвы и Подмосковья. Изд. 2. Москва, Рукописные памятники Древней Руси.

Формозов А. А. 2007б. К истории баллотировки В. А. Городцова на выборах в Академию наук СССР в 1938 г. — ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Антиковедческо-историографический сборник памяти Ярослава Витальевича Доманского. СПб, Нестор-История: 251–258.

Формозов А. А. 2008а. Интервью С. П. Щавелёву 12 декабря 2008 г. — Archaeology.ru.

Формозов А. А. 2008б. О Борисе Сергеевиче Жукове (Материалы к биографии). — Формозов А. А. Статьи разных лет. Курск, изд. КГМУ Росздрава: 71–84.

Формозов А. А. 2010а. «Сберечь памятники сумеют только те, кому они дороги». — Человек и древности. Сборник памяти Александра Александровича Формозова (1928–2009). Москва, АНО Наследие: 37–42.

Формозов А. А. 2011. Записки русского археолога (1940–1970-е годы). Москва, Гриф и К.

Фосс М. Е. 1949. О терминах «неолит», «бронза», «культура». — Краткие сообщения ИИМК, 29: 33–47.

Франко А. Д., Франко О. Е. 1990. Федор Кондратьевич Вовк (Волков). Биографический очерк. — Советская этнография, 1: 86–95.

Франко А. Д., Франко О. Е. 1997. Международные научные связи Федора Кондратьевича Вовка (Волкова). — Традиции...: 19–21.

Францев В. А. 1906. Польское славяноведение конца XVIII — первой четверти XIX столетия. Прага, типогр. «Политики».

Фриче В. М. 1928. В. А. Городцов. К сорокалетию его научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. — Труды секции археологии РАНИОН, IV: 5–8.

Фролов В. В. 2007. Предисловие. — Защитим имя и наследие Рерихов. Т. 4. Москва, Международный центр Рерихов.

Фролов Э. Д. 2000. Михаил Иванович Ростовцев (1870–1952). — Портреты историков. Время и судьбы. Том 2. Всеобщая история. Москва, Наука: 28–40.

Харитонов Марк. 2007. Свеча не погаснет. — Брусчатка.

Хвойка В. В. 1913. Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена. Киев (Київ 2008).

Ходаковский З. Д. 1820. Проэкт ученого путешествия по России для объяснения древней славянской истории. — Сын отечества, № XXXIV: 5–6; № XXXVIII: 197, 202. (у Формозова: XXXIII —XXXVI, XXXVIII–XL).

[Ходаковский З. Д.] 1838. Историческая система Ходаковского. — Русский исторический сборник (Москва), т. I, кн. 3: 3–109.

Ходасевич В. Ф. 1939. Брюсов. — Некрополь: Воспоминания. Bruxelles, Les èditions Petropolis.

Холодковский Н. А. 1923. Карл Бэр. Его жизнь и научная деятельность, М, ГИз.

Холюшкин Ю. П. и Гражданкин Е. Д. 2000. Системная классификация археологической науки (элементарное введение в археологическое науковедение). Новосибирск, изд. ИДМИ, 59 с.

Храпова Л. С. 1990. Личность П. С. Уваровой как она представляется по ее трудам и свидетельствам современников. — Уваровские чтения. Муром, 5–7.

Хроника археологических съездов России 1869–1914. СПб, Европейский дом, 2006.

Хршановский В. А. 1999. Француз из Петербурга. — Звезда, 12: 160–172.

Худяков И. А. 1930. Записки каракозовца. М.–Л., Молодая Гвардия.

Худяков М. Г. 1933. Дореволюцинная русская археология на службе эксплоататорских классов. — Известия ГАИМК, 13: 23–160.

Цамутали А. Н. 1977. Борьба течений в русской историографии во второй половине XIX в. Ленинград, Наука.

Цвейбель Д. С. 1970. Микола Омелянович Макаренко (До 40-річчя відкриття Маріупольського могильника). — УІЖ, 8: 128–130.

Цетлин Ю. Б. 1991. В. А. Городцов и основные направления современного изучения керамики. — Проблемы изучения древних культур Евразии: к 130-летию со дня рождения ученого-археолога В. А. Городцова. Москва, Наука: 112–123.

Цявловская Т. Г. 1958. Дневник А. А. Олениной. — Пушкин. Исследования и материалы, т. II. Москва–Ленинград, изд. АН СССР: 247–292 (сам дневник —в ЦГАЛИ, ф. 1124, оп. 2, ед. хр. 10).

Черненко Є. В. 1993. Про що нагадали фотографії. — Археологія, 3: 92–95.

Чернецов А. В. 2008. Крупный ученый, неповторимая личность. — Вестник Российской Академии наук, том 78, № 6: 538–548.

Черных Е. Н. 2013. Сережа Астахов и открытие Сунгиря. — Сергей Никитич Астахов: биобиблиография. СПб, ИИМК РАН: 23–26.

Чернышевский Н. Г. 1883/1950. Письмо А. Н. Пыпину из Астрахани от 9 дек. 1883 г. — Полное собрание сочинений в 15 тт. Москва, Гослитиздат, т. XV.

Чехов А. П. 1982. Полное собрание сочинений. Том 29. Письма.

Чехов А. П. 1955. Дуэль. — Собр соч. в 12 тт. Том 6. Москва, Гослитиздат: 372–478.

Чехов А. П. 1978. Остров Сахалин. — Сочинения в 18-ти томах. Москва, т. 14/15.

Чичерин Б. Н. 1929–1934. Воспоминания. Москва, Север (переизд. 1991. Т. 1–4. М., изд. Сабашниковых).

Чубур А. А. 2005. Очарованный древностью. Константин Михайлович Поликарпович: жизнь, открытия, ученики. Брянск. Интернет: портал «Археология России» (archeologia.ru).

Шангина И. И. 1997. Ф. К. Волков и антропологическая школа в этнографии. — Традиции...: 56–58.

Шапира Д. и Либин А. 2007. Хазарская парадигма Сталина: Наука как политический продукт и лакмус империй. — booknik.ru (27 февраля).

Шахинджанян В. В. 2007. Предисловие. — Федоров Б. Г. Брусчатка.

Шевелёв Е. Рец. на книгу: Ашик А. Воспорское царство. — Записки Одесск. Об-ва истории и древностей, т. 3, отд. 2–3: 736–738.

Шевченко О. В. 1992. Начало творческого пути М. П. Грязнова: исслед. истории ранних кочевников// Вопросы истории археол. исслед. Сибири. Омск: 78–84.

Шевченко Оксана. 2006. Основание для даты основания. — Киевский Телеграф, № 20 (314) — telegrafua.com/314/history/5841/.

Шелов Д. Б. 1966. В. Д. Блаватский — исследователь античного мира. — Культура античного мира. Москва, Наука: 11–18.

Шелов Д. Б. 1991а. Василий Алексеевич Городцов и полевая археология. — Проблемы изучения древних культур Евразии: к 130-летию со дня рождения ученого-археолога В. А. Городцова. Москва, Наука: 184–192.

Шелов Д. Б. 1991б. 70 лет Институту археологии. — Материалы конференции «Археология и социальный прогресс», вып. 1. Москва, Институт археологии АН СССР: 9–30.

Шелов Д. Б., Виноградов Ю. Г. 1999. Б. Н. Граков и развитие античной эпиграфики в СССР. — *Б. Н. Граков.* Ранний железный век. Москва, изд. Московского университета: 205–213.

Шер Я. А. 1965. О создании кибернетического фонда археологических источников с автоматическим поиском информации. — МИА, 129: 326–330.

Шер Я. А. 1992. К вопросу о приоритетах. — Вопросы истории археологических исследований Сибири. Омск, изд. Омск. Университета: 85–92.

Шер Я. А. 1999. О состоянии археологии в России (продолжение полемики). — Российская Археология, 1: 209–223.

Шер Я. А. 2000. Я учился у М. П. Грязнова. Пятые исторические чтения памяти М. П. Грязнова. Омск: 132–141.

Шер Я. А. 2006. О некоторых особенностях освещения новейшей истории российской археологии. — Российская археология, 3: 165–169.

Шер Я. А. 2009. Археология изнутри. Научно-популярные очерки. Кемерово, изд. Кемеровского университета.

Шишкин О. 1999. Битва за Гималаи: НКВД, магия и шпионаж. Москва, ОЛМА-Пресс.

Шмидт Е. А. 1969. К 60-летию Петра Николаевича Третьякова. — Советская археология (4), с. 120–125.

Шнирельман В. А. 2003. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье. Москва, Академкнига.

Шнирельман В. А. 2005. Лица ненависти (Антисемиты и расисты на марше). — Москва, Academia.

Шнирельман В. А. 2006. Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. Москва, НЛО.

Шовкопляс Г. М. 2000. Викентій В'ячеславовіч Хвойка та його внесок у вітчизняну археологію. Київ.

Штерн Э. Р. фон. 1915. Ученые заслуги Б. В. Фармаковского. — Отчет Московского археологического общества. Москва: 21–23.

Щапова Ю. Л. 1973. 70-летие А. В. Арциховского... — Вестник Московского университета, сер. ист., № 2, с. 92–95.

Щавелев С. П. 1991. Вопросы теории и методики в археологических трудах Д. Я. Самоквасова. — Очерки истории русской и советской археологии. М, 1991: 25–50.

Щавелев С. П. 1992. Становление археологической методологии и методики в России (Вклад А. С. Уварова и Д. Я. Самоквасова). — Теория

и методика исследований археологических памятиков лесостепной зоны. Липецк, Липецкий гос. пединститут: 9–12.

Щавелев С. П. 1993. Д. Я. Самоквасов: эскиз археологического наследия. — «Проблемы истории отечественной археологии». Тезисы докладов конференции (11–13 декабря 1990 г.). СПб, СПбГУ: 21–23.

Щавелев С. П. 1998. Историк Русской земли: Жизнь и труды Д. Я. Самоквасова. Курск, изд-во Курского гос. медицинского ун-та.

Щавелев С. П. 2010а. Историческая археология: эпистемологический анализ. — Социальная эпистемология: идеи, методы, программы. Глава XVII. Под ред. И. Т. Касавина. Москва, Канон: 363–384.

Щавелёв С. П. 2010б. Этика и психология науки. Курск, Госмедуниверситет.

Щукин М. Б. 1979. К предыстории черняховской культуры. Тринадцать секвенций. — Археологический сборник Эрмитажа, 20: 66–89.

Щукин М. Б. 1994. Черняховские «чары» из Лепесовки. — Проблемы археологии, 3, с. 148–161.

Эрлих В. А. Творческие интересы М. П. Грязнова: некоторые статистические данные. — Третьи ист. чтения памяти М. П. Грязнова. Омск, 1995. Ч. 1. С. 102–106.

Юшко А. А. 2008. Судьба моя — археология. — his.1september.ru

Яковлев Н. Ф. 1949. Академик Н. Я. Марр как гражданин и ученый (к 15-летию смерти). — Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института (Нальчик), т. V, с. 17–50.

Янин В. Л. 1965. Я послал тебе бересту... М, изд. Московского университета.

Янин В. Л. 1973. Краткий очерк научной, научно-организационной, педагогической и общественной деятельности [А. В. Арциховского]. — Артемий Владимирович Арциховский (Академия наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. истор., вып. 12). М., Наука: 6–21.

Янин В. Л. 1978а. К 70-летию академика Б. А. Рыбакова. — Советская Археология, № 2: 127–130.

[Янин В. Л.]. 1978б. Памяти Артемия Владимировича Арциховского. — Советская Археология, № 3, с. 5–8.

Янин В. Л. 2002. О тех, кого помню, — с улыбкой. Из коллекции академика В. Л. Янина. — Вестник Российской академии наук, 72 (4): 381–394; (5): 476–480.

Яценко И. В. 1993. О работе Б. Н. Гракова со студентами, специализировавшимися по скифо-сарматской археологии. — Граковские чтения на кафедре археологии МГУ 1989–1990 гг. Москва, изд. Московского университета: 9–14.

Яценко И. В. 2002. Представления И. Е. Забелина о строении насыпи кургана Чертомлык. — Российская Археология, 4: 131–142.

Amand M. 1957. Les tumulus dans le folklore. — Latomus, XVI, 1: 116–127.

Andreau J. 1988. Introduction: Antique, moderne et temps prèsent: la carrière et l'oevre de Michel Ivanovič Rostovtseff (1870–1952). — Rostovtseff M. I. Istoire èconomique et sociale de l'Empire Romain. Paris, R. Laffont.

Andree Chr. 1976. Rudolf Wirchow als Prähistoriker. Bd. 1-2. Köln — Wien, Bühlau Verl.

Bacon E. 1976. The Great archaeologists. London, Secker & Warburg.

Baer K. E. von. 1865. Selbstbiographie. Nachrichten über Leben und Schriften Dr. K. v. Baer mitgeteilt von ihm selbst), Petersburg (перевод: Бэр К. 1950. Автобиография. Москва, изд. АН СССР).

Bartra R. 1964. La tipologia y la periodification en el metodo arqueologico. —Atlatloani. Supplemento 5. Mexico.

Baudou E. 1998. The problem-oriented scientific biography as a research method. —NAR, v. 31,n. 2: 79–96.

Berghaus P. (Hrsg.). 1983. Der Archäologe: Graphische Bildnisse aus dem Porträtarchiv Diepenbroick. Münster, Westphalisches Museum für Kunst und Kunstgeschichte.

Bertaux D. (ed.). 1981. Biography and society: The life history approach to the social sciences. London, Sage.

Blombergowa M. M. 1993. Badania polaków na terytorium Imperium Rosyjskiego w XIX i początku XX wieku. (Acta Archaeologica Lodziensia, Nr. 37). Łódź, 1993, Łódźkie Towarzystwo Naukowe. I. Podróże badawcze Zoriana Dolęgi Chodakowskiego: 11–38.

Brommer Fr. (Hrsg.). 1979. Anekdoten und Aussprüche von deutschen Archäologen, Zeichn. v. H. Rothfocks. Tübingen, Wasmuth.

Bulkin V. A., Klejn L. S., Lebedev G. S. 1982. Attainments and problems of Soviet archaeology. — World Archaeology, 13 (3): 272–295.

Büsching A. F. 1785. Gergard Friedrich Müller. —Beitrüge zu der Lebensgeschichte denkwürdiger Personen, insonderheit gelehrter Männer. 3. Teil. Halle, Curt: 1–160.

Carr E. H. 1962/1964. What is history? London, Vintage; 1964, Harmondsworth, Pelican Books.

Cartailhac E. 1877. L'age de la pierre dans les souvenirs et superstitions populaires. Paris.

Czarnocki A. [Chodakowski Z. D.] 1967. O Sławiąńszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy. Oprac. i wstępem opatrzyl J. Maślanka. Warszawa, Panstwowe Wyawnictwo Naukowe.

Chernych E. N. 1995. Postscript: Russian archaeology after the collapse of the USSR — infrastructural crisis and the resurgence of old and new nationalisms. — Kohl Ph. L. and Fawcen C. (eds.). Nationalism, politics and the practice of archaeology. Cambridge, Camridge University Press: 139–148.

Chodakowski Z. D. 1818. O Sławiańszczyźnie przed Chrzescijaństwem. — Ćwiczenia naukowe (Krzemieniec), 5 (11): 3–7.

Christ K. 1972. Von Gibbon zu Rostovtzeff: Leben und Werk führenden Althistoriker der Neuzeit. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Daniel G. E. 1950. A Hundred years of archaeology. London, Duckworth.

Daniel G. E. and Chippindale Chr. (eds.). [1989]. The pastmasters. London, Thames & Hudson.

Davidson Th. 1956. Elf-shot cattle. — Antiquity, vol. XXX, 119: 149–155.

Garraty J. A. 1957. The nature of biography. New York, Knopf (new ed. New York — London, Garland, 1985).

Geertz C. 1988. Works and lives: The anthropologist as author. Stanford, Stanford University Press.

Gillberg E. 1998. Biography in the history of archaeology. — Anderson A.-C. et al. (eds.). The kaleidoscopic past. Gotarc Serie C. Arkeologiska Scrifter No. 16. Gothenburg, Gotenburg University: 294–302.

Givens D. R. 1992. The role of biography in writing the history of archaeology. — Reyman (ed.). Rediscovering our past: Essays on the history of American archaeology. Worldwide archaeology ser. 2. Aldershot, Ashgate publishing Ltd: 51–66.

Gorodzov V. A. 1933. The typological method in archaeology. — American Anthropologist, 35: 95–102.

Gracia Cook A. 1967. Analisis tipologico de artefactos (Publicationes del Instituto Nacinal de Antropologia e Historia, 12) Mexico.

Handbuch 1939. — Handbuch der Archäologie, Bd. I (Handbuch der klassiscen Altertumswissenschaft, Bd. VI). München und Würzburg, Oskar Beck.

Herzog R. (Hrsg.). 1994. Von Winckelmann bis Schliemann. Mainz, Ph. Zabern.

Hoffmann P. 2005. Gerhard Friedrich Müller (1705–1783). Historiker, Geograph, Archivar im Dienste Russlands. Frankfurt a. M. Et al., Peter Lang.

Johnson E. 1955. One mighty torrent: The drama of biography. New York, Macmillan.

Kendall P. M. 1965. The art of biography. London, Allen & Unwin; New York, W. W. Norton (new ed. New York and London, Garland 1985).

Klejn L. S. 1973. Marxism, the Systemic approach, and archaeology. — Renfrew C. (ed.). Explanation of culture change: Models in prehistory. London, Duckworth: 691–710.

Klejn L. S. 1974. Kossinna im Abstand von vierzig Jahren. — Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte (Halle), Bd. 58, Deutscher Verlag der Wissenschaften: 7–55.

Klejn L. S. 1976. Neolithikum Europas als ein Ganzes. — Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte (Halle), Bd. 60 (Behrens-Festschrift), Deutscher Verlag der Wissenschaften: 9–22.

Klejn L. S. 1977. A panorama of theoretical archaeology. — Current Anthropology (Chicago), vol. 18, 1977, no. 1: 1–42.

Klejn L. S. 1992. Current political situation in Russia and the position of archaeology in the country. — Oxford Magazine, no. 84, Eighth week, Trinity term: 26–32.

Klejn L. S. 1993. La arqueología soviética. Historia y teoría de una escuela desconocida. Con prefacio de G. Ruiz Zapatero. Barcelona, Crítica.

Klejn L. S. 1994. Russia's archaeology at the turning point. — 6 Congreso Hispano-Ruso de historia (Madid, 1992). Madrid, Fundacion Cultural Banesto: 193–214.

Klejn L. S. 1997. Das Phänomen der Sowjetischen Archäologie: Geschichte, Schulen, Protagonisten. Berlin, Peter Lang.

Klejn L. S. 1999a. Nikodim Pavlovich Kondakov. — Murray T. (ed.). Encyclopedia of archaeology: The great archaeologists. Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC-Clio: 165–174.

Klejn L. S. 1999b. Vasiliy Alekseevich Gorodcov — V. A. Murray T. (ed.). Encyclopedia of archaeology: The great archaeologists. Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC-Clio: 247–262.

Klejn L. S. 2001. Russia. — Murray T. (ed.). Encyclopedia of archaeology. History and discoveries. Vol. III. ABC Clio, Santa Barbara–Denver–Oxford, 2001: 1127–1145.

Kluckhohn C. 1939. The place of theory in anthropological studies. — Philosophy of science, 6.

Koepp Fr. 1939. Geschichte der Archäologie. — Handbuch der Archäologie (Handbuch der Altertumsforschung), I. München, Beck: 11–70.

Kossinna G. 1896. Die vorgeschichtliche Ausbreitung der Germanen in Deutschland. — Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, 6 (1): 1–14.

Kossinna G. 1905. Die verzierten Eisenlanzspitze als Kennzeichen der Ostgermanen. — Zeitschrift für Ethnologie, 37.

Kuper A. 1978. Anthropologists and anthropology. The modern British school 1922–1972. London, Penguin Books; rev. ed. Routledge & Kegan Paul, 1985 (first ed. 1973).

Lee S. 1918. The perspective of biography. Oxford, Oxford University Press.

Lullius R. und Schiering W. (Hrsg.). 1988. Archäologenbildnisse. Porträts und Kurzbiographien von klassischen Archäologen deutscher Sprache. Mainy an Rgein, Phil. v. Zabern.

Maślanka J. 1965. Zorian Dołęga Chodakowski. Jego wpiyw na polskie piśmiennictwo romantyczne. Wrociaw–Warszawa–Krakyw, Polska Akademia nauk, oddzial w Krakowie (Prace Komisji Historycznoliterackiej, № 13).

Maurois A. 1929. Aspects of biography. New York, D. Appleton.

Mazurkiewicz J. 1988. Kamiec piorunowy w polszczyźnie i kulturze ludowej. — Język a kultura. Wrocław, Uniwersitet Wrociawski: 251–262.

Mennung A. 1925. Über die Vorstufen der prähistorischen Wissenschaft. Schönebeck a. Elbe, Th. Walfert.

Messerschmidt D. G. 1962–1969. Forschungsberichte durch Sibirien. 1720–1727.

Miller M. A. 1956. Archaeology in the U.S.S.R. London, Atlantic Press; New York, Praeger.

Musianowicz Kr. 1949. Kabłączki skroniowe — próba typologii I chronologii. — Światowit, t. XX (1848/1949), Warszawa 1949: 115–232.

Nordbladh J. 1995. Individen in arkeologihistorien. — Nordbladh J. (ed.). Arkeologiska live Om att leva arkeologiskt. Gotarc. Serie e. Arkeologiska Skrifter no. 10.

Osiatycski W. 1978. Kocce nici czyli lekcja pokory. Rozmowa z profesorem S. A. Siemionowem. — Z otchiani wiekyw, rok 44 (2): 126–138.

Pigoc St. 1929. Dyletant osobliwy przed sądem uczonych. — Z dawnego Wilna. Szkice obyczajowe i literackie. Wilno, wyd. Magistratu: 1–16.

Poppe A. 1955. U źródeł postępowej historiografii szlacheckiego rewolucjonizmu — Zorian Dolęga Chodakowski. —Kwartalnik Historyczny, 2: 13–35.

Rawita-Gawroński F. 1898. Zorian Dolęga Chodakowski, jego życie i praca. Lwów, nakł. Jakubowskiego I Zadurowicza.

Rhinelander L. H. 1974. Exiled Russian scholars in Prague: the Kondakov seminar and institute. — Canadian Slavonic Papers (Ottava), vol. 16 (3): 331–352.

Rostowzew M. 1907. Besprechung des Artikels von B. Farmakowski in IAK 13. — Berliner Philologische Wochenschrift, 4: 1360–1364.

Rouse I. 1960. The classification of artifacts in archaeology. — American Antiquity (Washington, D. C.), 25 (3): 313–323.

Rouse, Irving. 1970. Comments on Analytical archaeology. — Norwegian Archaeological Review 3: 4–12.

Schiering W. 1969. Zur Geschichte der Archäologie. — Hausmann U. (Hrsg.). Allgemeine Grundlagen der Archäologie (Handbuch der Archäologie Bd. I). München, C. H. Beck: 11–161.

Schlözer A. L. 1802. August Ludwig von Schlözer's öffentliches und Privatleben von ihm selbst beschrieben. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht [русск. перев.: Шлецер А. Л. 1875. Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлецера, им самим описанная. Пребывание и служба в России от 1761 до 1765 г. Пер с нем. изд. 1802 г. СПб (Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук, т. 13)].

Schnaase C. 1866–1879. Geschichte der bildenden Künste. Stuttgart, Ebner & Seubert. Aufl. 2, Bd. 1–8 (orig. 1843–1864).

Schwartz D. W. 1978. A conceptual framework for the sociology of archaeology. — Dunnell R. C. and Hall E. S. (eds.). Archaeological essays in honor of Irving B. Rouse. The Hague, Mouton: 149–176.

Shnirelman V. A. 1995. From internationalism to nationalism: forgotten pages of Soviet archaeology in the 1930s and 1940s. — Kohl Ph. L. and Fawcen C. (eds.). Nationalism, politics and the practice of archaeology. Cambridge, Camridge University Press: 120–138.

Shnirelman V. A. 2001. The value of the past. Myths, identity and polititics in Transcaucasia. Osaka, National Museum of Ethnology (Senri Ethnological Studies 57).

Sköld H. 1931. Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft. II. Zur Verwandschaftslehre: die kaukasische Mode. Lund, Gleerup.

Starr M. 1986. Aristocrat-librarian in service to the Tsar: Aleksei Nikolaevich Olenin and the Imperial Public Library. Boulder, East European monographs, no. CCXI — New York, Columbia University Press.

Stralenberg Ph. I. 1730. Das Nord und Östliche Theil von Europa und Asia. Stockholm.

Tallgren A. M. 1928. Besprechung: Teplouchov, Grjaznov u. a. — Eurasia Septentrionalis Antiqua (Helsinki), III: 202–207.

Thayer W. R. 1920. The art of biography. New York, Scribner (reprint. 1977, Folcroft, Pa.)

Trubetzkoy N. S. 1975. Letters and notes. The Hague & Paris, Mouton.

Weber F. 1894. Streiflichter auf Prähistorisches aus alten Schriftstellern. — Corrrespondezblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 25: 9–12.

Weber F. 1899. Prähistorischen Spuren im mittelalterlichen Chroniken. — Corrrespondezblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 30: 58–60.

Wes M. A. 1990. Michael Rostovtzeff: Historian in exile. Stuttgart, Steiner.

ΣΚΥΘΙΚΑ 1993. = Избранные работы М. И. Ростовцева (Петербургский Археологический Вестник, 5).

Содержание

Археологи советской эпохи 5

Передатчики традиции 9

Украинец в Киеве, Париже и Петербурге
Ф. К. Волков = Хведор Вовк 13

Учитель в поле
А. А. Миллер 28

Подстреленный на взлете
Б. С. Жуков 40

Ольвия поквадратно
Б. В. Фармаковский 48

Патриарх палеолитоведения
П. П. Ефименко 60

Королева Триполья
Т. С. Пассек 79

Зачинатели «марксисткой археологии» 93

Необузданный интеллект и революция
Н. Я. Марр 97

Красный демон археологии
В. И. Равдоникас 123

Историк с лопатой
А. В. Арциховский 143

Создатель нового метода
С. А. Семенов 166

От астиномов к сарматским амазонкам
Б. Н. Граков 177

Искатели национальных корней 189

Воевода советской археологии
Б. А. Рыбаков 192

В поисках независимых путей
М. И. Артамонов 219

В поисках предков
П. Н. Третьяков 238

Между марксизмом и косиннизмом
А. Я. Брюсов 254

Археолог во главе этнографии
С. П. Толстов 268

Раздвигатели горизонтов 285

К вертикальному положению
С. И. Руденко 288

Заброшенный в археологию
Б. А. Куфтин 298

Первопроходец
А. П. Окладников 306

Охотник за памятниками и культурами
О. Н. Бадер 326

Восхождение на «Красный холм»
Б. Б. Пиотровский 343

Комиссар археологии
С. В. Киселев 363

Массон, сын Массона
М. Е. и В. М. Массоны 373

Мастера **391**

Рыцарь археологии
А. А. Иессен 394

С Венерой и мотыгой
В. Д. Блаватский 404

Победительный педант
И. И. Ляпушкин 413

Детектив в археологии
М. П. Грязнов 430

Мастер и его предел
В. Ф. Генинг 448

Нонконформисты **465**

За полшага до Борда
Г. А. Бонч-Осмоловский 468

Открыватель и еретик
С. Н. Замятнин 485

Брейль на русский манер
А. Н. Рогачев 495

Из марксистских ортодоксов в «шестидесятники»
А. Л. Монгайт 503

Интеллигент
Г. Б. Фёдоров 511

La bète noire постсоветской археологии
А. А. Формозов 533

Краткое заключение **557**

Библиография **563**

Клейн Лев Самуилович

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРХЕОЛОГИИ: УЧЕНИЯ, ШКОЛЫ И ЛИЧНОСТИ

ТОМ 2

Археологи советской эпохи

Научное издание

Директор издательства *Чубарь В. В.*
Главный редактор *Трофимов В. Ю.*
Корректор *Галаганова Л. А.*
Дизайн макета *Меркурьева М. В.*

ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»
199026, Санкт-Петербург,
Средний пр-кт, д. 86, пом. 106

Подписано в печать 10.07.2014
Усл.-печ. л. 39. Формат 60x90 1/16
Гарнитура «PT Serif».
Тираж 1000 экз. Печать офсетная.
Заказ № 128.

ООО «Издательство «ЕВРАЗИЯ»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д. 86, пом. 106,
тел. (812) 602-08-24, http://www.eurasiabooks.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ООО «ИПК „Бионт“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. В. О., д. 86
тел. (812) 322-68-43
e-mail: biont11@mail.ru

НОВЫЙ ПРОЕКТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЕВРАЗИЯ»

В новой межиздательской серии мы предлагаем переводы источников эпохи Средневековья. Долгое время наше издательство публиковало исследовательские работы, посвященные истории средневекового Запада и Востока. Но любое историческое исследование основывается на работе с комплексом источников. По сути своей каждый исторический труд — это интерпретация исследователем полученных в архивах и библиотеках свидетельств.

Таким образом, для полноты картины отечественный читатель, интересующийся историей, должен иметь доступ к более обширному корпусу оригинальных текстов, чтобы взглянуть на мир Средневековья глазами непосредственных свидетелей и участников событий.

Мы хотим вооружить русскоязычного читателя комментированными переводами оригинальных текстов. На рынке отечественной литературы и поныне ощущается нехватка изданий подобного жанра, и мы решили внести свой вклад.

Несмотря на бытующее представление о бедности средневековой литературы, особенно раннего периода, типы и жанры источников необычайно богаты и разнообразны. Средневековая письменная культура рождалась в эпоху падения Римской империи и пережила все сопряженные с этим процессом политические и социальные потрясения. Когда на месте Империи выросли варварские королевства, своего рода преемники рухнувшего римского государственного аппарата, римская культура естественным образом встала у истоков средневековой.

Несмотря на то что численность образованного населения неотвратимо сокращалось в V–VII вв., до нас дошло немало ярких и интересных источников, сохранившихся благодаря кропотливому труду монастырских переписчиков: анналы, хроники и истории, наставления и поучения, политические и богословские трактаты, поэмы.

С XI в. начавшийся в Европе мощный социально-экономический подъем, расцвет торговли и рост городов привели к появлению во всех сферах жизни новых, динамичных слоев населения. Крестовые походы и становление рыцарства вызвали к жизни совсем иные виды источников (песни о деяниях, поэзию трубадуров, хроники крестовых походов), выделявшихся красочностью своего повествования: самыми выдающимися произведениями этого жанра стали «Жизнь Людовика Святого» Жана де Жуанвиля и «Хроники» Жана Фруассара.

С ростом могущества королевской власти в XIII-XIV вв. появляются общие исторические своды, предвосхитившие рождение национальной истории. Из всего этого многообразия мы старались выбирать для перевода те источники, которые были знаковыми для своего времени.

Перевод источников — необычайно сложный и трудоемкий процесс. Необходимо иметь в виду целый комплекс сопутствующих факторов, которые могут изменить смысловые оттенки перевода на русский язык: личность автора и его мотивация, причины и условия создания документа, господствующие представления эпохи, круг источников, из которых автор черпает сведения и т. д. Лишь переводчик, хорошо владеющий историческим материалом эпохи, способен разобраться в хитросплетениях оригинального текста и уловить подчас затаенный отблеск истинной мысли автора.

Для того чтобы показать отечественному читателю значение исторического источника на фоне других произведений эпохи, мы предлагаем перевод на русский язык в сопровождении обширного комментария, позволяющего рекомендовать это издание не только специалистам-историкам, но и широкому кругу читателей. Подготовку текстов к изданию осуществляли ведущие специалисты научных учреждений Санкт-Петербурга и Москвы.

В СЕРИИ CHRONICON
вышел в свет

Адемар Шабаннский (989–1034) — один из известнейших историографов XI в. До наших дней дошло несколько его сочинений разных жанров, среди которых центральное место занимает «Хроникон» — ключевой источник по истории Франции XI в. На его страницах отчетливо вырисовывается картина зарождения нового мира — сеньориальных междоусобиц и набирающих силу монастырей, которые вскоре станут основой мощного социально-экономического подъема Западной Европы. Помимо собственно исторического повествования, «Хроникон» интересен тем, что, читая его, мы можем «проникнуть» в скрипторий, где создавалось это произведение: мы видим круг источников, которыми располагал историк, можем проанализировать методы работы и очертить круг вопросов, которые больше всего интересовали средневекового монаха.«Хроникон» Адемара Шабаннского впервые целиком публикуется на русском языке. Перевод снабжен комментариями и вступительной статьей. Книга будет интересна специалистам и всем любителям истории Средних веков.

К ИЗДАНИЮ ГОТОВЯТСЯ

Фульхерий Шартрский

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ИСТОРИЯ

«Иерусалимская хроника» Фульхерия Шартрского (ум. ок. 1127 года) — одно из трех главных свидетельств о Первом крестовом походе. Фульхерий Шартрский, приближенный вождя северофранцузских крестоносцев Стефана Блуаского, вместе с христианскими армиями проделал весь путь от начала до конца: он присутствовал на Клермонском соборе 1095 года, на котором папа римский Урбан II призвал верующих отвоевать у мусульман Святой Город, побывал в Константинополе и был свидетелем взятия Иерусалима.

Но, в отличие от других хронистов, Фульхерий остался в Святой Земле и активно участвовал в построении государств крестоносцев на Ближнем Востоке. Именно ему мы обязаны драгоценными подробностями о становлении нового христианского мира посреди мусульманских земель. Он стал духовником первого иерусалимского короля Балдуина I и на страницах своей хроники рассказал о первых шагах Латино-Иерусалимского королевства.

Как и прочие крестоносцы, Фульхерий был буквально заворожен той масштабной эпопеей, которой был крестовый поход, и его яркие впечатления нашли выражение на страницах хроники. Он смог передать весь спектр чувств, испытываемых крестоносцами во время их блужданий по неизведанным землям: от религиозного пыла до отчаяния, энтузиазм простых воинов и соперничество руководителей похода, попытку приспособиться к новым социально-политическим реалиям и борьбу за выживание молодых христианских государств.

Перу Фульхерия принадлежит убедительный «манифест», в котором он призывал западноевропейцев перебираться на Восток, живописуя привлекательные стороны жизни переселенцев. Человек наблюдательный и любознательный, Фульхерий сумел запечатлеть немало интересных деталей жизни средневекового Востока и его обитателей: в его хронике можно найти редчайший перечень животного мира Ближнего Востока — один из наиболее интересных образчиков средневекового бестиария.

Гинкмар Реймсский

ОБ УПРАВЛЕНИИ ДВОРЦОМ

Реймсский архиепископ Гинкмар (ок. 806–882 гг.) был одним из образованнейших людей своего времени и видным деятелем каролингского возрождения. Одна из важнейших тем, которую можно выделить в его обширном рукописном наследии, — это политическая культура королевства франков в правление династии Каролингов и в особенности изменения в системе государственного управления, происходившие в период ослабления центральной власти.

Пожалуй, наиболее интересным сочинением реймсского архиепископа на эту тему стал небольшой трактат, известный под названием «О дворцовом порядке» («De ordine palatii»), написанный для молодого короля Карломана II (879–884 гг.). Посвященный системе государственного устройства франкской державы, трактат представляет собой ценнейший источник, дающий представление о структуре власти во франкском королевстве, а также механизмах управления дворцом и государством.

Фредегар

ХРОНИКИ ФРЕДЕГАРА

«Хроники Фредегара» — один из крупнейших источников по истории раннесредневековой Западной Европы. История их создания таинственна, а имя автора неизвестно. Ученым остается лишь гадать, где и когда был создан этот текст.

Очевидно одно: в этом произведении запечатлен процесс рождения этнической идентичности франков. У варварского еще недавно народа появляется представление о себе как о наследнике великой ушедшей империи.

В «Хрониках» причудливым образом переплетаются фольклорные мотивы и исторические события, воссоздана атмосфера давно минувшей блистательной эпохи Меровингов, ставшей первой ступенью в становлении современной европейской цивилизации.

Впервые на русском языке выходит полный перевод «Хроник Фредегара». Текст снабжен подробными историческими, филологическими и культурологическими комментариями.

"СПб Дом Книги" А-035
2098.00
2 000302 787829
Клейн Л. История российской археологии. Учения, школы и ли

ая книга Л. С. Клейна по истории ской археологии целиком посвящена археологии советского и постсоветского периодов. История науки предстает в этом издании сквозь призму 34 биографий археологов того времени. Как и в первом томе, очерки сгруппированы по той роли в истории науки, которую сыграли их герои: передатчики традиции, внедрители марксистской методологии и т. д. Личное знакомство автора со многими героями книги и живой язык, которым написано это исследование, способны вовлечь даже неподготовленного читателя в сложный, но насыщенный событиями мир отечественной археологии. Издание рассчитано на археологов и историков науки, специалистов и студентов, а также на всех интересующихся развитием общественных наук в нашей стране.

ISBN 978-5-91852-075-8
9 785918 520758
ISBN 978-5-91852-077-2
9 785918 520772